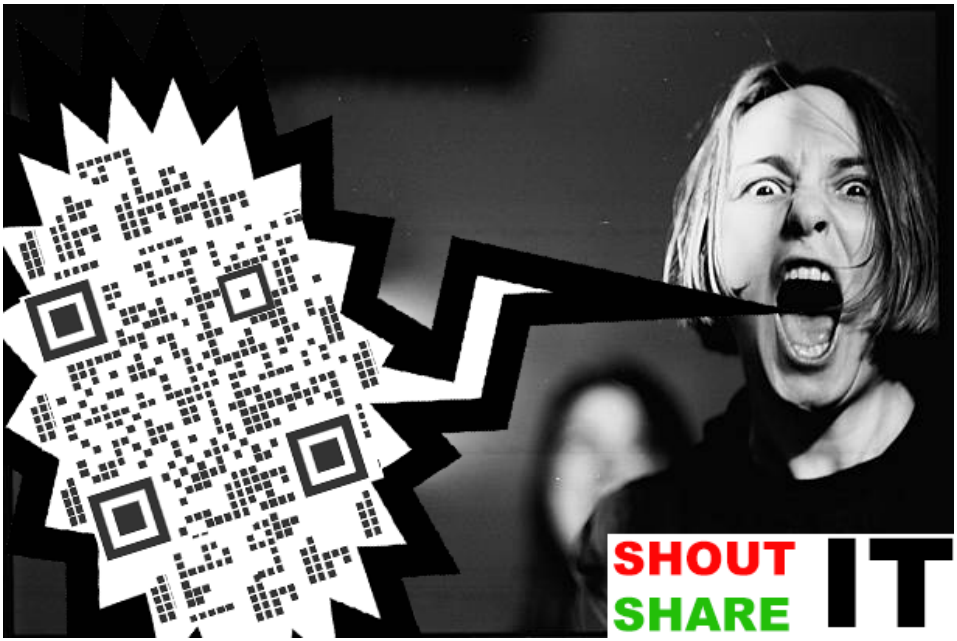
БОЛШЕВЦЫ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В ряде тесно связанных между собой художественных очерков, написанных молодыми советскими писателями на основе подлинных материалов, рассказано об организации и росте Болшевской трудкоммуны НКВД, о перековке ее воспитанников — бывших правонарушителей.

Под редакцией М. Горького, К. Горбунова, М. Лузгина.

http://ruslit.traumlibrary.net

- Болшевцы
  - Болшевцы
    -
    - Предисловие
    - Часть первая
      - Поручение
      - Откровенный разговор
      - «Дефективные»
      - У котла
      - Пути и помощники
      - Добрая воля
      - Новоселье
      - «Видали мы приюты!»
      - Отправка
      - Первый день
      - «Большие» и «маленькие»
      - Голуби и финки
      - Мастерские
      - Ключи тети Симы
      - Отпуск
      - Вечеринка
      - Актив
      - Четыре подковы
      - Блатной закон
      - Бродяжий бог — Балдоха
      - Заказ
      - «Брелок»
      - Сват
      - Штаны коммунара Гаги
      - Чудесный мусор
      - «Политики»
      - Коммуна или шалман?
      - Подарок

        - Делегатка
        - Девушки
        - Друзья и трудности
        - Первый мастер
        - Коммуна вернула нас к жизни
    - Часть вторая
        - «Блудные сыны»
        - Рост
        - Семья
        - Медвежатник
        - Ошибка
        - Секрет победы
        - Большая стройка
        - Субботник
        - За качество
        - Уголок
        - Михайлов
        - Новички
        - Два собрания
        - Соревнование
        - «Натуральная жизнь»
        - Гость
        - Праздник
        - Случай движения
        - Зрелость
        - Большое хозяйство
        - Десятилетие
    - Иллюстрации
    - Оглавление
  - Выходные данные
- notes
  - 1

Болшевцы

Болшевцы

Очерки по истории Болшевской имени Г. Г. Ягода трудкоммуны НКВД

Под редакцией М. Горького, К. Горбунова, М. Лузгина

Аннотация

В ряде тесно связанных между собой художественных очерков, написанных молодыми советскими писателями на основе подлинных материалов, рассказано об организации и росте Болшевской трудкоммуны НКВД, о перековке ее воспитанников — бывших правонарушителей.

М. Горький, в предисловии к книге дает следующую характеристику «Очерков»:

«Достоинство книги — в той вдумчивости, с которой изображены процессы индивидуальных перерождений Гуляева, Мологина и других. Почти всегда удачен, т. е. убеждает своей правдивостью, рассказ о трудной и мудрой работе воспитателей… В освещении этой работы — основной и высоко ценный смысл книги».

Очерки доступны по изложению самому широкому кругу читателей.

Коллектив авторов:

К. Алтайский, Е. Анучина, А. Берзинь, А. Бобринский, В. Виткович, К. Горбунов, Н. Клязьминский, С. Колдунов, М. Лузгин, [С. Морозов], А. Осокин, В. Панов, А. Романовский, Л. Соловьев, С. Тадэ, Я. Тищенко, В. Уваров, Ф. Фирсенков, В. Ясенев

Феликс Эдмундович Дзержинский

Предисловие

Достоинство этой книги — в той вдумчивости, с которой изображены процессы индивидуальных перерождений Гуляева, Мологина и других. Почти всегда удачен, т. е. убеждает своей правдивостью, рассказ о трудной и мудрой работе воспитателей-чекистов: «дяди Сережи», Матвея Погребинского и др.; в освещении этой работы — основной и высоко ценный смысл книги.

Истинно пролетарский гуманизм метода и приемов этой воспитательной работы вносит в дело социалистического воспитания людей немало такого совершенно нового и важного, что должно быть широко известно в среде школьных педагогов.

Книга рассказывает о напряженной борьбе большевиков за человека, воспитанного, т. е. изуродованного обществом хищников, собственников, рассказывает о том, как человека антисоциального, глубоко анархизированного — превращали в сознательного пролетария, революционера и коммуниста. Конечно, я не забываю, что эта борьба велась и ведется в размахе всемирном, но освещаемый этой книгой участок боя говорит о победах, особенно значительных тем, что пролетариат возвращает к жизни сотни людей, которые в «культурной», «гуманитарной» Европе, обществах благочестивых мерзавцев, неизбежно погибают, «как неисправимые враги-собственности», как еретики, не верующие в святость бога мещан и срывающие ризы с него маленькими кусками. Известно, что когда вор ворует миллионы народных денег, когда он наживает эти миллионы на узаконенной краже чужого труда, на производстве оружия, на торговле пулеметами и пушками для истребления миллионов людей, — вор этой высочайшей степени до поры, пока он не проворуется, не вызывает отвращения и вражды мещан, но возбуждает в них только лирическую зависть, уважение и даже рабское преклонение перед миллионерами. Мы знаем, что для мещанства— этой опоры фашизма и почвы мерзостей мира — человек, укравший сто франков, более преступен, чем тот, кто украл сто тысяч франков или марок, долларов, фунтов.

Итак: эта книга показывает, как воспитанный мещанством мелкий хищник собственности превращается в сознательного врага ее, готового на борьбу за освобождение всей массы трудового народа из ее цепей, готового на честную, героическую работу строительства нового мира. Этого смысла книги вполне достаточно для того, чтобы признать ее ценность и дать ей широкую дорогу в массы не только наших читателей: пролетарии

всех стран должны знать, как и в каких формах, какими приемами следует выявлять активный, пролетарский, боевой гуманизм.

Уверен, что писательская молодежь, работавшая с этим новым интереснейшим материалом, приобрела немало литературно технического опыта, который благотворно отзовется на ее дальнейшей работе в области родной литературы. Есть в этой книге недостатки, оплошности, недоговоренности? Конечно, есть. Отметить их — дело товарищеской критики, которая должна понять сложность, трудность и новизну темы, должна понять глубокий социально-революционный смысл пролетарского гуманизма. Мое дело — указать, что написана весьма значительная большевистская книга. Вместе с книгами А. Макаренко «Педагогическая поэма» и Иды Авербах «От преступления к труду» эта книга вносит в нашу литературу замечательный рассказ о работе «инженеров душ», которые воспитывают тысячи людей в трудкоммунах, в концлагерях, в колониях беспризорных детей, о работе, которая показывает, как реально, фактами— осуществляется в Стране советов пролетарский коммунистический гуманизм в те дни, когда буржуазия Европы и всего мира все более гнусно и цинически откровенно звереет, как она в своем безумии, вызванном предчувствием смерти, теряет остатки человекообразности и становится все более бесхитростно злым, все более откровенно бесчеловечным врагом трудового народа. Пролетариат должен знать, что в лице современной буржуазии он имеет дело с преступником, который не может быть перевоспитан и должен быть уничтожен.

М. Горький

Часть первая

Поручение

В конце июля 1924 года чекист Матвей Погребинский был вызван к одному из членов коллегии ОГПУ. — Как-то зимой мы проходили с товарищем Дзержинским ночью по Москве, — сказал член коллегии Погребинскому. — В Охотном ряду, на Моховой горели костры. Возле них грелось несколько оборванных, грязных подростков. Кто считал, сколько таких бездомных рассеяно по городам страны: на вокзалах, у асфальтовых котлов, в заброшенных подвалах? Дзержинский тогда сказал: «Ужасное бедствие! Ведь большинство их — дети пролетариев. Одному Наркомпросу не справиться с этим. Надо что-то сделать».

Погребинский кроме основной службы вел еще работу среди комсомольцев ОГПУ как прикрепленный от партийной ячейки. Ему приходилось бывать в различных учреждениях Наркомпроса. Он знал, что несмотря на все усилия изжить беспризорность, там нехватало для этого нужных организаторов и хороших педагогов.

— Недавно, — продолжал член коллегии, — Феликс Эдмундович выступил на заседании в ЦК партии и заявил: «Я хочу бросить некоторую часть сил ВЧК на борьбу с беспризорностью. Наш аппарат — один из наиболее четко работающих. С ним считаются, его побаиваются». Решение далеко не случайное. Мы изолируем преступников, стараемся исправить, иногда ликвидируем. Но мы гораздо скорее уничтожим преступность, если лишим уголовные элементы возможности набирать смену из бесприютных ребятишек. Коллегия поручает вам, товарищ Погребинский, наладить перевоспитание несовершеннолетних правонарушителей.

Он сказал, почему выбор остановлен именно на Погребинском:

— У вас есть знание молодежи, умение подойти к ней.

Он подчеркнул, что та молодежь, с которой предстоит Погребинскому работать теперь, — особенная. Изжеванная в раннем детстве машиной эксплоатации, выброшенная на улицу, она возненавидела всякую работу. Узколобые буржуазные антропологи, стараясь оправдать капиталистический строй и бесчеловечность мещан, приписывают тысячам людей наследственную склонность к преступлениям, врожденную неспособность трудиться — это, конечно, подлая ложь. Однако собрать форточников, домушников, скокарей юного возраста и

объяснить им, кто морально увечил их, дать им производственные специальности — это нелегкое дело. Нелегкое, но зато какое большое и увлекательное! Будет практически доказано, что свободный социалистический труд на общество, на самих себя может сделать из уголовников общественно-полезных работников. Какая почетная для большевиков задача: показать всему миру силу и образец пролетарского гуманизма!

— Приступайте к работе, — заключил член коллегии. — Дело в сущности новое, опыта здесь очень немного. Значит, нужно почитать, подумать. Ищите себе дельных помощников. Будет трудно — приходите, подумаем вместе.

Перед тем как начать дело, Погребинский вплотную сел за книги. Хороший организатор, человек живой революционной практики, он понимал всю необходимость предварительной учебы.

На его столе можно было увидеть самые разнообразные материалы. Рядом с «Отчетом Московского работного дома с 1836 по 1913 год» лежали «Сахалинские очерки» и «В мире отверженных». «Социальные этюды» Тардье, книжка профессора Белецкого «Об эмоциональном мире преступников», «Доклад Киевского патроната малолетних преступников» заставляли его порой забывать о пище и отдыхе.

Коренное различие между буржуазным уголовным правосудием и советской исправительной политикой было ему очевидно. Там — в странах капитализма — изгнание уголовного из жизни, здесь — основная задача — трудовое и культурно-политическое перевоспитание людей.

В одной из книг американский профессор, либерал по убеждениям, делился своими впечатлениями после того, как обследовал тюрьмы всего мира, изучая их режим и типы преступников. Он искренно негодовал, описывая зверское обращение с заключенными.

Некоего Артура Монфлер в Дюменсваале заключили в тесную клетку и держали под палящими лучами солнца до тех пор, пока он буквально не испекся, получив общий ожог кожи.

Автор подробно рассказал потрясающий случай, когда одного преступника били по обнаженному животу струей воды из брандспойта, «пока не лопнул живот». Другой заключенный, интеллигент, брошенный за буйное поведение в карцер, лежал связанным несколько суток подряд, испражняясь под себя, и, не вынеся унижений, разбил голову о каменный пол.

Профессор добросовестно подсчитал, сколько в буржуазных тюрьмах сошло с ума, удушено, пристрелено, сожжено на электрическом стуле. Сообщались цифры запоротых насмерть,

изнасилованных женщин, растленных тюремщиками детей.

Страх наказания не действовал. Воры продолжали красть, грабители — отнимать у прохожих кошельки. В мире капитализма, среди общей драки за наживу и возможность жить за счет чужого труда, мелкие хищники в другой форме повторяли то, что делали хищники крупные.

«Конечно, — заключал автор книги, — самый лучший способ изжить преступность — это приучить грабителей к честному труду. Но природа наделила их неизменным отвращением к работе. С другой стороны, если они согласятся работать, то увеличат армию безработных».

Очерки радикального журналиста рассказывали Погребинскому, почему заключенные буржуазных тюрем не хотят работать.

В Техасе власти продают осужденных фермерам и заводчикам. Фермеры гонят купленных арестантов на работу плетьми. За прошедшей группой остается густой кровавый след, сторожевые собаки хозяина идут позади и лижут кровь. В штате Георгия за каждого проданного в рабство преступника администрация получает 450 долларов. Таким же образом штат Алабама выручил только за год два миллиона рублей. Деньги были израсходованы на постройку новых тюрем и судебных учреждений.

Эксплоатация труда осужденных оказывалась одной из самых жестоких разновидностей эксплоатации.

Том Муни просидел в Сан-Квентинской тюрьме семнадцать лет и ежедневно исполнял одну и ту же обязанность: чистил на обед тюремной администрации сто пятьдесят фунтов картофеля, пятнадцать фунтов луку и моркови. Его товарищ занимался с утра до вечера тем, что тер один о другой два кирпича, добывая таким образом порошок для чистки посуды. Другой — ряд лет вощил нитки. Он часами, днями, месяцами, годами натирал комком черного воска нитки, у него распухли пальцы, постоянный запах воска вызывал отвращение к пище.

Отупляющее занятие сушило мозг, человек дичал, способен был итти на любые пытки, лишь бы не возвращаться к мерзкой повинности.

Да, при этих условиях нельзя полюбить труд. Но радостнее ли он, меньше ли отупляет рабочих на большинстве «вольных» капиталистических фабрик!

Русское тюремное и каторжное прошлое было еще более мрачным. Даже официальная царская статистика признавала, что из каждых десяти тысяч людей страны один обязательно томился за решоткой. В продолжение столетий российское правосудие

олицетворялось застенками, дыбой, смрадными земляными колодцами, ржавой цепью на шее колодника, вырезыванием языка, четвертованием. Позже появились жандармы, полицейские клоповники, шпицрутены, одиночки, кандалы, намыленные петли. Бездна человеческих страданий завершалась бесчисленными крестами по Владимирке и Сибирскому тракту, отмечающими могилы каторжников.

Опубликованный еще при царизме отчет гласил, что с 1884 по 1902 год в Шлиссельбургской крепости содержалось пятьдесят восемь человек, из них восьмерых повесили, двоих расстреляли за оскорбление администрации, пятнадцать умерли, четверых отправили в сумасшедший дом, тринадцать сослали на поселение, трое покончили самоубийством, тринадцать в 1902 году продолжали отбывать заключение, ожидая своей гибели.

Московский работный дом пытался приучить воров к труду. Устав дома рекомендовал поручать содержащимся в нем «работы сколько можно однообразнее». «Призреваемых» посылали чистить городские свалки, вывозить нечистоты, отдавали в наем фабрикантам. Неудивительно, что добровольно явившихся в дом в 1895 году было 6 человек, а насильно приведенных полицией — 857.

Какими утопичными и безнадежными оказались попытки отдельных филантропов наладить трудовое перевоспитание уголовных. Чем больше говорили об этом Погребинскому книги, тем спокойнее и увереннее становился он, потому что для него все яснее становилась основная причина этих неудач: в условиях капитализма, в условиях эксплоатации труд всегда является проклятием. Только у нас, где труд — источник удовлетворения общественных потребностей трудящихся, где самый труд становится радостью, первейшей потребностью человека, он способен быть самым сильным орудием перевоспитания.

«Из их неудач, — повторял он, — для нас вытекает одно: обязательность победы».

Материалы Наркомпроса открывали картину большой систематической заботы о беспризорных. Режим советских исправительных учреждений ставил целью вернуть уголовных к труду. В домах заключения практикуются отпуска, частые свидания с родными, почти неограниченные передачи, вежливое обращение. Культурная работа, участие в самоуправлении развивают у заключенных общественные навыки.

Труд в мастерских дает квалификацию и личный заработок. Однако многие преступники, отбыв срок заключения, возвращаются к прежним занятиям. Немало подростков уходит из детских домов Наркомпроса.

Нужно было понять причины этих явлений, чтобы избежать их в предстоящей работе. Многое могли бы объяснить сами преступники и беспризорные. Погребинский поехал в Бутырский домзак.

Откровенный разговор

Комендант домзака спросил Погребинского, какой стороной быта заключенных он интересуется.

— Все показывайте, все, — сказал Погребинский. Каждый нерв лица его, смуглого и необычайно подвижного, выражал нетерпение. Он сдвигал на затылок и снова поправлял кубанскую шапочку, трогал наборный кавказский ремешок, опоясывающий аккуратно собранную в талии гимнастерку защитного цвета.

На сцене в клубе домзака шла при опущенном занавесе репетиция. Пьеса изображала, как тюрьма путем дисциплины, труда и культурного воспитания заставляла вора стать честным гражданином. Блатные товарищи соблазняли главного героя прелестями старой жизни — бесшабашным разгулом, карточной игрой, наконец, грозили ему расправой.

— Нет, — отвечал он, — мне с вами не по дороге, — и разражался длинной митинговой речью.

«Если на самом деле все так уж хорошо, — подумал Погребинский, — то мне делать здесь нечего, и не надо искать других способов перевоспитания».

Он поинтересовался:

— Кто написал пьесу?

— Сами заключенные, коллективно.

— Артисты тоже из них?

— Совершенно верно.

— По каким статьям осуждены?

— Все больше растратчики, — ответил комендант.

В одной из комнат репетировал струнный оркестр. Балалайки терзали слух. Но сосредоточенные лица музыкантов, их искренняя старательность окупали все.

— Здесь воры, — объяснил комендант. — Музыка им нравится по-настоящему.

Погребинский прошел в библиотеку.

— Что читаешь? — отрывисто спросил он, беря книгу у одного заключенного.

Огромный парень с лицом цвета ржавчины и длинными до колен руками отвел глаза, смиренно отдал книгу. Оказалась «Политграмота» Коваленко.

— Все понятно?

— А чего же? — ухмыльнулся парень. — Четвертый раз ее беру и с каждым разом глубже лезу.

Другой, маленький, курносый, рассеянно копался в ящике с картотекой. Не разгибаясь, он спокойно вмешался в разговор:

— Льготы зарабатывает, а льгот ему не дадут. Чорта не обмануть, он умнее нас.

— Никак нет, — выпалил парень с ржавым лицом Погребинскому и бросил в сторону обличителя злой взгляд.

— Или книжку по мысли не найдешь? — спросил Погребинский маленького.

— Так, интересуюсь, — неохотно ответил тот, уходя к двери.

— Неграмотный, — отрекомендовала библиотекарша.

Маленький живо повернулся:

— Ты меня на воле встреть. Я тебе наизусть всю политику расскажу.

К прилавку подошел выбритый, с твердым квадратным подбородком человек.

— Взломщик несгораемых шкафов, — шепнул Погребинскому комендант. — Поведение образцовое. Хороший культурник.

Взломщик с явным расчетом обратить на себя внимание Погребинского загадочно произнес:

— Чорта я обманывал, а вот совесть обойти не мог.

Он спросил библиотекаршу:

— Макса Штирнера «Единственный и его собственность» не держите?

Погребинский удивился:

— Что это вас на какие книги тянет?

— Хотел справиться о здоровье старых моих богов, да вот, видите, отсутствуют они на этом иконостасе.

Взломщик говорил задумчиво и печально, с видом безгранично утомленным. Манера изъясняться несколько высокопарно выдавала в нем человека «начитанного».

— Восемнадцать лучших лет жизни, — продолжал он, — воскурял богам фимиам, теперь хотел бы плюнуть им в морду: жестоко обманули! Полагал, что сильной личности все позволено, оказалось, что имеются границы: границы совести, — объяснил он. — Скажу вот, хочется уйти. А куда, зачем? — Он покачал головой. — Не знаю, куда и зачем.

Погребинский внимательнее взглянул на него — не притворяется ли? Тот стоял понуро. Казалось, ему безразлично, какое о нем сложится мнение.

— В тюрьме пришли к таким взглядам?

— Может быть, в тюрьме, а вообще-то жизнь убедила.

Он кивнул вслед ушедшим — курносому и ржавому:

— Молодежь шебуршит. А я-то хорошо вижу — счастье не в деньгах теперь. Парохода, например, нельзя купить…

— Работать будете? — перебил Погребинский.

Взломщик, устало улыбнувшись, произнес:

— Знаете Некрасова:

Работаешь один,
А чуть работа кончена —
Глядишь, стоят три дольщика:
Бог, царь и господин.

Погребинский возразил:

— Старая поговорка, никого из этих троих теперь нет.

— Не знаю, ничего не знаю. Запутался я теперь кругом.

Через открытую дверь красного уголка видно было, как двое заключенных готовили стенную газету. Чтобы не мешать им, Погребинский и комендант неслышно подошли к двери и остановились у порога. Один из заключенных, крепкий, курчавый, с открытой татуированной грудью, усердно писал, налегая на скрипящий стол. Пухлые негритянские губы его шевелились, на лбу выступили крупные капли пота. Перегибаясь через плечо курчавого, стоял бледный лысеющий юноша. Он зябко потирал руки и вкрадчиво говорил:

— Полегче бы ты писал, Данила! Больно резко ты пишешь.

— Пускай, — повторял с ожесточенным упорством пишущий и мотал головой, чтобы стряхнуть капли пота. — И фамилию свою поставлю.

— Шибко мы тебя побьем, Данила.

— Кто — кого?

— Или всерьез хочешь завязываться?

— Там увидим. Бери у фрайеров, а зачем у своих тянешь?

Юноша разогнулся и, заметив пришедших, громко сказал:

— Хорошо бы тут карикатурку подпустить!

Погребинский прочитал заметку. Она сообщала, что в камере № 13 двое заключенных крадут у соседей хлеб и вещи.

Затем Погребинский присутствовал на тюремном товарищеском суде.

В качестве заседателей, обвинителя и защитника выступали сами же заключенные. Судился старичок, скупщик краденого, тихий и елейный, одетый по-толстовски: в парусиновую длинную блузу и штаны на выпуск. Судили его за то, что он Плеснул в лицо соседу по камере чаем, оказавшимся, к счастью, негорячим. Старичок, поддергивая к самой груди тесемку пояска, на строгие вопросы председателя отвечал одно и то же:

— Не лайся, за то и плеснул. Ругай меня по-людски, а «заигранным» звать не позволю. Сколько ни проигрывал — отдавал: меня, слава богу, народ знает.

Обвинитель, хриплый, черноусый, набивая пену в углах губ, требовал прибавить виноватому год заключения.

— Такие, — мотивировал он, — сосут из нас на воле кровь, за рублевую вещь грош дают. Мы с ними здесь должны посчитаться.

Защитник доказывал, что оскорбление старичку нанесено действительно тяжелое, и просил снисхождения.

Суд постановил удовлетворить требование обвинителя.

Комендант втолковывал судьям, что приговор их неправильный: нельзя прибавлять сроков помимо настоящего советского суда.

Председатель — грузный, чернобородый мужчина, похожий на стареющего конокрада, — не поднимая от пола глаз, упорно возражал:

— Судите, как хотите, а наше дело — порядок навести.

Зашли в столярную мастерскую. Шумно и жарко. На полу под ногами кудрявились и шелестели стружки. Тонко повизгивали пилы, всхрапывали рубанки. Возле окна на примусе варился клей. Из кастрюли тянуло запахом жженого копыта.

Широкоплечий, лет восемнадцати молодец размашисто гонял по брусу рубанок, увлеченно всхрапывая вместе с ним. Паренек даже не посмотрел в сторону подошедшего Погребинского. На вопрос — порвет ли со старым, когда освободится, — он серьезно, не распуская сосредоточенных складок на лбу, не бросая работы, ответил:

— Как судьба. Встречусь по выходе с товарищами, пожалуй, опять уговорят. Не встречусь — может, на завод поступлю. Специальность теперь имею.

— Трепло! — вдруг раздался истерический возглас от окна, где варился клей. Кричал утлый, узкогрудый человек, с лицом, исцарапанным мелкими морщинами, с бешеными черными глазами. — Подлюга! — кричал он, дергаясь и почти рыдая.

— Тише, не волнуйся, — сказал ему спокойно комендант, а Погребинскому скороговоркой сообщил — Кокаинист, много судимостей и побегов!

Буян отбросил палку, которой размешивал клей:

— Чего там заливать! Все равно будем воровать! Все будем! Новых буржуев развели. Довольно ишачить, ослы! Айда по камерам!

Никто не обратил на него внимания. Даже не засмеялись. Паренек деловито понес беремя наструганных брусьев. Погребинский подошел к буянившему:

— Взломщика знаешь? Постарше тебя, говорит — настоящим ворам конец, а ты — какой уж мастер!

Кокаинист успокоился так же быстро, как вспылил:

— Тот медвежатник давно на воле не был, не считал, сколько беспризорников развелось.

— Подберем.

— Найдутся сироты, пока другие по четыреста рублей жалованья загребают.

— Слушай, раньше крали у буржуев — было хоть какое-нибудь оправдание, у кого ты теперь крадешь?

— Я на власть не жалуюсь. Мы с ней квиты. Либо она меня в ящик сыграет, либо я ее кругом оберу.

На этом разговор кончился.

Погребинский попросил вызвать в комендатуру работящего паренька из столярной.

— Слышал мой спор с этим худощавым? — спросил его Погребинский.

— Как же.

— Кто из нас прав?

Парнишка оказался не столь покладистым, каким выдал себя сначала. Он прежде всего расчетливо осведомился:

— Вы не из комиссии по льготам?

— Нет.

— Чего же мне языком зубы околачивать, — с неожиданной грубостью отрезал он. — Позвольте выйти.

У самой двери он приостановился и, как бы рассуждая сам с собой, сказал:

— Работать… легко сказать! Ты устрой так, чтобы морда моя не за решоткой была. Тогда из меня, может, что и получится.

Комендант говорил:

— Не могу сказать про всех, что труд им ненавистен, но домзак — все-таки домзак. Кончат сроки, выйдут отсюда. Куда итти? Ну — и марш на прежнюю дорогу.

Погребинский попросил коменданта откровенно сказать, что достигается созданием тюремной общественности и культурных занятий. Ясно, что некоторые берут книги лишь в чаянии хорошей репутации и получения льгот. Другие пытаются свести через стенную газету и товарищеский суд блатные счеты.

Комендант ответил со всей прямотой:

— Такие попытки, конечно, есть. Они у нас на виду. Но и в них есть положительная сторона. Заметка, написанная из личной неприязни, как-никак бьет по непорядкам в камерах. Сам корреспондент — хочет он того или нет — встает на сторону общественного порядка, а многие из них через некоторое время

приходят к нему сознательно.

«Дефективные»

Погребинский знал и раньше, что не во всех детских домах удачно практиковалось обучение ремеслам. Знакомство с материалами Наркомпроса дало ему добавочные сведения о недостатках в детдомах. Когда детдому нехватало денег, некоторые воспитатели сокращали прежде всего инструкторов по ремеслам. Трудовые процессы иногда совсем выпадали из программы воспитания. В тех случаях, когда труд применялся, он зачастую был направлен на производство пустяковых вещей: склеивание пакетов, плетение корзин.

Получалось так, что Наркомпрос в своих методических инструкциях совершенно правильно считал основой перевоспитания труд, а ряд педагогов проводил на практике эту установку чисто формально, для внешнего соблюдения чуждого им метода.

Были случаи, когда иной нерадивый педагог, чтобы не загружать себя работой над трудно воспитуемыми, давал им огульную характеристику: «В силу крайней дефективности совершенно не поддаются перевоспитанию». И старался сплавить их в дом заключения для взрослых. Среди педагогов оказалось немало работников старых приютов, домов призрения. Лишенные возможности применять в полном объеме прежние, не оправдавшие себя способы воздействия на воспитанников, они плохо доверяли новым приемам, да и не всегда понимали их.

Сведения о беспризорниках были неутешительны. Работники детских исправительных учреждений часто давали такие характеристики:

«Чилкин Александр Петрович, семнадцати лет. Бесчетное число раз приводился за кражу, имеет четыре судимости за грабежи и множество побегов. Помещался в диспансере для наркоманов. После шести месяцев лечения выпивает сразу по бутылке водки, курит анашу, впрыскивает морфий. Отличается повышенной сексуальностью, педераст. Неоднократно замечался в изнасиловании ребят. На исправление надежд нет».

«Гребенников Василий Александрович, восемнадцати лет. Кокаинист-алкоголик. Изодрал в исправдоме одеяло и проломил табуретом голову надзирателю. Заявил, что, как только выйдет на свободу, первым долгом убьет воспитателей. Крайне развращен. Имел половую связь с проституткой, у которой родился от него ребенок. Опрятно одевается. Вырвал здоровые передние зубы, чтобы вставить „для форса“ золотые. Сложившийся преступник.

Безнадежен».

Погребинский поспешил увидеть как можно скорее этих «безнадежных». Он выбрал для посещения один из таких детских домов, куда обычно посылались наиболее испорченные улицей ребята.

Ему посчастливилось попасть прямо на занятия. Человек тридцать ребят, возрастом от тринадцати до шестнадцати лет, расположилось в самых разнообразных позах на обычных школьных скамейках. Перед ними восседал преподаватель, человек пожилой и неряшливый. Седеющая его борода свалялась, уши так заросли, что, казалось, там пауки сплели тенета. Обитал он тут же, при доме, и выглядел непринужденно: суконные тапочки на босу ногу, ворот рубашки расстегнут.

Погребинский сел рядом с ним и стал наблюдать. В классе не чувствовалось дисциплины, ученики занимались плохо. Одни что-то вырезывали на столах перочинными ножами, другие перешептывались, третьи рисовали что-то запретное — Стоило преподавателю взглянуть в их сторону, как они мгновенно прятали кусочки картона, нарезанные из папиросных коробок.

Обгрызая ногти, преподаватель медленно говорил:

— Уходя в школу, Ваня получил от матери десять копеек на булку. Но Ваня проиграл деньги в карты и остался без булки. Правильно ли поступил этот мальчик?

Шум не утихает.

— Воробьев!

Никто не поднялся.

— Воробьев! — громче повторил преподаватель. — Ты вот, — указал он на большеголового мальчишку с узкими, точно сдавленными плечами.

— Я не Воробьев!

— Уже?

— Я Отто фон Грюнвальди, американец, — вызывающе ответил тот, покачивая огромной головой.

Преподаватель устало откинулся на спинку стула:

— Ну, скажи ты мне, фон американец, — который третьего дня был племянником литовского помещика, а от рождения — крестьянским сыном Воробьевым, — скажи мне, правильно ли поступил мальчик Ваня?

— Какой?

— О котором я рассказывал.

— Чего рассказывал?

— Что ты там орудуешь руками под партой? Опять нарисовал карты и прячешь?

Воробьев иронически скривил губы:

— Проиграл — значит, отдай.

— А разве играть хорошо?

— Насильно не заставляют.

Паренька, много видавшего за недолгую жизнь, явно смешили нравоучения преподавателя.

— Егоров, — обратился тот к другому, — скажи ты.

— Не хорошо играть, — заученно прокричал беловолосый толстяк, передав соседу квадрат картона.

— Нехорошо, — удовлетворился преподаватель ответом.

— Сейчас я раздам вам картинки, вы их посмотрите и верните мне.

Один рисунок изображал кузнеца, бьющего с размаху по наковальне, другой — полуголую танцовщицу.

Воспитатель положил перед собой часы и следил, отмечая время, которая картинка рассматривается дольше. На кузнеца смотрели вскользь и поспешно сбывали другим. Танцовщица вызывала несомненный интерес.

Преподаватель записал что-то в свой блокнот.

— Что это вы записываете? — полюбопытствовал Погребинский после урока.

— Да вот повышенный интерес к сексуальным темам,

— Для чего же вы это записываете?

— Статистика непогрешима. Понадобится.

— Например?

— Опубликую в журнале.

— Что же дальше?

Педагог начал заметно багроветь.

— Если вы явились инспектировать меня, тогда так и говорите. Я, батенька, двадцать семь лет занимаюсь этим делом. Я измучен! — закричал вдруг он. — Измучен до последней крайности. Вы же не Грюнвальди, чтобы задавать мне бестолковые вопросы.

Погребинского неудержимо подмывало сказать ему: «Ага, вы измучены? Ну что же, ведь, наверное, вы или один из ваших коллег выносили неумолимые приговоры воспитанникам: „Чилкин — не поддается воздействию“, „Гребенников — безнадежен“. Чего же вы хотите от безнадежных? Институтских сентиментов?»

Но издерганный трудной работой службист, не знающий ни концов, ни начал своих обязанностей, вызывал сочувствие. Погребинский уверил его, что спрашивает серьезно, чтобы перенять опыт.

Воспитатель смягчился. С горечью и жалобой он говорил:

— Мне прислали страшно трудных детей. Что я могу с ними

поделать? Я вынужден ограничиться ролью статистика, отмечающего пороки ребят и собственное бессилие. Они смеются над теплым словом. Я не могу добраться к их душам. Они сбегут при первой возможности. В других домах — благополучней, а мне очень тяжело.

Он оказался очень словоохотливым и сообщил массу любопытных фактов из жизни правонарушителей. Он перечислял специальные книги, называл типы воспитательных учреждений. Одного лишь не мог сказать: какой практический результат приносят его знания и практика?

— Некоторые на моих глазах бросили воровство, но что с ними произошло по выходе из дома — трудно сказать.

— Может быть, надо усилить обучение ремеслам? — осторожно осведомился Погребинский.

Преподаватель согласился:

— Конечно, необходимо, но как-то все не удается по-настоящему наладить: то инструментов нехватает, то денег на материалы не дают, хороших инструкторов по ремеслам тоже нет; ведь нужен не просто мастер, но и педагог.

Погребинский зашел в спальню. Большинство воспитанников лежало на койках. Другие рисовали. Уже знакомый большеголовый сидел на столике больничного типа и пристально смотрел в дверь.

Он отметил появление Погребинского громким и равнодушным криком:

— Шухер!

Замелькали, исчезая, те же квадраты картона, какие-то баночки.

— Что это у вас?

— Где? — невинно осведомился большеголовый.

Десятки настороженных, вызывающих и насмешливых глаз выжидали в тишине, как поведет себя посетитель, может быть, присланный на должность воспитателя.

Погребинский вдруг почувствовал, что сейчас для него решается многое. Сумеет ли он найти правильный тон, не сфальшивит ли? Не ожидает ли его судьба незадачливого воспитателя?

Он взял большеголового подмышки, снял со стола и занял его место.

— Постоишь, тут старше тебя есть.

Потом долго сидел, болтая ногами, разглядывая ребят.

Дав тишине как следует отстояться, он соскочил на пол, подошел к ближайшему, сидящему на кровати парнишке и, не спуская с него глаз, протянул руку:

— Дай сюда карты.

Тот растерянно смотрел по сторонам, ища поддержки. Из угла кивнули, кивок говорил: «Отдай, чорт с ним, беды бы не нажить».

Мальчишка, присмирев, слазил за подкладку одеяла, вытащил с десяток карт.

Разоружение началось полное.

На столик поставили баночки с разведенным порошком из кирпича и с сажей. Передали кисточку с привязанным к лучинке пучком волос, предупредив:

— Человеческие. Из Фартовского надрали: волос у него жесткий, как у поросенка.

Даже при помощи жалкого инструмента и самодельных красок рисовальщик сумел придать фигурам особенное выражение. Пиковая дама походила на худую и строгую гадалку. Бубновая блондинка чем-то напоминала молодую сводницу. Короли были властны, валеты — развязны и хлыщеваты, особенно трефовый.

— Молодец. У кого рисовать учился?

— Так, сам балуюсь.

Одобрение непонятного пришельца звучало лестно. Большеголовый хмуро сказал:

— Он только руку набивает. Вон Колесо — тот мастак.

Подкатилось без вызова некое чумазое существо, действительно необычайно кривыми ногами напоминающее колесо. На обрывке александрийской бумаги была изображена обыкновенным углем танцовщица, которую показывали в классе. Художник окончательно раздел ее и мастерски выполнил изгиб тела, падающего навзничь с заломленными руками.

— От нечего делать, — поведал автор.

— Рисунки и карты я заберу, — строго сказал Погребинский.

Никто не возражал.

Погребинский увидел стоящий на полочке игрушечный дом. Он тоже выдавал руку мастера. Крыльцо, карнизы, наличники из тонкой драницы просвечивали кружевной резьбой.

— Чем резано?

— Травлено каленой иголкой.

— Эго можно взять? — с некоторой уже нерешительностью спросил Погребинский. Ему казалось — хозяин пожалеет вещь: выделка ее потребовала дьявольского терпения.

— Семка, твой дом берут.

— А пущай, — сонно и равнодушно ответил некто, укрытый одеялом. — Еще сделаю.

— Почему вы, ребята, плохо работаете в мастерской? У вас

золотые руки.

— Кабы чему дельному учили, — глухо отозвался с постели владелец дома.

Другой добавил:

— Хорошо в клетке, да не как на воле. — Широко зевая, он совсем по-щенячьи проскулил: — Эх, воля — Крым — пески, туманы, горы, только и свет увидишь.

— У нас и стихи пишут, — похвастался большеголовый.

Погребинский вышел. После него долго молчали. Наконец большеголовый раздосадованно вымолвил:

— Вот и еще трепач. А вы уши распустили… Где у нас картон, идиоты?!

Перед тем как пойти к члену коллегии за последними указаниями, Погребинскому захотелось посмотреть, чем беспризорников прельщает «воля».

У котла

Вечером он переоделся в штатское, оставив на себе только неизменную кубанку. Он заглядывал в темные подъезды домов. Там попадались скорченные фигуры беспризорников, слышались ругань, шопот. Беспризорники встречались на бульварах, у витрин магазинов. Погребинский не останавливался. Ему хотелось обязательно посидеть с ребятишками возле асфальтового котла.

Он увидал его за полночь на Трубной. Вокруг котла были разбросаны поленья дров. Ветер перекатывал с боку на бок оставленное рабочими железное ведро. Оно глухо громыхало по камням. Ребятишки жались к небольшому костерку, загораживая его от ветра.

Один — голый, в лохматой кавказской папахе, выжаривал над углями вшей из рубахи. Другой грязной тряпкой перевязывал чугунного цвета палец ноги. Лучшее место у огня занимал самый взрослый. Он лежал навзничь, вытянув длинные худые ноги в грязных лаковых штиблетах, чахоточно кашлял и после каждого приступа кашля матерно ругался.

Погребинский раздвинул повелительно ближайших, сел в круг, поджав по-турецки ноги.

Парень в папахе с уважением посторонился, деловито спросил:

— Контрабандист?

— Мал, чтоб знать, — ответил грубовато Погребинский. — Пожрать бы.

— Продай-Смерть! — хрипло позвал длинноногий, не меняя

позы.

Из темноты вынырнул оборвыш. Тонкие его руки заканчивались в кистях синими острыми култышками.

— Продай-Смерть, гони булку!

— Гад буду — одна! Самому охота.

— Не сдохнешь. Тут вот человек пропадает.

Калека со вздохом передал булку, зажатую подмышкой. Погребинский разделил ее пополам с ним и принялся честно изображать голодного.

Он кивнул на култышки:

— Где угораздило?

— Трамвай отхряпал.

— Плохая, значит, жизнь?

— Рачья. Совсем убогий. Работать не могу. Только и дела, что на стреме дрогнуть.

— Что это за прозвище у тебя?

— Разным кормлюсь. Когда жулики в шалмане загуляют до зеленых ангелов — подай им веселого. Хожу с ящиком — билеты продаю. Кому выпадет с хозяйкой-старухой спать, кому — себя стрёлить. У всякого — судьба.

Длинноногий вежливо дождался, пока гость насытится, потом осведомился:

— Или горишь?

— Кто теперь не горит, — пожаловался Погребинский.

— Чека, — вздохнул парень в папахе. — Говорят, всех брать станут, и без дела которые.

— Работать, что ли, заставят? — предположил Погребинский.

Перемогая кашель, чахоточный отрывисто говорил:

— Один конец. В тюрьме воля снится. На воле — скоро придут ночи… длинные, темные… сырые.

Приступ сухого кашля стал трепать его. Перестав кашлять, он приказал:

— Продай-Смерть, давай сказку.

— А стремить кому?

Длинный, не поднимаясь, толкнул ногой голого мальчишку в папахе:

— Иди.

Продай-Смерть угодливо согнулся над лежащим главарем.

— Какую сказывать?

— Все равно.

— Тогда я лучше свою быль.

Он не рассказывал, а скорее пел, гнусавя и вздыхая:

— По Симбирской губернии течет долгая река Свияга. Мимо нашей деревни загибается, во темном лесу скрывается. Роса по

травке сверкает, на реку туман пущает. Камыши к воде пригибаются, а язи в воде бултыхаются. Тут закину я леску волосяную, восходит солнышко…

Вожак ткнул рассказчика ногой.

— Опять про язей ноешь, — захрипел вожак. — Вались ты к чорту со своим солнышком…

Он выругался длинно и бессвязно.

— Новую давай.

Калека с готовностью предложил:

— Тогда я про разбойников.

Он завел бесконечно о какой-то пещере на берегу моря, стены которой увешаны коврами, о шайке бандитов, разъезжающих на белых конях, о красавице, зарезанной атаманом. Минутой позже красавица обнимала старого миллионщика.

— Чего клеишь, — не утерпел вожак, — зарезали ведь ее.

— Которую?

— С бриллиантами.

— А эта — под чадрой! Понимать надо, — невозмутимо поправился Продай-Смерть.

В сказке рекой лилось вино, сверкало золото, соблазняла вкусная пища. Неуемный вымысел захватил слушателей. Послышался вздох:

— Пожить бы так.

— На том свете в лазарете, — отрезал длинноногий. — Кончай, Продай-Смерть.

На последнем слове сказочник всхлипнул:

— Терпенья нет. Может, веселую? Веселой никто не захотел.

Светало. Огонь замирал. Лица ребят сделались пепельно-серыми. Погребинский встал:

— Куда ты? — окликнули его.

— Скоро увидимся, — ответил многозначительно Погребинский.

Чахоточный понял это по-своему:

— В тюрьме места хватит.

Пути и помощники

Через несколько часов Погребинский докладывал члену коллегии ОГПУ о своих наблюдениях и о возникших за эти дни намерениях.

Член коллегии не возражал.

— В основу нужно положить указание Феликса Эдмундовича о доверии, свободной обстановке, внимании к живому человеку, — подчеркнул он. — Тут можно значительно

использовать опыт детских домов. Но… никаких «просветительно-культурнических» иллюзий. Пролетарская диктатура не шутит. Воры начинают понимать, что воровать безнаказанно им не позволят. От наших домзаков возьмем их дисциплину. Самое главное — это труд. Труд и доверие. Вот на этих началах и будем работать.

Погребинский продолжал свой доклад:

— Надо использовать неписанные законы профессиональной этики и склонность воров к романтике как орудие перевоспитания. Воры ненавидят «лягавство» — измену своим. Направим эту ненависть против тех из них, кто попытается дискредитировать поведением устав учреждения, у которого еще нет имени. Воровскую спайку, основанную на страхе, будем стремиться переработать в товарищеское чувство к живущим в этом учреждении.

Член коллегии согласился:

— Делайте, но еще раз напоминаю, не умаляйте трудностей.

Возвращаясь к практическим советам, он продолжал:

— МОНО изрядно балует ребятишек опекой, дает все готовое. У воров и без того достаточно много паразитических наклонностей. Пусть они все для себя делают сами. Хочешь надеть сапоги — сшей! Нужен сапожнику табурет — сделай! Заставляйте на первых порах производить вещи, не требующие большой затраты труда и времени: вор экспансивен, ему захочется как можно скорее видеть результаты своей работы. Вы понимаете, конечно, что дело здесь не в сапогах. Их можно сделать быстрее, лучше и дешевле на фабрике, чем в кустарной мастерской нашего учреждения да еще неумелыми руками. Дело в радости, которую испытывает преступник, почувствовавший себя впервые в жизни трудящимся, дело в трудовом энтузиазме, которым он несомненно заразится. Такие качества нельзя оценить деньгами!

Член коллегии говорил без пауз, легко. Должно быть, он много думал о программе и уставе нового воспитательного учреждения.

— Никакой охраны, принуждения, решоток не должно быть. Полная добровольность пребывания в коллективе. Высший закон для коллектива — постановление общего собрания. Мы скажем им: вот жилые дома, которые вы сами построили, вот мастерские, которые вы оборудовали, вот ваши инструменты, инвентарь, одежда, пища… Все это — ваше! Берегите приобретенное вами производство, имущество, умножайте его. Приближайтесь через это к социалистическому пониманию труда, управляйте собой сами… Высшая награда для члена коллектива — решение общего

собрания, что человек исправился и свободен в выборе местожительства, профессии. Если он оправдает такое доверие, с него снимается судимость, и даются права гражданства.

— Не разбегутся они у нас без охраны? — спросил полушутя Погребинский.

— Для того вы и поставлены, чтобы не разбежались. Все зависит от вашего уменья заинтересовать их новой жизнью.

— Один вопрос, — обратился Погребинский, — как мы назовем наше учреждение?

— Назовем это учреждение так, как советовал Дзержинский: «Трудовая коммуна бывших правонарушителей».

Погребинский занялся организационными хлопотами. Прежде всего нужно было определить место будущей коммуны. Место требовалось особенное: в стороне от Москвы, чтобы нейтрализовать соблазны большого города, но в то же время достаточно близкое для деловых сношений и постоянного наблюдения. После долгих разъездов Погребинский остановил выбор на бывшем имении Крафта, в котором помещался совхоз ОГПУ. Здесь находилось все, что могла дать природа, — лес, пруд, река. Недалеко — станция Болшево Северной железной дороги.

Если ехать от Болшева до Москвы поездом, то это занимает не больше получаса времени.

Затем предстояло решить нелегкую задачу — каким образом добиться того, чтобы первые пришедшие в коммуну уже встретили там известный установившийся распорядок коллективной жизни.

Погребинский надумал переселить в Болшево сначала один из детских домов, дать воспитанникам несколько обжиться там, а затем привезти к ним партию воров из тюрем. Он облюбовал коммуну малолетних правонарушителей имени Розы Люксембург. Возглавлял ее Федор Григорьевич Мелихов — энергичный, седоусый мужчина с крупным педагогическим стажем и опытом. Как у многих старых педагогов, у него были недостатки, но этот честный специалист подкупал верностью и большой любовью к своему делу.

Мелихов согласился заведывать новой объединенной коммуной, но ему нужно было дать помощника.

Хотелось отыскать такого молодого работника, который, будучи свободным от педагогических предрассудков прошлого, мог бы в то же время усвоить лучшие стороны опыта Мелихова. Найти второго кандидата оказалось несравненно труднее.

Вечером, когда Погребинский сидел дома, в дверь постучали.

— Москва — ив самом деле большая деревня, — сказал тенорком вошедший посетитель. — Целый день бродил, насилу попал к тебе, Матвей. Что такой злой? После пятилетней разлуки надо бы, кажется, поласковее встретить.

По количеству и остроте воспоминаний, связанных у Погребинского с неожиданным гостем, последний и на самом деле заслуживал радушного приема. Он совсем не изменился: все таким же клинышком носит каштановую бородку, на нем, как и прежде, красноармейская гимнастерка и фуражка. Когда на одном важном участке Восточного фронта, где был Погребинский, тиф начал косить последнюю боеспособную красноармейскую часть — батальон особого отдела, — именно этот человек, беспартийный врач Сергей Петрович Богословский, спас положение. Не имея достаточного персонала и медикаментов, он все же сумел переломить эпидемию, проведя много суток без сна, в нетопленных тифозных бараках.

Сейчас он ходил вокруг Погребинского мягко и почти неслышно. Его задушевный голос и плавные, округлые жесты могли внести спокойствие в самую нервную обстановку.

— Рад, сильно рад, — озабоченно говорил Погребинский. — Вот поставлю чайник. Попьем чайку, былое вспомним. Подай-ка спички. Воры тут у меня, Сергей, завелись.

— Что-то я не понимаю.

— И я не все понимал сначала… Недавно всю ночь ходил по Москве, — я теперь часто хожу. Насмотрелся. Сколько хороших ребятишек пропадает. Первостепенное, важнейшее начинаем дело.

— Какое дело, Матвей?

Хозяину казалось, что его должны понимать с полуслова.

Впрочем, Богословский давно знал его, знал, что последовательный рассказ впереди.

— Видишь, поручили мне организовать коммуну для исправления молодых воров. Дело невиданное в мире, — начал Погребинский.

Богословский слушал, задерживая дыхание. Иногда, не утерпев, он шептал:

— Это — да, вот это замахнулись!

— Нужного работника не могу найти, — огорченно заключил Погребинский и помрачнел.

Богословский понял, что бывший его фронтовой начальник, лучший товарищ, помогавший ему определить политические убеждения, находится в трудном положении, может быть, не менее трудном, чем тогда на фронте, во время эпидемии.

Сергей Петрович расчувствовался. Он положил руку на

колено Погребинского:

— Право, Матвей, ты не грустил бы. Если возникли такие высокие мысли, значит, найдутся и люди. Для такого дела многие себя не пожалеют.

Получив образование на гроши, бегая по урокам, Богословский впитал еще в юности лучшую часть взглядов передовой интеллигенции. Революция заставила многое пересмотреть, научила видеть классовую борьбу. Идея трудового перевоспитания социально-вредных людей захватила его не только смелостью, но и глубокой человечностью.

Он продолжал повторять:

— Найдутся люди, найдутся!

Погребинский вдруг быстро и внимательно взглянул на него:

— Между прочим, ты где сейчас?

— В уездном городке, километров тысячу отсюда.

— Лечишь?

— Да, врачую.

— И такой же все, как прежде?

— То есть?

— Ну, по ночам дежуришь, стонешь вместо больного, лишь бы ему легче стало? И по-прежнему тебя любят? — допытывался Погребинский.

— Да брось, вот еще… Погребинский встал, протянул руку:

— Ударили?

— Это на какую тему?

— Идем ко мне в коммуну работать!

— Да ты смеешься?

— Ничуть.

— Какой из меня педагог! Я оскандалюсь в первый же день.

— Научишься… Я тоже учусь.

У Богословского заметно дрогнули губы:

— Матвей, ты видишь сам, как затронуло меня это начинание. Знаешь, как я могу увлечься делом… А вдруг провалюсь?

— Что мы с тобой первый день знакомы? Вместе ведь будем работать.

Богословский смотрел, как за окном на дворе несколько рабочих, выстроясь шеренгой, тащили на плечах двутавровую балку. Они сгибались под ее тяжестью и шагали враз, медленно, чтобы сохранить равновесие. Сергея Петровича невольно захватило их напряжение. Когда ноша, дружно сброшенная с плеч, загрохотала на камнях, у него вырвался облегченный вздох, точно и сам он освободился от тяжкого груза.

— Ждал я чего-то необыкновенного от нашей встречи. Вот и

сбылось. Ну, чем я буду полезен в коммуне? Разве хворь какую лечить?

— Бесполезного я не позвал бы, — ответил Погребинский удовлетворенно.

Добрая воля

День этот протекал так же, как любой день в домзаке для подследственного. После обеда Накатников праздно лежал на нарах и прислушивался к доносившимся извне звукам. В коридоре слышался неразборчивый говор и тихое лязганье ключей. Кто-то, не торопясь, подходил к двери. Замок камеры был «с музыкой».

В воздухе проплыл протяжный певучий стон. Выводной просунул в дверь голову и коротко сказал:

— Накатников, Васильев, на допрос!

Накатников резким броском спрыгнул с нар и потянул за ногу спящего соседа:

— Вставай, Косой, клюет!

Васильев перевалился на другой бок и подобрал ногу. Из-под накинутой на его голову тужурки раздавался храп и сонное бормотанье. Накатников ухватился за босую ступню и стащил товарища на пол:

— Проспишь, Косой, благословенье-то! И не приметишь, как в Соловки отправят!

Васильев проснулся. Повидимому, он привык к бесцеремонности приятеля. Раскосые глаза его обстоятельно ощупали лицо выводного, затем скользнули в сторону Накатникова и выразительно прищурились.

«Тертые» парни понимали друг друга без лишних слов. Оба попали во внутреннюю тюрьму ОГПУ из арестного дома МУУРа. За каждым числилось несколько судимостей и приводов. Оба решили, что вызывают их для объявления приговора, и почти обрадовались предстоящей перемене: если даже объявят высылку, и то лучше, чем сидеть в камере. Воровская жизнь была полна неожиданностей и приучила смотреть на будущее бездумно.

Через минуту сопровождаемые молчаливыми конвоирами приятели пересекли двор и вступили в главный корпус. Васильев шел, сутулясь и широко ставя ноги. Живой и нетерпеливый, Накатников с любопытством смотрел по сторонам. Удрать отсюда не было никаких надежд. Невольную тревогу Накатников прикрывал наигранной развязностью.

Он — еще молодой парень, довольно высокий, худощавый, с бледным лицом и длинным горбатым носом, с умными глазами.

Несмотря на молодость он — уже опытный и бывалый вор. История его не велика, но выразительна.

Первые годы жизни представлялись ему неясными, как в тумане. Из ранних впечатлений запомнились лишь строгие губы матери да запах росного ладана. Мальчишка воспитывался в патриархальной, старообрядческой семье. Его детство было стиснуто запретами и страхом.

В переднем углу тесной квартирки всегда теплилась лампадка. Мать часто молилась за здоровье постоянно прихварывающего отца, служившего где-то на почте. Она была сурова и горда, но, стоя на коленях перед иконами и кланяясь им, она казалась такой приниженной и жалкой, что маленький Мишка обижался за нее и посматривал на лики святых недоброжелательно.

Мать говорила, что людей, не боящихся бога, побивает смертельный гром. Шестилетнему мальчику хотелось проверить это на опыте. Он подкрадывался в отсутствие матери к образам и вглядывался в изображения бородатых святых, изможденных и страшных. Особенно не нравилась ему одна икона. На ней был нарисован какой-то лысоватый старик с тихой, но язвительной усмешкой. Лампадка особенно ярко освещала его неприятное лицо, и в неровном колеблющемся свете казалось, что он шевелит губами. Мишка дул на чахленький огонек, со страхом ждал расправы. Грома не было.

Устами матери бог утверждал множество стеснительных правил. Вначале это были немудрые заветы: не есть без спроса сахар, не обманывать старших, слушаться мать и отца. Потом, с возрастом, правила усложнялись, в жизнь подрастающего человека входили понятия о «своем» и «чужом», о «должном» и «недолжном». Не кради, уважай своего ближнего, не лги, не пользуйся чужой слабостью — все эти заповеди выдавались ва непререкаемые. Но Мишка уже замечал, что люди охотно крадут и еще более охотно лгут.

Будь семья Накатниковых побогаче, не падай на нее одно несчастье за другим, Мишка, вероятно, прожил бы свою жизнь покорно и трусливо, как жило большинство людей. Но с малолетства в нем загорелся беспокойный ум, заставляя мальчика удивляться явной путанице жизни, а бедность и затруднения, в которые попал он с матерью, беспокоили все больше.

В восемнадцатом году умер отец.

Мать стала торговать на базаре пончиками. Одиннадцатилетний Мишка начал помогать ей.

Базар шумел: кричал, хохотал, ругался. Густая толпа ползла

между лавок и ларьков, задерживаясь в бойких местах. В толпе было тесно, как в овечьей отаре. Маленький торгаш, ловко протискиваясь сквозь толпу, бежал, прижимая к боку корзинку.

— Пончиков! Пончиков! — кричал он тонким голосом. — Кому горячих пончиков?

Увлекаемый людским потоком, он был одновременно и действующим лицом и наблюдателем. Случалось, он забывал о пончиках и подолгу смотрел на бывалых базарных ловкачей.

Тесная кучка зевак толпилась вокруг шустрого галантерейщика. Рогожка с пестрым его товаром лежала прямо на базарной мостовой.

— С пылу, с жару — всякого товару! Крючки, пряжки, пуговки к рубашке, булавки, иголки, дамские наколки, язык тещин — злой да тощий, сережки, брошки, кусок ветошки, карандаши, бумага — кому чего надо?

Складная скороговорка привлекала покупателей. Вокруг обольстительной рогожки сбивалась живая ограда из домотканных рубах и цветных сарафанов. Быстрые руки продавца летали по разложенному товару. Пышной молодайке с жадными глазами торгаш совал соблазнительные серьги, озабоченной старухе — дюжину стеклянных пуговиц, а мрачному мужику, глазеющему на продавца с откровенным недоумением, — деревянную трубку, кисет.

Мишка спешил дальше, мимо рыбных ларьков и мясных лавок:

— Пончиков горячих! Пончиков!!!

В восемнадцатом году жизнь базара сосредоточивалась на «барахолке». Годами копленное обывательское добро обменивалось здесь на истрепанные кредитки или на мешок муки, соли, пшена. Стоптанные сапоги лежали на крышке старинного клавесина, гоголевских времен шинель соседствовала с наимоднейшим матросским «клешем». Притиснутая куда-нибудь в угол, нерешительно мялась с шелковой мантильей в руках древняя старушка, в глазах ее были обида и удивление. Медленно проходил тучный и важный бородач. Он продавал пару бронзовых подсвечников. Перекинув через плечо чьи-то брюки, лез через толпу тощий человек, обалдевший от забористого самогона, радостный, болтливый и ко всем в мире равно благожелательный. Здесь же между простодушными людьми, попавшими на базар случайно, шныряли перекупщики.

Мишка видел, как вещь, купленная за бесценок, тут же продавалась втридорога. Обман здесь считался вполне почтенным и законным оружием. Однажды какой-то бабе в обмен на пальто всучили вместо муки мешок мела. Сидя перед раскрытым мешком

на корточках, баба утирала лицо засаленным рукавом. Она уже не плакала, а как-то странно икала. Губы ее были измазаны мелом. Кучка базарных завсегдатаев смеялась и судачила вокруг.

— А ты, тетка, маляром заделайся! — подавал кто-то иронический совет.

— Глядела бы, деревня, чего берешь!

Над простаками, не умевшими дешево купить, дорого продать, всучить заведомую дрянь, обмануть и извернуться, откровенно и без всякого сожаления потешались, как над юродивыми. И мальчику начинало казаться, что все законы и правила только для того и нужны, чтобы, прикрываясь ими, легче было обделывать свои дела.

Мать Мишки брала пончики у булочника — своего родственника, тоже старообрядца. Большой рыжий мужик с умными пронизывающими глазами, он относился к ней покровительственно. По утрам в своей пекарне, когда он выдавал товар мелочным продавцам, рыжий казался важным, как поп, столь торжественны были его движения. Но он часто обсчитывал мать и, если та ничего не замечала, обстоятельно поучал:

— Какой же ты коммерсант, ежели в тебе хитрости нет? В торговле зубами рвать надо. Либо ты обманешь, либо тебя.

Мишка слушал поучения и мотал на ус.

Каждый вечер сверстники Мишки, как и он, прирабатывавшие около базара, звали его в кино. Кино было тесно и заплевано, но Мишка нигде не чувствовал себя так хорошо. Сгрудившись около уборной, мальчишки жадно курили и вели интересные разговоры. Приятели восторгались силачами вроде Мациста, Мишка же предпочитал сыщиков и воров. Частенько, возвращаясь из кино, он крался, выглядывал из-за угла, как преследующий добычу бандит, или бежал, кружил по переулкам, спасаясь от знаменитого сыщика из Чикаго. Кино переносило его в мир опасностей, стычек, приключений. Темные лики святых, скучная возня с пончиками, ежедневные материнские нравоучения отходили в сторону.

Но чтобы ходить в кино и не отставать от приятелей, нужны были деньги. Копеечных подачек матери нехватало. Однажды Мишка попробовал, пользуясь родственным доверием рыжего, Забрать десяток-другой пончиков сверх положенного количества. Операция оказалась прибыльной.

На базаре часто били карманных воров. Мишка видел однажды, как вели растерзанного человека в милицию. Кровь текла из его носа. Дрожала и прыгала рассеченная губа. Позади вора бежал щупленький торгаш с сапогами в руках. Через каждые два шага торгаш наскакивал на вора и бил его сапогами до

затылку. Физиономия торговца выражала счастье, словно он Пользовался в этот момент какой-то редкостной и приятной привилегией. Вор, втянув голову, мерно покачивался при ударах.

Разница между торговым обманом и воровством была на базаре неощутимой. Откровенно говоря, Мишка не совсем понимал, почему бьют вора. Существовали, повидимому, разные способы воровства: законные и незаконные, причем первые были только трусливее и скучнее. Мишка смотрел на избитого вора с невольной симпатией.

В тот же день произошло событие, имевшее важные последствия. Вернувшись домой, Мишка застал свою мать в слезах. Она поссорилась со своим родственником. Рыжий делец произвел с ней такой расчет, что она не получила ни гроша денег. Мишка насупился и, не сказав ни слова, лег спать.

Утром, как и всегда, он пришел к дяде за пончиками. В тесной пекарне толпились продавцы. Когда пришла мишкина очередь, дядя отстранил мальчишку рукой.

— Не будет для вас товару! — категорически сказал он. — Хватит, попользовались моей добротой!

Мишка посмотрел на его влажные, слегка отвислые губы. Внезапная злость вдруг стиснула его горло. Мальчишка бросил корзинку и, похабно выругавшись, хлопнул дверью.

В ту же ночь вместе со своими приятелями он отбил замок с амбара дяди. Дело было непривычное, но Мишка к собственному удивлению не трусил и даже не очень волновался. Собаки его знали и не тявкнули ни разу. Пока более взрослые товарищи возились у амбара, Мишка спокойно сидел на корточках у ворот, чесал за ухом мохнатого Полкана, гладил суетливую Майру. Ночь была тихая и теплая. За рыбными лабазами пели подгулявшие грузчики.

Добычу, состоявшую из муки и масла, взвалили на спины и, не торопясь, ушли. На следующий день Мишка с удовольствием увидел, что с дяди слетела вся его важность. Потеря по тем временам была чувствительной. Рыжий торгаш без толку бегал по базару и лез за сочувствием к знакомым.

Так началась новая карьера Мишки. Иногда торгуя, иногда воруя, частенько смешивая то и другое, он отвоевывал свое место под солнцем. Базар, кино, случайные бульварные книжонки были его школой. Мало-помалу провинциальный городок начал казаться скучным и тесным.

В двадцать втором году Накатников приехал в Москву. Столица поразила его шумом, обширностью, количеством людей. Мишка шел по тротуарам, то-и-дело сталкиваясь по непривычке с

прохожими. С грохотом и звоном тащились переполненные трамваи. Выстрелами и взрывами сопровождался бег полуразбитых, испорченных авто. Все торопилось, бежало, орало. Казалось, в таком большом городе можно было сойти с ума, повеситься или убить кого-нибудь, и все равно на это никто не обратит внимания.

Мишка дошел до «Василия Блаженного», полюбовался диковинными его завитушками и той же дорогой вернулся на вокзал. В сущности он не знал, зачем сюда приехал. Даже хотелось снова сесть в поезд и уехать домой.

Приближалась ночь. На оставшиеся деньги Мишка купил ломоть хлеба и присел в укромном вокзальном углу дли трапезы. Вокзалы в те времена были похожи на бивуаки. Вокруг Мишки в дикой пестроте лежали, сидели, спали, смеялись, плакали, пели. Многие люди казались просто кладью, пересылаемой по неизвестному адресу, — так безразличен и безучастен был их вид. Иные, наоборот, чувствовали себя, как дома. Рядом с Накатниковым, прямо на грязном вокзальном полу, уселся парень. Одет он был в неописуемую рвань — грязные пальцы торчали из рваных сапог. На голове у него было нечто среднее между кепкой и татарским малахаем. Он держал гигантский малосольный огурец и заразительно ухмылялся.

— Даешь хлеба! — просто и приятельски сказал парень, протягивая Накатникову половинку огурца.

Накатников поделился с ним хлебом, и на этом знакомство состоялось. Через полчаса биография весельчака была известна в подробностях. Это был беспризорник, квалифицировавшийся в домушника. Он только что вышел из Бутырок и настроен был жизнерадостно. Через час новые знакомые уже столковались.

На следующий день с чердака одного из обширных московских домов исчезло развешанное белье. Накатников стоял «на стреме», орудовал же Снегирь — так звали нового приятеля. Предприимчивый малый работал быстро и точно. Через каких-нибудь пять-шесть минут ловко увязанные узлы путешествовали на плечах у парней.

На Сухаревке удалось скоро и без осложнений сбыть украденное случайным покупателям. Сидя потом в ближайшей пивной, Накатников и приодевшийся Снегирь чувствовали себя как нельзя лучше. В пивной было тесно, шумно и после вокзала даже уютно. Теплое пиво приятно горчило. Накатников посматривал на окружающих со степенностью возмужалого человека, вступившего, наконец, на правильный путь.

Ночевали уже в дорогомиловской ночлежке. В полутьме огромного помещения среди разбросанных по нарам тел и

грязного тряпья Снегирь свел нового знакомого с дорогомиловской «шпаной».

Ночью играли в карты. Огромный парень с вывернутыми какой-то болезнью веками метал банк. Каждый раз, сбрасывая карту, он шлепал непомерно толстыми и красными губами и хриплой октавой говорил:

— Дама бубней и валет, четыре с боку — ваших нет!

Жадные, возбужденные взгляды игроков сопровождали движения его больших неопрятных рук. Мишка вошел в азарт. Пылкое его воображение требовало героического жеста. Он выбросил на нары всю заработанную наличность:

— Крой!

Банкомет насмешливо посмотрел на партнера и явно, подчеркнуто явно передернул карты. С Мишкой как с новичком не считались. С равными можно было играть, его же — только обыгрывать. Широкой своей лапой парень сгреб мишкины деньги и пренебрежительно проронил:

— Откатывайся!

Что-то горячее толкнулось вдруг в мишкиной груди, и он хлестнул по ухмыляющейся физиономии кулаком.

Все последующее развернулось в течение нескольких секунд.

Парень, как-то странно, не по-человечьи, зарычав, бросился на Накатникова. Теперь, когда он вскочил на ноги и поднял гигантские кулачища, несоответствие противников бросалось в глаза. Худощавый Накатников казался Давидом перед этим блатным Голиафом. Мишка был беспощадно избит.

Зрители, как всегда, поддерживали сторону сильнейшего. Но Мишка дрался отчаянно. Сшибаемый с ног, окровавленный, он вскакивал и снова лез на своего противника, пока не получил такого удара, от которого уже не мог подняться. Именно после этой драки он стал в «дорогомиловке» своим человеком.

Было в ухватках и поведении Накатникова что-то непосредственное, смелое и хищное, что привыкли ценить в блатном кругу. Год спустя после приезда в Москву он уже вполне акклиматизировался. В слишком опасные дела он пока не ввязывался, но в случае надобности он безусловно не остановился бы ни перед чем.

Жизнь текла в бездумной суете, дни проходили, не оставляя прочных следов. Правда, бывали и трудные времена. Не раз побывал Накатников в арестном доме. Там, на досуге, он мог подумать над своей судьбой. Но он не пользовался этой возможностью.

Думать, думать и думать — от этого пустого занятия Мишка не видел никакого толка. О чем думать? О прошлом? Не для

чего… О настоящем? Бесполезно думать о нем. Нужно не думать, а просто как-нибудь устраиваться. О будущем? Там все темно… Что там может быть? Нет, туда лучше на заглядывать.

Работал он в доле с известным среди дорогомиловских воров пожилым и солидным Зубом. Зуб был широкой натурой, и знаменитые его кутежи возбуждали зависть воров помельче. Толстяк, с полным ртом золотых зубов, он рассыпал вокруг себя веселость и смех. Он походил скорее на дореволюционного богача, который всю жизнь стриг купоны. Сияющее лицо, маленькие масляные глазки, беспредельное его благодушие и общительность располагали к нему любого человека. Так с шутками, каламбурами и острым словцом и обделывал Зуб свои дела.

С возрастом опустившись и потеряв былую расторопность, он не гнушался всяким заработком: учил молодежь разным воровским штукам, возглавлял компании карманников, домушников и железнодорожных воров. Накатников стал чем-то вроде его ближайшего подручного.

Зуб был очень вспыльчив и, вспылив, зверски избивал молодых воров. Однажды досталось и Накатникову. Мишка вытер рукавом окровавленное лице и, повидимому, воспринял эти побои как должное.

Вскоре Зуб загулял. С песнями, с целым хвостом собутыльников и друзей он обходил одну пивную за другой. Разойдясь, он показывал фокусы: выпивал без помощи рук воткнутую в зубы бутылку. Золотая его пасть сияла в свете электрических ламп. Бутылка торчала кверху дном, и жидкость лилась в необъятное зубовское нутро, как в порожний бидон. Зуб взбирался на стол и откалывал под звуки заливистого баяна такого лихого трепака, что зрители, восторгаясь, лезли к нему целоваться. Рубашка была расстегнута на груди Зуба. Рыхлое тело, поросшее мягким рыжеватым пушком, вываливалось в прореху, как студень. Щеки дрожали. Таким его и запомнил дорогомиловский блат.

На следующий день утром Зуба нашли во дворе одной из пивных. Тучный весельчак лежал почти голый, без сапог, без шапки, даже без пиджака. Золотые зубы были вырваны. На шесте рта зияла кровавая дыра.

Кто убил и ограбил Зуба — осталось неизвестным. «Паханы» говорили, что это мог сделать только молодой вор, до которого не дошли еще строгие блатные законы. Накатников был вне подозрения. Зуб как раз послал его с поручением в другой город.

Очень скоро Накатников понял, что ложь является могущественным средством, и широко пользовался ею. Обман

доставлял добычу, выручал из рискованных положений. Накатникову нередко приходилось попадать в облавы. Он искусно разыгрывал роль простоватого паренька, случайно попавшего в воровскую среду. Жалостливые небылицы, которые он наспех придумывал, возбуждали живейшее сочувствие. Парня не раз отпускали, направляли на работу иди в приемник.

Неизвестно, что сталось бы с ним, если бы воровская его карьера развивалась до революции. Вероятно, из него вышел бы наглый, опытный вор, а может быть, даже бандит. Но с некоторых пор начались непонятные и невиданные для блатного мира события. Воров начали «брать без дела» и отправлять в трудовые лагери. Попался и Мишка. Теперь во внутренней тюрьме ему предстояла решительная схватка, и он готовился выкручиваться любыми средствами.

В коридорах этого обширного здания было тихо и безлюдно, как в больнице. Знакомой мууровской суматохи здесь не было и в помине. Бесшумно открывались двери, изредка попадались навстречу люди с серьезными, озабоченными лицами. Тишина веяла спокойствием, уверенностью. Накатников привык уважать силу и потому шагал по коридору с невольным почтительным страхом. Собственно это был даже не страх, а какая-то смутная непривычная тревога. В МУУРе он, вероятно., громко стучал бы каблуками, разговаривал и зубоскалил, здесь же, подчиняясь общему тону, покорно молчал и ступал по паркету осторожно, почти на цыпочках.

Парни вошли в просторный и светлый кабинет.

Через большое окно в комнату заглядывал прозрачный сентябрьский день. На фоне темных обоев четко обозначился голубой сияющий прямоугольник. Косо пересекая его, совсем близко, стремительно пролетел голубь. С улицы доносились приглушенные трамвайные звонки и автомобильный рев. Накатников и Васильев воровато обменялись взглядами — такой близкой и доступной казалась улица.

У письменного стола сидело двое людей. Один из них: — военный с подвижным выразительным лицом — разговаривал по телефону. Он кивнул головой на диван. Воры уселись.

Накатников намеренно громко кашлянул и независимо положил ногу на ногу. Впрочем, через минуту он уже принял позу поскромнее. Странное и не совсем понятное смущение овладевало им. В ГПУ ему приходилось быть в первый раз, и он еще не нащупал нужной линии поведения. Он хорошо понимал значение мелочей и старался производить на людей выгодное впечатление. Иногда он прикидывался наивным, забитым простаком, который может быть только орудием в чужих руках.

Иногда напускал на себя необыкновенную развязность, поражал остроумием или дерзостью. В МУУРе, например, он разговаривал с агентами со снисходительным апломбом, всякий серьезный вопрос превращал в шутку, словом, как он сам потом определял, «брал на ура». Здесь он испытывал чувство некоторой растерянности. Чекист, сидящий за столом, был опасен своей неразгаданностью, и Накатников почти обрадовался, что первым с нами заговорил штатский.

Это был человек среднего роста, плотный, с уверенными движениями и спокойным взглядом. Он встал с кресла, тяжело ступая, продвинулся к парням поближе. Некоторое время он пытливо всматривался в них, словно узнавал давних знакомых, затем, вздохнув, уселся рядом на диване.

— Вот что, ребята, — негромко сказал он наконец, — парни вы молодые, жить хотите, а жизнь-то ваша, чорт знает, как проходит.

Человек хлопнул ладонями по коленям, выражая этим движением сожаление и досаду.

— По тюрьмам, по притонам, по грязи третесь, — с подчеркнутым отвращением продолжал он. — Пора эту музыку кончить, подумать о чем-нибудь поумней. Как смотрите?

Парни настороженно, выжидательно молчали. Начало им нравилось очень мало. Было непонятно, куда клонит этот человек.

— По ночлежкам вам, надо полагать, трепаться надоело. Впереди у вас, если не бросите воровать, Соловки, ссылки, концлагери. Нехорошо так, ребята. Не годится! Совсем никуда не годится!..

Повторяя одни и те же слова, человек произносил их все убежденнее и сильнее.

— Мы берем молодых, вот вроде вас, не окончательно испорченных воровской средой. Из таких парней мы организуем коммуну, где они будут перевоспитываться, сделаются советскими людьми. Хотите пойти туда? Там вы приобретете квалификацию, станете опытными рабочими и сможете навсегда бросить воровство. Вот сейчас с вами товарищ Погребинский об этом поговорит.

Человек, которого назвали Погребинским, положил телефонную трубку. Он бросил на ребят решительный и быстрый взгляд.

— Ну, как? Пойдете в коммуну? — отрывисто произнес он.

Накатников медлил с ответом. Кое-что парни начали уже соображать. Коммуна представлялась, разумеется, делом темным, но возможность жить где-то не в тюрьме, откуда при случае

можно «дать драпу», показалась привлекательной.

— Отчего ж не пойти? Пойдем! — мрачно сказал Васильев. — Самим надоело…

При этих словах он незаметно ткнул приятеля локтем.

Накатников в предупреждениях не нуждался. Он готов был «клеить» и «темнить», сколько угодно, но предложение все-таки озадачивало его. Недаром ГПУ пользовалось в воровской среде репутацией учреждения сложного и непонятного. Вместо объявления приговора — неожиданные разговоры о какой-то коммуне. Будь это МУУР, все было бы просто и ясно, здесь же приходилось шевелить мозгами, чтобы не попасть впросак. Накатников посмотрел на сидящего за столом человека в упор, но не выдержал и отвел глаза. Случай был все-таки из прибыльных, и упускать его не стоило.

— Конечно, пойдем, — поддержал он Васильева. — Это правильно. Самим холку натерло. Теперь блатовать-то — не при царском режиме.

Последнюю фразу Накатников прибавил не без расчета. Он хотел «попробовать» этого чудака на лесть.

Погребинский ухмыльнулся и пытливо посмотрел на Накатникова.

— Ну, вот и прекрасно, — сказал он. — Ты, я вижу, хлопец тертый. Учиться будешь, на рабфак пойдешь…

И он начал подробно рассказывать о коммуне.

От парней требовалось только не воровать, не пить, не нюхать кокаина и подчиняться общему собранию. Каждый уголовник должен в коммуне работать и хорошей работой и поведением может добиться снятия судимостей.

— Дело добровольное, — объяснил он. — Не хочешь — не иди… А пошел — так держись крепко. Сами собой управлять будете, сами и законы себе будете устанавливать. Парни вы толковые, и люди из вас могут получиться настоящие.

Погребинский говорил отрывисто, резко, но иногда между слов, как бы случайно, проскальзывали мягкие, ласковые нотки. Парни слушали и торопились соглашаться.

— Все-таки вы мне дайте слово, — потребовал Погребинский, — раньше, чем в коммуне не побываете, деру не задавать. Тебе я верю, — приятельски кивнул он в сторону Васильева, — а ты вот скрытен очень, говоришь не то, что думаешь… Ну, обещай, дай слово, скажи: лягавый буду — из коммуны не уйду, — предложил он Накатникову.

Тот охотно поклялся. Побожиться перед «лягавым», хотя бы самой страшной уголовной клятвой, он считал ни за что. Разве могло это помешать ему уйти при первой оказии?

— Вы живете в Советской стране, — продолжал Погребинский. — Нашей целью является не наказанье, а исправление преступника. Вы еще молоды, перед вами целая жизнь. Что вам дает воровство? Ночлежку, кокаин, сифилис, тюрьмы. Коммуна откроет вам выход в мир. Может быть, в тебе сидит математик или инженер, — посмотрел он на Накатникова, — а ты по окошкам лазаешь. Сами себя обкрадываете вы — вот что.

Накатников против воли представил себя на минуту инженером, и ему стало смешно. Вот бы этаким фрайером с молоточками в дорогомиловскую ночлежку явиться! Разговор в конце концов получился не лишенный занимательности. Не будь это работник ГПУ, с ним можно было бы приятно поболтать.

— Ну, так, значит, поладили, — заключил Погребинский. — Готовьтесь к коммуне. Через недельку поедете туда жить.

Он встал и, постукивая согнутым пальцем по столу, внушительно повторил:

— Ну, помните же, идете в коммуну по своей воле. Так смотрите же, не подводите, я за вас отвечаю, как за себя.

В камеру парни вернулись немного взволнованные. Предложение все-таки всколыхнуло смутные надежды, которые каждый оставлял при себе. Разговаривали об инциденте не иначе, как с насмешкой.

— Зафоловать хотят, гады, — небрежно бросил Васильев, валясь на нары. — Да только зря разоряются. Рылом не вышли, чтобы дорогомиловских разуму учить.

Помолчав, он прибавил:

— Посмотрим, что у них за коммуна такая…

— А разве ты туда собираешься? — удивился Накатников. — Утечь-то, надо думать, и по дороге можно…

— А оттуда нельзя, что ль? Удрать всегда успеем. Что нам, малярам? Понравится — поживем, не понравится — уйдем! Сам же говорит — по своей воле.

На этом и порешили.

Новоселье

На платформу дачного полустанка высадились необычные пассажиры. Они моментально подобрали все окурки, валявшиеся на путях. Это приехал в Болшево детский дом имени Розы Люксембург.

— Дети, зачем всякую дрянь в рот берете? — убивалась тетя Сима, воспитательница детдома.

— С новосельем угостила бы нас «Ирой», — огрызнулся

Умнов, низкорослый шестнадцатилетний парень.

— Маленьким вредно курить!

— Бог подаст за такие разговоры…

Местная публика с любопытством присматривалась к гостям.

— Погулять приехали? — вежливо спросил степенный мужчина, давая прикурить Умнову.

— На постоянное жительство, — не без достоинства ответил Умнов. — Заходите по соседству — с приятным человеком приятно познакомиться…

— В совхоз ГПУ беспризорников пригнали, — объяснил какой-то «знающий» гражданин в сдвинутой на самый затылок мятой кепке.

— Теперь держись, мужички, курочек пощупают!

Выйдя на дорогу, проложенную в старом еловом лесу, ребята разбежались. Спокойный важный лес, полный острых запахов и птичьих голосов, манил их. Под каждым пнем им чудилось по грибу. На каждом дереве — птичье гнездо. День был безоблачный, и в темном лесу кое-где золотыми брызгами падали солнечные лучи. Тете Симе, чтобы не остаться одной, тоже пришлось свернуть с дороги в лес. Стараясь удержать ребят около себя, она рассказывала им, что прежде эти места принадлежали фабриканту конфет — Крафту.

— В революцию фабрикант Крафт сбежал за границу. В его имении ГПУ организовало свой совхоз. А теперь здесь будете жить вы…

Окруженный хвойными деревьями, возвышался серый бревенчатый дом, покрытый ржавой железной крышей. В подслеповатые тусклые окна заглядывала из палисадника пышная зелень. Напротив, через дорогу, поблескивали стеклами ровные ряды оранжерей и парников. Еще дальше виднелись приземистые усадебные строеньица и запущенный, обсаженный плакучими ивами и сиренью пруд. Вправо от пруда раскинулся липовый парк, влево — сад, узловатые длинные ветки старых яблонь гнулись под тяжестью плодов; от сада ненаезженный проселок уводил к выгону, за которым ютились под соломенными крышами неприглядные избы деревеньки Костино.

Воспитанников встретили Погребинский, Мелихов и еще какой-то обрюзгший мужчина.

Погребинский уже успел познакомиться с ребятами. Несколько дней тому назад он пришел в детдом, собрал их в столовку и спросил:

— Надоело коробки клеить?

— Надоело, — весело ответили ребята.

Они уже ожидали от гостя чего-то забавного и в то же время

значительного.

— На вокзал хочется? — продолжал гость.

Ребята притихли. Многим этот вопрос показался щекотливым. Наконец один нашелся и не без удали ответил за всех:

— Захочется, тебя не спросимся…

— Как тебя зовут-то? — спокойно полюбопытствовал Погребинский.

— Котов!

— Прогадаешь, Котов, — и Погребинский лукаво посмотрел на остальных ребят, точно они были его сообщниками.

— Ты не волынь — не с маленькими разговариваешь, — отрезал Умнов.

Погребинский вгляделся в его худенькое, сосредоточенное лицо. «Кажется, дельный мальчуган», подумал он.

— Ну что же, волынить не будем! — и он подошел к ребятам Поближе.

— Есть у нас с товарищем Мелиховым предложение — людей из вас сделать…

— Придет время — сами сделаемся! — ухмыльнулся Котов.

Мелихов, заведующий детдомом, строго посмотрел на Котова, потом и на всех ребят. Ребята присмирели.

— Хочется нам из вас столяров, кузнецов, слесарей, сапожников сделать, — продолжал Погребинский, не обращая внимания на остроты Котова. — У тебя отец-то кем был? — неожиданно спросил он Умнова.

— Шофером…

— Профессия дельная… Погиб?

— Да, — сказал Умнов.

Участие этого чужого человека к отцу польстило ему.

— А мать?

— А мать, как увидала мертвого, тут же и умерла от разрыва сердца.

— С тех пор ты и бродяжничаешь?

Этот вопрос задел Умнова за больное место. Он давно уже затаенно мечтал о «настоящей» спокойной жизни, завидовал всем, кто жил ею. И поэтому он, охотно отвечавший на вопросы Погребинского, пока разговор шел о родителях, теперь вдруг озлился и крикнул:

— Ребята, поп пришел! Исповедует! Федор Григорьевич, где будем причащаться-то?

— В коммуне! — невозмутимо сказал Погребинский.

— В какой такой коммуне? — спросил Котов настороженно.

— Разве я вам еще не рассказал? Ну, так слушайте…

И ребята узнали, что их детдом предполагается перебросить из Москвы в Болшево.

— Вы там сами себе хозяева будете, — говорил Погребинский. — Заведете мастерские — заказчики к вам ходить будут. Будете деньги зашибать. Трудовая-то копейка — слаще ворованной… Едем?

Ребятам это предложение понравилось. Жизнь в Болшеве им рисовалась в розовых красках. Одним — Умнову и его друзьям — понравилось, что они будут налаживать хозяйство в коммуне, другим — это были в большинстве товарищи Котова — нравилась предстоящая вольготная жизнь, и коммуна в их представлении походила на веселый шалман. Котовцы, смеясь над Умновым, дразнили его «скопидомок», и Умнов, разозленный, неоднократно бросался на Котова с кулаками.

— Ну, ты еще не дорос до моих зубов, — снисходительно отпихивал его от себя Котов.

Но эти ссоры никому не мешали ожидать с нетерпением переезда. Стены детдома теперь казались постылыми. Ребятам было уже тесно и нудно здесь. Их безудержная фантазия наделяла будущее болшевское житье несбыточными и маловероятными обстоятельствами. Здесь были и охота на диких уток с ночевками на болоте и амуры с пышными молочницами… Иные же мечтали о том, что будут служить в ОГПУ и станут щеголять в галифе и хромовых сапожках. Все чувствовали себя приподнято, понимали, что их жизнь ломается, и это каждого заставляло думать о будущем…

Погребинский и Мелихов были настроены радостно. Они давно и нетерпеливо поджидали ребят; Погребинский был доволен, что ему так хорошо удалось подобрать место для организуемой коммуны.

Новое большое дело начиналось, повидимому, в благоприятных условиях.

Мелихов всегда мечтал о педагогических опытах большого размаха.

Планы организации трудовой коммуны правонарушителей захватили его. Погребинский неоднократно говорил ему, что в будущей коммуне необходимо поставить правонарушителей в такие условия, чтоб воспитанники по-настоящему работали. Не пичкать их трудом по рецепту, точно лекарством, а сделать труд таким же естественным содержанием жизни коммунара, каким он является для всякого пролетария в Советской стране. Он говорил, что не будет толку от навязывания бывшему вору учебы, политграмоты и газеты, когда еще одно упоминание об этих

вещах вызывает у него ярость.

Ключ успеха лежит в уменье создать такие условия, чтобы вкус к знанию возникал у коммунаров из нормальных потребностей их жизни.

Когда Мелихов слушал эти доводы, они казались ему неотразимыми, и он сам шутил над оранжерейной практикой некоторых известных ему колоний для беспризорных. Но когда он представлял себе, как это все будет на практике, то получалось менее ясно.

Со своими воспитанниками он, конечно, справится, но как обернется дело по перевоспитанию «урок»-рецидивистов? И он с тревогой думал о том дне, когда к его воспитанникам пришлют настоящих матерых воров. Порой ему казалось, что «урки» разбегутся, сманив детдомовцев. А он любил своих ребят, болел за их судьбу… Как-то все это сложится?

Ребята окружили Мелихова и Погребинского.

— Ну, знаешь, местечко — что надо, — сказал Умнов, здороваясь с Погребинским.

— Нравится? — засмеялся Погребинский. — Это вот хозяйство! Смотрите: пруд! Жареными карасями обеспечены. Ловите, Не ленитесь. А вот и оранжерея и фруктовый сад. Эх, яблочки-то, как футбольные мячи! Хорошо хозяйство? То-то. А то завели поросенка Машку — нос задрали: мы, дескать, настоящие хозяева!

Поросенок Машка уже мирно бродил под елками, пытаясь розовым пятачком вывороти корневище. Имущество детдомовцев лежало в лопухах у крыльца низенького деревянного Домика с порыжевшими наличниками окон. Котова не было — он осматривал окрестности. Ребята алчно посматривали на фруктовый сад, на пруд, на таинственные оранжереи. Хотелось как можно скорее все пощупать, посмотреть, попробовать. Незнакомый толстый мужчина хмуро и недружелюбно слушал Погребинского.

— Вы все же здесь не особенно хозяйничайте! Яблоки-то еще не созрели! — сказал он вдруг сердито.

— Это что за пузо? — нарочно громко и как можно оскорбительнее произнес Умнов.

Мелихов строго остановил его:

— Не груби, запомните все, вы — коммунары. Вы должны быть вежливыми! Познакомьтесь, — кивнул он на толстого, — товарищ Медвяцкий, заведующий хозяйством.

Ребята, гримасничая, по очереди пожали руку Медвяцкому.

— У тебя что же, здесь везде «висячки» присобачены? — спросил Медвяцкого Почиталов.

— Не понимаю, — брезгливо сказал Медвяцкий.

— Он не понимает! — весело крикнул Почиталов, и все остальные ребята, хохоча и кривляясь, закричали, показывая пальцами на завхоза:

— Он не понимает!!!

— Ну ничего, дядя, мы к «висячкам» «мальчиков» подберем, — успокоил Умнов смущенного Медвяцкого, и ребята, довольные своей шуткой, пошли разыскивать Котова. Все они были уверены, что непременно найдут его в фруктовом саду.

Медвяцкий вот уже два года заведывал совхозом. Он привык здесь к спокойной и сытой жизни. Теперь он чувствовал, что его спокойствию пришел конец. Он был зол и на Погребинского и на Мелихова.

— Врагов наживете здесь, — сказал он им.

— Каких врагов?

Медвяцкий кивнул по направлению к деревне Костино, крайние избы которой вплотную примыкали к постройкам совхоза.

— Ваши сорванцы ведь никому покоя не дадут.

— Мы привыкли с врагами встречаться, — ответил Погребинский.

Медвяцкий не нашел ответа и, недовольный собой, медленно пошел к деревне. Там у него были дружеские связи. До последнего часа он еще надеялся, что затея с коммуной лопнет, как дождевой пузырь, что в Москве передумают и все останется по-старому. Но вот банда приехала, а вскоре жди новую. Что же теперь — уходить с насиженного хлебного места?

В Костине уже прослышали о приезде «жуликов». В избе своего приятеля Савина, по кличке «Купить-продать», Медвяцкий нашел компанию встревоженных мужиков.

— Поздравляю трудовое крестьянство, — сказал Медвяцкий.

— С чем бы так? — поинтересовался богатый мужик Разоренов.

— Значит, верно?.. Приехали?.. — тихо и вежливо произнес «Купить-продать».

— Приехали бандиты, — сказали сердито оба сразу — братья Немухины.

— Не бандиты, а правонарушители, — протянул Медвяцкий. — Советская власть их думает перевоспитать, — наставительно добавил он и строго посмотрел на Немухиных.

— Не воры, а душители, — ухмыльнулся Разоренов. — Несовершеннолетние эти мазурики у нас все вверх ногами повернут, всех обокрадут, да и вам, Владимир Григорьевич, в рот заедут, — продолжал он, обращаясь то к мужикам, то к

Медвяцкому.

— Век прожил, а никто пока не заезжал ко мне в рот, — возразил Медвяцкий.

— Что же они, без решоток будут? — любопытствовали мужики.

— Без решоток! — подтвердил Медвяцкий. Он помолчал и добавил: — Работать будут!

— Не способен вор работать, — убежденно сказал Разоренов, — пропащий народ!

— Может, это какие получше? — с надеждой спросил Мишаха Грызлов.

— Добра не будет, добра не предвидится, — твердил Савин.

— В революцию бы сжечь это проклятое имение! — сказал Грызлов.

В избу бурей ворвалась бабенка Карасиха. Ее не по годам моложавое лицо было заплакано.

— Ты что, Настасья? Или что попритчилось? — спросил Разоренов.

— Пошла я в лесок около совхоза, — с плачем тараторила Карасиха, — и вот окружили меня эти ворюги: «Бабушка, слышь, узелок-то с петушком у тебя улетел». Какая я им бабушка, охальники!..

— Да стой… говори толком. Какой петушок, какой узелок?

— Петушка-то я придумала, чтобы ладней с ними говорить… Петушок, мол, у меня пропал, не видали ли. А узелок мой они в это время из-за пазухи и вытащили.

— Уголовство! Грабеж! — внушительно сказал Разоренов. — Сколько взяли?

Карасиха перестала плакать. Она окинула пристальным взглядом мужиков. Узелок ее и теперь грелся на тощей груди. Ребята и в самом деле было вытащили его, но тотчас же вернули, довольные тем, что поразили тетку ловкостью своей «работы». Под взглядом Разоренова Карасиха почувствовала, что мужики ждут большего.

— Червонец вытащили, окаянные, — нерешительно сказала Карасиха. — Мужики, — притворно всхлипывая, воскликнула она, — что я вам скажу — это еще не воры, а ворята. Настоящие-то воры впереди. Со всей Москвы собирают, самых отпетых.

Мужики угрюмо молчали. Карасиха, довольная произведенным впечатлением, сложила на груди руки.

Медвяцкий поднялся.

— Баба верно сказала, — подтвердил он, — скоро из Бутырок бандитов пригонят.

Потом он надел шапку и ушел из избы.

— Вот что, старики, — решил, наконец, Разоренов, — это все — местная власть. Все она допускает. Хоть в могилу ложись. Бандюков и воров надо на цепь сажать, а они на крестьян их напустили. Главное начальство, может, и слыхом не слыхивало про это безобразие… Давайте бумагу писать Михал Иванычу. Он им окоротит руки с этой коммуной.

— Уберут враз!

— Пиши!

Разоренов задумался. Может, тут и не местная власть. Может, она, местная-то, и сама не рада. А тогда у кого защиту искать? Э-э… была не была… Хуже-то некуда!

— Пиши, пиши, — ободрял его «Купить-продать».

— Настасья! — сказал Разоренов, — обойдешь по дворам, кликнешь мужиков, слышишь? Мы тебе по гривеннику соберем за твою работу.

— Как ласточка, облетаю, — согласилась Карасиха.

Вечером, охорашивая свой новый уголок, тетя Сима обнаружила пропажу дневников. Взволнованная, она побежала к Мелихову.

— Я брошу все, я уеду… Они истерзали мое сердце!..

— Что еще за беда стряслась? — спросил Мелихов.

— Они украли у меня самое интимное.

Тетя Сима так расстроилась, что упала на стул и зарыдала, Мелихову было не до женских слез и не до утешений. Он сам был угнетен событиями сегодняшнего дня. Первый день жизни коммуны был для Мелихова тяжел и горек: распрощавшись с детдомом, ребята забыли про дисциплину, самовольничали и не проявляли никакой склонности к трудовой жизни. Даже самые отзывчивые воспитанники, как Умнов и Почиталов, отбились от рук. Несмотря на настойчивые призывы Мелихова никто из ребят не захотел сегодня вымыть полов в своих комнатах. А Умнов неожиданно ответил Мелихову совсем не свойственной ему фразой: «Работа дураков любит».

Обстоятельства осложнились еще тем, что Медвяцкий прислал на обед прокисшее молоко. Ребята, поскандалив, перебили всю посуду. На все это Мелихов готов был махнуть рукой. «Пройдет несколько дней, — рассуждал он, — и все уладится». Всего же больше его расстроило сообщение Медвяцкого, что воспитанники обокрали деревенскую женщину.

— Мужики волнуются, — многозначительно говорил Медвяцкий. — Знаете, деревенский народ скор на расправу. Эх, сидеть бы вам в Москве. Все было бы тихо-мирно.

Мелихов и до этого знал, что костинские мужики смотрят на

то, что делалось в совхозе, косо. В ограбление женщины ему не верилось, но самый факт появления этого слуха говорил о недоброжелательстве и злобе. Все это угнетало Мелихова, и он готов был с сожалением вспомнить о размеренной московской жизни. Рыдания тети Симы были последней каплей, переполнившей чашу.

— Да говорите же, наконец, что там стряслось? Убили? Подожгли? Разбежались? — крикнул в раздражении Мелихов.

— У меня украли дневники, — сквозь рыдания проговорила тетя Сима.

— Фу, чорт!.. — не сдержался Мелихов, но тотчас же овладел собой. — Да что вы, право, плачете, — говорил он тете Симе, стараясь загладить свою грубость, — дневники… Эка важность!.. Не слишком уж великая утрата!..

— Ну ладно, пойдемте выручать, — предложил он, чтобы утешить тетю Симу.

В иное время, в иной обстановке он отнесся бы к этому факту иначе, но после всех огорчений сегодняшнего дня история с дневниками казалась ему совсем невинной.

Они пошли в спальни. Усталые ребята сидели вокруг настольной керосиновой лампы. Ночь была теплая, и окна были открыты. Котов что-то читал вслух ребятам. Он читал, смакуя каждое слово:

«Нашла подход. Поняла сердце малолетнего преступника».

— Это вы — преступники, — объяснял Котов слушателям, и те счастливо ухмылялись. Для многих из них это было первое по-настоящему увлекательное чтение.

«Котов — сорви-голова, но любит материнскую ласку».

— Лет шестнадцати девчонки, — добавлял от себя Котов.

«Я убеждена, что сделаю его кротким и нежным…»

— Котыч, не зевай! — восхищенно кричали ребята. Котов подморгнул — дескать, сообразим!

«Умнов молчалив, упрям, — продолжал он чтение. — Из него выйдет мыслитель. У Котова чистые, голубые глаза…»

— Дура, глаза описывает! — Котову чем-то сильно не понравилась такая характеристика его глаз.

Увлеченные ребята не заметили, как вошли Мелихов и тетя Сима.

— Что это вы читаете? — неожиданно для всех задал вопрос Мелихов.

— Сочинения тети Симы, — невозмутимо ответил Котов. — Федор Григорьевич, тут и про вас есть — хотите прочту?

Тетя Сима вскрикнула и бросилась на Котова, но тот ловко отскочил и, приподняв рубаху, сунул тетрадки за штаны.

— Не мучьте! Отдайте! — умоляла тетя Сима.

— А сделаете меня нежным? — спросил Котов вкрадчиво.

— Тетя Сима, а какие у меня глаза?

— А я кто — мыслитель или дурак? — интересовался Почиталов.

Тетя Сима упала на подоконник и закрыла руками лицо. Умнов, до сих пор молча сидевший за столом и с удовольствием слушавший чтение Котова, теперь гневно крикнул:

— Ты подлец, Котов! Какое ты имеешь право чужие секреты воровать?.. Отдай!

Котов выразительно показал кулак. Но Умнов был не из робкого десятка. Он подскочил к Котову и вцепился в его рубашку. Котов быстро подмял его.

«Еще перережутся из-за этих дневников», подумал Мелихов.

На помощь Умнову бросилось несколько человек.

Мелихов крикнул:

— Разведите их!.. Чтобы этого безобразия не было!

Его послушались. Через несколько минут тете Симе вручили измятые тетрадки. Котов — его изрядно помяли — выбежал на улицу, и оттуда в окно донесся его крик:

— Пиши завещание, Умнов! Нынче худо тебе будет!

Тетя Сима, овладев своим сокровищем, поспешила к себе.

Мелихов остался с воспитанниками. Они держались теперь как виноватые. Он долго дружески пенял их за все сегодняшние скандалы. Вспомнил он и про ограбленную бабу.

— Мы не грабили, мы ее только попугали, — признавались со смехом ребята.

— Разве так можно пугать? Нам нужно держать ухо востро, — говорил Мелихов. — Мужики вас боятся и ненавидят. Вы для них жулики. А нужно заслужить у них доверие. Вот вы пошутили, а разве вам поверят?.. Не узелки воровать да старух пугать — наше дело, а наше дело — хорошо работать, вот тогда нам от всех будет доверие.

…Ночь для Умнова была неспокойная. Он имел все основания всерьез отнестись к угрозе Котова. Умнов лежал под одеялом и прислушивался к каждому звуку. Где-то тоскливым басом ревел бык. Бойко простучала колотушка. На колокольне отсчитывали полночь. Дремота одолевала Умнова. Грезилось детство. Тогда он спал крепко, беззаботно. Отец и мать не давали в обиду маленького Сашу. Ему казалось, будто он бежит по рынку с куском сырого мяса. «Держи жулика», кричат со всех сторон. Кто-то подставляет «ножку», Умнов падает вниз лицом на мостовую. Мясо валяется в грязи. Умнова топчут сапогами, бьют палками, гирями…

Больно! Страшно! Он открывает глаза и думает: «Это меня Котов бьет». Но в спальне тихо. Нет, он не должен, он не будет больше спать.

Все ненавистное, полное слез и похабства беспризорное прошлое воплотилось сейчас для него в Котове. Он не дремал больше. Он напряженно ждал врага. И когда Котов, босой, в изорванной рубашке тихо вошел в спальню, Умнов был вполне готов к защите…

Котов подкрался к кровати. Умнов со всего размаху ударил его ногой. Котов ахнул и присел рядом с кроватью, держась обеими руками за живот.

«Видали мы приюты!»

По тюрьме ползли слухи. Известия об организации коммуны, пока еще сбивчивые и неясные, возбуждали страстные разговоры. Паханы и воры с меньшим стажем держались единодушного мнения:

— Поиграть захотела ЧК и обожжется.

В двенадцатом номере новость эту обсуждали целый вечер.

Днем вызывали нескольких молодых карманников. Один сразу согласился итти в коммуну. Теперь он стоял перед Шпулькой, страстным ругателем, и глупо улыбался. Старик осыпал его, язвительными насмешками.

— Куда ты лезешь, дурачок? — говорил он презрительно. — Семь шкур будут с тебя драть, до черного поту. Ссучишься разве, а тогда, сам знаешь, — пропал! Видали мы эти дела. Похуже Рукавишниковки будет.

«Рукавишниковкой» старики пугали уже не в первый раз. Кто-то из молодых поинтересовался, что же там было. Шпулька поманил к себе стоявшего поодаль невысокого толстяка.

— Иди-ка сюда, Чурбак! Расскажи, как тебя в Рукавишниковском уму-разуму учили.

Чурбак любил, когда его слушали. Он сел поудобней, снисходительно оглядел молодых и неторопливо стал рассказывать.

Рукавишниковский приют для несовершеннолетних жуликов находился на Сенной площади, около Смоленского рынка, в мрачном двухэтажном здании.

Чурбак попал в приют перед самой войной, когда ему едва исполнилось двенадцать лет. Малый был толст, коротконог, тяжел и в первый же день получил кличку «Чурбак», крепко прилипшую к нему. Упрямством и кулаками он скоро заработал себе равноправие среди сверстников.

Рано утром будил пронзительный звонок. Отделение, смеясь, шумя, улюлюкая, бежало умываться.

Затем собирались на молитву. Надзиратель, судорожно шевеля бороденкой, читал привычные слова торопливым срывающимся тенорком. Сзади, сохраняя внешнее благоприличие, приютские воспитанники занимались, кому чем нравится. Шиворал и Миха Тертый выразительно показывали друг другу кулаки. Чурбак, как и все, вечно полуголодный, косился на дверь, чтобы одним из первых проникнуть в столовую.

После завтрака начиналось ненавистное торчание в классе. Приютские обычаи были суровы: мальчишка, пытавшийся учиться

всерьез, считался отступником, и такого изводили всеми средствами.

Чурбака определили в слесарную мастерскую. Ежедневно после обеда он отправлялся в полуподвальное низкое помещение, где стояли вечные сумерки. Высокий тощий мастер бродил среди ребят, как тихопомешанный. Насколько Чурбак помнил, он никогда ничему не учил, на самые обыкновенные вопросы отвечал, как на оскорбление, свирепым рыком и толчками. Но бывали дни, когда мастер неожиданно впадал в страдальческую слезливость.

— Ну, что ты делаешь? — спрашивал он плачущим голосом, подходя к какому-нибудь ученику. — Разве так рубят? Разве так молоток держат? Утопиться от вас мало. Замучили. Затиранили!

Мастер хватался за голову, так и не объяснив, в чем собственно дело, и бежал по мастерской, сея вокруг непонятные жалобы.

В приюте его звали «Малахольным».

В мастерской делали почему-то одни утюги. Чурбака посадили на обрубку. Год с лишним малый стучал молотком и не знал, куда деваться от скуки. Нередко мастер грозился:

— Ну, ты смотри, Чурбак! Баловать будешь — в медницкую переведу!

Медницкая шла у воспитанников за каторгу. Перевода в медницкую побаивались даже самые отчаянные из ребят.

Чурбак стучал молотком и с нетерпением думал о конце работы. Верстак, тиски, наваленные в груду утюги — все это вызывало тоску и отвращение. Малахольного он ненавидел. По звонку Чурбак бежал из мастерской первым.

По вечерам, после ужина, когда воспитанникам полагалось спать, начиналась настоящая жизнь. Докуривали исподтишка наворованные в учительской окурки, играли в карты, рассказывали похабные истории. Загибали кому-нибудь салазки, т. е. гнули какого-нибудь малыша в три погибели, спящих поливали из кружки водой и поднимали насмех. Били, сговорившись, «в темную» лягавых.

До приюта Чурбак воровал случайно и неумело, здесь же его стали учить всем тонкостям ремесла. Возвращенные обратно бегуны рассказывали о кражах и весело проведенном времени. Рассказы возбуждали фантазию и жажду подвигов.

Вместе с Шиворалом Чурбак вылез как-то через форточку на крышу, оттуда спустился в сад, а из сада через забор на улицу. Город спал, базарная площадь была безлюдна. Легко и свободно дыша, приятели свернули в ближайший переулок, и Москва проглотила их, как пылинки.

У Шиворала братья были опытными карманниками. Они ходили в розовых шелковых рубахах и в лаковых сапогах. Чурбака приняли в компанию и на следующий день повели на «деле». В трамвае неопытный Чурбак с трепетом наблюдал, как старший из братьев спокойно заворачивал поддевку какого-то купчика, тогда как другой толкался и лез мимо, отвлекая внимание. Спустя неделю обнаружилось, что Чурбак — вор вообще не из удачливых. При первой же попытке самостоятельно залезть в карман к какой-то необъятной бабище его поймали и здорово намяли бока. В следующий раз вместо бумажника он вытащил записную книжку.

Братья сказали напрямик:

— Работать с тобой нам не рука! Вора в тебе нет! Ищи себе другую компанию.

Чурбак спустился ступенькой пониже. На базарах он стал тянуть с лотков, обирать пьяных, при случае лез и в карман. Удачи не было. Вскоре его поймали и опять водворили к Рукавишникову.

На этот раз Чурбака, одаренного музыкальным слухом, начальство определило в приютский оркестр. Он дул в кларнет с наслаждением. Звуки будили в нем радостное волнение. Щеки его раздувались, глаза становились влажными, и вся его фигура выражала в такие минуты блаженство. Но даже музыка не могла скрасить серых и тягостных дней.

Как-то во время обеда заглянул сам Рукавишников. Это был известный богач, о котором по Москве ходили анекдоты. На базарах он бил у баб горшки и платил не считая. Скупал нательные кресты людей, наложивших на себя руки. В ресторанах мазал лакеев горчицей и давал баснословные суммы «на чай». Приют на Сенной площади был одной из таких его причуд.

Кругленький, пухлый человечек с огромной лысиной ходил между столами и сладко улыбался. Он торопливо крутил головой из стороны в сторону и высоко поднимал брови, словно раскрывавшаяся перед ним картина была полна чудес.

По случаю приезда «благодетеля» воспитанников кормили блинами со сметаной.

Чурбак макал в чашку блин и следил глазами за ненавистным толстяком. Он не мог бы сказать, почему этот человек возбуждал в нем яростную злость, но, глядя на него, чувствовал, как дрожат ноги. Лучезарный старик Рукавишников подсел рядом и ласково спросил:

— Ну, как, сынок, живется? Доволен ли? Хорошо ли кормят? Слушаешься ли воспитателя?

Вместо ответа Чурбак неожиданно для самого себя что есть силы шлепнул блином по сияющей лысине.

По розовому лицу потекли мутные жирные струйки. Старичок втянул голову в плечи и мелкой трусцой побежал к двери. Вслед, как по уговору, стаей полетели блины. Столовая выла, гремела, рычала и улюлюкала. Грохались об пол ложки, тарелки. В приюте часто вспыхивали такие на первый взгляд бессмысленные бунты. Чурбака качали как героя.

К вечеру его перевели в «Грачевку».

Непонятным этим именем назывался соседний с приютом дом, в верхнем этаже которого помещались карцеры. Властителями дома были Усан и Мося — люди страшные. Усан был тощ, высок и непомерно силен. Мускулистые его руки сжимали крепче тисков. Мося же был вдохновенно свиреп. Бил он людей с наслаждением, говорил же всегда тихо и даже умильно. Пороть начинал с причетами, а, выпоров, любил пофилософствовать.

— Ну что ж, друг, — вопрошал он, — сладка наука-то? Или, может, послаще хочешь? Ничего, милой, потерпи! Без лозы никакое учение нейдет. Вырастешь — благодарить будешь.

Мося и Усан били Чурбака скрученными полотенцами. Пять дней Чурбак лежал в карцере пластом. Выйдя через месяц из «Грачевки», он долго не мог забыть полученной там «науки».

Через два года у Чурбака кончался срок.

Не чувствуя большой склонности к воровству, малый помышлял о работе музыкантом.

И вот Чурбак с рекомендацией приютского воспитателя явился к предпринимателю.

Его встретил рыхлый бородач с припухшими от запоя глазами.

— Ну, ладно, — сказал он, — придется тебя поддержать. Я дам тебе кларнет и отправлю с оркестром в Орел. Потом сосчитаемся.

Чурбак не знал, что между приютским начальством и бородачом Калгановым существовал договор о поставке дешевой рабочей силы. Получив кларнет, денег на железнодорожный билет и рубль на харчи, он уехал в Орел.

Работа музыканта оказалась значительно тяжелее, чем он предполагал. Дни поглощались бесконечными репетициями, вечера — публичными выступлениями. Свободного времени не было ни минуты. Жалованье на руки не выдавалось. Из хозяйских рук время от времени перепадали гроши, которых нехватало на самое необходимое. Ютился Чурбак на постоялом Дворе, питался в «обжорке». В сизом махорочном дыму среди беспорядочного говора и брани он наскоро глотал подогретые щи и побольше налегал на хлеб. Водкой по бедности Чурбак «баловался» редко.

Жизнь проходила стороной. По вечерам к летнему саду, где Чурбак играл в оркестре, подкатывали лихачи. Из высоких колясок выпархивали нарядно одетые женщины в сопровождении подгулявших купцов. Звучал смех, мелькали улыбки. В ресторанах звенела посуда и метались от столика к столику официанты. Чурбак мрачнел и старался не замечать окружающего.

Радостью изобиловала жизнь только для немногих избранных. Чурбак был молод. Ему хотелось прокатиться на лихаче или сесть за опрятный ресторанный столик и потребовать хороший ужин. Девичий смех будил в нем тревожное волнение. Но он был прикован к своему кларнету, точно каторжник к тачке.

После трех месяцев работы он возвратился в Москву без копейки в кармане. На трамвайной остановке Чурбак встретился с приятелями по приюту. Их сапоги и шелковые рубахи ослепляли новизной. Чурбаку стало стыдно своего изношенного пиджака и порванных ботинок. Он прятал за спину узелок с бельем и виновато улыбался.

— Ну, каково живешь, браток? — спрашивали его. — Чем промышляешь?

Простодушный Чурбак честно рассказал о своей работе.

— Ну и чудак же ты, Чурбачище! — откровенно посмеялись над ним.

С ним внезапно заговорили снисходительно и насмешливо, издеваясь, как над мальчишкой. Чурбак избегал глядеть в глаза собеседников, и в его груди накипала обида.

Приятели толкались у остановки не зря. Они «торговали» какого-то генерала, солидного, тучного.

— Придержи! — шепнули Чурбаку.

Чурбак «придержал», мешая генералу пройти в дверь вагона. Пользуясь толкотней, товарищи сделали свое дело.

Через час все они вместе с Чурбаком сидели в шалмане за столом, уставленным снедью и бутылками. На долю Чурбака пришлось свыше двухсот рублей. Полупьяный Чурбак смеялся над своим музыкантством.

С годами он стал опытным «ширмачом».

— Значит, ежели коммуна на Рукавишников дом похожа, так для нашего брата вроде университета выходит… — со смехом сказал бойкий молодой парень.

— Как раз, — одобрил Чурбак.

Он похлопал собиравшегося в коммуну паренька по широкому деревенскому плечу:

— Ишь, уши развесил! В коммуне посидишь, небось, губы-то подберешь. Там, брат, научат насчет картошки дров поджарить.

Старый Шпулька повторял:

— Видали, видали мы приюты!

Отправка

Сергей Петрович Богословский направился на Лубянку. Он шел и думал, что хорошо и правильно поступил, решив приняться за живое благодарное дело.

Трудности работы теперь меньше пугали его. Как врачу, ему случалось не раз сталкиваться с беспризорниками в провинции, молодые воры — это, должно быть, почти то же самое.

Погребинский разбирал у себя в кабинете груду чиненых ботинок.

В углу, на кожаном кресле, высился ворох ношеной одежды. Пахло дезинфекцией.

— Вот готовлю женихам приданое, — сказал Погребинский.

Богословский сел в свободное кресло.

— Придут разутые, раздетые. Куда таких поведешь?

— Да, неказисты, — подтвердил Сергей Петрович.

— Ты их разве уже видал?

— Да мало ли их… Вот и сегодня видел на бульваре.

— Не знаю, кого ты там видел, но наперед тебе говорю: не обольщайся — народ трудный, колючий.

— Да, конечно, — неопределенно сказал Сергей Петрович и подумал: «Прошлый раз уговаривал, а теперь пугаешь… не страшно!»

— Надо тон уметь найти, — добавил он, ободряя себя.

— Это верно. Самое главное — правильный тон. У нас до сих пор думают, что надо этаким образом — ручки лодочкой и слезу пустить…

Вошел Мелихов. Он напоминал Богословскому украинского «батьку», каких немало повидал Сергей Петрович за свои скитания по фронтам.

— Прибыли, — сказал Мелихов и широким жестом указал на кого-то в коридоре.

В комнату вошли толпой шесть человек. Это была первая партия, направляемая в коммуну. За ней должны были последовать другие. Среди вошедших находились Косой и Накатников.

— Ничего живешь, — по-хозяйски определил небольшой шустрый парень с бегающими глазами.

Другие его звали Малышом. Сергей Петрович, как ни старался, ни разу не мог поймать его взгляда за все время разговора. Накатников отошел к затемненному углу и важно

стоял, покусывая губы.

Косой оглядывал комнату.

— А ты, правда, чудак! — сказал он Погребинскому. — Я думал, ребята клеят.

— Чем же я чудак?

— Толковый. Сколько припас коней! Поди, для нас? Видишь, форс у меня какой?

Парень задрал босую ногу и положил на стол.

— Грязная нога, — согласился Погребинский. — А со стола ты ее убери. У меня тут бумаги лежат, пачкать нельзя.

Косой снял ногу, пощупал лежавшую на столе раскрытую кожаную папку и подмигнул ребятам: кожа-то какая!

Сергею Петровичу стало не по себе. Он достал из кармана коробку папирос. Вихрастый, веснущатый парень легко поднялся с дивана и одним прыжком очутился рядом с Сергеем Петровичем:

— Не смею вас обидеть.

Он шутовски раскланялся, бесцеремонно запустил руку в коробку и воткнул папиросу себе в рот. Второй, с неприятным острым лицом, последовал его примеру. Сергея Петровича окружили. Он стоял с пустой коробкой в руках. Парни быстрыми, незаметными движениями рассовали папиросы по карманам.

Сергей Петрович подумал, что допускать панибратства нельзя. Он нахмурил брови.

— Вы это что же? — сказал он решительно и строго. — Хотите курить — попросите, а хватать из чужой коробки это все равно, что влезть в карман. Пора бы вам отвыкать.

— Гуляев, дай ему своей махорки, пусть не скулит, — презрительно сказал Малыш, обращаясь к угрюмому плечистому парню, равнодушно посматривавшему на всех.

— Это что за фрайер? — опросил Малыш Погребинского, указывая на Сергея Петровича.

— Жить с вами будет. Доктор. В случае заболеете — будет человек, который поможет. Вы с ним подружитесь, — сказал Погребинский. — Ну, снаряжаться — так снаряжаться. Вот примерьте ботинки, кому нужны.

Все шестеро ринулись к куче башмаков. Они долго рылись, примеряли, откидывали и опять хватали.

Сергей Петрович с беспокойством наблюдал за своими будущими «пациентами». Поистине таких ему приходилось встречать впервые.

Обувшись, парни садились с размаху — кто в кресло, кто на кожаный диван. Накатников все стоял, не примыкая к общей компании.

Веснущатый дольше всех возился с башмаками. Ботинки пришлись ему по ноге, но зашнуровать их было нечем.

— Ну и хреновые башмаки. В футбол не поиграешь! Что ж, у тебя веревочки даже нет? Как без шнурка ходить?.. — обрушился он на Погребинского и прошелся по комнате, нарочно громко шлепая башмаками.

Малыш предусмотрительно отобрал себе три пары — запасные висели через плечо.

Погребинский позвонил. Вошел сотрудник.

— Принесите веревку тонкую — ботинки подвязать, — приказал Погребинский.

— Куда ехать? Скоро, что ли? — допрашивал веснущатый Погребинского.

— Подожди! Мне поговорить с вами надо.

— Думаешь, небось, купил за пару башмаков? А вот я посмотрю, далеко ли летит твое добро.

Веснущатый широко взмахнул парой ботинок, прицеливаясь в закрытое окно.

— Не дури, стекло разобьешь, — сдержанно предупредил его Мелихов.

«Разобьет», подумал тревожно Богословский, делая движение к окошку. Взгляд и усмешка Погребинского остановили его.

— Что это у тебя с лицом, — внезапно крикнул Погребинский, и глаза его испуганно расширились. — Доктор, что у него с лицом?

Парень опустил башмаки и левой рукой схватился за щеку.

— Где? — обеспокоенно спросил он.

— Поди-ка ближе,

Погребинский стал внимательно рассматривать парня.

— Э, да это веснушки… — сразу успокоился Погребинский. — А я думаю — что такое? Посмотри-ка, Сергей Петрович, сколько веснушек!..

— Наладил: «Веснушки, веснушки!» Ну и что с того, что веснушки?

Парень раздосадованно отвернулся.

— Вот и рассердился, — с сожалением в голосе укорил Погребинский.

Малыш решительно подошел к окну.

— Ты говори делом. Зачем в коммуну-то везешь? — сердито сказал он. — Небось, очки нам втер?

Можно было подумать, что Накатнвков все время только и ждал этого вопроса. Он вдруг сорвался с места и тоже подбежал к Погребинскому:

— Довольно темнить, говори толком!

Погребинский внимательно измерил его взглядом:

— Горячий будешь.

— Да уж такой…

Погребинский, вздохнув, спокойно произнес:

— Жалеем вас, сукиных сынов.

Все шестеро шумно загалдели:

— Пожалел волк кобылу!..

— Катитесь вы со своей жалостью…

Погребинский отступил на шаг и, спокойно наблюдая орущих ребят, ждал.

— Я предупреждал вас, что в коммуну каждый едет по добровольному согласию, — сказал он, когда шум прекратился. — Никто вас не неволит. Не хочешь — вали обратно: в Бутырки, в Таганку — куда угодно. Вольному воля… Вы ведь сами пожелали ехать.

— А там часовые ходят?

— Говорил и об этом: никакой охраны, полная свобода. Убедитесь сами.

— Что мы там будем делать?

— Работать будете, учиться будете. Надо вам только немного изменить свою жизнь: не воровать, не пить, в карты не играть, работать… Только и всего…

— Хорошенькое дело!..

— А разве вы лучше живете? За счет чужих карманов! Знаете, кто так живет? Буржуй, классовый враг. Что же, лучше быть дармоедом, захребетником? Ведь вы же не хотите, чтобы рабочие ненавидели вас? Ведь ваши отцы и матери сами были трудящиеся — может, и теперь работают? Что же, вы и впрямь им классовые враги?

Парни сосредоточенно молчали. На лице веснущатого выступил пот.

— Разве плохо быть хорошим слесарем или, предположим, сварщиком? — продолжал Погребинский. — У нас не заграница… У нас все в руках рабочего, у нас рабочий сам строит свое государство, сам строит свою жизнь… Что ж, по совести, не завидно вам? Не хотелось бы и вам быть вместе с ними?

Он помолчал немного, как бы чего-то ожидая. Малыш несмело хихикнул и ущипнул Косого.

— Поймите же, — вновь заговорил Погребинский, вскользь досмотрев на Малыша, — ребята вы не глупые. Разве мне нужна коммуна? Меня советская власть без работы не оставляет, кое-какое жалованьишко получаю, проживу… А вот связался же с вами. Для чего? Для вас! Вы думаете, коммуна — это дом, который оборудовали чекисты? Нет. Коммуна — это вы!.. Вы

будете ее строить… как и рабочие строят свою жизнь. Что сделаете, то и будет… Захотите — всего добьетесь! Сегодня вы самые худшие, а завтра, может быть, членами профсоюза сделаетесь, судимость снимется. Никто и вспоминать не станет, кем вы были когда-то. Что, не верите? Уж будьте спокойны, в этом мы вам поможем… Но только это нужно заработать, нужно, чтобы рабочий класс мог поверить вам!..

Погребинский пытливо изучал выражение лиц парней, проверяя впечатление от своих слов.

— А ты, дядя, заплачь! — неожиданно крикнул Малыш в тишине.

— Все трепишься! — холодно сказал Накатников.

Парень с острым лицом — его звали Чумой — повел головой, точно прогоняя дремоту.

— Пускай потрепится, — произнес он, цинично усмехаясь.

— Ладно, ехать пора, — сказал Погребинский.

Остроты парней не произвели на него никакого впечатления. Сергей Петрович посмотрел в окно. Над большим магазином «Шелковые ткани. Братья Токарь и Ко» горел яркий фонарь. Перед магазином на табуретке сидел сторож.

— Ну, до скорого свидания, — прощался Погребинский. — В субботу, а может быть, и раньше выберусь к вам. Посмотрю, как у вас пойдут дела. Ну, айда!

Мелихов пожал руку Погребинскому и первый вышел в коридор. Сергей Петрович догнал его.

— Как вы думаете, пойдут они с нами или кто куда? — тихонько спросил он.

— Пойдут, — сказал Мелихов, — насиделись досыта.

Сергей Петрович позавидовал уверенности Мелихова.

Ребята высыпали из кабинета. Позади всех независимо шагал Накатников.

Они вышли на площадь и свернули на скудно освещенную Мясницкую. Шествие возглавлял Мелихов, от него не отставал Сергей Петрович, сзади шагали вразбивку шестеро. Сергей Петрович несколько раз хотел оглянуться, но, видя, что Мелихов не оборачивается, смотрел с притворным равнодушием в стекла витрин. Там, в стеклах, парни то исчезали, то появлялись опять.

Богословский прислушивался к их непонятному разговору.

На углу какого-то переулка ему вдруг показалось, что ребята свернули в сторону. Он поискал глазами их отражение в витрине и споткнулся о выбоину. Кто-то насмешливо заметил:

— Окривеешь, доктор, если на магазины будешь коситься…

«Идут», обрадовался Сергей Петрович и, стараясь скрыть свое волнение, сказал вслух самому себе:

— И когда только починят? Сколько ям на улице…

У Мясницких ворот парни заметно стали отставать и задержались перед витриной кафе «Чашка чая», заставленной тортами, пирожными и соблазнительными стаканами кофе с пушистыми сливками.

— Опоздаем на поезд, — встревоженно сказал Мелихов и в первый раз обернулся. — В коммуне нас ужин ждет. Там все приготовлено.

— Ужин? — недоверчиво переспросил рябой.

Мелихов убедительно подтвердил:

— И какой!

Пошли, ускоряя шаг.

Мелихов хотел было повернуть к Красным воротам, но ватага дружно крикнула:

— Орликовым ближе, мы уж знаем!

Сергей Петрович понял, что парней потянуло пройти мимо «Ермаковки», мимо этого разгромленного, но все еще существующего шалмана. Огромный серый дом высился по левой стороне улицы. В открытых освещенных окнах, в пролетах лестницы виднелись люди.

Мелихов торопился:

— Быстрей, быстрей, к поезду опоздаем!

«А ведь и он нервничает», промелькнуло у Сергея Петровича.

Сзади слышался шопот. Пересекли грязную привокзальную площадь. На козлах дремали извозчики. Переминаясь с ноги на ногу, владельцы двухколесных тележек ждали пассажиров, ждали багажа. Поезда приходили еще с большими опозданиями.

Подымаясь по ступенькам вокзала, Сергей Петрович оглянулся. Парней осталось пятеро. Среди них не было шустрого Малыша.

Первый день

В комнате низко и тревожно гудел рояль; плохо пригнанные оконные стекла вторили ему ноющим звоном. Тускло горела керосиновая лампа, сдвигала темноту в угол, и, казалось, угла этого вовсе нет, а комната выходила прямо в ночь, в мокрые осенние поля.

Окно отливало черным глянцем. Леха Гуляев не видел в нем знакомых квадратов решотки. «Может быть, сетка с электрическим током», подумал он. Ему говорили, что в американских тюрьмах ставят такие сетки.

Гуляев был среднего роста, широкоплеч. Его светло-русые волосы гладко ложились назад, открывая большой лоб,

разрезанный глубокой морщиной. Маленькие светло-карие глаза смотрели строго, густые брови постоянно хмурились, толстые, плотно сжатые губы выпячивались вперед, и от этого он казался злым и угрюмым. Ходил он по-матросски — вразвалку, сурово поглядывая то в одну, то в другую сторону. Но самым примечательным у Гуляева были руки — короткие, толстые, будто вырубленные из дуба. Возьмет в свою широкую шершавую ладонь руку какого-нибудь приятеля, сожмет ее и смеется. А приятель морщится, приседает от боли. Сильные руки были у Лехи.

Он встал и тихонько пошел, подбираясь ближе к окнам, рябым от дождя. Сеток не было. Он пожалел, что не «дал драпу» по дороге в коммуну. Если решоток и сеток нет, значит, внешняя охрана — «по лягавому на каждый аршин» — решил он.

«Обман, — заключил он, и мысль эта наполнила его холодной злобой. — Все равно убегу».

У рояля толпились бывшие воспитанники детдома имени Розы Люксембург. Они рассказывали уркам о коммуне. Детдомовцы держались развязно и свободно, как хозяева, — это усилило обиду Лехи. Действительно, привезли — к пацанам каким-то.

По лицам товарищей Гуляев видел, что они так же презирают детдомовцев и недовольны их компанией, как и он.

— Спальни у нас две. Идемте покажем, — говорил Умнов.

— Сами найдем, — оборвал Накатников.

Чума подтвердил:

— Без вас обойдется.

Осминкин достал портсигар и, вытряхнув из него, пять папирос, раздал их товарищам. Кто-то из детдомовцев потянулся к портсигару. Осминкин намеренно ленивым движением закрыл его:

— Молод. Свои надо иметь.

Детдомовцы поняли, что воры не желают становиться на равную ногу с ними.

— Задаетесь? — ехидно спросил Умнов. — Приехали на готовенькое и задаетесь?

…Ужинали врозь. Воры чинно и тихо сидели за маленьким столом у окна. Пока в столовой был Мелихов — он ужинал вместе с детдомовцами, — за их столами тоже все было спокойно.

Урки удивлялись тому, что управляющий коммуной харчится вместе с воспитанниками. Что же, не мог бы он дома поесть один послаще? Но детдомовцы к этому уже привыкли.

Мелихов торопился. Он быстро съел свой ужин, сказал что-то тете Симе и ушел. Что тогда началось за столами детдомовцев!

Они визжали, дрались, гоготали, таскали друг у друга с тарелок куски. Взволнованная женщина унимала их. Гуляев, отложив вилку, долго слушал ее высокий, плачущий голос, следил за ее беспорядочной беготней. Наконец возмутился:

— Кабак какой-то!.. Зверинец!

— Шпана, — пренебрежительно сплюнул Чума. — Меня бы над ними поставили, я бы им объяснил.

Накатников солидно поддержал:

— Обучим — дай срок!.. Шелковые будут…

И не договорил. Огромная картофелина ляпнула в середину стола и разлетелась липкими горячими брызгами.

Гуляев побледнел, встал, вытер щеку и, не спеша, раскачиваясь, подошел к соседнему столику.

— Вы, — грозно сказал Леха — ярость и презрение перехватывали горло. — Вы, шпана. Ребра выломаю. Научу порядок знать!..

— Потише, — ответил Умнов, поднимаясь навстречу Лехе.

С грохотом сдвинув стол, воры встали все разом, готовые «объяснить» шпане правила приличия. Леха ткнул в грудь ближайшего детдомовца. Тетя Сима испуганно всплеснула руками, но драка не состоялась. Умнов промолчал. Гуляев вернулся к столу и сел доканчивать ужин.

Детдомовцы притихли. Не было ни визга, ни гогота за их столами. После ужина ни один из них не подошел к ворам. Гуляеву подбросили записку: «Если будешь задаваться — попробуешь ножа».

Леха усмехнулся; туда же, смеют грозить!

Ночью койка скрипела и визжала под его коренастым, сильным телом. Коммуна раздражала его. Он, как всякий настоящий вор, не любил беспорядка, шума и хулиганства. Ему приходилось подолгу жить в шалмане, в тюремных камерах, и там всегда был порядок — особенный, блатной порядок. Молодые воры уважали и слушались старших, никто не посмел бы там швыряться картофелем во время еды.

Еще больше возмущало Гуляева отсутствие часовых, замков и решоток в окнах. Он оценивал это как лицемерие и коварство. До сих пор, вероятно, и незачем было иметь здесь охрану — не эту же шпану караулить, в самом-то деле. Но кто поверит, что теперь, когда пришли такие люди, как они, выходы из коммуны остались попрежнему свободными? Обман.

Гуляев предпочитал Бутырки, где все понятно и дело ведется начистоту: есть решотки, стены, часовые, зато нет проволочных заграждений с электрическим током, автоматической сигнализации и прочих хитроумных и предательских выдумок, о

которых Леха вдоволь наслышался. Ему представилось, что, может быть, в коммуне нарочно устроено все так, чтобы толкнуть на побег, потом схватить, подвергнуть унижению и набавить сроки.

Он резко сел на кровать и спустил босые ноги на холодный пол.

— Все равно убегу, — сказал он шопотом.

За окном без решоток яростно сражались деревья, хватали друг друга сучьями.

Гуляев решил действовать осторожно и осмотрительно; ни в коем случае не бежать сразу, сначала подробно изучить систему внешней охраны.

Утром, фальшиво позевывая и потягиваясь, он вышел из дому. Моросил косой дождь; рябили под ударами капель лужи; порывами бил густой ветер, корежил деревья, скучно погромыхивал листом железа на крыше. Гуляев бродил вокруг дома, подбираясь все ближе к соснам. Потом он пошел тугим, пружинным шагом, готовый остановиться при первом же окрике. Никто не окликнул его. Миновал первую сосну, вторую, третью, и когда дом совсем скрылся — Леха замер, прижавшись к мокрому шершавому стволу. Сейчас лягавый или часовой выдадут себя каким-нибудь звуком; но гудели под ветром вершины сосен, мерно шипел косой дождь, и больше ничего не слышал Леха. В этом молчанье он чувствовал холодную и торжествующую уверенность врага. Он испугался и подумал: не вернуться ли, пока не поздно, в коммуну? Но вспомнил о ненавистных окнах, детдомовских ребятишках у рояля и пошел дальше, с вызовом похрустывая ветками, ожидая с минуты на минуту повелительного окрика «стой».

Выйдя из лесу, он остановился, пораженный мокрым лоском булыжника на шоссе. Рыжая лошаденка, широко расставляя задние ноги, тащила с натугой телегу, груженную бревнами. Рядом шагал мужик в полушубке морковного цвета, в расхлябанных ржавых сапогах. Голые просторные поля, синяя полоска леса, деревня и за ней — свобода, воля. Воля расходилась без конца на три стороны; она таяла в мягком сером тумане дождя, над ней шел пустой ветер с запахом сырой земли и хвои, низко шли тяжелые тучи.

Гуляев взглянул назад, в четвертую сторону — единственную, где не было воли. Недалеко, за тонкой сосной жался человек и никак не мог спрятать себя — предательски выдавались нога и локоть. Но Леха сделал вид, что ничего не заметил.

Он понимал, что бежать нельзя: лягавый, спрятавшись за деревом, выстрелит, а расстояние было слишком маленьким,

чтобы промахнуться.

Не лучше ли схитрить и пойти прямо на лягавого, а когда тот выскочит из-за дерева и потребует объяснений — изобразить на лице испуг и ответить, что он, Леха Гуляев, даже и мысли такой не имел — удрать из коммуны, а пошел просто-напросто погулять, а так как ни стен, ни проволочных заграждений не встретил, местности не знает и никто ему не объяснил, до каких границ можно гулять, то он и забрел нечаянно на шоссе.

Чем ближе подходил Гуляев к лягавому, тем плотнее прижимался тот к дереву. И когда их разделяли какие-нибудь три шага, человек выскочил. Шопот его был придушенным, изумленным:

— Леха… Ты?

Гуляев узнал Осминкина. Он был бледен, пот заливал его веснущатое лицо. Оказалось, что Осминкин тоже задумал сбежать, увидел Гуляева, принял его за часового и спрятался за дерево.

— Значит, охраны здесь нет? — уверенно спросил Осминкин.

Гуляев ответил:

— Проволока есть. С электрическим током.

Осминкин удивился:

— Какая же проволока на шоссе? Здесь вольный народ ходит.

— Все равно есть, — закричал Гуляев с непонятной злобой. — Есть проволока, и ток по ней пущен.

Он, конечно, понимал, что горячится зря, что на шоссе не может быть проволоки с током, которая — он слышал — употреблялась немцами на войне. Но отсутствие преград к побегу казалось обидным. Словно бы ему пренебрежительно сказали, открывая свободный выход из коммуны: «Ты нам вовсе не так нужен, как тебе кажется. Иди, если хочешь».

Осминкин неопределенно махнул рукой в сторону леса:

— Пойдем…

Блестел неприветливо булыжник, и тучи заваливали горизонт.

— Сыро, — сказал Гуляев, — и ботинки у меня плохи. Погоди, вот солнышко выглянет, маленько подсушит, тогда…

Гуляев хотел сказать: «Тогда и сбежим», но не сказал и скучно закончил:

— Тогда и… пойдем.

Они медленно двинулись назад в коммуну — в четвертую сторону, которая оказывалась такой же свободной, как три остальные.

Сергей Петрович вошел в комнату к Мелихову. За столом

сидела «тетя Сима» — помощница Мелихова. Мелихов озабоченно расхаживал по комнате. — Вы знакомы уже? Серафима Петровна. Женщина кивнула головой и продолжала жаловаться:

— Федор Григорьевич, вы знаете, временами у меня руки опускаются. Я к ним с лаской, так мягко, так мягко, что, кажется, камень — и тот согреется, а они говорят такое, что мне повторить стыдно. Вот, например, вчера за ужином…

Она покраснела и отвернулась. Мелихов остановился:

— Да, дело трудное. Теперь вот новых привезли. Эти похлеще будут. Что вы скажете? — обернулся он к Сергею Петровичу.

Богословский, застигнутый вопросом врасплох, развел руками:

— Думаю, надо тон правильный найти, — повторил он фразу, которую уже сказал однажды, но фраза прозвучала неубедительно.

— У меня никого и ничего кроме этих мальчиков нет, — проговорила Серафима Петровна. — Я все силы, все отдаю им. Неужели они этого не понимают? С утра до ночи я за ними присматриваю, стараюсь как можно мягче указывать на неправильные поступки. Вчера опять на моих глазах лягушек мучили. Они просто не понимают. У них за последнее время только одно: «Надоело». Скажите, что им надо?

Мелихов задумчиво, медленно поглаживал усы. Сергей Петрович молчал.

— Вот сегодня, — продолжала тетя Сима, — я смотрю, этот паренек, из бутырских, с таким странным щучьим лицом. Простите, но лицо у этого мальчика не очень располагает, они его, кажется, Чумой зовут… Так вот этот мальчик…

Сергей Петрович подумал, что этому мальчику уже лет двадцать и на своем веку он видел много больше, чем Серафима Петровна.

— Этот мальчик влез на стол прямо в грязных сапогах и расхаживает, как по тротуару. А все кругом стоят и хохочут. Я его спрашиваю: «Зачем ты влез?» А он мне отвечает: «Здесь все лазят, и ты залезай…» Ну, разве это нормально?

Она истерично всплеснула руками:

— А все-таки я уверена — в каждом человеке есть доброе начало, надо только его разбудить, тогда придут человечность и любовь. Я в это верю.

Серафима Петровна порывисто поднялась и вышла из комнаты.

— Трудно ей работать, — вздохнул Мелихов. — Очень уж грубый народ. Придется, видимо, с ней распрощаться. А женщина чуткая.

Сергей Петрович ждал, когда, наконец, Мелихов скажет самое важное, что следует знать, чтобы с первых шагов правильно начать работу и быть уверенным в ее успехе.

Федор Григорьевич деловито говорил о том, что нужно прощупать для начала нескольких парней, создать из них опору в самом коллективе и что уже теперь можно смело опираться на некоторых ребят из детдома.

Он посмотрел в окно и покачал головой.

— Видите — ходят. Проверяют порядки. И держатся особняком, своей группой. Посмотрите — с ними ни одного из детдомовских нет.

Воры действительно ходили обособленной кучкой, сторонились детдомовцев, даже не разговаривали с ними.

Вероятно, воспитателям стала бы понятна причина этого, если бы они слыхали разговор вновь прибывших. Бутырцы презрительно говорили о «подвигах» детдомовцев, ворующих в деревне кринки с молоком, об их мальчишеском глупом хулиганстве.

— Где спят, там и гадят, — раздраженно говорил Осминкин. — Через них и на тебя пятно.

Он, Осминкин, твердо помнил закон: «Где живешь, там не балуй».

По деревне воры шли чинно, без песен и похабства.

Разговор вели серьезный, деловой. Многим в душе коммуна понравилась, но ругали они ее все в один голос. Трудно было брать ее всерьез. Охраны, правда, пока нет, но ведь совсем еще неизвестно, что будет дальше. Вероятнее всего, прикончат эту малопонятную затею — сажать воров в детдома.

— Винта нарезать надо, — заключил Осминкин. Румяное веснущатое его лицо было озабочено. — Нарезать надо винта!

— Это успеем, — лениво отвечал Чума, и все согласились с ним.

— Всегда успеем. Вот обсмотримся, узнаем, тогда…

Вслед ворам открывались двери и окна. В степенной солидности вновь прибывших костинцам чудилось что-то необыкновенное, страшное.

— Вот они, когда настоящие-то приехали, — зловеще протянул остролицый мужик в теплой барашковой шапке. — Держись, братцы. Эти на куриц и глядеть не будут — этим подавай овцу, а то и корову!

И до самого вечера трудился остролицый мужик, прилаживая в сарае толстенный железный засов.

«Большие» и «маленькие»

Гуляев исподлобья смотрел на Сергея Петровича и старался угадать, какую тайную цель преследует доктор своими невинными с первого взгляда вопросами. По собственному опыту Леха знал, что следователи часто пользуются таким приемом: долго расспрашивают о разных посторонних вещах, а потом, равнодушно глядя в сторону и покуривая папироску, вдруг спросят между прочим: «А не помните ли вы, какой звонок в этой квартире — электрический или ручной?» — «Электрический», уверенно отвечает домушник. «Электрический, — подхватывает следователь. — А как же вы утверждаете, что никогда не были в этой квартире?»

— А ты что любишь, Гуляев?

Сергей Петрович спросил его вне очереди, через два человека, и Гуляев, не подготовившись к ответу, растерялся. Любил он голубей. Давно, еще в детстве, расстался он с ними, но воспоминание жило в нем до сих пор. Воспоминание это настигало его всегда неожиданно и в самых разных местах — в шалмане, в тюрьме, даже на «работе». Перед ним вставал темный чердак с прогнившими балками, паутиной в углах, широким столбом пыльного света, идущего через слуховое окно, и мягкий горловой говор голубей, гуляющих по облупленной крыше. Он видел вечерний сумрак над ветхой деревянной каланчой — белый голубь, мигая хрустким крылом, уходит все выше и выше в теплое небо и вдруг блеснет розоватой позолотой. Значит, за городом, за пологими холмами, еще не зашло солнце.

— Что же ты молчишь, Гуляев?

Ребята притихли, понимая, что Леха подготовляет какой-то необычайно дерзкий ответ. И Гуляев не обманул их:

— Я старых баб люблю…

Неудавшийся разговор с Гуляевым был не последним из огорчений, которые свалились в этот день на Сергея Петровича.

Завхоз Медвяцкий сидел в кладовой и разбирал яблоки. Ему помогал конюх: он накладывал антоновку в железную мерку.

— Не столько сожрали, дьяволы, сколько напортили. И когда этому конец будет? — сказал Медвяцкий Сергею Петровичу, заглянувшему в кладовую.

— Чему? — поинтересовался тот.

— Когда вас унесет отсюда — вот чему. Ведь это разбой средь бела дня. Яблоня их не трогала, выстаивала, сколько ей положено, и на вот… — Он горестно ткнул в кучу яблок толстым пальцем: — Это что такое?

— Яблоки. — Притворяясь, будто совсем не понимает гнева Медвяцкого, Сергей Петрович надкусил спелую антоновку.

— Я сам знаю, что яблоки. А кто им велел их трогать? Вы

понимаете, что это такое? Это хулиганство — вот что. И я буду жаловаться. Я прямо скажу: вы их распустили. Разве так воров надо держать?

— А как же?

— А вот я бы вам показал. Они бы у меня узнали, — воодушевился Медвяцкий.

— Постойте, — оборвал его Сергей Петрович. — Вы говорите — хулиганство. Скажем — так. Но по сравнению с тем, что они еще вчера делали… И, наконец, кто из нас в детстве яблок не воровал?

— Ты слыхал? — обратился завхоз к конюху. — Тоже детей нашел. Таким жеребцам пора в упряжи ходить.

— Вы меня не понимаете. Ведь многие из них в первый раз очутились за городом, в первый раз видят природу, т. е., я хочу сказать, давно не жили нормальной жизнью. Им ведь привыкнуть надо. Понимаете?

Медвяцкий с нескрываемой злобой смотрел на Богословского:

— К чему привыкнуть? Что вы городите?

Сергей Петрович повернулся и вышел из кладовой.

«Что это я ему, правда, говорил? Выходит, точно яблоки воровать можно», огорченно раздумывал Богословский.

Но и это огорчение было еще не последним.

Не все детдомовцы относились к бутырцам плохо. Но все же между ними и парнями из Бутырок отношения с первой же встречи установились недружелюбные.

Бутырцы ведь были настоящими урками. Ведь это таким, как они, подражал и завидовал беспризорный!

До приезда бутырцев детдомовцев притесняли костинские ребята. Они мешали играть в футбол, отбирали у них мяч, случалось, даже прогоняли с поля. В первом же столкновении костинцев с Осминкиным, Чумой и Хаджи Муратом костинцы забили отбой и обещали больше коммунским не мешать. Вот что значит настоящие урки!

В довершение всего Осминкин вступился за детдомовца, обиженного Котовым во время игры в футбол, и крепко помял Котову бока. Влияние детдомовских главарей — Умнова и Котова — явно пошло на спад. Малыши все меньше чувствовали необходимость подчиняться им. Умнов и Котов затаили злобу против бутырцев.

Случилось так, что настала очередь детдомовца Андреева убирать общежитие.

— Брось, ребята рюх нарезали, — сказал ему Умнов. — Идем в городки играть!

Это услышал Гуляев.

— То есть как это брось? — возмутился он. — А убирать кто же будет?

Тогда ввязался Котов. Хоть он и не любил Умнова, но тут у них интересы были общие.

— А тебе что за дело? — крикнул он Гуляеву. — Откуда такой взялся здесь командовать? Захотим — будем убирать, захотим — не будем. Не тебя спрашивать!

— Нет, уберете!

— Не будем!

— Сейчас же убирать! И всегда будете убирать! Поняли? А кто посмеет отказываться, я тому…

— Ах, так! — завизжал Котов. — За вас работать? За женихов работать? Слышите, что говорит? За них работать! Вот что придумали… Ловко! Айда все в лес!.. Пускай поищут себе мальчиков!

— Повизжи! — рассвирепел Леха Гуляев. — Повизжи, так я тебе…

Возмущенные детдомовцы всей оравой выскочили из общежития и ушли в лес. Там они долго и звонко кричали, спорили. А Гуляев и Осминкин собрали бутырцев.

— Вот тут, выходит, какие порядки. За них, пацанов, убирать, что ли? Этого не будет!.. Хоть отправляться назад!

Спальни так и остались неубранными.

О сходках «больших» и «маленьких» Мелихов и Богословский узнали позже всех. В сущности это был развал. «Хорошо, что сегодня должен приехать Погребинский», встревоженно подумал Сергей Петрович.

Волновался и Мелихов, но не терял своего обычного спокойного вида.

Погребинский приехал поездом только на другой день. Со станции он пришел пешком.

— Мы тебя вчера ждали, — обрадованно здоровался Богословский. — Такие дела тут!.. Немедленно нужно принимать меры.

— А вы с Мелиховым здесь на что? — спросил холодно Погребинский.

— Поговорить надо, — уклонился Сергей Петрович.

— Пойдем, поговорим, — согласился Погребинский. — Вот и ребята кстати здесь.

Сергей Петрович хотел было объяснить ему, что надо бы им сперва потолковать с глазу на глаз, но Погребинский слегка хлопнул его по спине и подтолкнул к общежитию:

— Идем-идем, Петрович.

Они прошли в спальню, окруженные болшевцами.

Погребинский сел на табуретку.

— Ну и грязища у вас. Хлев! Что же вы это? — сказал он брезгливо. — Кровати не убраны, одежда разбросана.

— Некому убирать, — проворчал Умнов.

— Ну, понятно. Вы ведь не можете. Вы же белоручки, барышни. Вам няньки надобны… Стало быть, я буду вам убирать? Мелихов будет приходить вам убирать? Так?

— Мы и сами можем… Это маленькие отказались. Очередь… — отрывисто сказал Накатников.

— Я знаю, он будет, — подтвердил Мелихов. — Но почему вы не пришли ко мне или к Сергею Петровичу, когда увидели, что есть такие, которые отказываются?

Ему не ответили.

— Плохо, совсем плохо… — осуждающе сказал Погребинский. — «Маленькие» и «большие», а где же коммуна? Значит, не выходит у вас, значит, не годитесь вы… Не сможет коммуна существовать.

Тягостная тишина стояла в спальне. Если бы кто-нибудь заговорил, зашумел, стало бы легче, но все молчали.

— Ну, что ж, ребята? Что будем делать? Как поправлять станем? — заговорил опять Погребинский. — Обсудим, что ли? Может, вместе и придумаем что-нибудь? Как по-вашему? Ведь совсем плохи дела!..

— Надо собрание, — неуверенно сказал Накатников.

— Вот и я думаю, — подхватил Погребинский. — Ну что же, если сами предлагаете, сейчас и начнем.

Перешли в так называемую крафтовскую контору. Мелихов сел рядом с Сергеем Петровичем, широкое лицо его было угрюмо и как будто осунулось.

— Кого в председатели выберем? — спросил Мелихов. Ребята называли кандидатуры воспитателей. Мелихов отвел:

— Этого не должно быть. Самим решать, самим и вести.

«А если они что-нибудь не так?» — подумал Сергей Петрович.

Собрание раскачивалось с трудом. Хотя уже собирались и не один раз, когда устанавливали дежурства по кухне и очередь дневальства в спальнях, но тогда все происходило как-то иначе.

— Чья была вчера очередь — Андреева? — помог Мелихов.

Ребята подтвердили в несколько голосов.

— Так пусть он и расскажет теперь, почему отказался от уборки.

Андреев, круглоголовый плечистый паренек лет шестнадцати, поднялся, потом сел. Лицо его было красно.

— Я не отказывался, я согласен, — мямлил он… — Только если убирать, так всем убирать. А то говорят: вы пацаны, вы

теперь всегда будете женихам убирать. Это я не согласен.

— Кто говорит? — спросил Погребинский.

— Все говорят, — глухо сказал парень и замялся.

— Да кто все? Гуляев, Осминкин?

Парень открыл рот, точно рыба.

— Ну, Котов, Умнов тоже… Все говорят, — сказал он растерянно.

Накатников издал какой-то нелепый звук и сейчас же пригнулся, чтобы стать незаметнее. Мелихов уловил это движение.

— Хочешь, Мишаха, поговорить?

— Нет, я ничего… Я потом, — отказывался Накатников.

— Я вот что скажу, — вдруг, осмелев, крикнул он резким, надтреснутым голосом. — Я так понимаю. Безусловно нас здесь собрали. Может быть, он сейчас вор, а завтра трудящийся… Я так понимаю… Не должно быть у нас здесь никаких ни «больших», ни «маленьких». Я вот так понимаю.

Он говорил, что в коммуне должны все вместе строить новую свою жизнь и помнить, что остались в тюрьмах товарищи. Он повторял все, что слышал от Погребинского, от Мелихова, от Сергея Петровича, с чем всегда был не согласен и что сейчас представлялось ему очень правильным, а, главное, своим личным убеждением.

Это была в его жизни первая речь. Он закончил ее высоко взведенным тенором:

— Довольно, пофилонили! Хватит дурака валять!

Никто не ожидал ничего подобного. Гуляева душила злость, Мелихов улыбался. Котов перешептывался о чем-то с Умновым, оглядываясь на Погребинского.

Погребинский встал:

— Да, прав Накатников. Кто может ему что-нибудь возразить? Кто с ним не согласен? Кто не будет работать? Таких нет. Кроме Умнова и Котова здесь таких нет.

— Не моя была очередь… Может, я буду, — вызывающе крикнул Умнов.

— А как же? Конечно, будешь! А ты что думал? Тебе особенный заведут устав? «Вожаками» заделались тут с Котовым! «Паханами»! Мальчиков поделили… А теперь не нравится? Теперь кончилось, так вы бузу завели? Ребятам головы стали дурить? Что ж, не нравится — не держим, пожалуйста. Идите туда, где на «вожаков» спрос. А нам не надо, мы как-нибудь и без «вожаков» обойдемся.

Котов прикрыл глаза рукой. Умнов собрал лоб крупными складками и смотрел в одну точку.

— Никаких атаманов в коммуне нет и не будет. Зарубите себе на носу. Никаких «больших», никаких «маленьких». Общее собрание — всему голова. Управляющий коммуной и его помощники — ваши руководители. Решение общего собрания — закон. Постановления будем проводить в жизнь через передовиков, через актив. Все должны подчиняться собранию. Все отвечают за каждого. Принимать будем в коммуну только тех, за кого поручится собрание. И если кто-нибудь станет нарушать наши порядки, заводить свои, разрушать коммуну, — пусть? не обижается, пусть не пеняет после, когда его на общем собрании попрут за двери коммуны грязной метлой. Правильно будет так?

Коммунары возбужденно переговаривались, их смеющиеся лица, одобрительные восклицания и шутки свидетельствовали о том, что сказанное Погребинским им понравилось.

Собрание затянулось почти до рассвета.

Вновь обсудили порядок дежурства, составили новые списки и вывесили их к концу собрания на стенке. Подняли вопрос о плите, которую надо переложить, о негодных кастрюлях; решили, что пол нужно мыть не меньше четырех раз в месяц. Решили выбирать еженедельно одного парня в «контроль», который бы следил за порядком, будил болшевцев по утрам, наблюдал, чтобы не нарушались правила коммуны, помогал воспитателям. Погребинский подчеркнул, что выбирать, разумеется, надо самых лучших. Для начала на первую неделю выбрали Накатникова.

Разговор с Погребинским, которого так хотел Сергей Петрович, произошел, когда ребята уже улеглись. Втроем перешли в кабинет к Мелихову.

— Все, что случилось без нас и помимо нас, говорит, что мы сами еще плохо разобрались в том, что здесь делается, — начал Погребинский. — Мы не овладели положением. Надо яснее видеть разницу между детдомовцами и бутырцами. У каждого из бутырцев по две-три судимости, у каждого срок — самое малое — годика три. Это не беспризорники. Они великолепно все соображают. Вот вам пример — Накатников. Помните, Мелихов, как он вел себя в Москве, а сегодня — смотрите. Эти больше чем кто бы то ни было привыкли презирать и ненавидеть работу, а работать все-таки будут, если сумеем правильно подойти к ним. А у детдомовских ребят и положение иное, да и помоложе они. Думается мне, что на практике мы это недоучли. Взять хотя бы тех же Умнова и Котова. «Они, дескать, не такие испорченные», рассуждала бы тетя Сима… Возможно, даже наверное, и это очень для нас важно. Однако это, как видите, ничуть не мешает им быть среди своих «вожаками» и срывать дисциплину. Бутырцы поприжали их, высадили из «паханов» и… хорошо!

«Да, — подумал Сергей Петрович, — это верно. Но сколько же придется учиться, чтобы правильно разбираться во всем этом?»

Согласился с Погребинским и Мелихов.

— Конечно, мы промахнулись, — сказал он. — Мы больше полагались на то, что детдомовцы — давно существующий коллектив.

Погребинский улыбнулся:

— Потому мы его и взяли сюда в Болшево, и это еще скажется во всем. Однако это коллектив, имеющий свои особенности, и не учитывать их нельзя. Кстати, все можно было бы рассосать сразу же на общем собрании. Почему вчера, как только узнали о том, что случилось, не собрали парней?

Упрек показался Сергею Петровичу совершенно незаслуженным. Собрания не созывали только потому, что поджидали приезда Погребинского. Сергей Петрович хотел сказать об этом, но вспомнил фразу, которой встретил его Погребинский днем: «А вы на что здесь?» Вспомнил и промолчал.

— Промахнулись, конечно, — опять сказал Мелихов. — Мы с ребятами в прятки не играем, без них коммуну строить не собирались. Мы все вопросы выносим на общее собрание. Но откладывать его не следовало и на один день.

— Вообще собрания надо созывать как можно чаще. Особенно теперь, пока нет мастерских, — подтвердил Погребинский. — И чем острее вопросы, тем, может быть, даже лучше, — продолжал он. — Более здоровые элементы при нашей поддержке всегда возьмут верх. Втягивать ребят в интересы коммуны, заставлять их чувствовать себя ее хозяевами, отвечать за нее — лучше этого пути нет. Да вы сами это знаете лучше меня. Активистов надо выдвигать широко и смело. Но, разумеется, не передоверять им руководство, не выпускать из-под своего контроля, а по тенденциям «вожачества» нещадно бить! Сейчас актив — просто мало понятное ребятам слово. Со временем из активистов могут действительно выработаться помощники… Что касается решений общего собрания, то они должны быть законом для всех. Для всех — и для нас! — подчеркнуто заключил Погребинский.

— А если неправильное решение? — поинтересовался Сергей Петрович. — Можем, разумеется, отменить?

Погребинский насмешливо прищурил глаза:

— Плохо будет наше дело, Петрович, если понадобится отменять! Не должно быть ни одного неправильного решения! Какие же мы руководители, какой же у нас авторитет, если мы не добьемся, чтобы были правильные решения? Будем обсуждать до тех пор, пока собрание не согласится с нами. В один раз не добьемся — обсудим еще раз, еще десять раз!

Ложась спать, Богословский улыбался, вспоминая выступление Накатникова:

«Верно… Наломали мы тут дров… А, пожалуй, ребята не уйдут».

Голуби и финки

Солнце, до появления которого Леха Гуляев отложил свой побег, упорно пряталось за низкими тучами. Все время моросил дождь.

Многие бутырцы поговаривали о зимовке в коммуне как о неизбежном и само собой разумеющемся деле. Гуляев злобился, слушая эти разговоры. А когда его спрашивали, что он намерен делать дальше, он прямо отвечал: «Сбегу и воровать буду».

Все — и детдомовцы и бутырцы — верили в его неукротимость, относились к нему с уважением, даже с некоторой боязнью. Он чувствовал это и старался укрепить свою репутацию отчаянной головы, которой все нипочем. Держался он особняком, с воспитателями не разговаривал.

Сдвинув кепку и заложив руки в карманы, он ходил по коммуне, по улицам Костина, насмешливо посматривая на хмурых мужиков.

В одну из таких прогулок Леха пошел в компании с другими ребятами. Низкое небо было пасмурно, с утра шел мелкий дождь. Навстречу попалась телега. Огромный заросший бородой мужик сидел на ней, свесив ноги.

— Уйдите с дороги-то, охломоны, — лениво сказал он.

Парни посторонились. Гуляев продолжал стоять на самой середине колеи. Лошадь повела ушами, остановилась, выпустила из ноздрей две густых струи теплого пара.

— Посторонись, эй! — миролюбиво повторил мужик.

Гуляев ответил:

— Объедешь! Не барин.

— Так я же с телегой. Куды ж я объеду? Видишь, грязь!

— Вот по грязи и объедешь.

В голосе крестьянина появилась угроза:

— Уйди, говорю.

В его кулаке был зажат толстый кнут. Гуляев покосился на кнут, взял лошадь под уздцы и завел ее в грязь, сам вымазавшись до колен. Мужик сидел, вытаращив глаза. Потом он соскочил, стал чмокать и кричать, оглядываясь боязливо и растерянно на Леху.

А Леха вышел на обочину и зашагал дальше, сопровождаемый одобрительными шутками болшевцев.

Скука преследовала его. Дождь, грязь, этот испуганный мужик в телеге. Хоть бы драться полез, было бы веселее. Гуляев повернул назад в коммуну.

К вечеру дождь прекратился. Светлая полоска протянулась на западе. В лужах появился голубой отсвет. Деревья роняли капли, а светлая полоска все ширилась, точно солнце прильнуло к холодным тучам, и они таяли.

Тогда из деревни поднялись голуби. Они летели сначала плотной кучкой, потом разбились, и один — коричневый турман, — кувырнувшись, стремительно упал вниз ц* повис на струящихся крыльях над самой крышей коммуны. Это было как прекрасное, короткое видение. В следующую секунду голубь исчез за деревьями, и только потерянное перо все еще падало, медленно кружась, как осенний лист.

— Ты, значит, голубей любишь?

Гуляев вздрогнул. Сергей Петрович стоял перед ним. Леху так взволновал турман, бросивший на память перо, такое зло поднялось на Сергея Петровича, прервавшего неясные мечтания, что Леха не удержался и выругался.

— Перестань, — сказал Сергей Петрович и, помолчав, спросил: — Ты за что мужика обидел?

— Так…

— Плохо! Говори спасибо — не было топора у него.

— Боюсь я топора! Видали топоры. Я бы ему кишки выпустил.

— Выпустить кишки — это не штука, — ответил Сергей Петрович, закуривая. — Выпустить легко, а вот собрать — затруднительно.

— Это не наше дело. Наше дело — выпускать, а докторское — собирать, а то доктора с голоду вымрут.

— Ты, я вижу, бывалый… А как думаешь дальше жить?

— Тебя не спрошу.

— Воровать будешь?

— Дело прибыльное!..

— Из коммуны сбежишь?

— А тебе что? — закричал Гуляев и даже подпрыгнул от ярости. — Чего пристал?

Сергей Петрович с усмешкой поглядел на Гуляева, сказал раздумчиво:

— Голубей, значит, Гуляев, любишь? — и спокойно отошел.

С каждым днем он чувствовал себя с болшевцами уверенней и тверже. Ему казалось, что он начинает глубже понимать этих людей. Он учился на практике, перенимал опыт у товарищей-воспитателей. А у них было чему поучиться. Взять хотя бы недавнее событие с финками, произведшее на Сергея Петровича

особенно сильное впечатление.

Произошло это событие так.

Ребята шли из лесу и о чем-то спорили. Из детдомовцев среди них был один Котов.

— Вы бы мяч погоняли, — добродушно посоветовал Мелихов, когда болшевцы поравнялись с ним.

— Надоело, — отвечал за всех Осминкин.

Должно быть, это было с его стороны неправдой. Он так увлеченно гонял с оравой детдомовцев и бутырцев мяч по костинским полям, так беспощадно бил по мячу, взметывая его выше сосен, что нельзя было ошибиться — игра в футбол всегда была для него радостью. Осминкин разорвал башмаки в восемь дней. Мелихов выдал ему другие.

— Хорошо ты играешь, Осминкин, — продолжал Мелихов. — Хорошо, даже отлично. Ты бы попробовал команду составить.

— Команду? — удивился Осминкин. Разве он тут собирается жить всю жизнь?

— Игра пошла бы организованная. Ведь это интересно. Надо столбы врыть, ворота сделать. Как думаешь?

— Что же, можно, — с деланным равнодушием согласился Осминкин. Предложение Мелихова было заманчивым.

Именно в этот момент Котов зачем-то нагнулся и выронил финку.

Мелихов знал, что воспитанники детдома имели финки. Сколько ни боролись с этим в детдоме, ничего существенного добиться не могли. Детдомовцы не расставались с финками и в коммуне. Бутырцы, прожженные воры, в большинстве своем не только не имели финок, но посматривали на маленьких финконосцев с насмешкой.

Накануне Почиталов подрался с одним из бутырцев и сгоряча выхватил финку. Бутырец презрительно пожал плечами и бросил драку.

— Что это у тебя? — спросил Мелихов, скользнув равнодушным взглядом по сконфуженному лицу Котова. — Я понимаю, хорошо иметь нож в лесу: прут вырезать, тросточку обстругать, а то и хлеба ломоть отрезать. Однако перочинный ножик лучше. Финку неудобно носить. Споткнешься — сам себе бок пропорешь. Хочешь — отдай мне финку, а я дам тебе перочинный нож? — предложил Мелихов.

Он вынул из кармана большой складной нож с пилкой, штопором, несколькими лезвиями. Болшевцы, понимающие толк в ножах, залюбовались им.

— Меняемся? — соблазнял Мелихов.

— Меняемся, — согласился Котов.

Отточенная, как бритва, финка перешла Мелихову, а великолепный его ножик — Котову.

— Харчи-то вам здесь нравятся? — перешел на другую тему Мелихов.

— Подходящие, — отозвался один из парней.

Мелихов заметил, что Осминкин толкнул Котова.

— В чем у вас дело?

— Завидуют ножику, — проворчал Котов.

— Пускай назад отдаст, — грубо крикнул Осминкин.

— Нож обратно я не возьму. Поменялись — значит, точка, — заявил Мелихов.

Вечером перед ужином его ждал сюрприз. На стуле, где он обычно сидел, лежало что-то, завернутое в газету.

Мелихов взял сверток в руки и показал Богословскому. В газете лежало несколько финок.

Мелихов понял, что все происшедшее за эти дни — драни между детдомовцами и «женихами», сходки «больших» и «маленьких», затянувшееся собрание — все это положило конец атаманству Котова и Умнова.

Понял это и Богословский. И еще понял он, как бесконечно многообразны пути воспитания доверием, как важна известная предприимчивость, находчивость, даже риск со стороны воспитателя, и недопустимы штампы. Почему не попытаться подойти хотя бы к этому нелюдимому, озлобленному парню Гуляеву со стороны его наивной страсти к голубям?

После дождя несколько дней стояла ясная и сухая погода,

Гуляев не спешил с уходом. Все ждал, когда исчезнут лужи, подсохнут тропинки, точно бежать в Москву предстояло не по железной дороге, а тайгой.

Москва тянула его. А в коммуне удерживала та репутация, которую он завоевал. Так и жил на распутье. Воровать не ходил. Вокруг ни пивных, ни шалманов не было, в деньгах особенной нужды не чувствовалось. Один раз, правда, вышел он к дачному поезду, потолкался по платформе, но в карманы не лазил: публика по виду была неденежная, и почему-то не хотелось воровать вблизи коммуны.

— Тебя-то мне и надо. Зайди на минуточку! — закричал Сергей Петрович, завидя Гуляева из окна. Все эти дни он исподволь наблюдал за ним.

Гуляев, поднимаясь по лестнице, старался вспомнить проступок, о котором, вероятно, будет сейчас нудный разговор.

— Вот тебе деньги, — сказал Сергей Петрович, — а вот увольнительная записка. Поезжай на Трубу, купи голубей.

Леха взял деньги, записку спрятал в картуз.

«Ну, вот и ушел — сам выпроваживает из коммуны да еще денег на дорогу дал», цинично подумал он.

Сергей Петрович остановил его:

— Ты все-таки… того… не задерживайся… — Он вдруг почувствовал всю ответственность предпринятого шага.

Гуляев неопределенно повел плечом и вышел из комнаты.

На станцию его провожали товарищи.

В лесу поднимался острый спиртовой запах гниющей хвои. Провожающие, удивленные наивностью Сергея Петровича, просили Леху кланяться на воле «корешкам». Он добросовестно старался запомнить все поклоны. О дальнейших своих планах говорил уклончиво.

Гуляев сидел в пыльном дачном вагоне.

Поезд, отстукивая, набирал скорость,

— Чудят, — сказал хриплый бас. — Набрали воров и чудят.

На соседней скамейке сидел толстый человек в бекеше и ругал скучным голосом коммуну. Голова у него была круглая, выбритая, синяя цветом; он рассказывал о небывалых кражах, будто бы совершенных болшевцами.

— А вот недавно мужика зарезали на дороге среди бела дня. Мужик говорил: посторонитесь. А они его ножом.

— Зачем ты, гражданин, врешь? — в упор спросил Гуляев.

Сосед побагровел и кашлянул. Гуляев повторил вопрос.

— Как это вру? — закричал толстый. — Я и сам видел.

— Видел ты, как же! Никто мужика не резал. В грязь его загнали — это верно.

— Да ты-то откуда знаешь? — подозрительно спросил толстяк, оглядывая Гуляева.

— А я сам оттуда, — торжественно сказал Гуляев.

Толстяк остался сидеть с полуоткрытым ртом.

Леха вышел на площадку. Он долго стоял под упругим ветром. «Ездят вот такие в поездах, трепятся, позорят. Вынуть у дьявола кожу, — думал Леха. — Знал бы тогда. А ну его к шуту… Свяжешься — и вовсе тогда начнет рассказывать, что его самого резали».

Весь день ждал Сергей Петрович Леху, выходил на опушку, смотрел на грязную дорогу. Гуляев не возвращался.

Мелихов успокаивал Богословского.

— Конечно, это большая беда, что Гуляев не вернулся. Но зачем опускать голову? Обдумаем спокойно этот факт, — мягко, но настойчиво говорил он. — После тюрем и пыльной Москвы воспитанники наши впервые попали сюда, на простор. Мы сделали все, чтобы ельник и луг работали на нас. А вот с Гуляевым у нас осечка. Мы недостаточно поработали над ним.

Рискнули… Ну что ж, и неудачи приносят пользу… На будущее учтем, будем осторожнее.

«Все это верно, — думал Богословский. — Он слишком рано доверился Гуляеву. Побег взбудоражит парней, коммуну залихорадит, и не один уйдет, вероятно, вслед за Гуляевым».

Особенно тяжела была деликатность Мелихова, который брал на себя ошибку Сергея Петровича. И все же несмотря ни на что Богословский не мог поверить, что Гуляев действительно не вернется. Он упорно продолжал ожидать его. Вероятно, во всей коммуне он был единственным, кто допускал еще возможность возвращения Гуляева. Среди болшевцев на этот счет не существовало двух мнений.

Первым на отсутствие Гуляева обратил внимание Чума. Это было на утро другого дня. Чума имел привычку просыпаться раньше других. Проснувшись, он подолгу лежал в постели, вглядываясь в потолок, по которому бродили вялые мухи, выкуривал несколько папирос. Он ждал, когда встанет очередной контролер, позвонит в колокол, разбудит других. Последним, нехотя, поднимался с койки и, не убирая ее, шел на кухню. Ребята ворчали ему вслед. Тогда он возвращался и кое-как набрасывал одеяло на постель.

Сегодня, проснувшись, он, как всегда, посмотрел на потолок, потом поискал папиросы и случайно взглянул на койку Гуляева.

Постель Лехи стояла прибранной и несмятой. Чума перевел взгляд на стенку. Знакомой шинели с измазанной полой не было на гвозде. Не было и измятой фуражки с надорванным козырьком.

«Вот оно что!» подумал он радостно. И вдруг громко, визгливо заулюлюкал:

— У-ю-ю-ю!

— Ты что? Чего сон тревожишь? — сердито высунул голову из-под одеяла Накатников.

— Вставай, паразиты! Леха не вернулся! — кричал Чума. — Видишь? Вон она, коечка-то!

Болшевцы оглядывали одеяло, подушку, железные прутья койки, точно видели все это впервые. Гуляева не было.

И сейчас же все вспомнили, как он с кошелкой шел к станции, как сидел в компании приятелей на платформе в ожидании поезда.

— М-да-а, — сказал кто-то многозначительно.

— А мы тут киснем! — заорал Чума. — Сапоги, видишь, научат шить! А у Лехи, небось, сейчас! — И Чума залихватски, хрипло пропел:

Сигаретка в зубах,

Сто червонцев в штанах,
И костюм на нем горит —
До чего ж шикарный вид!

— Леха, братва, сейчас в ресторан, а мы куда? Полы мыть! — Чума с отвращением выругался: сегодня была его очередь дневалить по спальне.

— Заткнись, — закричал Беспалов, красивый кареглазый парень, облизывая пересохшие губы, — чорт, душу не выворачивай!

Он крепко тосковал по вину.

— А что, в ресторан не хочешь? — измывался Чума. — Тогда мой за меня пол… Слышишь?.. Папирос пачку дам…

— Поди ты, — огрызнулся Беспалов. — Я в лес уйду…

— Э-э! — протянул Чума с презрением и насмешкой. — Я думал, к Лехе в Москву поедешь, а ты — в лес!

— И в Москву поеду, — угрюмо сказал Беспалов.

— Чума, дай мне папиросы… Я пол вымою, — предложил, приплясывая, Чинарик, прозванный так за малый рост. У него была привычка непрерывно отбивать одной ногой чечетку.

— Ладно. Помоешь — получишь, — согласился Чума.

Беспалов набросил шинель и выбежал на крыльцо. Застегивая пуговицы, он огляделся по сторонам и скорым шагом пошел к перелеску.

— Эй, обожди! — закричал сзади Чинарик.

От коммуны вразброд, в одиночку, спешили за Беспаловым ребята. Позади всех, надевая на ходу непослушную шинель, бежал Чума.

— Ну, что делать будем? — спросил Накатников.

Прислонившись к дереву, он начал свертывать папиросу. Руки его дрожали. Табак сыпался между пальцев в мокрую от росы траву. Чума сел рядом с ним.

— Леха не спрашивал, что ему делать, взял да и смотался. А у тебя что, мозгов нет?

— Ну, уйдем, а потом что? — сказал Накатников.

— Сигаретка в зубах, сто червонцев в штанах, — запел Чинарик.

— Дай папироску, — сказал он Чуме, садясь и обнимая Чуму за плечи.

— Ты не садись, тебе пол мыть надо! Ступай, тогда и покуришь, — строго заметил ему Чума.

— Что я, нанялся?

— Хочешь курить — значит, нанялся.

Чинарик постоял, подумал, хотел что-то ответить, но не сказал ничего и не спеша пошел к общежитию.

Из окна своей комнаты Богословский видел возбужденную суету ребят. Он сразу догадался о причине возбуждения. Это было именно то, чего он так боялся. Вот они, последствия ухода Гуляева! Он поспешно вышел из дому. На прежнем месте ребят уже не было. Они завтракали.

Богословский вошел в столовую. Чума кончал есть. Он почтительно приветствовал Сергея Петровича. В присутствии воспитателей он всегда держался ярым защитником коммуны. Его выступления на собраниях походили на выступления Накатникова. Он работал тонко, имел авторитет среди воспитанников. Разоблачить его было нелегко, но никто из воспитателей не заблуждался на его счет: Чуме можно было доверять меньше всех.

— Гуляев-то не пришел? — озабоченно осведомился Чума, незаметно толкая в бедро сидящего с ним рядом Королева. — Неужели решил дать драпу?.. Какая скотина… И голубков вам не привез!..

За столами прислушивались, кто-то загоготал от удовольствия.

Сергей Петрович слегка побледнел. Было понятно, что от того, как он ответит сейчас, может зависеть многое.

— Гуляев придет, — сказал он. — Куда же он пойдет, на зиму глядя? А голубей он поехал покупать для себя…

По лицу Чумы скользнуло смущение. Да, глядя на зиму, уходить рискованно. Этот тихонький докторишка оказывался хитрецом, с которым, может, лучше не связываться.

— Ты сегодня в спальне дежуришь? — переменил тему разговора Богословский. — Смотри, чтобы все было в порядке. Полы будут грязные — придется перемывать.

Чуме захотелось скрипнуть зубами, но он сдержался.

— А как же?.. Будьте покойны, Сергей Петрович… Все будет, как зеркало!.. — отвечал он обычным наглым тоном с оттенком подчеркнутого подобострастия.

На воле Чума долгое время жил у барышника, помогал ему сбывать краденые вещи, ухитрялся обманывать его и хорошо зарабатывал. Дело это нравилось ему.

В коммуну он пришел из Бутырок. Так случилось, что из болшевцев Чуму никто на воле не знал. Это давало ему возможность слыть среди них заправским вором. Он не прочь был даже «повожачить», но он понимал и то, что если не сумеет подладиться к воспитателям, могут произойти всякие неприятности. Нет, воспитатели должны быть о Чуме наилучшего

мнения. Только тетю Симу он не принимал в расчет, нарочито издевался над ней.

Он пошел в спальню.

Чинарик кое-как размазывал грязь по полу мокрой тряпкой.

— Это разве мытье? — заорал с порога Чума. — Разве так моют! Это что? Это что? — тыкал он ногой в густые полосы грязи. — Размазал грязь, а я отвечать должен? За что папиросы будешь брать? Перемой, чорт!

Чинарик покорно перемывал. Сам взялся, надо терпеть.

Одну особенно грязную половицу Чума заставил его перемывать три раза. Чинарик потел, сопел, мыл.

Чума обошел койки, оглядел застланные постели, хозяйской рукой опустил завернутые края серых грубошерстных одеял. Потом осмотрел еще раз свежевымытые, влажно пахнущие половицы.

— Ну, ладно… Получай!.. Принимаю работу!.. — одобрительно сказал он замученному Чинарику и бросил ему нераспечатанную пачку дешевых папирос.

— Приходи теперь, пожалуйста, нюхай, где хочешь! — Он злорадно посмотрел на койку Гуляева. — Зима, подумаешь!.. Испугали зимой! Да у Гуляева в Москве, может, целый десяток квартир есть!..

Пришел Гуляев к обеду. В руках у него покачивалась объемистая плетеная корзинка, завязанная холстиной. Болшевцы молча окружили его. В корзине глухо гулькали и возились голуби. Леха присел на корточки, отвернул холстину и стал наводить в корзинке порядок. Он понимал, что все ждут его слов, что он должен объяснить свое возвращение в коммуну.

На Трубной площади он купил голубей — четырех обыкновенных и пятого с желтой короной на голове. Голубь распускал длинные выгнутые крылья и рвался из рук. Лехе так захотелось посмотреть, как летает и кувыркается коронованный голубь, что прямо хоть выпускай его здесь же, на шумной площади.

В шалмане, куда принес Леха своих голубей, устроили гулянку. Было весело: пили водку, орали песни, обнимали девочек. Какой-то долговязый парень с желтым рябым лицом и оттопыренными ушами клялся Лехе в дружбе, приглашая на верное тысячное дело. «Выпьем!» поминутно кричал парень. Дрожащей рукой он наполнял стакан, проливая водку на стол и на пол. Потом Гуляев ушел в темный угол, лег на кушетку и там незаметно уснул под звон стаканов и выкрики.

Проснулся он на рассвете. Побаливала голова.

Приподнявшись на локте, он осмотрел комнату. На столе в лужах водки мокли огрызки колбасы, хлеба и огурцов; люди валялись прямо на полу, среди мусора и окурков. Тяжелый воздух был отравлен застоявшимся табачным дымом, запахом водки, дыханием людей. Вся эта неприглядная картина освещалась холодным светом пасмурного утра; свет был ровный и, не давая теней, проникал беспощадно всюду. И лица спящих, испитые и вздутые, казалось, были уже тронуты могильным тлением; невозможно было поверить, что живые, настоящие люди могут иметь такие страшные лица.

Так вот она, счастливая, веселая жизнь, о которой он, Леха Гуляев, мечтал, покидая коммуну! Он не удивлялся ее безобразию. Он знал, что в шалманах не бывает иначе, что сколько бы ни прожил он здесь — хоть до ста лет, — каждое утро, просыпаясь, будет он видеть тот же залитый водкой стол, те же мертвые лица, будет дышать тяжелым, отравленным воздухом…

Он лег на спину, чтобы не видеть комнаты. Он думал. Собственные мысли пугали его. Он не любил редкие минуты просветления, когда разум из верного друга, обладающего неоценимой способностью утешать, обещать и придумывать оправдания гнусным поступкам, превращался вдруг в строгого судью и, подобно сегодняшнему утру, освещал всю жизнь Лехи ровным светом, беспощадно проникающим всюду. И прошлое вставало такое же грязное, постыдное, заплеванное, залитое водкой, как эта комната.

Что мог он вспомнить? Его голодное детство бродило босиком по мутным осенним лужам на Сухаревском, Смоленском и Тихвинском рынках. Оно мчалось от преследователей с выпрыгивающим сердцем и зажатым в руках кошельком, оно лежало на холодной и скользкой земле, под тяжелыми сапогами озверевших людей.

Что мог он вспомнить? Своего первого учителя — безногого инвалида Капитонова. Поместив короткое, подобное чугунному бюсту, туловище на маленькую тележку с четырьмя железными колесиками, Капитонов проворно ездил по улицам, отталкиваясь зажатыми в руках деревяжками, ловко лавируя среди бесчисленных ног. Точно в насмешку, он был обречен видеть у людей только то, чего был лишен сам, — ноги. Может быть, потому он так ненавидел людей. Забавы его были злобны и мерзки.

Ругаясь с прохожими, он весь багровел, хватал, не нагибаясь, горсти грязного снега с дороги и торопливо ел его. Он первый обратил внимание на бойкого и озорного Леху и надоумил его грабить около булочной ребятишек, которых родители посылали

за хлебом. Сначала Леха грабил, боясь, что инвалид заподозрит его в трусости, потом этот грабеж стал для него обычным делом.

Инвалид жил в глубоком подвале и содержал там шалман. Он свел Леху со взрослыми, опытными в воровском деле ребятами, которым было уже лет по восемнадцати.

В подвал собирались часам к шести. Сначала играли в очко, причем инвалид всех обыгрывал — он, вероятно, этим и жил; потом пили, всегда с песнями и девочками. Кто-нибудь поднимал инвалида на стул. Топорща жидкие свои усы, он кричал, перебивая всех:

— Ну, что — живем! Одни с ногами, а я, например, без ног. А хоть без ног, да если бы был ученый, такой бы выдумал газ — все бы сразу подохли. Все! Понял? А я хоть и безногий, да остался бы жив.

Много рассказывал он о своих победах над женщинами. Даже взрослые, видавшие всякие виды воры отплевывались, слушая его.

Погиб он страшно. На дворе перед самым входом в подвал случилась драка; инвалид принял в ней участие, тыча деревяжкой всех без разбора в низ живота. Кто-то в сердцах ткнул его ногой так неудачно, что тележка поехала по лестнице вниз, подпрыгивая на ступеньках, стуча и звеня колесиками, все быстрее и быстрее, а инвалид дрожащим от тряски голосом кричал: «Де-е-ерж-и!» Лестница насчитывала ступенек тридцать, и инвалид расшибся.

Что мог еще вспомнить Леха Гуляев? Дежурства «на стреме», бесконечные приводы в угрозыск, любовь, купленную за трешник.

Еще мог он вспомнить тюрьму, где познакомился со вторым своим учителем, которого все называли Студентом.

Студент — черный, смазливый — проститутки дорого платили ему за его любовь — усаживался на койке, поджав ноги калачиком, и витиевато громил советскую власть за непоследовательность политики.

— Коммунисты против собственности, — говорил он, — и мы против собственности. Коммунисты говорят — все общее, и мы говорим — в шалмане все общее. Подходи к столу и пей, сколько хочешь. Почему же коммунисты сажают нас в тюрьму?

И заканчивал с пафосом, высоко подняв смуглую руку:

— Пусть все воруют у всех. Воровство не порок, а добродетель. Воровство есть стихийное стремление против собственности! Да здравствует воровство!

Камере эти речи ужасно нравились, и она шумно выражала свой восторг. Гуляеву слова Студента казались мудростью. Вскоре он применил советы Студента практически и украл у самого же учителя пять рублей.

Студент немедленно отыскал вора и, загнав Леху в угол, долго сосредоточенно бил по лицу тяжелым кулаком, а блатаки, видимо, не понимая, что поступок Студента прямо противоречит его убеждениям, крякая, приговаривали:

— Дай ему еще, дай ему! Ишь, завелась паскуда: этак все в камере разворуют!

На этом примере Гуляев понял ту истину, что люди часто бывают великодушными, щедрыми и справедливыми только за чужой счет.

Что еще мог он вспомнить? Да и не хотелось ему вспоминать. Чтобы отвлечься от омерзительных, гнусных воспоминаний, он встал и, шагая через головы, ноги и тусклые пятна осеннего света на полу, пошел к двери — проведать своих голубей. И не сразу нашел корзину с голубями: кто-то бросил на нее вчера пальто. «Задохлись», горестно подумал Леха, поднимая пальто. Он просунул ладонь в корзину, голуби щекотали ладонь клювом — просили зерна.

Гуляев поочередно кормил их крошками. Коронованный голубь опять выгибал тонкое крыло — тосковал о полете. «Выпустить его, — подумал Леха. — Держать здесь негде, в шалмане голубятню не устроишь».

Он вышел с корзиной на двор. Стены поднимались отвесно и помешали бы видеть голубиный полет. Как-то сразу решил Леха съездить за город и там выпустить голубей. Когда брал в кассе билет, назвал Болшево. Некуда было больше ехать ему. Он только посмотрит полет этого желтоголового и, конечно же, не останется, уедет опять.

И вот он снова в коммуне.

Он сидел на корточках перед корзиной и с преувеличенной внимательностью разглядывал голубей. Он посмотрел в глубокое небо, сказал, как бы советуясь с товарищами:

— Выпустить, ведь и не вернутся, пожалуй. Не привыкли еще.

— Улетят, — подтвердил Осминкин, — обязательно улетят. Ты погоди.

Это простое замечание обрадовало Гуляева, и он пустился в пространные разговоры о голубях. Никто не спросил его о причине возвращения.

Целый день Гуляев устраивал голубятню. Через сквозящие вершины сосен, между их чешуйчатыми стволами пробивалось теплыми полосами вечернее солнце. Новый лакированный замочек поблескивал на дверцах голубятни. Подошли товарищи, похвалили работу. Чума не мог скрыть своего разочарования. Гуляеву показалось, что в словах Чумы сквозит насмешка, не чувствуется прежнего уважения к нему. Он ударил Чуму тут же у

голубятни. Помочь Чуме никто не посмел. «Значит, боятся еще», самодовольно подумал Гуляев.

Мастерские

Мелихова очень беспокоило, как отнесутся его воспитанники к труду. И возможно ли, чтоб люди, на языке которых понятие «работать» переводилось словом «ишачить», научились любить и уважать труд?

— Ведь надо же, чтобы они захотели работать! Надо же, чтобы они каким-то образом поняли необходимость этого? — говорил он Погребинскому перед приездом бутырцев. — Что кроме хорошей книжки, которая будила бы воображение, может дать им такое понимание?

Но Погребинский не согласился с Мелиховым:

— Не книжка, а потом жизнь, а прежде всего — жизнь, а с нею — книжки. Товарищ Ягода это ясно определил: нужна человеку обувь — пусть сошьет ее себе! И когда он увидит, что хороших сапог или табуреток без книг не сделаешь, — он сам их запросит, будьте уверены!

Воры любят обувь. Особая страсть, особый шик — сапоги и ботинки. Значит, их должно заинтересовать обувное дело. Они ценят физическую силу. Значит, многих из них может увлечь кузница. И главное, чтобы не было скучно, чтобы работать было интересно, весело… В дальнейшем, когда мастерские наладятся, можно производить спортинвентарь. Спорт для молодого парня — дело кровное!

Все это воспитатели понимали, но самое трудное было в том, чтобы правильно начать.

В коммуну приехали инструкторы по обувному и кузнечному делу.

Мелихов повел их знакомиться с болшевцами.

— Вот они, наши молодцы, — сказал негромко Федор Григорьевич.

Ребята ожидали завтрака, курили, развалясь на койках, вяло о чем-то спорили. Рябоватый, приземистый паренек, задрав ногу на подоконник, прикручивал проволокой отставшую подошву. Может быть, он готовился в далекий путь.

— Теперь в коммуне жизнь весело пойдет! — сказал Мелихов громче, чтобы его услыхали все. — Знакомьтесь — ото приехали к нам мастера.

— Хм, мастера, — иронически протянул кто-то.

— Мы сами мастера, — хвастливо намекнул Калдыба — парень, известный тем, что с двумя другими ворами бежал из арестного дома, связав охрану двух внутренних постов и наружного часового. Он был действительно в своем роде

«мастер».

— Фальшивомонетчики, что ли? — с ехидством осведомился из угла Умнов.

— Молодцы, бойкие! Кое с кем я в прошлом году на рынке виделся, кажись, — ухмыльнулся пожилой, высокий приезжий.

Под глазами, на переносице, на скулах у него дрожали мелкие добродушные морщинки.

— Фальшивую монету я чеканить не умею, — продолжал он с притворным сожалением. — Зато настоящую деньгу могу ковать. Кузнец я. Зовут меня Павел, по фамилии Демин.

Мелихов представил другого приезжего — сутулого, молчаливого человека:

— Это инструктор по сапожной специальности. Тоже вольнонаемный.

Сутулый инструктор смущенно переминался с ноги на ногу. Он держал под рукой большой тяжелый сверток.

— Вы знаете, что жить в коммуне и не работать — нельзя, — сказал Мелихов. — Все должны работать! Каждый может выбрать себе специальность по своему вкусу. А так как всякий труд должен быть оплачен, то и у нас будет зарплата.

— Будете деньги платить? — заинтересовался Калдыба.

Деньги ему были очень нужны: вот уж третий день никак не удавалось раздобыть водки.

— Нет, денег не будем платить. Деньги будем платить, когда мастерские станут работать с прибылью, когда вы сделаетесь мастерами! А до тех пор… Вы все курящие… Требуете махорки. Вот мы и будем рассчитываться махоркой. Кто хорошо будет работать, тому полторы столовых ложки махорки, кто похуже — тому ложку или ложку с четвертью, а то и пол-ложки…

— Ну и зарплата! — фыркнул Калдыба с презрением.

— Работайте лучше, учитесь скорее, будете получать и червонцы.

— А если я не буду работать, что же, вы мне махорки не дадите? — спросил Гуляев, ни на секунду не допуская такой возможности.

— А конечно, — подтвердил Мелихов с удивительным спокойствием. — Раз ты не будешь работать — значит, не хочешь быть в коммуне. Почему же коммуна должна давать тебе махорку?

Дело приобретало неожиданный и мало приятный оборот.

Федор Григорьевич объявил, что мастера приступят к работе завтра.

На другой день после завтрака сапожник, дядя Андрей, обошел весь дом в поисках места, где поудобнее расположиться с

инструментами. Переходя из комнаты в комнату, он недовольно качал головой. Везде было тесно. Пришлось обосноваться в коридоре. Сюда он приволок со двора пахучую сосновую доску, приладил ее на два толстых обрубка и проверил устойчивость временного верстака.

Потом развязал, не торопясь, сверток, который все время таскал подмышкой, и вывалил на доску разнообразный инструмент: молотки, ножи, рашпили, шила, колодки. Из мешка шлепнулись также три изношенных кривых ботинка — женский, мужской и детский.

— Э, сынок! — неожиданно окликнул дядя Андрей проходившего мимо Гуляева. — Что у тебя на ногах, никак лапти?

— Врешь, старая перешница, — возмутился тот и лихо пристукнул о пол каблуками. — Сам лапотник. Ботинки у меня — класс.

— То-то, класс. Проволоки, заметно, полпуда. Горит на вас обувь, — и дядя Андрей таинственно поманил Гуляева к себе пальцем:

— Подь ко мне.

— Зачем?

— Иди, не укушу, дельце есть.

Гуляев засунул руки в карманы и подошел с таким независимым видом, словно оказывал сапожнику величайшее одолжение.

— Проволока зря намотана, — качнул головой сапожник. — Давай гвоздочками подобьем подошву? Оно понадежнее будет.

Гуляев хитро прищурился:

— А за работу три шкуры сдерешь? Знаем мы вашего брата, частников.

Щетинистые губы дяди Андрея обиженно надулись.

— Какой же я частник? Починю задаром! Скидывай башмаки, — вразумлял он.

— Что, сдрейфил, Леха? — подзадорил его сзади болшевец Хаджи Мурат.

Хаджи Мурат был увлекающийся парень. По национальности он был поляк. Звали его Юзиком. Черные, жесткие, прямые волосы и выпуклые скулы делали его похожим на монгола. На вопросы, откуда он родом, он неизменно отвечал: «С Кавказа». И принимался пространно рассказывать свою историю.

На Кавказе он командовал отрядом чеченцев, воевал с русскими войсками. Однажды поссорился с чеченским командиром Шамилевым и, чтобы спастись, убежал в горы. Кое-как добрался до русских. Однако у русских ему не понравилось. Через неделю он в сопровождении пяти верных товарищей

бросился обратно в горы. С великим трудом они отбивались от погони, дрались с целым батальоном русских. Гибель была неминуема. Тогда Юзик выхватил саблю наголо и бросился на русских с криком: «Хазават!» Русские оробели, смешались, расступились перед ним.

— Что такое «хазават»? — спросил его как-то Умнов.

Находчивый Юзик ответил, не моргнув глазом:

— Смерть капитализму!

Третьего дня Юзик, к несчастью своему, рассказал эту историю Накатникову. Тот молча выслушал его и вместо того, чтобы похвалить за храбрость, заметил пренебрежительно:

— Ну, это клеишь! Эта история случилась сто лет тому назад, когда твой дед сосал мамкину грудь, а тебя и твоего отца еще и на свете не было. Это был такой Хаджи Мурат, и написано о нем в сочинении графа Толстого.

Юзик был посрамлен. Он потерял славу храбреца, хотя и приобрел — имя Хаджи Мурата.

С момента появления инструкторов он находился в возбужденном состоянии. Он и сам не знал, что его собственно так беспокоило. Он то возмущался тем, что теперь махорку будут выдавать только работающим, то начинал объяснять болшевцам, что раз они знали, идя в коммуну, что в ней надо работать, — теперь нечего зря бить языком.

Сейчас ему хотелось посмотреть, как будет мастер ковырять шилом башмаки Лехи. Его поддержали другие ребята.

— Уважь гостя, скинь коней!

— Дай ему с условием, чтобы за десять минут сделал, — солидно советовали они Гуляеву.

Но солидность эта была напускная. Гуляев начал снимать ботинки.

Дядя Андрей сел на табурет и придвинул к верстаку еще два табурета.

— Ремесло сапожное — не шуточка. Прыткий какой: починить этакую рвань в десять минут! — ворчливо рассуждал он, ощупывая и разминая загрубевший лехин башмак. — А, впрочем, тово… берусь в десять минут эту посудину подправить. Только я, приятели, тоже птица стреляная!.. Пущай ваш Леха садится рядом со мной — в помощники… Я за один, а он за другой башмак. Я ему форшиком наколю, а он молотком гвоздочек стукнет… Не хочешь? Зря.

Сапожник посмотрел вокруг себя и продолжал:

— Ты прикинь, чудак. Может, судьба твоя горькая когда-нибудь занесет тебя, куда Макар телят не гонял, где за сто верст вокруг не сыщешь сапожника. А украсть там нечего. Ведь может

статься? А в те поры обувка твоя продырявилась, на шнурке держится… Как будешь? Босым пойдешь? Вот и прикинь мозгой. Ремесло в жизни — вещь важная. Для своей же пользы под учись.

Воспитанники придвинулись ближе. Гуляев стоял впереди разутый, в портянках. Все ждали, что он сделает.

— А, пожалуй, верно? — вопросительно сказал Гуляев.

Никто ему не ответил. Гуляев сел. Это было как бы сигналом.

— Вали, ребята! Шей! — крикнул Хаджи.

— Обувай!

— Подковывай!

Воспитанники набросились на верстак, растащили принесенные башмаки, с бранью вырывали друг у друга молотки, кожу, шилья.

Дядя Андрей попробовал было объяснить, что железными гвоздями подбивать подошву не годится — надо деревянными, но его никто не слушал. Болшевцы, смеясь, вбивали гвозди куда попало. Подошва женского ботинка засверкала от множества шляпок гвоздей. Мужской изрезали на клочья. Детский утащили куда-то.

Вероломный Леха развлекался наравне с другими. К своему ботинку он не притронулся.

Грохнула опрокинутая табуретка. Хаджи Мурат захлебнулся руганью:

— Удавись ты со своими конями!.. Чтоб вас задушило вашей махоркой!.. Гад буду, если я еще хоть раз сяду калечиться!

Он исступленно размахивал уколотым пальцем.

— Кончай! Ну их! Вали на улицу, — загалдели болшевцы, бросая инструмент. — Безрук останешься… Отыскали ишаков!

Гуляев наспех натянул недочиненные ботинки и галантно расшаркался перед дядей Андреем:

— Разбогатею — марафетом угощу. Нюхнешь разок — понравится.

— Ты бы лучше угостил меня завтра махорочкой! — лукаво сказал дядя Андрей.

Через минуту он остался один, но морщинистое, хитрое лицо его было спокойно.

Очередь поближе познакомиться с воспитанниками коммуны пришла и кузнецу.

После обеда он открыл плечом дверь и грузно ввалился в спальню.

— Соскучились, сударики! — приветственно загремел он с порога и, растопырив руки, вразвалку двинулся к койкам.

На угловой койке, закрыв лицо фуражкой, дремал долговязый Калдыба. Он не успел еще протереть глаза, как дядя Павел

ощупал его плечи и одобрительно похлопал по животу:

— Го-оден! — весело сказал он и пошел к следующей койке. На ходу он сопел и отдувался. Его ладони были так огромны, что, казалось, могут сплющить человека.

— Этот пистолет хорош, а этот жидковат, — объявлял он на весь дом.

Ошеломленные развязностью кузнеца, ребята не оказывали сопротивления. Даже Королев, славившийся атлетическим сложением и строптивостью характера, затаил дыхание на своей кровати.

Дядя Павел добрался до Королева в последнюю очередь. Он слегка пощекотал его за ухом:

— Хорош парень. Годен!

И тут произошло совсем невероятное событие. Могучий Королев, сделав страдальческое лицо, вдруг заскулил, точно щенок, который почуял прорубь:

— Куда годен? Не трожь меня, дяденька. У меня руки, ноги ломит… Вроде — тифозный…

Когда-то в угрозыске Королев с успехом симулировал сумасшедшего. Его отправили на Канатчикову, откуда он и бежал. Однако сейчас притворство совсем не удалось.

Кузнец участливо склонился над ним:

— Болен? А ну, посмотри на меня. Может, доктора кликнуть? Нет, ты смотри прямее, вот так. Здоров! — голос кузнеца был громок. — По глазам вижу — здоров. Из тюрьмы в коммуну жить пошел — за это умен. А что в коммуне очки втираешь — это негоже.

— А кто тебе позволил в мертвый час до нас прикасаться? — обидчиво, однако не слишком смело вступился за Королева Умнов.

Дядя Павел медленно, с достоинством потянул серебряную цепочку на своей груди и вынул часы. Щетинистые губы его строго шевельнулись.

— Рекомендую убедиться: мертвый час кончился девять минут назад, теперь живой начался. Ну, собирайтесь… Поведу я вас в такое прибыльное место, где сразу две пользы будет: физкультурой подзайметесь и деньгу ковать научитесь. Годные — за мной! — скомандовал он и повернулся в сторону двери.

Четверо признанных годными, почесываясь, поднялись с матрацев. Королев, притворно охая, поплелся последним.

— Малахольные! — крикнул вслед им Умнов. — Забыли, что от работы кони дохнут.

Умнов был одним из лучших учеников в обувной детдома имени Розы Люксембург. Там ему хотелось, чтобы все ребята

видели, что он способнее и ловче каждого. В коммуне с приходом урок появились люди, бесспорно более ловкие. И Умнов потерял всякий интерес к обувному делу. Впрочем, в кузницу он пошел бы работать… если бы ему предложили. А дядя Павел даже не подошел близко к щуплому, низкорослому Умнову. Он распластался на матраце животом вниз и прикрыл голову подушкой, чтобы ничего не видеть.

Неподалеку от дома коммуны стоит покосившаяся, ветхая лачуга — кузница. Когда-то, еще до совхоза, в ней обитал кузнец-кустарь со своей женой. Супруги занимались не столько горячей обработкой металла, сколько винокурением: по ночам гнали самогон. Предприимчивую чету осудили. Кузница стала пустовать. Ржавела и протекала крыша. Дожди размывали горн. Несколько раз по неизвестным причинам кузница загоралась. Но почему-то бревенчатые стены ее не поддавались огню, лишь слегка почернели и обуглились.

По дороге дядя Павел расспрашивал ребят: хорошо ли их здесь кормят, крепко ли спят по ночам, какие болезни перенесли в детстве и нет ли у кого грыжи?

Ребята рассказывали о себе не очень охотно.

Лишь Калдыба подробно пожаловался, что у него на сердце сидит твердая, как орех, опухоль. Появилась она после того, как он однажды на рынке украл буханку хлеба. Нагнали торговцы. Били по голове страшно. Голова уцелела, но сердце повредилось. И когда ноет опухоль, он может выпить хоть две бутылки и все равно останется трезвым.

Он сетовал также на то, что в коммуне запрещают пить водку, нюхать марафет. Главное же — нет девочек! А теперь вот и махорку надо зарабатывать.

В кузнице дядя Павел велел болшевцам сиять шинели, надеть принесенные им кожаные фартуки. Он положил не спеша трехметровую стальную полосу на ребра наковальни.

— Пригото-овьсь! — нараспев скомандовал дядя Павел и вызывающе подмигнул. — Ну-ка, попробуйте, молодцы. Эй, парень, держи зубило. Ну, кто хочет ударить?

«Тифозный» Королев соблазнился первым. Он изо всей силы замахнулся кувалдой.

— Легче! — поправил его дядя Павел, наставляя в метку отскочившее зубило.

За Королевым ударил Калдыба. Длиннорукий, он размахнулся так неудачно, что кувалда ударилась о дверь, посыпались труха и щепы. Все прыснули со смеху. Калдыба сконфузился. Санька Королев толкнул его в спину:

— Уйди, криворукий! Дай-ка вот людям!

Дядя Павел посоветовал открыть дверь, чтобы можно было шире размахнуться кувалдой.

Первый раз в жизни парни рубили металл. Зубило отскакивало. Стальная полоса, не прилегая плотно к наковальне, пружинила. Каждый неверный удар грозил увечьем. Кузнецы чертыхались.

Королев одумался раньше других. Он вытер рукавом свой высокий мокрый лоб и удивленно посмотрел на ребят мутными от усталости глазами.

— Ослы! На какого чорта вам это железо нужно? — и выпустил из рук кувалду.

Она клюнула землю толстым носом.

— Перекурим, — сказал спокойно дядя Павел и распечатал голубую пачку папирос.

— Знатно, косопузые, работали. Глядел на вас и думал: не пропадем. Вылечимся от разных там опухолей и болезней! Ей-богу, вылечимся, не пропадем. — Он щелкнул в донышко пачки, и оттуда выскочили стройным рядком, как в обойме патроны, пять папирос.

— На дешевку не продаемся, — предупредили кузнеца болшевцы, угощаясь папиросами.

Дядя Павел сел на порог, сдунул пепел папиросы с фартука:

— Слов нет — рубили знатно, а все-таки с изъяном. Вы какие-то все кривобокие, нескладные, опять же бьете с правой, а с левой руки ни один не ударил. Молотобоец девяносто шестой пробы бьет с плеча и с левой и с правой руки, бьет и с головы частыми ударами, например, при сварке металла… Это я вот вам погодя покажу.

— Нет уж, другим показывай. С нас хватит, — сказал Беспалов.

Пыхтя папироской, к дяде Павлу подошел Королев, нагнулся и осторожно пощупал на левой руке кузнеца мускулы.

— Ишь, пес! Жернова какие… Небось, трудно левшой-то бить, а?

— Отдохнем — покажу, — повторил кузнец. — А сейчас поясню, для чего мы рубили металл. Это заготовка на резаки — ножи сапожные. Как ехать сюда, я договорился с обувной фабрикой «Парижская коммуна» взять у них заказ на эти резаки, по четыре целковых штука. Работа капризная, аккуратная. Когда научимся да пойдет у нас работа — часть вырученных денег мы будем распределять между собой как зарплату, а другую часть откладывать на покупку инструмента, материала, одним словом, на расширение производства. Разговаривал я и с костинскими мужиками и совхозом ОГПУ. Мол, мои ребята будут вам за

продукты и плату лошадей ковать, перетягивать шины, что надо, ремонтировать. Заказов, выходит дело, хоть залейся. Вот и хочу спросить, как ваше мнение: разговаривать мне насчет этих заказов или уж пусть другим отдают?

Калдыба курил, сидя на корточках. Он вдавил окурок в землю и поднялся:

— У меня предложение: в кузнице заиметь огнетушитель, чтобы на всякий случай…

— Заткнись! — перебил его Королев. — Я вот что скажу. Заказы непременно бери. За хорошую плату мы, отчего же, сделаем…

— Фабрика, небось, богатая. Будешь брать — не продешеви!

— Лупи с нее все четыре шкуры, — решительно посоветовал Беспалов.

После «перекурки» ребята не ушли, как собирались. Зашипел горн. Началась горячая обработка нарубленных полос. У дяди Павла обе руки заняты: в левой — клещи, в правой — молоток-ручник.

У Королева по лбу текут едкие, смешанные с копотью струйки пота. Из-под кувалды брызжут пучки малиновых звезд. Бить с головы труднее. И когда удары становятся реже, когда Королев совсем уже готов бросить кувалду и прохрипеть: «К чорту, не хочу больше», — дядя Павел, придерживая клещами розовую полосу, вдруг начинает вызванивать ручником что-то необыкновенно складное, хоть плясать начинай.

Молниеносными движениями ручника он показывал, где и как надо бить кувалдой, и это завораживало молотобойца, захватывало, как игра.

В конце концов Калдыба не вытерпел, схватил кувалду, и в две руки посыпались частые удары на остывающую вишневого цвета сталь.

Ночью Борисов, «бутырец», натянув до шеи одеяло, таращил в темноту глаза и вполголоса, чтобы не разбудить соседей, рассказывал Умнову:

— …Приехали за нами в тюрьму на рассвете трое: один в кубанке, лицом круглый, другой Мелихов, а третий — этот кузнец. Вывели меня из камеры, велят переодеваться, торопят: дескать, машина ждет. Говорят — «в коммуну». Я об ней-то уж слыхал, просился. А не верю, вроде как испугался, трясусь весь. Одежа попалась широкая, сзади хлястик тычу пальцем, никак не застегнуть. А кузнец подходит. «Эх, ты, — говорит, — хлястика застегнуть не можешь». Да и застегнул. Ей-богу! Завтра пойду к нему. Попрошусь хоть в подметалы. Больно парень свойский. Всему научит… Ей-богу!.. Пойдем вместе, Саш?

Из раскрытого рта Умнова вылетали сиплые звуки. Он спал. В другом конце комнаты перешептывались:

— Ежели обманут насчет будущей зарплаты, — фартук кожаный заберу и загоню… А что? За махорку, что ли, работать?

— Конечно… А, как думаешь, за кожаный фартук сколько у Каина выручишь?..

На следующий день Павел Демин кроме полагающейся махорки получил у Мелихова для кузнецов дополнительное питание и спецодежду — ватные брюки, фуфайки. В полуденный перерыв кузнецы после того, как одолели удвоенную порцию обеда, качали в знак благодарности дядю Павла, тоже отяжелевшего от еды.

Штат кузницы пополнился Борисовым и Умновым. Борисов во время работы норовил быть поближе к мастеру, толкался у горна и наковальни. А Умнов свой приход ознаменовал изобретением. Ему поручили «дуть». Он дергал веревку, привязанную к рукоятке, развалясь на куче угля. Меха тяжело дышали.

Не дремал и дядя Андрей. Он было исчез куда-то, но когда к дому коммуны подъехала военная повозка, на которой высился ворох истрепанных красноармейских сапог, он появился снова. Пахнущую плесенью и пылью кучу сапог, полученную для коммуны из пехотного полка, сложили в коридоре у верстака. В куче кое-где выглядывала и обувь, отливавшая черно-синим глянцем хрома.

Когда подошли воспитанники, дядя Андрей застегнул ворот на рубахе, поправил складки за поясом и приосанился:

— Ребята! Сапоги вот. Для вас привезены.

— Ну-ка, что за сапожки? — заинтересовался Гуляев.

— Рвань…

— А выбрать можно! Хороший есть сапог.

— Дайте мне слово сказать, — взмолился дядя Андрей. — Вы себе сами хозяева. Можете разобрать эти сапоги сейчас, как они есть — дырявые. Но по-моему лучше бы так: каждому я дам по паре. Вы маленько почините их под моим наблюдением и потом каждый свою пару носите. А кто всех лучше будет работать у меня подручным — тому, вроде как в награду, отдадим хромовые. Идет?

— Обманываешь!.. — усомнился Хаджи Мурат.

— Нужно мне тебя очень обманывать, — спокойно ответил ему дядя Андрей. — Ну, кто ко мне подручным?

— Хромовые? — переспросил Гуляев.

Он колебался.

— Ладно, я согласен.

— Это каждый согласится, — позавидовал Хаджи Мурат. Все

успели разглядеть среди хлама несколько хромовых пар. Когда рассаживались по табуретам, Гуляев подошел к Хаджи Мурату и, наклонившись к нему, прошептал на ухо:

— Сапоги будет распределять инструктор, и ежели ты опять забузишь сегодня, то я тебе вот что… Понял? — и он погрозил кулаком.

Хромовые сапожки Гуляев решил не упускать.

Понемногу воспитанники осваивались. По коридору пошла стукотня.

Удача с ремонтом сапог внушила ребятам чувство самоуважения. Каков бы ни был ремонт, но он был сделан собственными руками. Все щеголяли в обновленной обуви, хвастались друг перед другом своими успехами. Многие, удовлетворившись достигнутым, отлынивали от новой работы. Неплохо узнавший повадку своих сапожников, инструктор решил посоветоваться с Сергеем Петровичем.

— Велико дело кожа… Ну, попортят, ну, поуродуют, зато своими руками делали. Уж если у кого сапог выйдет, того не оторвешь от дела, будет сапожником, — горячо убеждал Богословского дядя Андрей.

Он все-таки опасался, что его могут не поддержать: что там ни говори, а кожа — добро, зря переводить ее не годится, она денег стоит… Но Сергей Петрович вполне согласился с ним.

Для первого раза дядя Андрей отпустил товар одному Гуляеву. Тот несколько дней усидчиво горбатился на табуретке. Инструктор подходил к нему, указывал. Но Гуляеву только досаждало это. Что он, сам не понимает? И он делал не так, как показывал инструктор, а как хотелось самому. Все с нетерпением ждали первой пары сапог. И — ахнули: это были огромные сапожищи, с подошвой толщиной в два дюйма, с квадратными каблуками, прямые, негнущиеся голенища высились, как чугунные трубы. Весили они пятнадцать фунтов.

Гуляев с нежным и гордым отцовским чувством смотрел на дело своих рук.

— Да, — ввернул Хаджи Мурат, — на Петра Великого как раз.

— Не для господ сработаны, — с достоинством пояснил Гуляев. — На каждый день.

— А кто же их носить будет?

— Я сам! — угрожающе огрызнулся Гуляев.

Хаджи Мурат не верил, а Гуляев изо всех сил защищал честь своих сапог, доказывая, что размер и вес их были предусмотрены и объясняются наступлением зимних холодов — чем толще портянки, тем лучше. А хромовые для этого мало годятся. Гуляев решил немедленно продемонстрировать полную пригодность

своих сапог и надел их, обернув предварительно каждую ногу мешком.

Он разулся только вечером. Утром он снова надел эти же сапоги.

Вторую пару, сделанную Лехой недели через две, все единодушно признали верхом изящества и легкости. Весила эта пара только двенадцать фунтов.

Ключи тети Симы

На кусок хлеба, жирно намазанный маслом, накладывались квадратики пиленого сахара. Это было пирожное. Сахар и масло похищались из кладовой понемногу, но постоянно. Этому мелкому хищению содействовала рассеянность воспитательницы Серафимы Петровны, наблюдавшей за хозяйством. Память у тети Симы, как заметили болшевцы, была плохая. Она постоянно забывала ключи от кладовой на столах и на подоконниках, хотя уверяла Мелихова, что хранит их, как зеницу ока.

Прежде чем отдать найденные ключи, ребята наведывались в кладовую.

А тетя Сима жаловалась на прожорливых крыс. И в этот раз, заговорившись, она оставила ключи на столе. Почиталов взял ключи и, насвистывая, пошел в кладовую. Он уже предвкушал удовольствие от «пирожного», но в кладовой было пусто.

Почиталов перестал свистать и степенно подошел к Мелихову.

— Ключи вот на столе брошены, — лениво сказал он. — Возьмите, Федор Григорьевич. А то ведь народ у нас разный — долго ли, в сахар залезут.

Серафима Петровна хватилась ключей, когда надо было собирать чай. Она клохтала, точно наседка, растерянно вертела головой.

— Я говорю, тетя Сима, у вас память короче куриного гребешка, — вяло поддразнивал ее Умнов.

— Ключи ищете? — спросил, входя в столовую, Мелихов.

— Не порядок такую вещь бросать, где попало. Благодарите Почиталова. Нашел и сейчас же доставил.

Тетя Сима пошла в кладовую. Вернулась совсем огорченная. Она часто моргала, ключи тревожно звенели в ее руках:

— Как хотите, Федор Григорьевич, а сахару больше нет. Утром еще было немного, а сейчас хоть бы кусочек!

Озадаченный Мелихов пожал плечами.

— Ничего едочки, — крякнул он. — Месячную норму съели за полмесяца!

— И масла нет, — упавшим голосом добавила тетя Сима.

Мелихов порозовел.

— Ну, что ж? — рассерженно сказал он слушавшим этот разговор болшевцам. — Когда пусто, когда густо, когда нет ничего. По мне — ешьте месячную норму хоть в один день, а двадцать девять суток поститесь. Дело ваше… Как вам лучше.

Сели пить чай без сахара.

В коммуне уже существовали выборные из воспитанников, помощники воспитателей — «доверители» — и две хозяйственных комиссии — продуктовая и вещевая. Работали в этих комиссиях Андреев, Васильев и Смирнов. Теперь они почувствовали себя совсем неважно. Были все основания думать, что дело не кончится гневными словами Мелихова. Если начнут разбирать причину нехватки продуктов, кто же поверит, что руководители комиссии не знали о систематическом хищении масла и сахара!

— Сегодня общее собрание, — почти приказал Мелихов и сердито вышел из столовой.

Стало ясно, что готовится взбучка. Очевидно, кто-либо выслежен и будет уличен на собрании. Сахаром «баловались» почти все, даже те, кто в прежней жизни не любил никаких сладостей, предпочитая им водку. Было бы величайшей несправедливостью заставить отвечать за всех одного или двоих. У всех вдруг вспыхнула против Мелихова злоба.

— Сахару пожалел, усач!

— Себе, небось, не жалеет!..

— За кусочек сахару в Соловки отправляет.

Вновь возникало то круговое, блатное единомыслие, которым держался воровской мир и которое здесь, в коммуне, за последнее время несколько расшаталось.

Посредине длинной комнаты стоял массивный, с порванным сукном биллиардный стол, вдоль стен — некрашеные скамейки. В углу чванно лаком блестел рояль. На стенах в нарядных рамах висели холсты, изображавшие кровных рысаков, фаворитов Крафта. Всегда аккуратный Мелихов на этот раз заставил собравшихся подождать его. Опоздал он умышленно, в этом Богословский не сомневался.

В памяти Сергея Петровича встал недавний случай.

Одной черной дождливой ночью он и Мелихов обходили спальни и застали воспитанников за картами.

— Отдайте карты, — потребовал Мелихов. Но карты мгновенно исчезли.

Вновь и вновь воспитатели сталкивались с воровской «круговой порукой», которая сковывала у воспитанников языки. Восторжествовав раз, другой, неписаный закон этот мог

укорениться и разлагать коммуну изнутри. Недаром Погребинский не уставал говорить об этом. Момент был ответственный. Мелихов тщетно искал нужное слово или действие, которое принесло бы победу. Сергей Петрович с надеждой взирал на него. Мелихов высоко поднял руку и крупно шагнул вперед. Его лицо побледнело.

— Вы мелкие, неблагодарные люди! — загремел он на всю спальню. — Вы не заслуживаете того, чтобы тратить на вас нервы и силы. Живите, как знаете… Я завтра же уезжаю… и навсегда!

«Что он говорит… Нелепость какая», подумал неприятно удивленный Сергей Петрович. Мелихов круто повернулся и ушел — оскорбленный, суровый.

С минуту никто не произнес ни слова. Потом чей-то грубоватый голос начал с угрозой:

— Если ты, Митька, не отдашь карты…

Все закричали, замахали кулаками, обвиняли в чем-то друг друга. Два паренька подскочили к Богословскому. В руках у них были карты.

— Нет, сами заварили кашу, сами и расхлебывайте, — отступил от них Богословский. — Несите Федору Григорьевичу, а я не возьму…

В ту же ночь делегация из нескольких парней отнесла во флигель к Мелихову карты и заодно обещала от всей спальни больше никогда не играть. Неожиданный этот результат показал Богословскому, что иногда воспитателю приходится пользоваться любовью воров к театральному, эффектному жесту.

И сейчас, ожидая его, Сергей Петрович предполагал, что готовится новый, не менее внушительный выпад.

Федор Григорьевич вошел, ни на кого не глядя. Болшевцы поспешно избрали президиум.

— Прошу слова, — спокойно сказал Мелихов. Слово было дано.

— Сейчас мы проверили кладовую и твердо установили, что крыс там не было. Крысы, съевшие сахар, — двуногие и бесхвостые крысы. Грызуны эти сейчас сидят передо мной и смотрят на меня, точно на врага. А враги-то они сами себе. Коммуна в опасности!.. Дело не в сахаре… Дело в другом. В том, что коммунары начали поворовывать. И где? У себя, в коммуне. Мне неинтересно, кто именно и когда воровал сахар. Я знаю, что воровал не один человек, а многие, может быть, все. И тем позорнее, тем отвратительнее и тем опаснее это. Значит, не дорога вам коммуна, и чужие вы ей.

Мелихов говорил резко, но искренно, просто и горячо.

— Вам доверено все. Вас считают хозяевами здесь, —

продолжал он.

При последних словах Васильев насмешливо улыбнулся и, повернувшись к Андрееву, сердито зашептал:

— «Доверие»! Я ему сейчас покажу! Этот сахар ему боком выйдет.

Он сидел злой и заранее торжествовал.

И едва Мелихов кончил, Васильев взял слово. Он не вышел к столу, а говорил с места, раскосо посматривая на Мелихова, уверенный в поддержке всей коммуны:

— Вот вы, Федор Григорьевич, сказали насчет доверия. Хорошо… И Погребинский это же говорит… А если разобраться— очки втираете, зубы заговариваете… Не было нам от вас доверия и нет! За каждую пуговицу, которая хранится в кладовой, говорите, отвечает Смирнов. Отлично. За масло, за сахар — я и Андреев… А ключи у кого? У тети Симы. Доверяют, нечего сказать!

— Не доверие, а насмешка! — вырвалось у Андреева.

Мелихов старался овладеть собой. Удар был нанесен хитро, во-время, в самую точку. Злые смеющиеся лица парней говорили об этом. Вот, мол, когда обнаруживается чекистский обман… Вот когда обнаруживается правота тех, кто издевался над Накатниковым за его речь… Недаром еще в тюрьме предупреждали: ничему не верить в коммуне.

Все, что с таким трудом удалось до сих пор сделать, грозило рухнуть теперь от одного неудачного слова. Только бы не показать ребятам растерянности, выиграть время для размышления. Сергей Петрович видел благодушную, снисходительную улыбку Мелихова, ленивый его жест, с которым он вытащил из кармана портсигар. «Не понимает он, что ли?» нервничал Богословский.

— Вот что, друзья, — мягко сказал Мелихов все с той же простецкой улыбкой. — Устали… Занервничали… Может быть, перекурим?

Расчет был правилен. Объявили перерыв.

Богословский был убежден, что выступление Васильева было для Мелихова полной неожиданностью. Но когда они, закурив, начали совещаться, то Сергей Петрович почти усомнился в этом.

— Они уж давно толкуют о ключах, — рассудительно говорил Мелихов. — Ключи придется им отдать. Я уже об этом думал. Если они захотят украсть — украдут… Разве замки для них задержка? Да теперь ничего другого уже и нельзя сделать.

А болшевцев между тем била лихорадка негодования.

— Доверят они тебе ключи — держи карман! — будоражил ребят возбужденный собственной дерзостью и успехом Васильев.

— Воры были — ворами и будем! Трепатня все…

— А на дьявола мне их доверие… Я и без ключей хаживал.

— До чего же ловко — заговорят, заговорят — ну, прямо вот слепым ходишь!

Показались Мелихов и Богословский.

— Думаете — изловили, прижучили? — начал Мелихов при общей напряженной тишине. — Они, мол, нам турусы на колесах разводят, а вот мы им — соли на хвост! Вон Васильев каким героем ходит. И Умнов тоже. Ты-то с чего? Эх вы, публика!

Мелихов выставил вперед грудь:

— Я уже не одну неделю думал об этом. Мы с Сергеем Петровичем много раз хотели передать вам ключи, но отложили. Отложили потому, что хотелось, чтобы вы сами доросли до этого, сами поставили этот вопрос. Ну вот… Теперь то, к чему мы стремились, случилось. Товарищ Васильев, подойди сюда!

Васильев подошел — непонимающий и смущенный.

— Прими, товарищ Васильев, ключи, — торжественно, подчеркивая каждый слог, произнес Мелихов. — Отныне тебе доверяется все имущество нашей коммуны. Мы все — и воспитатели и воспитанники — поручаем тебе его и верим тебе.

Васильев почти машинально протянул руку. От волнения она у него дрожала, и ключи тихо позванивали.

Это было важное событие в жизни коммуны. Его долго помнили все. Отчужденность, которую замечал Мелихов по отношению к себе со стороны бутырцев, явно шла на убыль.

— Что ж, сделаем и еще один шаг, — говорил Мелихов Сергею Петровичу. — Попробуем теперь смелее давать им отпуска в город.

В Москву болшевцев тянуло. В отпускной день необыкновенное возбуждение овладело коммуной.

В проходной комнате, где помещалась спальня старших, то-и-дело шныряли люди. Коммуна брилась, чистилась, прихорашивалась.

Размахивая увольнительной запиской, через комнату промчался Осминкин. Волосы его торчали лохмами во все стороны. Лицо выражало восторженность.

— В Москву! — орал он во все горло. — Все ли там в порядке?

Он шел в отпуск в первый раз.

Взял увольнительную и Накатников. В городе у него не было ни родных, ни знакомых. Он просто решил не отставать от компании. Ему было весело, и он напевал какой-то плясовой бурный мотив.

В углу на койке лежал, отвернувшись к стене, приятель

Накатникова — Васильев. С тех пор, как ему вручили на собрании ключи, он стал много солидней. Но сегодня с утра он начал как-то особенно мрачнеть. Ходил среди общего радостного волнения, повесив голову, огрызался на болшевцев. Сегодня он не походил на самого себя.

Накатников подошел к койке приятеля и окликнул:

— Косой, в Москву едешь?

Широкая спина оставалась неподвижной. Накатников дернул Васильева за рукав.

— Едешь, Косой, в Москву, что ли?

Васильев резко повернулся к Накатникову. Голос его прозвучал хрипло:

— Шары гонять или воровать? Зачем мне в Москву ехать?

Он опять повернулся лицом к стене.

— И потом… не все ведь едут. Мало ли что может понадобиться… Ключи-то ведь у меня, — прибавил он.

Накатников знал характер своего приятеля и больше к нему не приставал. Однако ответ Васильева поразил его необыкновенно: «Не в ключах тут дело».

Действительно… Зачем он сам, Накатников, собрался в Москву? В городе ему делать решительно нечего. Внезапно он понял и мрачность Васильева и явную зависть его к тем, кто имел в Москве родственников.

Ему представилась возможность случайной встречи с Кожаном, и смутные его опасения оформились в определенный образ. Кожан был чем-то вроде воровского аристократа. Красавец и щеголь, он служил образцом для подражания. Хромовая куртка блестела на нем, как латы. На бледном лице четко выделялись синевато-черные усы и тонкие яркие губы. Его улыбка уничтожала, голос звучал насмешливо. Он был носителем традиций и законодателем мод. Подражая Кожану, дорогомиловские карманники ходили в кожанках и синих галифе. С молодыми ворами этот блатной «лев» разговаривал покровительственно.

В свое время Накатникову трудно было привыкать к кокаину. Белый порошок вызывал у него рвоту. Насмешки и пренебрежительное пофыркивание Кожана заставили парня преодолеть отвращение. Однажды Накатников отказался от предложенного опасного дела. Кожан сладко улыбнулся, прищурил ничего не выражающие глаза, и одна эта улыбка заставила взять отказ обратно. Накатников терял перед вожаком весь свой задор и самоуверенность.

Что скажет Кожан, если Накатников вдруг встретится с ним в Москве? Он представил презрительную гримасу Кожана и

Почувствовал, что обязательно скрыл бы свое поступление в коммуну. Но ведь скрыв это, он должен будет вести себя так, как будто ничего не переменилось, и даже, может быть, пойти на «дело». Накатников ощутил неопределенный страх и, чтобы справиться с неприятным чувством, запел еще веселее и громче.

Ему вспомнилась его недавняя речь, Погребинский… Коммуна нравилась чистой постелью, едой, простотой обращения Мелихова и Богословского, но это вовсе не значило, что он решил в ней остаться. Накатников был человек настроения. Он давно бы ушел, если бы не уверенность, что уйти можно в любое время. Успеется…

Он стоял у окна и пел. Мелодия отражала движение его дум. Он напевал то что-нибудь веселое, бравурное, то вдруг переходил на минорный лад. Потом круто повернулся на каблуках и пошел к двери.

— Помчал, ураган, — сказал ему вслед Почиталов.

В комнате Мелихова толпились обиженные — из числа прибывших в коммуну позднее. Их еще не отпускали в Москву. Они клянчили, настаивали, сердились. Перед кряжистым управляющим прыгал и кипятился маленький, тощий паренек и при каждом слове бил себя в грудь:

— Чем же мы хуже других, Федор Григорьевич? Почему же нас вы не пускаете?

Мелихов не громко, но веско доказывал парню, что отпускать его рано, что со временем поедет и он.

Накатников влетел в комнату, как ветер. Лежащие на столе бумажки вспорхнули от стремительных его движений.

— На, вот! — грохнул он, протягивая Мелихову увольнительный билет. — Возьми обратно. Не поеду.

Смятая увольнительная лежала в широкой и крепкой ладони. Мелихов бросил ее в ящик стола и искоса, с ласковой ухмылкой посмотрел на быстрого парня.

— Хорошо, Миша! — произнес он дружески. — Съездишь в другой раз!

И, немножко помедлив, прибавил:

— Вот расскажи-ка, пожалуйста, этому человеку, что Москва от него никуда не уйдет. А то он все не верит.

Раздав увольнительные, Мелихов пошел по коммуне. Он проходил мимо открытой кладовки. Васильев, пыхтя, переставлял там мешки с крупой и сахаром. Около двери вертелся щупленький, голубоглазый Дединов, по кличке «Херувимчик». Мелихов давно присматривался к Дединову: в хрупком этом парнишке угадывался холодный цинизм, вероломство и лживость. Дединов вертелся около кладовки, разумеется, не спроста.

Мелихов уже миновал кладовую, когда услышал зычный, сердитый голос Васильева:

— Ложи назад! Ложи, говорю, назад, паразит!

Раздался слабый вскрик Дединова.

Потом снова с угрозой прозвучал голос Васильева:

— Так и знай! За каждый кусок голову расшибу!

Первой мыслью Мелихова было вернуться и сделать Васильеву внушение, потом он махнул рукой и двинулся дальше:

«Драка в коммуне — это плохо, — думал Мелихов. — Но если коммунар дерется, отстаивая имущество коммуны, и предотвращает воровство, так это, пожалуй, уже не так плохо».

Отпуск

Осминкин в десятый раз перечитывал свою фамилию, вписанную чернилами в печатные слова увольнительного бланка. «Куда? — спрашивал он себя. — К родителям?» Он представил себе, как мать всплеснет руками, заплачет. Все же решил ехать домой — пускай порадуется.

Родителей Осминкин не видал уже около года, а не жил у них давно.

Отец его — серебренник, профессия — не ахти какая доходная и очень грязная. Домой возвращался прокопченный, денег приносил мало: пил. Мать зарабатывала сама: стирала, мыла, стряпала у людей. Дома хозяйничала сестра.

Ушел Осминкин от родных, когда познакомился с Морозовым. Произошло это так.

Осминкин бегал в школу. Учился он в первом классе. Учился хорошо. Учительница так прямо и говорила матери:

— Отличный мальчик, примерного поведения и лучший ученик в классе.

Витька перешел во второй класс. Мать пообещала сшить к осени новую рубашку.

— В школу пойдешь — нарядишься!

Летом Витя повадился ходить к Крестовской заставе. По словам матери там жили самые отпетые золоторотцы. И действительно, ребята оказались на редкость шустрые. Они отчаянно резались на пустыре в «три листика», в «буру», в «двадцать одно». Витька пристроился к самым маленьким; сначала глядел, потом рискнул на пятачок и выиграл. Ему повезло, он теперь мог пойти в кино, купить мороженого.

В кино ребята бегали всей оравой, норовя проскользнуть бесплатно мимо зазевавшейся контролерши.

В это же лето Виктор пристрастился к футболу. Играли,

правда, тряпичным мячом, но старательно и с азартом.

Домой он приходил со сбитыми ногами. Мать укоризненно качала головой:

— Смотри, не вздумай играть в башмаках!

— В каких? — удивился Виктор.

— А вот которые я тебе куплю. Только для школы и покупаю, а так — на вас разве наготовишься!

Осенью она сама повела Виктора в школу. На нем были новые башмаки и рубашка. Всю дорогу мать заботливо предостерегала:

— Смотри, не разорви!

Однажды Виктор в школу не пошел, не пошел и на следующий день.

Уже похолодало. На пустыре встречаться стало холодно, сыро — ни сесть, ни поиграть. Витька наладил ходить к новому приятелю Васе Морозову. Морозовых было четыре брата. Старший был выслан из Москвы; второй, Константин, занимался воровством и помаленьку приучал к этому Васюка, а самый младший из братьев чурался их, обходил. Любил, говорят, музыку и ездил куда-то в центр учиться.

Мать Морозовых — вдова (ее покойный муж содержал трактир) — боялась при сыновьях сказать лишнее слово. Сейчас же кто-нибудь из них на нее прикрикнет, попрекнет:

— Но-но, поговори! Тебе батька на детей деньги оставил! Куда деньги дела?

А деньги у вдовы одолжил ее родной брат, да так и не возвратил: мол, разорила революция.

Старуха боялась сыновей, боялась милиции. У нее всегда дрожали руки, и когда она нюхала табак, то просыпала его на засаленную бордовую кофту.

Дружбу Виктора и Василия одобрял Константин:

— Это хорошо, что корешками становитесь. У меня вот есть такой дружок, да его сослали, никак не могу узнать — куда. Да все равно узнаю. Человек не иголка — не потеряется.

Домой Виктор возвращался неохотно. Временами он даже жалел, что у него есть отец, мать, сестра. Он завидовал Константину и Василию. Не раз хотелось войти в дом с насупленными бровями, сказать матери что-нибудь обидное и дерзкое, как покрикивали на свою старуху Морозовы: «Заткни плевательницу!» или «Не суйся, куда не спрашивают!» Но всякий раз мать встречала его заботливыми расспросами о школе, совала кусок хлеба, иногда конфетку, и Виктор смягчался, ослабевал.

Он пил морковный чай и вдохновенно врал что-то про школу, про то, как его опять хвалила учительница. Придумывать каждый день новое надоедало, и он все чаще стал повторять одно и то же.

Мать покорно качала головой, потом переспрашивала:

— А ведь это она тебе еще на прошлой неделе говорила.

— Она любит одно и то же повторять! — вывертывался Витька без всякого смущения.

— Да и то сказать, вас много, а она одна, — успокаивалась мать. — Где на всех новое-то придумаешь. Трудная у нее должность. Ты учительницу люби!

— Я ее люблю, — говорил Виктор, правдиво глядя матери в глаза.

Открылось все это само собой.

Мать встретила учительницу на улице. Поклонилась. Учительница узнала мать Виктора:

— Жаль мне вашего мальчика. Он такой способный. Не надо было его в мастерскую отдавать.

— В какую мастерскую?! А разве он к вам в школу не ходит? — испугалась мать. — Где ж он, разбойник, пропадает? — закричала она в голос.

Вечером обо всем узнал отец. Он бил Виктора и допрашивал;

— На кого ты нас поменял? На кого?

Витька молчал, рукавом вытирал слезы.

— Отступись ты от него. Убить так можно, — упрашивала плачущая мать.

— И убью, — пообещал отец, больно ударив сына по голове.

На другой день Виктора из дома не выпускали. Мать ходила в школу. Учительница обещала принять Виктора среди учебного года. Вечером Витьку опять бил отец:

— Не будешь учиться — шкуру сдеру! Однако ученье так и не наладилось.

Весной Виктор переселился к Морозовым совсем. По старой привычке он еще заходил домой, но мать постоянно встречала его слезами и причитаниями, и Виктор, недовольный, уходил. До ворот его всегда провожала сестра и, нетерпеливо оглядываясь, жадными глазами следила за витькиными руками: она ждала, даст он денег или нет.

— Матери передай, — неизменно говорил Витька, сунув бумажки в руку сестре.

— Она не возьмет, — привычно отвечала сестра и торопливо убегала во двор — боялась, что Витька передумает, отберет обратно.

В критические минуты Морозов советовал Витьке:

— Иди ночевать к своим. Как бы не пришли по нашу душу.

Виктор покорно плелся к знакомому переулку, но медлил заходить в дом. Он несколько раз проходил взад и вперед по длинной Мещанской и, дотянув допоздна, тихонько стучал в

дверь.

Отец, если был дома, сурово выговаривал матери:

— Чего ты гоношишься? Опять подлецу постель стелешь? Гони его, откуда пришел.

Виктор, сидя на кухне, смотрел веселыми глазами, будто отец ругал не его, а кого-то еще.

Иногда он приносил домой продукты. Мать отмахивалась:

— Полно, Витя, зачем нам?

Но велик был соблазн, и продукты она оставляла. Виктор стал уже совсем взрослым. Даже мать начала пугаться дерзкого взгляда сына.

— На кого ты злобишься? — спросила она его раз.

— Я? — удивился Виктор. — Да чего ж мне злобиться? Я сам себе хозяин. Вот с весны буду в футбол играть.

— Чего? — переспросила мать.

— В футбол буду играть. Понимаешь? Мяч гонять буду.

— Полно, ведь ты скоро жених. Тебе мяч гонять не пристало. Ремеслу бы лучше какому выучился…

Но гонять мяч Виктору не пришлось. Его вместе с Морозовыми арестовали вовремя кражи. В милиции, куда их привели, начальник сразу признал Морозовых:

— Вы опять тут?

И, повернувшись к Витьке, удивился:

— А ты, красавец, за что попал?

— С ними, — объяснил милиционер.

— Ишь ты! — еще более удивился начальник. — Что ж это ты, молодой товарищ, такими делами занялся? А? Сколько тебе лет?

— Много, всего не сочтешь!

Глаза Виктора смеялись, будто с ним шутили, и он только ждет, когда начальник разрешит уйти домой.

Но начальник вдруг нахмурился и придвинул лист бумаги:

— Что ж, будем писать протокол.

Виктор рассчитывал, что и на этот раз его выпустят, как выпускали раньше. Он упорно повторял, что он несовершеннолетний, случайно попал в эту компанию, но начальник, косо посмотрев на него, сказал:

— Хитер ты, братец! — И Виктор впервые познакомился с тюрьмой.

Воровал Виктор легко. Все шло как по маслу. Старший Морозов одобрял: «У тебя рука счастливая». Раз он обронил в квартире, которую только что «взяли», документы. Передав вещи Морозовым, Виктор вернулся в ограбленную квартиру и разыскал свой документ. Хозяева еще не возвращались. Из озорства Виктор прихватил банку с вареньем. Вечером он угощал Морозовых и все

посмеивался, когда старший Морозов говорил, что вороной быть нельзя, а еще глупее — возвращаться. И кто это с собой носит бумаги кроме «липовых»?

В тюрьму Осминкина брали не надолго: то верили его слезам и отпускали как малолетнего, то теряли протоколы, и Виктор мирно возвращался в переулок у Красной часовни. Опять начиналась привычная жизнь — грабеж, барышник, карты, вино, поимка… Витьке казалось, что никакой другой жизни и быть не может. Круг знакомых в тюрьме расширился. Виктор был уже не новичок: его знали в Грузинах, в Марьиной роще, на Бутырках.

Он не любил Замоскворечья. Однажды там поймали с поличным и били старшего Морозова, а Виктор стоял в толпе и, покусывая губы, все смотрел на избитое, окровавленное лицо Константина.

— Как бьют, проклятые! Ну их к чорту!

В двадцать третьем году Виктор сел крепко. Он перепробовал все свои штучки — совал следователю свои года, несознательность и прочее, но ничто уже не действовало, и его выдержали в Бутырках.

Осминкин пробовал навести справки, где Морозовы, но никто не знал. Матери Виктор не писал, хотя и не сомневался, что старуха, напиши он ей, придет украдкой и в узелке принесет махорки и лепешек.

«Пусть думает, что убили. Поплачет, может, легче станет».

А весна отцветала, осыпалась, ночи становились жарче, тюрьма казалась все томительней. Виктор из хлеба скатал шарик и гонял его по столу, разместив поле с воротами, и все подговаривал кого-нибудь из ребят сыграть о ним в футбол. Над ним посмеивались:

— Не воровское это дело. Желаешь в «буру»?

«Бура» Осминкину опротивела. Он знал наличный капитал и повадку каждого в этой камере, а новых не приводили.

И когда ему уже стало совсем невмоготу, когда он в тысячный раз обдумал все возможные варианты побега, его повели на Лубянку.

Люди все шли чужие, скучные; день был серый, дождь моросил. И все же пришли так быстро, что Витька пожалел.

Говорили с ним долго. Он прикидывал: стоит рискнуть или нет? И как ни прикидывал, все выходило, что стоит. Во-первых, можно удрать. Потом обещают волю — тоже надо посмотреть. И Бутырки надоели. Чем чорт не шутит? Виктор согласился поехать и жить в коммуне.

И вот теперь он ехал в первый раз из коммуны в отпуск.

На дорогу ему дали денег.

«Все-таки есть, значит, здесь к нам доверие», думал Осминкин, рассматривая увольнительную.

А сколько раз до этого слова воспитателей о доверии казались ему лицемерием.

«Чудаки, — улыбался Осминкин, — удивительные они чудаки. Кто и что может теперь заставить Виктора возвратиться назад в коммуну?»

До квартиры матери Осминкин добрался в сумерки. Матери дома не было. Сестра встретила радостно и все как-то выжидательно поглядывала на брата.

«Ждет денег!» рассердился Витька и грубовато спросил сестру:

— Мать скоро придет? А то мне некогда!

Мать притащила узел грязного белья — брала стирать на дом — и, увидев Виктора, опустила узел у порога.

— Здорово, мать!

— Ох, господи, а я-то думала…

— Думала, что я не вернусь?

— Полно, Витенька…

Виктор съел селедку — домашнее угощение, встал из-за стола, так и не рассказав ничего о себе.

— Пойду, с ребятами повидаюсь, — сказал он.

Мать не перечила.

Осминкин зашел к Морозовым. Старуха расплакалась и все расспрашивала Виктора про сыновей. Потом достала письмо от старшего. Тот сидел в тюрьме, просил, чтобы выслали ему белье.

От Морозовой Осминкин вышел грустный. У часовни заметил знакомых и замедлил шаг.

«Что сказать? — перебирал он в уме. — Сказать, что в коммуне — посчитают лягавым. Ожидай пера! Нет, надо сказать, что из тюрьмы».

Его встретили настороженно.

«Может быть, уже знают от кого-нибудь», промелькнула опасливая мысль, но отступать было нельзя. Виктор пожал протянутые руки.

— Где пропадал? — спросил Курносый.

— Да так, по разным местам, — небрежно сказал Осминкин.

И, чтобы опередить Курносого, сам задал вопрос:

— Морозовы где?

— Да ты же с ними сел? Что спрашиваешь?

Осминкин сообразил, что этот вопрос он задал, пожалуй, напрасно. Он машинально пошарил в кармане и вытащил махорку.

Курносый демонстративно достал пачку папирос. Закурили.

«Сейчас начнется», догадался Осминкин.

И Курносый начал:

— Темнишь, Виктор!

— Я? — Виктор пожал плечами. — Мне темнить нечего.

Курносый усмехнулся:

— Я думаю, и работать разучился? Руку мимо ширмы сунешь?

— Попробуем! — отшутился Виктор.

— Это хорошо. Нам деловые нужны, — опять усмехнулся Курносый. — Ну, пошли, что ли? — сказал он, обращаясь к своим.

Виктор понимал, что разговор с ними будет, вероятно, не простой. Рассказать всю правду? Скорее всего не поверят ни одному слову. Отовраться как-нибудь? Сказать, что убежал из коммуны? Можно… А что потом? Хорошо бы не пойти с ними, остаться… Но Курносый повернул в переулок, и все тронулись за ним. Осминкин шел в середине, словно арестант.

— Витька! — услышал он знакомый голос.

Осминкин остановился. По Мещанской бежала сестра.

— Витька, там пришли к тебе… Идем! Человек ждет! Обязательно, говорит, нужно!

Витька кивнул Курносому:

— Где будете?

— Приходи к часовне, — не поворачиваясь, бросил Курносый, и Витька с облегчением пошел за сестрой.

— Может, агент? Милиция? — спросил Осминкин, когда они остались одни.

— Не похож! — отозвалась сестра. — Разве я стала бы звать, если агент!

— Дура, — обозлился Витька. — Что же, ты всех агентов знаешь?

— Не похож на агента! Мать говорит — позови! — упорствовала сестра.

Пройдя к воротам, Осминкин открыл калитку и, пригнувшись, чтобы в окно его не видели, прошел к сеням. Там из-за притолки он заглянул в комнату. Около стола сидел Мелихов.

«Вот тебе на!»

Осминкин вошел в комнату.

— Гуляешь? — осведомился Мелихов. — А я был тут поблизости, решил — зайду, навещу…

Осминкин не знал, что отвечать. Мать грела самовар, кричала из кухни:

— Что же ты, Витя, не объяснил мне? Радость-то какая!

Она вошла в комнату, с умилением глядя на Мелихова.

— Сердце на место встало. А то приехал сын и не говорит — откуда. Поел и на улицу. Думаю, опять к ворам пошел, а тут вы как раз. Вот как обрадовали!

Мелихов поднялся.

— А чайку, чайку-то как же? — заволновалась мать.

— Спасибо… В другой раз попьем. Итти я должен. У меня к тебе, Виктор, слово есть. Я вот что тебе предлагаю: поедем ко мне? У меня тут в Москве квартира, семья; я тебя познакомлю, а завтра вместе в коммуну тронем… А?

— Нет, — решительно отказался Виктор. — Мне тут дела надо всякие устроить.

— Какие же дела?

— Да нет, не дела, а просто я дома хочу побыть. Ведь вы меня сами отпустили.

— Не горячись, парень!.. Разве я тебе не от сердца предлагаю? Конечно, ты в отпуску… Можешь и дома оставаться. Я только тебе по дружбе советую. Ведь не мед на улице-то… Я думаю, как для тебя лучше. Погостил бы у меня… Граммофон послушал бы… А согласиться или не согласиться — твое дело.

Витька вспомнил сцену у часовни. Он знал, что самое лучшее теперь уехать, но тогда все скажут: струсил, слягавил, и ему не будет назад возврата.

— Нет, я останусь, я сам завтра рано приеду. Я и отца еще не видал, — вдруг уцепился Витька за неожиданную для него самого причину.

Мелихов еще выжидал, переминался с ноги на ногу. Мать стояла в дверях и умоляла глазами чужого человека, чтобы он взял с собой сына. Она хотела бы уговорить Виктора, но не осмеливалась и только вздыхала. Сын понимал ее.

— Нет, все-таки останусь, — сказал он совсем твердо.

И, проводив Мелихова до ворот, еще раз крикнул ему вдогонку:

— Завтра чем свет приеду.

— Занавесь, мать, окошко, чтобы со двора не видно было, — попросил он, вернувшись в комнату.

Мать достала из сундука праздничный шерстяной полушалок и завесила окно.

— Ты бы вышла, посмотрела, хорошо ли я закрыла! Глазасты, проклятые! — сказала она дочери.

Осминкин притворился усталым, потянулся:

— Ты мне, мать, постели, я должен рано ехать.

— Будить тебя?

— Сам проснусь… А то — побуди!..

Вечеринка

Лыжи слегка проваливались в свежий снег. Дышалось легко. Чинарик и Гуляев бежали через Костино к морозному тихому лесу. Василий Петрович Разоренов взглянул в окно и нахмурился:

— Полюбуйтесь, вон жулье разгуливает!

Церковный причт за рождественским столом Разоренова был уже под хмельком.

— Да, — вздохнул поп, — до каких порядочков дожили — воров в коммуну организуют!..

— Им жулики-то — родные братья, — поддакнул дьячок.

Повторяя на разные лады эти мысли, гости и хозяин чувствовали глухое раздражение не столько против самих жуликов, сколько против большевиков, против страшного для них слова «коммуна».

Певчий, молодой бритый мужик, по прозвищу «Божья Дудка», до сих пор скромно сидевший с краю стола, тоже ввязался в беседу.

— Жулик жулику рознь, — сказал он. — Есть жулики, которые от тяжелой жизни воровать пошли. Намедни я был у них в кузне — лошадь ковал. Мастер у них хороший — может учить…

Василий Петрович и поп строго поглядели на певчего, потом друг на друга: ясно, что певчий — легкомысленный человек.

— Все это до весны — и кузня и сапожничество, — сказал Василий Петрович. — Пригреет солнышко, инструмент растащат и сами разбегутся. А какого человека из-за этой рвани обидели, — вздохнул Разоренов. — Душевного человека обидели.

Всем было понятно, что хозяин говорит о Медвяцком, уволенном из совхоза.

Вскоре духовенство собралось уходить. Ему нужно было, обойти с крестом костинских мужиков.

— Кому сегодня рождество, а для нас, пастырей, самая страда, — пожаловался поп.

Василий Петрович проводил их до калитки. Гуляев и Чинарик обежали окрестные костинские поля и леса. Было тихо, бело. Снег, беззвучный, легкий, как мыльная пена, спадал с ветвей от малейшего шороха. Из Костина доносился праздничный звон. На обратном пути болшевцы опять проходили через деревню. В избах плясали, пьяные голоса ревели песни. На улице, по еловым аллейкам, гуляли девушки, угощаясь кедровыми орешками. Одна с любопытством посмотрела вслед возвращавшимся на лыжах парням и визгливо спела частушку:

Не стой на льду —

Лед провалится!
Не люби вора —
Вор завалится!

Болшевцы не обиделись. Они даже приветливо помахали бойкой девке варежками и крикнули:

— Приходите вечером к церкви.

С костинскими девушками у них постепенно устанавливалась дружба.

Они нагнали изрядно подвыпившего дьячка Левонтия. Дьячок шел, размахивая руками и рассуждая вслух:

— Марфа — подлая! Блудная вдова! Гривенник сунула, как мальчишке. Где это слыхано, чтобы духовному лицу — гривенник? — выругавшись, он ненадолго успокаивался. Потом вновь глубокая обида хватала его за сердце.

— Марфа — стерва! Грешница, — начинал он снова, — я плюю на твой гривенник. Вот как я твой поганый гривенник, — и он бросил монету в снег, плюнул, а потом, одумавшись, стал искать ее в пышном сугробе.

— Вот, козлиная борода, — удивился Чинарик, — обобрал православных да еще лается.

— Эй, пославь христа, семишник дам.

— Ему теперь не до христа. Он святой водички хватил.

— Аферисты, карманники, — ворчал дьячок, прибавляя шагу;

Болшевцы нагнали его. Лыжи разъехались, и Гуляев с размаху ударил дьячка концом лыжи в пятку. Дьячок присел. Чинарик взял его под руку.

— Так, значит, Марфа-то — стерва? — спросил он дьячка.

А Гуляев решительно заявил:

— Ну, святой отец, идем в милицию. За оскорбление гражданки Марфы ответ держать.

Дьячок струхнул:

— Голубчики! Я пошутить люблю.

— Хороши шутки, рыжий чорт. Богу служишь, а деньги любишь?

— Какие деньги — медяки одни, — жаловался дьячок, прикрывая свободной рукой карман. — Отпустите, голубчики, — ласково попросил он.

— Ладно, вали, беги, старый хрыч, пока у меня душа добрая, — великодушно согласился Гуляев и на прощанье поддал дьячку коленом.

— Дешево отделался, — кричали болшевцы, — моли бога за нас!

Левонтий подбежал к церкви, закричал: «Караул! Грабят!» И, дергая веревку сторожевого колокола, стал исступленно бить в набат. Изо всех изб выбегали перепуганные бабы и мужики.

«Горим!» закричали где-то на другом конце деревни.

Все бежали к церкви, озираясь по сторонам, не полыхает ли где пламя, не вьется ли где столбом страшный сизый дым.

— Будет мордобой, — мгновенно оценив создавшееся положение, сказал Чинарик. — Ты лыжи-то скинь, — посоветовал он Гуляеву и сам сбросил лыжи с ног. Бежать было поздно.

Вокруг дьячка собралась толпа.

— Жулье распоясалось! — кричал дьячок. — Среди бела дня грабежом занимаются!

— Брешешь! — крикнул Чинарик.

— Кто врет — милиция разберет, — бойко сказал какой-то мужичок с плешью на макушке, — второпях он даже шапку забыл надеть. — Я сам видел, как воровские руки в дьячков карман лезли.

— Жулье, а, как порядочные, на лыжах катаются! — злобно крикнула только что подбежавшая Карасиха.

— Чего разговаривать, веди в милицию!

— Давно пора за решотку.

В толпу вошел Разоренов.

— Распустили жулье! На власть плохая надежда, она жуликов балует, — сказал Разоренов.

Было тихо. Все словно ждали, кто же первый поднимет руку. Болшевцы стояли рядом, готовые защищаться.

— В коммуну их отправить. Пусть свои поучат, — сказал певчий Божья Дудка.

— В коммуне-то их за эти дела жирными щами кормят! — крикнул Разоренов.

Божью Дудку поддержали было еще несколько мужиков.

Может быть, так и не вышло бы то, чего хотела душа Разоренова, если бы к Гуляеву не подскочил тщедушный мужичок «Купить-продать». Он, яростно вращая глазами, замахнулся и ткнул тщедушным своим кулачком Гуляева в зубы.

Гуляев вскипел:

— Ах ты, водохлеб пермяцкий! — и хлестким ударом сшиб мужичонку с ног.

Божья Дудка испуганно подбежал к Гуляеву.

— Не дерись… Убьют! — закричал он, но Гуляев, не разобравшись, смахнул и Божью Дудку.

Толпа сдвигалась. Гуляева ударили сзади по голове. «Дело дрянь», тоскливо подумал Чинарик и оглянулся. Со стороны коммуны на звон набата бежали ребята.

— Наших бьют! — громко и радостно закричал он и, сбросив варежки, кинулся на мужичка без шапки.

— Я покажу тебе, сукин сын, как мы дьячка грабили!

В толпу врезались подоспевшие болшевцы. Мужики подались назад. Раздергивая плетень, они вооружались кольями. Кто-то бежал по улице, размахивая вилами. Драка разыгрывалась не на шутку. Болшевцы понимали — дело их плохо. Придет милиция — прощай, коммуна! Крепко их подсидели кулачки!

Но пропадать — так не дешево! Они прижали мужиков к паперти, когда прибежал запыхавшийся Богословский. Он подбегал то к одному, то к другому болшевцу, но его не слушали.

— Отойдите, дядя Сережа… Попадет и вам невзначай! — предостерегающе крикнул Чинарик.

Сергей Петрович растерялся. Это была горькая минута его жизни. Неужели погибло все, неужели пропали все труды!

К нему подошел Разоренов, уверенный и важный.

— Наделала нам хлопот ваша коммуна, — вздохнул он. — Волки-то сбросили овечью шкуру. Смотрите, как распоясались. Послал за милицией.

— Из-за чего началось?

— Дьячка ваши ограбили.

Приехала конная милиция и прекратила драку. Разоренов настаивал, чтобы всю коммуну отправили в отделение.

— Деревню разнесут! Разбойники!

Но милиция взяла с собой только двух зачинщиков — Гуляева и Чинарика. Они прошли мимо Сергея Петровича, истерзанные, в кровоподтеках. Гуляев крикнул ему:

— Прощайте!

Они прощались с коммуной. Их новая, едва возникшая трудовая жизнь разбита вдребезги, навсегда.

В коммуне наступил унылый вечер. Кое-кто еще переживал воинственный пыл, легкомысленно хвастаясь успехами боя, но у большинства уже не было обычной развязности. Торжествующее Костино буянило, шум доходил до болшевцев, и от этого тоскливее становилось на душе.

— Что будет с арестованными?

— Или всех или никого — вот как нужно было требовать, — приглушенно говорил Умнов.

Все соглашались с ним. По обычаям коммуны судить виновников должно общее собрание, но кто же посмел бы судить товарищей сегодня? Или всех или никого!

Ребята знали, что Сергей Петрович хлопочет об арестованных, но никому не верилось, что их удастся освободить. Их считали пропащими.

В общежитие зашел Сергей Петрович.

— Не расходитесь, — сказал он, — приедет Погребинский.

— А что с арестованными?

— Свободны. Сейчас придут.

Эта весть порадовала болшевцев, но предстоящий приезд Погребинского встревожил их.

Гуляев и Чинарик пришли оба черные, как трубочисты: в отделении милиции их заперли в угольном сарае. После недавней прогулки по широким снежным полям сидеть в темном сарае было горько и оскорбительно. И, главное, разве они виноваты, что произошла драка?

— Все люди — сволочи, — сказал Чинарик.

— Будем воровать до гробовой доски, — поклялся Гуляев. — С лягавыми нам сапог не шить…

Велика была их обида и злоба. Ах, если бы изловить когда-нибудь этого проклятого дьяка!..

— Мильтоны! Мильтошки! Фараоны египетские! — кричали они на милиционеров в щели сарая.

Милиционеры словно и не слыхали их. Тогда они стали бить кулаками в ветхие стенки. Под мешками с углем нашлись поленья, и яростная, разрушительная работа пошла быстрее. Вероятно, они разнесли бы этот старенький, вздрагивающий под их ударами сарайчик, если бы неожиданно не открылась дверь.

— Выходите. Вас берет коммуна, — сказал милиционер.

И вот они вернулись… Они не успели еще досказать свои приключения, когда за окном прошумел автомобиль. Приехал Погребинский. После короткой беседы с Мелиховым и Богословским он зашел к воспитанникам.

— Ну, справили поповский праздник? — спросил он, едва за ним закрылась дверь.

Никто не ответил.

— Расскажи, Чинарик, глубок ли у дьякона карман!

— Не знаю… не лазил.

— Так ли? Ну, а ты, Гуляев?

— Я этого дьячка пришибу когда-нибудь.

— Довольно, пошутили, — оборвал его Погребинский. Он снял кубанку и присел возле кровати.

— Вы, сознательные члены трудовой коммуны ОГПУ, полезли драться с пьяными мужиками… Стыдно, позор! Вы должны были не допускать драки. А вы что сделали? Коммуну «защитили», «чести» ей прибавили? Никто, мол, о нас худого слова не скажи. А на деле-то худшим ее врагам пошли на помощь…

— Там певчего избили, — продолжал Погребинский. — Приходил жаловаться к Сергею Петровичу, чуть не плачет.

Последние портки на теле. За какой грех? Он-то чем перед вами провинился? Так вот подумайте, что он о вас теперь скажет. Да всякий, не только он, кто вам добра хотел. Бандиты, скажут, только и всего. Прав, мол, Разоренов — горбатого только могила исправит… И выходит, Васька Разоренов нам всем морду наколотил! Не только вам. И мне, и Мелихову, и Богословскому. А вы ему в этом помогли!..

Чорт знает, как все у него повертывается! Их «геройство» на поверку оказывалось такой ошибкой, из-за которой невозможно посмотреть этому человеку в его насмешливые глаза.

— Запомните, бравые кулачные бойцы, — продолжал Погребинский, — запомните раз и навсегда: как бы вы правы ни были — вам не поверят. Доверие надо заслужить. А доверие кулаками не завоевывается. На кулаках-то и последнее можно растерять.

Слушая эту речь, ребята понимали прежде всего, что этот человек им поверил, верит и, видимо, будет верить. Погребинский оглядел лица болшевцев и, выдержав длинную паузу, продолжал более мягким тоном:

— Вот думали костинскую молодежь позвать сюда в гости, да разве кто теперь в такую компанию пойдет!

— Смотря зачем, — робко сказал Леха Гуляев.

— Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала, — повернувшись к Лехе, сказал Погребинский и, обращаясь ко всем ребятам, добавил:

— Я кой-что придумал для вас… Не драки устраивать надо, а… Скажите по совести, девки пойдут сюда? — перебил он себя.

— Будьте покойны! — уверенно ответили ребята, и их испещренные синяками и кровоподтеками физиономии расплылись в довольные улыбки.

— Ну, конечно, за таких молодцов они в огонь и воду, — засмеялся Погребинский. — Значит, дело решенное — организуем вечеринку?

Погребинский поговорил о том, как нужно эту вечеринку устроить и какое она может иметь значение для коммуны,

— Вечеринки вас на голову выше поднимут, авторитет создадут, — говорил он. — Все увидят, что болшевцы не только драться могут… Люди культурные, сознательные… мол, к ним зайдешь — есть чему поучиться, есть что послушать, да и посмотреть.

— У нас Карелин хороший балалаечник!

— Чинарик пляшет — ноги за плечи закладывает!

— Я буду распорядителем, — сказал Хаджи Мурат, — я трепаться мастер.

— Видите, сколько талантов зря пропадало, — смеялся Погребинский. — Ну, так залечивайте синяки, зачесывайте кудри, учитесь галантерейному обращению — ив поход.

— А пока я предлагаю, — сказал Сергей Петрович, — запретить болшевцам ходить в Костино. Нечего им там делать!

Предложение Богословского было неприятно. Не слышать девичьих песен и речей было тяжело. Но они чувствовали себя виновными и не возражали. В этот вечер девушки долго гуляли около церкви, напрасно ожидая болшевских кавалеров.

За подготовку к вечеринке взялись дружно. Вскоре вся костинская молодежь знала, что в коммуне организуется вечеринка.

— Рояль будет играть! — говорили костинские девушки.

И хотя они предпочитали веселиться под гармонику, им все же была приятно слышать о рояле. Это как-то облагораживало воров, и девушкам уже казалось, что они пойдут веселиться в «порядочную» компанию.

На обычные деревенские вечеринки девушки ходили в валенках, но в коммуну к городским ребятам в валенках итти было неудобно. Они обулись в башмаки, начистив их до блеска. А Таня Разоренова завилась у местного парикмахера и приколола на кофточку позолоченную ласточку с распростертыми крыльями.

Накануне вечеринки Гуляев тщательно отмыл сапожный вар с рук, разгладил свою чесучевую рубашку.

— Пропала Таня, — сказал Накатников, намыливая подбородок.

— Пропала, — согласился Калдыба.

— Не пропала, — с печальным вздохом пошутил Гуляев. — У меня нос картошкой, нужен я ей…

Девки — народ привередливый. Нужно пожарче печи натопить, в лампах стекла почище вычистить, чтобы светили лампы в этот вечер, как солнце. Все эти хозяйственные заботы взял на себя маленький Чинарик, но каждый болшевец считал необходимым все проверить самому. После драки с костинцами Чинарик был всегда чисто выбрит и вообще весь как-то подтянулся.

— Дядя Сережа, — докладывал он Сергею Петровичу, — к вечеринке все готово. Полы мыты, ребята бриты, гости будут. — И при этом степенно раскланивался, как гостеприимный хозяин перед гостем.

В общежитии нашлись новые таланты: силач, фокусник. Чинарик протестовал против чтения на вечеринках.

— У нас не училище, — возмущался он. — Если мы с девками начнем таблицу умножения считать, они разбегутся. Девке

музыку дай, кавалера к танцу дай.

В чисто вымытой и ярко освещенной столовой болшевцы встречали гостей, вежливо, по-городскому снимали с девушек пальто и складывали на рояль горой. «Про вешалку забыл», думал Чинарик огорченно, но зато заслуженно гордился освещением: три лампы «Чудо» сияли ослепительно.

— Вальс! — кричит Хаджи Мурат Карелину. — Кавалеры разбирают дам.

Чинарик фертом пошел в первой паре. Никто не думал, что он окажется таким ловким танцором.

Накатников пляшет с Леной Грызловой, Гуляев — с Таней, племянницей Василия Разоренова.

Таня довольна танцами, хотя ее кавалер неуклюже топчется и невпопад кружится. Она нежно говорит Гуляеву:

— Медведь неуклюжий.

— «Барыню», — кричат Карелину, — плясовую!

И в круг выходит Чинарик. Прижимая картуз к груди, он бежит, форсисто притоптывая каблуками, бежит мимо Клаши Ефремовой. Потом останавливается, его ноги выбивают мелкую дробь, затем вновь наступает на Клашу, раскинув руки. И вдруг, отбросив в сторону картуз, молодецки встряхнув головой, идет в присядку. Он то взлетит к потолку, то сядет у самых ног Клаши. И, наконец, властно стукнув правым каблуком, гордо выпрямившись, замирает. Тогда Клаша, томно помахивая над головой белым платочком, подбоченившись, идет мимо Чинарика, чуть задев его юбками. Чинарик вновь срывается с места, и они пляшут рядом, взявшись за руки.

А Карелин, не жалея струн и пальцев, «режет» на балалайке «Барыню». Когда Чинарик с Клашей кончили пляску, он громко провозгласил:

— Объявляю отдых и музыканту и ногам.

— Давайте споем, — предложила Лена.

У нее был хороший голос, и ей вовсе не хотелось отставать от Клаши Ефремовой. Она запела свою любимую «Рябину». Задушевнее ее никто этой песни не пел.

Как бы мне, рябине, к дубу перебраться,
Я б тогда не стала гнуться и качаться,

Пела она, лукаво поглядывая на ребят, и каждому из них в эти минуты казалось, что он-то именно и есть тот дуб, по Которому тоскует рябина.

Подтягивали все. Чуткое ухо Карелина мучили фальшивые голоса болшевцев.

— Нужно ребят петь учить. Послушайте, как они козла дерут, — пожаловался он Сергею Петровичу.

А Богословский думал о том, что скоро этим вечеринкам станет тесно в столовке и время позаботиться не только о хоровом кружке, но и о клубе. Он поделился своими предположениями с ребятами.

— Закручивайте, дядя Сережа, честное слово! Не подкачаем, — одобрил Чинарик.

— Драмкружок не плохо бы, — сказала Таня и смутилась.

Ей вспомнилось, что она в гостях у воров, и мать, узнав об ее самовольстве, быть может, больше уже никогда не пустит ее к болшевцам. Разговор перешел на театр, на пьесы, и Сергей Петрович постепенно овладел вниманием. Многие согласились работать в драмкружке. Сергей Петрович, вынув из кармана книжку рассказов Зощенко, сказал:

— А вот мы сейчас маленький экзамен устроим. Ну-ка, Хаджи Мурат, прочти нам что-нибудь. Посмотрим, какой из тебя актер выйдет.

Или книжка всем понравилась, или Хаджи Мурат оказался хорошим чтецом, но чтение затянулось. Чинарик сердился. Срывались выступления фокусника и силача.

— Кому скучно, могут итти фокусника смотреть, — предложил Чинарик.

Но сам фокусник так заслушался, что позабыл о своем номере.

Таня предполагала посидеть на вечеринке час-другой и не заметила, как время подошло к полуночи. Гуляев пошел ее провожать.

Дорогой он воспользовался случаем поговорить о своей любви.

— Все вы, ребята, одинаковые, — ответила она мягко.

На обратном пути Гуляев увидел, что в столовке попрежнему ярко светят три лампы «Чудо». За роялем сидел Карелин и настойчиво бил пальцем по клавишам.

— Костя, — для чего-то сказал Гуляев, — а я Таню провожал.

— Ну, и будь здоров, расти большой, — равнодушно ответил Карелин.

На другой день в Костине все знали, что в коммуне была вечеринка и что многие костинские девки были там, пели, плясали вместе с ворами. Говорили, что Василий Петрович Разоренов потаскал свою дочь за косы, досталось от родных и Тане — его племяннице. Девушки, оправдываясь, рассказывали, что вечеринка была очень приличная — сам доктор, Сергей Петрович, читал им вслух книжки. Для полноты впечатления они

позволяли себе немножко приврать.

— Потешные ребята в коммуне в этой, — говорили девушки, — Фокусник такие чудеса показывал — ума не приложить!

Удача первой вечеринки окрылила болшевцев. Они решили устраивать их еженедельно. Теперь уже без всяких приглашений по средам, как говорили в коммуне — «на огонек», из Костина шли девушки, парни, а иногда даже и старики. Особенно пристрастился ходить на вечеринки певчий Божья Дудка. Он подружился с Гуляевым и восхищался тем, как тот ловко поет песни. На первых порах Божья Дудка был в коммуне как бы за регента, и это очень льстило ему. Потом пришел на работу в коммуну приглашенный Погребинским опытный руководитель струнных оркестров Чегодаев. Это был страстный любитель музыки.

Нелегко ему пришлось в коммуне на первых порах. Ребята охотно наигрывали на гитаре блатные мотивы, но долгов время их никак не удавалось сколотить в кружок. Им было скучно разучивать какую-нибудь новую мелодию, не нравились инструменты, на которых требовалось лишь вторить.

Кое-кто из ребят начал поговаривать о том, чтобы поставить свой спектакль. Почему не попытаться? Выйдет!

Мелихов посоветовал, прежде чем браться за это дело, съездить в один из московских театров.

— Вам не мешает посмотреть, как это делается, — говорил он.

Совет Мелихова был принят с воодушевлением. Среди ребят нашлись и такие, кто вообще ни разу не бывал в театрах. Поездка в театр привлекала теперь внимание всей коммуны. Даже дядя Павел и дядя Андрей увлеклись этим делом. Они откровенно завидовали ребятам. Дядя Павел за всю жизнь только один раз был в цирке, а дядя Андрей даже и в цирке не был, хотя о театре поговорить любил и утверждал, что знает толк в этом деле, потому что у него был знакомый актер.

— Балуют вас, — говорили они. — Работать как следует еще не научились, а уж в театр везут.

— Не ворчите — и вас возьмем, — посмеивались ребята.

Наступил день поездки.

— Из руководителей с вами поедет тетя Сима, — объявил Мелихов.

Болшевцы запротестовали:

— Мы с инструкторами поедем.

— В театре вам необходим толковый руководитель, — убеждал Мелихов.

— Инструктора толковые.

— У нас дядя Андрей спец по театру! Он с актерами знаком!

— Мы его в драмкружок режиссером поставим.

— Ну уж нет, — возразил дядя Андрей. Он присутствовал при этом разговоре. — Вы лучше меня на работе больше слушайтесь. А в кружок вам кого другого придется поискать.

Мелихов уступил ребятам. В конце концов это только хорошо, что у воспитанников завязывается такая дружба с их инструкторами.

Инструктора, получив от Мелихова билеты, распределили их среди ребят.

— Мы на Мейерхольда идем, — сообщил дядя Андрей тем, кто должен был ехать вместе с ним.

— А мы на «Д. Е.», — говорил дядя Павел.

— «Д. Е.» — это значит «Даешь Европу», — объяснил Накатников.

— Ты куда? — спросил Гуляев Чинарика.

— На Мейерхольда! А ты?

— Я на «Д. Е.».

Не хотелось им расставаться в этот радостный и веселый вечер, а пришлось. Они разделили между собой махорку, которую держали в общем кисете. Дядя Андрей со своей группой уехал первым.

Подтянутые, праздничные, перепоясанные широкими военного образца ремнями, в зеленых рубахах, собранных на спине в сборки, ребята чувствовали себя необыкновенно хорошо. Ярко освещенное фойе, зрительный зал с высоким потолком, масса движущихся людей — все это восхищало, как-то по-иному приоткрывало новую жизнь, заставляло сильнее ценить ее.

Каково же было удивление и радость болшевцев, когда они вдруг столкнулись в фойе с дядей Павлом, Гуляевым и другими товарищами по коммуне. Ребята изумленно стояли друг перед другом, не понимая, как это могло случиться. Потом все дружно захохотали.

— Это что же? Как же это у вас так? — кричали они, подталкивая под бока своих руководителей.

Дядя Андрей не менее ребят был удивлен этой встречей.

— А шут его знал, что «Д. Е.» — это Мейерхольд, — смеялся он.

Гуляев и Чинарик вытащили из карманов махорку и демонстративно вновь ссыпали ее в общий кисет.

Эта забавная история долго потом потешала коммуну, и постороннему человеку было непонятно, что ж произвело большее впечатление на болшевцев — спектакль или этот случай.

Им было весело и от того и от другого.

Гуляева же театр настолько увлек, что он потребовал себе главную роль в пьеске, принятой к постановке драмкружком. Он мечтал об актерской славе. Ему поручили играть ответственную и эффектную роль французского офицера. Он добросовестно зубрил свою роль, не давая покоя ни себе, ни соседям по общежитию.

Увлечение театром поссорило его даже с закадычным приятелем — Чинариком. Произошло это незадолго до спектакля. В красном уголке шли последние репетиции. Гуляев расхаживал по сцене в офицерском мундире, гремя шпорами, поддерживая рукой кривую саблю. Он был доволен собой, своим костюмом и теми словами, которые он говорил пышной сестре милосердия, соблазнявшей его коварными улыбками.

— Чудная! Несравненная! — декламировал Гуляев, гордо выпятив грудь, — ты, жестокосердная! Положи руку на мое сердце, и ты почувствуешь, как оно горячо бьется. Так знай же, оно бьется для тебя!

— Вы коварны, вы меня обманете, — слабо защищалась сестра.

Офицерский монолог был длинен и горяч. Гуляев думал о том, как он будет блистать на освещенной сцене в день спектакля. Зрительный зал, будет кричать молодому актеру «бис». И вот в минуты этих мечтаний в красный уголок прибежал Чинарик. Он только что отдежурил на кухне. Он старательно вымыл и вычистил песком все кастрюли, аккуратно по ранжиру расставил их на полках, подмел кухню, снял длинной щеткой черную паутину и, взглянув на яркое сияние меди, на тусклый блеск алюминия, на чисто выметенный пол и протертые стекла в окнах, он вдруг умилился и притопнул:

— Ай да Чинарик, золотые руки! — сказал он сам себе, и ему захотелось похвалиться перед Лехой чистотой своей работы.

— Бросай свою волынку! — крикнул он. — Иди-ка посмотри, что я на кухне сделал!

— Отстань! — отмахнулся Гуляев и продолжал повторять свой знаменитый монолог.

Равнодушие друга обидело Чинарика.

— Не отстану, — заявил он вызывающе и нарочно стал приплясывать и петь перед носом будущего прославленного актера.

Тогда Леха тихо, но совершенно отчетливо и искренно сказал:

— Катись отсюда, паразит!

— Я паразит? — вскипел Чинарик. — Ах ты… белогвардейская морда!

И, не стерпев обиды, Чинарик ударил приятеля и кинулся бежать. За собой он слышал разгоряченное дыхание и звон шпор. В кухню они вбежали почти одновременно. Чинарик схватил топор. Гуляев, сбросив бутафорскую саблю, взял столовый нож. Мгновенно плотным кольцом их окружили ребята. Торопливо вошел в кухню Сергей Петрович.

— Бросьте! — Он перевел дух и стал проталкиваться в круг, чтобы встать между Лехой и Чинариком.

Но его не пропускали.

— Третий не лезь… — напомнил кто-то блатной закон.

«Неужели, как и во время драки с костинцами, я не найду, что нужно сделать?» подумал Сергей Петрович и вдруг, точно успокоившись, отошел к окну.

— Драмкружок организовали, артистами сделались! — крикнул он горько. — Оставался бы ты, Леха, в Москве.

Леха взглянул на Чинарика. Тот стоял совершенно белый, с пустыми глазами, с прикушенной нижней губой.

— Живи! — крикнул Леха. — Живи, гад!

И, скрипнув зубами, черкнув ножом по воровскому обычаю крест на подметке, с размаху переломил нож о колено.

Актив

Еще с первых дней в коммуне начали выбирать контролеров. Обычно в субботу за ужином на целую неделю выбирался один парень помогать воспитателям. Он будил по утрам воспитанников, следил за порядком в спальнях, наблюдал за кухней, за приготовлением завтрака, обеда и ужина, проверял спальни вечером перед сном. Контролёр вставал раньше всех и ложился позже всех. Когда уже все спали, он шел к Мелихову рапортовать о состоянии коммуны. Бывшие воры скоро привыкли к звону тяжелого валдайского колокола, размерявшему их жизнь. Этот колокол переходил от одного контролера к другому.

Была суббота. Кончался ужин. Отдежуривший неделю контролер Котов приготовился сдавать свои полномочия и колокол.

— Кого в контроль? — спросил Богословский ребят.

Выборы занимали их. Они с увлечением обсуждали кандидатуру каждого, вспоминали при этом все его грехи и провинности в прошлом, хотя эти провинности не имели никакого касательства к делу контроля.

Молодой паренек из бывших воспитанников детдома, Дима Смирнов, давно страдал оттого, что его обходят, видимо, считают неподходящим, малолетним.

Совсем неожиданно для него Умнов назвал его фамилию.

Дима покраснел, опустил глаза.

— Он колокол не подымет, — заметил Косой.

— Ему еще мамку сосать, а он — в контроль, — угрюмо поддакнул Андреев.

Начались шутки, мучительные для Димы. Но подоспела подмога.

— Велика Федора, да дура!.. — сказал Накатников, смерив насмешливыми глазами Андреева. — Я за то, чтобы Димку. Он мал, да удал!..

— Ладно! — сказал Богословский, — Выбираем, что ли, Смирнова?

Так Смирнов взял в первый раз в свои руки валдайский колокол.

Светлоглазый и светлобровый мальчишка — вырос Смирнов в Коломне, на зеленой улице, оглашаемой криками воробьев. Отец, рабочий на паровозостроительном, умер, когда Диме не было и девяти лет. Пожалуй, один отец только и уважал Диму. За глаза он называл его не иначе, как «наследник», а к нему обращался по имени и отчеству: «Здравствуйте, Дмитрий Михайлович!»

После смерти отца, жалея больную мать Димы, тетки корили мальчишку, попрекали куском.

— Другие хлеб зарабатывают, в дом несут, а ты, кабан, из матери последние жилы тянешь.

Димка обижался, раздумывал — как ему быть? Потом надумал. Он уехал в Москву, к другой тетке, жившей неподалеку от Триумфальных ворот. Нож московская тетка оказалась не лучше коломенских, также попрекала дармоедством.

В Москве полюбился Смирнову Белорусский вокзал, поезда, грохот и ритм движения. Под вокзалом, в подвалах жили молодые чумазые дикари — шайка беспризорников под атаманством скуластого Мишки Андреева. Он был старше других п уже сидел в Бутырках. Беспризорники не корили друг друга хлебом, не выматывали душу пустыми, надоедливыми проповедями. Они жили голодно, грязно, но беззаботно, словно коломенские воробьи. Дима перебрался в их компанию.

Но и тут было не сладко. В шайке уважали сильных, ловких. Смирнов был моложе и слабее всех. Воровал он плохо, похвастаться прошлыми подвигами не мог — не было их. Только и приходилось на его долю, что грязь, вши да побои. Любил он книги, но в шайке издевались над ним за это. Да и где было эти книги доставать и читать?

И когда на вокзал явился сивоусый плечистый человек — это был Мелихов — и предложил сменить катакомбы на чистый и светлый дом на Малой Калужской, Дима искренно обрадовался этому.

Так Дима Смирнов попал в детдом имени Розы Люксембург, а оттуда в Болшевскую коммуну.

В коммуне, как и в шайке беспризорников, решительно все были старше, опытнее, сильнее и выносливее Димы. Он потел от обиды, когда восемнадцатилетний Котов бросал мимоходом:

— Сынок, на горшочек не хочешь ли?..

У него вспыхивали огоньками глаза, когда Андреев подмигивал:

— Старик, пошли футбол гонять…

Однажды Накатников назвал его в шутку «Михалычем», и Дима долго страдал, боясь, что это словцо прилипнет как кличка. Вот каков был самый молодой болшевец — Дима Смирнов.

Контролерство его вышло удачным. За завтраком ребята ели пироги и пили какао, которое не пахло дымом, как это было в контролерство Котова.

Скучное осеннее воскресенье было скрашено походом в кино на соседнюю Первомайскую фабрику. Когда шли туда, Мелихов сказал всем, что инициатива этого посещения первомайцев

принадлежит Смирнову.

Дима учел, что Котов — предыдущий контролер — шесть дней сряду кормил коммуну картофелем во всех видах. В первый день контролерства Смирнова к обеду подали украинский борщ и мясные котлеты. Однако примерная работа не спасла Диму от обид и насмешек.

Бывший атаман Димы, скуластый Андреев, воспринял выбор Димы в контроль как обиду. Он промолчал во время выборов, но не примирился.

Он ходил за Смирновым по пятам и назойливо, как осенняя муха, изводил его:

— Ну, бендик, смотри, чтоб суп не пересолили.

Дима делал вид, что он очень занят.

— Ну, шпунтик, каково в контроле?

Дима молчал.

— Ну, гад, до отвала, значит, нажрешься в кухне? Повар, печенку слизал, а на кошку сказал!..

— Отстань, — попросил, наконец, Дима.

Этого Андрееву и было надо.

— Ты кто такой, чтобы кричать? Ты как на меня смеешь кричать?.. — орал он благим матом на всю комнату. — Ты думаешь, если тебя, котенка, в контролеры произвели, так ты на всякого лаять можешь?

Вероятно, от ругани он перешел бы к физическому воздействию, если бы на крик не собрались болшевцы. Среди них был Накатников. Тугой на соображение, Андреев почему-то побаивался этого горячего парня. Он отступил, что-то ворча под нос.

На следующий день у Смирнова вышла стычка с дневальным Королевым.

На замечание Смирнова о том, что пол спальни надо бы вымыть, Королев показал кулак и спокойно сказал:

— Катись… Таких много!..

Дима хотел во что бы то ни стало провести контроль образцово. Он. не стал ждать, пока об отказе Королева узнают Богословский и Мелихов. Он принес воды, отыскал тряпки и начал сам мыть злосчастный пол. Королев долго смотрел на него с любопытством. Потом засучил рукава и оттолкнул его:

— Пусти, я сам! И мыть-то как следует не умеешь…

Королев домыл пол и, как показалось Диме, в тоне, каким он стал теперь разговаривать с ним, появились новые ноты. На второй день контролерства при проверке спален в кровати не оказалось Беспалова.

Смирнов не уснул до двух часов ночи, когда возвратился,

наконец, Беспалов.

От него пахло водкой.

Дима мягко, но настойчиво сказал, что на этот раз он промолчит, но в случае повторения заявит Мелихову.

Беспалов мутно улыбнулся и ущипнул Диму:

— Посмей, чорт драповый!..

Но больше ни разу на ночь не отлучался.

Дня через три-четыре вся коммуна вынуждена была признать, что Дима Смирнов оказался превосходным контролером.

Даже Мелихов посматривал на Диму так, словно видел в первый раз его розовое лицо, вихорок на голове, смышленые серые глаза.

К этому времени было уже решено выделить из воспитанников постоянных выборных «доверителей».

Добросовестность и распорядительность, проявленные Смирновым, делали его несмотря на молодость вполне подходящим для работы в качестве «доверителя».

Мелихов решил поддержать его кандидатуру.

Трудно определить, в чьей голове зародилась мысль о выборных «доверителях». Нужно было, чтобы кто-то помогал воспитателям подготовлять вопросы к общему собранию, служил связывающим звеном между воспитателями и воспитанниками.

Мысль эту подсказывала жизнь, оправдавшая себя практика контроля и общая твердая линия коммуны на воспитание крепкого ядра активистов — основы всего коллектива.

Об этом много и подробно говорилось в комнате Сергея Петровича, куда ребята постоянно захаживали почаевничать и дружески поболтать.

На одном из очередных собраний Мелихов выступил с предложением избрать «доверителей».

Васильев, Накатников и Смирнов получили большинство голосов. Всем было- ясно: Дима Смирнов избран благодаря тому, что образцово работал в контроле.

Впервые Смирнов почувствовал себя взрослым, совсем равным с товарищами. Коммуна не только сравняла его, младшего, со старшими по возрасту, но и выделила его, особо доверяла ему.

От этой тройки «доверителей» отпочковались продуктовая и вещевая комиссии.

Васильев и Андреев занялись продуктами. Смирнов стал ведать одеждой и бельем.

Он с головой ушел в новую для него работу. А после того как комиссиям были переданы ключи от кладовых, работа совершенно поглотила его. Он упорно думал о том, как

покончить с сыростью в кладовой и уничтожить крыс, о том, что носовые платки пачкаются не столько от употребления, сколько от грязных, никогда не стирающихся карманов верхней одежды, ж придумывал способ время от времени стирать карманы.

Зимой на общем собрании был поставлен вопрос о выборе специальной конфликтной комиссии, которая подготовляла бы обсуждение вопросов к общим собраниям, разгрузила бы общие собрания от разбора мелких повседневных ссор и дрязг.

— Конфликтная комиссия — это наш коммунский суд, — разъяснял Богословский. — Выбранные вами товарищи будут обсуждать ваши проступки и определять взыскания. Не мы, воспитатели, будем вас наказывать, а ваши выборные. На основе вами же установленных правил будем бороться за порядок и дисциплину, будем беречь и строить коммуну, бороться с теми, кому она недорога. Я не называю фамилий. Кого хотите, того и выбирайте. Но помните: нет у нас сейчас дела ответственнее и важнее.

И началась бурная выборная кампания.

Калдыба, Королев, Беспалов, Чума — все, кто любил выпить и, следовательно, предполагал в будущем предстать перед конфликтной комиссией, сообразили, что если не иметь в комиссии своего пьющего представителя, дело получится «гроб».

Хриплоголосая эта группа настойчиво выкликала:

— Гагу!

— Королева!

— Гагу, он смирный!

Гага, он же Воробьев — черномазый, красноносый, — был действительно молчалив, замкнут, ко всему равнодушен. Пил он часто, но как-то без увлечения, точно по обязанности.

Другие выдвигали Васильева.

Васильев водки не пил. Высокий, русоволосый, косоглазый, он славился двумя свойствами: голосом и франтовством.

Голос у него был действительно отменный.

— Если разобьется колокол, будем выводить Косого — пущай орет!.. — шутили иногда болшевцы.

Сапоги у Косого были зеркального блеска. Умел он делать безукоризненный пробор.

Косой и Гага получили большинство голосов. Третьим был избран Дима Смирнов. Он был одним из немногих воспитанников коммуны, не имевших взысканий.

Первое заседание конфликтной комиссии происходило на другой день. Дима волновался. Впрочем, волновался не он один.

Институт «доверителей» оправдал себя. Ребята успешно работали в вещевой и продуктовой комиссиях. Конфликтная

комиссия, занимающаяся вопросами быта, дисциплины, труда, была естественным, необходимым шагом, знаменовавшим дальнейшее укрепление и рост коммуны.

«Но как все это выйдет на практике?» беспокоился Мелихов. Он несколько раз ездил в Москву, чтобы получить указания, посовещаться по этим вопросам.

Предполагалось, что конфликтная комиссия будет не только проводить подготовительную, черновую работу к общим собраниям, но кое-что будет решать сама.

А кто в этой комиссии? Даже если бы выбрали самых лучших — и самые лучшие в сущности — обыкновенные жулики, для которых еще не потерял силы блатной закон. Правда, для них уже и коммуна кое-что значила. Они будут прислушиваться к словам Богословского и Мелихова. Но ведь нужно, чтобы комиссия работала и решала сама, только тогда она может со временем стать настоящей силой.

Прямое вмешательство и опека со стороны воспитателей только вредили бы этому. А вместе с тем нельзя допускать и ошибок. Предпринимался очень важный, ответственный шаг.

Сквозь заиндевевшие стекла окон тускло рдел закат. За столом, накрытым кумачовым полотнищем, Мелихов увидал конфликтную комиссию в полном составе.

На председательском месте сидел щеголеватый Васильев, справа от него — Дима Смирнов, слева — меланхоличный Гага.

Ребята чувствовали себя стесненно.

Здесь, в этой низкой комнате, жил когда-то Владимир Ильич Ленин, он пользовался вот этой самой зеленоватого цвета мебелью: столом, на котором лежали сейчас их локти, стульями, на которых они сидели.

Непривычная обстановка ленинского уголка, новизна дела сковали их движения, приглушили голоса.

Это были те же Васильев, Гага, Смирнов, и в то же время как будто уже и не они, а какие-то особенные люди, представители общего собрания, которое может послать человека на гауптвахту, не пустить в Москву, исключить из коммуны.

Поодаль сидели, видимо, из интереса к необычным в коммуне делам Гуляев и Накатников.

Тут же были Чума, Беспалов, Котов и Умнов. Их дела должна была рассмотреть сегодня конфликтная комиссия. Они о чем-то беседовали вполголоса у окна.

Суровую простоту обстановки нарушал лишь Чума.

С кривыми, как у степного наездника, ногами, с острым лицом и наглыми глазами он выделялся пестрым, попугайной окраски кашне и мятым цилиндром, из-под которого торчали его

грязно-русые волосы. Вот уже с неделю он таскал этот цилиндр, раздобыв его неизвестно где. Кургузый пиджак сидел на нем, как на манекене.

— Начинай, что ли, — сказал Смирнов, покосившись на Мелихова.

— Чума, подойди, — пробасил Васильев, и сам удивился строгости и значительности своего тона.

Чума подошел не спеша, вразвалку. Развязная, вызывающая улыбка растекалась по его лицу. Он как бы хотел сказать: «Любопытствую, что произойдет дальше. Посмеяться люблю!.. Но попробуйте только взаправду тронуть!»

Дело Чумы было неясное.

В спальне, где он жил, ночью четверо воспитанников напились и утром не вышли на работу. Один из них сказал, что вино добыл Чума. Сам Чума отрицал это. Вызывающий вид его бросался в глаза.

«На Гагу надеется, — подумал Смирнов сердито. Он еще не знал, какую линию будут держать Воробьев и Васильев. — Ну погоди, не выйдет».

Чума подошел вплотную, уперся животом в край стола и ждал, почти не скрывая насмешки.

Смирнов разглядывал кашне и цилиндр. Прежде ему казалось очень смешным это клоунское облачение. Теперь оно вызывало досаду.

— Сними, — сказал он негромко.

— Что «сними»? Штаны, что ли? — спросил Чума, прикидываясь непонимающим, и оглядел по очереди всех членов комиссии. Он бы поговорил с ним не так, не будь здесь Мелихова.

— Не балагань!.. — поддержал Васильев Смирнова. Он чувствовал себя председателем. — Скидай цилиндр. В цирк пойдешь — там наденешь.

Чума смотрел уже несколько растерянно. Разве не позавчера только он пил вместе с Гагой? Должен же, чорт побери, хоть этот один поддержать кореша?!

— Разумеется, как вы есть выборная комиссия, — сказал Чума, — закон коммуны мы все должны понимать… Но как это у меня все равно, как у тебя кепка, то нет вашего права…

Гага завозился на стуле, потрогал зачем-то себя за ухо и вяло сказал:

— Сними, Чума.

— Ага, так!.. — задохнулся от злобы Чума и, точно ослепленный тяжелой кровью, ударившей вдруг в голову, позабыв о присутствии Мелихова, быстро, неверно пошел к выходу.

— Чума, брось! Не психуй! — предостерегающе крикнул ему

Накатников. — На общее собрание потянут, дурья голова.

Чума не удостоил его ответом. Он с силой хлопнул дверью и исчез.

«Нехорошо. Не годится. Не тот подход», подумал Мелихов. Он уже видел, что опасность не в том, что будет потворство, — совсем неожиданно она была в другом.

— Что ж… Передадим на общее собрание, — неуверенно сказал Васильев.

— Пусть припаяют по совокупности, — поддержал Смирнов.

Гага смолчал.

— Да вы отложили бы?.. Может, он проветрится и придет… — подал голос Накатников.

— Права не имел уходить, — угрюмо отозвался Васильев.

Он все ждал, что, наконец, скажет что-нибудь и Мелихов, но тот молчал.

Смирнов был парнишкой мягкосердечным, даже добрым. У него было мало проступков, но это не мешало ему обычно в жизни быть вполне снисходительным к проступкам других. Но здесь была не обычная жизнь. Он чувствовал, что здесь дело не в том, как относится он, Дима Смирнов, к Чуме, к его поступкам, а важно, как отнеслась бы к ним коммуна. Самое главное в том, чтобы оправдать исключительное доверие, которое оказали им, членам комиссии, Мелихов, Погребинский, все коммунары, доверие, делавшее их как бы не принадлежащими самим себе. Все, что угодно, лишь бы только никто не мог подумать или сказать, что Смирнов недостаточно решителен, недостаточно тверд там, где дело идет о защите интересов коммуны. Он видел, что то же самое испытывает и Васильев и даже Гага. И потому, хотя уход Чумы был и ему неприятен, он успокоил себя тем, что зато авторитет коммуны и ее законы не пострадали.

Васильев позвал Беспалова. Тот хмуро подошел к столу. Он был взвинчен инцидентом с Чумой. Он косил глаза на окно. Окно синело зимними сумерками.

— Пил? — коротко спросил Васильев.

— А ты не пьешь? — огрызнулся Беспалов.

— Что это за женщина, с которой ты путался позавчера в Болшеве?

— Я твоих не считал. И тебе моих считать не советую, — нехорошо усмехнулся Беспалов.

Может быть, перед общим собранием, перед всей коммуной, перед воспитателями он нашел бы в себе силы признаться в ошибках, раскаяться, но здесь, перед этими пацанами…

— Да ты рассказывай, — деловито сказал Смирнов.

— Нечего мне вам рассказывать.

— Не будешь здесь — будешь говорить в другом месте…

— В другом месте? — заорал вдруг Беспалов. — В другом месте, сявка!.. Да со мной ни один следователь так не разговаривал!

Глаза Беспалова блестели:

— Да я лучше десять раз в Соловках пропотею, чем стану разговаривать со всякой шпаной!..

Смирнов тихонько совещался с Васильевым. «Нет, так дело не пойдет», подумал Мелихов, Он встал, зажег лампу.

— Можешь итти, — торжественно объявил Васильев Беспалову.

— Ты Соловками нас не пугай! Заслужишь, так и пошлют, — сказал Смирнов вдогонку.

Беспалов ушел.

— Котов и Умнов! — окликнул Васильев.

— Скажи, Умнов, начистоту, из-за чего это у вас с Котовым вышла драка?

Умнов подошел к столу. Сесть было не на что. Пришлось стоять.

— Давай, давай, рассказывай, — поторопил Васильев.

— Что ж рассказывать? — развел руками Умнов. — Я задержался в кузнице. Пришел после обеда. А в контроле был Котов. Хоть мы с Котовым не разговариваем, но как он — контроль, я сказал ему вежливым тоном: «Дай мне обед». И вот, я смотрю, Котов, не говоря ни слова, взял уполовник и полез не в котел, а в поганое ведро, куда у нас сливаются ополоски для поросенка. Налил, значит, и ставит передо мной, отвернув мурло. Я спросил его: «Это ты мне?» Котов отвечает: «Это тебе». Тогда я встал и сказал: «А это тебе». И смазал его по уху. Он, конечно, пошатнулся, но на ногах удержался и смылся.

— А ты знал, что контроль в коммуне — лицо неприкосновенное? — промямлил Гага, обрадованный, что дела о пьянстве прошли.

— Знал.

— Ну, а дальше что? Не с одного же удара ты его так изукрасил? — спросил Смирнов.

— Ну, дальше Котов ушел, а я налил себе супа из общего котла и стал шамать. А Котов взял здоровенную палку, какой быка оглушишь, подкрался сзади, да как даст по голове. Ну, я встал и тоже стал бить Котова. Ну, другие мне помогли, потому что все видели и Котов их возмутил. Тут пришли котовские корешки, но они его в этот раз не защищали, потому что Котов был подл, и они отвернулись.

Если бы Смирнов был сам при том, о чем рассказывал Умнов,

очень может быть, что и он бы помог ему побить Котова. В детдоме он всегда, поддерживал Умнова. Но ведь здесь — конфликтная, здесь совсем не то.

— Признаешься, что ты виноватый? — спросил он строго.

— Нет, я не виноватый.

Смирнов записал. Накатников о чем-то шептался с Гуляевым. Лампа чадила, но никто не замечал этого. Долго и путано начал объясняться Котов.

— Скажи, Умнов, — неожиданно произнес Мелихов. — У вас с Котовым был хоть один мирный разговор в коммуне?

Он решил, что пора вмешаться. Он понял, откуда шел этот явный перегиб со стороны новой комиссии. Ему стало ясно и это стремление — быть во что бы то ни стало на высоте — и то, как нелегко людям, вчера еще совершавшим те же проступки, понять разницу между потворством и простой товарищеской чуткостью. Скоро они научатся понимать ее. Но Чума, наверное, опять начнет будоражить ребят, Беспалов уйдет пьянствовать и уведет с собой кого-либо еще… Это издержки, которые возместятся, конечно… Но… пора начинать поправлять!

Умнов повернулся лицом к Мелихову.

— Нет. И навряд ли будет когда, — убежденно ответил он.

— Это почему же? — заинтересовался Васильев.

Он был бесконечно рад тому, что, наконец, заговорил Мелихов. Вот теперь все пойдет правильно. Точно огромная тяжесть снималась с него.

— Не с тобой говорю, — огрызнулся Умнов.

— Так с конфликтной не разговаривают, — мягко заметил Мелихов. — Комиссию избрало общее собрание. Ты сам голосовал за нее. Грубя ей, ты грубишь самому себе.

Смирнов, которого мучило неопределенное сознание, что все-таки два предыдущих дела закончились как-то неладно, приободрился. Слова Мелихова звучали поддержкой.

— Ты бы рассказал, Умнов, комиссии о причинах вашей вражды, — предложил Мелихов.

— Так вы же знаете, Федор Григорьевич, — уклончиво сказал Умнов.

— Я-то знаю, да вот твои товарищи не совсем хорошо все представляют. Я так понимаю, что это не случайная драка по случайному поводу… Так, что ли, Котов?

— Так, — буркнул Котов.

— Дело это старое, началось еще в Москве, в детдоме на Малой Калужской, — сказал Умнов. — До того я был в детдоме на Почтовой улице. Четыре раза я бегал оттуда. Беспризорничать мне надоело. У Федора Григорьевича мне понравилось. Я решил

остаться. А там в то время выделялся Котов. До детдома он имел свою шайку. Промышляли они на Брянском вокзале. Оттуда его вместе с шайкой и препроводили. В детдоме я сдружился с сапожным мастером и всерьез занялся дратвой. И котовская шатия-братия терлась в сапожной, но работала мало. Мастер, видя мое старание, дал мне шить сандалии. Это был первый случай в мастерской. А Котову и котовцам сандалии шить не дали, хотя они и просили. Мастер сказал котовцам: «Вам рано, материал испортите». С этого меня котовцы и невзлюбили. Начали шептаться: «Умнова надо спровадить». Я сговорил кое-кого из ребят, вроде как сделал свою, умновскую, шайку. И пошли мы друг друга колошматить почем зря. Размой ребята предупреждают меня: «Сегодня не спи, зарежут финкой». Я не стал спать. И, правда, ночью подходит ко мне Дегтярев с финкой. Был у нас такой парень… Рябой… Смирнов его знает… Котов его подослал. Я Дегтярева смазал, он отлетел, ударился башкой об стену. Тут я заметил, что Котов не спит. Я подошел и Котову дал в морду. За него вступились его ребята, а за меня — мои. Мы втроем побили восьмерых. Пришел товарищ Мелихов и нас разъединил по разным спальням. И здесь, в коммуне, он ко мне тоже раз так же вот ночью подбирался…

— Ты, Умнов, все о котовских проступках говоришь, — усмехнулся Мелихов. — Ты о себе скажи. Пирог вспомни.

— Я что? Я не скрываю. Что было, то было. В Москве в детдоме пироги мы пекли сами. Я дежурил на кухне. Каждому парню полагался отдельный пирог. Для Котова я сделал пирог побольше, а в начинку положил пакли. Сели за стол. Подают всем по пирогу и Котову тоже. Он позарился на румяный пирог, откусил, а там веревка и пакля. Выругался и убежал.

— Значит, и теперь у вас идет продолжение старого? — строго спросил Мелихов.

— Ясно, — сознался Умнов.

— А ты знаешь, что коммуне нет дела до наших прежних счетов? — сказал Смирнов.

— Так он и здесь лезет, — упорствовал Умнов. — Если Котов не будет, я что же…

Мелихов улыбался в усы: «Как-то теперь конфликтная?»

Дима Смирнов вовсе пал духом: «Наверное, с Чумой и с Беспаловым надо было вот так же поговорить, разобраться в подробностях. Кажется, вышла промашка».

Он ежеминутно оглядывался на Мелихова, потом прямо спросил его:

— Что же с ними делать, Федор Григорьевич?

— А это уж ваше дело. Вас выбрали, вам и решать, —

отозвался с добродушной улыбкой Мелихов.

«Мы посадили их на место воспитателей, и они должны на самой жизни учиться этому трудному делу, — думал он. — А какую огромную силу получит вся воспитательная работа, если у нас вырастет свой настоящий актив!»

— Умнова я знаю давно, — заговорил Мелихов. — С ним грубостью ничего не сделаешь… Правда, Умнов? Помню, осенью, когда мы только сюда приехали, иду я мимо сада, смотрю — крадется Умнов. Ясно, за яблоками. Остановился за деревом, слежу. Залез наш будущий кузнец на яблоню, не столько яблоки рвет, сколько ветки ломает. По саду треск. Откуда ни возьмись — Медвяцкий. Умнов хотел соскочить, да зацепился за сук. И повис. Медвяцкий подошел, снял его, взял за ухо и говорит: «Тебя, паря, треба драть крапивой. Но ваш Мелихов не верит, что вы, мошенники, грабите сад. Я бить тебя не стану, но скажу об этом Мелихову. Подтвердишь, стервец, что я тебя поймал?» Умнов, конечно, обрадовался: «Все подтвержу, только пусти». В этот же день приходит ко мне Медвяцкий.

Когда Мелихов дошел до этого места, Умнов насупился, покраснел. По всей видимости это воспоминание ему было не очень приятно.

— Сознался Умнов? — спросил с любопытством Васильев.

Мелихов усмехнулся:

— Нет. Отказался наотрез. Медвяцкого выставил клеветником. Но я сделал вид, что поверил. Я сказал Умнову: «Я тебе верю. Дай мне обещание, что ты и впредь не будешь красть яблоки, как не крал их до сих пор». Умнов обещал. И я думаю, Умнов с тех пор больше не взял самовольно ни одного яблока. Верно, Умнов?

— Один раз, Федор Григорьевич, — отвернувшись, сказал Умнов.

Смирнов-скреб затылок. Теперь ему было уже вполне очевидно, что они напороли горячку с Чумой и Беспаловым. Вряд ли общее собрание поддержит конфликтную. Не так подошли они к Чуме и Беспалову, как это нужно было: совсем иначе подходил к ребятам Мелихов. Смирнов сказал об этом Васильеву. Тот обеспокоился. Как же теперь быть? Пошептавшись с Гагой и Смирновым, Васильев сказал, косясь на Мелихова:

— Решение комиссии объявит товарищ Смирнов.

Смирнов встал:

— Конфликтная комиссия внесет предложение общему собранию: Котову и Умнову за драку дать по месяцу невыхода из коммуны и по одному поломытью.

— А насчет Чумы и Беспалова? — насмешливо спросил

Гуляев.

Смирнов замялся, еще раз покосился на Мелихова. Тот безучастно теребил ус.

— А насчет Беспалова и Чумы комиссия скажет на общем собрании, — неуверенно произнес Смирнов. — И пускай они признают, что не должны были скандалить в комиссии, а за ихние пьянки пусть почистят картошку на кухне вне очереди раз по пять каждый. Как укажет собрание. — И Дима шумно вздохнул.

— Правильно!.. — одобрил Накатников. Тут только заметили все, что лампа чадит.

Четыре подковы

Умнов валялся на куче угля, дергал веревку горна, лениво потягивался. Кузнецы-воспитанники не скрывали презрения к нему, смеялись над ним, бесцеремонно толкали парня в бок.

— Поднимись, чортов сын! Сходи за железом.

Все больше хмурился дядя Павел, иногда сердито говорил:

— Хлеб только зря переводишь, грибная жижа! Сколько времени прошло, когда же ты будешь за настоящую работу браться?

— А когда ты будешь деньги платить? За махорку тебе все жилы вытяни! — огрызался Умнов.

В действительности он меньше всего думал о зарплате. Не работал он из упрямства, из странного чувства раздражения и досады, не покидавшего его со времени приезда бутырцев.

О зарплате он говорил потому, что знал, как Остро интересовал этот вопрос других болшевцев. Почти каждый день они спрашивали дядю Павла, когда же, наконец, будут за работу платить деньги.

— Погодите, ребята, сперва надо научиться, а потом будет и плата, — неизменно отвечал дядя Павел.

То же говорил и дядя Андрей ребятам, работавшим у него в сапожной.

Умнов пользовался всяким поводом, чтобы напомнить болшевцам, что разговоры о денежной зарплате до сих пор остаются только разговорами. Однако он ошибался. Время перехода да денежную зарплату приближалось.

Все больше и больше окрестных крестьян приводило ковать своих лошадей в коммунскую кузницу.

Кузнецы сознательно привлекали заказчиков. Они ковали лошадей за бесценок. Они понимали, что самое важное — приучить заказчиков к коммунской кузнице, добиться, чтобы все знали: здесь сделают и лучше и дешевле, чем у любого частного

кузнеца во всей округе.

Теперь случались дни, что целые лошадиные очереди устанавливались возле дверей кузницы. Ребята не успевали справляться с работой. А Умнов все лежал на угле, дергал веревку, равнодушно покуривал.

— Поди хоть свиней отгони! — кричал ему дядя Павел. — Видишь, стервы, лезут!

Уголь в кузницу доставали орешковый, жирный, свиньи любили в нем рыться.

Сашка нехотя поднимался и зло набрасывался на свиней. Ребята зубоскалили: «Свинопас!»

Чтобы раз навсегда покончить и со свиньями и с издевательствами, Сашка однажды, когда никого не было, накалил добела тонкое длинное жигало и ткнул его в бок свинье. Свинья пронзительно завизжала, бросилась на костинскую улицу, сунулась в разореновский двор и там издохла. В ее внутренностях нашелся след: жигало словно прошило животное.

Скоро пала и вторая свинья. Труп ее валялся около кузницы, тут всем было ясно, кто ее убил. Вторую свинью Умнов кувалдой ударил по самому пятачку. Калдыба видел, как завертелось животное.

Дядя Павел, узнав об этом, схватил Умнова за шиворот и при всех ребятах выкинул за двери кузницы.

Дней десять Умнов пропадал где-то, являлся в общежитие, когда все спали, неслышно залезал под одеяло. Утром койка его была уже пуста.

А кузница получила заказ на гвозди. Достали железа. Многие болшевцы работали уже довольно сносно. Теперь кузница могла рассчитывать на значительный и устойчивый доход. В отсутствие Умнова денежная зарплата в мастерских была введена. Ее установили в размере от одного до пяти рублей с учетом расценки изделий и экономии материалов.

Первую зарплату выдавали в субботу вечером. К этому знаменательному часу готовились с утра. Ответственность за выдачу денег возложили на Накатникова. Он знал арифметику и без труда мог разбираться в расчетных ведомостях. Для серебра и меди он разыскал где-то на свалке пустые банки из-под консервов. Сидя за столом, выдвинутым на середину комнаты, и обложившись бумагами, он ждал Сергея Петровича.

От стола до двери выстроилась очередь. Ребята нетерпеливо переминались, острили, толкали друг друга, многозначительно прищелкивали пальцами.

Наконец пришел Сергей Петрович. И в ту же минуту ребята, сломав очередь, хлынули к столу.

Первым подскочил к Накатникову ловкий Хаджи Мурат.

— Сыпь сюда! — завопил он, шутовски широко оттопыривая карман.

— Распишись, — внушительно сказал Накатников, загораживая деньги, и ткнул пальцем в расчетную ведомость.

Хаджи вывел какой-то замысловатый иероглиф. Он разглядел цифру.

— Это что же, мне — семь… всего семьдесят копеек? — вспыхивая, крикнул он.

— Получай, других не задерживай, — сказал Накатников, протягивая горсть монет.

Хаджи подскочил к Сергею Петровичу:

— Это что же такое? Грабиловка! Посадили горбоносого… Почему мне только семьдесят?

— Не горячись! — спокойно возразил Сергей Петрович. — Никто тебя не грабит. Выдают полностью, что заработал. Мало? А в этом ты сам виноват. Сколько раз дядя Андрей говорил тебе, что деревянные гвозди, прежде чем вбивать, надо воском потереть… У тебя они ломаются больше, чем у других сапожников. Правда, ведь? Ну вот, в заработке тебе это и учли. Своей работой ты еще на хлеб не заработал! А тебя кормят, обувают, одевают!

Хаджи обескураженно опустил голову, молча взял деньги, и его тотчас оттеснили в сторону.

Накатников отсчитывал деньги Королеву. Кузнец стоял в ожидании, гордо расправив плечи. Он знал, что ему должно причитаться больше всех. И гвозди, и ковку лошадей, и всякую другую работу в кузнице он безусловно делал лучше других. Каково же было его изумление, когда Накатников вместо обозначенных в расчетной ведомости двух с половиной рублей протянул ему только рубль с медью. Королев слегка фыркнул и, не теряя хладнокровия и важного вида, обратился за разъяснением к Сергею Петровичу.

— Видишь ли, какое дело, — мягко сказал Богословский, останавливаясь: до этого он ходил по комнате из угла в угол. — Завтра воскресенье, праздник. Я тебя, конечно, ни в чем не подозреваю, но, видишь ли… Все-таки за тебя боюсь. Третьего дня извозчики в кузницу принесли водку… Они хотели, чтобы подковали им за эту водку… Постой, не перебивай! Я знаю, что ты не утерпел и соблазнился. Водку выпил за кузницей, вместе с извозчиками… Правда, ведь? Погоди, не перебивай. Я знаю, что водку ты хотя и выпил, а за ковку лошадей деньги потребовал. Знаю и это. Но, видишь ли… Завтра праздник… Почем знать, может быть, ты нечаянно вдруг встретишь опять этих извозчиков?

Захочешь их отблагодарить за угощение. Ведь может это случиться? А ведь ты сам понимаешь, что это было бы нехорошо. Ну так вот, чтобы этого не случилось, я полагаю, что хватит с тебя пока рубля с четвертью. А остальные деньги я тебе додам в следующую получку. Сбережешь.

Королев божился и клялся, что ничего похожего с ним не случится, не может случиться. Но мягкосердечный дядя Сережа на этот раз был неумолим. Королев пожал плечами, взял со стола деньги и, отойдя, пересчитал их. Все слышали, как он внезапно выругался, подлетел к Накатникову с занесенной, словно для удара, рукой, с вытаращенными глазами и лицом, искаженным гримасой бешенства. Сергей Петрович схватил его за плечо.

— Экий ты беспокойный, право!.. — сказал он. — Ну, что еще стряслось?

— Обсчитал! — брызнув слюной, выкрикнул Королев.

— Кто обсчитал?

— Накатников! Обсчитал, падаль! Пятачка нет!

Движением плеча Королев высвободился из рук Сергея Петровича, опрокинув банку с деньгами, навалился на стол, стараясь ударить откачнувшегося Накатникова.

— Не позволю!.. У меня волдыри на руках!.. Я за такую штуку… Я покажу пятачок!

Нелегко было угомонить разбушевавшегося кузнеца. Он. долго ругался, высчитывая какие-то прежние обиды, порываясь драться, и успокоился лишь после того, как Накатников во всеуслышанье признал свою вину, заключавшуюся в том, что он второпях нечаянно выдал Королеву на пятачок меньше. Пятачок был торжественно вручен Королеву Сергеем Петровичем.

— Ну, ладно… ничего… бывает, — бормотал Королев смущенно.

Он не знал, куда спрятать теперь этот злосчастный пятачок. Он вдруг вспомнил недавние времена, когда случалось разбрасывать без удержу, без жалости сотни украденных рублей, пускать их, как пыль, по ветру. А сейчас вот, как лоскутник, как барыга, устроил целый скандал из-за медяка. Да как это могло случиться?

Он подозрительно, приниженно поглядывал на лица ребят. Ему казалось — они должны презирать его, должны над ним смеяться. Но одни расписывались в ведомости, другие пересчитывали серебро и медяки, третьи, уже получившие и пересчитавшие деньги, разговаривали о том, что они будут делать завтра. Будто в том, как вел себя только что Королев, не было ничего необыкновенного, ничего такого, что заслуживало бы сколько-нибудь длительного внимания.

О получке Умнов узнал стороной у рабочих совхоза. Много раз Умнов порывался зайти в кузницу, сказать: «Дядя Павел, брось на меня сердиться, возьми меня опять на работу — гвозди делать хочу». Но было стыдно, да и гордость мешала.

В кузнице кое-кто стоял на стороне Умнова.

— Напрасно ты его, дядя Павел, выбросил.

А Королев — тот прямо требовал:

— Взять надо Умнова. Свиней он правильно угробил: не пастух, чтобы возиться с ними.

Дядя Павел и сам уже думал, что Умнов наказан достаточно, и ожидал случая повстречаться с ним. Однажды он приметил его около общежития. Умнов, завидев строгого мастера, попытался улизнуть.

— Стой, молодчик, — кузнец сцапал его. Умнов притворно вырывался из его объятий, но вскоре перестал сопротивляться.

— На работу не думаешь? Мы гвозди куем, — говорил дядя Павел. — Ребята рубли зашибают. Получили заказ на резаки. Сказал я Мелихову: сделаю из Сашки кузнеца. Неужто ошибся? И везде ты, парень, негоден. Не голова, а кочан. В столярной сделал две табуретки, а материалу испортил на пять. В сапожную и заглядывать не хочешь. Вот у всех ремесло будет, всем будет почет и уважение, а ты как был дураком, так дураком и останешься. Ну? Гвозди завтра пойдешь делать?

Умнов сделал вид, что размышляет, потом согласился, решительно тряхнув головой.

Он быстро научился рубить железо. В первый же день наковал гвоздей, сложил их в карман и ходил по коммуне и по деревне, хвастаясь: «Сам гвозди делаю!»

Его дразнили:

— А табуретку — можешь? Хорошие, говорят, табуретки делаешь?

— Брешут. Я на заводе буду кузнецом.

— На за-во-де? Да ты в деревенской кузнице даром не нужен. Шину перетянешь на колесе? Сошник сумеешь отклепать?

Утром Умнов взялся подковать передние ноги мерина, приведенного костинским мужиком.

— Не подковать, — кричали Умнову.

— Учи, — грубо сказал он дяде Павлу, — а то убегу и кузницу сожгу.

А кузнецы, сбившись в кучу, подзадоривали:

— Куда подкова комлем лежит?

— Ему старую подкову с ноги не сорвать.

И верно. Старую подкову нелегко было сорвать. Стертый блестящий обломок держался крепко. Умнов захватил его

клещами, потянул, мерин вздрогнул и переступил задними ногами от боли. Умнов начал уговаривать его, гладить по шее, вдруг мерин схватил его за ворот и рванул зубами. Клок порыжевшего сукна повис на спине Сашки. Перепугавшийся Умнов выпрямился и отскочил. Пришлось мерина подковать Королеву, а опозоренный Умнов два дня не показывался в кузницу.

Странная манера выработалась у него: ошибется, не сумеет сделать и обозлится на всех. В столярной сделал косую табуретку, утащил ее к себе в общежитие и спрятал под кровать; попробуй-ка кто-нибудь дотронуться до табуретки — драка будет! Теперь после истории с мерином Умнов подрался с Королевым, а утром встал раньше всех и ушел в лес. Пообедал у Филиппа Михайловича, рабочего в совхозе.

— Ты чего в рабочее время болтаться вздумал? — спросил тот.

— Дядя Павел передохнуть отпустил. — И на недоверчивый взгляд рабочего ответил: — Какая польза мне обманывать? Закурить хочешь? Расщедрились — за дежурство по общежитию на десять затяжек махорки дали, — попытался он перевести разговор на другую тему.

— Подковываешь лошадей-то?

— Легко. Это нам просто.

Умнов опять бродил по лесу, бросал палками в белок. «Были бы деньги, уехал бы», думал он.

В полдень он заглянул в кузницу — угрюмый, молчаливый.

Калдыба поймал около кузницы теленка, вел его за уши и кричал:

— Иди, иди, малый, Умнов подкует тебя. Он у нас мастер!

Королев вынул из спичечной коробки специально пойманного клопа:

— Подкуй, Саша.

Умнов сжал губы и промолчал. Но в этот день подковал первую лошадь. Было это так: вечером он упросил дядю Павла оставить его в кузнице одного. Осмотрел клещи, напильники и раздвижные ключи. В кузнице было непривычно тихо, и Умнов запел:

Ах ты, нож, ты мой булатный,
Ты железный сторож мой.

Только две строчки и знал он и не переставал повторять их. Ему захотелось стать хорошим кузнецом, сковать нож булатный, купить ружье, револьвер, а потом жениться. Жена в его

воображении была похожа на дочь Филиппа Михайловича.

В дверях стоял костинский крестьянин:

— Здорово живешь… Как тебя по батюшке?

— Александр Ефимович, — сказал важно Умнов.

— Александр Ефимович, с докукой к тебе: передние ноги у Гнедка подковать бы.

Умнов подумал, не издевается ли мужик над ним, но голос его был серьезен, а морщинистое лицо озабочено.

— Видишь ли, парень, — говорил он. — К нашим кузнецам вести — за две ноги столько сдерут — лошадка того не будет стоить… Так уж, пожалуйста… Будь ласков…

— Часы вышли, уходить время…

— К спеху мне, Александр Ефимович.

— Ставь! — быстро сказал Умнов.

Руки его дрожали от волнения.

— Уж ты покрепче, Александр Ефимович, покрепче, — повторил мужик несколько раз.

Умнов удачно обрезал неровную кромку копыта, вычистил стрелку, подобрал подкову.

— Лошадь-то не балует? Задевать рукой можно? То-то, — в голосе кузнеца звучала профессиональная строгость.

— Важно! — сказал мужик, осмотрев работу Умнова.

— Погоди. Задние подкую.

— Да ладно, обойдусь покуда передними.

Но Умнов уже привязывал к дереву заднюю ногу лошади. Молоток, гвозди, клещи бойко ходили в его руках.

— Готово! Хоть до Киева поезжай! Потеряет подкову вместе с копытом! Эх, жижа грибная! — повторил он любимое словцо дяди Павла и по-хозяйски хлопнул лошадь по тощему крупу.

Мужик вынул кошелек и, не спрашивая о цене, отсчитал деньги. Ему был известен коммунский расценок.

Умнов положил деньги в карман. Завтра не забудет передать их дяде Павлу. Он долго смотрел вслед взобравшемуся на спину коня мужику.

На дорогу падали лучи холодного солнца. Серебристо поблескивали новые подковы. Провозился Умнов в кузнице дотемна, в общежитие шел с песней.

По дороге он встретил Новикова — низкорослого, забубённого парня с продавленной переносицей:

— Здорово, Сашка… Что больно веселый?

Умнов смутился. В самом деле. Что он распелся, с какой радости глотку дерет? Невидаль какая — лошадь подковал.

— Работал вот, — неопределенно сказал он.

— А ты будто можешь?

О неудачах Умнова знала вся коммуна, и Новиков нередко вместе с ребятами посмеивался над ним.

— Брось, Саш, грязное дело… Пойдем-ка лучше хлебнем.

Он щелкнул себя по кадыку и обнял Умнова за плечи:

— У Марь Иванны раздобудем… Она в долг верит.

Умнов смотрел сумрачно и вяло. Против выпивки он ничего не имел, но его обидело недоверие Новикова. После того как проблестели от солнца на копытах лошади подбитые им четыре подковы и в кармане лежали впервые им самим заработанные деньги, это показалось вдвойне невыносимо.

— С тобой пить — рубашку пропьешь. Катись! — и Умнов, подняв плечи, прошел мимо Новикова.

Тот удивленно смотрел ему в спину. Непонятные для него вещи происходили в коммуне. Самые фартовые ребята начинали выкидывать неожиданные коленца.

Блатной закон

Новиков вернулся в коммуну ночью совершенно пьяный. В потухающем сознании его вертелось мучительное, ускользающее словечко «уйду». Откуда явилось это неожиданное решение, он не знал.

— Уйду, — повторял он вслух. — А там мы посчитаемся со всеми. Я их, гадов, заставлю червонцы жрать.

Наутро Новиков был молчалив и мрачен. Он предчувствовал неизбежные неприятные и унизительные разговоры с Мелиховым о вчерашней пьянке. «А ну их всех», выругался он про себя и круто повернул к двери с намерением сейчас же отправиться на станцию. На крыльце задержался, подумал: «Зашумят, гады, скажут, портянки стащил. Надо сдать». И решил дождаться воспитательницы.

— Вася, ну как же это вы уходите без увольнительной? — всполошилась тетя Сима.

— Принимай без разговоров, — грубо отрезал Новиков.

Тетя Сима струсила:

— Хорошо, хорошо, сейчас… Только за книгой схожу.

Вышла и послала за Мелиховым.

Федора Григорьевича Новиков не ожидал.

— Уходишь? — спросил тот.

— Ухожу, — с вызовом ответил Васька, пряча смущение.

— Зайди сюда на два слова.

Мелихов открыл дверь в соседнюю комнату.

— Не о чем нам говорить.

— Зайди все-таки.

Васька вошел вразвалку, засунув руки в карманы полушубка; каждым своим движением он, казалось, говорил: «Думаешь, испугаюсь?»

— Куда идешь?

— Не знаю.

— Опять в Бутырки?

— Куда придется.

— Так, так… Гляди мне в глаза. Зачем ломаешьоя?

Мелихов не особенно нежно положил ему руку на плечо?

— В чем дело? Расскажи толком.

Новиков попробовал было сдерзить, но сорвался и весь обмяк.

Что происходило между ними — болшевцы так и не узнали. Из комнаты был слышен тонкий бабий рев Васьки. А ведь он был большим, настоящим вором, водил компанию даже с такими, как «медвежатник» Мологин!

Только Мелихов мог бы, если бы захотел, рассказать об отце Новикова, расстрелянном белыми в Архангельске, о скитальческой, беспризорной жизни Васьки, о всех обидах и унижениях, которые претерпел он и излил Мелихову в слезах и вое, облегчив, может быть, первый раз в жизни свое ожесточенное сердце. Но Мелихов, видимо, не собирался об этом рассказывать.

Зато через несколько дней всей коммуне стало известно, что Новиков идет работать в помощь Румянцеву в коммунскую палатку — торговать папиросами, конфетами и галантереей.

Новикова выбрали председателем лавочной комиссии.

На собрании Мелихов говорил, что теперь, когда воспитанники стали иметь денежный заработок, перед палаткой огромное будущее и немалые задачи. Нужно разнообразить и увеличивать ассортимент, нужно, чтобы каждый имел возможность тратить деньги на красивые, полезные ему вещи, поменьше испытывал соблазна отнести их куда-нибудь в шинок.

— Вы должны болеть душой за каждую кооперативную копейку, — говорил Мелихов. — Все прибыли, которые даст лавка, — наши, наш капитал. Захотим — пустим снова в оборот, захотим — можем между собой переделить: на то наша воля. Но тем, кто работает в кооперативе, надо помнить, что каждый пятачок, который завели у нас в лавке, есть наш общий пятачок, и беречь его пуще здоровья.

И лавочная комиссия была выбрана, чтобы присматривать за всеми делами кооператива. Неожиданное и большое доверие было оказано Новикову.

О своем решении начисто отказаться от прошлого Новиков вскоре объявил товарищам. Вышло это у него неловко и некстати:

ребята говорили о бабах, а Василий вдруг встал и крикнул звенящим голосом:

— Конец… Так и знайте, конец! Василий Новиков блатному не товарищ! И вообще бросаю пить!

— Зарекалась свинья в корыто лазить… — ответил приятель Новикова Калдыба, и все захохотали.

Может быть, не только новая работа, но и этот хохот помог Новикову сдержать свое обещание. Он действительно перестал пить и резко говорил «нет», когда приятели звали его в Москву, намекая на «заработки».

— Мы тебе, Вася, купим гроб, — смеялся Калдыба. — Слышал я, святые люди в гробах спали.

— Уйди! — кричал Новиков. — Уйди от меня! Плохо будет!

— А что плохо? Драться ты не можешь — святой. Я на тебя плюну, а ты должен терпеть. Такое теперь твое кооперативное положение.

Старые дружки втихомолку травили Новикова. Они донимали его и утром и вечером, а ночью привязывали к ногам полено.

Однажды Калдыба «окропил» его «святой водичкой» — из полбутылки.

— Ну, подожди, — сказал Новиков, утираясь.

Его плоское лицо с перешибленной переносицей стало страшным; голос был спокоен и грозен. Калдыба сообразил, что теперь дело добром не кончится.

— А что? — спросил он, насторожившись. — Или слягавишь?

Новиков молча, изо всей силы хлопнул дверью.

Он шел без всякой определенной цели. В голове копошились недобрые мысли. «Еще и мало слягавить на таких гадов». Но это, конечно, думалось только от злобы. Не Ваське Новикову быть лягавым. Придет время, он посчитается со всеми по-своему. С этими мыслями дошел Новиков до кузницы. Сашка Умнов возился возле гнедой молодой лошади. Новиков остановился, не узнавая. Умнова. Клещи играли в ловких уверенных руках. Сашка отдирал старую подкову и свободным, не лишенным кокетства жестом отбрасывал ее в сторону. В каждом его движении была ловкость знающего дело человека. Подкову он примерял и придерживал одной рукой. Гвозди загонял с двух-трех ударов. Гнедая стояла смирно, изредка помахивая хвостом.

«Поди ж ты, вот те и Сашка! — с чувством, похожим на зависть, изумился Новиков. — Как наловчился человек!» Но потом он подумал, что работать в кооперативе не хуже, чем работать в кузнице. Это тоже ведь важное дело, и не так-то легко научиться торговать.

Весь день он держался особняком. У него никогда не было

особенно близких друзей кроме, пожалуй, Беспалова и Калдыбы. А теперь он был в разладе и с ними. Можно, конечно, помириться где-нибудь за стаканчиком у Марьи Ивановны, но это была бы капитуляция. А Новиков хотел победить сам.

«Слягавить?» и ему стало холодно от этой мысли.

Весь день он убеждал себя не бояться, но вечером на собрании мужество покинуло его.

Собрание уже покончило с производственными вопросами и перешло к быту. Обсуждались участившиеся за последнее время пьянки и самовольные отлучки. Говорили вяло, осторожно: одни боялись задеть товарища, другие — вызвать гнев сильного, третьи молчали, потому что и сами были не без греха. Новиков попросил слова. Калдыба с издевкой подмигнул ему. «Погоди», прошептал Новиков с холодной злобой и начал свою речь, запомнившуюся всем болшевцам не менее, чем первое выступление Накатникова:

— Паразиты! В Москву ездят, а тут, видишь, притихли. Снаружи шито-крыто, а между прочим некоторые трамвайными сявками заделались. Вот и рубануть по таким: не ночуешь, пьешь, воруешь — ну и двигай из коммуны! Не наводи на других тень. Есть такие!

Кто-то испытующе подзадорил:

— А кто? Ну-ка скажи!

— А думаешь — испугаюсь? Калдыба первый — в Москве ворует, а в Болшеве пьет…

Так Васька Новиков с размаху, при всеобщем изумлении и замешательстве опрокинул блатной закон.

Собрание замерло. Калдыба — большой, несуразный, с длинными, как у орангутанга, руками — побледнел и впился в Новикова злыми немигающими глазами.

По рядам прошелестело:

— Лягавый…

Коммуна раскололась надвое. Накатников, Умнов, Гуляев и еще некоторые ребята несмело поддерживали Новикова, но мнение большинства сводилось к несложной и привычной формуле:

— Теперь Калдыба Ваську изувечит.

Новиков и сам понимал, что месть неизбежна и отступать поздно, но, уверенный в своей правоте, он был готов к любой схватке — так казалось ему на собрании. Ночью ему стало до ужаса ясно иное. Его охватил страх — то слепое чувство, когда знаешь, что расплата приближается, но не видишь врага, от которого нужно обороняться.

При тусклом свете ночника разметались по койкам голые татуированные тела соседей. Иногда Новикову казалось, что

товарищи только притворяются спящими. Вот они по условному знаку встанут, вытянут руки и завопят:

— Ля-га-вый! Берите его!

Новиков ощупывал финку, которую положил еще с вечера под матрац, чтобы можно было выхватить ее, точно из ножен.

В окне мелькнула тень. Новиков увидел длинную обезьянью руку, которая шарила по раме, и бледное лицо. Он узнал Калдыбу. Медленно вытащил финку и встал на колени, глядя прямо в глаза ночному гостю. Тень за окном сдвинулась, и Васька увидел звезды, прыгающие в мохнатых лапах сосен.

Калдыба ушел.

Определившаяся опасность была легче, чем ожидание. Ночь прошла без сна. На другой день Новиков положил в сапог финку, решив не расставаться с ней.

Почин Новикова не прошел бесследно.

Как-то Сергей Петрович спросил Беспалова:

— Пьянствовали вчера?

Тот деланно изумился:

— Н-нет…

— А я тебе расскажу, чем закусывали, и даже в каком углу ты сидел, — припер его к стенке Сергей Петрович.

— Ну-у? — в замешательстве протянул Беспалов.

А Богословский невозмутимо повествовал об огурцах и селедке, входивших в состав пиршества, и напоследок заметил:

— С кем ты пил — те и рассказали. Ты видишь, Беспалов, нет никакого смысла играть в прятки. От этих пьянок проигрываешь только ты и никто другой. Если коммуна не сможет переломить тебя, она должна будет от тебя отказаться. Подумай об этом.

Беспалов ходил по общежитию, говорил, что выдал Почиталов, грозил отомстить предателю, но так ничего и не предпринял. А потом кто-то рассказал Мелихову, что у Чинарика есть марафет, а Умнов на общем собрании открыто выступил против лодырей в кузнице. Да и на конфликтной ребята стали держаться откровенней.

Блатному закону был нанесен ощутительный удар. Но он был жив еще, этот закон. Новиков долго еще носил в сапоге свою финку, а ложась спать, клал ее под подушку. Он каждый час был готов к неожиданному нападению.

Бродяжий бог — Балдоха

Коммунар Китя стоял, прислонившись к стволу высокой сосны. Первые по-настоящему теплые весенние лучи уже начали вытапливать из нее густой и острый запах смолы.

Недалеко, у церкви, деревенские ребятишки катали крашеные яйца. Мужики, расположившись на траве, на припеке, пили водку, о чем-то громко спорили и крепко ругались. От возбуждения и выпитой водки их лица были потные и красные. Из церкви выходили нарядные бабы, торопливо крестясь, отряхивая на ходу пышные подолы.

Китя недвижно простоял полчаса, час. За это время мальчишки успели уже несколько раз подраться, мужики дважды посылали за водкой, опустела паперть.

А весеннее солнце, Балдоха — бродяжий бог, попрежнему пригревает, свистят стрижи, небо такое, что глаз отвести нельзя. Где-то, грохоча и воя, летят стремительные поезда, над ними пылают то солнце, то теплые южные звезды. Велика земля. И нет сейчас вокруг Кити тюремных стен, никто не следит за ним. И вдруг, еще не веря самому себе, он делает шаг, другой. И чем дальше уходит Китя от коммуны, тем ноги его идут быстрей, ему становится все легче и легче под теплыми лучами весеннего солнца.

Так началась первая весна в коммуне.

В день ухода из коммуны Кити Мелихов догнал идущего со станции Беспалова и пошел рядом с ним.

Широкая, ладно сложенная фигура Беспалова дышала силой. Его коричневые пытливые глаза, волнистые волосы привлекали внимание костинских девушек. Но Беспалов с ними не водился.

Все его движения и жесты были уверенны. Говорил он отрывисто и твердо. Казалось, этот человек крепко знает свое место и положение в жизни. Но это только так казалось.

— Золотая погодка, Беспалыч, — благодушно заговорил Мелихов, поглядывая на оттопыренный полбутылкой карман Беспалова. Тот засопел — понял, что водка замечена. В коммуне шли разговоры, что Мелихов собирается накрыть кого-нибудь с поличным и изгнать из коммуны за пьянство в острастку другим. Воспитателей действительно не на шутку тревожило усилившееся к весне пьянство.

— Если такая погодка недельку-другую постоит, — продолжал Мелихов, — всей коммуной на Клязьму двинем. В лодки сядем, гармонь добудем, а тетю Симу заставим пирогов напечь.

Беспалов беспокойно озирался. Ему хотелось поотстать, незаметно вышвырнуть водку в кусты, а Мелихов шел, не отставая, говорил о том, как интересно, весело, замечательно будет жить коммуна летом.

«Ну, говори прямо, не канитель, — думал Беспалов, — все равно видишь посудину, усатый чорт».

Бутылка предательски булькала. Путь от станции до коммуны казался Беспалову необыкновенно длинным.

А Мелихов говорил уже о карасях:

— В пруду у нас караси зимовали. Вот потеплеет вода, мы бредень на плечи, корзину в руки да в пруд. Тишина, понимаешь. Лягвы — и те примолкли. Бредень сухой еще, не хочет окунаться в воду. А мы идем глубже и глубже. И вот тянем… В мотне трава, тина, а в ней поблескивают караси. Горбатые, ленивые, жирные. Будем бродить, Беспалыч?

— Непременно, Федор Григорьевич, — выдавил из себя Беспалов.

— А малина поспеет — всей коммуной пойдем по малину, — размечтался Мелихов.

«Старая ищейка, пройдоха и ехидна, — злобно думал Беспалов. — Чего ты, скажи на милость, выматываешь жилы? Ведь вышвырнешь из коммуны на первом же собрании. Ну, поймал, ну, отними водку, ну, выгоняй, как полагается по закону, но зачем же измывательство?»

Заметив, что парень помрачнел, Мелихов переменил разговор.

— Я недавно излечился от хронического насморка, — говорил он. — И вот, представь себе, открылся мне удивительный мир запахов.

Беспалов громче засопел и скосил глаза: «Подъезжает. Сейчас — прощай, бутылочка».

— И вот частенько, Беспалыч, слышу я, разит от тебя сивушным духом.

— Я не пью, — нагло сказал Беспалов.

— Я не говорю, что ты льешь, а только вот пахнет. Знавал я одного часовых дел мастера. Тот всех уверял, что ему зуб пломбировали и какой-то дряни туда напихали, и с тех пор от него разит перегаром, а сам он по условиям своей деликатной профессии спиртного-де в рот никогда не берет.

Беспалов смолчал, с ненавистью сжимая рукой булькающую бутылку. Захотелось нагрубить Мелихову.

— Что это у тебя в кармане булькает? — простодушно спросил Мелихов.

— Это… уксус, — растерялся Беспалов, хотя все время ожидал подобного вопроса.

— Молодец, хвалю… Мне как раз сегодня уксусу недоставало. Страсть люблю квашеную капусту с уксусом. Сейчас зайдем ко мне, и ты одолжишь мне полстаканчика…

— Да что же это такое! — не своим голосом взвыл Беспалов. — С чего же это вы из меня дурака-то строите? Что я,

один, что ли, пью? Да пропади она пропадом, треклятая!

Бутылка, блеснув в руке Беспалова, с треском ударилась о пень и разлетелась на множество осколков.

— Эх, и горяч, — качал головой Мелихов. — Если бы тебя с Мишей Накатниковым связать по ноге да пустить по воде — ни один другого не перетянет…

По опыту своей прошлой работы в детдомах Мелихов знал: наступило самое опасное время. Большинство побегов из детдомов, колоний и изоляторов падает на весенние месяцы.

Как-то переживет весну коммуна?

Он не знал еще об уходе Кити. Да и не опасался за него. Беспокоили его Умнов, Беспалов. Особенно Беспалов. Он видел, что парень мечется, тоскует, пьянствует.

«Горячий парень… А хорош, может быть толк. Лишь бы весна не подкузьмила», думал Мелихов, придя домой и вспоминая подробности своего разговора с Беспаловым.

Из Костина неслись пьяные, праздничные песни. Высокие девичьи голоса звенели в воздухе. Мелихов открыл окно. Далеко над лесом узкой багровой каймой потухал закат. Он ясно представил себе недалекую, расцвеченную вечерними огнями Москву, представил, как оттуда сейчас, звякая буферами, отходят составы дальних поездов на Севастополь, Батум.

Да, это была отличная поездка, когда он весь детский дом имени Розы Люксембург повез в Крым. За месяц ребята посмотрели все достопримечательности, загорели, поздоровели, не было ни одного побега.

Прошедшей зимой он случайно услышал накрепко запомнившийся разговор. Худосочный, низкорослый парень мечтательно говорил кому-то, стоящему за углом флигеля:

— Перезимуем в коммуне, миляга, а как засветит Балдоха — бродяжий бог, — прости-прощай, подруга дорогая.

— Дотянем, — ответил ему чей-то простуженный голос.

Мелихову показалось, что это был Беспалов. Вспомнив этот разговор, Федор Григорьевич со стуком закрыл окно, круто повернулся спиной к нему и сказал:

— Посмотрим.

Спал он в эту ночь плохо: ему мерещились пустые скамьи в столовой, нераскрытые постели, осиротевшие верстаки в мастерской, пробирающийся на станцию Беспалов.

И не напрасно тревожилось его сердце об этом парне. Беспалов почти готов был сделать то, чего так опасался Мелихов. Не потому, что Мелихов заметил его с бутылкой и мог поставить вопрос о нем на общем собрании — он не верил в себя. в свою

пригодность для здоровой, честной жизни.

Отца Беспалов не помнил. Знал, что жили они раньше где-то около Гродно, во время войны бежали оттуда, отец умер в дороге от простуды… После смерти матери Беспалов попал к дяде — сапожнику. Мальчишка жил среди взрослых, никому ненужный, предоставленный себе. Во вторник дядя садился за работу и всю неделю корпел с шилом и дратвой в руках, в субботу парился в бане, в воскресенье «гулял» и пел песни, в понедельник лежал и охал, а на утро вторника начинал новую неделю. Беспрерывной чередой вступали в жизнь сапоги, штиблеты, женские туфли — и не было этому конца.

Дядя жил недалеко от Грачевки. Квартал Сухаревских лавочников и всякой темной братии был школой Беспалова.

Начал Беспалов с общественной водогрейки, где собирались такие же мальчишки, как и он. Играли в «стенку» на картошку, потом стали играть на деньги.

Как-то дядя дал ему рубль и послал за табаком. Лавчонка была маленькая и тесная, в одном углу отпускали товар, в другом была касса. Хозяин торговал по старинке, без чеков. Постоял Беспалов за народом, подошел к прилавку:

— Уплатил!

А у самого пот даже на кончике носа выступил. Хорошо, что хозяин и не взглянул на мальчика, отпуская товар, а то заметил бы неладное. Словно по горячему, прошел Беспалов до двери. А потом — ничего.

С тех пор — пошло. Начал пропадать из дому недели по две. Потом и совсем ушел. И потянулась для Беспалова потайная тропа через кражи, притоны, тюрьмы.

Однажды он попал в Беклемишевский приют. Там занимались садоводством, по мнению сердобольных дам-патронесс — самым христианским и благоуханным из всех человеческих дел. Детей заставляли поливать цветы и одновременно в этом ангельском занятии омывать свои падшие души. Беспалов сопел, гнулся, таская пудовые лейки, и до поры до времени молчал. Но когда бритый, похожий на солдата «дядька» ударил его по щеке за примятые анютины глазки, он не стерпел и, сговорив десяток ребят, ночью ушел с ними из приюта.

Незадолго до революции Беспалов последний раз вернулся к дяде и поступил в типографию. Был он на побегушках: носил клише, покупал ханжу для мастеров. Раз сорвался с подножки трамвая и пролил вонючую драгоценность… И опять побои. После них он уже ни в типографию, ни к дяде не вернулся.

В революцию Беспалов жил словно в каком-то длительном, радостном чаду. Он самозабвенно шнырял среди праздничных

толп, дивясь невиданному развороту событий. Вот это — настоящая жизнь, вот это — не заскучаешь! То изловили околоточного, то зажгли судейские бумаги, то арестовали какого-то туза!

— Так их!.. Лови, круши толстопузых!.. — увлеченно кричал он, пристраиваясь к переполненному вооруженными людьми кузову грузовика.

Но надо было жить. А золотопогонные и толстопузые попрежнему ездили в рессорных покачивающихся колясках… И опять заскучал Беспалов. Он отыскал своих приятелей и начал промышлять на вокзалах «по берданкам». Утащенные и срезанные мешки и чемоданы сбывали на Хитров рынок.

За Николаевским вокзалом был дворик, где обосновался шалман. Беспалов проводил там иногда дня по три подряд. Нюхал кокаин. Жадничал, торопясь уйти в сказочные страны, занюхивался до обмороков.

В двадцатом году Ванька Прозоров, по прозвищу «Клиент», пригласил Беспалова на серьезное «дело». Беспалову было тогда восемнадцать лет.

Намечено было вывезти шелковую пряжу с фабрики Каверина. Операция подготовлялась на широкую ногу: нанят был ломовой обоз, а для «подвода» поступила на фабрику сожительница Клиента. Через нее выяснили, что главные корпуса охранялись сторожами, которые по ночам обычно спали. Склад примыкал к саду, через него и проникли взломщики. Одного только не учла наводчица, что накануне для рабочих была привезена зарплата и в контору, которая отгораживала склад от корпусов, был посажен милиционер.

Сначала все шло как по маслу: вскрыли кладовую, начали выносить товар. Минут через сорок несколько возов было нагружено, оставался еще один. И как раз в это время милиционер, выглянув в окно, заметил неладное и прокрался к сторожам. Поднялась тревога.

— Стой! — кричали сторожа, забегая с разных сторон. — Стой! Стрелять будем!

Воры бросили пряжу и притаились за дверью. Охрана наседала:

— Вылезай! Пристрелим!

Воры вышли поодиночке. Убежал только тот, кто стоял «на стреме». Пойманных заперли в конюшню и приставили двух часовых.

Ночь тянулась невыносимо долго. Клиент ругался вполголоса. Беспалов с тоской вспоминал о кокаине.

Часам к восьми утра со двора донеслись глухие голоса. Они

то замирали, то усиливались. Беспалову стало страшно.

Пленников вывели на двор. Тысячная толпа рабочих встретила их гневным гулом. Перед конторой на столе стоял директор фабрики. Арестованных поставили рядом, лицом к народу.

Два мира — созидателей и расхитителей — стали друг против друга. И увидел Беспалов в глазах рабочих свой приговор: нет снисхождения! Увидел и удивился: «Чего они?.. Не у них воровали… Казенное…»

— Товарищи! — начал директор. — Советская республика в клещах. Пролетариат напрягает последние силы, чтобы справиться с белопанами и контрреволюцией. Ваши братья, мужья и отцы на фронтах кровь свою и жизнь отдают за революцию. А нам разве легко? И нам здесь нелегко! А тут проползают к нам ночью разные гады… и тащат… Вот они, полюбуйтесь!..

Толпа заревела. Беспалов покорно вобрал голову в плечи.

— Смотрите, — продолжал директор, — они не от горькой жизни воруют. Вон у одного хромовые сапожки, а на другом — лисья поддевочка. Паразиты — вот кто они! Тащат у рабочего последний кусок из глотки.

Слова утонули в новом взрыве голосов. Велико было возмущение рабочих. Кто знает, чем бы мог кончиться для четырех воров этот суд-митинг, если бы на стол не поднялась пожилая ткачиха в белом платке. Она властно подняла руку, останавливая шум.

— Нас хотели обидеть. Нам, Советской республике, подкоп делали. Тяжелый это грех, нет слов. Но посмотрите на них — все они люди молодые. Жизнь-то вся впереди. А спросите у них: а их отцы не на фронте? Отцы на фронте, а мы хотим ихних ребят здесь… — работница всхлипнула, — негоже, негоже будто… Надо сердце-то придержать. Так бы обдумать, чтобы к пользе парней пристроить, а не то, что зря кричать.

Она оглянула двор, густо набитый народом, и слезла с трибуны. Кое-где работницы сморкались в платки. Ткачи угрюмо слушали.

Беспалов почувствовал всем существом: гроза прошла. Но к радости примешивалась новая непонятная тревога.

А с вышки командовали:

— Ведите их в Чека, там разберутся.

Рабочие высыпали за ворота. Здесь некоторые начали отставать, а другие еще плотнее сомкнули кольцо вокруг арестованных. Встречные останавливались, расспрашивали. Узнав, в чем дело, они присоединялись к шествию. Многие открыто заявляли, что незачем водить, отнимать у Чека время.

Охрана смекнула, что в случае чего ей, пожалуй, напора не выдержать, и неожиданно свернула за угол в ближайшее отделение милиции.

Беспалов с трудом разбирался в пережитом. Он твердо знал — жизнь была на волоске. Но ему оставили ее. Почему? Подарок? Но тогда все было просто: «покорнейше вас благодарим». Нет, тут было что-то другое, особенное, налагающее какие-то обязательства. Ткачиха в белом платке говорила о пользе: «Польза может получиться». «Какая такая польза?» недоумевал Беспалов. Он так и не разобрался во всем этом.

Его осудили на десять лет. Он не упускал ни малейшей возможности выбраться из заключения. Понадобился как-то водопроводчик. Беспалов сейчас же вызвался, проканителил два дня, на третий сбежал.

Не удалось — вернули. Позднее, на третьем году отсидки, он обработал «сухаря».

К этому времени происшествие на фабричном дворе было хоть и памятной, но зажившей раной. Временами, правда, она глухо ныла и выводила Беспалова из равновесия, но самые подробности того страшного дня представлялись теперь как бы со стороны.

«Сухарь» попался из деревенских, по первой судимости. Приехал он в Москву с Волги. Застрял, прожился и остался без копейки. Попытался смошенничать и попался. В домзаке он окончательно пал духом и, по-бабьи распуская губы, сокрушенно нюнил:

— Ой, братики, и что же это будет такое? И до чего это я достукался? Братики, а?

Беспалов оглядел парня, и в его острых глазах блеснули искорки. Улучив минуту, когда рядом никого не было, он подсел к парню и дружески сказал:

— Эй, вахлачок! Чего размок? Не нравится — к ворам попал? Да, брат, теперь «прощай, поля родные!»

Парень на минуту поднял голову и снова поник.

— Но все-таки постараться можно, — таинственно сказал Беспалов, — Глазное, тебе сейчас верного друга нужно найти. А если будешь сидеть да пыхтеть, никогда не вылезешь!

— А чего же я буду делать? — оживился парень. Надежда промелькнула на его лице.

— Потрудиться надо, — вслух соображал Беспалов, как врач, который назначает лекарство. — Езжай в Ленинград, в исправительный дом. Там мастерские, поработаешь — и на сердце отляжет и сократишь себе… Только нужно кого-нибудь за себя здесь оставить, сразу не переведут.

Малый смотрел в рот своему утешителю глазами кролика.

— Вот бы, правда… — мечтал он. — Друг, устрой! Заслужу тебе!

Беспалов медлил, будто колеблясь, потом махнул рукой.

— Ну, куда ни шло, пользуйся. Жалко мне чего-то тебя стало: теленок! Попрошусь — может, запишут в Ленинград, потому я давно здесь. А ты катай под моей фамилией. Поработаешь с месяц, тебя и выпустят, а то здесь сидеть тебе долго…

Парень преданно выслушал все наставления Беспалова. Дело удалось. «Сухарь» уехал, а Беспалов вызубрил его «биографию».

Сорвалось все уже после суда.

На суде Беспалов изобразил неиспорченного, простецкого малого, играл на полном раскаянии:

— Виноват, товарищ судья. Сам не знаю, как вышло, — голодный был.

Дали два месяца условно, а «сухарь» уже отсидел три. На другой день Беспалова должны были освободить, но ввиду закрытия мастерских из Ленинграда вернули партию. «Сухаря» вызвали для опроса, а он расплакался и все открыл.

Беспалов был в страшной обиде на деревенского дурня. Он чувствовал себя жертвой. Он внушал себе, что хотел выйти на свободу для того, чтобы бросить воровские привычки, начать жизнь по-новому. Он обращался мысленно к старой ткачихе. «Вот видишь, — упрекал он ее. — Хотел выбраться, хотел пользу приносить, а… не дают, не пускают. Значит, я не виноват буду теперь!»

В Бутырки приехали делегаты из Болшева. Беспалов слыхал о коммуне раньше, но смутно, никогда не думал о ней. Ему предложили пойти в коммуну. От неожиданности Беспалов согласился.

Он шел в коммуну вместе с партией других парней и так же, как все они, говорил, что жить там не останется, при первой возможности сбежит. Но где-то в глубине души таилась уверенность: будет жить, будет работать, некуда и незачем бежать…

Только первый день в коммуне жил Беспалов с легкой душой: потянули старые привычки, они требовали денег. Трудно было доставать кокаин, достать можно было только водку, почти каждый день выпивал Беспалов. И не было сил прекратить это. Вот чего не учитывала старая ткачиха…

Утром стало известно, что ушли Китя и еще один парень — Прохоров.

«Началось», подумал Мелихов. Он торопливо прошел к Сергею Петровичу.

— Слыхали? — спросил он.

Сергей Петрович кивнул головой и отвернулся, но от Мелихова не ускользнуло выражение растерянности на его лице.

— И Беспалов, и Умнов, да и другие туда же смотрят, — сказал Мелихов, махнув рукой.

В то же самое утро Сергей Петрович уехал в Москву.

В Москве он рассказал Погребинскому о своих сомнениях и об идее Мелихова — свозить ребят на юг. Погребинский только что приехал откуда-то, пыльный, грязный, и, умывшись, стал переодеваться.

— Курорт, говоришь, — переспросил Погребинский, прищуриваясь. — В Сочи или Мацесту? Может быть, лучше в Ниццу, а? Там цветов больше и вино маркой выше.

Лицо Сергея Петровича потемнело. Погребинский быстро переменил тон.

— Не думаю, что нам придется везти наших ребят на курорт, — сказал он. — Мы достаточно прощупывали эти дела. Облазили десятка два домов для малолетних правонарушителей! Там и кормежка, и уход, и учеба, и производство, а ребята бегут. Почему бегут? Установка как будто правильная. Но тут надо вдуматься: одно дело установка, а другое — практика. Практика же нередко такова, что учебная программа и план внешкольных игр, бесед, занятий рассчитаны почти на все время. А «трудовыми процессами», производством занимаются между прочим. Не умеют сделать так, чтобы парень почувствовал, что производство ему действительно нужно. А энергии у ребятишек много. Вот ребята и ждут: чуть-чуть пригреет солнышко — они в бега. А чтоб они не бегали летом, их норовят на дачу, на лоно природы. «Романтики побольше, похождений». Романтика-то нужна, да не та.

— Мелихов прав в одном, и тут я с ним согласен полностью, — сказал Сергей Петрович. — Весна несет добавочные трудности и испытания. Ребята могут податься в бега. Китя — какой парнишка, и то… И с этой точки зрения курорт — не плохое дело.

— Курорт, курорт, — повторял Погребинский. Он размышлял о чем-то.

— На днях Мосздрав передает коммуне крупный заказ для столярной. А обувная будет работать для армии — слышишь, Петрович? Вот какой курорт, думается мне, нужен теперь коммуне. Это не путевка в Мацесту. Это каждый парень оценить может. Шуточное ли дело — заказ на тысячи рублей! Наша задача — чтобы каждый болшевец понял: сорвать, провалить, не выполнить заказ — значит осрамить коммуну, подорвать к ней

доверие государства. Чтобы парень и ночью, во сне, боялся, как бы этого не случилось. Вот какие должны создаваться традиции, вот какая нужна нам романтика. Как думаешь, Петрович? Пожалуй, тогда не побегут! А если ушел кто — это наша вина. Но насчет того, чтобы ребятам весной подышать, — это, разумеется, сделать нужно.

Сергей Петрович возвращался в Болшево с вновь обретенной уверенностью.

Внешне коммуна продолжала жить уже сложившейся за зиму жизнью. Работали мастерские: сапожная, столярная, слесарная, весело грохотала кузница. Но весна с каждым днем все настойчивее заглядывала в нее. Ребят тянуло из надоевших за зиму спален на улицу, на солнце.

Лучшим кузнецом считался Королев. Совхозные и костинские извозчики за хорошую ковку лошадей полюбили его, деревенские ребята с ним не дрались. На вечеринках Королев был желанным гостем.

— А, Король! — встречали его. — Кузнец веселый!

В гостях у Филиппа Михайловича рядом с развязным, самоуверенным Королевым Умнов был словно на отшибе. Придет, сядет в уголке, и вид у него такой, точно он на всех сердится.

— Санько, — лукаво подмигнет ему Филипп Михайлович, — иди чай пить!

— Не буду, — хмуро ответит Умнов, а краем глаза следит за Королевым и Шуркой, дочерью Филиппа Михайловича, стройной, красивой девушкой.

— Санька, помоги подняться ему.

Шурка весело смотрит на Умнова. От ее взгляда и оттого, что Филипп Михайлович зовет дочь Санькой, а его Санько, Умнову становится радостно. Ему хочется подойти к Шурке и взять ее за руку.

И вот однажды Умнов не выдержал этого соблазна. Он встал и, не видя угрожающих взглядов Королева, подошел к Шурке.

— Саня…

Больше Умнов ничего не успел сказать. Королев грубо оттолкнул его и сел рядом с Шуркой.

— Сколько, Саша, лошадей подковываешь? — с издевкой спросил он и подмигнул Шурке.

Умнов покраснел до слез. Кровь обожгла щеки, лоб, шею.

— Спросите, Шурочка, у него лично, — язвительно посоветовал Королев.

— Уйди! Ударю! — вдруг закричал Умнов.

Королев вплотную подошел к нему и весело, напирая на

каждое слово, сказал:

— У трусливого, Саша, нож не режет, а у храброго и шило берет.

Умнов почувствовал, как у него вздрагивают губы и сжимаются кулаки.

— Вор! — почти взвизгнул он.

— Замолчать! — рявкнул Королев. — Здесь все воры! Шурочка, не волнуйтесь! Все будет в порядке. Саша, оставь эту крышу!

Умнов сложил пальцы в кукиш:

— Видал?

— Зашибу! — взревел Королев.

Умнов странно качнулся и, опустив низко голову, вышел.

На другой день он пришел на работу раньше всех. Дядя Павел готовил ножи для фабрики «Парижская коммуна», а Саша взялся за ковку лошадей. Лицо у него было бледное, глаза злые.

— Дядя Павел, десять лошадей сегодня дашь мне подковать?

— Чего это тебе захотелось? — удивился инструктор.

— Хочу десять. Двенадцать хочу.

— Мне-то что — действуй.

И стал искоса наблюдать за Умновым: «Куда это парень оглоблю загибает?»

Ковал Умнов в этот день так: возьмет все инструменты и работает, не отходя от копыт. Не разогнется, покуда не подкует все четыре ноги.

К приходу товарищей в кузницу он успел уже подковать трех лошадей.

— Ну, герой, здорово! — крикнул Королев.

— Мое тебе! — грубо и нехотя ответил Умнов.

Королев засмеялся и передразнил:

— «Мое те-бе». А вчера-то…

— Чего тебе от меня надо? — Умнов держал в руках старую подкову.

Королев вырвал подкову.

— Петухи! Чтоб этого больше не было, — крикнул дядя Павел. — И не стыдно тебе, Королев? Верзила! Умнов, лошадь привели.

— Я подкую, — заторопился Королев. — Где мой ручник? Дай-ка сюда, — и он протянул к Умнову руку.

— Нет, не выйдет это дело.

В первый раз за время работы в кузнице отказывались дать Королеву лучший ручник.

— Дай! — грозно наступал он на Умнова.

— Не дам.

Королев попробовал вырвать, но Умнов цепко держался за молоток.

— Дядя Павел, Умнов ручник не дает, — пожаловался Королев тоном избалованного любимчика.

Он был уверен, что Умнов будет поставлен на свое место.

— Возьми другой, — рассудительно сказал Королеву дядя Павел.

Королев до вечера не произнес ни слова. За день он подковал семь лошадей, а Умнов — десять.

Вечером в сенях дома Филиппа Михайловича Умнов встретился с Шуркой. В сенях пахло старыми хомутами и куриным насестом. Этот запах и поскрипывающие половицы под ногами последние дни особенно сильно волновали его. И теперь, когда рядом с ним стояла Шурка, он молча попытался обнять ее. Но Шурка легко выскользнула из его неумелых рук и угрожающе громко стукнула дверным запором.

— Дома отец? — глухо спросил он, чтобы как-нибудь скрыть свое замешательство.

— К отцу пришел?

В голосе Шурки слышалась явная насмешка. Умнов решительно двинулся к ней. Шурка распахнула дверь и, стоя на пороге, сказала:

— К отцу ходи, а со мной без пряников не заигрывай.

— Ладно, — сказал он и ушел.

А итти было некуда. Горькая обида легла на сердце, и весь день напряженной работы показался ему ненужным. Он шел, не думая и не замечая дороги. Потребность движения тянула его вперед. Теплый вечер обступал запахами, от которых слегка кружило голову. Хотелось одиночества, тишины.

— Саша!

Умнов вздрогнул от неожиданности. Перед ним стоял Накатников.

— Куда, Саша?

— За пряниками, — усмехнулся Умнов и, махнув рукой, пошел дальше.

— Вертай обратно, а не то я тебе дам фунт сушеных.

— Уйди.

Но Накатников крепко схватил его за плечи, тряхнул и повернул обратно.

Час тому назад, гуляя на станции, Накатников обратил внимание на странное поведение Беспалова. Парень угрюмо сидел на самом краю деревянной платформы и пропускал один поезд за другим.

«В Москву собрался, кто его мог отпустить? — размышлял

Накатников. — А если не думает ехать, чего он тут сидит, точно прикованный?»

Накатников подошел к нему и спросил:

— Чего сидишь?

— В Москву подаюсь.

— Да ведь ты, голова-садова, три поезда пропустил.

Беспалов ничего не ответил.

— А зачем тебе в Москву? По увольнительной?

— Из коммуны ухожу.

Накатников рассердился.

— Дурак… Ну и дурак, — сказал он.

Беспалов не ответил.

— Пойдем, а то к ужину опоздаем, — сказал небрежно Накатников.

Беспалов встал и покорно пошел за ним.

А вот сейчас точно так же шел рядом с ним Умнов.

Заказ

Мелихов шумно вздохнул и оглядел сидящих перед ним воспитанников. По его лицу каждый из них почувствовал, что в коммуне произошло что-то необычное.

— Нам, колонии вчерашних воров, — начал он медленно, опустив глаза и сдвинув брови. — Нам, колонии вчерашних воров, — повторил он, — нам было оказано величайшее доверие. Красная армия дала нам заказ. Как мы ответили на эту большую и пока еще незаслуженную честь? Может быть, поднатужась, мы выполнили заказ раньше срока? Или блеснули перед заказчиком сапогами исключительного качества? Нет, мы не оправдали оказанного нам доверия. Мало того: мы допустили преступление. Мы обворовали Красную армию, — Мелихов стукнул ладонью по столу. — Из кладовой украдено пять пар заготовок.

В комнате наступила тишина. Было слышно, как шумели за окнами деревья, покачиваясь на ветру.

Мелихов медленно переводил взгляд с одного воспитанника на другого. Недалеко, почти напротив него, сидел Умнов. Он сидел красный, насупленный, видимо, нервничал. Мелихов внимательно посмотрел на него. Умнов низко опустил голову.

— Ну? — произнес Мелихов. — Кто скажет?

С задних рядов сорвался Дединов. Сощурив голубые холодные глаза, он крикнул резким голосом:

— Какой гад смеет позорить коммуну? Дайте мне, я его уничтожу!

Под ребятами заскрипели скамьи и табуретки. Мелихов

ожидал от них вспышки гнева. Но никто не встал и не поддержал Дединова. Выкрик его прозвучал, как выкрик плохого актера со сцены.

Стало понятно, что сейчас правды не добьешься.

Мелихов встал,

— Мне все ясно, товарищи! Кто взял, тот придет ко мне. Можете расходиться. — Мелихов ушел.

Через несколько минут он из окна своей комнаты наблюдал следующую сцену.

Сначала к лесу прошел Умнов. Потом, озираясь, последовал за ним Дединов. Почиталов бродил, видимо, поджидая кого-то. Увидя Дединова, он сразу направился к нему, и они вместе, о чем-то оживленно разговаривая, скрылись в лесу. «Опытные воры так не сделали бы», усмехнулся Федор Григорьевич.

Умнов из леса пошел прямо к Мелихову. Он взялся за скобку двери и в нерешительности простоял так минуты две.

— Входи, Саша, я знал, что ты придешь.

Умнов вошел, стараясь не смотреть на Мелихова.

— Я, Саша, знаю, кто украл заготовки, — печально сказал Федор Григорьевич.

— Кто?

— Ты и еще…

— Кто еще?

— Еще Дединов и…

— За себя скажу, а за них не знаю, — процедил сквозь зубы Умнов.

— Пригрозили, значит, — не удивляясь, сказал Мелихов.

Умнов не понимал, как можно говорить с ним так ласково после того, в чем он сознался.

«Это напоследок, — думалось Умнову, — перед отправкой в тюрьму».

— Ну иди, — отпустил его Федор Григорьевич и, когда Умнов был в дверях, деловито распорядился:

— Пошли ко мне сейчас Дединова.

С Дединовым Мелихов разговаривал с полчаса.

По уверениям Дединова крал заготовки из кладовой Умнов. Почиталов стоял «на стреме», а Дединов только сбывал.

Мелихов не рассказывал болшевцам признаний ребят. В дни, когда бродяжий бог — Балдоха все настойчивее шатается по всем углам коммуны, нашептывая ребятам удивительные истории об удивительных краях, нужна осторожность. Может быть, достаточно одного незначительного толчка, чтобы вся коммуна рухнула и разбежалась.

Яростно наступает солнце на потеплевшую землю,

настойчиво поднимается к солнцу трава, кудрявятся березы, ели и сосны выгоняют длинные бледно-зеленые побеги. На рассвете в парке отчаянно щелкают соловьи, зазывно кукуют кукушки. Воспитатели работают и днем и ночью, в мастерских, в общежитиях и на общих собраниях, толкуя с ребятами о заказах, о том, как важно выполнить их, помочь государству, и какой позор и бесчестие падут на коммуну, если заказы не будут выполнены в срок. Ходит по коммуне бродяжий бог — Балдоха, топчет ногами и заказы, и честь коммуны, и каждого коммунара. Нелегко добиться победы на избранном коммуной пути. Так думал Мелихов.

А Умнов переживал трудное время. Отношения с Королевым у него все обострялись. Другие ребята, работавшие в кузнице, видели, с какой симпатией относится дядя Павел к Умнову. Может быть, поэтому они держали сторону Королева. Один раз на работе Королев вздумал точить кинжал. Он точил его, посматривая на Калдыбу, и оба загадочно улыбались. Умнов насторожился. Отточив кинжал, размахивая им, Королев пошел плясать лезгинку. Умнов дважды отходил в сторону, остерегаясь кинжала, но Королев умудрился все же задеть ему кисть руки. Ребята в один голос заявили, что Королев сделал это нечаянно. Умнов старался не показать вида, как ему обидно и больно. Все его ненавидят, нет у него здесь друзей. После перевязки он уже на работу не выходил.

«Махнуть в Ташкент», однажды вслух подумал Умнов, греясь на солнечном припеке. Это горячее солнце ему показалось нездешним. Он закинул к нему лицо и улыбнулся. В кузнице кишки рвать, на кой чорт все это надо Сашке Умнову? Экая невидаль— кузнецом стать. Хапнуть побольше и завить горе веревочкой. Пусть Калдыбы и Королевы гнут спины, ежели это им нравится. Вот только денег надобно раздобыть. Проститься с дядей Павлом — и чорт их всех побери!

На станции Умнов выпил вина и в кузницу пришел пошатываясь. Его встретили смехом.

— Лизнул, щенок! — издевался Королев.

— Молчать, инвалид! — крикнул Умнов. — Я лучше тебя подкую лошадь. Ты, мразь, ты с зависти лопнешь. Сколько вас таких, сушеных, на фунт пойдет? Девку хотели отбить?

Умнов хохотал зло и пьяно.

Королев схватил обломок рессоры и бросился на Умнова. Но его предупредил дядя Павел. Кузнец решительно вытолкал Умнова из кузницы, сгреб его за воротник и потащил в общежитие.

— Чорт, окаянный ты парень, — ругался дядя Павел. — Где

ты нахлебался? Человека хочу из тебя сделать, главным мастером собирался Умнова поставить, а Умнов копейки не стоит.

После пропажи заготовок всем стало ясно, на какие деньги кутил Сашка. Вечером несколько воспитанников коммуны собралось у Мелихова.

— В три шеи таких. Выгнать из коммуны! — требовали они.

Дединова, который куда-то съездил и вернулся с пропавшими заготовками, ребята считали чуть ли не спасителем.

Мелихов знал дело лучше ребят, но ему нелегко было смягчить их гнев.

Спустя несколько дней мастерские все же остановились.

Временному их закрытию предшествовали отчаянные попытки дяди Павла и дяди Андрея восстановить дисциплину. Они находили своих молотобойцев и сапожников в лесу валяющимися на траве, греющимися на солнце, а то и сражающимися в карты. Осминкин облазил все костинские поля, выбирая подходящую для футбола площадку.

Даже Гуляев занимался в эти дни главным образом тем, что слушал в лесу трели и посвисты малиновок и дроздов, искусно разбираясь в многообразном птичьем гомоне. Все чаще и чаще Мелихов и Богословский при обходе спален обнаруживали пустые койки.

Воспитатели понимали — нужно дать ребятам отпуск. Это было уже в сущности решено. Но собрания еще не было, и в мастерских об этом не знали.

Не знал об этом и Королев.

Он работал молотом, голый по пояс, он исходил потом, изнывая от жары. В распахнутые настежь двери кузницы виднелось голубое небо, вползали запахи прелой земли.

Королев высоко взметнул молот и, не ударив, опустил его.

Работа приостановилась. Все поняли: Королев что-то задумал.

Не глядя на сурово нахмуренное лицо дяди Павла, Королев медленно повернулся спиной к наковальне и пошел к выходу. Не дойдя до дверей, он озорно оглянулся, выдернул свою рубаху, торчавшую из наваленной в кучу одежды, повязал ее, точно пояс, на голый живот и, напялив кепку, вышел из кузницы.

Свежий ветерок обтекал струйками грудь, горячие лучи солнца приятно грели плечи. Назад Королев не оглядывался, но чувствовал — все смотрят на него.

Он заорал блатные частушки. Кто-то загоготал в спину, кто-то крикнул, кажется, Калдыба:

— Эх, Король, молодец!

Его догонял Сергей Петрович. Ребята около кузницы выжидательно притихли. Королев шел, попрежнему распевая, не

оглядываясь, ничего не замечая.

Сергей Петрович тронул его за плечо. Королев лихо повернулся на каблуках. Сергей Петрович молчал.

— Четыре года сидел: весны не видел, дядя Сережа! Не могу! — неожиданно для себя заорал Королев.

Он вдруг стал бессвязно оправдываться, доказывать, нелепо размахивая руками. Сергей Петрович все молчал. Королев приостановился, передохнул, собрался еще что-то сказать и тоже замолчал.

Ребята около кузницы с любопытством ждали, чем все это кончится.

— Иди, — сказал спокойно Сергей Петрович, — на работу можешь не ходить.

— Выгонишь? — с иронией спросил Королев.

— Нет, просто погуляй, отдохни немного! — И Сергей Петрович пошел к правлению коммуны.

А Королев стоял недоумевая. Богословский отошел уже далеко, и только тогда Королев опомнился. Он приложил ко рту руки трубой и крикнул:

— Врешь?

Сергей Петрович остановился, оглянулся и отрицательно помотал головой.

Вечером на собрании уже все узнали об отпуске.

— Федор Григорьевич! — горячо говорил Осминкин. — Надо немедленно оборудовать площадку для футбола, место я уже выбрал… Очень удобный участок, но только его надобно за отпуск почистить и подровнять.

— Собери спортсменов, — советовал Мелихов. — Кто хочет играть, тот должен и площадкой заняться. А как же иначе? Рабочих, что ли, для вас нанимать?

Он помог Осминкину собрать спортсменов. Это было не так легко. Все знали, что площадки нет, что ее надо оборудовать самим, значит, кто хочет играть в футбол — должен работать.

Нехотя, лениво сошлись любители футбола в столовой, где Осминкин назначил собрание.

Осминкин перечислил все подходящие участки. Его нетерпеливо оборвали: «Переходи к делу!» Тогда Осминкин сказал, какой участок по его мнению является лучшим. Место подходящее, надо только слегка подровнять его, врыть ворота, натянуть сетку, купить мяч и камеры и, если можно, трусы и майки. Играть можно и в ботинках, даже босиком люди играют, но со временем, когда позволят средства коммуны, можно будет купить и буцы. Он попрекнул Леху Гуляева:

— Эх вы! Сапожники! Самого необходимого делать не

выучились! Что бы вот вам буцы делать?

Мелихов пришел, когда принимали резолюцию, и внимательно выслушал все ее пункты.

— Вот, Федор Григорьевич, помогите! Насчет мяча… — передал ему Виктор листок с протоколом. — А площадку мы сами…

Мелихов вернулся к себе и достал из стола блокнот.

«Мяч» — записал он. Потом: «Камеры», сбоку поставил цифру 2. Потом, махнув рукой, приписал: «Буцы 10 пар». «Пусть пока десять, а там видно будет, — подумал он. — Выдадим самым лучшим игрокам».

В тот же день, вечером, когда Мелихов уже собрался ложиться спать, к нему зашел Осминкин. У Осминкина было расстроенное лицо:

— Не идет, Федор Григорьевич!

— Что не идет?

— Хаджи Мурат не идет в команду. Самый сильный игрок. Из него что-нибудь еще выйдет, а остальные — шпана… — Виктор огорченно махнул рукой.

— Я его насильно загонять не могу. Попробуй, еще поговори, постарайся убедить.

— Да разве таких убедишь! Привыкли на дармовщинку — в чужой карман! Ему лень на поле покопаться. А летом на готовое от них отбоя не будет. Я один, что ли, поле буду чистить? Это не дело, Федор Григорьевич!

— Не дело! — согласился Мелихов. — Надо поговорить, — повторил он.

— Да разве я не говорил? Всем говорил. Не слушают.

— А ты еще раз поговори. Я вот раз по двадцать в день одно и то же разъясняю. Ничего не поделаешь, приходится. Думаешь, большое удовольствие одно и то же долбить? А ведь долблю, иному месяц подряд в голову вдалбливаю. И, знаешь, в конце концов помогает.

Осминкин покраснел. Он вспомнил, сколько раз говорил ему Федор Григорьевич о всяких его скверных привычках и как сам он слушал в пол-уха, чтобы сейчас же забыть. А теперь вот он, Виктор, жалуется ему на «своих», на поразительную их несознательность.

— Поговорю еще, Федор Григорьевич, — пообещал он, торопливо выходя из комнаты.

Мелихов посмотрел ему вслед, улыбаясь, думая: «Этот парень крепко корень пустил!»

Выполненную часть срочных заказов решено было

немедленно сдать заказчикам.

Мелихов встал рано. Из кухни к безоблачному небу только что поднялся первый сизый дымок. Нужно было поторопить с упаковкой кроватей, выполненных мастерской коммуны, чтобы не опоздать к утреннему поезду. Сдача заказа была поручена Накатникову и Румянцеву.

Мелихов посмотрел на небо, на Костино с его ветхими избами, на ярко зеленеющие поля… Что такое? На участке, намеченном Осминкиным под футбольную площадку, копошились какие-то люди с мотыгами, граблями, лопатами. Их было человек двадцать. Доносились их звонкие голоса.

«Коммунары, — удивился Мелихов, — но ведь еще не было даже звонка!»

Он поспешно прошел к площадке. Собранные в кучку пустые консервные банки блестели на утреннем солнце.

— После завтрака кончим! — кричал кому-то Осминкин.

— После завтрака тоже работа будет… Тут на весь день хватит делов.

Осминкин катил тачку, нагруженную черной землей. Он давно приметил Федора Григорьевича. На раскрасневшемся лице Осминкина сияла улыбка гордости и торжества.

— Как же ты их уговорил? Да еще ни свет, ни заря! Как же это они тебя послушались? — вполголоса спросил Мелихов.

Осминкин опустил тачку.

— Решили мытищинских вызвать на состязание!.. Стыдно гостей-то будет принимать на плохом поле, — сказал он тоже вполголоса и хитро подмигнул Федору Григорьевичу.

Упаковка кроватей была окончена. После завтрака Накатников и Румянцев тронулись к станции, сопровождаемые приятелями. Кровати сдали в багаж.

— Счастливо оставаться, работнички! — кричал Накатников в открытое окно двинувшегося поезда оставшимся на платформе товарищам. — Передадим поклон Москве!

— Не подкачайте!

— Будьте уверены!

Сидя в вагоне, приятели покуривали, слушая нарастающий с каждой минутой гул колес. В открытое окно вагона стремительно влетал теплый ветер, и зеленые пространства, плавно кружась, плыли навстречу им.

Иногда, посмеиваясь, они говорили:

— А вдруг не примут?

— Что ты! Работа отличная.

В Москве они погрузили багаж на извозчика.

— Куда, Накатников? — хитро прищурив глаз, спросил

Румянцев. — Тебе в Москве каждая подворотня знакома.

Накатников засмеялся и, хлопнув легонько ладонью по спине извозчика, крикнул:

— К Варварским. В мебельный склад ГУМа. Шевели, папаша!

Заведующий мебельным складом ГУМа отвел болшевцев в полуподвальное помещение.

— Вот здесь, — сказал он, — разложите ваши кровати, а я через полчаса зайду.

Ребята переглянулись.

— Стоит ли беспокоиться… Работа первый сорт!

У заведующего была добродушная лысина и близорукие глаза.

— Нельзя. Каждая работа должна быть проверена.

— Ладно, — согласились болшевцы.

В полуподвале было темно и душно. Ребятам хотелось скорей сдать кровати, чтобы до отъезда побродить часок по Москве.

Они сняли чехол с первой кровати и начали натягивать на раму брезент. Но тут произошел неожиданный казус. Петли брезента никак не хотели зацепиться за крючки. Деревянная рама поскрипывала от усилий.

— Вот чорт! — выругался Накатников, вытирая выступивший на лбу пот.

— Отставим пока — возьмем другую, — посоветовал Румянцев.

Но и с другой дело не ладилось.

Через полчаса к ним спустился заведующий, молча посмотрел на их работу и ушел.

— Р-работнички! — почти закричал Накатников, ударив ногой по кровати. — За такую работу бить надо!

Румянцев высасывал кровь из ободранного пальца, сплевывая на цементный пол:

— Приеду — душу из слесарей вышибу. Срамиться нас послали сюда!

Снова, кряхтя от натуги, они натягивали брезент. На смену злости пришло отчаяние. Отдыхая, они жадно курили, не глядя друг на друга.

Через два часа, когда снова пришел заведующий, они успели разложить только восемь кроватей.

— Ну ладно, — сказал он. — Можете итти.

Вернулись они в коммуну поздно, голодные и злые. На кухне, проглатывая ужин, они рассказали обо всем собравшимся ребятам.

— Из-за вас, чертей, кровь проливали, — закончил Накатников и, бросив на стол кусок хлеба, показал им свои

ладони.

— Взгреть кого следует за это нужно, — согласились ребята.

Они рассказали Накатникову и Румянцеву происшествие, обнаружившееся в их отсутствие. Кто-то обокрал инструктора столярной — дядю Леню — пожилого, добродушного человека, недавно прибывшего в коммуну. У него украли охотничье ружье и одеяло.

Это была уже вторая кража. Раньше таких случаев не было в коммуне: может быть, помогал тот блатной закон, по которому кража у «своих» считалась тягчайшим, непрощаемым преступлением. Были случаи воровства в городе во время отпусков, были даже специальные тайные поездки в Москву на «дело», но краж в коммуне, если не считать случая с сахаром, не было ни одной. А теперь этот установившийся «закон» опрокидывался. Что если эти две кражи только сигнал, только начало? Что если завтра воровать начнут все — растащат коммуну по клочкам? Значит, уже стало проступать отношение к коммуне, как к чужому, постылому делу.

О новой краже Мелихов оповестил ребят в столовой.

— Это несчастье — другого слова не подыскать, — говорил он. — Кто же вы есть после этого? Тогда заготовки, теперь вот — квартира… Что ж, значит, нельзя быть по отношению к вам доверчивым? Только сила и страх могут вас удерживать?

Как нарочно, выдался славный солнечный денек, с таким веселым, ярким солнцем, с таким шалым звоном жаворонков.

— Не выходя из этой комнаты, нам нужно найти вора… Вы это понимаете сами. Так коммуна жить не может. Вор не боится тюрьмы зимой, он боится ее весной и летом. Но разве коммуна — это тюрьма? Разве не о ней уже идут рассказы, разве не о ней начинают мечтать молодые воры в Таганской, в Бутырках, в лагерях? Какая же безмозглая тупица кражей какого-то ружьишка, дешевой тряпки добивается того, чтобы создаваемое с таким трудом — вдруг рухнуло?

Хаджи Мурат, вспомнив, что заготовки украл Умнов, наивно спросил:

— Ты, Сашка, хочешь, чтобы коммуны не было?

Умнов выругался.

Сразу же закричало несколько человек, не обращаясь ни к кому, но зная, что вор здесь, между ними.

— Возвратить хочет в тюрьму, паразит!

— Коммуну закроют из-за одного подлеца!

Мелихов поднялся и оборвал галдеж.

— Кто украл — подыми руку, — властно приказал он.

Ни одна рука не шевельнулась.

— Кто не воровал — подыми руку.

Все подняли руки.

— Так… Значит, украли и признаваться не хотим, — горько сказал Мелихов. — Я больше в коммуне работать не буду. Живите, как знаете, мне стыдно за вас, — бросил он резко.

Никто не проронил ни звука.

Мелихов медленно прошел по столовой и в мучительной неуверенности, что все получится, как надо, вышел на улицу.

Накатников подошел к Умнову и тихо, с угрозой спросил его:

— Твоя работа?

Умнов скрипнул зубами:

— Отстань…

Накатников сразу поверил ему и пошел к Почиталову.

— Ты? — он потряс Почиталова за плечо.

— Нет, ребята, — скороговоркой заверил Почиталов. — В прошлый раз был грех, а теперь — вот, ей-богу, нет.

— Ты? — спросил Накатников Дединова.

— Покажите мне вора, и я его сейчас же, при вас… убью.

День прошел тревожно. Вор не объявился. Следующим утром на столе стыл чай. Нетронутыми лежали ломти свежего хлеба. Ванька Королев в упор смотрел на Дединова: что-то возбуждавшее его подозрительность было в поведении этого парня.

— А что если я тебе сейчас десятка два зубов вышибу? — спросил Королев.

Закуривавший папироску Дединов бросил спичку и криво усмехнулся:

— Ты, Королев, дурак. Совсем слягавился…

Около Дединова сразу очутились Накатников, Гуляев, Румянцев.

Дединов отшатнулся. Он воровато, как попавшийся школьник, спрятал папиросу в рукав, посматривая на всех быстрыми испуганными глазами. И эта поза его была красноречивее слов.

— Ах ты, мразь, — взревел Королев, и его кулак угрожающе поднялся над головой Дединова. Но ударить ему не пришлось. Дединов метнулся в сторону, перескочил через скамейку и, толкнув раму, распахнул окно.

Первым, далеко за коммуной, настиг Дединова Королев. Он рванул его за рукав гимнастерки так, что швы треснули. Гуляев, бежавший почти рядом с Королевым, увидел заплаканное посиневшее от ужаса лицо Дединова.

— Стой! — закричал он, разом придя в себя. — Стой, не бей! Не трогай! Не тронь его!

Дединов лежал на сырой и липкой земле, прикрыв глаза,

содрогаясь всем тщедушным телом, и тоненько скулил. Он знал, что такое блатные счеты.

Королев стоял, тяжело дыша, его глаза искали предмет, которым можно ударить.

— Хуже, чем он, наделаем, — угрюмо предостерег Гуляев.

Королев отодвинулся на шаг.

— Что ж с ним делать? — проговорил он.

— Ишь, гад, — подбежал запыхавшийся Накатников.

— Сирота казанская.

— Ну, молодой человек, нам некогда валандаться. Говори, где спрятал ружье, — сказал Гуляев. — Да раздевайся и разувайся. Коммуна тебя одела.

Дединов сказал:

— Под соломой в сарае…

Дрожащими руками он стал снимать гимнастерку, брюки, ботинки.

— Если ты еще хоть раз попадешься мне на глаза — живым не будешь. А теперь — марш!

Дединов пошел к видневшимся недалеко серым избам деревни Перловка. Ребята молча двинулись назад.

— Что вы с ним сделали? — спросил тревожно Мелихов, встретив их возле коммуны.

— Догнали, раздели и выгнали из коммуны, — лаконически сказал Накатников, потрясая одеждой.

Того, что случилось на пятый день «каникул», не предвидели ни Мелихов, ни Богословский. Был уже вечер, нежаркие лучи солнца падали на лужайку. Мелихов сидел на крыльце, смотрел на ребят, играющих на оборудованной их трудами площадке в футбол. Мяч взлетал к небесам, падал на землю. Тут же на крыльце с газетой в руках сидел Богословский. Игра прекратилась. К крыльцу шли Осминкин, Умнов, Королев, Гуляев.

— У нас дельце есть, Федор Григорьевич, — сказал смущенно Осминкин, перекладывая мяч из одной руки в другую.

— Какое дельце?

Богословский опустил газету.

— Видишь, какое дело… Заказы эти… на резаки… Они на срок ведь предоставлены, — начал неопределенно Умнов.

— Надо бы мастерские открыть, Федор Григорьевич! Погуляли, довольно. Всем ребятам желательно, — сказал Королев несмело.

При других обстоятельствах Мелихов мог бы подумать, что он ослышался или что коммунары шутят. Но ребята смущенно ожидали его ответа.

Ни Умнов, ни Гуляев не подозревали, как неожиданна была для воспитателей их простая просьба.

— Вот это я понимаю — коммунары! — весело воскликнул Мелихов. — Сергей Петрович, слышите? Мы знали, что вы не забываете о заказах. Эх, ребята, ребята! В сущности хороший вы народ!..

Через неделю коммуна праздновала день Первого мая. Подготовку к празднику начали за несколько дней.

— Вся республика празднует, весь рабочий класс, и мы будем, — настойчиво твердил Дима Смирнов, словно хотел кого-то в чем-то переубедить. Но все были согласны с Димой. Для многих это был первый революционный праздник, в котором они могли сами принять участие. Может быть, поэтому с такой страстностью обсуждали ребята, в каком часу надо встать в день Первого мая, где должна пройти колонна, где будет митинг, кто выступит докладчиком на собрании.

Доклад поручили делать Накатникову. Он не спал несколько ночей. Если бы не помог Сергей Петрович, он, может быть, так и не осилил бы этого доклада. Да и перед самым выступлением он несколько раз подумывал — не лучше ли все же отказаться. Ведь если Накатников провалится, стыд падет на всю коммуну. Однако и отказаться — не меньший стыд!..

Накатников сделал доклад. Он был прост и понятен. Право же, лучшего не сделал бы и какой-либо привычный докладчик! А ведь этот доклад делал свой парень. Вышло у Накатникова, может выйти и у других.

Накатникову шумно и долго аплодировали. Ребята гордились им.

Потом Мелихов прочел два письма.

Одно от Прохорова. Он просился обратно в коммуну. Обещал жить честно, и еще многое обещал в письме Прохоров. Он лежал в больнице: его порезали блатные друзья во время карточной игры…

Второе письмо прислал Китя из Бутырской тюрьмы. На воле погулял одну ночь, а под утро сел за кражу.

«Братцы, — на помятом листке бумаги карандашом нацарапал он, — кончилась, видно, моя жизнь. Хотел я из коммуны податься на Украину, да не подумал крепко — зачем мне итти туда. Спутал меня тогда Балдоха. И вышла мне теперь через него линия — в Соловки. Досиживаю я здесь последние дни, по ночам не сплю, все думаю: близко от меня хлопцы, да не видать мне вас. И такая тоска бывает, что сними ремень да на шею накинь.

Шлю я вам всем свой поклон и свой наказ: крепко надо любить коммуну, без коммуны все вы пропадете, вроде меня. Это я теперь понял. Простите меня и не поминайте лихом. Китя, ваш бывший коммунар».

«Брелок»

Команда мытищинских рабочих хорошо сыгралась, и со стороны болшевцев в сущности было необоснованной самоуверенностью вызывать ее на состязание без должной подготовки. Но ребятам не терпелось — вызвали.

Мытищинцы приняли вызов. Представители команды болшевцев вели себя так развязно и самонадеянно, что можно было предполагать в их команде серьезного противника. Мытищинцы только поставили условием, что играть будут не в коммуне, а на мытищинском поле.

Болшевцы согласились. Только жалко было, что друзья и товарищи по коммуне не смогут быть свидетелями их побед.

Проводы были шумные, никто не сомневался в успехе.

И встреча произошла. Лучше бы она никогда не назначалась! Болшевцы были разбиты вдребезги.

Возвращались поздно вечером. Шли молча, злые, ненавидящие друг друга. Осминкин надеялся, что коммуна будет спать и только завтра узнает об их позоре. Он был, пожалуй, единственный, кто с самого начала допускал возможность не только одних побед. Однако того, что получилось, не предполагал и он. Подумать только: 4–0!

Он шел, спотыкаясь о выбоины.

— Инвалиды! — говорил он вслух. — Ассенизационный обоз, а не команда! Утром глаза показать будет нельзя…

Никто не отвечал ему.

Надежды не оправдались и еще раз. В коммуне не спали. Играли на гармошке, Чума плясал. И все затихло, как только подошли футболисты. Весть об их поражении перегнала их. Они молча, ожидая вопросов, остановились перед крыльцом.

Но никто ни о чем не спросил.

— Та-ак! — оглядел их Накатников. — Хороши герои, нечего сказать! Пойдите умойтесь, а то от вас за версту потом несет.

— Что же тут смешного? — обиделся Виктор, но его перебили издевательским смешком:

— Мазила, молчи уж!

Осминкин презрительно вздернул плечами и пошел в спальню. Кто-то вслед свистнул, грохнул дружный хохот:

— Чемпионы!

«Расселись на крылечке, — с горечью думал Осминкин. — Попробовали бы сами! А ну их к чорту! Разве это люди! Разве с такими можно жить»?

Он ясно ощутил желание уйти подальше от этих галдящих,

грубых, несправедливых людей. «Надо уходить из коммуны… Зачем мучить себя? Какие тут футболисты? Разве они могут болеть за игру?» Он сорвал рубаху, долго под краном мыл шею и крепко тер ее полотенцем. Потом лег в постель и отвернулся к стене, поклявшись не шевелиться и даже не повернуть головы, если кто-либо опять начнет издеваться над ним.

В спальню вошли все сразу, шумели, смеялись. С Осминкиным никто не заговаривал, точно его не было, и это задело его еще сильней. Наконец все угомонились и улеглись. Виктор лег на спину и расправил затекшую ногу.

Кто-то вошел из коридора и осторожно стал пробираться к его постели.

— Вить, а Вить! Спишь? — окликнул знакомый голос. Виктор узнал Андреева.

— Сплю! — огрызнулся Виктор.

— Я поговорить пришел.

— О чем?

— Да насчет нашей команды.

— А ну тебя, вместе с твоей командой! Играйте на здоровье! Я, милый мой, в оркестре теперь играть буду: по крайней мере без хлопот, и сам за себя отвечаешь.

— Не скажи. И там найдутся хлопоты! Как знаешь, конечно… А я так не брошу футбол…

Осминкин притворно зевнул:

— Играй, что же… Только — не серьезное дело… — Он снова зевнул. — Какой из урки может быть футболист!..

На соседней койке раздался энергичный отрывистый мат. Кто-то зашевелился там.

— Эх ты, чемпион! Командир! Морду набили — и готов. Хазават объявить надо! Тренироваться надо. Не будешь играть — я на твое место пойду!

Это ругался и кричал Хаджи Мурат. Ловкий, сухой, нервный — он мог так говорить, в нем обнаруживался незаурядный футболист. Виктор от неожиданности ответил не сразу.

— Поздно надумал, — проворчал он наконец. — Всю весну тебя упрашивали итти в команду…

— Тогда не хотел, а теперь пойду. С завтрашнего дня пойду. Мы им еще покажем! Что ж, что мы были урками? Так они нас всегда и будут бить?

— Идешь? Без дураков? — присел вдруг на постели возбужденный Осминкин.

В эту ночь не спалось и недавно пришедшему в коммуну новому воспитателю Александру Михайловичу Николаеву. Он решил еще раз пройти по спальням и, подойдя к дверям,

остановился в удивлении: в спальне спорили, горячились, похоже было, будто среди ночи в темноте принимали какую-то резолюцию.

— Поддерживать всемерно наших футболистов, чтобы не было больше сраму. И также поддерживать все другие виды спорта! — кричал в темноте Накатников.

«И этот здесь? Ведь он же из другой спальни!» удивился Николаев.

— Я вот хочу сказать о коньках, — ввязался чей-то голос. — Хотя до зимы еще далеко, а я считаю…

Николаев кашлянул, вошел в спальню:

— Что у вас, дня не будет? Что это за новая мода — по ночам собираться?

Из темноты раздался веселый голос Осминкина:

— Да мы, Александр Михайлович, тут насчет спорта… Мытищинские нас побили. Так как нам теперь? Конечно, можно это и завтра,

На другой день в коммуну приехал товарищ Ягода. Почему он не приехал раньше или не отложил свой приезд еще на некоторый срок! Теперь ему расскажут о поражении коммунских футболистов, об их позоре! Осминкину казалось, что все только об этом и думают и нет ничего другого в коммуне, что могло бы интересовать товарища Ягоду.

Но совсем другое событие выдвинулось неожиданно на первый план и отвлекло внимание от мытищинского разгрома.

Пропажа лошади.

Кооператив, снабжавший коммуну продуктами, находился почти в двух километрах от нее, у самой станции. Вначале воспитанникам приходилось по очереди таскать на себе хлеб, мясо, овощи. Ребятам очень не нравилась эта работа. Особенно возмущался Гуляев: он считал ее унизительной и выполнял ее только потому, что ее делали все, а ссориться не хотелось.

— Лошадиная должность, — хмуро говорил он и нехотя взваливал на спину мешок. — Так и будем всю жизнь таскать на себе? Лошадь должны предоставить.

И хотя никто его не оспаривал, он раздраженно повторял, округляя глаза:

— Ломовые мы, что ли?

Тогда он — как, впрочем, и каждый — был искренно убежден, что раз чекисты собрали людей в Болшево, то должны обеспечить их всем: едой, жильем, одеждой и перевозочными средствами. А от воспитанников требуется только работать, не воровать, не пьянствовать, не играть в карты.

Поэтому ни он, ни другие болшевцы нисколько не удивились

появлению лошади, не поинтересовались даже, откуда ее привели. Лошадь была старая и смирная, серой масти, с широким черным ремнем по хребту, с большой шишкой на животе. Гуляева назначили главным конюхом. Дело было осенью прошлого года, когда он еще не работал в сапожной. Каждое утро Гуляев ездил на станцию за продуктами. Телега крякала, ныряя в колдобины и лужи, прыгала, наезжала на корни, опутавшие лесную дорогу. Лошаденка шла мелкой ревматической рысью и, как ни охлестывал Гуляев ее плешивые бока, не прибавляла бега.

— Леха, угробишь коня, — говорили коммунские кладовщики.

— Другой будет.

— А если не дадут?

— Казна богата. Дадут, — уверенно отвечал Гуляев. — Теперь мы ученые — плохого не возьмем. Но-о-о! Поворачивайся!

Он с размаху дергал вожжи, разрывая уздой бархатные губы лошади. Запрягая, пинками загонял ее в оглобли и вырезал в дороге толстый прут, всегда с одного и того же клена. Когда Гуляев приезжал со станции обратно, прут был весь измочален.

А лошаденка все сдавала и сдавала; плелась кое-как, шагом. Гуляев стал опаздывать с продуктами, ребята ругали его, а он вымещал все на лошади.

— Хоть бы издохла поскорей. Новая, какую ни дадут, все лучше.

Желание его исполнилось. Как-то весной, когда он давно уже был освобожден от обязанностей конюха, в один погожий вечер ребята повели лошадь пасти в лес. Нрава она была смирного — не впервой водили, понадеялись, не захватили веревки, пустили на полянке, а сами уселись в кружок, увлеклись разговорами и табачком. Спохватились, когда лошади и след простыл.

Огорченные, потные, запыхавшиеся, вернулись они в коммуну.

— Сбежала, проклятая! Гнались, гнались, да разве догонишь? Она, небось, о четырех ногах.

— Ну и отлично, — заключил не без злорадства Гуляев. — Теперь бы нам орловского рысака. Мы бы показали!

И спешно принялся вместе с кузнецом Умновым за ремонт расхлябанной телеги. Опять пришлось таскать хлеб, мясо и овощи на собственных спинах. Ремонт телеги был закончен. Давно высохла на ней зеленая масляная краска. А новая лошадь все не появлялась.

Болшевцы возмущались, несколько раз ходили к Мелихову. Теперь они уже понимали, что коммуна принадлежит им и они сами должны заботиться о том, чтобы она имела все нужное. Они

постоянно с гордостью говорили об этом на собраниях. И в то же время, когда дело доходило до какой-либо нужды, то уж, конечно, ОГПУ должно было удовлетворить ее немедленно и без каких бы то ни было с их стороны обязательств. Нет инструментов — пришлют! Лошадь сбежала — Погребинский выручит!

— Давай лошадь. Забыли, что ли? Канцелярия…

— А где я вам возьму лошадь? — удивлялся Мелихов. — Коннозаводства у меня нет.

— А у нас есть? — визгливо кричал Гуляев. — У нас есть коннозаводство? Не будем на себе таскать продукты. Хватит!

— Что ж, без обеда насидитесь. Готовить-то не из чего.

— Как же это так? — спрашивали удивленные ребята тоном пониже.

— А не знаю… Надо было лошадь беречь.

— Кляча ведь. Издыхать срок пришел. И не убежала она, а где-нибудь подохла. Без вины Леху тогда от нее отставили, — говорили сторонники Гуляева.

— А теперь вот и клячи нет…

Товарищ Ягода приехал после обеда. Большая темная машина, вспыхнув на повороте стеклами, мягко остановилась.

О его приезде мгновенно узнали все. Воспитанники высыпали на улицу.

Не было такого человека, которого бы не взволновал приезд Ягоды. Кто не знал его имени? Кто не произносил это имя в шалмане — с чувством страха, в тюрьме — с надеждой и здесь, в коммуне — с уважением, с боязнью оскандалиться, не оправдать доверия, с глубокой убежденностью, что не останется без оценки ни один шаг. И вот он ходит по коммуне — такой простой, спокойный, подтянутый, не спеша беседует с ребятами. Он останавливается перед новым домом, Гуляев слышит его вопрос:

— Давно ли закончили?

И видит, как он небольшой ладонью ощупывает стену. Движения у него уверенные, точные, и нагибается он с неожиданной легкостью.

— Место сырое, — говорит он. — Стены будут гнить. Фундамент надо было поднимать выше. — И подробно, ровным голосом рассказывает, как нужно предохранять стены от сырости.

«Инженер», думает Леха.

Потом Ягода идет в столярную, в кузницу. Легкий шопот вместе с пылью стелется по его следу.

— Тесно у вас в кузнице, — озабоченно говорит он. — Вентиляторы придется сменить. Здесь нужны сильные вентиляторы. Работа лучше пойдет.

Рука его лезет в ящик с углем:

— Уголь плохой, крошится. С примесями. Это вредно.

— Вонища от него, — подхватывает кузнец Умнов, — очень вредная для человека вонища.

— Не только для человека, — отвечает Ягода, повертываясь. Леха видит на мгновенье его глаза. — Сера и фосфор вредны и для металла. Металл от них делается хрупким.

Покашливая, краснея, неразборчиво мыча, Умнов пытается что-то рассказать об угле, мехах, кузнечном инвентаре. Ягода внимательно слушает, соглашается. Он все это знает. «Может быть, раньше кузнецом был», думает Леха.

В столярной Ягода беседует с ребятами о различных породах дерева, о плохом качестве болшевских табуреток.

— Дерево надо выдерживать. Сушилку следует завести. В печке сушить не годится — волокна теряют от этого прочность.

Слушает Леха внимательно, заходит посмотреть справа, потом слева. «Решительно все знает, — обеспокоенно думает он и мучительно завидует ребятам, разговаривающим с Ягодой. — Экие вахлаки — и стоять даже не могут как следует: переминаются, переваливаются. Вот он, Леха, сумел бы поговорить, только бы подвернулся случай».

Наконец пришли в сапожную мастерскую. И снова начинается степенная беседа о недостатках и достоинствах спиртовой подошвы, о фасонах.

Леха, работая локтями, наступая на чужие ноги, пробивается вперед. Вокруг шипят:

— Куда ты, малахольный! — Леха не обращает внимания.

И вот, наконец, он стоит перед Ягодой. Он вспотел, волосы взлохмачены. И голос не слушается:

— Тут бы надо…

Томительная, долгая пауза. Ягода ждет.

«Осрамился, — смятенно думает Леха и начинает переминаться с ноги на ногу. — Опоздал! По сапожному делу обо всем уже поговорили. Не повторять же сначала?.. А сказать нужно. Ждут».

И неожиданно для себя самого Леха говорит:

— Лошадку бы дать в коммуну!.. — как будто в сапожной об этом самом и следовало говорить.

— У вас же была лошадь?

Ягода на секунду наморщил лоб:

— Конечно, была, я сам подписывал приказ.

— Сбежала, — ответили ребята хором, — сбежала, гадюка. Теперь хлеб и мясо таскаем на спине.

— Как же это так она сбежала?

Пришлось, хочешь — не хочешь, рассказать всю историю подробно.

— Эх вы, хозяева, — усмехнулся член коллегии. — Завели одну животину, и та сбежала. Плохо.

— Что же делать теперь? Так и будем на спинах таскать?

— Это, конечно, глупо — таскать на спине, — задумчиво сказал Ягода. — Человеческую энергию нельзя так растрачивать: для перевозки тяжестей есть лошади и машины. А люди должны заниматься другими делами — более сложными и ответственными.

Он замолчал, думая о людях, которым приходится с азов учиться нормальной трудовой человеческой жизни. И они учатся этому неуклюже, с ушибами, точно дети, делающие первые шаги. Но они не дети. Нет, они совсем не дети. У каждого за спиной жизнь — извращенная и страшная, у каждого за плечами тяжелый, давящий груз — нелегко им, нелегко и с ними, неслыханно велика и сложна задача.

— Вот что, ребята, соберем мы с вами сегодня собрание и обо всем поговорим.

Гуляев примчался на собрание одним из первых. Он устроился как раз против графина с водой и приготовился ждать. Но ждать не пришлось: собрание началось ровно в семь.

В открытое окно струился вечерний свет; красный отблеск падал на белую гимнастерку Ягоды. Он встал. Все притихли. Пауза была долгой. Гуляев взглянул на сухие темные руки оратора, на его военную фигуру, и необычное, незнакомое волнение овладело им. Он чувствовал, что так же взволнованы и Накатников и Осминкин, сидящие с ним рядом, и те, кто сзади, и все, кто пришел сюда.

— Мир велик, — сказал Ягода. Голос его зазвучал тихо, но уверенно. — Мир велик, но пока еще только на одной шестой его части трудящиеся — рабочие и крестьяне — свергли власть буржуазии, уничтожили капиталистическое рабство и своими руками, ценой великих лишений, в суровой борьбе с врагами строят свободную, счастливую социалистическую страну, в которой не будет голодных, нищих, уродов. Не будет эксплоатации человека человеком. Не будет праздношатающихся и лодырей, не будет тюрем, воров… Да, не будет тюрем, не будет воров…

Сказано это было негромко, без резких движений, с какой-то хорошей безыскусственностью. В устах другого это прозвучало бы как обычное, всем известное, у него же приобретало всю ошеломляющую обаятельность новизны.

«Не будет тюрем! — с изумлением подумал Гуляев. — Может

ли это быть?»

Он впервые в жизни услыхал об этом. И было непостижимо, что услышал он это от человека, имя которого для Лехи до сих пор неразрывно соединялось с облавами, приговорами, страхом, тюрьмой.

— Вы — недавние воры, бандиты, жулики… Вы — те, кто вчера еще не помогал в этой стройке, а мешал ей. Советская власть вас выпустила из тюрем, дала вам свободу, дала вот эту коммуну, возможность начать новую жизнь. И вот, оказывается, — Ягода резко, возмущенно провел рукой, — вы хотите, чтоб эту новую жизнь вам принесли готовой? Вы потеряли лошадь и требуете другую. От кого? Кто вам обязан ее дать? За что? За какие заслуги? Или вы думаете, что рабочий класс, кровью завоевавший свое право строить жизнь без любителей чужого труда, рабочий класс, перед которым так велика ваша вина, — ваш слуга? Или выдумаете, что вы будете и здесь приживалами, тунеядцами, такими же, какими были до сих пор, а рабочий класс за вас построит вам все? На каких основаниях вы полагаете, что это должно быть так?

Гуляев почувствовал, будто все его тело вдруг обожгло чем-то. Это же он, Леха, потребовал другую лошадь! Какой же он дурак! Он боялся шевельнуться, чтобы не привлечь к себе внимания соседей.

— Ничего даром. Слышите? — спокойно сказал Ягода. — Вы хотите хорошо жить? Вы будете хорошо жить. У вас есть сейчас мастерские. Они — жалки: у вас будут мощные заводы. У вас сбежала теперь последняя захудалая кляча. У вас будут гаражи с собственными автомашинами. Вы ходите сейчас на станцию в кооператив? Вы на грузовиках будете возить товары в свой собственный. У вас будут школы, лечебницы, магазины — все. Сумейте создать. Сумейте добиться всего этого своим трудом. Придет время выпуска. Докажите, что вы перестали быть тунеядцами, докажите, что вы можете и хотите по-настоящему работать, что вы достойны быть в славных рядах трудящихся нашей страны.

И очень обычно, по-деловому, он заключил:

— Лошадь я вам достану. Есть у меня на примете, неплохая, хоть и не битюг. И недорого — сто двадцать рублей в рассрочку. Деньги — к январю.

Так никто и не заговорил с ним о встрече футболистов с мытищинцами, забыли об этом ребята. А может быть, не захотели огорчать Осминкина. Кто их знает? Так, вероятно, и уехал Ягода, не узнав об этом ничего.

Через два дня новая лошадь прибыла в коммуну. Звали ее

«Брелок».

Гуляев на правах прежнего конюха властной рукой взнуздал ее. Умнов молча следил за ним.

— Ребята, — сказал он, — Леха опять в конюхи лезет? Нельзя ему лошадь доверять!.. Угробит!

— Я? — сказал Гуляев высоким фальшивым голосом. — Я угроблю? Тунеядец!

Может быть, ребята и выбрали бы вновь Гуляева в конюхи, если бы не сказал он необдуманно этих слов. После речи Ягоды слово «тунеядец» приобрело для ребят особо обидный смысл.

— Не смеешь так выражаться, — сказал Осминкин. — Все знают: ты прежнюю лошадь чуть не до смерти забил.

Гуляев хотел сказать Осминкину, какой он есть «чемпион», напомнить, сколько раз самому Осминкину «забили» мытищинцы. Но ощущение вины перед единодушно настроенными против него ребятами лишило его всегдашней самоуверенности.

— Да лопни мои глаза! Провалиться на этом месте! — поклялся он, неизвестно в чем, неистово и неубедительно.

— Конюха надобно постоянного, — примирительно предложил Накатников. — Лехе все равно некогда, он ведь работает. Конюха надобно, чтобы он смотрел и смотрел, а то ведь мало ли что. Отвернешься — не доглядишь. Шутка сказать! Не что-нибудь — лошадь.

Решили посоветоваться и выделить постоянного конюха. Гуляев не протестовал. И, наверное, поэтому никто не стал спорить, когда он взял коня под уздцы и повел купать на речку. Болшевцы гурьбой шли за ним, наблюдая за каждым его движением.

На реке они предварительно исследовали речное дно, нет ли ям и камней. «Брелок», фыркая, осторожно вошел в Клязьму. Мыли его все по очереди, с великим усердием, и он вышел из воды глянцевый. На ночь временно его поставили в деревянный сарайчик, где стояли десятичные весы, навалили в угол травы и хлебных корок. Ночью Гуляев вдруг вспомнил, что весы в сарайчике ничем не прикрыты. «Брелок» может попасть в них ногой и тогда… Он быстро оделся и вышел. Туман низко стлался по земле. «Брелок» глухо стучал копытами о дощатый настил. Гуляев отодвинул весы, заложил их досками, осторожно погладил коня и невольно задержал руку на его теплой шее. Горячая жила билась под ладонью. Гуляев вышел из сарайчика, постоял в тумане под распухшими звездами и снова вернулся к лошади.

— Без тюрем, брат, будем жить, — сказал он.

И опять положил руку на теплую шею.

На следующий день мерина повели в кузницу ковать.

«Брелок» нервничал. Ребята приписывали это дурному глазу Умнова, кричали:

— Не храбрись, Сашка, заходи сбоку. А то ударит. Глаз у тебя тяжелый.

Умнов хитро прищурился:

— Авось, не ударит.

Со времени приезда Ягоды и посещения им кузницы Умнов стал вести себя как-то совсем необыкновенно: не обращал внимания на колкости со стороны Королева, не замечал их. Корчил многозначительные мины и носил голову так, точно это был стакан воды, который легко расплескать. И если бы кто-нибудь сказал ему теперь, что вот совсем недавно, весной, он, Умнов, собирался уехать в Ташкент, — Умнов посмотрел бы на него непонимающими глазами, отрывисто засмеялся бы и сказал хриплым, продымленным, как у заправского кузнеца, басом:

— Липа.

Спустя две недели состоялась новая встреча болшевцев с мытищинцами. Это была встреча-реванш. Играли на площадке коммуны. Сошлись команды, и вся коммуна, трепеща, замирая, следила за ходом игры. Неистовым ревом был встречен конечный итог: 3–2 в пользу коммунской команды. Это не 0–4! Это уже, чорт побери, кое-что!..

Измученный Осминкин покачивался от утомления и счастья. Ну что бы стоило товарищу Ягоде теперь приехать в коммуну?

Сват

Леха Гуляев крепко привязался к Тане — племяннице Разоренова. Когда пришла весна, он часто встречался с ней на Клязьме, ходил гулять в лес и на шоссе, щеголяя перед Таней городскими словами и обычаем ходить под ручку, соединив ладони.

Голубятню в последнее время Гуляев совсем забросил; за голубями ухаживал Чинарик; примерно, раз в неделю он «докладывал» Гуляеву, какие голуби пропали и какие прилетели от чужих хозяев.

— Обмени, — коротко приказывал Гуляев и сейчас же забывал о голубях.

Летом Гуляев узнал, что Таня беременна. Он узнал из третьих уст — от Насти, дочери Василия Разоренова, двоюродной сестры Тани. Таня стыдилась сама сказать ему об этом. Пораженный известием, Гуляев побежал к ней. Таня подтвердила и заплакала. Уже вся деревня знала о позоре. Мать грозилась выгнать Таню из дома, а дядя Разоренов, завидев племянницу, отвертывался от

нее.

Новость ошеломила Гуляева; он еще надеялся, что, может быть, тут какая-нибудь ошибка. Пробормотав что-то невнятное и не глядя в набухшие, покрасневшие от слез глаза Тани, он торопливо распрощался с ней и убежал в коммуну. Но и там встретили его разговорами о таниной беременности.

— Попал, дорогой… — добродушно протянул Осминкин. — Придется жениться. Не отвертишься.

— Мне? — возмутился Леха.

— А то кому же? Мне, что ли?

Он не выходил из коммуны, чтобы не встретиться случайно с Таней, и злился, когда ему было скучно без нее. Женитьба представлялась ему страшным и бесповоротным событием, после которого он навсегда утратит возможность распоряжаться своей жизнью по собственной воле. Не навсегда же все-таки он попал в эту коммуну.

Приятели, конечно, поддержат его отказ от женитьбы. Гуляев был в этом уверен даже после разговора с Осминкиным. И ошибся: большинство не сочувствовало ему, наоборот, говорило, что он осрамил коммуну и ни одна девушка никогда больше не придет «на огонек». А Сергей Петрович, встречаясь с Гуляевым, поглядывал на него с укором. По ночам парень плохо спал, все думал, жалел самого себя, а вспомнив Таню, чувствовал, что и ей нелегко.

Так прошло несколько дней: с одной стороны, вся коммуна, с другой — Леха. И с ним какой-нибудь пяток непримиримых женоненавистников. Даже голуби не радовали Гуляева, хотя они все лучше кувыркались в теплом летнем небе, у самых облаков.

…Ночью открылась дверь. Узкая полоска света от фонаря легла вдоль койки. Вошли Сергей Петрович, Осминкин и еще два парня.

— Спишь, Леха? — спросил Сергей Петрович, усаживаясь на койку. — Заварил ты кашу, Леха, а мы, выходит, расхлебывай.

Гуляев молчал.

— Что же теперь делать, Леха?

Опять молчание. И снова голос Сергея Петровича:

— А дядя у нее настоящий старый самодур. Он сегодня хотел вожжами ее избить… Она в погреб спряталась.

— Я ему кишки выпущу, — хрипло сказал Гуляев, приподнимаясь на локте.

— Придумал. Хорош активист!.. Еще больше коммуну хочешь осрамить?

— Что же, жениться? — спросил сам себя Леха.

Никто не ответил ему. Устало опустившись на подушку, он

покорно произнес:

— Ладно, женюсь. Отстаньте вы от меня.

И почувствовал, что самому сделалось много легче, точно прояснилось все от этого решения. Гуляев решил завтра же сказать об этом Тане; приятно было предугадывать бурную ее радость и думать о собственном благородстве и великодушии. Он не подумал только о том, что кроме него, Лехи, и Тани существует еще Костино, а в Костине — Василий Петрович Разоренов и его многочисленная родня.

Костинцы в последние месяцы уже не боялись так коммуны, как осенью и зимой. Многие уже видели, что дело-то, выходит, вовсе не худое, и, может быть, не будь Разоренова, предпочли бы из противников коммуны перейти открыто в число ее друзей. Пока же они предпочитали выжидать.

Мишаха Грызлов частенько вспоминал знаменитую драку костинцев с воспитанниками коммуны и почесывал затылок.

Впутался тогда он в сущности случайно. Своих били, как не вступиться? Но теперь это казалось глупостью, такой, что даже нельзя понять, как она могла произойти. В этой удивительной коммуне можно отлично заработать, но Мишаха боялся, что ему откажут.

— Пойду к Сергею Петровичу, поговорю, — решил, наконец, он. — Авось, люди не осудят.

Как решил, так и сделал. Богословский встретил его подозрительно:

— Жаловаться пришел, Грызлов?

— Н-нет, в гости.

Мишаха переминался у двери с ноги на ногу.

— За что коммунаров травите? — спросил Сергей Петрович. — Что ж стоишь, проходи, садись, — прибавил он.

— Да все Василий Петрович настраивал, — сказал стыдливо Мишаха и испугался.

— Ты сам дубиной дрался. Ведь я видел.

— Дубиной? Скажи — грех ведь какой!.. Ишь, сердце-то что делает с человеком. А ведь я от роду смирный.

— Мириться, что ли, пришел?

— Виноват я перед коммуной, — смущенно сказал Мишаха. — Виноват, верно. Тычком ей на дороге стал.

— Плоха для тебя коммуна?

— Хороша.

— Тогда зачем тычком стоишь?

Мишаха перекидывал фуражку из одной руки в другую, крякал, вытирал потное лицо рукавом.

— Лошадку я у вас подковал. Ковка важно держится.

Работенку дали бы, — вздохнул Мишаха.

— Ладно… Это можно, — усмехнулся Сергей Петрович. — Отвози бут с карьера.

Дома радостное настроение Грызлова испортила Карасиха.

— Танька Разоренова загорбатела, — захлебываясь, сообщила она. — От ворюги Гуляева Лешки!

— Ишь ты! — в раздумье промямлил Мишаха, а про себя тревожно подумал: «С работой, гляди, не вышло бы какой заминки… Небось, все мужики на дыбы встанут. Вот уж нашла, дура, время беременеть!»

— В коммуне об этом с утра до ночи колготня. Думают, через прение из бабы опять девка выйдет, — Карасиха лукаво подмигнула.

— В коммуне знают, что делают, — неопределенно заметил Мишаха.

— Знают, а Гуляев не женится. Девке-то вовсе, выходит, пропадать.

— Женится, — уверенно сказал Мишаха.

— А хоть он бы и захотел, нетто такому отдадут девку? Уж этого Василий Петрович не дозволит.

«Эх, нехорошо, очень нехорошо и не ко времени», опять подумал Мишаха Грызлов с огорчением.

Так и не приступил он тогда к возке бута. Решил подождать.

Мать Тани держалась неопределенно, но, повидимому, в конце концов была от свадьбы не прочь. И то сказать — девка с прибылью. Кому другому такая-то нужна?

Когда слухи о женитьбе Гуляева приняли настойчивый характер, Василий Петрович неожиданно пришел к вдове. Обычно, как самый старший и зажиточный родственник, он перешагивал порог ее избы с видом хозяйским, властным. Советы его по части домашнего обихода имели форму приказаний, и вдова никогда не смела их ослушиваться.

На этот раз Василий Петрович держался, точно проситель. Он стоял в дверях, низко понурив голову, сжимая скомканный картуз подмышкой, к столу прошел только после настойчивого приглашения.

— Ну вот, — говорил он, царапая ногтем клеенку, — непокорства ищем, безбожья ищем, а оно под боком. Враг-то в семье завелся.

Вдова, зная, куда клонит Василий Петрович, виновато молчала.

— Совет да любовь, — продолжал тот. — Видно, я и братом твоему покойнику больше не прихожусь. Вся деревня в набат бьет, а меня и спрашивать не надо. Ну что ж, стар стал, дурак стал.

— Да не решили еще, — робко сказала вдова. — Все думаем. Без твоих советов никак не обойдемся. Ты не серчай, Василий Петрович.

Разоренов горько усмехнулся:

— Какие там советы. В углу постоим. Может, на свадьбе кусок со стола бросят.

Таня сидела бледная, прямая. Она сильно изменилась за эти дни. Прежнюю беспечность сменила в ней женская рассудительность.

— Алеша теперь уж не тот, подравнялся, — робко сказала она. — Теперь он мастерство узнал…

Разоренов строго вскинул на нее брови:

— Вору, милая, оттяпай руки, так он глазами украдет.

— К чему такие слова? Он у вас, Василий Петрович, ничего не крал.

— Эх, некому тебя, дуру, окоротить, — с сердцем сказал Дядя.

Вдова заплакала.

— Молчи, — кричала она дочери, — я не одна тебе хозяйка. Родня помогала выхаживать.

Василий Петрович, не торопясь, надевал шапку.

— Дите нагуляла — не тужи. Кто глуп не бывал — честь не забывал? Все покроем. Наш будет, разореновский. А родниться с вором — ни-ни, — веско закончил дядя.

Свадьба расстраивалась. Вдова не позволяла Лехе приходить к невесте. Коммунские ребята посмеивались:

— Что, брат, видно, жениться — не сапоги сшить?

Костинские парни при встрече издевались над Лехой:

— Ошибся, брат. Иди-ка за свадьбой в тюрьму. У нас не для вас.

На все доводы лехиных защитников вдова отвечала со слезами одной и той же неопределенной фразой:

— Неужто я лиходейка!

Гуляев ходил угрюмый, в смятении. Задирал, кто подвертывался под руку. Разговоры воспитателей, которым он успел крепко поверить, о том, что скоро люди перестанут гнушаться его прошлого, представлялись ему теперь пустой болтовней. Конечно, Таня могла решиться на замужество и помимо воли родных. Но тогда — это хорошо понимали и Мелихов и Богословский — победа коммуны была бы неполной, самолюбие Гуляева также не получило бы удовлетворения. Брак должен состояться при полном согласии и одобрении невестиных близких. Только тогда женитьба могла бы сыграть действительно большую роль и в налаживании отношений костинцев с

воспитанниками и в укреплении самой коммуны.

Болшевцы заботились уже не о том, чтобы склонить Гуляева к женитьбе, а всячески убеждали его не так болезненно переживать неудачу сватовства. Гуляев огрызался:

— Тюремное пятно до конца жизни не слиняет.

Среди друзей Лехи находились утешители и другого рода. Многозначительно поглядывая в сторону Москвы, они нарочно при Богословском говорили:

— Мамкины дочки-то, видно, не про нас. Придется, должно быть, выйти на Тверской да Пушкину поклониться.

Все это грозило коммуне многими осложнениями. Надежды воспитателей сосредоточились на Погребинском.

Погребинский непрестанно следил за всем, что происходило в коммуне. Ребята писали ему письма, многие, бывая в Москве в отпуску, приходили к нему, жили у него на квартире. Нередко, приезжая в коммуну, Погребинский удивлял Мелихова и Богословского знанием таких фактов и подробностей, которые не были известны даже им. И теперь из того, что рассказал ему Мелихов, Погребинскому многое уже было известно.

— Дело большое, — сказал он, выслушав Мелихова. — Коли не сыграем свадьбу — как бы трещины в коммуне не получилось. Брак — законное право любого совершеннолетнего гражданина, — продолжал он. — Сегодня — Гуляев, завтра к нам придут Накатников, Осминкин, Румянцев и скажут: «Вы научили нас работать, заставили позабыть водку, кокаин. Мы — здоровые люди. Мы хотим семьи, детей». Не поможем — в самом деле уйдут на бульвар и не захотят возвращаться. Мы их будем там ловить, читать проповеди, а они спросят: «Вы что же, монахов из нас готовите?» Есть, конечно, другой выход: брать из тюрьмы в коммуну девушек, но это рано еще.

Сопротивлению Разоренова Погребинский придал особенное значение. В упрямстве богатого мужика он видел больше нежели проявление обычной мужицкой ограниченности.

— Враг сознательно дает нам бой. Ну, а мы бой примем.

Он долго в тот день ходил по Костину, заговаривая преимущественно с женщинами, а вечером, когда пастух пригнал стадо коров, осторожно стукнул в окно вдовы Разореновой и, почтительно козырнув, спросил:

— Подоили, Мавра Ивановна?

— Милости просим, — приметно зарделась Мавра Ивановна, узнавая Погребинского.

Матвей Самойлович слегка потупился:

— В знак уважения и по соседству одолжите стаканчик парного.

— Не побрезгуйте.

— Как можно! Случаются неряхи — душа не лежит. А у вашей красульки — и вымя подмыто, и идете вы к ней при фартуке, и подойник моете чисто…

Вдова растерянно хлопала веками. Все было правильно.

А гость непринужденно просунул в окно голову, опираясь локтями на подоконник.

— Поветь у вас разваливается. Починить бы. Работника бы вам… Разрешите и завтра — утренника стакан испробовать? По пути к вам зайду.

У Мавры Ивановны мелко тряслись руки. И откуда ему вся подноготная известна? Плохо соображая, что говорит, она пригласила:

— Заходите… — и безотчетно приняла за молоко деньги.

Утром, едва женщина управилась с выгоном, Погребинский открыл ее ворота. Он ходил по двору и громко говорил:

— Вот и канавки для стока нет, и кормушку надо починить. — Потом сразу перешел к делу. — Зятем, Мавра Ивановна, обзаведись.

Вдова не решалась поднять головы. «Ох, дьявол, знает про танину беду».

Он стоял рядом и говорил вкрадчиво:

— Мишка Накатников у меня в коммуне есть. Слыхала? Нет? Что за парень! Инженер будет наверняка. Хочешь инженера в зятья? Что, не хорош? Разборчивая, тетка! А Осминкин? Орел. Не видала?

Вдова немотно покрутила головой. То ли «не надо», то ли «не видала».

Матвей Самойлович тронул ее за плечо:

— Да ты взгляни хоть раз на меня — не съем. Эх, сирота горемычная, как тебе голову богатый мужик закрутил.

Голос его прозвучал так участливо, что к горлу Мавры Ивановны подкатился клубок.

— Вдовья доля, только и знай — старшей родни слушай, — сдавленно прошептала она, чувствуя, как сейчас вот градом хлынут слезы, жалобы на бабью свою беззащитность.

Она перемоглась и впервые доверчиво посмотрела на странного человека:

— Я своей дочери худа не желаю.

Погребинский дружески и в то же время с мягкой шутливостью взял ее под руку:

— Идем-ка в избу. Кого же ты из коммунских знаешь?

— Да вот этот ходил… Леха. Небось, сами знаете?

— Гуляев? — закричал восторженно Погребинский. — Это

настоящий человек будет. Годика через два хорошее жалованье заработает. Да и теперь он у нас счет хорошим деньгам знает.

— Что ты? — недоверчиво дрогнул у вдовы голос, и она принялась раскладывать на столе скатерть.

— Верно говорю!..

Погребинский пил молоко и вразумительно говорил:

— Ты Разоренова не слушай. Говорить ему осталось недолго. Вот лишат его избирательных прав, рта не посмеет разинуть. Разве тебе с ним хлеб-соль водить?

Зашел он к Мавре Ивановне и на следующий день. Рассказывал ей, сколько коммуна настроит высоких светлых домов, какие просторные отведут семейным квартиры, сколько им отпустят кредита на приобретение обстановки.

Вдова отмахивалась: «Да ну, сказочник», и смеялась, прикладывая к губам платок.

— Вот увидишь! — заверял Погребинский.

Каким бесцветным и неубедительным казался по сравнению с ним родственник Василий Петрович, вечно недовольный властью, всегда пичкающий сердитыми нравоучениями.

К вечеру Погребинский обещался притти еще раз.

Поджидая его, Мавра Ивановна надела самое парадное свое платье.

Матвей Самойлович явился и громко, как тогда на дворе, сказал:

— Сейчас я к тебе сватом, ты учти это, тетушка.

Мавра Ивановна всхлипнула и перекрестилась на иконы:

— Хоть шапку-то свою круглую снял бы.

— Можно, почему не снять.

Дело пошло быстрей и, сколько ни судили костинские кумушки, дошло до свадьбы.

Около избушки вдовы девки звонкими голосами «припевали» женихов. Званые гости сидели в избе возле окон, за «княжим» столом.

— Танька-то бле-едная. На себя не похожа, — заглядывая в окна, говорили на улице.

— Леха козырем сидит. Хороша парочка.

— И Мелихов и Богословский здесь.

— Коммунских восемь.

— Пришло бы и больше, да не велено.

— За такими послушными будет не плохо, — сказала круглолицая Нюрка Грызлова и вздохнула.

— Тебя тоже за коммунского пропьем, — ядовито заметил молодой парень.

— А что ж? Не хуже вас будут, — вспыхнула Нюрка.

— Тише, Василий Петрович идут. — И сразу все перешли на шопот.

Разоренов шел степенно. На нем была синяя сатиновая рубаха с вышитым прямым воротом. Шелковый пояс с пушистой бахромой облегал его живот. Войдя в избу, он окинул ее хмурым взглядом. На стене висел большой фотографический портрет умершего брата — человека с худым, засушенным лицом и с такими же упрямыми глазами, как у Василия. Под портретом сидели молодые, в «святом» углу — Сергей Петрович, за ним коммунары и дальше, на скамьях, до самого порога — гости невесты.

— Садись, гость дорогой, — пригласила вдова.

— Ничего, постою, — подойдя к столу, Разоренов налил себе чашку водки. Он выпил, закусил, еще раз посмотрел кругом и громко, указывая на портрет брата, сказал:

— Танька, бога не боишься, побойся отца! Гляди, как он смотрит. Не будет тебе счастья.

Невеста побелела, вдова, сдерживаясь, заплакала. Василий Петрович поклонился всем в пояс и, сказав «покорно благодарим», вышел, суровый и безразличный. Болшевцы растерянно глядели на Сергея Петровича, невестина родня шепталась. С улицы в избу врывались мальчишеские голоса.

— Лютует, черный ворон, на коммуну! — нашлась первой сидевшая в стороне Карасиха и старческим голосом завела песню. Под руками гармониста заходили лады гармоники. Зазвенели стаканы.

Штаны коммунара Гаги

В новом году коммуна расширялась. Брали новую партию молодых рецидивистов. На общем собрании была выделена отборочная комиссия. В числе других воспитанников в нее вошел и Осминкин.

— Смотри, Виктор, выезжаем рано! — предупредил его вечером Сергей Петрович.

Осминкин долго не мог уснуть. Он представлял себе Бутырки, представлял, как пойдет с Богословским по камерам, будет разговаривать с урками. Далеко ли то время, когда его, Осминкина, вызывали вот так же, как завтра он будет вызывать других. Ему казалось тогда: дурачат, лягавые, коммуна — это ловушка. Не так ли встретят в камерах и его самого?

Утром его разбудил Хаджи Мурат:

— Эй ты, отборщик!

Через десять минут Осминкин был уже у Богословского.

— Завтракал? — спросил Сергей Петрович.

— Не успел.

— Ну, это ты брось… садись, — и Богословский подвинул ему стул.

— Что-то кусок в горло не лезет, — признался Осминкин.

Поехали в Бутырки. Осминкин сиживал здесь. Предъявили пропуска, прошли во двор. У зарешеченных окон показались лица. Осминкину чудилось: все знакомые. Он старался не смотреть туда.

— Пошли, — торопил членов комиссии Богословский, и Осминкин покорно поднялся на крыльцо.

Беспокоился Осминкин напрасно. Знакомых не было никого кроме Малыша — того самого паренька, который сбежал по Дороге в коммуну осенью 1924 года. Теперь он сам подал заявление о приеме. Осминкин удивился, что о коммуне в Бутырках так мало знают. Приходилось подолгу растолковывать, рассказывать о порядках и требованиях коммуны, о том, что хозяева в ней — сами бывшие воры.

— Да вот хотя бы я… Я тоже был вором. А вот сейчас — видишь — в отборочной! — увлекшись, говорил Осминкин.

Многие недоверчиво, двусмысленно посмеивались.

Однако итти в коммуну соглашались почти все. Осминкин понимал: надоело сидеть, надеются сбежать. Все это ведь было уже когда-то и с ним самим.

«Ну погодите, — думал он, — сами увидите… Небось, только глупый убежит».

Комиссия работала до вечера. Настроение Осминкина выравнялось, стало спокойным и уверенным. Однако в правом крыле, куда он пошел один, его ждала встреча, которой он долго потом не мог забыть. Он встретил своего прежнего кореша — Василия Морозова.

Морозов вырос, возмужал, лицо его вытянулось и приобрело незнакомые Осминкину высокомерные, неприятные черты.

Осминкин смутился:

— Васька… Василий, ты?

— Я, разумеется!

Осминкин вспомнил, что он — член отборочной комиссии, и сделал усилие, чтобы овладеть собой. Он стал говорить Морозову о коммуне.

— Иди в коммуну, Васька… Ты молодой, — закончил Осминкин.

Морозов презрительно пожал плечами. Худое лицо его передернула высокомерная усмешка.

— Значит, и ты, Виктор, лягавым стал?.. — медленно произнес он.

Осминкин побледнел.

— Так не пойдешь?.. — сказал он, сдерживаясь.

— Нет.

— Ну, как знаешь…

Осминкин ушел. Вот и кончилась старая дружба. Вот и не стало кореша… А и чорт с ним! У Осминкина теперь много других, настоящих… Но все-таки это было очень тяжело. Он никому не сказал о своей встрече.

В столовой за обедом новым отвели лучшие столы, полнее наливали суп и накладывали второе.

— Через час после обеда все новые — в баню! — объявил Накатников.

— Выдумал — в баню! — рассердился Толька Буржуй, семнадцатилетний паренек из новой партии.

Буржуем его звали за любовь к франтовству, за костюм «бостон». Однако под этим костюмом у Тольки всегда была грязная рубаха, покрытое мелкими красными прыщами тело. В бане он не бывал по году.

Его поддержали:

— Подумаешь, баня!.. Хвастались, что кино есть… Вот бы в кино позвал, а то — в баню!.. Нас в Бутырках мыли…

Толька твердо решил отвертеться от предстоящей ему неприятности.

В столовую вошел Чума. Он пришел, как всегда, с опозданием, геройски посматривая вокруг.

— Чума!

— Чумище! — звали его ребята. Толька сразу понял — жиган, козырь!..

А Чума подошел прямо к тому столу, где сидел Толька.

— Ага!.. Новенькие!.. — произнес он и покровительственно похлопал Буржуя по плечу.

— Ты откуда?.. Птичкой летаешь, по карманам стреляешь? — пошутил он и сам первый громко захохотал. Засмеялись и другие.

— Ну, смотрите, у нас в коммуне закон строгий… Держи порядок! Хочешь вместе со мной в общежитие?.. — обратился он внезапно к Тольке.

Буржуй был покорен и очарован.

— Хоть и с тобой, — сказал он независимо.

Однако он чувствовал себя крайне польщенным этой неожиданной и несомненной честью.

После обеда Чума повел Буржуя в спальню.

— Поставить койку рядом с моей!.. Да матрац получше, —

говорил Чума дневальному голосом, не допускающим ослушания.

Потом он показал Буржую свой цилиндр и кашне, позволил даже примерить их. Толька все больше очаровывался новым знакомством. Он решил, что в баню не пойдет, а если потом спросят, скажет — забыл. Но это оказалось делом трудным.

Пришел парень, который приезжал в Бутырки и уговаривал Буржуя итти в коммуну. Он стал вызывать «новых».

— Пошли, пошли! Все в баню!.. В коммуне недопустимо грязищу разводить, — говорил он.

Чума ущипнул Буржуя за ногу:

— Не хочешь в баню?

— Не хочу.

— Ну, давай, выходи вместе с другими. А потом… Я тебя буду за баней ждать.

Около бани Буржуй незаметно свернул в сторону и тотчас нашел Чуму.

— Белье получишь. Это я для тебя сделаю, — обещал Чума. — Деньги у тебя есть?

Буржуй поколебался: на что этому жигану знать, есть ли у него деньги?

— Немного есть, — признался он.

Прищурив правый глаз, Чума выразительно щелкнул себя по шее:

— Хочется?

— А разве можно? — спросил Толька трусливым, радостным шопотком.

— Нельзя, — строго сказал Чума. Но тут же захохотал и потащил Буржуя за рукав:

— Пойдем молоко пить на деревню. Молоко от бешеной коровки… Это можно!

«Вот парень! С таким не пропадешь! — думал Толька, шагая рядом с Чумой. — Не то, что веснущатый Осминкин».

Выпили здорово. Заказывал Чума, а платил Толька. Видно, Чума был здесь завсегдатаем. Старуха-шинкарка называла его «сынком», а когда все толькины деньги они пропили, сама предложила в долг.

Чума растянулся на лавке в переднем углу под иконами, и скоро хата наполнилась его пьяным храпом.

Буржуй потолкал его в бок и не разбудил. Шатаясь и горланя, он побрел в коммуну один. Но не дошел и свалился. Нашли его болшевцы в канаве, недалеко от коммуны. Буржуй был мертвецки пьян. Он не слышал, как его подняли, отнесли в спальню, раздели и положили на койку.

На следующий день было назначено собрание. Буржуй

чувствовал себя плохо: все тело ломило, голова казалась налитой чугуном, но все же решил пойти на собрание. В дверях он столкнулся с Чумой, и тот шепнул:

— Не дрейфь! Выручим!

«Это что же — наказывать будут, что ли?» — встревожился Буржуй.

Первым взял слово мальчишка, фамилия которого была Смирнов. Он говорил о том, что на сегодняшнем собрании должен был стоять вопрос о приеме. «Но, как видно, придется поставить и другой вопрос — о неприеме. Нашелся среди вновь прибывших такой, который в первый же день напился…» И Толька услыхал свою фамилию. За Смирновым выступил Накатников — тот остроглазый парень, который объявлял вчера в столовой о бане.

— Все мы «болели» первые дни, — говорил Накатников. — Всех нас тянуло на старое. Но напиться сразу по приезде — это значит нисколько не дорожить пребыванием в коммуне. Мы должны принимать в коммуну только тех, кому она в самом деле нужна. Коммуна — не шалман…

Ребята зааплодировали. Последним вышел Чума.

— Конечно, — с апломбом говорил он, — коммуна лучше концлагерей, Буржуй не просчитался. Но до коммуны дорасти надо. Мы людьми хотим стать, мы все работаем, учимся! Ведь знал же Буржуй, что у нас пить нельзя. Значит, наплевать он хотел на наши законы. Ну, а раз так, то нечего ему тут делать.

Буржуй не верил своим ушам. Тот ли это Чума, с которым они вместе ходили к шинкарке?!

Общее собрание постановило Буржуя в коммуну не принимать. До последней минуты Буржуй думал, что вот поругают его — без этого, должно быть, здесь нельзя — и тем дело и кончится. Но когда решение занесли в протокол и стали переходить к следующему вопросу, Буржуй вдруг понял, что дело не шуточное. «Выходит — плыть назад? А Чума! Вот гад!» Тольку передернуло от злобы.

— Мне места нет, а Чуме есть? — крикнул он сдавленно. — Вместе с Чумой в деревне пили!

И лишь выкрикнув это, сообразил, что он слягавил. Чума растерялся. Как он мог предполагать, что парень прямо из тюрьмы — решится выдать?

— Врет! Не было этого. Кто видел? — крикнул Чума.

— Иди сюда, объясни, в чем дело, — холодно предложил Сергей Петрович.

Все еще не теряя самоуверенного вида, Чума прошел к столу. На самом деле — кто видел?

— Я его и не знаю… Я с ним и не был… С гвоздиков он соскочил, должно быть! — произнес Чума.

— Ты с ним не был! — крикнул Осминкин. — А кто его увел от бани, когда ребята пошли мыться? Куда ты его повел? Видели!

Чуме показалось, что ворот слишком туго стягивает шею. Он покрутил головой, для чего-то одернул жилетку. Богословский наблюдал за ним. Наконец-то попался Чума, наконец-то удастся разоблачить перед воспитанниками этого ловкача-«вожачка», прикрывающегося громкими речами, а исподтишка срывающего всю работу воспитателей. Теперь все увидят, какая цена этому человеку.

Чума не знал, что говорить.

— Да что ж это! Уж и около бани не позволяют постоять. Я сам мыться хотел! У меня, может быть, вши завелись! — Он задвигал плечами, словно показывая этим, как чешется его тело.

Ребята засмеялись. Смех был недобрый. Чума понял — смеются над ним. Но это хорошо. Он вдруг нелепо подмигнул собранию и подергал задом. Захохотали громче.

— Цилиндр одень!.. Погубил парня и скоморошничает! — с горечью крикнул Осминкин.

Ему было особенно обидно. Ведь это он уговорил Буржуя пойти в коммуну.

И все зашумели, закричали, затопали ногами. И больше ничего не посмел ни сказать, ни сделать Чума. Он отошел и сел на свое место. Тогда развязались языки. Опять один за другим выступали болшевцы, но теперь уже говорили не о Буржуе, а о Чуме, говорили о том, как он заставляет работать за себя других, как он приносит водку, подпаивает ребят, а потом сам же выступает против них на собраниях. Многие требовали исключения Чумы из коммуны. Не ожидал Чума подобных результатов от своей вчерашней прогулки. Собрание постановило отправить Чуму на гауптвахту.

Вечером ребята собрались на квартире у Богословского. Были «старики», были и «новички». Эти не предусмотренные никакими уставами начавшиеся еще с первой осени дружеские вечерние сборища у Богословского или у Мелихова имели огромное значение.

Они особенно сближали воспитанников с воспитателями, создавали единомыслие, подготовляли общественное мнение коммуны по самым острым вопросам.

Именно на одном из таких вечерних чаепитий Румянцев, застенчиво моргая, высказал пожелание:

— Поучиться бы нам, дядя Сережа.

Румянцев был скромный парень, обычно державшийся

незаметно. Вероятно, он не заговорил бы об этом на общем собрании. А тут он чувствовал себя свободней, проще. И предложение его было поддержано всеми. Воспитатели сделали все, чтобы укрепить стремление к учебе. С первыми учениками Богословский стал заниматься сам.

Туго приходилось ребятам на первых порах. Голова не привыкла к систематическому напряжению. Войдет Сергей Петрович — его обступят, отвлекают:

— Да ну-у там, заниматься! Давай так часок поболтаем.

— Что мы — бухгалтерами, что ли, будем? Да хочешь, мы тебя и так обсчитаем?

А франтоватый Васильев откровенно жаловался:

— Вы меня заставьте двадцать часов в мастерской — я буду работать, а вот три часа в школе не просидеть. Голова болит, и спать хочется. Вы меня спрашиваете, а я ничего не понимаю. Вот арифметику я могу, а эти сослагательные да именительные — чорт в них ногу сломал!..

— Ишь ты, Косой, какой человек. Ему принеси да разжуй, а он только проглотит, — отшучивался Богословский.

Далеко не все воспитанники посещали школу, да и многие из тех, кто приходил, искали в ней не столько знаний, сколько развлечений. Но все-таки начало было положено.

И многое другое, не менее важное, чем учеба в школе, возникло на вечерних собеседованиях у Сергея Петровича и отсюда пошло в жизнь.

Ребятам нравилось собираться у него. Им нравился его трезвый взгляд на вещи, простота в обращении, осведомленность по любому вопросу. Случалось, они поднимали «дядю Сережу» даже по ночам…

Сегодня все только и говорили, что о Чуме, о его подлости. События утреннего собрания волновали всех.

— Он не один, Чума. Таких еще много! — горячился Накатников. — Теперь новый народ пришел. Какой для них пример? Сегодня Буржуй, завтра Малыш напьется… Правда, Малыш?..

Малыш сидел необыкновенно тихий, робкий. Непривычная обстановка, удивительная перемена в Накатникове, которого он помнил совсем другим человеком, стесняли, связывали его. К Сергею Петровичу его притащил Накатников.

— Как, Малыш?.. Правильно говорит Накатников?.. Напьешься и опять сбежишь? — шутливо спросил Богословский.

— Врет. Не убегу… — пробормотал Малыш.

— Я считаю, если кто попался в пьянке второй раз… — начал Накатников, но его перебил Гага:

— Сергей Петрович, штаны хочу купить. Посоветуйте: в полоску или гладкие? Новиков говорит, что лучше гладкие…

— Да погоди ты! Выдумал — штаны! — рассердился Накатников. — Что тебе Сергей Петрович — нянька?.. Тут поважнее дела, а он — штаны!

Ребята засмеялись. Богословский укоризненно покачал головой.

— А ты сам какие хочешь? — совершенно серьезно спросил он Гагу.

Гага расцвел:

— Я?.. В полоску.

— Правильно. Я тоже взял бы в полоску. На полосатых материал как будто лучше.

— Дороговато, — сказал Гага. — Галстук еще хотел купить… Денег нехватает. Курить думаю бросить.

— Дело хорошее, — одобрил Богословский.

«Что ему за интерес? Нарочно он, что ли!» — недоумевал Накатников.

Ему не терпелось рассказать о том, что по его мнению нужно сделать, чтобы не могли повториться случаи, подобные вчерашнему. Но Богословский словно не замечал этого,

— Гага поднял важный вопрос. Вы напрасно смеялись… И Накатников напрасно думает, что штаны — это пустяки. Нет, это не пустяки — приобрести брюки на свои, на заработанные деньги!.. Трудовая денежка — не воровская… Она дорого стоит! Вас всех возмущает поведение Чумы. Правильно, оно недопустимое. Вы беспокоитесь за вновь прибывших, боитесь, что их будут губить старые привычки, думаете о том, как сделать, чтобы этого не было… Накатников предлагает усилить строгость, крепче наказывать… Если понадобится, конечно, мы это сделаем. А вот скажи, товарищ Накатников, как думаешь, одна ли строгость побеждает старые привычки?

Накатников молчал. Он уже догадался, что совершил какую-то ошибку. Самолюбие его было уязвлено.

— Нет, Миша, — продолжал Сергей Петрович. — Старые привычки надо уничтожать созданием новых, таких вот, как любовь к порядку и оседлости, к чистой кровати, уютной комнате, к театру, к спорту… И самое главное — к источнику всего этого — к труду… Правильно ли я говорю, Накатников?

— Правильно! — подтвердил Смирнов. Накатников продолжал молчать.

— А когда правильно, то почему неважно, какие штаны приобретет себе Гага? Разве все равно, будет ли он ходить в опрятных крепких новых брюках или вот в этой рвани, в которой

сидит сейчас?

Гага сконфуженно прикрыл ладонью большую дыру на штанине повыше колена.

— Разве это неважно, что многие из вас по утрам не моются, почти никто не чистит зубы, в спальнях беспорядок, что некоторые, вот вроде того же Чумы, щеголяющего в шутовском, постыдном, воровском цилиндре, предпочитают ходить чорт знает в чем и пропивать и прокуривать получки, вместо того чтобы по-человечески одеться, по-человечески обуться, сходить в Москве в хороший театр? Нет, друзья, это важно!.. Все это очень важно также и для вас, если вы действительно возмущены Чумой, действительно заботитесь о новичках…

Только теперь сообразил Накатников, в чем состояла его ошибка. Но сознаться в ней мешало самолюбие.

— Если я зубы вычищу, так Буржуй пить не пойдет?.. — сказал он с иронией.

— Вот именно! — хладнокровно ответил Богословский. — Если ты на своем примере покажешь, как жить культурно, если Буржуй вместе с тобой убедится, что в театре интересней, чем в притоне, что спать в чистой кровати здоровее, чем на заплеванном полу, что жить на верный трудовой заработок лучше, чем на шалые воровские деньги, — так он не пойдет воровать, не пойдет в притон! Не так ли, Накатников?

Накатников сдался. Да и что мог он возразить?

— Я не об этом, Сергей Петрович. Я ведь сам всегда… Только меня перебил Гага… А я больше скажу. Это безобразие, что некоторые не моются. Я предлагаю обязать контроль следить за этим. Я думаю…

— Предлагаю каждый вечер в спальнях проверять… И кто разводит грязь, зачитывать на общем собрании, чтобы все знали, — предложил Осминкин, опережая Накатникова.

— Предлагаю, чтобы у каждого была своя зубная щетка и свой порошок, — сказал Румянцев.

— Штрафовать на копейку… Кто плюнул на пол — копейку.

— Блатные песни поют.

— В карты играют!..

— Чтобы кузнецы, не вымывшись, в спальню не заходили!

— Тогда увидим, кто у нас грязь разводит!

Даже Малыш решился сказать что-то насчет увеличения числа шаек в бане.

Так дело Чумы послужило толчком к обсуждению всех вопросов быта. Так начался новый этап борьбы за чистоту, опрятность, за порядок в спальнях. Застрельщиками в этой борьбе стали сами воспитанники.

Это время Накатников не любил и, может быть, даже и не умел думать долго и последовательно. Решения приходили к нему внезапно, как открытия. Начатое дело он продолжал уже из упрямства, из гордости, хотя бы даже и не верил в его пользу. Ему нравилось укрощать вещи и события, подчинять их себе, преодолевать косность. И делалось это главным образом не по убежденности, а по своенравию. «Я хочу», «Я не хочу» — эти формулы занимали большое место и в жизни и в работе Накатникова.

Он запомнил первую встречу с Погребинским у него в кабинете на Лубянке, когда Погребинский в разговоре о коммуне обмолвился словами:

«Учиться будешь — на рабфак пойдешь».

Слова эти застряли в мозгу парня по странному закону, заставляющему помнить всю жизнь события, которые как будто совсем не надо запоминать. Сознательного намерения учиться, приобретать знания или расширять свой опыт у него не было. Все свойства его характера и все его интересы находились в том неустойчивом состоянии, когда неумышленный толчок мог дать жизненно важное направление для всей его деятельности. Переговорив с Сергеем Петровичем, Накатников решил готовиться на рабфак. Нашелся и учитель. Подготовлять Накатникова охотно согласился руководитель оркестра Чегодаев.

Наконец счастливый день наступил.

В списке принятых Накатников прочел свою фамилию. В канцелярии вечно торопящийся зав бросил ему на ходу, что можно рассчитывать на стипендию и учиться на дневном отделении. Стипендия давала возможность посвящать учебе все время, но дневные занятия отрывали от коммуны совершенно.

Парень задумался.

С коммуной он уже сжился, принимал самое деятельное участие в ее жизни. Ни одно общее собрание не обходилось без бурных выступлений Накатникова. В конфликтной комиссии, заседаний которой Накатников никогда не пропускал, он был самым требовательным и нетерпимым. В коммуне он был нужным человеком, без которого было трудно обходиться и администрации и воспитанникам. С ним советовались о предстоящих мероприятиях, ребята выдвигали его всюду, где требовалась защита их интересов. Все это возвышало парня в собственных глазах. Он жил в коммуне с тем бодрым, приподнятым настроением, какое бывает у людей, нашедших в работе свое место.

Оторваться от коммуны, погрузившись в учебу, Накатников не мог, поэтому от стипендии отказался. Днем он работал в обувной, а вечером ездил на рабфак. Ученье шло хорошо. Способности у парня были, знания легко укладывались в его мозгу. Но он остро реагировал на все, что происходило в коммуне, все значительное в ее жизни волновало и захватывало его.

И вот уже поздней осенью события сложились так, что Накатников едва не оказался вышибленным из колеи.

Болшевцы мечтали о станках, о таких сложных машинах, работа на которых давала бы практические знания и квалификацию. Вопросу о новом оборудовании, о механизации мастерских придавали исключительное значение и воспитатели. Коммуна ставила своей задачей выращивать не кустарей, а высококвалифицированных рабочих. Долгое время, однако, коммуне не удавалось достать мало-мальски сложных станков.

Так же, как и другие ребята, Накатников нетерпеливо ожидал того времени, когда в мастерских коммуны появятся хорошие станки.

И вот в середине ноября 1925 года было получено сообщение о том, что коммуне разрешено вывезти станковое оборудование из Люблинского деревообделочного завода. Известие взбудоражило всю коммуну. Маленькую бумажку с плотным, отпечатанным на машинке текстом читали по очереди, подносили к свету, словно сомневались — не поддельный ли это документ. Накатников разделял общую радость. Он уже представлял себе, как явится на деревообделочный завод, будет рассматривать оборудование, разбирать его, хлопотать, спешить, упаковывать… На другой день из Москвы пришел грузовой автомобиль с продуктами. Болшевцы сгрузили мешки и ящики. Спустя полчаса в кабину автомобиля рядом с шофером сел дядя Леня — инструктор столярной мастерской. Он зябко сжался, приподняв засаленный воротник плаща. В кузове разместились Бес-Налов, Воронов, Калдыба, Умнов и Румянцев. Накатников увидел их, когда грузовик уже тронулся.

«Что ж это?.. А я?» разочарованно и удивленно подумал он.

Ему захотелось догнать машину, побежать к Мелихову, выругаться… Но было уже поздно. Кузнецы и столяры уехали…

«Да и на рабфак вечером надо», подумал Накатников, чтобы успокоить себя, но чувство обиды оставалось.

Грузовик добрался до Люблина.

Деревообделочная фабрика была длинная, низкая, похожая на барак. В углах трещали сверчки. Осторожно ступая, словно боясь спугнуть застоявшуюся тишину, болшевцы разглядывали

станки, переходили гуськом от одного станка к другому:

— Которые наши?

— А почему тут народу нет?

— Эх, кабы нам такую фабричку сгрохать…

Комендант учтиво объяснил дяде Лене, какие станки предназначены коммуне, и равнодушно махнул рукой:

— Кладбище. Все оборудование — сплошной мусор. Фабрика отработала свой век — назначена на слом.

Откровенное разъяснение коменданта, пренебрежительные его слова и тон не охладили болшевцев.

Вооружившись инструментом, они обступили станки. Похоже, что мусором это оборудование признано по недоразумению. Какой же это мусор — такие чудесные станки! Тем лучше: захватить, пользуясь случаем, побольше этого «мусора» и убраться поскорее,

Станки были укреплены в цементном фундаменте. Ребята ломали, скалывали цемент. Притащили доски, бревна, устроили рычаги, соорудили помост на катках, и постепенно, подталкиваемый с боков и сзади, пополз в кузов автомобиля сначала фрезерный станок, потом — токарный, затем — ленточная пила и еще фрезерный и еще пила. Дядя Леня охрип. Его заменил Королев. Он командовал визгливым голосом:

— Ра-аз, два — взяли!

Автомобиль оседал, становился ниже ростом, рессоры его гнулись.

Когда на обратном пути грузовик добрался до Москвы, начался дождь. Москва — половина пути до Болшева.

Перегруженная машина капризничала, останавливалась. Колеса буксовали. Натужно кряхтя, автомобиль упрямо карабкался в гору. На середине подъема он остановился, долго кашлял бензиновой гарью, тщетно пытаясь сдвинуться с места. И всем стало ясно, что в Болшево с грузом сегодня не доехать. Придется или ночевать на мостовой посреди улицы или разгрузить машину и за оставшимися станками вернуться завтра.

Мелкий, холодный дождь усилился.

Беспалов выругался, снял шинель и накрыл ею мокрый токарный станок. Затем, не говоря ни слова, деловито спрыгнул на землю. Остальные коммунары последовали за ним. Они уперлись плечом в кузов, и Королев снова запел надрывно:

Ра-аз, два — взя-али!
Взя-а-ли юзом…

Дядя Леня вылез из шоферской кабины и тоже подставил

свои плечи под кузов. Медленно, сантиметр за сантиметром, машина лезла на подъем. В промежутках между толчками клали под задние колеса булыжники, чтобы грузовик не откатывался назад.

Через час, оглянувшись на пройденное расстояние, ужаснулись — оно было ничтожно мало… два метра. Дядя Леня высчитал, что при такой скорости они доберутся в Болшево не ранее как через полтора года. Он попросил у шофера взаймы серебряный гривенник и побежал разыскивать аптеку с телефоном-автоматом.

В коммуну попали только поздно вечером. Их привезла буксирная машина хозяйственного отдела ОГПУ.

События следующего дня были неожиданностью решительно для всех. Ребята толпились у привезенных станков, временно сложенных возле прачечной, рассматривали потемневшие от пыли валы трансмиссий, разбросанные шкивы, похожие на половинки стальных колес, слушали рассказ Румянцева и Умнова, как было нелегко их разобрать и доставить.

А Накатников в этот день дежурил на кухне. Он несколько раз порывался выскочить на улицу, посмотреть станки, дать им свою авторитетную оценку, но останавливало какое-то сложное чувство. Да и нельзя было уйти: на кухне пекли пышки.

В синеватом чаду у жаркой плиты расторопно двигались ребята — очередные «повара». Белые куски теста падали в кипящее масло, мгновенно зарумяниваясь там, затем их укладывали пышными рядами на длинный противень; вокруг распространялось щекочущее ноздри благоухание. Горький дымок стлался по потолку и, проникая через открытую дверь наружу, вился сизыми струйками.

К огоньку и вкусным запахам привычно сползались незанятые воспитанники. В небольшом помещении становилось тесно. Накатников чувствовал, что в нем накипает раздражение. Было почему-то неприятно слушать о том, как устроены части станков, в чем заключается их назначение. Кроме того недавно было вынесено постановление, чтобы на кухне лишние люди не толкались. Мог ли Накатников терпеть на своем дежурстве такие беспорядки?

— Выметайся, братва, выметайся, — решительно сказал он, оттесняя непрошенных гостей к двери. — Сколько раз говорили, чтобы на кухне не торчать. Нечего здесь делать. Плыви, выкатывайся.

Накатников брал непокорных за рукав и даже подталкивал легонько в спину., Изгнанные из кухни теснились в коридоре.

Некоторые из них относились к Накатникову

недоброжелательно. Не любили его напора, уверенности в себе, манеры говорить всегда так, словно он один на свете по-настоящему прав. Не забывал кое-кто также и нередких его разоблачении на собраниях.

— Что ж ты не всех гонишь? — зло и язвительно ухмыляясь, спросил Накатникова Королев. Он упорно не желал покинуть кухню. — Или иным закон, а иным другой? Косой тебе друг-приятель, так его оставляешь?

Накатников побледнел… Он мог спокойно снести все, но только не обвинение в пристрастии или несправедливости. Но крыть в сущности было нечем.

Почему-то на кухне задержался из посторонних именно Васильев, с которым Накатников издавна дружил. Довольно жмурясь, Косой сидел на табуретке неподалеку от плиты в позе человека, к которому все происходящее не относится.

Накатников секунду колебался, потом сурово сдвинул брови и с намеренной грубостью крикнул:

— Катись, Косой, и ты!

Тон, каким это было сказано, и строго нахмуренные брови не произвели на Васильева никакого впечатления. Он только лениво повернул голову, точно разомлевший кот, и посмотрел на товарища с благожелательной ухмылкой.

— Тебе говорят или нет? — вспылил Накатников.

Он подскочил к Васильеву и, цепко схватив его за шиворот, потащил к двери.

Одно мгновение Косой был совершенно растерян. Он никак не ожидал, что его приятель так бесцеремонно нарушит права и традиции дружбы. Лицо Косого потускнело, губы дрогнули. В следующий момент он резко рванулся из крепких рук и ударил Накатникова. Тот бросился на Косого.

Два рослых, крепких парня месили друг друга кулаками, точно тесто. Отброшенный свирепым пинком, полетел к двери табурет, покачнулся стол, упало с подоконника решето, из опрокинутой корзины покатился по полу картофель.

Зрители окружили сцепившихся.

— Ты что ж, в бутылку всех загнать хочешь? — выкрикнул Королев. — Силу почуял? Крой его, Косой!

И Королев пошел на помощь Васильеву.

Дрались долго, жестоко и яростно. Когда их, наконец, разняли, у Васильева была рассечена губа. Накатников потирал грудь и ушибленное плечо.

Он видел вокруг себя недоброжелательные взгляды и слышал упреки и угрозы.

Обиженный на весь мир, позабыв свое дежурство, он

выскочил из кухни на улицу и зашагал по дороге.

Сырое, клочкастое небо висело над Болшевом. Выпавший ночью снег растаял, и на дорожке стояли лужи.

В эту минуту Накатников ненавидел болшевцев. От быстрой ходьбы накопившийся в нем гнев стал утихать, но тем сильнее росла обида. Он считал себя совершенно правым. Смутное желание получить какую-то поддержку извне заставило его завернуть к Сергею Петровичу. Только с этим ровным и душевным человеком мог бы сейчас поговорить Накатников.

Уже постучав в дверь, он сообразил, что о случившемся рассказать будет тяжело и стыдно. За время пребывания в коммуне он зарекомендовал себя, как думалось ему, человеком выдержанным и положительным. И вдруг — мордобой. Да и поймут ли его? Признают ли правым? Спрашивая, дома ли Богословский, он искренно желал, чтобы ответ был отрицательный. Но, увы, все уже шло неизбежным путем.

Богословский встретил разгоряченного парня, как всегда, ласково.

— Ну, что скажешь, Миша? — спросил он. — Что это ты такой взлохмаченный?

Умные, добродушные глаза пытливо остановились на нем.

Накатников нелепо одергивал гимнастерку и старался выиграть время. Сейчас он уже окончательно решил ничего не рассказывать, но нужно было придумать что-нибудь.

— А, чорт его побери, — жалобным голосом сказал Накатников. — Вот грудь заболела — колет, кашель сильный. Дай что-нибудь, доктор.

Ему хотелось участия и поддержки. Найденный ход был очень неплох, и Накатников уже ожидал, что поведет сейчас с дядей Сережей длинный разговор, потом, может быть, и пожалуется и вообще потолкует, отведет душу. Грудь в самом деле болела от драки, плечо глухо, но чувствительно ныло.

Богословский ткнул раз-другой трубкой в грудь парня и, не обнаружив, разумеется, ничего значительного, весело сказал ему:

— Пустяки. Ничего нет. Что так запыхался? Бежал быстро, что ли?

И тотчас же взялся за шапку, собираясь уходить.

— Ничего нет, пройдет. И никакого лекарства не надо, — повторил он, видя, что парень как будто ожидает еще чего-то.

Поспешность и легкость решения показались Накатникову новым оскорблением. В другое время и ответ Сергея Петровича и все его поведение показались бы самыми обыкновенными, сейчас же в груди вдруг толкнулась жаркая волна и подкатилась к горлу. Охрипшим и изменившимся голосом Накатников прошипел:

— Какой же ты доктор после этого? К тебе за помощью пришли, а ты — «нет ничего, пройдет». Лошадей тебе лечить, а не людей.

Накатников испытывал такое чувство, словно он сорвался с крутой горы и вот мчится теперь, не разбирая дороги, и никакая сила не может его остановить. Он вновь почуял в себе того буйного и отчаянного Накатникова, которого до поступления в коммуну неохотно задевали даже самые бесшабашные забияки. Весь неразряженный его гнев обрушивался на недоумевающего Богословского.

— Уйду из коммуны, — хрипло кричал парень. — Насажали сюда коновалов! Кончено!

Яростно хлопнув дверью, Накатников выскочил от Богословского в том смятении всех дум и чувств, какое бывает у человека, окончательно запутавшегося и озлобленного. Проваливаясь в канавы, продираясь сквозь сучья, он бежал по лесу к шоссе.

— Уйду! — с яростным наслаждением повторял он. — Уйду! Теперь уж лягавым никогда не дамся! Дьяволы!

О людях, с которыми он за время пребывания в коммуне сжился, о всех своих новых привычках, намерениях, желаниях он думал сейчас со злорадством. Красть, бить, обманывать, убивать — ему сейчас все казалось возможным, чтобы отомстить оскорбившим и обидевшим его.

Вскоре Накатников вышел на шоссе. Грязное унавоженное полотно бежало километр за километром. Без шапки, с развевающимися по ветру волосами, шагая преувеличенно широко, он быстро двигался вперед. Сгоряча он забыл, что мог бы сесть на поезд. Ходьба мало-помалу утомляла. Мысли прояснялись.

Ему представилось возвращение в дорогомиловскую ночлежку. В сущности впереди предстояло довольно-таки беспорядочное и неприятное существование.

Около Мытищ на дороге встретилась пожилая женщина, до странности похожая на мать. Накатников даже вздрогнул, неожиданно поймав на себе суровый взгляд. В походке женщины была знакомая сдержанность и ровность. Накатников долго оглядывался вслед. Встреча пробудила в нем тревожное чувство.

Два месяца назад Накатников получил в коммуне отпуск. В родной город он приехал поздним вечером. В тесной квартирке матери как будто ничего не изменилось. Все так же темнели в полумраке святые на иконах, на полу лежали пестрые домотканные половики, на столе возвышался знакомый самовар с измятым боком. Мать сидела у стола и шила. Лицо ее и какое-то

тряпье в руках скудно освещались светом маленькой лампы. Мать посмотрела на вошедшего парня поверх очков и, видимо, не узнала вначале. Потом она часто замигала, и по щекам ее потекли слезы.

Накатников ступил шаг-другой вперед и с нарочитой небрежностью бросил на сундук дорожную сумку:

— Что ж это у тебя так темно? При такой коптилке и шва-то не увидишь!

Сказал он это с таким видом, словно отлучался из дома не более как ка час. Впрочем, раздевался он несколько поспешнее, чем следовало бы ничем не взволнованному человеку. Мать подбежала к нему и обняла. Склонив голову к плечу сына, она всхлипывала жалобно, как плачут дети и старики. Она сильно постарела за эти годы. Накатников растерянно поглаживал вздрагивающие ее плечи и однотонно бормотал:

— Да ну ж тебя, ну ж тебя! Вот еще разревелась-то!..

У Накатникова было сложное отношение к матери. Можно было бы подумать, что он не очень ее любит — так сух он был в словах и скуп на ласку. Однако, живя в Москве, в дорогомиловской ночлежке или на воровских квартирах, он писал ей длинные письма, в которых рассказывал об успехах на несуществующей службе, иногда посылал денег и однажды послал теплый пуховый платок.

Мать, повидимому, что-то подозревала, слезно упрашивала сына возвратиться домой. Когда пошли аресты, переписка прекратилась. Теперь, после длительной разлуки и неизвестности, мать, казалось, выплакивала все свои невысказанные подозрения.

— Ну полно же, полно! — говорил Накатников, похлопывая ее по плечу. — Что я, покойник, что ли?

Он усадил старуху на стул и встал перед ней, уперев руки в бока:

— Ну будет, что ли? Лучше бы чаем напоила!

Поставили самовар, пили чай. Накатников рассказывал о московском житье-бытье. Он перечислял места, на которых якобы служил, упоминал первые пришедшие в голову имена вымышленных своих сослуживцев. Впрочем, когда речь шла о коммуне, не нужно было и врать. Накатников только умолчал, что коммуна состоит из бывших воров. Он рассказывал о том, как в коммуне работают, с гордостью упомянул о мастерских и особо отметил свои собственные успехи. Мать слушала внимательно, но верить боялась.

— А вид-то у тебя, Мишенька, есть? Вид-то?.. — спрашивала она вдруг с помрачневшим лицом, без всякой связи с

предыдущим.

И всматривалась в сына с тревожной жалостью, словно он страдал неизлечимой болезнью. Накатников окончательно рассердился:

— Что ты, мильтон, что ли? Какой тебе надо вид?

Впрочем, не без удовольствия он вытащил и бросил на стол удостоверение из коммуны.

— Видишь, — сказал он, указывая на штамп, — коммуна трудовая… Такую бумагу не всякому дадут!..

Мать неопределенно улыбалась. Ей, видимо, очень хотелось верить сыну, и в то же время она боялась за его судьбу.

— Ну, уж коли трудовая — тогда так. Я ведь это спроста.

В следующие дни Накатников вел себя, как полагается человеку, приехавшему на кратковременную побывку. Он побывал у родственников, у старых знакомых, сходил даже на кладбище — на отцовскую могилу. Он всячески старался внушить матери мысль, что отныне все идет по-новому, ни разу не напился и ни с кем не повздорил. Под конец мать стала чаще улыбаться и меньше плакать.

Как-то, возвращаясь от знакомых, Накатников замешкался в сенях. У матери кто-то был. Через полуоткрытую дверь доносился чей-то скрипучий басок:

— Нет, милая моя, как волка ни корми, он все в лес будет глядеть… Я тебе по-родственному, по-свойски! Как был Мишка вором, так и остался! Врет он тебе. Какие там коммуны — выдумка одна. Он, может, в шайке бандитской, а тебе — в коммуне! Документ не показчик! Документ они вмиг смастерят!

Мать, видимо, уже не противоречила.

— Так что же делать-то, Митрий Петрович? — восклицала она слезливо.

— По начальству, мать, по начальству представить! А то самой как бы не ответить!

Накатников узнал дядю, рыжего булочника, в свое время снабжавшего мать пончиками для продажи. Накатников вошел. При виде его дядька смутился. Мишка посмотрел на рыжую его бороду, на багровые мясистые щеки и, не сказав ни слова, прошел в другую комнату. В это мгновенье он понимал, что не уйдет из коммуны хотя бы только на зло этому бородачу, с такой уверенностью предрешающему его путь, — не уйдет и станет настоящим человеком.

Через несколько дней Накатников уезжал в Москву. На вокзальном перроне было холодно, дул резкий ветер. Мать мерзла в жиденьком ватничке. Как и при встрече, она часто мигала и смахивала слезы. Мишка не выдержал.

Обняв и поцеловав мать в последний раз, он сказал:

— Не плачь, мама! Не слушай никого! Не пропадет твой Мишка!

И вскочил на подножку двинувшегося вагона. Повидимому, в словах его было много силы и искренности. Последнее, что он видел, было растроганное, верящее лицо матери. Она торопливо шла за поездом и махала рукой до тех пор, пока последний вагон не скрылся из виду.

Вот все это и вспомнилось теперь Накатникову. Пыл его остывал.

Подходя к Москве, Накатников уже жалел о собственной поспешности. Но гордость и самолюбие возмущались при всякой мысли об отступлении.

На площади у Ржевского вокзала он долго стоял, прислушиваясь к уличному шуму. Бежали трамваи и авто. Спешили люди, каждый со своим делом. Среди суматошливого движения Накатников почувствовал себя еще более заброшенным и никому не нужным. Он побрел потихоньку дальше и вышел на Лубянку.

Над главным подъездом огромного здания ОГПУ возвышались знакомые фигуры бронзовых красноармейцев в шлемах, с обнаженной мускулатурой. Накатников посмотрел на изображения и нахмурился. Минуту-другую он колебался, затем махнул рукой и вошел в комендатуру.

Погребинский в коммуне бывал часто, знал и выделял Накатникова. Он ценил в нем стремительность, прямоту, неистощимый интерес к делам коммуны. Частенько он одергивал не в меру порывистого парня, читал ему суровые нотации.

Накатников по-своему уважал Погребинского, дорожил его мнением, помнил каждое его слово. Сейчас, входя в комендатуру, он хотел только, чтобы Погребинский оказался в Москве.

Через пять минут парень сидел у Погребинского, в его служебном кабинете.

— Что случилось? Без увольнительной? — спросил Погребинский.

Он, кому болшевцы писали десятки писем, с кем просиживали ночами, кто водил их в театры, приучал читать книги, неутомимо, настойчиво, изо дня в день работал над пробуждением новых интересов, — он привык к тому, что любой из них в трудные минуты жизни спешил увидеть его. Не удивился он и посещению Накатникова.

— Из коммуны ухожу, — хмуро сказал Накатников. — Даешь десять рублей, уехать надо.

Эти десять рублей пришли ему в голову только сейчас, как

повод для разговора. Все-таки не подумают, что с повинной пришел. И тотчас же поверил сам, что вся остановка за этими нужными ему десятью рублями.

— Даешь десятку, — убежденно повторил он. — Надоело.

И он лихо тряхнул волосами, подчеркивая этим жестом, что с коммуной у него покончены все счеты.

Слово за слово — Погребинский вытянул у него суть дела. Он не стал его ни разубеждать, ни уговаривать.

— Тебе с горы виднее, — как бы соглашаясь, сказал он. — Сам знаешь, насильно никого не держим. А на рабфаке, понятно, тебе учиться трудно. Тут голову надо. Но денег у меня сейчас нет. — Он вынул бумажник и убедительно потряс им. Накатников не мог усомниться в том, что бумажник был действительно пустой. — Подожди день-другой, тогда получишь и уедешь. А пока поживи хоть у меня. Ладно?

Накатников смотрел на чекиста и думал, что на рабфаке не так отзывались о голове и способностях Накатникова. Отсутствие у Погребинского десяти рублей было невероятным, но что можно возразить против фактов? Накатников был почти рад этому.

— Днем раньше, днем позже — не все ли тебе равно? Уехать всегда успеешь, — с намеренным равнодушием сказал Погребинский.

«В самом деле. Какая разница, — подумал Накатников. — Не уеду сегодня — уеду завтра».

— Ладно. Подожду твоей получки.

Погребинский довольно ухмыльнулся:

— Ну, вот и хорошо.

У Погребинского Накатников прожил два дня. За эти два дня много часов провел Погребинский в разговорах с ним, и многое передумал Накатников. На третий день из коммуны к Накатникову приехал Косой, дружески предложил помириться. Накатников пожал руку приятеля, и они вместе отправились в коммуну.

Первое, что заметил Накатников по возвращении, — привезенные из Люблина станки продолжают лежать напротив прачечной несобранные, под открытым небом.

«Как же это можно при такой погоде!» обеспокоился Накатников. Погода действительно была плохая. Шел дождь, смешанный со снегом. Ноги вязли в грязи по щиколотку.

Не заходя в общежитие, Накатников пошел к Богословскому.

— С завтрашнего дня приступаем к подготовке станков к пуску, — сказал Богословский. — Электрооборудование, трансформаторы и моторы уже подысканы в Москве на утильном складе Рудметаллторга. На днях доставим в коммуну.

На другой день ребята перенесли разобранные станки в столярную мастерскую. Они раздобыли ведро керосина, тряпки, наждачную бумагу, рашпили, зубила, раздвижные ключи и, рассевшись полукругом, принялись скоблить, мыть, протирать ржавые детали. Самую мудрую, почетную и ответственную часть работы — сборку деталей — доверили Беспалову, Королеву, Румянцеву, Калдыбе, Умнову. Они ведь ездили за станками в Люблино, разбирали их и, стало быть, лучше всех знают процесс сборки. Но когда к пятерке присоединился Накатников — это было принято всеми как само собой разумеющееся. Этот парень знает толк в деле! Сборщики, важно покуривая, ждали протертых деталей.

Первая шестерня, наконец, была готова. Накатников молча взял ее, осмотрел и, глубокомысленно посапывая, принялся прилаживать к суппорту токарного станка. К его удивлению, деталь к суппорту не подходила. Тогда, не смущаясь, он стал поочередно насаживать ее на все валы. Упрямая коническая шестерня не садилась ни на один вал и не хотела цепляться ни за какую другую шестерню. Это разозлило Накатникова. Он бросил шестерню и заорал:

— Верблюды, где у вас глаза? Деталь не подходит, потому что на ней грязь!..

Деталь пошла на дополнительную прочистку. Накатников начал прилаживать к суппорту трансмиссионный подшипник. Однако медный подшипник оказался еще упрямее шестерни, он не подходил к станку ни с какого боку. Накатников нервно хватался за третью, за четвертую деталь… Ему казалось, что у него выходит хуже всех, что над ним смеются. Он исподлобья оглядел своих товарищей. Все сидели, не глядя друг на друга, и спинами загораживали свою работу. У Накатникова отлегло от сердца.

К обеду около каждой станины блестела груда вычищенных деталей, над ними беспрерывно склонялись всклокоченные головы, мелькали грязные руки, на полу в керосиновой луже валялись жирные черные тряпки.

Теперь сборку производила не пятерка, а все, кто был в столярной. Раздавались остроты и добродушная ругань:

— Не сюда! Не сюда пихаешь!.. Возьми — примерь!..

— Без тебя знаю!

— Отдай гайку, а то стукну!..

— На вот эту надень, авось — налезет!

— Чор-рт! Когда разбирали, в этой штуке дырка была, а теперь нету…

— Заросла, что ли?

Наступил обеденный перерыв. Из столярной никто не шел в столовую. «А пообедать-то ребятам следует», подумал Сергей Петрович и решил сходить в столярную. На улице он столкнулся с Умновым:

— Ну что, как дела?..

— Скандал! Переругались все! Лучше бы позвать со стороны слесаря!

— Вот еще выдумал: слесаря! А сами-то что? — возразил Богословский с напускным равнодушием, но ускорил шаг. Очевидно, у ребят сборка не ладилась.

Открыв дверь мастерской, он сразу увидал, что ошибся. Возбужденно вытянув шеи, разинув рты, ребята окружили плотным кольцом токарный станок. Они жадно следили за движениями Накатникова. Тот стоял, широко расставив ноги, и вертел ручку суппорта. Ручка шаталась и скрипела, но суппорт послушно и плавно двигался вдоль станины. Лицо Накатникова сияло. Завидев Сергея Петровича, он выпустил ручку и выпрямился.

— Ну, как дела? — спросил Сергей Петрович.

Накатников потупился с уверенной скромностью победителя. Он мог бы, конечно, сказать, что вот он уже собрал станок, хотя и не ездил в Люблино, а те, кто ездил, возятся до сих пор, и он же — Накатников — помогает им. Но не сказал этого. Он ответил просто:

— Ничего. Двигаются.

Недолгий перерыв в учебе на рабфаке Накатников наверстал быстро.

«Политики»

Осенью у ребят пропала всякая охота к вечерним прогулкам вокруг Болшева. Под хмурым небом речка Клязьма потускнела, берега ее заболотились от частых дождей. В лесу пахло гниющей листвой, сыростью. Голые вершины осинника и берез качались на ветру.

Вечера после ужина болшевцы проводили в общежитии. Часы перед сном бежали незаметно. Бренчали гитары и балалайки музыкантов. Кое-кто чистил одежду, пришивал недостающие пуговицы. Рассказчики забавляли слушателей воспоминаниями о былых воровских похождениях, неизменно выставляя себя храбрыми, предприимчивыми, а ночных сторожей и милиционеров — доверчивыми простофилями. За последнее время вместо такой похвальбы все чаще слышался шумный обмен впечатлениями о событиях истекшего рабочего дня в мастерских. Здесь также представлялся широкий простор для полета фантазии.

— В три минуты лошадь подковал! — хвастал Умнов. — Теперь любому кузнецу нос утру!

— Убил муху! — отвечал презрительно Королев. — Ты вот попробуй, голуба, четырехпудовую гирю одной рукой выжать.

Накатников сидел обычно в дальнем конце спальни за учебниками. Изредка, в тех только случаях, когда хвастовство друзей нарушало допустимые границы, он вставлял язвительную фразу. На этот раз он дал короткую справку:

— Таких гирь не бывает.

Общежитие разразилось хохотом:

— Перехватил, Королев! Скости немного!

Допоздна не засиживались. Утомленные работой мускулы требовали отдыха. Станки, привезенные недавно в коммуну с Люблинского деревообделочного завода, прибавили забот. Парни начинали позевывать, озираться на кровати. Часам к двенадцати все укладывались. Тогда в общежитие осторожно заходил Мелихов. Стоя посреди комнаты, он слушал ровное Дыхание парней, смотрел, как разметались они в глубоком сне. Подчиняясь давнишней привычке, которая сложилась у Мелихова еще в детском доме, когда ему приходилось опекать малолетних воспитанников, он подходил неслышно к ближайшей койке и поправлял сползшее одеяло. Затем он пятился к двери, приостанавливался там, окидывал последним взглядом спальню и, потушив на полочке у входа забытую лампу «Молнию», удалялся.

Но бывали порой и очень тяжелые вечера. Словно приступ болезни охватывал вдруг болшевцев. Ничья рука не прикасалась к музыкальным инструментам, и они сиротливо висели на стенах. Молчали самые заядлые балагуры. Парни лежали одетыми на смятых постелях, нещадно курили. Серые, шинельного сукна одеяла, синеватая штукатурка на потолке, столы, табуретки — вся знакомая обстановка спальни казалась им в такие минуты ненавистной. В камере в подобные часы, вероятно, ругали бы надзирателей, режим, и это всем бы нравилось, развлекало бы всех. А здесь кого ругать? Погребинского, Мелихова, Богословского? Или дисциплину, конфликтную комиссию? Чепуха! Никто слушать не будет, язык ни у кого не повернется. Ведь законы здесь приняты ими самими. Предложения воспитателей утверждаются общими собраниями: «Тебе не нравится устав коммуны? Можешь итти на все четыре стороны. Воля! Удачная кража, дымный разгул…» Но тут воображение рисовало и другое: проплеванный шалман, вечный страх тюрьмы, отравляющий веселье убогих пирушек, пробуждения в милиции, больная с похмелья голова, жалкое отпирательство на допросах… Накипало непонятное раздражение на себя, на друзей.

Подмывает Беспалова встать с койки, ударить кулаком Петьку Красавчика по лицу. За что? Так. Противно глядеть на эти бездумные, едва мерцающие глаза. За то ударить, что подбривает Петька черные брови, красит идиотские губы и весь лоснится от пошлейшего форса. Пришел он в коммуну недавно. Успел уже со всеми перезнакомиться, всем дарит масляные улыбочки, порой отводит кого-нибудь в сторонку, что-то шепчет.

«И зачем таких гадючек пускают сюда?» — думает Беспалов.

Но подниматься Беспалову неохота, и он ограничивается неопределенным вопросом, адресованным неизвестно кому:

— А дальше что?

— Дальше мастером будешь, — подхватывает ехидно Петька. — Гляди, все лежат мрачные, а Умнов веселый: мне, дескать, что — я своего добился, мастерство знаю.

— Я тоже мастер… Не хуже Умнова, — вяло возражает Беспалов.

Но и от хвастовства ему не становится веселее.

— На углу Сретенки новый ресторан открылся, — сообщил для чего-то Петька. — Цыганский хор, кавказская кухня.

— И поеду! — сказал вдруг Беспалов.

— Как раз на углу, против него, — продолжал Красавчик, — добавочный милицейский пост.

— Не испугаешь! — кричал уже Беспалов. — Встану и пойду. Кто мне запретит?

Он действительно поднялся с кровати, принялся обуваться.

Все лениво и молча следили, чем кончится его затея. Лишь Красавчик отсоветовал:

— Очень далеко, Беспалов. Поближе бы где поискать…

Но Беспалов уже топал каблуками, вгоняя ноги в узкие сапоги. Он решительно зашагал к двери. На самом пороге неожиданно припал на левую ногу, остановился и скорчил гримасу:

— Опять колет!

— Так и знал — струсит, — уронил Красавчик и отвернулся к стене.

— Выдра! — завопил Беспалов. — У меня гвоздь из каблука вылез и второй день пятку колет. Я тебе покажу сейчас! Ты бы с таким гвоздем походил!..

Он сел на кровать, разулся, пошарил в сапоге рукой. Потом долго смотрел в раструб голенища. Над Беспаловым посмеялись и забыли про него. Насмешники выбрали новую мишень — Умнова. Начал издеваться все тот же Красавчик, заметив как бы между прочим:

— Не понимаю, отчего Беспалов охромел, вот если бы Умнев — тогда было бы понятно.

— А что случилось? — заинтересовались парни.

— Да ему Филипп Михайлович ноги давно обещал переломать.

Ни для кого не было секретом, что Умнов ухаживал за его дочкой.

— Верно, Умнов, набьет тебе папашка шишек!

Начиналось одно из тех беспощадных «добирательств», которые нередко являлись разрядкой накопленного беспредметного раздражения и злобы. «Добирательство» могло длиться целый вечер, могло кончиться дракой. Всесторонне оценивали качества возлюбленной Умнова, изображали в лицах, как происходят между ними свидания. Умнов отмалчивался, однако терпенье у него иссякало. Беспалов уже прикидывал — чью сторону принять, когда разгорится побоище.

Развязке помешал Мелихов. Он вошел не один. За ним шли два паренька; судя по внешности — московские, не из блатных.

Как и год тому назад, когда Федор Григорьевич представлял ребятам привезенных мастеров — дядю Павла и дядю Андрея, — он сделал рукой тот же широкий жест, сопроводив его почти теми же словами:

— Вот, приехали. Рекомендую: комсомольцы Калинин и Галанов.

Мелихов ушел, не объяснив цели приезда гостей.

Спальня безмолвствовала. Никто и вида не подал, что заинтересован с какой-либо стороны появлением комсомольцев, Даже любопытства не отразил ничей взгляд. Беспалов демонстративно повернулся спиной к приезжим и возобновил исследование внутренности сапога, опрокинув его над головой вниз голенищем.

— Что это у тебя, дружище, подзорная труба? — спросил один из приезжих, как выяснилось потом — Калинин.

Маленький, со вздернутым носиком на веснущатом лице, он выражал видом своим постоянную готовность что-то суетливо разузнавать, советовать, чем-нибудь распоряжаться. Он сразу повел себя точно хозяин:

— Галанов, ты чего, брат, стоишь у порога? Ты садись, нечего приглашения ждать.

Спутник его — рослый, в пальто с воротником и в громоздкой шапке — медлительно прошел к столу, сел и близоруко прищурился.

— Так чего ты, друг, через сапог рассматриваешь? — снова прицепился Калинин к Беспалову.

— Не видишь? Очки надень! — огрызнулся Беспалов.

— Я очков не ношу. В очках Галанов ходит. Чего, Галанов, очки не надел?

— Дужка надломилась, — ответил Галанов глубоким басом.

Однако слазил в карман, достал очки в громадном старомодном футляре, подышал на них, отдувая пухлые губы, протер, нацепил. Все это делал он солидно и медленно.

— Теперь видишь? — осведомился Калинин.

— Вижу, — подтвердил Галанов. Помолчав, он серьезно добавил:

— Этот парень, должно быть, звезды считает.

На дальней койке послышался чей-то сдержанный смешок.

«Погоди, сейчас отлакируют тебя, — подумал Умнов. — Что же никто не начнет?» удивлялся он.

Будто в ответ на его призыв вскочил Дима Смирнов. В белье и босиком он резво приплясывал на койке и кричал звонким голосом Калинину:

— Языкаст! А на велосипеде умеешь ездить? Небось, не умеешь? Ложись у нас спать, мы научим!

— Дорогой! — радостно воскликнул Калинин. — Я ученый! Как мне не знать!.. Ляжет в детском доме юноша вроде тебя спать, а молодцы, что постарше, нарежут бумаги, рассуют ему между пальцами на ногах и подпалят. Вот он и корчится.

— Грамотный, слов нет, — вмешался иронически Чума. — А ну-ка, скажи, много ли у тебя волос на голове?

— На двадцать два волоса больше, чем у тебя! Посчитай, если не веришь! — отпарировал Калинин.

— Ловко! Выходит, шапкой-то не сшибешь! — не удержался от похвалы Накатников.

Он уважал находчивость и острословие, от кого бы они ни исходили. К приезжим подошел танцующей походкой Красавчик.

— Не в этом дело, — ласково сказал он. — Вы бросьте с ними… Лучше давайте я вас научу, как стакан к потолку приморозить.

— Не трудитесь, — остановил его Калинин.

И объяснил, каким образом простак, желающий посмотреть этот фокус, оказывается облитым водой.

И ничем не удавалось его удивить или сконфузить. Он угадывал грубоватые шутки, которыми пытались одурачить его. Он вдвойне отвечал на любую остроту, знал массу поговорок, ходячих изречений, юмористических стихов.

Галанов невозмутимо наблюдал состязание своего приятеля с ватагой парней. Лишь по тому, как внимательно слушал он все, что говорилось кругом, можно было догадаться, что исход этого неравного поединка интересовал его.

Выждав момент, он пробасил:

— А вот я знаю один физический опыт с тем же стаканом воды. Похитрей будет, чем ваши фокусы!

Болшевцы заинтересовались. Они столпились вокруг этого малоразговорчивого детины. Галанов прикрыл стакан листом бумаги, крепко придавил его ладонью, быстро перевернул стакан, взял за донышко, и бумага не падала, вода не проливалась.

— Давление воздуха, — объяснил Накатников спокойно.

Галанов быстро повернулся к нему и спросил, удивив зрителей неожиданной живостью:

— Откуда знаешь?

— Много нам их показывали. На рабфаке учусь, — сказал Накатников.

— Он у нас студент, — похвастался миролюбиво Дима Смирнов.

Отношения как будто налаживались.

Калинин прошелся по комнате. Его внимание привлекли развешенные на стенах музыкальные инструменты.

— Ба, да у вас тут целый оркестр! — Он щипнул басовую струну гитары и слушал, как замирающе рокотала густая волна звука. — Страсть, люблю музыку. Жаль, не умею. Кто поиграет?

Тихий, мечтательный Костя Карелин взял мандолину и, садясь на табурет, смущенно вполголоса сообщил:

— Ноты еще плохо знаю. Так что…

Он заиграл какой-то старинный вальс.

Накатников стоял, прислонясь к стене, заложив руки за спину, и не спускал поблескивающего, несколько угрюмого взгляда с комсомольцев. «Себе на уме парни», думал он.

Резкий, сухой треск привлек его внимание. Музыка смолкла.

— Что у тебя там? — спросил Румянцев, приподнимаясь на локте.

— Струны плохи… Сразу две лопнули, — сообщил огорченно Карелин. — И запасных нет — все вышли. Давно бы нужно из Москвы привезти.

Маленький комсомолец встрепенулся:

— Нет струн — обойдемся без струн. Может, спляшем?.. Есть ведь плясуны. Давай! Кто со мной!

Ему не ответили.

— Довольно, Миша, на сегодня, — вмешался Галанов. — Пойдем спать — и хозяевам покой дадим.

Он сказал это таким тоном, что болшевцы поняли: есть у комсомольцев некое задание, и оно отчасти выполнено, а остальное отложено до другого раза.

«Темнят что-то», решили ребята.

Гости пожали руки ближайшим и направились к выходу.

— Эй, — неожиданно позвал Накатников, — погодите-ка минуточку!

Он догнал комсомольцев у самой двери. В коммуне знали резкую прямоту его характера. «Сейчас он их прояснять будет», подумал Румянцев и не ошибся.

— Вы зачем, собственно, приезжали-то? — громко спросил Накатников.

— А посмотреть, — ответил Калинин так быстро, словно давно был готов к такому вопросу. — Нам не раз в ГПУ говорили: «Интересный в коммуне народ, не худо бы вам побывать». «Давай, Женя, съездим», сказал я Галанову. Ну и поехали!.. — Калинин поднял невинные глаза на Накатникова. — А вы разве имеете что-нибудь против?

— Нет, что же, — хмуро ответил Накатников, отходя на прежнее место к стене.

— Спите, други, — пожелал Калинин и для чего-то добавил. — Мы тут в соседнем флигельке заночуем.

После ухода гостей в спальне долго стояла тишина. Первым поделился своими впечатлениями Умнов.

— Рукастые парни, — сказал он о комсомольцах, — если заняться с ними — толк из них выйдет.

— А вот зачем приехали? — многозначительно вставил Румянцев.

Красавчик, лениво раздеваясь на ночь, процедил:

— Они — доктора, вроде нашего Богословского. Зубы приехали заговаривать. «Политики». Просились мои кулаки об их скулы почесаться.

Румянцев вдруг соскочил с койки. Он и сам не отдавал себе отчета в том, что так взбесило его в словах Красавчика.

— Ты кто такой, откуда, цыганский барон! — кричал он, подбежав к Петьке. — Ты смотри с кулаками-то!

Красавчик снимал через голову гимнастерку, не видя Румянцева, а когда снял — попятился, защищая лицо руками:

— Опился, что ли? Уйди, говорю. Балда!..

— Закрывайся одеялом и не дыши! Дыхнешь раз — при всех говорю: изувечу.

— Дышать нельзя и не дышать нельзя: кругом смерть, — пытался отшутиться Красавчик, но послушался и лег.

Накатников молча взял Румянцева под руку и увел в коридор. Через несколько минут они вызвали туда же Карелина и о чем-то долго шептались.

Ночью комсомольцев разбудил осторожный стук в окно. На крыльце кто-то переступал с ноги на ногу, было слышно поскрипывание ступенек и глухой, сдержанный говор.

— Это они, Миша, — определил сразу Галанов. — Вот так фокусы… Дня не дождались…

— Одеваться, что ли? — раздумывал Калинин.

— Обязательно. Нехорошо расхристанным показываться.

Стук повторился более настойчиво. Галанов пошел отпирать.

Возвратился он, чиркая на ходу спичками, сопровождаемый тремя болшевцами. Они были в шинелях и буденновках…

— Где тут у вас лампа? — спросил один, в котором при неверном освещении Калинин узнал Накатникова.

Зажгли лампу. Двое других были Карелин и Румянцев. Карелин тихо говорил:

— В Москве, на Столешникевом переулке, есть небольшой такой музыкальный магазинчик. Там иногда бывают заграничные струны. Купили бы мне. Деньги у меня есть, заработал.

— Хорошо, куплю, — пообещал Галанов.

— Как вы их переправите сюда? — осведомился деловито Накатников. — В Москве-то мы не часто бываем.

— Может, еще собираетесь к нам заглянуть? — спросил Румянцев, приближаясь к Галанову. — Может, сами и привезете?

Наступило короткое молчание. Ребята ждали ответа, и в требовательном ожидании их чувствовалось нечто гораздо большее, нежели забота о заграничных струнах. Калинин раздумывал, как лучше ответить. Его опередил Галанов:

— Вот что, ребята! Я не знаю, за кого вы нас приняли и зачем пришли… Но могу вам прямо сказать: цель нашего приезда одна и очень простая. Вот вы говорите — в Москву вас пускают с оглядкой. Не Москвы жалко, а за вас опасаются. Знакомые ваши там… Известно, какой народ. К кому пойдешь? Вот мы и хотим с вами дружбу вести… Заглядывайте к нам. На Сретенке мы с Мишей живем. В клуб сходим, погуляем. Вот и вся наша цель. Струны мы вам припасем… Поищем хороших.

Галанов уже не выглядел больше меланхолическим простаком, каким казался в спальне.

— Не поедем мы к вам, — ворчливо сказал Румянцев.

— Это почему?..

— Какой вам с нами интерес… Калинин засмеялся:

— Мы-то вот к вам приехали — значит, нам интересно… Выходит, это у вас интереса нет.

— Нет, нам интересно, — вежливо возразил Накатников.

— На том и помиримся, — улыбнулся Галанов. — Интересно — так приезжайте, будем ждать.

Нельзя, однако, сказать, что расстались они закадычными друзьями.

Через две недели Галанов и Калинин снова ехали в Болшево. Установилась зима. День выдался мягкий, теплый, снег отсырел. По дороге со станции Калинин отстал немного, слепил крепкий снежок и предательски ударил товарища в спину. Галанов оборвал песню, пустился вдогонку за обидчиком. Настиг он его у самой коммуны, возле опушки леса, и подмял в сугроб. Он по-медвежьи ворчал над ним, сыпал за ворот снег.

После работы в мастерских ребята очищали дорожку от снега. Новые деревянные лопаты отсвечивали в их руках желтизной. Ослепительно белые комья летели в чащу елок. Они заметили комсомольцев. Некоторые приостановили работу.

— Политики наши балуются, — сказал Умнов.

Беспалов — знаток рукопашной — обеспокоился за судьбу Калинина:

— Коротышке не сдобровать.

Не утерпев, он крикнул ему:

— За ноги, за ноги! Эх, не может! — и Беспалов, бросив лопату, устремился на помощь.

За ним последовало еще несколько человек. Теперь Галанов барахтался в снегу, поверженный общими усилиями болшевцев.

— Пустите, дьяволы, очки у меня!

— В самом деле — очки раздавят, — сказал Накатников.

— Эй, вы там! Это что за драка — семеро на одного? Держись! — ободрил он Галанова. — Сейчас мы им всыпем.

Бой разгорался. Калинин вырвался из общей свалки:

— Это неорганизованно! Лупят, кого попало; не разберешь — кто свой, кто чужой. Давайте так: на два фронта. Одним командует товарищ Накатников, другим вот хоть бы вы… Ваша фамилия — Беспалов?

В команду к Беспалову попал и Галанов. Он ринулся на Накатникова с криком:

— Бей эстонскую буржуазию!

— Стой! — приостановился вдруг Накатников и, выронив заготовленный снежок, поднял руку:

— Почему — эстонскую? Я всякую ненавижу.

— Ты разве не читал сегодняшнюю газету? — удивился Галанов.

— Была охота.

— Здо-орово, — протянул комсомолец. — Разве у вас на рабфаке газет не читают?

— Что там стряслось? — заинтересовался Гуляев.

— А вот послушайте! — Галанов вытащил из кармана газету. — Эх, дьявол, размокла.

— Сами-то все перемокли! Да хватит возиться. Идем в спальню!

В комнате Галанов, поблескивая очками, говорил:

— Эстония, видите ли, очень маленькая страна. Всего-то населения в ней не больше, чем в Москве. Но буржуазия там такая же, как и везде. По приговору военно-полевого суда там расстреляно двадцать человек рабочих-революционеров и назначено к расстрелу еще семь…

— Да как они терпят? — вырвалось у Гуляева.

Даже Красавчик возмутился:

— Душа из них винтом! Они, шкуры, всегда так: сцапают нашего брата и сейчас же в ящик играть.

— Не путай, — съязвил Накатников. — Ты — урка, а те — революционеры и коммунисты…

— А я что — Ротшильд? — огрызнулся Красавчик.

На них зашипели:

— Дайте послушать!

— Да чего рассказывать, — сказал Галанов. — Читайте сами. В газете все есть… Вот хоть ты почитай. Для всех… — Он сунул газету подвернувшемуся Смирнову, тот уклонился:

— Я не псаломщик.

— Э, какой несговорчивый! Ладно — сам буду псаломщиком.

Галанов при общем молчании начал читать газету.

«По рассказам очевидцев горсточка повстанцев проявила необычайный героизм. Трое повстанцев напали на помещение

полицейского резерва, где находились двадцать пять полицейских, и, ворвавшись внутрь, бросили зажигательную бомбу, которая, однако, не взорвалась, так как попала на мягкую койку…»

— А, чорт, мазло! — не утерпел опять Гуляев.

Накатников услышал за спиной возбужденный шопот Румянцева:

— Смелый народ. Ведь знали, на что шли. Я раз приговора в тюрьме ожидал. Знаю — больше полугода не получу, а все равно страшно.

Разговор затянулся; ночевали комсомольцы, как и в первый раз, во флигеле. Утром болшевцы вышли проводить их до станции на лыжах.

Они шли, вспугивая длиннохвостых сорок. Лесное эхо многозвучно повторяло их громкие голоса.

Вдруг двое ребят, точно сговорившись, одновременно запели:

Жулик спит, а я томлюсь,
Разбудить его боюсь.
— Ах, мама!
— Что, дочка?
— Я жулика люблю.
Жулик станет воровать,
Я не буду ночку спать.
— Ах, мама!
— А?
— На вот.
Я жулика люблю!

— Это блатная, — сказал один из песенников, — понравилась?

— Мотив-то неплохой, — ответил задумчиво Галанов, — да слова дрянь. Придем на станцию, я скажу вам слова хороших песен, а вы запишите. Как-нибудь споем вместе.

Перед тем как сесть в вагон, Калинин вспомнил:

— Женя! Струны-то мы с тобой дома забыли. Придется Карелину к нам в Москву наведаться. Хороши больно струны-то…

Возвратившихся ребят Красавчик встретил смешком:

— Что, проводили? Небось, партмаксимум выгоняют за то, что трепаться сюда ездят!

Потом он обнял Беспалова за плечи, отвел его:

— Буржуи… Революция… Выпить бы сегодня, Беспалыч!

Беспалов тревожно оглянулся:

— Где?

— Тут недалечко.

— Да говори, где? — повторил Беспалов.

Петька игриво погрозил пальцем:

— Я пошутил, дурашка.

Он зашагал к обувной, распевая:

Я — вор-чародей, сын преступного мира,
Я — вор-чародей…

Накатников, придя со станции, направился к Богословскому.

— Слушайте, Сергей Петрович, — хмуро говорил он, прислонясь по своей любимой привычке к стене, — нехорошо: на всю коммуну — ни одной газеты…

— Почему — на всю? Я выписываю, Мелихов…

— А ребята — без газет…

— А что — хотят?

— Некоторые хотят, — уклончиво сказал Накатников.

Он не мог бы сказать, кто именно.

— А не хотят теперь — потом привыкнут, — добавил он.

С первого декабря выписали на общежитие пять газет, но читали их редко и преимущественно вслух.

Коммуна или шалман?

Однажды Карелин сказал Накатникову:

— Завтра я еду в Москву за нотами. Музыкальному кружку надоело играть одно и то же.

— Где возьмешь?

— Да вот — не знаю. Думаю, может, у наших политиков? Они безусловно достанут. Поедем со мной? Румянцева прихватим. Ведь они звали!..

Накатников не настолько увлекался музыкой, чтобы из-за нот ехать в город, но комсомольцев повидать хотел. Он решил сопровождать Карелина. На следующий день они получили отпуск и под вечер разыскивали в Москве на Сретенке Галанова и Калинина. Друзья жили вместе. Дверь болшевцам открыл Калинин. Он встретил их, не выражая особого восторга, словно считал это посещение делом обычным.

— А, болшевские, — сказал он, — пожалуйте! — и пошел вглубь просторной комнаты.

Галанов слегка кивнул вошедшим. Калинин с запальчивостью кричал:

— Ты не имеешь права так передергивать! Это уже не игра!

— Ты чудак! — возражал Галанов. — Говори прямо — запутался… Сколько раз бит?

Румянцев выразительно посмотрел на Накатникова. Накатников пожал неопределенно плечами. «Не понимаю, чего тут они не поделили». Он осмотрел комнату. Сизые волны табачного дыма колебались от пола до потолка. На столе в беспорядке лежали развернутые книги, смятые газеты.

Калинин безнадежно махнул рукой и повернулся к гостям.

— Посудите сами! Играли мы с ним в «викторину». Задает он мне вопросик: «Могут ли немецкие коммунисты получить при выборах большинство голосов в рейхстаге?» Ответ я дал такой: «Могли бы при определенных условиях». А он передернул и говорит, будто я сказал, что можно получить власть мирным путем. Это безобразие! — закипятился Калинин снова. — Вот погоди, я тебе вопросик придумаю.

«Стоило шуметь из-за этого», подумал Карелин.

— Ну, ладно, ладно, — успокаивал Галанов друга.

Калинин будто сейчас только понял, что перед ним — те самые болшевские ребята, которых он так настойчиво зазывал в гости. Он засуетился, усаживая их на диван, угощал папиросами, затем вынул из стола нарядную коробочку, передал Карелину:

— Вот тебе струны! Самые лучшие!

— Струны нам Сергей Петрович привез. Нот бы где-нибудь достать хороших! Новых — для оркестра.

— Достанем и нот… Где бы их… — Калинин задумался. — Галанов, сегодня у нас в клубе вечер; двинем все туда, там и нот раздобудем. Верно? Давайте тогда, собирайтесь, — затормошил он болшевцев, даже не ожидая их согласия.

Они пошли на Лубянку, в клуб ОГПУ. Дорогой Калинин говорил:

— Почему я так горячился? Дело в принципах, ребята… В убеждениях… Сами понимаете… Программа коммунистической партии, интересы рабочего класса для комсомольца — все!

Говорил он это так, словно между ним и болшевцами не существовало никакой разницы, будто болшевцы не были вчерашними жуликами и ворами.

И все-таки, как и тогда, в спальне, под звуки карелинской мандолины, Румянцев чувствовал — есть у комсомольцев какое-то превосходство, сближающее их друг с другом и отличающее от болшевцев. Знаний, что ли, у них больше? Не в том дело: Накатников знает гораздо больше Румянцева, однако Румянцев чувствует себя с ним вполне свободно. Вот Калинин говорит об убеждениях, о программе коммунистической партии. А есть ли какие-нибудь убеждения у Румянцева? Задумывался ли он когда-

нибудь над этим?

Скоро ему исполнится двадцать лет, а он и до сих пор не знает, зачем живет! Ищи фрайера, хватай, что плохо лежит, беги, если преследуют, отпирайся, когда уличают, скорее пропивай украденное, потому что могут поймать, — вот все, что знал Румянцев до сих пор, вот то, что заменяло ему убеждения и цель. Где-то люди работали, боролись, думали, но они-то и являлись «тютями», «коровами», «ишаками», которых вор должен обкрадывать и презирать. А намного ли он переменился в коммуне? Конечно, теперь он не крадет, он работает… Но разве не казалось ему всегда, что он как бы делает этим кому-то одолжение? «Хочешь, мол, чтобы я перестал воровать, так Дай мне все».

Румянцев ужаснулся: «Был я паразитом, им и остался…» Да, вот в чем разница между такими, как Румянцев, и комсомольцами. Вот идет с ними рядом Калинин, разговаривает, а сам, небось, думает: «Я комсомолец, я для всего рабочего класса стараюсь, себя не жалею, а вам своя шкура дороже всего». В клубе во всю длину лестницы лежал нарядный ковер. Накатников дернул Румянцева за рукав и свирепо прошептал:

— Снег на сапожищах, не видишь? Вон — у двери щетка лежит.

В главном зале клуба артисты лучших театров давали концерт. Много было пения, музыки, танцев. Небольшой узкогрудый человек, встряхивая длинными жидкими волосами, говорил монолог Фауста:

Мне станут ясны жизни тайны,
И, сняв их вечную печать,
Я буду истину вещать…

Румянцев насторожился. Ему хотелось скорее узнать, каким образом чтец достигнет ясного понимания жизни. Но через несколько минут декламатор горестно поник, развел руками:

Увы, мне не объять природы необъятной!

— Трепотня все, — раздраженно шепнул Румянцев Калинину.

Во время антракта зашли в фойе напиться чаю. Калинин объяснил:

— Старичок не тем ключом замок отпирал.

— А каким надо? — заинтересовался Накатников.

— Об этом за один присест не расскажешь. Давайте

организуем в коммуне кружок политграмоты и поговорим. Согласны?

— Подумаем, — ответил за всех Накатников.

Возвращались на вокзал болшевцы, молчаливые и раздраженные. В вагоне разговор тоже не клеился. На опушке болшевского леса тихий Карелин вдруг бросил ноты, свернутые трубкой, решительно заявил:

— К чорту! Не нужны они мне!..

— Подними, — строго приказал Накатников. — Люди хлопотали из-за тебя, к начальнику клуба ходили, а ты бросаешь.

Румянцев ткнул рукой в небо.

— Звезду видал? — спросил он Накатникова.

— Ну — видал…

— Вот так и нам до настоящих людей далеко! Никаких кружков! Не пойду!

Накатников рассвирепел. Сухой и подвижной, он крутился перед приятелями, кричал на весь лес:

— Ага! Струсили, тяжело стало. В шалмане легче? Пить, воровать легче! Шалишь! И кружок будет, и ходить будешь. Подними, Карелин, ноты, еще раз говорю!

Карелин поднял.

Политический кружок, организованный комсомольцами, занимался всю зиму. Занятия не прекратились и весной, растянулись на лето. Много времени ушло на изучение программы и устава комсомола. Метод учебы избран был самый простой, можно сказать, кустарный. Садился перед ребятами Галанов или Калинин и читал вслух:

«Все комсомольцы должны помнить, что они являются будущими членами авангарда рабочего класса, Российской коммунистической партии, и готовиться к достойному выполнению этой великой и трудной обязанности…»

— Накатников, — спрашивал руководитель, — объясни, что такое авангард.

— Передовая и самая лучшая часть пролетариата.

— Не только пролетариата, — поправляли его, — авангард может быть и у буржуазии.

— Не может, — отрицал упрямо и ненавидяще Накатников. — Не может быть у буржуазии лучшей части. Она вся одинаковая, вся сволочь.

Хаос бытия начинал укладываться для Румянцева в некие определенные формы. Раньше делил он людей на счастливых и неудачников, верил в предопределение: живет человек богато, значит, повезло. Но кто узнает, в какие годы, каким путем судьба положила ему счастье и положила ли вообще? Надо захватывать

удачу, пока не досталась она другому, ловить свой час. И вот люди торгуют, строят фабрики, грабят, убивают, просят милостыню, пашут землю, горбятся за станками. У каждого на роду — свое.

Теперь все выглядело по-иному. Оказывается, люди разделяются на классы. Все создается трудом, счастье людей в труде. Но кучка живоглотов превратила для большинства людей труд в кабалу. Нужно освободить мир от этих паразитов, любителей жить за чужой счет. Программа коммунистов и состоит в этом. Они поставили целью уничтожить капиталистов, устроить так, чтобы все на земле были сыты, одеты, обучены, счастливы. Тогда не будет нищих, не будет голодных, не будет воров… То, что сделано в СССР, будет сделано и во всем мире… Что же, это нравится Румянцеву, это правильно. Счастье — есть, но нужно завоевать счастье для всех, кто трудится.

В первое время на занятия кружка приходил и Беспалов. Частенько рядом с ним присаживался Петька Красавчик. Он отвлекал внимание соседей ужимками, усмешками. Больше других поддавался ему Беспалов.

Изобретательность Петьки по части срыва занятий была неиссякаема. Раздобыв где-то «Тарзана», он являлся с ним, растягивался во всю длину на скамейке и читал вслух.

— Перестань, Петька, мешаешь.

— Сейчас, только до точки…

Точка возникала на самой занимательной части страницы, когда герой оказывался в особенно интригующем положении, Красавчик прищуривался:

— Может, до конца главы почитать?

Кое-кто слабо возражал. Большинство решительно высказывалось:

— Гони до конца.

Возле Красавчика всегда находились двое адъютантов. Старик, щуплый, развинченный малый, с узкой грудью, кривыми ногами, и красноносый Гага, здоровый, тихий детина. Из конфликтной комиссии он давно выбыл. Они послушно выполняли всяческие прихоти Красавчика.

— Гага, вычисти мне сапоги, — приказывал Красавчик.

— Мази, Петька, нет, — заискивающе говорил Гага.

— Старик, достань мази.

Старик послушно бежал раздобывать у ребят мазь. Чем покупалась такая покорность — болшевцы не могли объяснить. Держался слух, что у Красавчика спрятан запасец кокаина, из которого он угощает Старика и Гагу. Слух подтверждался тем, что приятелей не раз видели осовелыми, с красными, точно у

кроликов, глазами.

Однажды на очередное занятие кружка Красавчик пришел особенно развязным.

— Что, здесь в лягавые запись идет? — осведомился он. — Запишите меня под первым номером.

Петька ухарски поклонился Беспалову:

— Главному комсомолу комсомолычу!

С приходом Галанова и Калинина Петька переставал кривляться, вел себя тихо и даже делал вид, будто слушал беседу.

— Вот вы недавно были ворами, — говорил Галанов. — Теперь с этим покончили. Работаете, имеете трудовой заработок… Кое-кто женился, обзаводится семьей… Это очень хорошо, товарищи… Но это не такая уж большая заслуга, как кажется кое-кому…

«Куда он гнет?» соображал Румянцев.

— Это вовсе не заслуга, товарищи, — продолжал Галанов. — Любой мещанин не ходит красть по квартирам… Однако каждый, вероятно, согласится, что хуже мещанина трудно что-нибудь найти…

«Это мы, что ли, выходит, мещане?» не понял Накатников. Он был готов обидеться. А Галанов продолжал:

— Только тот, кто не погряз в мелких житейских делишках, для кого не является самым главным в мире своя шкура, свое благополучие, для кого главное — интересы трудящихся и борьба за них, кто, как все честные рабочие, вместе со своим классом добивается новой, лучшей жизни для всех, — только тот настоящий человек.

И он говорил о поколениях революционеров, о партии большевиков, о Ленине и Сталине, героической работе большевиков во всех странах. И чем больше слушал его Румянцев, чем больше находил подтверждения своим мыслям, тем ярче чувствовал, что мало находиться в коммуне, а нужно, находясь в ней, быть не равнодушным обывателем, а борцом.

И все думали то же, что думал Румянцев. Галанов кончил и предложил обменяться мнениями. Ребята молчали. Слишком много поднималось мыслей, и трудно было одеть их в слова.

И тогда Красавчик шепнул на ухо Беспалову:

— Ну-ка, спроси, сколько судимостей позволяют иметь комсомольцу?

Беспалов покорно, не задумываясь, громко повторил этот вопрос.

Провокация Красавчика попала в цель.

Ребята притихли.

Давно уже среди них велись разговоры на тему о том, какую

конечную цель преследует кружок.

— Изучим устав и программу, а дальше что?

— Чего тебе? Просветлятся мозги и ладно.

Накатников знающе объяснял:

— Организуется из желающих ячейка комсомольцев, как бывает на всяком производстве.

Накатников говорил правду: так бывает на каждом производстве. Условия же коммуны, особенный состав слушателей Кружка требовали иного подхода к делу.

На вопрос Беспалова Галанов, ничего не подозревая, спокойно ответил:

— Член ВЛКСМ не имеет права ни на одну судимость.

И в тот же миг раздался голос Румянцева:

— Выходит, из нас — бывших воров — нельзя организовать ячейку?

Галанов потупился, смущенно протер очки. Калинин подтолкнул его локтем: «Эка, дернуло тебя». Но, с другой стороны, Галанов дал правильный ответ, не существовало никакого другого ответа!

— Тогда на кой же ляд вся эта волынка с кружком! — громко произнес Красавчик, точно именно ему больше всех нужна была ячейка.

Он немедленно покинул комнату. Вслед за ним удалились Гага и Старик. Беседа продолжалась, но болшевцы не выказывали к ней прежнего интереса. Сидели они вялые, равнодушные, для того лишь, чтобы не обидеть комсомольцев своим уходом.

Вечером производилась генеральная уборка общежития. Воспитанники мыли полы, выносили на солнце кровати, матрацы. Румянцев ожесточенно колотил палкой по одеялу, развешанному на веревке.

— В ячейку захотел? А сколько судимостей? Четыре? Мало! Стажа нехватает. Меньше чем с десятком — не принимают.

Накатников, сидя на пне, ожесточенно курил:

— А ты рад?

— Рад! Очень рад! — приговаривал с ожесточенным злорадством Румянцев при каждом ударе палкой. — Не суй нос. Он у тебя длинный. Откусят. Воры! Марафетчики! Так вас! Поделом!

За соседней толстой березой Умнов шептал возбужденно Красавчику:

— Петька, ты знаешь, где выпить: сведи пожалуйста. Загуляю теперь.

— Ты ведь — комсомолец, — измывался Петька. — Продашь!

— Гад буду!

Через несколько дней встревоженные комсомольцы явились за советом к Погребинскому. Они рассказали о вопросе Беспалова, о том, какое огорчение вызвал среди болшевцев ответ Галанова. Пожаловались на плохое культурное обслуживание коммуны: газеты, правда, выписаны, но в библиотеке очень мало хорошей беллетристики. «Мать» Горького, например, отсутствует, а «Тарзан» — ходит по рукам.

— Одни несчастья! — весело воскликнул Погребинский. — Ожидал, что с достижениями приедете, а у вас — кругом беда!

— Есть и положительное, — хмуро сообщил Галанов, не понимая, что было веселого в их рассказе.

Галанов стал говорить о хорошей посещаемости кружка, за которую, впрочем, нельзя больше поручиться. Потом рассказал последнюю новость: ребята поймали в продуктовой кладовке крысу, удавили ее на сосне и сделали надпись на клочке бумаги: «Смерть расхитителям коммунского и государственного достояния».

Погребинский расхохотался, восхищенно повторял:

— Смерть, говоришь, смерть? Замечательно! Раньше бы они тоже эту крысу повесили бы, только надписали бы иное: «Души лягавых», «Бей фрайеров» или что-нибудь в этом роде. А тут — пожалуйте: «Расхитителям коммунского достояния»… и даже «государственного»! Хорошо!

Он встал из-за большого письменного стола, прошелся по комнате и — уже серьезный — остановился рядом с комсомольцами:

— Так огорчились ребята? Значит, нужна им ячейка, хотят в нее. Радоваться надо, а вы носы повесили.

— Но ведь ячейку-то мы им дать все-таки не можем, — возразил Калинин.

— Это что за новость? — удивился Погребинский. — Что мы, пугливые тетушки, у которых руки дрожат при одном только слове «вор»?

Комсомольцы повеселели.

— Будет в коммуне ячейка, — твердо сказал Погребинский. — Я говорил уже в ЦК комсомола. Ведь многие болшевцы хоть завтра могут быть «выпущены», заслуживают того, чтобы с них была снята судимость. Почему же они не могут иметь ячейку?

Самый факт создания у них ячейки будет таким ярким выражением доверия, таким мощным средством перевоспитания, что было бы странно, если бы мы не пошли на это. На днях Чаплин сам обещал приехать в коммуну. Так-то, други. Чем расстраиваться, вы обратите вот на что внимание. —

Погребинский заговорил строже. — Найдутся среди болшевцев несознательные и прямые недоброжелатели, которые обязательно попробуют сорвать организацию ячейки. Вы думаете, случайно этот Красавчик юродствует? Нет ли за его спиной врага пострашнее? Беспалов-то снова запил? — неожиданно сказал он.

Комсомольцы удивились. Неужели он лучше их знает, что происходит в коммуне?

— Как запил?

— Очень просто, как запивают! Возвращайтесь-ка, друзья, в коммуну да помните, что я говорил. Организуйте покрепче вокруг себя активистов, подтягивайте отсталых.

Беспалов действительно запил. Он сидел на кровати, опустив плечи и голову, разбитый, расслабленный, будто у него размяк позвоночник.

Около пьяного возились Гуляев и Румянцев, пытались уложить его спать.

— Да замри ты, бусыга, стукну вот! — нервничал Румянцев. — Скоро комсомольцы приедут, а ты — хорош.

— Желаю на занятие, — мычал Беспалов. — Желаю с комсомолом говорить!..

На шумок постепенно собралась большая группа ребят. Одни осуждали пьяного, другие завидовали ему: «Наклюкался? Узнать бы — где!» И злорадствовали, что пьяным оказался один из кружковцев — тех самых, что организовали чтение газет, выпустили стенновку, в которой досталось многим неряхам в быту и лодырям в мастерских. «Подумаешь — отыскались учителя».

«Политики» действительно мало-помалу становились во главе коммунских организаций. Это вызывало недовольство отсталых, но с авторитетом кружковцев, с их внутренней спайкой, единством интересов не считаться было нельзя. Тем более было приятно всем недовольным, что пьяным оказался Беспалов.

— Не меньше двух бутылок комсомолец-то вылакал.

— Ему на старые дрожжи хватило и одной.

В комнате, где занимался обычно кружок, одиноко сидел Дима Смирнов.

— Где остальные ребята? — спросил Галанов.

— Не знаю, — смутился Дима.

— Может, в лес гулять ушли?

— Нет.

— Так где же? У нас важная новость.

— Сейчас придут.

Расстроенные, смущенные ребята оходились один за другим. Где-то вдалеке грохотал гром. Порывистый ветер хлопал

ставнями, открытыми рамами, перелистывал лежащие на столе журналы и шуршал газетами.

— Ребята! — торжественно начал Галанов. — Погребинский Сказал, что нам разрешат организовать ячейку.

Он ожидал шумного выражения радости, возбуждения, восклицаний. Но все молчали.

Румянцев угрюмо проворчал что-то. Галанову послышалось: «Нельзя нам разрешить…»

В чем дело? Что случилось с ребятами?

И именно в этот момент появился Беспалов. Оставшись один, он кое-как встал с кровати и с пьяным упорством поплелся на собрание кружка. Он покачивался в дверях между косяками, пытался засучить рукава, бормотал ругательства:

— Изобью! Подходи…

Накатников и Румянцев взяли его подмышки и поволокли. Он упирался, кричал, грозился.

Галанов смотрел на эту отвратительную возню с пьяным и тревожно думал: «Чорт знает что! Беспалов… Такой парень!..»

Теперь ему стало понятно настроение ребят. В коммуне действительно творится что-то неладное. Надо пойти к Мелихову и Богословскому, надо сегодня же поговорить с ними. Как жаль, что не приехал Калинин!

Вечером пьян был уже не один Беспалов, но и Старик и Гага. Они шлялись по лесу возле коммуны, орали песню:

— Я — вор-чародей, сын преступного мира.

Галанов поделился тревогой с Накатниковым:

— Ты, Миша, умный парень. Если дальше так пойдет, то не только с ячейкой — пожалуй, о коммуне бабушка надвое скажет. Надо меры принимать. Идем, потолкуем с Богословским.

Июльский вечер дышал после дождя теплой испариной, все-таки Накатников ежился, точно от холода.

— Меня агитировать не надо. — Он помолчал и хмуро сообщил — Напились — беда не самая большая. Хуже факты есть: в сапожной заготовки пропали. Боюсь — не на выпивку ли их утащили наши ребята.

На совещании у Богословского пришли к заключению, что водку достают где-то поблизости от коммуны.

В Болшевском станционном поселке недавно поселился некто Иван Позолота. Работал он раньше в Сокольниках ломовым извозчиком. Жена его продавала на рынке старье. Дочь с благословения родителей погуливала. Кое-кто из воспитанников коммуны знал его потому, что в прошлом Позолота кроме всех других дел еще и покупал у воров краденое. Уж не перебрался ли

он из Москвы для того, чтобы спокойнее заниматься темным ремеслом? Не он ли снабжает водкой ребят? Конечно, можно было выяснить это через уголовный розыск. Но хотелось привлечь к поискам и ликвидации шалмана самих болшевцев. Накатников сидел на совещании злой, молчаливый. Румянцев и Гуляев что-то шептали ему. Он утвердительно кивал им головой.

В праздничный день в коммуне состоялось общее собрание. Открыл его Накатников и предоставил слово Мелихову.

— Здесь ли Беспалов? — спросил громко Федор Григорьевич.

Беспалов сидел в последнем ряду, вялый, с тяжелой головой.

— А Старик?

Ни Старика, ни Гаги на собрании не оказалось. Мелихов продолжал:

— В коммуне появилась водка, кокаин. Скажи, Беспалов, откуда это? На какие деньги куплено?

Богословский напряженно теребил свою бороду.

«Как противоречиво идет все, — размышлял он. — Достали новое оборудование для мастерских, ребята начали учиться в Кружках, мечтают о ячейке. Рядом с этим, где-то совсем под €оком — вертеп. И вот борьба. Кто победит: шалман или коммуна? Сколько уже выдержано боев с врагами — и вот опять все сначала».

Мелихов говорил:

— Если в коммуну заглядывают ваши старые блатные приятели, снабжают вас водкой, — надо сейчас же заявить об этом. Мы их не тронем, мы только предложим им не заглядывать больше в пределы коммуны. Но по нашим сведениям напиваются где-то на стороне. Где именно?

Никто не проронил ни слова.

— Хорошо. Предположим, вы молчите не потому, что не хотите сказать, а потому, что не знаете. Допустим. Но всем хорошо известно, что напивается Беспалов. Ты приносил, Беспалов, водку в коммуну?

Тот приподнялся с места и стоял молча, тупо уставясь в противоположную стену.

— Что же ты молчишь?

Беспалов переступил с ноги на ногу:

— Я… не приносил в коммуну водки.

— Где же ты напиваешься?

Молчание.

— Ты ездил в Москву?

— Нет.

— Костинские мужички расщедрились на угощение?

— Нет.

— Куда же ты ходишь пить?

— Беспалов, пес чумазый! — воскликнул вдруг Новиков. — Чего же ты молчишь? Сколько ночей вместе коротали, а теперь против коммуны пошел!

Искренное, простодушное восклицание, в котором все услышали боль за товарища, за коммуну, всколыхнуло людей. Перебивая друг друга, заговорили Гуляев, Умнов, Румянцев. К самому столу прорвался Калдыба. Он колотил себя в грудь, хрипел:

— Заготовки пропали, напильники пропали!.. Я работать не могу. У меня заработок не выходит. Я себе костюм приторговал, на что теперь куплю? Беспалов, я удавлю тебя рядом с крысой, на той же сосне.

— Я не крал, — тихо, но убедительно сказал Беспалов.

— Кто ворует?

Беспалов не сказал.

Коммунары первых наборов говорили о том, сколько труда положено ими на создание коммуны, о том, как дорога и нужна стала она каждому, призывали новичков беречь ее, как свой родной дом.

Богословский с большим удовлетворением слушал эти речи. Ему думалось: «Разве Гуляевы, Румянцевы, Умновы, Накатниковы были раньше такими, как теперь? Есть на кого опереться».

И, словно подтверждая его мысли, опять поднялся Мелихов, заговорил:

— Слышали, что говорят ваши же товарищи? Коммуну не раз пытались превратить в шалман — не вышло и не выйдет. Не позволим. Не дадим, сколько бы ни старались молодчики вроде вот этого, — закончил Мелихов, указывая на Красавчика.

Красавчик поднял голову, желая поглядеть, на кого указывает Мелихов. Но глаза всех ребят были устремлены на него. Красавчик подумал, встал и ушел с собрания. В коммуне его больше не видели.

После собрания Сергей Петрович видел Гагу разговаривающим с Беспаловым. Ему послышалось, будто они уславливались куда-то пойти. В этот день к вечеру снова обнаружилось четверо пьяных.

Румянцеву было не по себе. Он допоздна бродил в окрестностях коммуны, шепча любимое стихотворение: «Будет буря! Мы поспорим, и поборемся мы с ней». Ночной ветерок легонько покачивал верхушки деревьев. У многолетней корявой березы, где так любили собираться болшевцы, Румянцев неожиданно встретил Беспалова. Он стоял без фуражки, прислонясь к стволу березы. Волосы его были растрепаны, рот

широко открыт. — Беспалов, — сказал Румянцев, — что ты делаешь? Воровство, пьянство… Никогда нам теперь не разрешат ячейку. Зачем ты делаешь это?

— Уйди! Комиссарить захотелось?

Непреодолимое желание ударить по тупому, пьяному лицу овладело Румянцевым. Он сдержался, переменил тон:

— Ты хоть со старыми товарищами пил бы, а то нашел каких-то… Позвал бы меня.

Мутные глаза Беспалова оживились пьяным лукавством:

— А пойдешь?

— Пойду! — обрадовался Румянцев. — Скажи только — куда.

Непокорные пальцы Баспалова долго пытались сложиться в кукиш, но им не удалось это. Тогда Беспалов высунул широкий язык, скорчил гримасу и сказал:

— Видел? Поищи в другом лесу дураков, а здесь не растут.

Утром выяснилось, что из коммуны ушел Старик. Под изголовьем на аккуратно свернутой казенной одежде нашли записку:

«Саскучаса по воли, прощайти».

Безграмотная строчка написана на куске оторванного от какой-то книги переплета. Она читалась, точно записка самоубийцы.

Румянцев долго вертел в руках маленький кусок картона. За спиной Румянцева возбужденно, скороговоркой кто-то частил:

— Надо в Москву ехать. Я знаю, где Старик бывает. Мы найдем его, — говорил Дима Смирнов. С зимы, когда приехали Комсомольцы, парень значительно вырос, возмужал.

— В Москву ехать? — переспросил Румянцев. — В этом ли дело! Сегодня Старика сманили, завтра Беспалова, а там еще кого. — Румянцев неуклюже замахнулся картонкой, точно она была тяжела, как камень. — С барыгой надо кончать… Вот что!.. С болшевской малиной. Теперь-то я уже разузнал все!..

Записка, плавно описав полукруг в воздухе, легла у ног Смирнова.

— Шалману, барыге голову свернуть… — Румянцев отошел, стараясь подавить возбуждение.

Смирнов нагнулся за картонкой. Поднимая ее, он произнес натужно, будто и на самом деле была она тяжелой:

— Не один ты знаешь.

Вбежал взволнованный Калдыба, крича:

— Доработались! Мало заготовок с напильниками — теперь мотор утащили!

— Какой мотор? Откуда? — зашумели ребята.

— Который для водокачки приготовили. В будке стоял. —

Калдыба жалобно и негодующе оглядел ребят. — Что же это, братцы, такое?

Накатников решительно шагнул к двери;

— Пошли!

— Куда?

— К барыге, к Позолоте!

Калдыба бросился за ним:

— Ты мне покажи только, где он! Я его своими руками… Мне ведь одеться надо, не то что в Москву — в Костино хоть не показывайся.

— Надо бы с Мелиховым посоветоваться, — предложил Гуляев.

Федор Григорьевич несколько охладил пыл ребят:

— То, что вы решили указать шалман, — это превосходно. Но мы не угрозыск и не милиция. Мы не имеем права самочинно его ликвидировать.

Решили вызвать агента уголовного розыска.

Плохо работалось в этот день болшевцам в мастерских. Часто выбегали они посмотреть, высоко ли еще солнце, не появился ли кто из Москвы у Мелихова.

Но вот начали удлиняться тени деревьев. Прошло костинское стадо. Кое-где зажглись огоньки. Подошел из Москвы вечерний поезд.

Агенты уголовного розыска приехали в коммуну вечером. Приехал хорошо знакомый многим болшевцам сотрудник МУУРа «Роман Романыч» с голубоглазым, чистеньким помощником. Агенты осмотрели мастерские, побывали в красном уголке и в клубе.

Роман Романович производил впечатление человека, всегда куда-то торопящегося. Немного сутулый, он шагал быстро и четко, папиросы из кожаного портсигара доставал и подносил ко рту в несколько приемов, заученными движениями. И еще была у него привычка трогать все вещи вокруг себя. Товарищ его выглядел застенчиво, легко краснел; не верилось, что он работник угрозыска. Только маузер, оттопыривавший правый карман, свидетельствовал о хлопотном и опасном его труде.

До двух часов ночи агенты сидели на крыльце общежития с теми из коммунаров, которые вызвались помочь им ликвидировать притон.

Ребята с любопытством присматривались к Роману Романовичу. Каждый из них в прошлом немало слыхал о нем, боялся его как опасного, сильного врага. А вот теперь человек этот сидит рядом с ними, сидит как с товарищами, прикуривает от папиросы Овчинникова, шутит и смеется в ответ на шутки

ребят, а главное — у него и у коммунаров общее дело.

Подул предрассветный ветерок. Роман Романович застегнул плащ на все пуговицы и сошел с крыльца:

— Пора, идемте…

Агент зашагал к станции, наклоняясь вперед, сопротивляясь порывам ветра.

Румянцев отстал от товарищей. Глубоко засунув руки в рукава шинели, он старался одолеть внутреннюю дрожь. Впервые за все время своей жизни в коммуне он был так взволнован. Да и не только он. Конечно, урки всегда не любили «барышников». Но самим указывать, самим итти ловить! Это неслыханно! Этого никогда не было. Завтра весть об этом залетит в каждый шалман. Будут знать все — кто был, с кем, когда. И разве мало есть даже в коммуне таких, которые и сейчас пробуют исподтишка травить «политиков». То, что они делают сегодня, блат не простит никогда. И Румянцев даже подумал, не отказаться ли ему от участия в ликвидации притона. Потом он вспомнил о скором приезде Чаплина, подумал, что, вероятно, Чаплину расскажут, как ликвидировали притон, кто участвовал в этом, подумал, что прошлая жизнь умерла. Пусть! Пусть ненавидит тот, кто не порвал еще с шалманом. Пусть пытаются мстить — Румянцев не обыватель. Румянцев не должен, не будет бояться этого. Он догнал ребят и стал прислушиваться к словам Романа Романовича.

— Мы с вами разделимся на две группы: одни останутся в начале улицы, другие со мной пройдут к дому. Если кто вздумает побежать, чтобы не проскользнул… А ты? — Он взглянул на помощника. — Ты встанешь у окна. Условие: не суетиться и не бояться, «барыга» ничего не сделает, новой статьи не захочет. Значит, все будет, как нужно.

Напротив церкви, белеющей в ночи, Роман Романович закурил, разделил свой отряд и подошел к крыльцу лачуги. В руке его вспыхивал и замирал электрический фонарь.

Румянцев напряженно следил за агентом. Было слышно, как тот постучался. Вероятно, в правой его руке — маузер.

— Эй, отворяйте! — крикнул Роман Романович и, перегнувшись через перила, что-то неразборчиво сказал своему помощнику.

Тот подошел к окошку и, несколько раз звонко стукнув в стекло, отбежал на середину улицы.

— Эй, дядя! Открывай-ка! — дергал Роман Романович дверную ручку.

Дверь скрипнула.

— Здравствуй, Маруся, — шутливо крикнул Роман

Романович. — Где супруг-то?

— Нету, какого дьявола ночью? — сказала невидимая Румянцеву женщина.

Последовала глухая короткая возня. «Закрывает дверь, не хочет пускать», сообразил Румянцев.

— Что же это ты? — донесся издалека шутливый голос агента. — Небось, старые знакомые. Что, не обрадовалась? Заходите, ребята.

Коммунары заполнили сени, комнатушку. Они принялись обшаривать все углы, заглянули даже в подполье.

— Есть! — донесся из чулана ликующий голос Калдыбы. — Есть напильники!

— А где заготовки?.. Сбыл уже, что ли? Вот я ему этими напильниками…

Но Роман Романович никому не позволил трогать «барыгу».

В коммуну вернулись утром, когда затянутое облаками небо побелело, а на земле наметились от деревьев чуть видимые тени.

Румянцев сидел на табуретке с закрытыми глазами и, покачиваясь, устало слушал, как Гуляев шопотом, боясь разбудить спящих, рассказывал Диме Смирнову об аресте Позолоты.

Румянцев, не раздеваясь, прилег на койку. Ни о чем не хотелось думать, было приятно лежать, отдыхать, закинув руки.

И когда Осминкин, физкультурник коммуны, разбудил его, Румянцев не знал, сколько проспал — может быть, сутки.

— Вставай, — тормошил его Осминкин. — Из ЦК комсомола приехали. Вставай, слышишь?

Румянцев, приглаживая на бегу волосы, первый вбежал в просторную новую кузницу. Замирающий огонь у притушенных горнов бросал слабые темно-вишневые отблески на синие от копоти стены.

Около левого горна Умнов разбивал ноздреватый шлак.

— Комсомольцы из Москвы здесь были? — спросил Румянцев.

Умнов приподнял раскрасневшееся лицо.

— Из Москвы, спрашиваю, были здесь?

— А! Да… В сапожную с ребятами ушли.

Но и в сапожной Чаплина уже не оказалось.

Раздосадованный Румянцев вышел из мастерской и соображал, куда теперь пойти. Не отстававший от него Осминкин с размаху ударил ногой воображаемый футбольный мяч: последние недели парень изучал датский прием.

Со стороны клуба, размахивая руками, бежал Накатников.

— Мишка! — окликнул его Румянцев.

Накатников точно споткнулся и круто повернул к

мастерским.

— Будет! — восторженно кричал он. — Ячейка будет. Сейчас Чаплин сказал! В день МЮДа — открытие. Будет ячейка!

Накатников был без шапки. На возбужденном, сияющем его лице резкие черты смягчились. Он говорил без конца, смеялся. Румянцев чувствовал, как с него спадает тяжесть, которая беспричинно давила его с первых дней знакомства с комсомольцами. Никогда еще не было ему так легко, так хорошо.

В штрафной комнате Беспалов от нечего делать малевал на листе александрийской бумаги лозунг для клуба:

«Помните:
Не курите в комнате».

Подарок

Эмиль Каминский жил в коммуне уже несколько месяцев. Работал в обувной мастерской закройщиком, сытно обедал, спал на чистых простынях — о такой жизни он-мечтал в тюрьме. Но он не чувствовал себя счастливым. Чего-то недоставало — быть может, самого главного.

Он не думал о побеге — привык к коммуне, втянулся в ее быт, и, вероятно, оттого, что в прежней жизни приходилось поневоле бывать неряшливым, он любил хорошо одеться, щегольнуть чистым воротничком, нарядным галстуком. За это он и получил в коммуне прозвище «интеллигента».

Как-то еще в первые месяцы своей жизни в коммуне он зашел за рубашкой, отданной в стирку. Он никак не мог отыскать ее в стопках выстиранного белья, аккуратно разложенных на табуретках и подоконниках.

— Я тебе давал голубую! — кричал он тете Дуне, женщине, стиравшей воспитанникам коммуны.

Тетя Дуня большими красными руками перебирала белье, лениво помогая искать.

— Не кричи, — говорила она спокойно. — Зачем кричать? Найдется твоя рубаха.

Однако она не больно верила в это, потому что привыкла к постоянному крику ребят, старавшихся выбрать себе белье поновее, получше.

Дверь с улицы со звоном распахнулась. В облаке морозного пара в комнату ввалился Третьяков и тотчас же поднял крик.

— Ты мне чужих кальсон не суй! — орал он. — У меня с пуговицами внизу, а тут штрипки 1..

— Это верно, что штрипки, — миролюбиво согласилась тетя

Дуня, — только штрипки лучше.

Эмиль увидел чью-то полотняную косоворотку, отливающую легкой голубизной, и залюбовался ею.

«Чем я хуже? — подумал он. — Возьму я эту рубашку и конец. Ты мою, я твою. Коммуна!» — поддержал он себя «идейными» соображениями.

Осторожно вытащив косоворотку, он небрежным жестом кинул ее поверх остального своего белья.

— Нашел? — спросила его тетя Дуня.

— Да, — хмуро ответил Эмиль.

— Ну вот, а кричал сколько! Не пропадет твоя рубашка, — нравоучительно сказала она.

Наутро Эмиль забежал по делу к Сергею Петровичу. Еще в передней он услышал негодующий голос тети Дуни.

— Мыло! — кричала она. — Разве можно стирать этим мылом! Это не мыло, а дрянь! Дрянь, а не мыло! Я прямо в глаза ему скажу!

Видимо, она говорила о завхозе.

«Кричит старуха, — подумал Эмиль, — знает: поорешь — смотришь, и добился своего! Так и надо, — одобрил он, — главное в деле — заинтересованность!»

Богословский сидел на диване рядом с Накатниковым и разговаривал с ним. Накатников поздоровался с Эмилем.

— Постой, постой, — внезапно сказал он, поднимаясь. — Ты где рубашку взял? Это же моя рубашка, — проговорил он с удивлением.

— Как бы не так, — презрительно ответил Эмиль.

Не будь здесь Сергея Петровича, он бы, вероятно, не стал отпираться. Но сознаваться при Богословском было стыдно.

— Слава тебе, господи, полгода ношу, — сказал Эмиль нарочито равнодушным голосом.

— Да это моя белая рубашка! — вскипел Накатников.

— Твоя белая, а это голубая, — веско ответил Эмиль.

— Так это голубизна от синьки!

— От природы, — спокойно поправил его Эмиль и твердо Добавил: — От синьки рубашки не голубеют!

— Тетя Дуня! — завопил Накатников, словно она была не рядом, а в соседней квартире. — Тетя Дуня, скажи ему, что рубашки от синьки голубеют!

Тетя Дуня лениво обернулась и ответила неопределенно.

— Все бывает… Взять, к примеру, мыло, — начала она, сразу вскипая. — От плохого мыла, может, материал портится!

— Ну, это уж ты придумала, — спокойно сказал Сергей Петрович.

— Может, и придумала, — согласилась она, — и придумаешь, когда такое мыло!

— Моя рубаха, — глухо сказал Накатников, побледнев от сдерживаемой злости.

— Да ты чего орешь! — взорвался Эмиль, почувствовав себя обиженным. — Нравится рубаха — попроси! Может, подарю…

— Мою же рубаху? — растерялся от такой наглости Накатников. — Много я видел, Эмиль, но такого…

Его оборвал Сергей Петрович:

— Не стыдно вам, ребята, из-за чепухи!

— Пристает, — извиняющимся тоном сказал Эмиль, кивнув в сторону Накатникова, и добавил презрительно: — Активист еще…

На общем собрании коммуны стоял вопрос о бельевой комиссии. С докладом выступал Накатников. «Скажет или не скажет?» думал Эмиль.

— Очень часто у нас бывает, что ребята во время стирки свое корявое бельишко обменивают на чужое — получше, — говорил Накатников.

«Скажет», понял Эмиль, сразу насторожившись. Он начал обдумывать резкий ответ, оглядывая с тоской лица товарищей, но в голову лезла всякая чепуха.

— …Такие случаи у нас нередки, — продолжал Накатников. — Отдал, например, я в стирку рубаху-косоворотку…

«Начинается!» Эмиль растерянно опустил глаза. Где-то в конце притихшего зала звучно и весело стреляли дрова в печке.

— …Увидел я свою рубаху на одном парне. Спрашиваю: как так — у тебя? А он утверждает, что это его. Уперся, и все тут!.. Необходимо, товарищи, с этими обменами покончить…

«Неужели не скажет?» Эмилю показалось, что на него смотрит Богословский. Он вскинул глаза. Сергей Петрович и впрямь глядел на него.

— …И вот я предлагаю, чтобы прекратить эти безобразия, председателем бельевой комиссии выбрать молодого воспитанника, не загруженного общественной работой, активного парня…

«Не скажет!» с облегчением вздохнул Эмиль.

— Я предлагаю кандидатуру Каминского Эмиля! — закончил Накатников.

Эмиль даже привстал от удивления.

«Смеется», подумал он со злобой.

Но уже из выступления Богословского Эмиль понял: это серьезно.

Сергей Петрович говорил, что Эмиль самый чистоплотный

член коммуны и что ребятам неплохо бы брать с него пример.

Гордый неожиданно свалившейся на него ответственностью, Эмиль мучился два дня, размышляя о том, как бы покончить с обменом белья, о котором говорил Накатников.

Прежде этими делами ведала тетя Сима. Как у нее получалось, что белье не обменивали? Впрочем, тогда и ребят в коммуне было меньше. Тетя Сима все же могла что-нибудь посоветовать. Но она в коммуне не работала уже несколько месяцев. Эмилю надо было придумывать что-то одному.

Он вспомнил, что белье в прачечных метят красными нитками. Это очень удобно. Когда-то на базаре он видел готовые вышитые номерки. Он съездил за номерками для белья в Москву и на целый вечер сделался неограниченным хозяином коммуны. Бродя из спальни в спальню и раздавая номерки, он обязывал болшевцев сегодня же пришить их к своему белью. Потом, задрав ноги на железную спинку своей кровати, Эмиль лежал поверх одеяла и сосредоточенно протыкал иголкой уголок мохнатого полотенца. Товарищи сидели на своих койках с рубахами и кальсонами в руках.

От раскаленной печи шел жар. Было уютно и тепло. Ребята разговаривали вполголоса о своем детстве. Быть может, нитки и иголки напоминали им матерей, штопавших чулки, вязавших варежки длинными зимними вечерами.

Жизнь, давным давно забытая, неожиданно выплыла из темноты и наполнила комнату своим дыханием.

Эмиль бросил иглу и полотенце и закрыл глаза.

Мачеха старалась, чтоб он поменьше бывал дома. Отец не смел ей противоречить.

Больше всего Эмилю запомнилась унизительная картина: отец Эмиля стоит у крыльца и подобострастно кланяется коннику из григорьевской банды, которая ночью захватила Елисаветград. Конник с прядью черных цыганских волос на лбу манит его пальцем:

— Гей, ты! Подойди до меня!

Отец все кланяется и прыгающими губами пытается что-то сказать.

— Портняжишь? — спросил конник. — А ну, пошей зараз хлопцам двадцать жупанов!

Много видел Эмиль за эти страшные дни. Он с утра до ночи бродил по городу, оглушенному бесшабашной гульбой бандитов.

Пили, дрались, расстреливали, вешали, пороли, взламывали подвалы, разбрасывали с двуколок отрезы ситца и мотки Кружев; моряки танцовали на улицах «Яблочко»; бандиты в богатых, подбитых белым мехом венгерках и в цветных жупанах ходили

по-двое и по-трое в обнимку и всех встречных заставляли кричать: «Хай живе щира Украина».

Гульбище окончилось так же неожиданно и сразу, как началось. В Елисаветград ворвались прошедшие с боями из-под Одессы красные части под командой Щаденко. Дальше наступило лучшее время, какое было в жизни Эмиля.

«Борец за свободу» — блиндированный поезд, сделанный из обшитых шпалами пульмановских товарных вагонов, — стоял на запасном пути.

На жирной от мазута земле сидел командир поезда. Его матросская шинель с белыми кантами была ладно перехвачена ремнем, на котором сияла начищенная бляха.

Вокруг топтались городские ребята и упрашивали взять их на фронт. Среди них был Эмиль со своим новым товарищем Ванюшкой Шатуновым.

В темных глазах командира светились веселые огоньки. Отечески пожурив ребят за бродяжничество и хулиганство, он все-таки распорядился:

— Зачислить в десант!

Две с половиной недели, проведенные в бронепоезде, прошли быстро. Изо дня в день росло у Эмиля неиспытанное чувство теплоты и уважения к человеку.

Веселый, спокойный, с глазами, светящимися из-под козырька морской фуражки, командир обходил поезд, внимательно оглядывал тормоза, броню и орудия, распекал артиллеристов, бойцов и железнодорожных служащих. Похлопав широкой ладонью по стенке вагона, он говорил ласково:

— Эх ты, старуха-разруха!

Эмилю он казался олицетворением силы, ума и красоты.

Под Новоукраинкой бронепоезд вел трехчасовой бой с бандой Тютюника.

Командир совсем по-домашнему сидел на крыше пульмана и оттуда руководил орудиями. Его уверенный голос доносился из специально прорезанного в потолке иллюминатора:

— Прицел ноль сто шесть… Огонь!.. Чуть перелет… Давай ниже… Ага, хорош!..

Закрывая светлый кружок неба, на секунду в отверстии показывалось посиневшее от ветра лицо командира.

— Все померло! — шутливо сообщал он артиллеристам и продолжал управлять боем.

Быть может, Эмиль прошел бы с бронепоездом весь польский фронт и с непокрытой головой стоял бы над свежезасыпанной могилой убитого командира.

Быть может, дождливой осенней ночью наступал бы с

десантным отрядом на Махно, а после окончания гражданской войны ехал бы по мандату в пассажирском поезде на курсы командиров. Все, вероятно, произошло бы именно так, если бы Эмиль не заболел сыпняком. Его сняли с бронепоезда и в беспамятстве положили в холодный, наспех сколоченный барак какого-то армейского госпиталя. Там провалялся он три недели и, едва оправившись, совсем еще слабый, явился домой.

Отец и мачеха жили плохо, впроголодь.

Мачеха встретила Эмиля неприветливо:

— Явился… Что ж тебя «товарищи» не кормят? Свобода, а хлеба и на золото не купишь.

Эмиль шлялся по городу, домой приходил голодный и злой. Мачеха каждый кусок сопровождала попреками.

Поиски заработка привели Эмиля на базар, к ветхой вылинялой карусели. Здесь за гроши он вместе с такими же голодными сорванцами вертел карусель, здесь он познакомился с Давыдкой Кренделем, а через него — с «байстрюками». Это были мелкие воришки и хулиганы. Они как раз подготовляли какое-то «дело» и пригласили Эмиля. Он согласился.

«Брали» склад с посудой. Эмиль стоял «на стреме». Все обошлось хорошо и гладко. Возвращались по ночным улицам, волоча за плечами тяжелые мешки, подкладывая под них шапки, чтобы посуда не резала спину. Давыдка Крендель с показной смелостью горланил на всю улицу:

Эх, времечко прекрасное,
Настала жизнь опасная,
Бандиты раздевают догола…

Потом вместе с новыми товарищами Эмиль перебрался в Москву. Здесь удобнее красть. Тюрьма, опять кражи, опять тюрьма. В Бутырках впервые он услышал разговоры о Болшеве. Заявление о приеме в коммуну он послал тайно от товарищей. Был почему-то уверен, что не примут. Оказалось — приняли.

После истории с бельем прошло несколько месяцев.

Эмиль однажды бродил по лесу. Он думал о себе, о своей жизни. Вот женится он, дадут квартиру, детишки пойдут мал-мала меньше… А дальше? Что будет дальше?

Сквозь просвет между деревьями, задернутый прозрачной сеткой роящихся в воздухе мошек, Эмиль увидел бежавшего по дороге Серегу Третьякова и окликнул его.

— Крупская с Ягодой приехали! — прокричал ему на ходу приятель и побежал дальше.

Эмиль бросился вслед за ним.

Гостей они нашли внутри бывшего крафтовского особняка, в комнате конфликтной комиссии.

Надежда Константиновна, такая знакомая по портретам, стояла, облокотясь о подоконник, и негромко разговаривала с воспитанниками. Эмиль пробежал глазами по лицам товарищей — Накатников, Гуляев, Осминкин…

В окно заплывал запах свежей хвои и листьев.

Надежда Константиновна рассказала, как зимой 1921/22 года в этой комнате жил Ильич.

Он приехал сюда отдыхать. Чувствовал себя неважно, плохо спал, уставал.

Надежда Константиновна приезжала к Ильичу. Гуляла с ним, увязая в занесенных снегом канавках.

— Хорошо было ходить по красивой лесной дороге, — говорила она задумчиво.

Болшевцы стояли молча вокруг товарища Ягоды. Эмиль взглянул на портрет Ильича, висевший на стене, и вдруг ясно, до мельчайших подробностей представил себе живого Ленина, еще недавно здесь работавшего, здесь дышавшего, здесь мечтавшего о замечательных вещах.

Как он раньше не знал, что здесь жил Ленин? Почему никто не написал этого на дверях большими сияющими буквами?

Комната была как комната. Бывало, Эмиль ходил сюда слушать, как разбирали дела болшевцев, сидел на этом подоконнике.

Он посмотрел на свои покрытые пылью сапоги, отошел к двери, стараясь не шуметь, и поскреб о порог подошвы.

Около портрета Ильича висела на стене маленькая подковка, выкованная в коммунской кузнице Умновым. Надежда Константиновна осторожно тронула ее пальцем и сказала о уважением:

— Маленькую выковать труднее, чем большую…

Эмилю стало жалко, прямо обидно, что не он ее выковал. Он сейчас снял бы ее, протянул и сказал бы: «Надежда Константиновна! Примите от бывшего правонарушителя».

Но ведь он закройщик. Неожиданная мысль обожгла его.

И когда Ягода и Крупская, сопровождаемые ребятами, пошли осматривать мастерские, Эмиль, обогнав всех, задыхаясь от волнения и бега, полетел в обувную.

Утренняя смена еще работала. Синяя спецовка Румянцева, как всегда, висела над дверью и хлестнула Эмиля полой по лицу.

— Ребята! — заорал Эмиль, срывая спецовку и откидывая ее в угол. — Сошьем туфли Крупской!

— Есть туфли! — добродушно ответил Румянцев.

Ягода и Крупская вошли в обувную. За ними толпой двигались болшевцы.

Эмиль торопливо взял карандаш у Румянцева.

— Надежда Константиновна! — начал он торжественно и сразу же смутился оттого, что сгоряча прервал слова говорившего директора мастерской.

Все обернулись к нему.

— В общем постановили снять с вас мерку!.. — выговорил Эмиль залпом.

Спустя час вокруг Эмиля, кроившего кожу для туфель, тесно стояли ребята. Они критически глядели на его работу, давали советы и беззлобно шутили:

— Ну и сказанул!

— В общем и целом, — подражая его голосу, сказал Накатников, глядя, как Эмиль ловко работает сапожным ножом.

Эмиль не выдержал — «в целом» он не говорил.

— Ну и трепачи, — сказал он уныло. — И чего вы все трепитесь?

— Довольно, ребята! — сурово крикнул Гуляев. — Мешаете работать человеку!..

Он должен был шить верхи и с нетерпением ждал заготовок.

Эмиль кончил кроить и, любуясь заготовками, отдал их Гуляеву. Он долго смотрел потом, как в ловких руках куски кожи приобретали форму изящных туфель.

Потом Эмиль вернулся к своему рабочему месту и стал кроить кожу на очередные заготовки. Ему хотелось сделать эти еще красивее.

Вечером Эмиль возвращался с работы, полный необыкновенного удовлетворения.

Темная стена леса позади поселка шумела от ночного ветра.

Эмиль ярко представил себе, как Надежда Константиновна приедет в Кремль, надев скроенные им туфли. Быть может, там обратят внимание и скажут:

— Хорошие у вас туфли, товарищ Крупская.

— Коммунары сшили, хорошие, — ответит она.

Эмиль на минуту остановился и широко вдохнул струю прохладного воздуха.

Он подумал о людях, жизнь которых была полна борьбы, творчества, больших человеческих дел. Он подумал о Владимире Ильиче. Какой необыкновенный человек! Какая необыкновенная, замечательная жизнь! Вот он скрывается в шалаше под Сестрорецком. Вот выступает у Финляндского вокзала, вот пишет огненные статьи и воззвания, за ним гонится охранка, рабочие

любовно оберегают его.

В спальне он снял сапоги и вынул из-под тюфяка истрепанную записную книжку, на страницах которой последнее время иногда разговаривал сам с собой.

«Счастье».

Слово это было написано красными чернилами и обведено кружком.

Эмиль вынул из кармана карандаш, который забыл впопыхах вернуть Румянцеву, написал размашисто:

«Счастье в труде».

Потом замарал эту надпись. Она показалась ему плохой.

«Счастье в том, чтобы быть ленинцем», написал он снова.

Новая формулировка его удовлетворила.

Через несколько дней болшевцы получили от Крупской письмо.

«Дорогие ребята, — писала она, — большое спасибо за туфли. Они такие нарядные и красивые, что просто прелесть.

Признаться сказать, это первый раз у меня будут такие туфли. Спасибо. 6-го, к сожалению, приехать в коммуну не смогу. Шлю привет. Желаю, чтоб коммуна ваша продолжала крепнуть и развиваться. Всего вам хорошего.

Н. Крупская».

Эмиль тщательно, слово в слово переписал в записную книжечку это письмо. А подпись срисовал так, что она совсем походила на подпись в оригинале.

Делегатка

В тот вечер Чума был в особенном ударе. Его глаза поблескивали хитрой строгостью, а курносое лицо было шутовски серьезно. Глядя на него, ребята хохотали весело и поощряюще. Было время — они побаивались Чумы, не смели его не слушаться, почти признавали его вожачество. Теперь они вспоминали о нем в веселые часы. Чума стал незаменимым человеком для потехи. Чума ходил по общежитию, как актер по сцене. Волосы его вздыбились, капельки пота от усердия выступили на кончике носа и на плоском лбу. Он показывал ребятам, как можно без помощи рук, одной ногой, постель постелить, раздеться, почистить зубы. В то время, когда в общежитие вошел Беспалов, Чума сидел на полу и молился «на сон грядущий» все той же ногой. Беспалов посмотрел на него, сощурив глаза не то презрительно, не то от яркого света ламп, ослепляющего после апрельской темной ночи. Помолившись, Чума весело подмигнул ему и одним прыжком

очутился на своей кровати.

Когда хохот стих, Беспалов сморщил лоб, потер его ладонью, высоко закинув при этом помятый козырек кепки.

— Ну, братва, — торжественно и мрачно сказал он. — Ну, братва, держись за весло.

Общежитие стихло. Чума вытер рукавом рубахи пот с лица. Взгляд его стал сосредоточенным и любопытным:

— Греби дальше!

— Дальше, пожалуй, и плыть некуда. Девок скоро пригонят к нам.

— Каких девок?

— Самых лучших… проституток со всей Москвы.

Чума подобрал на кровать ноги и, нагнувшись к Беспалову, серьезно посоветовал:

— Ты бы к доктору, милок, сходил! Говорят, и от мозгов помогают.

Беспалов невесело усмехнулся.

— Дурак! Вот пригонят тебе принцессу… — он сплюнул и добавил совсем уже мрачно. — И кончится твоя веселая жизнь.

— Откуда знаешь? Кто говорил? — заволновались ребята.

Беспалов сбросил кепку, вышел на середину спальни, остановился, точно готовился произнести длинную речь, но сказал отрывисто и немногословно:

— Собрание по поводу этого будет завтра. Ясно?

— Веселый домик, значит, будет у нас! — сказал Чума и выразительно чмокнул губами.

— Да на кой же чорт девок сюда?

— Для разлагательства, — сказал Беспалов.

— А что думает дядя Сережа?

— Я у него в голове чай не пил.

— Нельзя сюда брать девок.

— Вот завтра на собрании так и заяви.

Беспалов лег. Закрыв глаза, он прислушивался к разговору ребят и думал:

«Придут вертихвостки, и, боже мой, что получится! Помада, пудра, губки бантиком, работать не привыкли. Любовные историйки начнутся, а вместе с ними кражи и пьянство. И выйдет из коммуны махровая малина. Неужели ни Мелихов, ни дядя Сережа, ни Матвей Самойлович не понимают этого?»

— Ерунда, ничего не будет… — переговаривались болшевцы. — Давно так-то говорят.

— Нет уж, собрание! Значит, дело вплотную.

— Пускай берут… Бояться их, что ли?

Беспалов приподнялся и открыл глаза. Ему пришла в голову

неожиданная мысль: да как же он не Догадался сказать об этом полчаса назад, когда с ним дядя Сережа разговаривал! Богословский похлопал Беспалова по плечу и закончил разговор следующими словами:

— Поговори, Беспалов, с ребятами и подготовь… Расскажи все, о чем мы с тобой уже толковали. Лучшие из коммунаров уже доросли до сознания своей ответственности за коммуну, поймут и ответственность за судьбу бывших своих подруг. Значит, мы с этим сможем справиться… Сможем добиться от всех сознательного отношения. Девчата не меньше парней имеют право на честную трудовую жизнь в коммуне. Значит, потолкуешь с ребятами, Беспалов?

Беспалов не знал, что Богословский поручил ему вести беседы с ребятами о приеме девушек именно потому, что считал Беспалова одним из тех, от кого можно было ожидать недостаточно сознательного отношения к девушкам, принятым в коммуну. Он не знал и того, что далеко не одному ему Богословский поручил вести подобные беседы. Тогда, скрывая свое смятение, Беспалов согласился.

Но теперь-то он знает, что нужно было ответить тогда Богословскому.

«Так, Сергей Петрович! Воровок, конечно, тоже надо перевоспитывать. Но почему же их нужно привозить сюда, в нашу еще молодую коммуну? Почему бы не организовать отдельную коммуну из девушек?»

Беспалов даже крякнул от досады. Никогда хорошие мысли не приходят во-время. Он приподнялся на кровати и крикнул, покрывая разноголосый шум:

— Звякнем завтра на собрании, ребята, общекоммунский протест… Не хотим, мол, девками коммуну губить. Себе дороже! Вы как?

Все притихли от неожиданной резкости его вопроса.

— Ну, говорите, как? — настойчиво повторил Беспалов.

— Подумаем. На собрании видней будет, — уклончиво ответил кто-то.

Беспалов сердито откинулся на подушку.

— Ну, думайте, — насмешливо сказал он.

В день собрания вся коммуна говорила о «женотделе». Болшевцы разделились на два лагеря.

Беспалов предвкушал предстоящую победу. Ему удалось сагитировать на свою сторону немалую часть товарищей. Едва часовая стрелка перевалила за семь, он повел свою буйную ораву в клуб, усадил в первые ряды и сразу же после речи Сергея Петровича попросил слова.

— Строим коммуну. Болеем за нее! — закричал он со сцены. — Не допустим, чтобы в один момент все прахом пошло! Блатные бабы любят распутную жизнь, карман любят звонкий. Воровство, пьянство, шалманный разгул — вот что ждет коммуну. Выправился Ванька, а какая-нибудь раскрашенная Сонька «Переплюй-вокзал» вильнет подолом, и поплыл Ванька по старому руслу.

— Крой, Беспалыч! Спасай коммуну! — буйствовали его единомышленники.

Стены клуба дрожали от грохота голосов. Председательский колокольчик звякал истерично и беспомощно.

Тогда поднялся Василий Новиков. Медленно спадало буйство ребят.

— Шпана мы, а не коммунары, — крикнул Новиков. — Кого боимся? Девчат? А на кой дьявол тогда трепаться, что из бывших воров мы становимся сознательными пролетариями? Девкам тоже, небось, надоело зря небо коптить. Нужно их взять. И всех, кто будет настраивать их на старое, гнать вон. Мы — коллектив, мы можем…

Тяжело отдуваясь, Новиков сердито смотрел на ребят. Рядом с ним стал Сергей Петрович и, словно продолжая прервавшуюся речь Новикова, сказал:

— Разве они не воровки? Разве не хотят жить так же, как и вы? Разве не наша обязанность помочь им в этом? Ведь они наши?

— Правильно… Наши… — подтвердили с мест.

— Посмотрите на себя, — продолжал Сергей Петрович. — Ходите грязные, лохматые, умываетесь только тогда, когда нужно ехать в Москву, а будут девушки — подтянетесь. Неудобно в растрепанном виде ходить перед женщинами. Так как же, брать нам девушек или нет?

— Долой! — закричали беспаловцы, но аплодисменты всего зала заглушили их разрозненные голоса.

— Брать! Возьмем! — кричали ребята.

Сергей Петрович поднял руку:

— Но уговор дороже денег. Придут девушки — не приставать.

— Ручаемся за них, а прежде всего за самих себя, — грозно напомнил Новиков. — Ив протоколе это записать. Сама ли какая полезет или к ней из нас кто-нибудь — все равно отвечает наш парень. Щадить не будем!

«А в общем здоровая забота, беспокойство за коммуну и у тех, кто „за“, и у тех, кто „против“», мысленно подвел Богословский итог собрания.

Одиноко вышел из клуба Беспалов.

— Сдали, обманули, — шептал он грустно. — За красивые

слова коммуну отдали. Дьяволы…

В голове его возникали картины полузабытой уже гульбы у болшевского «барыги», вспоминалась Маруська, водка, московские гости — воры. Что-то похожее, казалось ему, ждет теперь впереди всю коммуну.

Погребинский был доволен результатами собрания. «Старики» в коммуне уже представляют собой надежное ядро. Он знал, с каким ужасом относились некоторые работники из педагогов к линии, взятой ОГПУ на численный рост коммуны. Им казалось, что это должно привести коммуну к развалу. По их расчетам выходило, что при таком ничтожном количестве воспитателей, какое было в коммуне, число ее членов не могло превышать трех-четырех десятков человек. «А мы вот еще и девчат возьмем», посмеивался Погребинский.

Но он понимал, что это дело не шуточное. Даже для самых лучших и стойких воспитанников прибытие девушек в коммуну будет серьезным испытанием. Издерганные, экзальтированные. требовательные женщины-воровки представляли собой тяжелый, трудно поддающийся перевоспитанию материал. Очень важно было умело подобрать первую партию.

Погребинский несколько раз съездил в «Новинки». Его внимание привлекли несколько молодых воровок, в их числе Маша Шигарева и Нюра Огнева.

Невысокая, но крепкая и подвижная Нюра казалась почти девочкой-подростком, хотя встречала здесь, в «Новинках», вторую тюремную весну и девятнадцатую весну своей жизни. Год тому назад, накануне того дня, когда она попалась на последней краже, у нее умерла трехмесячная дочь. И вот теперь Нюра снова ощущала приступ старой своей тоски. В открытую фортку врывался веселый городской гул, как тогда, когда уже похолодевшая Валька лежала завернутая в пеленки с розовым пышным бантом на светлых волосенках.

Последнее время Нюрка часто видела Вальку во сне, но не холодную и странно длинную, будто выросшую в последнюю минуту короткой своей жизни, а в плетеной детской кроватке у раскрытого и заставленного цветами окна. Комната была уютной и чистой. Валька улыбалась и пускала пузыри. Мимо окна, торопясь, шли люди, и Нюрке вместе с ними тоже нужно было куда-то итти, но Валька тянулась к ней слабыми ручонками и не отпускала.

Ярким солнечным полднем Нюру, Машку Шигареву и еще нескольких женщин из других камер вызвали в приемную — следователи часто наведывались в тюрьму. Заключенные привыкли к их вопросам, отвечали насмешливо и грубо.

В приемной за столом сидел невысокий смугловатый военный. Нюрка подошла к распахнутому настежь окну.

Утром она получила весть, что ее мужа отправили в Соловки. Она не грустила об этом. Даже в дни короткой совместной жизни он был для нее всегда далеким и чужим, но все же, получив известие, она, как и после смерти Вальки, вдруг почувствовала одиночество. Отца с матерью она не любила. Отец бил ее, когда она не приносила водки, а мать только в дни богатой выручки называла ее Нюрочкой и дочкой.

Впервые за год она так близко видела волю. За ее спиной смеялись вызванные в приемную подруги. Как хотелось хоть на час смешаться с уличной толпой, пересекать площади и перекрестки.

— Ну, девочки, слыхал кто из вас о Болшевской трудкоммуне? — спросил военный.

«Девочки» засмеялись еще громче.

Машка, играя бедрами, медленно подошла к нему и пустила в лицо густую струю табачного дыма. Военный отмахнулся от дыма рукой и посмотрел на Шигареву прямо и без укора.

— Что ты слыхала о коммуне? — повторил он вопрос.

— Нюрка, может быть, ты слыхала? Интересуются, — насмешливо крикнула Маша.

Нюрка отвернулась от окна. Воля, до которой можно дотянуться рукой, ослепила ее, а впереди еще год тусклых тюремных дней. «Надо бежать», подумала она. Она не знала, когда и как это будет, но в ту минуту показалось ей это делом простым и легким.

— Я думаю так, — говорил военный. — Не понравится в коммуне — обратно вернем. А для знакомства предлагаю послать одну делегатку.

Машка наклонилась к нему:

— Думаешь, купишь?

— Ну, а ты, стриженая? Поедешь? — обратился военный к Нюрке.

Нюрка вздрогнула. Ей показалось, что военный как-то разгадал ее мысли, может быть, хочет поймать на ответе.

Но здесь же она подумала: «Дура, на день вырваться из тюрьмы и то ведь счастье». Пряча лицо от настороженных, злых и насмешливых глаз товарок, Нюра отвернулась к окну.

— Поеду, — торопливо и тихо сказала она.

— Продаешь? — злобно шепнула Машка.

Утром Нюра вышла из ворот тюрьмы.

У самого тротуара стоял легковой автомобиль. Не было ни «черного ворона», ни конвоиров. Шофер открыл дверцу

автомобиля.

«Шикарно», с усмешкой подумала Нюра и осторожно опустилась на мягкое сиденье.

В первый раз она подумала о коммуне. Ей представились высокие деревянные заборы с колючей проволокой наверху, по углам на вышках часовые, тесные бараки и душные мастерские. Если не удастся побег, в тюрьме будут смеяться и издеваться над ней за эту поездку. Ночью будут запихивать в нос табак, завязывать в крепкий узел рукава блузки. Слава изменницы перекинется на волю, и тогда на воле станет труднее жить.

Автомобиль остановился на Лубянке. Нюрка хотела встать, но неподвижная спина шофера и троекратный крик сирены удержали ее. Низко над домами, покрывая шум города, летел аэроплан. В голубовато-синем высоком небе он казался тяжелым и черным. Его тень скользнула по загруженной медленными трамваями площади.

Из подъезда к автомобилю вышел знакомый военный. Он удивленно посмотрел на Нюрку:

— Как, а та, стриженая?

— Это я и есть. — Нюрка кокетливо тронула косы. — Они купленные у меня.

Он улыбнулся, покачал головой и сел рядом с шофером. Автомобиль снова рванулся вперед. Нюрка задохнулась от ударившего в лицо ветра.

Автомобиль, проскочив между двух высоких башен, вылетел через мост на шоссе. Придерживая рукой кубанку, военный обернулся и крикнул:

— Береги косы — потеряешь!

Нюрка с удивлением заметила, что лицо у него добродушное.

Весь путь ей показался совсем коротким. Когда автомобиль остановился около низкого деревянного дома, Нюрка оглянулась. Она думала, что сквозь стволы хвойного леса она увидит Москву.

Почему-то нигде не было ни забора, ни часовых. Пели птицы, и тихо покачивались сосны на легком ветру. Многих из тех, которые теперь называли себя коммунарами, Нюрка знала по воле. Они окружили гостью, посмеивались над ее недоверчивостью, по-хозяйски распахивали двери, показывали общежития, строящийся жилой дом и мастерские. И все же она заметила, что несмотря на приветливость и развязность они были непривычно сдержанны и осторожны.

С трудом узнавала она в этих скромно и опрятно одетых ребятах своих прежних знакомых. Неужели это Колька Котуля, отчаянный сорви-голова? А пройдоха Мысков? А Малыш? Ну, да он хитрый. Он всегда прикидывался тихоней. Здорово же он

вырос и возмужал.

В толпе ребят Малыш шел рядом с ней, слегка смущенный, но радостный, словно показывал он не коммуну, а свою квартиру.

В сапожной мастерской — теперь это была, собственно, уже не мастерская, а целая фабрика — Малыш шутливо изысканным тоном сказал ей:

— Скучное выражение у ваших ботинок, Нюрочка.

И сзади в тон ему кто-то подтвердил:

— И каблук довольно примитивной работы.

— А ты не тронь, — дерзко ответила Нюрка, — запачкаешь…

Ей хотелось быть нарядной, красивой и гордой. В тюрьме перед отъездом она долго пудрилась, подводила брови и чистила поношенное «вольное» платье.

— В моих руках ботиночек этот в момент заиграет. Смотри, любуйся на нашу работу, — и Малыш взял с верстака готовые тапочки.

«Нашел, чем хвастаться», подумала Нюрка, но поймала себя на том, что тапочки рассматривает с любопытством. «Урка ботинки шьет», удивилась она.

Сколько пар туфель, дорогих и дешевых, переворовала она в магазинах. И Нюрка даже оглянулась на ребят при мысли, что теперь на воле она, возможно, утащила бы сшитые ими ботинки.

— Ну и жизнь пришла, — сказала Нюрка задумчиво.

— Жизнь, Нюрка, пришла чистая. Сами себе хозяева.

— Бываешь в Москве? — спросила она.

— Бываю.

Нюрка озорно улыбнулась и пальцами изобразила, будто пробирается в чей-то карман. Малыш отрицательно покачал головой:

— За это сами друг друга судим. Приезжай, и тебя на поруки возьмем.

Куда бы ни приходили, она не видела ни надзирателей, ни сторожей. Иногда ей казалось, что все это сделано хитрым военным нарочно, что вот он придет, повелительно крикнет, и ребята сразу притихнут.

Но они все водили ее по коммуне — в столовую, в баню, в клуб, наперебой рассказывали и хвастались.

— Идем по парку гулять? — Малыш тронул ее руку.

Ей хочется спросить, трудно ли отсюда «нарезать винта». Но она не верит никому в этой непонятной коммуне. «Застукают — только отойди».

Ей казалось, что никогда еще не видела она столько зелени и солнца. «Славная прогулка, чорт возьми! Если бы еще бутылку водки».

Она отзывает в сторону Малыша, слегка заигрывает с ним, шутя бьет березовой веткой по его рукам, пахнущим кожевенным товаром, ласково называет тихоней:

— Достань, дружочек, целый год во рту капли не было.

— Не пьем мы здесь, — и Малыш начинает говорить ей об уставе коммуны, о кларнете, на котором играет в оркестре, о вечеринках в клубе.

Он часто останавливается, смущаясь озорных нюркиных глаз, и она догадывается безошибочным женским чутьем, что нравится ему. «А водки ты мне все-таки достань», говорит она глазами.

В клубе, куда они пришли, загудели басы рояля. У Нюрки вздрогнули плечи от томительного предчувствия почти забытого наслаждения.

На Малыше красивые сапоги. Он идет легкой походкой танцора, Нюрке хочется двигаться и смеяться.

— Станцуем, Малыш? — озорно говорит она.

— Можно, отчего же!..

Исподлобья она взглянула на Малыша. По блеску его глаз она угадывает, что переплясать его будет нелегко.

«Чтобы я, Нюрка, уступила Малышу», подумала она, тряхнув головой, и легко поднялась на кончики пальцев. Круг болшевцев раздался шире. Еле сдерживая охвативший ее восторг, Нюрка медленно пошла по кругу. Она двигалась к Малышу, не глядя на него, а когда дошла — задержалась на мгновенье и тихо коснулась локтем его груди. Малыш пристально смотрел на нее, словно запоминал, заучивал каждое ее движение. «Смотри», думала она, зная, что сейчас все любуются ею, что идет она безукоризненно.

Малышу впервые пришлось держать такой экзамен. В разгоравшемся азарте этого пляса он ощутил тревогу и соблазн прошлого. Блатной мир с Брянского, с Проточного, с Самотеки кружился и блестел перед ним, гремел чечеткой. Он дразнил и заманивал Малыша, его, который уже раз обманулся им… Нет, этому больше не быть. Малыш видел лица товарищей. В их глазах была поддержка: «Не выдавай коммуну, Малыш!»

И Малыш, не чувствуя тяжести своего тела, выходил на середину. Он покачивался, замирал в паузах, чтобы через мгновенье рассыпаться мельчайшей, как дробь, чечеткой. Иногда он недвижно стоял в центре круга, и только по легкой дрожи его каблуков и рук можно было догадаться о напряжении всего тела.

В распахнутые настежь окна врывался ветер, неся запах смолы, молодых побегов и влажной земли. Малыш победителем обходил Нюрку. Круг зрителей улыбался и веселел. Улыбался и Малыш. Разве он не оправдывал их доверия? Пусть знают все, что

болшевские ребята умеют хорошо и работать и плясать.

Успокоенный, он снова уступал место Нюрке. И тогда, распаленная упорством своего кавалера, она крикнула к роялю:

— Чаще!

Рояль, заиграл так, что, казалось, танцорам не выдержать — задохнутся. Влажные губы Нюрки вздрогнули. Она посмотрела полузакрытыми взволнованными глазами, вздохнула и вскинула руки, потом вздрогнула раз, другой, качнулась и вдруг неудержимо заметалась по всему кругу. Болшевцы все теснее и теснее сходились вокруг нее, оттесняя Малыша назад.

Малыш понял: он побежден. Он выбежал на крыльцо клуба. В клубе, заглушая рояль, загремели аплодисменты. Малыш спрыгнул с крыльца и без дороги убежал в темный, пахнущий сыростью парк.

Когда Нюрка, окруженная парнями, вышла из клуба, к ней подошел военный.

— Поедем, Нюра, — сказал он.

У Нюрки побледнели щеки. Она отвернулась от него, посмотрела на клуб, на лес, на потемневшее небо, потом на провожающих ее болшевцев. Она искала среди них Малыша, чтобы тепло, по-дружески, пожать ему руку. «Ты здорово научился танцовать, Малыш». Но Малыша не было. В парке кричали дрозды.

Тогда Нюрка почувствовала тоску. Было тяжело тронуться с места под взглядами провожавших ребят. Весь этот день, все, что увидела она здесь, показалось ей необычайно хорошим. «Ах, Валька, Валька… Здесь бы тебе родиться. Здесь бы не умерла ты».

— Поедем, — подняв голову, коротко сказала она.

Ночью в «Новинках» снилось ей пение птиц, солнечные пятна на зеленой траве, Малыш. Она просыпалась и прислушивалась к дыханию спящих подруг.

В час, когда в открытую форточку камеры ворвался свежий предутренний ветерок, Нюрка заметила, что глаза Машки широко открыты. Ее лицо показалось Нюрке тонким, необыкновенно строгим. Долго, не шевелясь, смотрела Машка на светлеющее окно, потом вздохнула и повернулась к Нюрке. «Притвориться бы спящей», подумала Нюрка.

— Ты правду рассказывала или трепалась?

Машка угрожающе приподнялась на локте.

— Маша, — тихо сказала Нюрка, — я говорила правду.

Она стала опять торопливо, сбиваясь, рассказывать о прошлом дне. Явь и сон перепутывались в ее словах. Она рассказала, как ребята наперебой ухаживали за ней, что Малыш обещал подарить ей ботинки с серебряной пряжкой и на высоком

французском каблуке.

— Ребята оттуда в любой час могут уехать даже в Москву. И знаешь… — Нюрка тряхнула стриженой головой и пожала плечами, как перед фактом невероятным, но истинным, — если из них кто-нибудь засыпется на деле — будь покойна: ни МУУР, ни милиция не возьмет. Коммуна берет на поруки, и ваших нет — все в порядке.

— Ну, это ты лепишь, — сказала, проснувшись, толстая девушка, прозванная Тумбой.

— Я леплю? А ты знаешь, что мне ребята говорили? Приезжай, говорят, мы тебе, — Нюрка посмотрела на Тумбу и Машку презрительно и гордо, — мы тебе, что потребуешь, приволокем. Портвейном угощали!

— Кому мозги темнишь, делегатка?

Нюрка легла и отвернулась. Тогда Машка наклонила к ней свое злое и бледное лицо:

— За что продалась?

— Плевать на вас хотела! Такую дрянь, как ты, даром никто не возьмет! А я пойду.

Тумба посмотрела на светлеющее окно и стала вынимать из волос бумажные папильотки.

— Ты вот что скажи: легко уйти оттуда?

— Ведь говорила: как из своего дома.

— И меня и Машку возьмут?

К вечеру пять девушек подали заявления о своем желании пойти в трудкоммуну. О дне отъезда они стали думать, как о дне выхода на волю.

Прошла неделя. Никто за ними не приезжал.

Первое время они волновались, надеялись, ждали, потом ожидание сменилось злобой. Вышли последние папиросы, нужно было опять итти работать в прачечную. Над Нюркой издевались.

Когда тюрьма стала уже забывать о нюркиной «измене», приехал в тюрьму скромный, застенчивый человек. К нему вывели подавших заявления заключенных.

— Собирайте, девчата, вещи, — сказал он. — Поедем в коммуну.

Нюрке не понравилась его тихость.

Девушки

Девчата приехали. Но что это были за девчата! Смотрел на них Беспалов и с остервенением грыз мундштук папиросы. Хохотуньи, кривляки, матершинницы — без ругани слова не произнесут. Особенно не понравилась ему Мария Шигарева. Вертлявая, задиристая, она поглядывала на всех, точно волчица.

«С этой толку не будет», думал Беспалов.

Он жил тревожно, как на фронте. Девчата казались ему коварным и хитрым врагом. От них можно ожидать всего. Он даже вскакивал и прислушивался по ночам — так велика была его бдительность. Сергей Петрович с ним не разговаривал, но Беспалов не унывал.

«На факте докажу тебе, Петрович, вредность юбки», думал он и знал, что факты не заставят себя долго ждать.

Первых девушек в коммуне поселили в деревянном флигеле в светлой комнате с просторными окнами, с половицами, поскрипывающими по-домашнему приятно. «Тихий человек», ездивший за ними в тюрьму, дядя Сережа, нарвал большой букет полевых цветов и поставил на стол в пузатой стеклянной банке. Комната стала нарядной и уютной. Новые жилицы с любопытством осматривали свое помещение, пробовали мягкость постелей, заглядывали в пустые шкапчики для платья.

— Жить можно, — одобрительно сказала Машка, — барахлишко вот только в шкапы не догадались повесить и занавесочки к окнам тоже.

И, в упор посмотрев на дядю Сережу, добавила:

— Я, может быть, голая спать люблю.

— Вполне гигиенично, — согласился он, — и занавесочки и барахлишко будут. Не все сразу.

Вечером, заглядывая в окно нового общежития, ребята поздравляли Сергея Петровича:

— С новым выводком.

— И вас также. Пасти-то вместе придется.

Утром второго дня Нюрка и Машка решили итти искать вина.

— Что-то ни портвейна, ни туфель на французском каблуке не видно, — усмехнулась Машка. Она видела, как деловито болшевцы прошли на работу. Теперь в коммуне стояла будничная тишина. — Может, нам и выходить нельзя? Забыла ты спросить об этом, Нюрка.

Они вышли осторожно, оглядываясь, и когда встретили Богословского, уверенность в том, что за ними следят, окрепла.

— Далеко? — окликнул он их.

— Цветы собирать! — засмеялась Нюрка.

Она думала, что дядя Сережа их остановит, отведет назад, но он только махнул рукой и пошел своей дорогой.

Подруги долго ходили по Болшеву и по тихому перрону станции. Из Щелкова пришел дачный поезд с полупустыми вагонами. Паровоз был празднично убран березовыми ветвями. Поезд сделал на станции короткую остановку и забрал в Москву одинокого пассажира. Нюрка жадно смотрела в открытые окна вагонов. Через час пассажиры повиснут на трамваях, разъедутся по всему городу: на Сухаревку, на Смоленский, на Самотеку. Может быть, кто-нибудь из них пройдет Проточным, мимо нюркиного подвала.

Она взглянула на Машку. Лицо подруги было взволновано и настороженно, и вся она устремилась к вагону.

— Нюрка? — зовуще крикнула Шигарева.

«Да», хотела сказать Нюрка, но уверенность в том, что за ними следят неотступно и пристально, удержала ее. «Нельзя рисковать так глупо, — и Нюрка отрицательно покачала головой. — На первой же остановке снимут».

Поезд, оставляя за собой горячие рельсы, ушел по узкой дороге среди леса.

В коммуне было тихо. Девчата в общежитии валялись на койках. Нюрка распахнула окно и села на подоконник. Какая скука!

Коммуна оказалась совсем другой, чем в день ее первого приезда. Ради них никто не бросил работы, двери клуба наглухо закрыты.

Так прошло несколько дней. Женское общежитие скучало и бездельничало. Дядя Сережа недовольно хмурился. По ночам в его комнате, смежной с женским общежитием, долго горел огонь, В, когда однажды Нюрка хотела тихо вылезти через окно, дядя Сережа окликнул ее. Нюрка выругалась и от злости не спала всю ночь.

Как-то, прогуливаясь вечером в парке, Беспалов услышал подозрительный шопот. Подошел ближе и увидел Марию Шигареву и черноволосого красавца Борьку, которому еще на воле дали кличку «сердцеед». Беспалов спрятался за куст и притаился.

— Выпить бы, погулять, — мечтала Маша, — очумеешь.

— Выпить? Сделаем… — уверенно ответил Борька.

Маша оживилась:

— А можно?

— В Костине достанем.

— Пойдем.

— Только услуга за услугу, Маша, — голос Бориса звучал вкрадчиво.

— Что за услуга? — игриво поинтересовалась Маша.

Борис выразительно крякнул. Они пошли куда-то, и сухие ветки потрескивали под их осторожными шагами.

«Вот тебе и пьянство и еще похлеще пьянства…» — победоносно подумал Беспалов.

Он представил себе растерянное лицо Сергея Петровича, ясно видел, как он беспомощно разведет руками и, не глядя на него, скажет: «Что ж… ошиблись…»

Беспалов почти бегом направился к Богословскому:

— Принимай, дядя Сережа, свежие новости…

Сергей Петрович слушал, хмурил лоб, тер пальцами переносицу и молчал.

Беспалов ликовал.

«Здорово ошарашил», думал он, глядя на Сергея Петровича, скрывая самодовольную усмешку.

— А ты разве не пьянствовал? — спросил Сергей Петрович.

Меньше всего предполагал Беспалов разговаривать сейчас на эту тему.

— А с тобой мы разве мало возились? — продолжал Богословский, не дождавшись от Беспалова ни одного слова. — Кто просиживал с тобой ночи? Кто объяснял тебе, что если не порвешь с шалманом, то погибнешь? Сколько сил и времени пришлось на тебя потратить, прежде чем сам ты стал человеком? Отвечай!

— Много… — покраснев, подтвердил Беспалов.

— То-то. Ты что же, думал — девчата лучше тебя? Не так же мучаются, не так же переживают прошлое, как — давно ли это было — переживал и ты? Возились с тобой, теперь надо с ними повозиться. Понял?

— Понимаю… — буркнул Беспалов.

— Помни: если Шигарева напьется — ответишь ты. Как ты мог допустить до этого? Ты сейчас злостный разлагатель коммуны.

— Я? — ошеломленно спросил Беспалов.

Сергей Петрович безжалостно продолжал:

— Ты спокойно допустил, чтобы наши парень и девушка, да еще новенькая, шли пьянствовать. Вместо того чтобы остановить их, ты — радостный — прибежал ко мне!

Беспалов поднял голову, глаза его были влажны. Сергей Петрович молча наблюдал за ним. Он понимал: сказать Беспалову, что он разлагает коммуну, — это больше чем много…

— Ты извини меня, Беспалыч, за горячность, — сказал он

мягко, — уж очень ты меня возмутил своим поступком.

— Видишь, я сперва не понял, — неуверенно оправдывался Беспалов.

— Ничего. Иди работай. А этого Бориса приведи ко мне, — успокаивал Сергей Петрович.

Дядя Сережа неоднократно беседовал с девчатами о мастерских. Его слушали хмуро, и только Маша беззаботно улыбалась, покачивая затянутой в тонкий чулок ногой. Когда-то она работала на трикотажной фабрике.

— Довольно, — прервала его однажды Нюрка. — Отправляй обратно. Я лучше досижу свой срок, чем тут эту нуду слушать.

— Что ж, отправим, — ответил Сергей Петрович и ушел.

В тот день при входе девчат в столовую кто-то из ребят крикнул:

— Дорогу — нахлебницы идут!

Обед прошел молчаливо и вяло. Нюрка не вытерпела и поднялась из-за стола раньше всех. Когда она проходила мимо Кольки Котули, он подмигнул ей и шепнул:

— Приходи сегодня — я буду в парке.

Нюрка слегка ударила его по затылку. Она видела, как Малыш закусил губу и опустил лицо к тарелке.

«Это он Котулю ко мне подсылает, тихий чорт», подумала она..

После обеда девушки разбрелись по разным углам. Каждая чувствовала, что жить так, как прожили первые дни, уже больше нельзя, должна наступить какая-то перемена, но раздумывать об этом не хотелось. Сергей Петрович до вечера не выходил из своей комнаты. Было слышно, как он покашливал и шуршал бумагой.

К вечеру девчата собрались в общежитии. Машка попробовала затянуть блатную песню, но ее не поддержали.

— Что ж, девки, выходит — или на работу или опять в тюрьму?

— А ты думала — на курорт попала?

И опять наступила тишина.

Машка присела на кровать, подперла щеку ладонью и по-нищенски жалобно завыла:

— Ох, и весело мне здесь, девоньки, весело! Избытку, достатку невпроворот. Мне и песни поют, мне и водку льют. Руки белы охраняют, поработать не дают.

Потом встала и плюнула к ногам Нюрки:

— Все ты!..

Нюрка темнела от обиды. Она сидела, опустив голову, потом сказала глухо:

— Не тронь меня, Маша. Повешусь. Тяжело мне. — И

показалась ей в ту минуту жизнь сломанной и ненужной.

Тумба укоризненно вздохнула:

— Смотрю я на вас, девки, и руки чешутся. Бить некому. В тюрьме-то не работали, что ль? Поработаем и здесь малость. Велико лихо!

— Значит, портки ребятам стирать, королевны?

— Почему портки? Мастерские есть. Все почище.

— В одно место всех-то не возьмут.

Утром по предложению дяди Сережи они кинули жребий.

Нюрке досталась слесарная.

Три дня работала она в слесарной и чувствовала себя так, словно носила в сердце невымещенное оскорбление.

На четвертый день Нюрка не вышла на работу. До полудня она провалялась в постели, потом, полураздетая, бродила между кроватями по тесной комнате общежития. От разогретого солнцем подоконника несло тонким запахом спиртового лака. Нюрка принюхивалась, глаза ее становились прозрачными.

Под вечер она оделась и, не оглянувшись на окна Богословского, ушла к станции. Часом позже в лесу, недалеко от крайних изб Костина, ее увидели Мысков и Когуля. Нюрка с розовым лицом и растрепанными волосами сидела на ошкуренном пеньке. Она окликнула их:

— Куда, птенцы?

Мысков укоризненно покачал головой.

Нюрка сгребла с земли желтую хвою и бросила Мыскову в лицо. Хвоя рассыпалась не долетев.

— Эх ты, гуталинщик. Хочешь? — засмеялась она, махнув бутылкой.

Котуля, не отрываясь, смотрел на обнаженные выше колен ноги Нюрки.

— Спрячь водку — ребята увидят.

— Слюной изойдут?

— Вытряхнут из коммуны за это дело.

— Кто?

— Ребята.

Нюрка засмеялась и вышибла из бутылки пробку по-мужски — ударом ладони о дно.

— Дожили. Сами себя боитесь… Пей. Со мной до гробовой доски цел будешь… — И первая приложилась к горлышку бутылки.

Мысков и Котуля переглянулись. Соблазн и боязнь ответа перед общим собранием боролись в каждом.

— Пей.

Мысков нерешительно взял протянутую бутылку. Ее холод

обжег пальцы.

— Пей.

Закрыв глаза, Мысков поднес к губам горло бутылки. Крепкий запах ударил в ноздри, и Мысков уже не сопротивлялся. Глотнув несколько раз, он передал оставшееся Котуле, тот — Нюрке, и через несколько минут пустая бутылка, мягко звеня по земле, отлетела в сторону. Нюрка растянулась на траве. Хмель настойчивыми толчками ударял в голову.

Ребята присели и закурили.

— Значит, вытряхнут? — насмешливо спросила Нюрка.

— По первому разу, если узнают, месяца на три без отпуска — наверняка.

— Жалеешь?

— Я о сделанном никогда не жалею.

Теперь Мысков смотрел на Нюрку развязнее, и голос его стал громче.

— Колька! У тебя бараньи глаза. Хочешь заработать поцелуй? Тащи еще водки, — сказала она Котуле.

— Будет, — слабо запротестовал Мысков.

Когда Котуля поднялся и ушел, он придвинулся к Нюрке и зашептал:

— Помнишь, Нюрка, как ты на Самотеке подсыпалась ко мне? Помнишь? Дурак я тогда был. Ты, Нюрка, фартовая девка. — И он наклонился к ней.

— Уйди, — Нюрка оттолкнула его.

Мысков хмуро уселся в стороне, охватив руками колени.

Наступила тишина. Сквозь нее, казалось Нюрке, доносился далекий гул Москвы. Нюрка закрыла глаза и стала вслушиваться. Гул напоминал невнятную музыку. Потом мотив прояснел, и она узнала «Цыганочку». Ее играли приглушенно, на одних басах. «Малыш… танцует», подумала Нюрка.

Со дня приезда в коммуну Нюрка почти не видела Малыша. Он словно избегал встречаться с ней. Вначале она не обращала внимания, потом это заинтересовало и точно встревожило ее. Она заметила, что вечерами Малыш часто уходил в Костино, всегда чистый, хорошо одетый, праздничный. «С деревенскими путается, — оскорбленно думала она. — Посидим разок под звездами — забудет свою молочницу». Но когда его не видела, сама забывала о нем.

Нюрка поднялась и смахнула с платья приставшую хвою. Мысков посмотрел непонимающе.

«Цыганочка». Теперь Нюра совсем отчетливо слышала знакомые медлительные переходы.

— Догуливайте одни, — сказала она удивленному Мыскову и

ленивой походкой пошла к коммуне.

По ее требованию — она действительно не попросила, а потребовала — дядя Сережа перевел Нюрку в сапожную мастерскую, где работал и Малыш. Он встретил ее недоверчиво и даже хмуро, но Нюрка словно не заметила этого взгляда, улыбнулась ему. В мастерской сильно пахло кожей, сапожным лаком и еще чем-то таким, от чего воздух, казалось Нюрке, розовел и дымился.

Она сама не понимала, что ей в конце концов нужно было от Малыша. Стоит ей только мигнуть, и перед ней явится десяток лучших парней. Не такие козыри гонялись за ней, когда Нюрка гуляла на воле. А Малыш приполз бы на четвереньках по первому зову.

Может быть, желание убедиться, что и теперь все остается попрежнему, было единственным, чего хотела Нюрка.

Ее посадили рядом с Малышом намазывать носки. Необычайность обстановки смущала Нюрку. Малыш сильными, быстрыми движениями затягивал заготовки. Дратва свистела в его разлетающихся руках.

— Крепко, — фальшивым тоном похвалила Нюрка.

— Это не «Цыганочку» в клубе навертывать, — сказал Малыш с гордостью.

Кожаная заготовка в его руках быстро обтягивала колодку, принимала форму ботинка.

«Теперь подошву начнет пригонять», подумала Нюрка, но Малыш, срезав ножом концы дратвы, положил свою работу.

— Показал тебе мастер, как носки подмазывать?

— Да.

— Начинай, чего же ты!

Нюрка взяла в руки инструмент и вдруг покраснела от стыда и недоверия к самой себе. Ей показалось, что притихшая мастерская смотрит на ее согнутую спину, следит за каждым движением, может быть, догадывается о причине перехода ее из слесарной сюда.

— Ты не бойся, не обожжешься, — ободрил Малыш.

Нюрка оглянулась. Если бы в это время на чьем-нибудь лице замерла усмешка — она бросила бы инструмент, изругала мастера, Малыша и убежала. Но никто не смотрел на нее. Свистела дратва, постукивали молотки и кто-то вполголоса напевал: «Что б осталось от Москвы, от Расеи».

Первый носок она обмазывала долго. За это время Малыш сделал затяжку двух заготовок. Оконченную работу она тщательно осматривала, не упустила ли чего, может, намазала не так. Думала, что ее работа, должно быть, очень ответственная и

важная и от подмазки зависит красота и прочность башмака.

— Хорошо. Жми дальше, — сказал ей Малыш.

В полдень к ней подошел мастер:

— Золотые у тебя руки, Нюрка.

— Уйди! — со злостью крикнула она, хотя слова мастера были ей приятны.

К концу дня Малыш все чаще и чаще посматривал на ее проворные руки. Они исполняли работу ловко и точно, словно давно привыкли к ней.

Так прошло с неделю. По вечерам Нюрка тщательно чистила свое поношенное платье и, не выходя из общежития, садилась у окна, смотрела, как гуляли около клуба отдыхающие болшевцы, слушала беспорядочное громыханье рояля, звуки домр и балалаек струнного оркестра. Ребята проходили мимо окна группами и в одиночку. Одни искоса, другие прямее, но все одинаково с любопытством поглядывали на Нюрку. И каждый раз Нюрка видела уходящего в Костино Малыша. В один такой вечер, проводив Малыша взглядом, Нюрка легла на кровать и заплакала — ненависть и обида душили ее. Потом торопливо встала, вытерла и припудрила лицо, вышла на улицу.

— Колька, пойдем, — сказала она Котуле, отыскав его. И они ушли в темный тихий лес.

С этого вечера Нюрка стала работать плохо и только до полудня. Она хулиганила, все отчаяннее ругалась, точно добивалась, чтобы ее вновь отправили в тюрьму.

А лето давно созрело и окрепло. С лугов потянуло запахом свежего сена, наливались и твердели ржаные колосья.

Как-то, гуляя около станции, она встретила Малыша. Он окликнул ее. Нюрка, не взглянув, хотела пройти мимо, но когда он взял ее за руку, покорно пошла за ним. Шли молча, не глядя друг на друга.

— Нюрка, — сказал он ей, — я знаю, что ты пьешь, путаешься с Котулей. Нюра, пора кончать эту лавочку.

Она деланно засмеялась:

— Не хочешь ли и ты спутаться со мной?

— Не дури, Нюрка. Многие ребята поговаривают, чтобы тебя на общем собрании исключить из коммуны. Мы сами настаивали взять вас сюда, и за вас мы так же отвечаем, как и за себя. Но некоторые ребята не удержались и сорвались. Ты разлагаешь коммуну, Нюрка.

— А что мне ваша коммуна!

— Опять бегать начнешь?

— Лягавой не была и не буду.

— Много не пробегаешь.

— С меня хватит.

Они сели на некошенную траву.

— Пришел конец блату, Нюрка. На деле не засыпешься — так возьмут. Меня взяли было один раз в коммуну. Ушел. Думал, что без воровства, без веселого шалмана на свете не проживу…

Он сидел против Нюрки, опустив лохматую голову со впалыми смуглыми щеками, худой и робкий.

— Последний раз я пробыл на воле два часа. Ехал на трамвае из Таганки в Проточный, «взял» и здесь же попал. За эту кражу мне дали два года. Два года Бутырок — за двадцать рублей! Ну, положим, что это дело сошло бы, сошло бы и другое, фарт шел бы ко мне — все равно, замели бы в трактире, на улице, в шалмане и пивной. Из малолетних, Нюрка, мы уже ушли, когда за кражу давали три месяца.

Нюрке хотелось оборвать Малыша, но, взглянув на него, ей стало жалко уйти так просто. Малыш говорил о первом сомнении в правильности воровской жизни, которое пришло к нему в тюрьме, он рассказывал о том, как ранними утрами поднимался на высокий подоконник камеры, чтоб взглянуть хоть на краешек Москвы, и как в первый раз в жизни прочел взятую из тюремной библиотеки книгу.

— До этого я никогда ничего не читал, Нюрка, но эта книга так шибанула меня, что я на несколько дней и сна лишился и о жратве забывал. Повернулась ко мне моя жизнь так, что смотреть на нее стало страшно.

— За восемь месяцев до окончания моего срока в Бутырки приехал Погребинский. Он сразу узнал меня. «Если возьму в коммуну — опять убежишь?» спросил он. А я уже убегал один раз. «Не убегу», сказал я. Теперь я часто вспоминаю об этом, Нюрка. Конечно, не будь коммуны, не уйти бы мне от блатной жизни… Без ремесла на воле трудно. Великая вещь — ремесло, Нюрка. Вот оно, — Малыш поднял свои руки, — теперь, где хочешь, не пропаду.

Нюрка взяла Малыша за подбородок и ущипнула:

— Богословский подослал тебя?

— Ты дядю Сережу не тронь. Без него давно бы тебе не быть в коммуне.

— Передай ему — пусть хоть сегодня назад отправляет.

— Нюрка, — вскрикнул Малыш, махнул рукой и откинулся спиной на траву.

Нюрка видела его плотно сжатые губы, выгнутые у переносья брови — он напоминал обиженного мальчика.

«Ах, какой ты дурак, Малыш, — подумала она. — Ах, какой дурак».

И ей захотелось рассказать ему про Вальку, о том, как она к концу третьего месяца уже умела пускать пузыри, гукать и хватать ручонками воздух. Она была уверена, что, слушая ее, Малыш начнет улыбаться. Волна благодарности к Малышу хлынула в ее сердце.

Она наклонилась к нему, готовая увидеть эту улыбку, и Малыш действительно улыбнулся. Нюрка запустила в его густые волосы пальцы и прошептала:

— Ах, какой ты дурак, Малыш.

Они долго сидели молча. Потом Нюрка, пугаясь своего голоса, спросила:

— Ты меня любишь, Малыш?

— Еще с Проточного…

Друзья и трудности

У Карасихи развалились старые полусапожки. В Мытищи итти далеко; деревенские сапожники запросили за обсоюзку полусапожек столько, что в Москве за такую цену новые хоть на выбор покупай.

— Пойду к Савину, авось, уважит ботинки за московскую цену, — решила она.

«Купить-продать» за прилавком считал деньги.

— Здравствуй! Как торговля? — поласковее сказала Карасиха.

— Ничего, расторговался, за новым товаром вот посылаю.

— Может, для меня осталась парочка…

— Для дорогой кумы у меня всегда припасено. Гляди, как раз на твою ногу, — сказал «Купить-продать», показывая пару новых ботинок.

— Мне не к спеху, — схитрила Карасиха, любуясь товаром.

— Твоя забота, Настасья, а ботинки важные.

— Цена сходная ли?

Лавочник загнул такую цену, что верхняя губа у Карасихи приподнялась, зуб-резец сердито выступил наружу.

— Живота у тебя нет, кум, — закричала она. — В Москве ботинки на выбор вдвое дешевле.

— За морем телушка — полушка.

Карасиха, положив руки на бедра, браво прошлась перед прилавком:

— Без башмаков буду, а у тебя не куплю. Ты себя за деньги купишь-продашь, проклятый.

На улице она долго ругала Савина.

— Пойди, Настенька, в коммуну, хотя бы вон к разореновскому зятю. Починят хорошо и дешево, — убедительно

посоветовал ей Грызлов. — На квартиру-то не носи — там не возьмет, — добавил он.

Со времени женитьбы Гуляев жил у жены в Костине.

— Какие они сапожники? Ихнее дело насчет карманов, — проворчала Карасиха, но все же собралась и понесла ботинки в коммуну.

Молотки в сапожной постукивали, как цепы на току. Карасиха, низко поклонившись всем, оглядывалась — где он тут, танькин-то муж?

— Что, старая?

— Мне бы нашего костинского Гуляева. Обувку принесла! — сказала она.

Молодой мастер с веснущатым лицом взял ботинки, поковырял и сказал:

— Гуляев нынче в городе… Починить тебе? Обладим. Приноси завтра семь гривен.

Карасиху тут же взяло сомнение — не смеются ли над ней, — уж больно что-то дешево. Она мялась у двери и вопросительно глядела на мастера.

— Чтой-то ты, старая, на молодых заглядываешься?

Карасиха улыбнулась, высморкалась в передник и осторожно сказала:

— Носки не забудь прикинуть, озорник.

— Сделаем — мое почтенье!

— Подметки смени, набойки тоже не забудь, — уже более смело сказала Карасиха.

— Крепче твоей головы ботинки будут, носи и вспоминай коммунских мастеров.

Карасиха низко поклонилась. От радости она готова была побежать, но направилась к выходу степенно. Веснущатый мастер сказал вслед ей:

— Ты бы зашла в кооператив, помолодилась, купила бы чего для праздника, много товару привезли.

Карасиха давно знала, что в коммуне открылся свой кооператив. Еще зимой потешались мужики — вот-де, мол, будет дело: и председатель вор и лавочник вор — допустили кота до сала, укараулит — и горшочка не найдешь. Она не больно теперь верила этим разговорам. Хоть и правильно, что коммунские — воры, а не видно, чтоб воровали где-нибудь. Все собиралась сходить посмотреть новую лавку, да что попусту смотреть? Карасихе копейка трудно достается.

«А что, — решила старуха, — и вправду посмотреть?» Она Пошла прямо из мастерской в кооператив. Остановилась у порога. Верно, товару много — и мануфактура, и ботинки, и калоши. А

народу — того больше. Коммунские девки, мужики и бабы из Костина, из Мытищ и других деревень. «Что-то как набежали — или дешево? Неужто одна я, старая дура, не знала До сих пор, где дешево покупать?..»

Карасиха настойчиво протолкалась к прилавку и долго приглядывалась к паре ботинок, стоящей на виду. Наконец робко приценилась — как, мол, дороги ли?..

— Пять пятьдесят.

Карасиха дрожащими руками развязала узелок, достала две салатного цвета трешницы, подала продавцу, получила ботинки, сдачу и выбежала из кооператива. Жалела, что не спросила — по чем ситец и нет ли стекла для лампы. Сколько же она переносила лишнего Савину за зиму… — прикинула Карасиха, и сердце у нее заныло от огорченья. Занятая своими мыслями, она не приметила шедшего навстречу Разоренова.

— Откуда? — спросил он.

— Из коммуны, батюшка. Обувку в починку носила, к празднику обнову купила и все за шесть рублей двадцать копеек.

— Может, краденое? — хмуро спросил Разоренов.

— Не ведаю, батюшка, не ведаю, ботинки без паспорта. Коммунский кооператив ботинки за пять рублей пятьдесят копеек продает по красной цене, а «Купить-продать» — двадцать для кумы запросил.

— Дура ты, — сказал Разоренов, — купила, обрадовалась… Да они у тебя через три дня развалятся…

Вчера Разоренов узнал наверняка про единственную свою дочку Настю: сошлась с коммунским. Он закричал на нее, затопал ногами. Но Настя, опустив глаза, твердо сказала:

— Люблю Горбатова и буду с ним жить, — хлопнула дверью перед носом отца и ушла.

«Прокляну! — думал Разоренов. — Родного отца, мать бросает. Прокляну!» И всюду — не только дома — не глядели бы ни на что глаза: жизнь пошла так, хуже не бывает. Несколько дней назад райземотдел зачислил за коммуной строительный участок со сносом костинских домов, и сельсовет согласился. Понадобится другой строительный участок, и тогда могут снести дом Разоренова.

Тусклые глаза его обратились к церкви, крест которой красновато блестел, отражая зарю. Неужели бог допустит, чтобы около церкви вырос четырехэтажный дом и песни коммунаров слились со святым звоном?

«Изничтожить, взорвать бы это проклятое гнездо!»

Разоренов готов был заплакать. В эту минуту он хорошо понимал, что пройдут годы, истлеют его кости, но ненавистная,

враждебная ему жизнь будет течь своим чередом.

Коммуна окрепла. Не только Разоренов чувствовал это. Отходило время шуточек и улыбок, время откровенных злобных выпадов. А ведь прошло всего около трех лет.

— Сколько надо жить в коммуне, чтобы стать полноправным гражданином? — чуть ли не на каждом собрании спрашивали болшевцы руководителей.

— Дело не в том, сколько лет жить, а дело в том, как их прожить. Советским гражданином делается тот, кто ведет и чувствует себя именно как советский гражданин, — слышали они в ответ, попрежнему беспокоились и ждали.

И вот теперь стало все ясно.

— А в этом году у нас будет выпуск, — сказал Богословский на последнем собрании воспитанников. — Лучшие, те, кто проявил себя на производстве, овладели специальностью, порвали с прошлым и даже вошли в комсомол, — получат профбилет. А с некоторых снимется и судимость. Если… если коммунары в связи с приходом девушек окажутся на высоте.

— Если выпустят, тогда, что же, я смогу уехать и уйти куда хочу? — недоверчиво спрашивали ребята.

Все как-то не верилось им в предстоящий выпуск.

После прихода девушек была организована трикотажная мастерская. Пока в ней работали главным образом вольнонаемные. Коммуна переходила на производство предметов спорта — коньков, спортивной обуви и некоторых других предметов.

Сергей Петрович с беспокойством отмечал, что девчата первой партии не перестают приносить много хлопот. Особенно тревожила его Нюра Огнева. Нельзя уже было сомневаться, что между нею и Малышом налаживаются хорошие серьезные отношения. Уступая ее просьбам, Сергей Петрович отпускал ее вместе с Шигаревой несколько раз в Москву, к родственникам, как уверяла Огнева.

Каждый раз подруги возвращались из поездки радостные, с дорогими подарками. Коммуна завидовала. «Что это за родственники, которые делают такие подарки?»

Красивая внешность Нюрки, ее модные платья сокрушали сердца многих болшевцев, но все уже знали, что Малыш собирается на ней жениться. Предстоящая свадьба вызвала много толков и сплетен. Это ведь не то, что женитьба Гуляева на костинской девушке. Подсчитывали, со сколькими коммунскими парнями путалась Нюрка, предрекали ее замужеству страшную развязку: по возвращении из Соловков первый муж Нюрки

несомненно отомстит Малышу… Но некоторые ожидали свадьбы с радостью. Эти обсуждали подробности совместной жизни Нюрки и Малыша, вплоть до жилища, обстановки и будущих детей. Малыш хотел сыграть свадьбу скорей, но Нюрка не торопилась. В мастерской их места были все также бок о бок, но работала Нюрка по-старому — плохо и мало. Случалось, что и хулиганила, ругала воспитателей, коммуну, тайком напивалась. Малыш хмурился, вечерами не выходил из клуба, играл на своем кларнете.

Тоска, покинувшая было Нюрку после признания Малыша, снова овладела ею. Однообразие ежедневного труда утомляло ее. Не покидала надежда, что все это временное, не настоящее, что придет час, когда Малыш скажет ей: «Побаловались, Нюрка, и хватит. Давай резанем вместе в Москву».

Малыш на работе каждый день перевыполнял норму и в минуты откровенности мечтательно рассказывал Нюрке о преимуществе скрипки над кларнетом. Может быть, он делал это на зло?

В Москве Нюрка и Маша заходили в магазин.

— Покажите нам креп-де-шиновое, — приказывала Маша.

— К вашим услугам, — присвистывая от усердия, отвечал частник.

На прилавок бесшумно ложились хвостастые легкие платья.

— Терракот… Хороший тон… последняя мода-с.

Маша наваливалась на прилавок, сравнивая тон платьев. Нюрка, прижимая чемодан к прилавку, незаметно открывала его.

— Вот это покажите, — указывала Маша стэком на самые верхние полки.

— Извольте-с.

Продавец услужливо лез по лестнице вверх. В это время Нюрка неслышно тянула в чемодан платье за платьем. А когда продавец слезал, в магазине не было ни покупательниц, ни платьев на прилавке.

На Лесной Нюра и Маша заходили к «купчихе».

Их встречал бородатый мужчина в фартуке и сапогах, служивший дворником при доме, и его мать, костлявая старуха.

— Пожалте, барышни, — кланяясь, приглашал «дворник», — для вас в лепешку рад. Мать, ставь самовар.

В шалмане кроме Шигаревой и Огневой бывали и другие воры.

Маша стучит стэком по столу:

— Здорово, ребята.

Воры ласково улыбаются:

— Здравствуйте, красавицы. Ну, как в вашей коммуне?

— Чай с сахаром пьем, — шутливо отвечает Маша.

— Житуха! Устроились в коммуне, а сами все попрежнему. Поди-ка излови вас…

— Принимай, купчиха, — говорит Огнева, кидая бабке чемодан с шелковыми новенькими платьями, карманными часами, кружевами.

Торопливо называет цену.

Бабка лезет за пазуху, пугаясь, как бы не передумали.

— Дешево отдаете, девки, — возмущались жулики.

— Скорей, скорей, мать, — понукал дворник, недовольно поглядывая на жуликов.

Поздно возвращались в коммуну загулявшие подруги. «Прокат» мчал их третьей скоростью, огни автомобиля стлали по кривой каменистой дороге лимонный веер света. Маша целовала Огневу, угощала шофера водкой, горланила песни. Не доезжая Болшева, останавливали машину, вылезали, щедро. расплачивались с шофером. И опять идет день за днем. Скоро ли в город?

— Пойдем в парк, — зовет Маша Огневу после работы.

Но Огнева не хочет итти. У нее болит голова. Впрочем, в действительности причина ее дурного настроения иная: в Москве она заходила в Проточный. Там, где прежде был шалман, цветет в распахнутых и промытых окнах чужая, неизвестная жизнь. Почти все знакомые воры в тюрьмах или в ссылке, или здесь, в коммуне. «Куда бы я теперь пошла с тобой, Валька», со слезами думает Огнева. Ей кажется, что Валька жива, здесь, с нею.

— Ну и чорт с тобой, — ругается Маша. — Не хочешь, пойду одна.

Огнева с минуту непонимающе смотрит на нее.

В парке весело — много молодежи, играет баянист. Маша в темно-малиновом платье, в соломенной шляпе. Она понимает, что все эти коммунские кузнецы, столяры, башмачники восхищены ею, дорогим ее платьем, стоит пожелать — любой из них с радостью сменит свои рубанки на нее, Машу, на хмельную, разудалую. Пальцы баяниста бегают по клавишам:

Милый, купи ты мне да-ачу-у…

Высокий, широкоплечий парень кружит деревенскую девушку. Ее платье то поднимается зонтом, то плавно ложится. Девушка прижимается к парню, не спускает глаз с его огрубелого лица.

— Ха-ха! Влюбились друг в друга, — громко и презрительно крикнула Маша.

Девушка испуганно отшатнулась от кавалера. Маша усмехнулась:

— Гуляете? — и подмигнула парню. — Пойдем.

Парень поежился, улыбнулся, посмотрел виновато на костинскую девушку и покорно пошел за Машей.

В конце липовой аллеи на скамейке сидел Эмиль Каминский. Он пришел в коммуну с той партией, в которой был Малыш.

Как и Малыш, он с трудом представлял себе, что мог когда-то жить иначе…

Маша остановилась возле него:

— Привет комму некому интеллигенту…

Каминский посмотрел куда-то мимо нее, на молодую березовую поросль.

— Чего привязалась к человеку? Пойдем, — торопил обеспокоенно парень, отнятый Машей у деревенской девушки.

— Не твое дело, — огрызнулась Маша и села рядом с Каминским так близко, что почувствовала теплоту его тела.

— Можно, интеллигентик?

Каминский слегка отодвинулся и обратился к парню:

— Как, Вася, с заготовками?

— Наладилось, — смущенно, боясь взглянуть на Машу, ответил тот и ковырнул песок носком ботинка.

— Мужские шьешь?

— Мужские и дамские. А ты как? — Василий заметно оживился.

Он и Каминский приехали в одно время.

— Да так же. Работу хвалят, — Каминский зевнул. — Спать, что ли, итти?

Маша обозлилась: «Дьявол, нарочно. Будто не женщина с ним, а пень».

В общежитии Маша ни с кем в тот вечер не разговаривала, даже с Огневой. Ложась спать, так рванула свое темно-малиновое платье, что оно с треском распоролось по шву. Давно, с самого начала, подмечала она, что ребята как бы избегают ее. Тогда она думала, что, быть может, воспитатели запретили им бывать с ней. Но чего же было бояться сегодня Каминскому? Ведь Сергей Петрович не видел. Они не боятся, а просто зазнались, не хотят с нею водиться.

«Ну, погодите же, — думала Маша. — Выкину номер. Покажу вам коммуну. Будете знать».

Утром она дождалась, пока болшевцы уйдут на работу, и пошла в трикотажную — позже всех.

Гнам — спец-трикотажник, гладко выбритый и наутюженный, — важно ходил по вновь организованной

мастерской. Он услышал в машине фальшивый, хрипящий звук… «Нитку рвет», определил Гнам опытным ухом.

Он повернулся, чтобы посмотреть, где именно неисправность, и смущенно протянул:

— О-о-о!

Перед ним, помахивая стэком, стояла Маша в бюстгальтере, шелковых чулках и трусах. Гнам развел руками, возмущение распирало его:

— Голая женщина на фабрике… Какой стыд!

— Давай, немец, работу, — издеваясь, властно приказала Маша.

Ее голубые глаза смотрели уверенно и вызывающе.

— В Германии много женщин, — визгливо закричал Гнам, — всяких женщин. Такая женщина не может работать.

Гнам бегом пустился по мастерской.

Маша погуляла между машинами, презрительно поморща нос перед хихикающими вольнонаемными трикотажницами, а вышла на улицу.

Сергей Петрович осматривал с прорабом место предполагаемой стройки дома. Мишаха Грызлов складывал тяжелый бут в штабеля. К полудню у него всегда лежала в кармане заработанная трешка, а у мерина была добрая порция овса. Он прислушивался к разговору прораба с Сергеем Петровичем.

— Условия строительства очень тяжелы, — говорил прораб.

— И все-таки мы должны уложиться в лимиты, — возразил Сергей Петрович.

— Доставка песка с Подлипского карьера обойдется в тридцать тысяч.

— Надо поискать здесь.

— За рекой много песку, но как его доставить? Может, лодку приспособить? — неуверенно предложил прораб, сам понимая, что это не выход.

«Ишь, песку нет», подумал Мишаха.

Маша зашла в обувную. Она представляла себе, как ребята, увидев ее почти голую, бросят работу, столпятся, выражая восторг и изумление. Помахивая стэком, с горделивой усмешкой она будет цедить насмешливые слова.

— Ты что? Платье потеряла или рехнулась? — сказал Гуляев.

Никто и не подумал бросать работы. Кто-то насмешливо фыркнул:

— Заголилась, дура…

Она подошла к Малышу:

— Спляшем… Я не хуже твоей Нюрки танцую.

— Отойди, не мешай, — коротко сказал Малыш.

— Иди отсюда. Иди — люди работают, — предложил Гуляев.

Маша потерянно улыбалась. Гнам убежал, а здесь никто даже не смутился, никто не подошел к ней.

Она вышла из обувной. «Лучше бы смеялись… Да ну их, все здесь лягавые», думала она вяло.

— Маша!.. — крикнул Сергей Петрович, увидев Шигареву, — простудишься. Что ты, маленькая? Няньку тебе надо? Видишь, ветер какой.

— Тьфу, — плюнул Мишаха, — бесстыдница!.. Что делает! Совести нет.

— Что, разве плохая я? — выставив грудь, деревянным голосом из последних сил спросила Маша.

— Иди, иди, — с отцовской настойчивостью повторял Богословский. — Иди, оденься. Заболеешь.

«А нелегко им тут, — подумал Мишаха, — экий народ, каждого обломай, уговори!.. Нет, нелегко им… Вон и песку нет».

Мишахе вдруг очень захотелось чем-нибудь помочь Сергею Петровичу, которого он уважал за обходительность, с которым вместе заседал в костинском сельсовете. Да чем он мог бы ему помочь в таком деле? Вот разве сумасшедшую девку вожжами связать. Да у них не вяжут.

В следующий отпускной день Нюра и Маша снова поехали в Москву. В этот день с ними увязались Мысков и Тумба. На Сухаревке Нюрка предложила «побегать». Мысков и Тумба переглянулись. Им стали понятны богатые подарки нюркиных «родных». Они колебались. Но шум улицы, витрины сретенских магазинов пьянили их. Знакомый им воровской азарт Нюрки и Машки, их смелость и ловкость толкали Мыскова и Тумбу попытать старое счастье.

— Только немного, — согласилась Тумба.

— Стоит ли, девочки, — слабо протестовал Мысков, но те уже стали нырять из магазина в магазин.

В Мосторге, обнаглев от неудачи в предыдущих магазинах, Нюрка взяла с прилавка два куска шелковой ткани и передала Мыскову. Мысков заколебался, но, сообразив, что Нюрка приехала без пальто, спрятать ей некуда, может легко «засыпаться» и навсегда потерять коммуну, сунул ткань под шинель.

Ночью в лесу, недалеко от коммуны, состоялась пьянка. Весть о гулянке и воровстве облетела на другой же день коммуну. Дядя Сережа явился в женское общежитие. Нюрка лежала на постели с опухшими и мутными глазами. На подоконнике стояла пустая водочная бутылка.

— Что это? — спросил он.

— Уксус пила, хочу похудеть! — ответила она и засмеялась.

Вечером Мишаха шел огородами. Бледные звезды мигали на сумеречном небе. Болшевцы медленно сходились к тому дому, где у них устраивались собрания.

За штабелями Мишаха разделся и скользнул в пруд. Ноги увязли в липкой тине. На свободном от водорослей пространстве Мишаха достал дно. Правильные круги пошли по воде. Вынырнув, он отдышался и, подняв обе руки, принялся внимательно рассматривать и нюхать что-то зажатое в пальцах.

«В самый раз, — говорил он сам себе, выходя на берег, — в самый раз будет».

Одевшись, он постоял немного, потом пошел к дому, куда сошлись болшевцы. В открытые окна слышался невнятный гул голосов.

Сперва Мишаха ничего не мог понять. Он видел только Накатникова, костинского зятя и Богословского — Мишахе хотелось теперь же подойти к Богословскому и поговорить с ним, но потом он решил обождать конца собрания. Парень, сидевший председателем, говорил:

— Итак, утверждается следующий список коммунаров, которых общее собрание выдвигает на выпуск. Голосуем в целом, — и он стал читать фамилии, знакомые Мишахе.

«Это которых увольнять будут, — понял Мишаха, — значит, останется их здесь меньше. Тогда зачем же собираются строить большой новый дом, и почему председатель говорит о предстоящем сокращении, точно это ему в радость?»

Потом ребята вновь зашумели. Мишаха прислушивался — ему стало ясно, что говорят уже о другом.

Около покрытого кумачом стола сидели девки — одну из них Мишаха узнал сразу — та самая, которая ходила голой, когда он перекладывал бут. У другой — ораторы называли ее Нюркой — лежало под глазами два резких синих круга, лицо ее показалось Мишахе больным и усталым. В зале стало тихо. Поднялся Погребинский. Он говорил, что коммуна только для тех, кто хочет подчиняться ее законами работать в ней, что Шигарева и Огнева не сдержали своего обещания — воруют и пьянствуют, что среди старых воспитанников коммуны нашлись люди, которые, вместо того чтобы хорошо повлиять на девчат, сами разлагали их. И это когда? Накануне выпуска! Стыд! Позор!

«Воровок судят, — сообразил Мишаха. — Правильно, — ожесточенно одобрил он, — таких не только что выпустить, а еще и наказать как следует. Ишь, что выдумала, бесстыдница — голой ходить».

Когда все высказались, встала Огнева и начала говорить что-то тихо и неразборчиво.

Весь этот день перед собранием она провалялась на кровати, курила и думала о предстоящем суде. И чем больше думала, тем настойчивее к ней подступал страх. Все, что угодно — только не это, только не собрание.

Перед тем как раздался звонок на собрание, она совсем решила бежать и уже завернула было в узелок свои вещи, но, шагнув к порогу, почувствовала, что не уйти. Маша сказала:

— Погоди, Нюра, может, еще ничего.

Сергей Петрович выступал несколько раз, пытаясь сдержать прорвавшийся гнев коммунаров, но всякий раз отступал под его натиском. Временами, когда гул голосов обрушивался с особенной силой, Нюрка сжималась, точно от холода. От усталости она почти ничего не понимала, но когда к ней подошел Малыш, прошептала тихо и горько:

— Что же и ты не кричишь? Я и с тобой ведь путалась.

— Нюрка, — едва вымолвил Малыш.

Она опустила голову и отвернулась. Ее, Шигареву и Мыскова — старого болшевца за потачку — собрание постановило исключить из коммуны.

— Мертвую, но оставить Нюрку в коммуне! — закричал Малыш с отчаянием.

Но ребята уже толпились, уходя, в дверях. Немногие оглянулись на этот крик.

«Строгость, большая строгость», подумал Грызлов с опасливым уважением. Теперь, когда решение состоялось, оно казалось ему справедливым и правильным.

— Сергей Петрович! — окликнул он выходящего вместе с другими Богословского.

— Ты чего здесь?.. Тебе-то что полуночничать? — удивился Богословский.

Он покидал собрание со сложным чувством. Его радовало единодушие и непоколебимость, проявленные коммунарами на этом собрании, и было грустно, что не удалось выправить, сберечь Шигареву и Огневу. В интересах будущего, в интересах всех девчат, еще сидящих по тюрьмам и живущих в коммуне, приходится сейчас итти на это отсечение.

— Гляди, — сказал Мишаха, протягивая руку к свету из окна: чистый желтый песок лежал в ладони Мишахи.

— Далеко нашел? — спросил Сергей Петрович, любуясь песком, сразу поняв все.

— В церковном пруду.

— Как же мы его возьмем?

Мишаха помолчал. Вокруг столпились болшевцы. Они с любопытством и даже с почтением осматривали Мишаху.

— Церковный пруд выше большого. Спустить воду из малого в большой — какой труд, — сказал Мишаха и поглядел на ребят, ожидая их одобрения.

Сергей Петрович задумчиво потрогал пальцем песок.

— Выйдет ли? — усомнился он.

— Чего не выйдет, — обиделся Мишаха, — даровой песок под рукой, только бери.

— Ну, спасибо, Грызлов. Коммуна у тебя в долгу, — с чувством сказал Сергей Петрович, — коли не поздно тебе — пойдем, чайком угощу. — И, вспомнив крик Малыша, подумал: «А может, еще не потеряли девчат… Посмотрим!»

Первый мастер

А Умнов все так же захаживал к Филиппу Михайловичу и все так же посматривал на Шурку. Шли дни и недели, но дальше этих красноречивых взглядов дело не двигалось. Мешали этому и нерешительность Умнова и кокетливая увертливость Шурки. Поэтому иногда Умнов приходил в кузницу бледнее обычного и с такими тихими, грустными глазами, что даже дядя Павел сокрушенно покачивал головой:

— Эх, жижа грибная! Жениться бы теперь тебе! В самую пору.

В ответ на это Умнов хмурился и наваливался на работу с таким остервенением, словно на ней старался выместить всю свою тоску и обиду.

Однажды вечером дядя Павел надел новый пиджак и, заправив брюки в ярко начищенные сапоги, пошел к Филиппу Михайловичу. Вид у него был торжественный. Сев у стола, он выразительно крякнул и почему-то строго посмотрел на Шурку. Сел и Филипп Михайлович. Они выжидающе помолчали несколько минут, и, когда тишина в комнате стала тягостной, дядя Павел неожиданно выпалил:

— А Сашка-то Умнов — башковитый малый!

Сказав это, он чрезвычайно смутился. Дорогой он тщательно продумал свою тонкую речь с такими хитрыми ходами, против которых по его мнению не устоять было ни Шурке, ни Филиппу Михайловичу.

«Как кувалдой с плеча хватил», подумал он и крепко потер ладонью о колено. Но Филипп Михайлович ловко отвел внезапный удар:

— Озорной он. По огородам лазил, две свиньи убил, вином тоже грешит. А был слух — будто заготовки украл.

Сказано это было таким тоном, точно о малознакомом и неинтересном человеке. Такое отношение к его любимцу взорвало дядю Павла. Забыв о своей хитрой стратегии, он пошел напрямик:

— Это ты о Сашке? Ну, брат, нет. Может, и был такой, был, да весь вышел.

— Понимаем! — неопределенно ответил Филипп Михайлович.

— Понимать тут много не нужно. Парень весь как на ладони. Парень важный, а мужик будет и того лучше.

Филипп Михайлович усмехнулся и посмотрел на зардевшуюся Шурку.

— Понимаем! — еще раз повторил он. — Только какая неволя девке за вора итти?

— Это ты дело говоришь. За вора и я не посоветовал бы. Дочь твоя — хороша, скажу прямо. Ну, и Сашка у меня — куст малиновый. Своему делу мастер Сашка у меня.

— Молода еще, зелена, — вступилась мать, входя в комнату. Она, видно, подслушивала.

«Те-те-те… пошел разговор… зацепился», усмехнулся про себя дядя Павел, солидно оправил борты пиджака и сказал шутливо:

— А давайте спросим самое голубушку. Сашка так и наказал мне: «Не захочет Шурка, так не сватай». Ну-ко, голуба, держи ответ.

Шуркины щеки так сильно покраснели, что дяде Павлу показалось, будто он чувствует их нестерпимый жар. Потом ее ресницы дрогнули, закрыли глаза.

— Пойду! — чуть слышно сказала она и отшатнулась за спину матери.

Через день будущий тесть поднес дяде Павлу и Умнову по стакану вина. Теща спросила жениха:

— Что у тебя есть? Какие прибытки?

Дядя Павел весело ответил за Умнова:

— Весь тут. Ни дому, ни крыши. Кузнец-молодец, сила да храбрость.

Все засмеялись.

Домой дядя Павел и Умнов шли в обнимку и пели:

За девку черноокую,
За чорта, за купца!

Дядя Павел шептал:

— Ты теперь полный хозяин будешь. Всему делу голова.

Умнов не сразу понял, о каком хозяйстве говорил мастер.

— Постарел я, сынок! Руки, ноги у меня трясутся, вижу худо. Женю и оставлю тебя в кузнице мастером.

Дядя Павел покрепче обнял Умнова за шею, положил свою седую голову ему на плечо и затянул грустно:

Она, моя хорошая,
Забыла про меня!

Женив Умнова, дядя Павел ушел по инвалидности с работы и оставил Умнова вместо себя мастером. Парень стал старшим над Калдыбой и Королевым. Старые товарищи и враги долго не хотели подчиняться. Калдыба кричал:

— Не хочу слушаться Сашки!

Королев же только улыбался.

Умнов по обыкновению приходил на работу раньше всех, осматривал инструменты, знакомился с заказами. Когда приходили остальные кузнецы, раздавал им нужный материал и указывал, что делать.

Летом Умнову дали удостоверение — «мастер коммуны». Удостоверение это он получил утром в кабинете Сергея Петровича.

— Заслужил ты, Умнов, — сказал Сергей Петрович. — Тебе многое доверила советская власть, и ты оправдай это доверие.

Ребята хлопали его по плечу: «Первый мастер из нашего брата».

Умнов в коммуне стал знаменитостью. О нем говорили в общежитиях, на собраниях, его ставили в пример другим, смотрели ему вслед с завистью и уважением.

Но скоро не меньшее уважение приобрел у коммунаров и Осминкин. Умнову пришлось несколько потесниться.

Начало этому положил футбольный матч всесоюзного значения, о котором Осминкин вычитал в газетах. Как страстный футболист Осминкин горячо заинтересовался им. Он каждый день просматривал газеты, отыскивая в них все, что печаталось о подготовке к матчу, и целыми днями говорил только о нем: «Вот бы получить отпуск — посмотреть!»

Скоро из Москвы на его имя пришла бумажка. В ней просили Осминкина явиться в Совет физической культуры, назначили день и час. Для Осминкина это было неожиданностью. Зачем он им там понадобился? Он недоуменно вертел в руках вызов, спрашивал Богословского, но так и не получил ответа на свой вопрос.

В назначенный день ему выписали увольнительную. Он послал телеграмму матери. Он знал, что мать постарается

сделать так, чтобы Виктор повидал не только ее, старуху. Была в Москве одна девушка, которую всегда хотел видеть Осминкин. Мать считала ее его невестой. «Может, динамовцев посмотреть успею, вот было бы здорово!» думал Осминкин в вагоне.

В Совете физической культуры Осминкину предложили пройти комиссию.

Держали Виктора недолго. Отчеканивая каждое слово, он старательно отвечал на вопросы. Доктор выслушал его, пощупал, проверил дыхание, давление крови и сказал, как на призыве:

— Годен!

— Куда ж это я годен? — поинтересовался Осминкин.

Ему сказали:

— Играть за сборную РСФСР, — и удивились, что он этого не знает.

— За сборную РСФСР? — переспросил Осминкин даже без волнения — так был уверен, что ослышался.

Человек за столом подтвердил.

— Я? Не может быть! — не верил Виктор, когда человек кончил объяснять, что он, Виктор Осминкин, будет играть за сборную РСФСР против команд других союзных республик.

Ему все еще казалось, что эти люди, узнав от кого-то о его страсти к футболу, решили над ним подшутить.

Через час он получил нужные инструкции и бумаги. Ему уже давали советы, как себя держать до матча: «Не очень утомляться!..» Да разве он не знает!

Осминкин вышел из зала и бегом сбежал с лестницы. Люди, идущие наверх, шарахались в стороны, не успев разглядеть его сияющее счастливое лицо.

Влезая в трамвай, он хотел погасить улыбку, но, протянув кондукторше рублевку, вдруг засмеялся:

— Давай на все!

— Вы что, пьяны, товарищ? — грозно осведомилась кондукторша.

Виктор покорно принял сдачу и, убегая от любопытных взглядов пассажиров, протиснулся на переднюю площадку: пусть немножко обдует ветерком.

«Домой! — подумал он почти вслух. — Вот мать обрадуется!»

У Мясницких ворот Осминкин сошел с трамвая.

«Пройдусь, а то больно разволновался».

Ноги несли его к вокзалу. Он все еще пробовал спорить с самим собой: «Ну, зачем мне сегодня в коммуну? Успею и завтра», и продолжал шагать к Северному.

— До Болшева и обратно! Впрочем, дайте только туда, — сказал он в окно кассы.

В коммуне уже привыкли к тому, что команда болшевских футболистов, встречаясь с другими командами, нередко одерживает победы. Но эти победы, как и все, что касалось спорта, людям, мало искушенным в его особой организации и жизни, представлялись делом хотя и славным, но домашним, маленьким, вряд ли особенно интересным кому-нибудь за пределами коммуны.

А тут вдруг одного из их футболистов берут в команду РСФСР! Значит, все его знают, ценят, значит, он один из лучших!

После ужина в столовой Осминкина качали.

— Чемпион! — надрывался легко воспламеняющийся Хаджи Мурат. — Чемпион! Качать чемпиона!

Умнов вместе со всеми радовался этому признанию заслуг Осминкина. Самого его подкарауливала беда.

С одним из последних наборов в коммуну пришел молодой домушник Громов. Его назначили в кузницу, но работал он плохо, даже к горну частенько нетрезвым становился. В свободное время Громов ходил по коммуне нарядно одетый, а когда были деньги — удачливо играл в карты. Он сразу же примкнул к Королеву и, когда у того отношения с Умновым обострились, шепнул:

— Мы этого Умнова враз скрутим… Есть средство… Покажем, какой он мастер…

— Ну? — заинтересовался Королев.

— Сманить играть в карты… Напоим, тогда весь наш будет.

— Не пойдет! — усомнился Королев.

— С умом взяться, так пойдет.

С этого дня в кузнице кто-нибудь неизменно заводил разговор о картежной игре, о крупных выигрышах, о прошлой жизни. Так тянулось около недели. Наконец Громов прямо предложил Умнову попытать счастье и к немалому удивлению получил согласие. Собрались в Костине, в избе братьев Немухиных. Выпили. Умнов захмелел больше всех.

Громов льстиво нашептывал ему на ухо:

— Начальство ты — лучше не надо, слов не найдешь… Поставь дядя Павел другого человека, мы, может, совсем отказались бы, а с тобой можем…

Начали играть в карты. Умнов проигрался, спустил двести рублей своих денег и сто занятых тут же у Калдыбы. Он хотел играть еще, Королев вдруг наотрез отказался.

— Наши обычаи знаешь? — хитро напомнил Громов.

И словно не прожили ребята три года в коммуне, не распрощались с прошлым, словно Королев и Калдыба не были хорошими производственниками, а Умнов — комсомольцем и начальником цеха.

— Я не хочу играть. Не заставишь, — Королев бил кулаком по столу. — У меня денег нет.

— А я требую. Куда деньги девал? Ты — лгун. Я найду сейчас, — и Умнов полез в карманы Королева.

Тот молодцевато, чтобы все видели, стал среди комнаты и поднял руки. Умнов обшарил все его карманы, но денег не нашел.

— Саша, — спросил Королев, — не забыл порядки наши старые? Что полагается тому, кто заподозрел своего и ошибся? Ты помнишь, что такому полагается?

Умнов молчал.

Тогда Королев со всего размаха ударил Умнова по лицу, сначала правой рукой, потом левой. Умнов не повел пальцем в защиту. Из носа его сочилась кровь. Королев ткнул ему в зубы. Умнов стоял как парализованный, опущенные руки его висели мертво.

Участвовавший в игре Немухин побожился, что найдет у Королева деньги, и действительно нашел. Деньги лежали в коробке из-под папирос за подкладкой пиджака Королева. Теперь Умнов, в свою очередь, мог бить обманщика, и он дважды ударил Королева по скулам. Тот свалился.

На улице загорланили.

— Убили! Коммунского Королева убили!

Собрался народ. Умнова увели жена и тесть. Он скоро заснул. Приходил Сергей Петрович, но разбудить его не смог. Утром с опухшим лицом, с заплывшими глазами Умнов стоял в кабинете Сергея Петровича и тупо смотрел вниз, на ножки стола.

— Ну, на кого же ты похож? — спрашивал Сергей Петрович. — Был вором — стал кузнецом, доработался до мастера. Как же это ты так распоясался?

Умнов смотрел вниз и молчал.

— Говори, рассказывай!

— Уйду я…

— Куда уйдешь?

— Уйду, дядя Сережа, из коммуны. Не буду я больше ее позорить.

Сергей Петрович написал бумажку, свернул и подал ее Умнову.

— Дом два на Лубянке знаешь? Поезжай и подай там эту бумажку. Постой, — Сергей Петрович запечатал письмо в конверт. — Возьми с собой подушку.

— Подушку?

— Да, подушку. Там кроме матраца ничего нет. И если есть небольшое одеяльце, тоже захвати.

Умнов все понял. Он вышел из управления коммуны и

остановился на дороге. Легкий ветер качал вершины елей, прямых, как свеча, зачесывал верхушки берез. Прошла группа вольнонаемных трикотажниц, провезли бочку воды, из распахнутых окон клуба вырывались звуки рояля — ко всему этому Умнов привык.

Коммуна, семья, работа, комсомол навсегда определили его путь. Не вор он больше и не лодырь. Провинился, значит, нужно отбывать наказание.

— Куда? — спросила жена.

— Сидеть.

— Где сидеть?

— В тюрьме.

Шура изумленно развела руками. Прибежал Филипп Михайлович, теща.

— Ну, чего вы смотрите на меня? Чего смотрите? Сказал — дай подушку и одеяло! — закричал Умнов.

— Да кто тебя гонит? — недоумевал Филипп Михайлович. — Не езди и все!

Умнов завернул туго подушку в одеяло, перетянул сверток ремнем и поехал в Москву.

По возвращении он еще крепче прежнего взялся за работу.

Пока его не было, Королев беспросыпно пьянствовал вместе с Громовым, дважды подрался, кричал среди улицы, что он сожжет коммуну. Его отправили на комиссию МУУРа. Громова исключили из коммуны.

Калдыба работал за мастера цеха и встретил Умнова хмуро:

— Не обломали тебе там ноги?

— Нет, Ваня. Становись-ка на свое место. Потом поговорим.

— Я, может, дороже тебя… Квакает, селезень!..

Умнов не ввязался в спор. Семь суток на Лубянке как бы подытожили какую-то часть его жизни, он стал осторожнее в выражениях, деловитей с кузнецами. Приучал друзей называть его Шуру — Александрой Филипповной.

Спустя несколько дней по возвращении Умнова с гауптвахты к Богословскому пришел исключенный из коммуны Громов. Он стоял перед Сергеем Петровичем, наклонив голову, надвинув низко на лоб пеструю кепку:

— Сергей Петрович, да неужели никак нельзя?

— Не надо было пьянствовать, других за собой тянуть. Не ценил коммуну. Кроме того — не нужда воровать погнала. Из баловства: родители — ведь торговцы? То-то оно и видно.

— Не буду больше. Возьмите обратно, — виновато бубнил Громов.

— Ребята тебя из коммуны выгнали, у ребят и обратно

просись, — сухо заключил Сергей Петрович.

В дверь постучали. Вошел худощавый незнакомый Богословскому человек в военном плаще.

— Я агент ХОЗО ОГПУ, — отрекомендовался посетитель.

— Садитесь, — пригласил Сергей Петрович. — Что скажете?

— Прошлой ночью в парадном у двери своей квартиры я нашел пьяного в сиреневой ковбойке, с пробитой головой, — говорил агент. — Перевязал ему голову, оставил ночевать у себя. Пока я спал — он забрал все ценные вещи и ушел. Особо жаль именные, даренные коллегией ОГПУ часы. Не часы — память украл, подлец. — Посмотрев в упор на Сергея Петровича, он добавил. — А вор-то — воспитанник вашей коммуны.

— Не может быть, — мягко и внушительно возразил Сергей Петрович.

Лицо его было спокойно, и лишь концы пальцев вздрагивали, выдавая, чего стоит ему это спокойствие.

— Парень, пока я его выхаживал, сам сказал мне, что он из коммуны.

Пальцы на столе дрогнули сильнее. Сергей Петрович сунул руки в карманы тужурки:

— Не допускаю я этого. Но мы, понятно, сделаем все, что можем.

Агент ХОЗО встал, одернул плащ, кивнул головой и ушел, ни разу не взглянув на Громова. А тот стоял спиной к столу, уткнув нос в окно и внимательно разглядывал давно знакомую улицу.

— Слышал? — обратился к нему Сергей Петрович. — Я не верю, что это сделал наш болшевец. — Сергей Петрович прошелся от стола к двери, прикрыв лицо рукой.

— Хочешь назад в коммуну? — спросил он, опустив руку.

— А как же…

— Блатную Москву знаешь?

— Ну? — выжидающе произнес Громов.

— Найди вора.

По опухшему лицу Громова поползла злая усмешка:

— Я не агент угрозыска.

— Значит, не хочешь в коммуну…

Громов молчал. Кончики его ушей багрово рдели. Осторожно оправил на голове кепку, засунул под нее кусочек вылезшего бинта и пошел к двери.

— Что ж… поищу, товарищ Сергей Петрович, — протянул он. — Счастливо оставаться.

Когда Громов ушел, Сергей Петрович вызвал Умнова и Осминкина и рассказал им о краже:

— Езжайте в Москву… Ищите. Пятно надо смыть. А вечером

соберем экстренное собрание коммуны.

Через полчаса Умнов и Осминкин уже сидели в поезде.

— Неужели наш парень? — недоумевал Умнов. — Он крутил толстыми пальцами кузнеца пуговицу на рубашке Осминкина. — В душу, гад, плюнул, ежели наш.

Осминкин только что возвратился с матча. Сборная РСФСР постояла за себя. Он весь еще был полон впечатлениями этого выдающегося состязания, радовался, что, будучи в команде представителем коммуны, не осрамил ее, сумел оказаться на должной высоте. Тем отвратительнее казался ему факт, сообщенный Сергеем Петровичем.

— Облазим притоны. Может, не наш, — сказал Осминкин. — Ну, а если наш… — и он медленно сжал кулаки.

В шалмане на Лесной гулял парень в сиреневой ковбойке. Он расшвырял по столу огурцы и стаканы, разбил бутылку с вином, выволок за рукав из соседней комнатушки слепого гитариста и потребовал:

— Затележивай «Яблочко»… Пей, дед, за все уплачено.

В другой комнатушке пили трое урок. Они шептались, хмуро косились в открытую дверь, им не нравилась шалая гульба соседа, а тот сгреб со стола два стакана, бутылку и, шатаясь, подошел к уркам:

— Пейте со мной…

— Поди прочь! — отрезал угрюмый малый с худым изношенным лицом.

— Ребята, да я весь ваш. Никогда не ишачил. Из коммуны ушел. Не могу!

— Не можешь, — насмешливо крикнул другой. — А я вот месяц назад сам просился в коммуну. Приема нет. А ты был и ушел. Через таких вот, как ты, не взяли. Сам не живет и другим не дает.

Гуляка оторопело отступил назад:

— Ребята, люди! Жулики! Та шо ж вы мине… или я сявка? Может, думаете, я уже и воровать разучился? Смотри, — нырнув рукой в глубокий карман штанов, он высоко взметнул над забинтованной головой золотыми часами. — Чистое золото!

Выходная дверь пронзительно взвизгнула. С улицы в прокуренную духоту плеснуло свежим воздухом. В дверях стояли Умнов и Осминкин.

Рука с часами дрогнула и медленно опустилась.

Хозяин притона — бородач-дворник — пригляделся к вошедшим.

— Старым знакомым! Давненько не были, — начал он и осекся.

Осминкин холодно посмотрел на него.

Вечером в коммуне, как и сказал Богословский, происходило экстренное собрание. К самому концу собрания в переполненный клуб пришли пять человек. Председатель усердно звонил в колокольчик:

— Голосую. Виноваты или не виноваты мы в краже, но раз на нас легла эта грязь, в нас тычут пальцами — надо собрать между собой деньги и возместить убытки потерпевшему. Так? Голосую.

Поднялась густая щетина рук.

Тогда запоздавшие прошли на сцену. Среди них были Умнов и Осминкин. Они подошли к Сергею Петровичу.

— Этих двоих надо бы взять в коммуну, — сказал Осминкин, — хорошие ребята. А вот этого… — Осминкин грубо схватил за рукав и толкнул на край сцены парня в сиреневой ковбойке. — С этим делайте, чего заслужил. Это он обокрал агента.

Парню в ковбойке хотелось беспечно и нагло посмотреть в глубину зала, крикнуть что-нибудь циничное, дерзкое — все равно ведь теперь. Но десятки глаз, переполненных обидой и злобой, лишали его воли, сковывали язык.

Сергей Петрович оглядел парня долгим недоумевающим взглядом: сиреневая ковбойка, на голове бинт.

Вспомнилось, как утром Громов просился в коммуну, старательно натягивая на глаза кепку… «Исподличался, изолгался вконец…»

Общее собрание направило Громова на комиссию МУУРа, требуя сурового наказания.

Коммуна вернула нас к жизни

Вдень выпуска Богословский осматривал клуб, украшенный зеленью и кумачом. С самого утра его не оставляло неопределенное беспокойство, точно он забыл сделать что-то важное. Может быть, пустяк, какую-нибудь предательскую мелочь. В нужную минуту чего-нибудь не окажется под руками — и будет испорчено все торжество.

В зале разгуливал ветер, раскачивал занавес, шевелил плакаты, лозунги и красную скатерть на длинном столе с толстыми, свежеокрашенными ножками. Вымытый пол отсвечивал еще полосками сырости.

«Как будто бы все в порядке», вслух подумал Сергей Петрович. Одинокий голос его странно прозвучал в пустом зале.

Он присел к столу, достал из кармана список выпускников и в сотый раз перечитал его, задумываясь над каждой фамилией.

Гуляев, Накатников, Умнов, Румянцев, Беспалов — еще около тридцати фамилий. Нелегко было отобрать эти тридцать пять человек. Нужно знать наверняка, что выпускник, очутившись на воле, не вернется обратно в шалман, не нанесет этим удара коммуне. Ошибка здесь так же недопустима, как в расчетах при постройке железнодорожного моста. Эти тридцать пять были надежны.

Правда, выпуск еще не означал полной реабилитации. Вопрос о снятии судимости решено было поставить только через полтора-два года; человек, проверенный сначала в коммуне, Должен был подвергнуться новой, еще более серьезной проверке «волей». «Мы прививаем коммунарам любовь к труду и отвращение к паразитизму, — говорил Погребинский. — Мы воспитываем в них волю к новой жизни. Пока парень находится в коммуне, он на каждом шагу чувствует могучую поддержку спаянного коллектива, находится под его контролем. Но вот мы выпустили человека в жизнь. Не везде и не сразу удастся ему найти такую же могучую опору, такой же сплоченный коллектив. Блатной мир обязательно попытается вернуть к себе бывшего правонарушителя. И мы должны проверить, достаточно ли закален наш парень, достаточно ли крепка его воля к новой жизни, его решимость противостоять искушениям».

Снова и снова продумывал Сергей Петрович каждую кандидатуру. За каждой фамилией стоял живой человек. И не только Богословский — весь коллектив думал о том же самом. Вспоминали все — и какую-нибудь пьянку, и высокую выработку в мастерской, работу в драмкружке, и случайную драку…

Только бы не допустить ошибок. В числе выпускников было пять таких, которые не нуждались уже ни в какой дополнительной проверке. Пять человек выпускались сегодня полноправными гражданами Советской страны с одновременным снятием судимости. Графа о судимости в их документах будет чистой.

Книжный шкаф сиял протертыми стеклами. Сергей Петрович взял с полки знакомую книгу в синем переплете. На полях книги мелко лепились карандашные записи и вопросительные знаки, а в конце — во всю ширину страницы — красным карандашом было написано: «подлость». Страница в этом месте была слегка порвана: с такой яростью писал когда-то Сергей Петрович это короткое слово.

С особенным чувством перелистывал сегодня он эту книгу: «…преступление составляет явление естественного порядка, философы сказали бы: необходимое явление, аналогичное рождению, смерти, психическому заболеванию, печальной

разновидностью которого оно является…» Так писал ученый, всемирно известный итальянец Ломброзо. А один из его бесчисленных последователей ставил точку над «и».

«Преступник-рецидивист есть прирожденный дегенерат, и пытаться исправить его значит бесполезно тратить силы и время».

«Да, верно. Преступление — явление естественного порядка… для капитализма», думал Сергей Петрович, с неприязнью закрывая книгу. Он никогда не мог читать без внутреннего протеста и возмущения эти буржуазно-ограниченные труды ученых, сваливавших на природу преступления своего класса. О лицемерах же, мелких последователях и популяризаторах Ломброзо, Богословский думал и говорил просто с ненавистью.

Капитализм заразил в большей или меньшей степени каждого человека болезнью зоологического индивидуализма и паразитизма. В коммуне собраны люди, у которых все эти черты выражены очень резко. Но эти люди в большинстве по происхождению своему близки пролетариату. И сегодня тридцать пять человек бывших воров, алкоголиков и кокаинистов будут возвращены в жизнь. Что же остается от «теоретических» изысканий буржуазных ученых мужей? Разве не разбивается вдребезги их утверждение? Преступность есть продукт капитализма, производное от частной собственности. Уничтожьте причину — капитализм, и неизбежно, хотя и не сразу и не автоматически исчезнет и его следствие — преступность…

Все попытки уничтожить преступность в прошлом оканчивались неудачей. Но иначе и не могло быть. Потому что эти попытки были почти всегда лицемерны и всегда утопичны.

То, что делается в Советской стране по перевоспитанию преступников — в ее судах, домзаках, колониях, делается в истории человечества в сущности в первый раз. Потому что и социализм строится в истории человечества в первый раз. И в какой же яркой форме проявится мощь социализма, забота о людях, о выпрямлении, перевоспитании, росте сегодня в коммуне! Быть может, сегодня ещё не всем будет ясно в полной мере огромное значение сделанного. Но погодите, то ли еще будет в нашей изумительной стране! То ли еще совершит народ, руководимый такой партией, как партия большевиков, таким вождем, как великий Сталин!

Многому научился Сергей Петрович, многое передумал и пережил за время своей работы.

— И все в порядке, — повторил он громко и пошел к выходу.

Тревога, овладевшая им с утра, улеглась. Он мог спокойно ждать наступления вечера.

Тропинки, ведущие к клубу, были усыпаны свежим песком — желтые, хрустящие тропинки. Тишина стояла в коммуне. Ребята, которых встречал Сергей Петрович, выглядели серьезными и сосредоточенными. Они также напряженно ждали вечера.

В тихом безлюдном углу, под деревьями, сидел Накатников. Он готовил доклад. Толстая тетрадь лежала на его коленях.

— Идет дело? — осведомился Сергей Петрович.

— Идет, — быстро ответил Накатников.

В действительности дело шло довольно туго. Хотелось, чтобы слова доклада были особенными, необычными, не похожими на будничные.

Накатников проводил взглядом Сергея Петровича. Потом сказал вполголоса в просвет между стволами берез:

— Товарищи!

Так он начнет. А дальше? Накатников перебирал сотни других слов, и ни одно из них не нравилось ему. Чувства, волновавшие его сегодня, были сильнее слов. Он смог бы выразить эти чувства, если бы ему позволили доклад пропеть. Но где это видано, чтобы люди пели доклады?

Вот он, Накатников, бывший вор, готовится к поступлению в высшее учебное заведение. Он будет инженером — творцом и властелином машин, бывший вор, кутила, поножовщик. А что было бы с ним, если бы он не попал в коммуну?

Прошлое представлялось ему страшным. Оно было страшно своей дикой беспорядочностью, противоестественной бесцельностью, странным, необъяснимым теперь отсутствием чувства ценности жизни. И своей и-чужой… Может быть, это потому, что та жизнь и не была жизнью… Грязь, базар, водка, девки… Это была не жизнь, это была медленная смерть.

А ведь было время, когда каждую минуту он готов был бросить все, когда казалось, что коммуна — это капкан. Может быть, и ушел бы, если бы не «Матвей». Мысленно он ласково называл Погребинского по имени. Сколько ночей потратил он на Накатникова. Не он — может быть, никогда и не дожить бы Накатникову до необыкновенного этого дня.

Вот и попробуй выразить все это в коротком слове «выпуск».

Подошел Карелин, подошел незаметно — такие тихие были у него шаги — и спросил:

— Думаешь?

— Думаю, — вздрогнув, ответил Накатников.

— Да, брат, выпуск, — сказал Карелин.

Помолчал и повторил раздельно:

— Выпуск.

Тогда Накатников понял, что ему не нужно искать для

доклада необычные, особенные слова. У каждого за словом «выпуск» стоит целая жизнь. Каждый по-своему поймет и почувствует огромный смысл этого слова. Ведь не в словах дело!

Карелин присел на пенек рядом с Накатниковым:

— А меня вот сомнение берет, — и, вздохнув, искоса посмотрел на приятеля.

— В чем? — удивился Накатников.

— Видишь ли, — ответил Карелин, разглядывая муравья, взобравшегося на листик. — Случай тут один был. Могут меня задержать…

Уже несколько дней ходил он, подавленный этой мыслью, тяжесть ее была не под силу ему. Он недавно пьянствовал.

О пьянке никто не знал кроме собутыльника. Карелин решил открыться приятелю.

— А вдруг выйдет кто-нибудь на собрании и скажет? — говорил он Накатникову.

Накатников немного подумал, потом подтвердил:

— Может… Обязательно скажет.

— То-то и есть, — заторопился, точно обрадовался Карелин. — Вот и берет меня сомнение.

— Самому заявить надо, — перебил его Накатников… — Коммунские правила знаешь. Собутыльник не скажет — все равно, теперь я скажу.

И Карелин не возмутился, услышав о таком намерении Накатникова.

— Я понимаю… Ну, что ж. Пойду к Федору Григорьевичу, — невесело сказал он.

Потом встал и пошел, кивнув головой Накатникову.

И ни тому, ни другому не пришло в голову, что подобный разговор между ними был немыслим два-три года тому назад, что тогда за намерение выдать товарища Накатникову грозил бы нож.

С полдороги Карелин вернулся:

— А как ты думаешь, надолго задержат меня?

— Попадешь в следующий выпуск.

— Видишь ли, какое дело. Думал, может быть, отложат еще выпуск… Успею, мол, докажу… А тут — видишь, какое дело.

Сокрушенно покачивая головой, он пошел, наконец, к Мелихову.

Можно было бы просто промолчать об этой пьянке. Собутыльник, оберегая себя, вряд ли выступил бы на собрании с разоблачениями. Но такой уж день выдался сегодня. Карелину хотелось выйти к столу президиума совсем чистым. А то уже лучше вовсе не выходить.

В голосе Мелихова он не услышал настоящего гнева.

— Хорошо, что догадался сказать сам, — одобрил он. — Больше за тобой ничего нет?

— Ничего.

— Может быть, вспомнишь?

Карелин побожился.

— Верю, — остановил его Мелихов. — Ну, что же с тобой делать? Напился ты — это безобразие, это плохо. Сам пришел, рассказал — хорошо. Ну, а как, думаешь, будет дальше? После выпуска намереваешься загулять?

— Что вы, Федор Григорьевич! Промашка вышла. Вы знаете — я и не пью совсем.

— Хорошо, — сказал Мелихов. — Запомни свои слова.

Карелин облегченно присоединился к выпускникам. Их можно было сразу отличить от всех других. Точно близость часа, когда скажут громко, на весь мир, что эти бывшие воры признаются Советским государством вполне равноправными гражданами, на которых не распространяются ни изоляции, ни аресты по подозрению, точно близость этого часа наложила на них особенную печать. Все они стали как будто старше, вдумчивее и серьезнее. Ребята разговаривали с ними почтительно, некоторые с затаенной завистью и сокрушением. Многие из них только по собственной вине, легкомыслию, недостатку выдержки и веры в то, что выпуск действительно будет, оказались вне этого первого списка. Сегодня им было о чем пожалеть.

— А на воле что думаешь делать? — спрашивал Котуля Беспалова.

Распущенность, проявленная Котулей после прибытия в коммуну девушек, отдалила для него выпуск.

— Работать буду, — с оттенком снисходительности говорил Беспалов. — В Москве не устроюсь — в Одессу махну, коммуна обещает достать работу. Теперь ведь я вольный.

— Теперь ты вольный, — соглашался Котуля. — А верно, что следующий выпуск будет через полгода?

— Чего же не верно? Ясно!

В следующий выпуск Котуля попадет обязательно. Он уж сумеет взять себя в руки и покажет, что не хуже их всех. Желание попасть во второй очередной список охватило многих.

Перед вечером по мокрому снегу зашипели автомобильные шины — съезжались гости, болшевцы встречали их у клуба. Приехали Серго Орджоникидзе, Шкирятов, Ягода. Увидев их, Накатников почувствовал свое тело легким, как пузырь. Попросту говоря, Накатников струсил. Шутка ли сказать — такие люди.

Гости внимательно осмотрели приземистый «крафтовский»

домик, надворные его постройки и службы, в которых и до сих пор размещались мастерские, остановились около сарая, где была деревообделочная. Большая циркульная пила стоя-ла возле ворот. Для нее не находилось места в сарае. Желтеющие опилки свидетельствовали о том, что тут же на улице на ней и работали. Было заметно, что гостям это не нравится. Только при виде новой, отстроенной заботами дяди Павла кузницы их лица вновь просветлели, и у ребят отлегло от сердца.

Приехал Погребинский. Он был возбужден и серьезен.

— Галстук, галстук, — закричал он Румянцеву, едва поздоровавшись с ним. — Галстук у тебя набок съехал.

Сильно дернув за галстук, он поправил его. Потом отступил и прищурил глаз:

— Вот, так хорошо… А почему цветов мало? Поленились? Так. Небритых нет? Кто будет небритым — прогоню от стола. Федор Григорьевич, начнем?

В клубе гости сели на скамейки. Коммунары входили в зал, осторожно ступая. Выпускники заняли передние места. Когда все расселись, наступила совершенная тишина, казалось, полтораста человек, собранных в этом зале, перестали дышать.

«Не напутать бы», с трепетом подумал Гуляев, занимая место за столом президиума.

Ему предстояло открыть собрание.

Он набрал воздуху.

— Товарищи!

Невнятный писк вылетел из его горла. Он откашлялся и произнес не свойственным ему грубым и низким голосом:

— Торжественное заседание, посвященное первому выпуску коммуны, считаю открытым.

Зал грохнул аплодисментами. Встал Накатников. Слова, которых не мог он найти днем, пришли сразу скопом, и он захлебывался ими. Простые, настоящие, веские слова:

— Коммуна вернула нас к жизни… Мы, бывшие воры, получаем право и свободу… Кто из нас захочет вернуться назад в шалман? Никогда не будет этого! Мы пойдем вперед!

Орджоникидзе, покачивая головой, говорил как будто про себя:

— Правильно! Вот это правильно!

Погребинскому вспомнилось все: тысяча девятьсот двадцать четвертый год, разговор с Ягодой, все мысли тех дней, беседы с беспризорными осенней ночью у костра, страшная фигура «Продай-смерти», с булкой, зажатой тупыми культяпками рук.

Погребинский встал, покачнув стол. Он сказал, устремившись всем корпусом к выпускникам:

— Сегодня произносится над вами «приговор». Вы «приговариваетесь» к выпуску на свободу бессрочно, возвращению гражданских прав, к снятию судимости, к свободному, осознанному и радостному труду. Где еще, в какой стране и в какое время могло быть что-нибудь похожее?

Орджоникидзе чуть заметно кивнул головой.

— Хорошо поработали, — звучно сказал он. — Хорошо протекает ваша работа!..

Один за другим к столу выходили выпускники. Они шли, залитые сиянием лампы, провожаемые грохотом аплодисментов. Стояли перед столом неподвижные и бледные.

Погребинский называл их фамилии, и голос выдавал его волнение:

— Гуляев — пять судимостей. Лучший производственник обувной фабрики.

— Накатников — шесть судимостей. Готовится к поступлению в вуз.

Так коротко о каждом. А как много мог бы сказать о них именно он, положивший в основу всей работы коммуны живое общение с человеком!..

Вот этот остался в коммуне из-за голубей. Этот думал только перезимовать — переждать под комму некой крышей морозы и с первым солнцем исчезнуть; один — случайно заболел, пролежал две недели и потом остался; другой — научился подбивать подметки и захотел сшить целый сапог; третьего — удержала вспыхнувшая страсть к музыке; четвертый — проявил себя незаурядным спортсменом. Но была одна общая для всех причина, заставившая их остаться в коммуне, и называлась она простым словом: «социализм».

Инициатива вождя партии Сталина направила усилия испытанных большевиков на дело перевоспитания, переделки молодых правонарушителей. Как далеко смотрит этот простой и мудрый человек, как по-ленински глубок и ясен его взгляд.

То, что вчера еще многим казалось немыслимым, сегодня стало фактом. Вчерашние преступники, прошедшие школу труда, переплавленные трудом, становятся честными тружениками, общественно-полезными людьми. И каким простым и естественным для нашей страны кажется это сегодня.

Невелико то, что удалось сделать, по сравнению с тем, что должно быть сделано и что будет сделано. И велики еще трудности впереди.

Но разве не очевидно, что мечта Дзержинского о перевоспитании правонарушителя в условиях свободы, в условиях доверия — большевистская мечта?

Разве не найдено уже то, чего не было еще вчера, что нужно было отыскивать ощупью — самое главное — методы работы?

Вот сидит Чума — человек, который пытался противопоставить коммуне воровской закон, пытался обмануть ее, стать вожаком и, вероятно, стал бы им в другом месте. В коммуне смеются над ним. Почему у него не вышло?

Труд, самоуправление, ответственность всех перед общим собранием, выращивание подлинных активистов-общественников — принципы, выработанные коммуной, подрезали вожачество Чумы на корню — и не его одного.

Это найдено, завоевано, проверено практикой. Этого уже нельзя отнять.

Вот к столу подходит Румянцев. Это уже не бывший вор Румянцев, а гражданин и товарищ, как и Накатников, как и Гуляев, как и все тридцать пять, — чудесное, прекрасное превращение, возможное только в Советской стране, созданное волей партии Ленина — Сталина, железной волей большевиков.

Эти сегодня выходят в жизнь.

А за ними поднимается новый отряд — таких, как Малыш, Малахов, Каминский, чья очередь придет завтра! Есть коллектив — он создан, выкован трехлетним трудом. И те, кто идет в коммуну теперь, — вот эти десятки «новичков», заполняющих клубные скамейки на этом торжестве, — вливаются в мастерские, втягиваются в хор, в оркестр, в кружки — они видят, куда ведет путь, начатый здесь каждым из них.

Вчерашние преступники становятся честными тружениками, общественно-полезными людьми.

Раскрываются способности, склонности, вкусы, казалось бы, вконец заглушённые прежней жизнью. Пробуждается радость творческого труда. А ведь все это надо было создать!

Гости уехали. Кончились речи, опустел стол президиума, но праздник не потускнел. Пел хор, играл струнный оркестр. Потом стулья сдвинули к стенам, притащили баян — к особому удовольствию коммунских девушек — рассыпался задорный, веселый танец.

И что выделывали в этот вечер Малыш и Чинарик! Казалось, удержу не будет этим танцорам, неисчерпаема их изобретательность.

Умнов глядел, как веселятся товарищи, но ему было грустно. Ведь сегодняшняя вечеринка по существу была прощальной. Выпускники разъедутся по фабрикам, возможно, что больше и свидеться ни с кем не придется. Вот Гуляев — тот останется здесь. Крепко держит его Танюша. И вспомнилась Умнову первая вечеринка в коммуне, когда так хорошо пели девушки «Рябину» и

Танюша поглядывала на Гуляева.

— Таня, — сказал ей Умнов, — спой-ка нам «Рябину». Ты не хуже пела, чем Грызлова.

Таня, как водится, пожеманилась.

— Просим, просим! — кричали ребята.

— Ну, чего модничаешь! Спой, — уговаривал Гуляев.

Тогда Таня, поправив прическу, запела любимую всеми старыми коммунарами песню. Гуляев стоял рядом с ней, крепкий, здоровый, как молодой дубок, и подтягивал вместе со всеми.

«Да куда я поеду, где можно найти что-нибудь лучше, в какие ехать Одессы», подумал Беспалов.

Необыкновенно взволновала и растрогала его песня Таню-ши. Вспомнился тот грозный день, когда стоял он, Беспалов, подлый воришка, лицом к лицу перед судом рабочих, вспомнилась милая, незабываемая ткачиха…

Он вышел в парк. Кто-то шел по дорожке. Беспалов узнал знакомое покашливание Сергея Петровича.

— Дядя Сережа, — окликнул он.

— Беспалыч, ты? Что тебе?

— Не поеду я никуда из коммуны… Понимаете?.. Не хочу.

— Ты же в Одессу собирался…

— Раздумал!.. Раздумал я, дядя Сережа, в Одессу. Может, и здесь чем-нибудь пригожусь…

— Да, это, конечно. Только ты не спеши решать… В Одессе-то, может быть, лучше будет тебе…

Глубокое волнение охватило Сергея Петровича. Какие друзья выросли, помощники! Как крепка кровная с ними связь. А как трудно было хотя бы этому самому Беспалову, сколько раз был он на волосок от гибели, как нелегко ему удалось стать тем, кем он стал теперь.

Ночь выдалась безлунная, освещенные окна казались прорезанными прямо в темноте — ровные четырехугольники, открывающие выход в другой, утренний мир… Они пошли к клубу, где играла музыка, где лихо притоптывали плясуны, провожая в большую жизнь лучших из своей семьи…

Часть вторая

«Блудные сыны»

I

Выпуск отметил важный этап развития коммуны и послужил началом еще более напряженного ее развития. Почти каждый последующий день выдвигал перед воспитателями и воспитанниками новые задачи, нисколько не проще тех, которые удалось разрешить. Многие воспитанники могли теперь работать в полукустарных мастерских, но этого было недостаточно. Требовалось дать людям настоящую квалификацию, не хуже, чем у передовых рабочих на механизированных предприятиях. Болшевцам предстояла серьезная длительная учеба.

Приходилось думать о дальнейшей судьбе выпускников. Останутся ли они в коммуне? А если уйдут, удержатся ли от соблазна заняться прежним ремеслом? Уход выпускников сулил и другие трудности. В домах заключения, в лагерях выявлялось все больше уголовников, желающих кончить со своим прошлым. Их надо брать в коммуну. При работе с новичками воспитателям, как никогда, понадобится помощь надежных активистов, и в первую очередь таких, как Гуляев, Накатников, Румянцев, Умнов.

После женитьбы и выпуска Гуляев продолжал работать в сапожной мастерской.

Ботинок теперь приобрел для него совсем особый смысл. Раньше Леха не замечал своей обуви и ни за что не смог бы сказать, во сколько дырочек продергивает ежедневно шнурки. И ботинки точно в отместку за такое равнодушие напоминали о себе внезапно и ехидно — змеиным оскалом или гвоздем, царапающим пятку.

Теперь Гуляев знал, что эти самые ботинки, валяющиеся в пренебрежении под койкой, есть результат сложного взаимодействия ума и рук. Ход выкроечного ножа определяется точным расчетом; хороший мастер — по словам заведующего сапожной мастерской Нусбейна — обязан изучить даже дроби. Дроби в то время казались Лехе верхом учености. Он проникся еще большим уважением к сапожному ремеслу.

Как раз в это время из. ликвидированных мастерских Ермаковки привезли в коммуну машины. Это были старые, очень потрепанные машины, сохранившие, однако, четкость и точность

движений. Мастерскую перевели в другое помещение — просторную переоборудованную конюшню.

Леха стал за прошивочную машину. Первый раз он управлял машиной. Он относился к ней недоверчиво, точно она имела свой металлический мозг и могла вдруг выйти из-под власти Лехи. По правилам полагалось бросать заготовки в ящик, не глядя. Леха никак не мог привыкнуть к этому — всякий раз, прострочив заготовку, останавливал машину и проверял шов. Рядом стоял воспитанник Генералов; так же, как Леха, он проверял работу машины глазами и пальцами.

Эти короткие, незаметные простои занимали в общей сложности половину рабочего дня.

— Мало, — говорил заведующий мастерскими Нусбейн, проверяя выработку. — На этих машинах норма двести пятьдесят пар.

Воинственно выставив вперед седую острую бородку, он становился в промежутке между машинами, чтобы видеть сразу работу обоих ребят. Под его требовательным взглядом работа шла много быстрее, простроченные заготовки летели в ящик без проверки. Но тревога мучила Леху: а вдруг машина бракует? Строчит без нитки или с узлами? И когда Нусбейн отходил, машина опять останавливалась, и снова проверялась каждая пара. Но стежка всегда была ровной и гладкой, а если нитку заедало, машина сама говорила об этом: стучала, скрежетала и комкала выкройку.

В конце концов Леха подружился с машиной, недоверие исчезло, простроченные заготовки летели в ящик без проверки, и норма в двести пятьдесят пар стала обычной. Но пока что машина занимала ведущее положение, и задача Лехи состояла в том, чтобы свои человеческие движения согласовать с ее — механическими.

Однажды Леха заметил, что если вагонетку с заготовками ставить ближе и сбоку, можно сэкономить две-три секунды на каждой паре. Но эта экономия все равно пропадала зря — машина не могла работать быстрее, и было обидно давать двести пятьдесят пар в то время, как руки чесались дать триста и больше.

Леха поделился своими сомнениями с Генераловым.

— Старье, — ответил Генералов, перекидывая рычаг на «стоп».

Машина замедлила ход и встала. Освобожденная от тугого движения, она сразу вдруг одряхлела; выступили незаметные раньше выбоины и вымятины; краска потрескалась и местами облупилась, обнажая красноватый, уже тронутый ржавчиной

чугун.

— Хлам, — повторил Генералов.

Леха поднял голову. С верхнего шкива на нижний струился широкий белый ремень. В то время Леха еще ничего не знал об основном законе механики— об отношении между ведущими и ведомыми шкивами.

Он сделал это открытие сам, дошел до него своим мозгом. На следующий день Леха пришел в мастерскую за полчаса до начала работы. Он снял ремень с неподвижной трансмиссии и, обив шкив кусками толстой кожи, увеличил таким образом его диаметр.

Он и сам не знал, что будет теперь с машиной. Может быть, она совсем остановится, оскорбленная его невежественным вмешательством.

Пустили мотор. Трансмиссия дрогнула, волоча за собой ремни. Леха, зажмурившись, перекинул рычаг машины. Он ждал, что услышит хруст ломающихся шестеренок. Знакомый густой и ровный звук успокоил его. Значит, пошла!..

Он взял с вагонетки первую заготовку. Машина мгновенно протянула ее и несколько секунд вхолостую лязгала стальными зубами. Обычные движения Лехи оказались сегодня чересчур медленными, но он быстро освоился и догнал машину. Он работал, охваченный гордым волнением — сегодня он был умнее машины, он проник в ее законы, приказал работать быстрее, и машина покорилась ему.

Это была первая большая и настоящая радость, найденная Лехой в работе. Он выработал за день триста шестьдесят пар— на девяносто пар больше вчерашнего. Он сразу прыгнул через нусбейновские нормы. Старик не верил своим глазам. Леха, задыхаясь от гордости, открыл ему и Генералову секрет победы.

Когда Леха на другой день пришел в мастерскую, то увидел Генералова сидящим верхом на трансмиссии. Сосредоточенно — сопя, он обивал свой шкив кусками толстой кожи.

В скором времени Леха и Генералов достигли на своих разбитых машинах фантастической выработки — пятьсот пар в смену. Красная доска коммуны начиналась их фамилиями. Заметно повысился заработок, и Леха купил в Москве замечательный синий костюм в полоску, а жене привез в подарок вязаную жакетку, шелковые чулки и сумочку.

Таня едва дождалась выходного дня — так не терпелось ей показаться вместе с Лехой родственникам, предсказавшим ей черную жизнь за вором. Они шли к таниной матери. Леха был в новом костюме, при галстуке. Таня — в новой жакетке, в шелковых чулках, с новой сумочкой. Если бы Таня могла, то захватила бы с собой и красную доску, чтобы все родственники

могли прочесть на ней фамилию мужа.

Родни в этот день собралось много. Пришла тетка Ульяна, румяная и плотная, и прямо с порога посыпала круглые, сухо пощелкивающие слова. Пришел даже дядя Василий, хмурый, заросший седеющей бородой. По давнишней привычке он ежеминутно вытягивал шею, и тогда обозначались на ней жесткие жилы, и сквозила через шерсть белая, не тронутая загаром шея.

Чай пили в саду за круглым столиком. Мать Тани как будто робела перед Лехой, называла его на «вы», стакан протягивала ему первому. Дяде Василию это не нравилось, он выразительно крякал.

— На погребе поллитровка стоит, — сказала танина мать. — Холодная. Может, выпьете?

Лицо дяди Василия выразило согласие. Но Леха сказал:

— Я не буду. У нас по комму неким правилам пить нельзя.

— Мой не пьет, — подтвердила Таня.

Как-то особенно веско произнесла она это короткое слово «мой».

— Да я так— может, для гостей рюмочку, — ответила мать. — И не пейте ее никогда, проклятую. Сколько я, Таня, через нее горя от отца твоего, покойника, приняла…

И хотя Василию Разоренову очень хотелось выпить, водку не подали. Это было первое его поражение. Второе поражение он потерпел, когда Леха достал из кармана коробку хороших папирос и предложил ему. Дядя никак не мог поймать папироску своими толстыми пальцами. Что-то бормоча, он все шарил и шарил в коробке.

— Больно тонкие, господские, — желчно пояснил он, поймав, наконец, папиросу. — Мы не господа, мы к ним не привычны…

В этот момент злосчастная папироса опять выскользнула из его пальцев, упала на стол, в лужу чая, и сразу намокла. Леха снова протянул открытую коробку, но дядя, медленно багровея, достал из кармана кисет.

— Как знаешь, — сказал Леха. — Не хочешь папироску, кури свою махорку. Махорка, брат, тоже бывает разная!

Василий не ответил.

Так они и курили весь вечер — Леха папиросы, а Разоренов махорку.

Когда молодые собрались уходить в коммуну, в клуб, мать Тани пожаловалась:

— Крышу вот надо перекрыть — вовсе стала худая, да нехватает деньжонок. Может быть, ты бы, Василий, выручил?

— Где я тебе возьму? — ответил Разоренов. — Денежки мои в семнадцатом году кончились.

Последнее время Разоренов усиленно начал прибедняться.

— А много ли нужно? — спросил вдруг Леха.

И сразу все замолкли, повернувшись к нему.

— Сорок рублей.

— Могу одолжить. Я с книжки возьму.

Оставшись одни, родственники, как водится, начали судить и рядить. И все хвалили Леху — парень ладный, уважительный, не пьет, имеет хорошую специальность и зарабатывает много.

— Жаловаться грех, — говорила мать. — Выдала дочку за хорошего человека.

В разговор вступил Разоренов:

— Зятек завидный, что и говорить!

Вызов приняла тетка Ульяна:

— А чем плох?

— А чем хорош?.. Что костюм новый?.. Так ему недорого — за два оклада.

— Ты бы не заговаривался, — грозно напомнила мать. — Человек своими руками зарабатывает.

Дядя Василий не выдержал. Злоба схватила его за горло, голос заглох:

— Вор! Воровство! Знаем, откуда папиросы у них!

— Смотри, Василий, — еще грознее сказала мать. — Ты зря не срами человека, а то ведь и за порог недолго.

— Уйду! — яростно закричал дядя Василий. — Уйду! Умирать будешь — глаза не закрою!

— Закроют без тебя. Есть кому.

Дядя Василий хлопнул дверью. Ульяна насмешливо вздохнула вслед ему:

— До чего душа завидущая у человека…

Это была последняя стычка с дядей Василием. Вскоре Разоренов был уличен в спекуляции и выступлениях против колхозов и выслан из Костина.

Теперь вся деревня говорила о положительном и степенном характере разореновского зятя, о его заработках, о новом костюме и о трезвом поведении, и многие родители стали снисходительнее смотреть на прогулки костинских девушек с коммунскими парнями.

А Леха между тем продвигался все дальше в изучении своей профессии. Освоившись с одной машиной, он немедленно переходил на другую. Его неудержимо тянуло к новой, еще незнакомой машине. Он знал, что ее движения, внешне беспорядочные, таят в глубине строгую законченную систему. Тянуло понять, проникнуть в тайные законы валов, эксцентриков и шестеренок, мучительно повторить всю работу создателя этой

машины, изобрести ее во второй раз, чтобы потом, по-хозяйски распоряжаясь ею, снова поверить в силу своего мозга и рук.

Новую операцию Леха осваивал в две-три недели. Наступал момент, когда он перегонял машину. Чтобы выжать из нее все возможности, он смело изменял и совершенствовал законы ее движений. Качество работы было всегда первоклассное. Леха не зря прошел школу обувного кустарничества. Он знал цену каждому шву, каждой стельке, он до тех пор возился с машиной, пока она не начинала работать лучше, чище, прочнее человеческих рук.

Он прошел через все операции. Процесс механического создания ботинка был ясен ему. Старые мастера признали его равным себе. Они прямо так и говорили на выпускном вечере, когда Погребинский объявил о снятии с Лехи судимости:

— Этот не пропадет. У него квалификация, как все равно у старого мастера.

— Руки умные у него.

Леха притворялся, что не слышит похвал, но в действительности его распирало от гордости., После выпуска его вызвал к себе в кабинет Сергей Петрович.

— Анкеты вот прислали. Заполнить нужно.

Леха взял длинный разлинованный лист и, не задумываясь, заполнил первые десять граф. На вопрос о профессии он коротко ответил: обувной мастер. На одиннадцатом вопросе — судился ли и за что — застрял. Эта графа всегда огорчала его недостаточными размерами. Леха судился двенадцать раз; статьи и сроки заключения никак не умещались в графе, и после восьмой судимости, написанной уже поперек, на полях, он закончил ответ многозначительными буквами «и т. д.».

— Эй, эй! — закричал вдруг Сергей Петрович. — Ты что написал там? Покажи-ка!

Посмотрев анкету, он спросил укоризненно:

— Ты это зачем же… разве забыл?

— Не помещается, — смутился Леха. — Мне, дядя Сережа, все равно писать, что восемь, что двенадцать, да ведь негде…

— Пиши новую анкету!

Под внимательным наблюдением Сергея Петровича Леха снова заполнил десять граф, дошел до одиннадцатой.

— Здесь черточку, — остановил его Сергей Петрович. — Ставь черточку. Ведь судимость с тебя снята.

— Как же так, дядя Сережа? — усомнился Леха. — Выходит, они обо мне знать ничего не будут?

— Им и незачем знать. ГПУ за тебя отвечает, вопрос исчерпан.

Целый день в обычной суете — на производстве, в столовой и на заседаниях — Леху тревожили какие-то очень значительные, но пока еще смутные мысли, — так поразили его черточка в графе о судимости и слова Сергея Петровича.

Домой вернулся он поздно. Таня уже спала. Смуглая, крепкая ее рука лежала поверх одеяла.

— Таня, — осторожно позвал Леха. — Проснись на минутку, Таня.

Она вздрогнула и подняла голову.

— Ты? — сонно спросила она, притянула его за рукав к постели.

Леха наклонился к ней.

— Позвал меня утром Сергей Петрович анкету заполнить…

— Скорей рассказывай, спать хочу, — торопила она. — Ты вечно так — через час по одному слову.

— Судимость сняли, — ответил он, — понимаешь? В анкетах теперь я писать не буду об этом. Право имею такое…

Он замялся, подыскивая слова. Но Таня поняла сразу. Она приподнялась на локте.

— Это хорошо, — сказала она серьезно. — Это очень хорошо. Значит, чтобы старое тебе никто не поминал.

— Вот-вот, — подхватил он. — Вот правильно ты сказала. И пусть твоя мать скажет в селе, — добавил он, сдвинув брови, — чтобы вором меня никто не смел звать. А то и ответить может — очень даже просто. Такая статья в кодексе имеется.

Потом он стал подробно рассказывать ей, где был сегодня и что делал. Она уснула не дослушав. Леха не обиделся и тихонько отошел к столу.

Мысли его после разговора с Таней прояснились.

Он понял, что маленькая черточка в анкете на самом деле огромная черта, отделившая, наконец, вчерашний день от сегодняшнего.

Он открыл окно. В комнату хлынул густой и сырой поток воздуха. Оказывается, прошел дождь. Он и не заметил его, увлеченный своими мыслями. Капало с крыш, капало с листьев; в разрыве туч, в страшной высоте, горела одинокая звезда. Подул ветер, и второй дождь пролился с листьев на мокрую землю. Сонная Таня заворочалась в постели и откинула одеяло навстречу свежести. «Еще простудится», заботливо подумал Леха; осторожно, чтобы не разбудить, закутал ее и сел на кровать рядом…

Теперь с прошлым покончено. Ему все-таки удалось сбросить этот груз. Ему сразу припомнилась вся жизнь в коммуне, Поездка в Москву за голубями, ночевка в шалмане, и он сейчас с

опозданием на три года испугался, подумав, что мог тогда не вернуться в коммуну.

Будущее представлялось ему не очень ясно, но страшного во всяком случае ничего не предстояло. За время пребывания в коммуне он убедился, что советские люди умеют заботиться друг о друге и, конечно, поддержат его, Леху. «Подальше куда-нибудь уехать, — подумал он, — где никто не знает. Хорошо бы на Черное море уехать!» И сам улыбнулся — почему на Черное море? Можно и в Москву — там тоже никто не знает, а если и знает, то не посмеет напомнить. Он сжал зубы — плохо будет тому, кто напомнит! А может быть, в Ташкент поехать? Или в Иркутск? Да нет, лучше уж в Ленинград. Он шопотом перебирал города, вслушиваясь в призывное звучание имен. Теперь все города открыты ему, он может поехать в любой, он может хоть целый год ездить по большой советской земле. «Одесса, — шептал он, — Батум, Сухум, Свердловск, Владивосток, Самара, Киев…» Куда угодно! Только вот деньги на это нужно. Ну, деньги можно будет заработать. Ему и в голову не пришло, что деньги можно украсть…

Так и встретил он утро, взволнованный и счастливый. Ветер разогнал тучи, сгрудил их на западе, края туч были уже накаленными. Поднимался туман, затопляя деревья. Птицы начинали суетливую свою работу; с крыши, вспыхивая мгновенным блеском, падали в тень капли; Леха весь устремился навстречу этому чистому и прохладному движению тумана, листьев, капель и птиц. Прозрачная позолота, стекая с вершин деревьев все ниже, коснулась, наконец, окна, расплавила его, и Леха увидел солнце. Круглое, большое и доброе, оно медленно поднималось, освещая и обогревая Леху и его новый день, не отягощенный прошлым. И Таня, пробудившись на мгновение, сказала счастливым голосом: «Солнышко», и сейчас же уснула опять.

…Посоветовавшись утром с Таней и с товарищами-выпускниками, Леха понял, что немедленный отъезд в далекий город — дело рискованное. Сергей Петрович, правда, обещал помочь в подыскании работы, но только не сразу.

«Как же быть нам теперь? — раздумывали ребята. — В безработные нам никак невозможно: если на воле тебя встретит бывший корешок, а ты есть безработный — вот, скажет, здорово тебя в коммуне выучили…»

Леха потускнел. Ему хотелось немедленно, сейчас же утвердить себя свободным и полноправным гражданином.

Таня с присущей женщинам рассудительностью и трезвостью подсказала решение:

— У вас в коммуне работают вольные, приходящие. Почему ты не можешь работать вольным? А жить будем в Костине.

Леха, а за ним и все выпускники ухватились за эту мысль и скопом отправились к Сергею Петровичу.

— Жить будем в Костине, а работать в коммуне как вольнонаемные.

— Мы уже об этом подумали, — ответил Сергей Петрович. — И даже должности распределили.

Он показал список должностей. Часть выпускников оставалась на прежней работе, а некоторые получали даже повышение, в том числе и Леха Гуляев. Его назначили на высокоответственный пост мастера смены.

Ребята ушли. Леха задержался.

— Не подведешь? — спросил Сергей Петрович, постукивая карандашом по столу.

— Подписывай, — ответил Леха. Он даже охрип от волнения. — Подписывай, дядя Сережа, не бойся.

Крупным угловатым почерком Сергей Петрович подписал приказ.

Беседа их затянулась до ночи. Полузакрыв глаза, покачиваясь в кресле, Сергей Петрович слушал повесть Гуляева о победах, одержанных им над машинами.

— А теперь предстоит тебе, Леха, дело потруднее, — сказал Сергей Петрович. — Машина, брат, — она бессловесная, она, брат, не живая. А вот с людьми — тут дело сложнее. Характер придется переменить тебе, Леха. Смотри, чтобы ни драк, ни ругани. Порох, брат, в патроне хорош, а в характере вреден. Тебе поручается работа в некотором роде воспитательная. Ты в случае чего меня спрашивай. Ты по машинам специалист у нас, а я, брат, по ремонту живых людей.

Раздеваясь, он добавил — не то в шутку, не то всерьез:

— Итак я полагаю, Леха, что моя квалификация все-таки выше.

Они простились.

На новой работе труднее всего было Гуляеву с новичками. Многие из них знали его еще до коммуны. Попадая в мастерскую, новички радовались, видя начальником своего парня, который, конечно, не выдаст и не будет особенно докучать работой. Они никак не думали о том, что Леха всерьез может потребовать от них настоящей работы; такая мысль показалась бы им дикой и неестественной. Деловые его замечания они принимали за ловкое притворство; хитро улыбаясь и подмигивая, думали, что очень хорошо помогают Лехе разыгрывать спектакль перед начальником

цеха. С каждым новичком начиналась у Лехи такая же упорная борьба, как в свое время с машинами. А Леха побеждал и в этой борьбе, потому что пользовался в коммуне уважением за бесспорные знания в сапожном деле, и старые коммунары поддерживали его. Новичок не мог выдержать коллективного натиска и постепенно сдавался. Это был трудный и медленный процесс, но еще возня с машинами научила Леху терпению; он настойчиво долбил в одну точку до тех пор, пока не наступал день, в который новичка можно было оставить одного у машины, не опасаясь, что он уйдет спать в какой-нибудь темный угол.

II

На обувную фабрику привезли сложную заграничную машину «Допель». Ее привезли в отсутствие Лехи Гуляева; он только что ушел в отпуск и деятельно готовился к отъезду в Сочи вместе с коммунским оркестром. Но поехать ему не пришлось. Вечером вызвал его Нусбейн:

— Леша, выручай. Не идет «Допель». Неужели будем выписывать мастера?

— Не будем, — ответил Леха и сейчас же отправился вместе с Нусбейном в цех.

Станок стоял в углу у окна. С первого же взгляда Леха понял, что все машины, с которыми приходилось ему сталкиваться до сих пор, были в сравнении с «Допелем» простыми, как молоток.

— Разберешься? — спросил Нусбейн.

Леха молча тронул холодный тугой рычаг. Борьба предстояла не шуточная: Леха ставил на карту все, чем заработал почетное звание мастера.

Он мог отказаться, сославшись на отпуск, и это было, пожалуй, самое безопасное в смысле сохранения авторитета, который неминуемо рухнет, если Леха возьмется за «Допель» и не пустит его. Но Леха привык рисковать. Он заглянул в темное брюхо машины. Старая страсть к открытиям законов механики сразу охватила его. Он выпрямился, пригладил волосы. Нусбейн настороженно ждал ответа. Подошли ребята. Леха сказал раздельно и четко:

— Конечно, разберусь.

Этими словами он сразу отрезал все пути к отступлению. Началась внешне спокойная, в действительности напряженная борьба. Раньше бывало всегда так, что машина сопротивлялась только до определенного момента; вспыхивала догадка, и машина сдавалась сразу, вся.

«Допель» не сдавался. Он медленно отступал, цепляясь за каждую шестеренку, за каждый болтик. «Допель» обманывал Леху, и когда законы его работы казались ясными до конца, неожиданно обнаруживалась какая-нибудь новая непонятная деталь, путала все расчеты, и Леха сызнова начинал свои поиски.

Он так хорошо запомнил механизм станка, что мог разбирать его дома, в воспоминании. Это мешало ему спать. Так продолжалось десять дней. На одиннадцатый день Леха понял роль последней непокорной конической шестеренки и в соответствии с ее движением проверил весь механизм. «Допель» был разгадан. Леха отправился домой — тупая боль ломила затылок. *По* дороге он крикнул в окно Нусбейну:

— Готово!

И прошел, не оглядываясь, дальше, а Нусбейн, высунувшись из окна, долго кричал ему вслед и махал рукой.

И, как всегда после окончания большой работы, Леха испытывал странное чувство неудовлетворенности, тревоги и внутренней пустоты. Завершающий момент — сама победа — не взволновал его потому, что до этого, в мечтаниях, Леха уже много раз пережил победу, и в действительности она оказалась бледнее. Завтра уже не нужно думать над «Допелем», поэтому завтрашний день казался Лехе вообще ненужным и лишним.

На торжество пуска собрались все заведующие цехами и мастера. Леха шел, совершенно уверенный в успехе. Он заложил выкройку и плавно тронул рычаг. Станок завыл, набирая скорость. Нусбейн вдруг закричал:

— Стоп!

Леха остановил машину. Что случилось? Нусбейн его успокоил. Ничего особенного — порвалась нитка. Вероятно, узел.

Досадуя на задержку, Леха заправил нитку и снова тронул рычаг. И снова Нусбейн закричал «стоп», на этот раз испуганно.

Нитка порвалась во второй раз. И в третий. И в четвертый. Леха побледнел и закусил губу. Пальцы его дрогнули на полированном металле. Победа, к которой он вчера отнесся так равнодушно, ускользнула, и он вдруг почувствовал, что потерял необычайно много и должен вернуть победу любой ценой.

Он проверил станок на тихом ходу. Его подвел барабан, маленький ничтожный барабан, помещенный сзади станка. Барабан отказывался работать, рвал нитку.

— Надо отрегулировать, — сказал Леха, подкручивая гайку.

Мастера переглянулись. А потом вышло так, что все, утомившись, разошлись, а Леха все регулировал и регулировал барабан, отбрасывая оборванные концы.

Он провозился у станка до самого вечера и не сумел

наладить барабан. Самое страшное было в том, что этот барабан не таил в себе никакой сложности. Леха не мог его разгадать, потому что нечего было разгадывать: барабан просто-напросто рвал нитку — и все. На третий день бесплодной возни с ним Леха решил, что барабан вообще испорчен. Надо сменить, и работа пойдет.

— А в чем непорядок? — спросил Нусбейн.

И Леха не смог ответить: барабан был настолько прост, что нечему было портиться. Леха понял, что эту версию о порче барабана он выдумал, чтобы обмануть других и себя и скрыть свое бессилие.

Обозленный, он снова вернулся в цех.

Прошла еще неделя. Когда Леха шел по цеху, направляясь к «Допелю», мастера провожали его насмешливыми взглядами. Новички сидели, лениво переговариваясь; нетронутая работа лежала на их станках. Раньше они не посмели бы вести себя так в присутствии Лехи.

Все это были грозные признаки. Несколько раз Леха слышал позади себя сдержанный смех, «Инженер!» кричали ему из углов.

Он пошел, измученный, к Сергею Петровичу. Тот выслушал его внимательно.

— Выход один у тебя, Леха, — езжай на «Парижскую коммуну» в Москву. Посмотри, как там устроен этот проклятый барабан.

— А там есть «Допель»?

— Есть… Я узнавал. Есть там «Допель». И поезжай завтра же… Нусбейн, видишь, каждый день ко мне пристает — позовем да позовем мастера. Я ему все отказывал… Но нельзя же отказывать без конца. Мертвый станок — сам понимаешь — убыток.

Так узнал Леха, что не один он терзался и мучился из-за проклятого барабана.

Нусбейн выдал ему бумажку на обувную фабрику «Парижская коммуна». Леха явился на фабрику в полдень. В бюро пропусков ему коротко отказали:

— Экскурсантов сегодня не пускаем.

— Я не экскур…

— Не задерживайте очередь! — крикнули из окошка.

Леха хотел объяснить, но его уже оттеснили. Он пошел искать директора. В конторе сухо щелкали костяшки счетов, звенели арифмометры. Директор, сказали Лехе, уехал в Госплан и вернется к концу дня. А заместитель болен. Технорук на заседании.

— Бюрократизм, — сказал Леха и вышел из конторы.

До чего ненавистными казались ему тогда эта фабрика, эта контора, люди, особенно счетовод, который сидел, уткнувшись в ордера и поблескивая лысиной.

На улице низко гудел трамвай, фырчали грузовики. Сторож в защитной форме с мелкокалиберной винтовкой на плече проверял пропуска; сторожу, видимо, очень надоели его несложные обязанности; он смотрел на пропуска мельком, не открывая их. А пропуска, заметил Леха, были красного цвета.

В газетном киоске купил он за сорок копеек записную книжку в красной обложке. На глазах изумленного продавца он вырвал всю середину и пустил белые листы по ветру. Перочинным ножом он аккуратно обрезал переплет. Он прошел мимо сторожа медленным, независимым шагом, махнув пустым переплетом. Такие вещи он не раз проделывал до коммуны. Эта наука пригодилась ему сегодня.

Он нашел прошивочный цех. Мастеру он сказал, что ищет рабочего Иванова. Он правильно рассчитал, что среди многих сотен рабочих обязательно есть Иванов. Мастер, вероятно, принял Леху за какого-нибудь представителя и показал ему издали рабочего Иванова.

— К тебе, Иванов! — крикнул мастер и тут же отвернулся.

Это и спасло Леху. Он сказал Иванову, что должен вручить ему судебную повестку. Недоразумение сразу же выяснилось: Иванова звали Павлом Семеновичем, а Лехе был нужен Сидор Петрович. В поисках этого Сидора Петровича он пошел по цеху и, наконец, увидел «Допель». Фасад станка он знал наизусть и, ее задерживаясь, обогнул его.

Давнишний враг Лехи — барабан — бесперебойно и ровно тянул нитку. Леха не мог рассмотреть барабан в движении, нужно было остановить станок. Леха смело подошел к рабочему:

— Барабан не в порядке у вас.

Рабочий остановил «Допель» и неуверенно ответил:

— Как будто ничего…

Вдвоем они отправились проверять барабан.

И только сейчас понял Леха причину своих неудач. Она была настолько проста, что никто бы не смог догадаться о ней: нитку в барабан нужно было вдевать не спереди, а сзади. Эта конструкторская прихоть дорого обошлась Лехе.

— Я ошибся. Все правильно, — сказал он.

Рабочий посмотрел на него очень странно. Чтобы не вызывать подозрения, Леха заглянул внутрь станка. Уверенность его движений успокоила рабочего.

Сторож у калитки снова удовлетворился созерцанием пустого переплета и выпустил Леху.

В коммуну он вернулся поздно вечером. Не заходя домой, прошел в цех, вдел нитку и начал вручную вертеть станок, повисая на ремне. Он выбивался из сил, но все вертел и вертел; барабан гнал ровную, тугую нитку и ни разу не оборвал ее.

Так был побежден Лехой самый сложный в обувном деле заграничный прошивочный станок «Допель». Леха чувствовал, что его репутация восстановлена, и был горд своей победой. Правда, строгий блюститель коммунских законов, Накатников, иногда сбивал у него спесь:

— Молодец-то ты — молодец, а все-таки, Леха, проник ты на завод не честным путем, прямо сказать — жульнически.

Леха огрызался, но выглядел при этом очень смущенным: правоту Накатникова он чувствовал и про себя решил старыми приемами не пользоваться даже для общественного дела.

Вскоре коммуна услышала, что Сергей Петрович намерен поставить вопрос о выдвижении Лехи заведующим цехом. И многие ребята завидовали ему. Многие сближались с ним, старались ему подражать. По своей наивности Леха не подозревал, что он представляет собой самый яркий и неопровержимый пример того, кем может стать прежний вор и бродяга.

Рабочий день проходил быстро и незаметно. Потом начинались часы томительной скуки. Жизнь в Костине была невеселая. В сущности Таня была единственным собеседником. Хозяева и соседи были на редкость неинтересными и серыми людьми. Они говорили только о ценах на продукты, о грошовой торговле маслом и молоком на московских рынках. От Лехи они ждали рассказов о кражах, убийствах и знаменитых ворах и расспрашивали так бесцеремонно, словно считали его обязанным исповедываться по первому требованию.

Как-то Сергей Петрович спросил его:

— Ну, как живешь, Леха?

Гуляев ответил скучным голосом:

— Так себе.

Вечером Таня уходит к родным или к подругам. Леха один сидит у открытого окна и тупо смотрит на серую стену коровника.

В окне появляется толстая голова соседа. Он пришел за папиросой. Он каждый вечер приходит за папиросой. «Легкий табак — вредный», сокрушенно говорит он и долго кашляет затянувшись.

— А вот у меня был один знакомый, — издалека начинает сосед. — Человек хороший, солидный человек… И вдруг — бац! Убил жену топором. Скажи, пожалуйста…

Помолчав, сосед добавляет:

— Васин была его фамилия. Черный такой. Федор Андреевич Васин.

И, еще помолчав, спрашивает:

— Встречаться не приходилось с ним? В Соловках?

Леха молчит. Не дождавшись ответа, сосед уходит… Серые тени затопили комнату. Очень скучно сидеть одному.

Леха отправляется в гости к выпускнику Румянцеву, живущему неподалеку. Румянцева дома нет, пошел в коммуну. Леха идет дальше, к Беспалову. Но тот, оказывается, еще не приходил из коммуны. «Пойду и я», решает Леха.

— Вскоре все выпускники, переселившиеся в Костино, стали являться домой только ночевать — с утра и до вечера пропадали в коммуне. Леха стал поступать так же. За три года коммуна стала родной и близкой. Здесь были друзья, понимавшие Леху с полуслова, здесь были дома, выросшие на его глазах, машины, побежденные его руками. После выпуска он и в коммуне был бы вполне свободным человеком и мог бы в любое время поехать в Москву без всяких увольнительных записок. Да и раньше никогда ему не отказывали в записках. Напрасно также он опасался коммунских строгих правил и ограничений — водки он все равно не пил, в карты на деньги не играл и давно оставил привычку драться.

И опять случилось так, что Сергей Петрович спросил его:

— Ну, как живешь, Гуляев?

Леха ответил не сразу. Сергей Петрович обеспокоился:

— Случилось что-нибудь?

— Плохо я живу! — с отчаянной решимостью воскликнул Леха. — Не могу я, тоска заела. Нельзя ли как-нибудь сделать так, чтобы в коммуне жить?

— А ведь ты прежде хотел уехать, — сказал Сергей Петрович мягко и удовлетворенно. — Ну что ж… можно, но… Куда только мы тебя денем? У нас все места заняты — новички прибыли.

— Приткните куда-нибудь… Потом я уж сам устроюсь.

Часа через два Леха, погрузив на телегу свои нехитрые пожитки, переезжал в коммуну. Таня шла пешком. В одной руке несла она корзинку с посудой, в другой — лампу. Въехали на бугорок, и сразу открылась вся коммуна. Она сияла белыми стенами, новыми крышами; чистая и просторная, она уходила к лесу, отодвигая его. Леха сидел на телеге и думал, что никогда не сможет уйти отсюда: это первый дом, который он нашел в своей жизни.

На следующий день к Сергею Петровичу началось паломничество выпускников. Все просились обратно.

— Мест нехватит, — говорил Сергей Петрович.

— А мы где-нибудь койку приткнем в проходе — и ладно, — кротко отвечали выпускники.

Разве мог Сергей Петрович отказать им?

— Ладно, ребята, переезжайте. Как-нибудь устроимся.

И хотя Сергею Петровичу было много хлопот с размещением выпускников, он шутил, смеялся, заражая всех весельем и бодростью. И хитрые выпускники поняли, что в глубине души Сергей Петрович очень доволен их возвращением.

В коммунской стенгазете появилась сатирическая поэма под заглавием «Блудные сыны». Поэма иллюстрировалась карикатурой: перед воротами с надписью «Коммуна» стоят выпускники с узелками и чемоданами, из глаз их капают крупные, заостренные кверху слезы, из глоток вылетает общий крик: «Пустите обратно». Особенно часто издевался над «блудными сынами» язвительный и беспокойный Накатников:

— Что, нахлебались костинских щей, не сладко? Опять в коммуну захотелось?

— Ты ведь тоже отлучался — в Звенигород, — напоминали ему «блудные сыны».

— Сравнили! — хмуро обрывал Накатников. — Мои дела были другие, государственные дела.

При этом он снимал кепку и показывал на голове шрам, который остался у него после недолгой отлучки в Звенигород.

Рост

Дело, которым занимался Накатников в Звенигороде, было действительно важным. Опыт Болшевской коммуны оправдал себя, и ОГПУ решило использовать его в больших масштабах — путем организации новых коммун для трудового перевоспитания «социально-опасных» правонарушителей.

Вместе с Погребинским и Мелиховым Накатникову пришлось участвовать в организации коммуны в Звенигороде.

В первый же день по приезде в Звенигород он принимал партию беспризорных для новой коммуны. Лохматая, чумазая, всклокоченная банда с гиком и воем ворвалась в тихий звенигородский монастырь. Мгновенно растоптали палисадник, сломали скамейки, разобрали чугунные резные перила игуменского крыльца.

При виде этих физиономий с вывороченными красными веками, с разбитыми губами, при виде рук и ног, покрытых цыпками, ссадинами и кровоподтеками, он остро почувствовал чистоту своего тела, свое здоровье и силу.

Невольно он подумал: «Неужели и я таким был? Вот банда! Ну и банда!..»

Пестрые грязные толпы беспризорных все шли и шли. В глазах Накатникова рябило: «Как-то справимся мы с такой оравой?..»

Начался обед. Беспризорники пожирали все начисто, как саранча, и требовали добавки. «Вари еще!» распорядился Погребинский.

За столами дрались, горланили похабные песни, швырялись хлебом и ложками.

После обеда была назначена баня, стрижка, выдача обмундирования. В баню итти не желали, волосы стричь отказывались. Обмундирование получали, тут же проигрывали и шли получать второй раз.

Наиболее предприимчивые отправились на кладбище и стали копаться там в земле — искали какие-то клады.

Все могильные изгороди растащили, понаделали из них пик, из водопроводных труб — самопалов. Вооружились и начали приставать к немногочисленной охране:

— Зачем привезли нас сюда, красноголовые? Все равно уйдем.

Какой-то паренек забрался на колокольню и ударил в набат, потом, уцепившись ногами за крест, свесился вниз головой и начал играть на гармошке лихие блатные песни. Зрители пришли в неописуемый восторг.

У Погребинского собрались встревоженные воспитатели. Мелихов настаивал на увеличении охраны. Сергей Петрович предлагал пойти по общежитиям и повести беседы. В разгаре совещания Погребинскому сообщили, что между ребятами четвертого и пятого корпусов начинается драка. Четвертый и пятый корпуса были в ведении Накатникова. Погребинский кивнул головой: нужно было действовать решительно и скоро. Накатников вышел из комнаты.

У монастырских ворот сгрудилась тесная возбужденная толпа. Драка, повидимому, еще не начиналась, но могла вспыхнуть в любую минуту.

«Почище видали. Справимся», подумал Накатников и подошел вплотную к толпе:

— В чем тут дело у вас? Что за шум?

Работая локтями, он пробивался к центру. Там, на свободном трехметровом пространстве, стояли двое: Верблюд, огромный флегматичный парень, и Брынза, черноглазый вихрастый мальчишка с обломком кирпича в руке. Они обменивались угрозами и обещаниями вырвать друг у друга требуху.

Накатников решительно стал между ними.

— Вы это бросьте, — сказал он строго. — Идемте-ка лучше в общежитие, туда инструменты привезли. Кто собирается играть в оркестре — айда за мной.

Слова его потонули в общем гомоне.

— Крой, Брынза!.. — подзадоривали мальчишку.

— Верблюд, дай ему!

Накатников обозлился и схватил мальчишку за руку:

— Брось кирпич.

Мальчишка посмотрел на Накатникова удивленным взглядом, как внезапно разбуженный человек. И вдруг завыл:

— Уйди, красноголовый, уйди!

Накатников на мгновенье забылся и сильным толчком отбросил мальчишку в сторону.

— Наших бьют! — пронзительно закричал мальчишка, подскочил и замахнулся камнем.

Удар был очень сильный, и Накатников сразу потерял сознание. Очнулся он поздней ночью. Рядом с его койкой сидел Матвей Погребинский.

— Как, Миша? — спросил он. — Лучше?

— Башку вот ломит, — хмуро ответил Накатников. — Как там шпану… успокоили? — И возмущенно прибавил: — Ну что с такими паразитами няньчиться! Разве это люди? Стрелять их надо!

— У тебя, Миша, бред начинается, — заботливо сказал Погребинский. — Несуразное ты бормочешь. Скажу тебе, между прочим, когда я в первый раз тебя в коммуну сватал, не верил я в тебя. Ничего, думаю, из него не выйдет. Поди ж ты, вышло! Все дело в настойчивости и выдержке…

Утром он отправился в общежитие. Беспризорники успели все разгромить: выбили стекла, поломали койки и тумбочки. Сквозняк гулял в комнатах. Орава продрогла и встретила Накатникова требованием:

— Вставляй стекла!

Чумазый Брынза, угостивший Накатникова вчера кирпичом, вооружился ножкой от стола:

— Вставляй. А то еще крепче стукну.

Накатников невозмутимо ответил:

— Выберите сначала ответственных людей, чтобы отвечали за стекла, тогда и вставим.

— Еще чего выдумай!

— В сторожа не рядились!

Накатников спокойно вышел. Его проводили ревом и свистом.

Но холод был воспитателем настойчивым и жестоким. На следующий День Брынза, синий от холода, явился с двумя товарищами к Накатникову:

— Вставляй. Буду отвечать.

— Давно бы так… Посмотрим, как ты с ребятами справишься.

— Ничего, справлюсь, — буркнул Брынза.

Вечером в общежитии установился порядок: столы и койки заняли свои места, были вставлены стекла. Брынза ходил и командовал, подкрепляя свои приказы чудовищной бранью. Накатников смотрел на него и думал: «Переломил все-таки… Когда-то вот меня переломили, а теперь сам я начинаю других переламывать».

Эта мысль наполнила его гордостью и уверенностью в своей силе.

Дальше после этой первой победы работать с беспризорными было легче.

В Звенигородской коммуне постепенно наладилась более или менее нормальная жизнь. «Вспомогательный» состав воспитателей был отпущен.

По возвращении в Болшево Накатников испытал несколько неожиданное для него самого волнение.

Знакомые вещи, порядки, друзья — все это дышало для него теперь особенным теплом и близостью. Он ходил по мастерским, заглядывал во все общежития, и на лице его несколько дней отражалось спокойствие и даже умиленность человека, вернувшегося из трудного путешествия к родному очагу, где радует глаз каждая привычная мелочь.

Работой его особенно не нагружали. Вместо награды за Звенигород решено было предоставить парню все возможности для прерванной на время учебы, и он с особым жаром начал посещать рабфак.

Сам человек неупорядоченный и переменчивый, он любил математику за строгость и постоянство ее законов. Физика особенно нравилась ему. Когда он впервые узнал, что все пестрое разнообразие жизни можно свести к электронной теории, в груди его вспыхнула радость бойца, открывшего тайну силы противника. По складу ума Накатников был человек реалистический. Когда рабфаковцы заводили спор, сохранится ли при коммунизме брак, он позевывал и откровенно скучал. Когда же объяснялось устройство днепростроевских турбин, Накатников осыпал преподавателя вопросами.

В коммуне уже знали, что Накатников — один из лучших студентов рабфака. Он не был тщеславным, но когда болшевцы называли его «профессором», ощущал спокойную гордость. То,

что он учится неплохо, радовало и возбуждало его. Он как бы платил этим коммуне крупный долг, ссуженный под честное слово, и от этого с каждым днем становился увереннее и бодрее.

Однако он был слишком подвижен и непостоянен, чтобы учеба шла без срывов. Он как бы играл своими природными способностями. Когда товарищи, воспитатели, встревоженные его отрывом от учебы, спрашивали: «Миша, почему ты сегодня не был на рабфаке?», он с напускной беззаботностью отвечал:

— А что мне? Захочу — буду аккуратным студентом, захочу — месяц на рабфак не загляну. А все-таки кончу рабфак первым.

На минуту он задумывался, точно проверял себя, и еще увереннее добавлял:

— Если не первым, так вторым обязательно.

В коммуну пришла новая партия девушек. Однажды Накатников увидел на крыльце женского общежития девушку, игравшую на гитаре. Доморощенные музыканты насчитывались в коммуне десятками. Накатников после возвращения из Звенигорода считал себя опытным воспитателем. «Вот, — думал он, остановись у крыльца, — девушка играет, и никому до этого нет дела. А может быть, у нее талант». Игра ему показалась необычайно хорошей, а воспитателей он готов был обвинить в недостатке внимательности к новым воспитанницам. Он прибежал в кабинет к Богословскому:

— Что это такое, Сергей Петрович? Почему нет у нас до сих пор женского оркестра?

Он взялся организовать особый женский оркестр и руководить им. Каждый вечер назначалась сыгровка. До хрипоты в горле Накатников кричал, ругался, поучал. Днем он раздобывал ноты или переписывал их, настраивал инструменты, обучал отстающих. Для рабфака оставалось слишком мало времени, и Накатников фактически перестал учиться.

Прошло три недели.

В коридоре клуба, где происходила сыгровка, он столкнулся как-то с Галановым — комсомольцем-чекистом, одним из организаторов комсомольской ячейки в коммуне. Галанов не переставал навещать коммуну.

— Здорово, Миша, — сказал Галанов. — Как дела с рабфаком? Как постигаешь премудрость? Что ж ты задумался? Квадратное уравнение, что ли, решаешь?

Накатников не сразу нашел, что ответить. Тот факт, что он уже не учится, внезапно предстал перед ним с устрашающей ясностью. С парнем нередко случалось так, что, увлекшись чем-нибудь, он плыл по течению, не думая, куда это приведет. Сейчас сознание собственного легкомыслия впервые возникло в нем.

Накатников смотрел в молодое, не по летам серьезное лицо Галанова, чувствовал, что стыд мешает ему ответить со всей откровенностью, и солгал:

— Ничего, дела идут, скоро буду на первом месте.

Сказав это, он хотел как можно скорее удрать от комсомольца. Молодой чекист стал говорить о своих успехах в учебе:

— Меня в институте в аспиранты выдвигают. Наверно, при кафедре останусь.

Галанов учился в техническом вузе и намеревался отдаться научной работе. Он долго распространялся о своих планах на будущее. Накатников слушал и нетерпеливо топтался на месте.

Вернувшись к себе, он долго ходил по комнате крупными шагами. Стыд мучил его, как озноб. Он морщился, даже припрыгивал и, вероятно, показался бы свежему наблюдателю человеком, слегка повредившимся.

В комнату вошел Васильев и, заметив волнение приятеля, поинтересовался:

— Кто это тебя так завел? Или бабий оркестр взбунтовался?

Накатников порывисто повернулся и закричал:

— К чорту оркестр, к дьяволу! Не мое это дело! Какой из меня дирижер?! Пускай Чегодаев с ними занимается!

Вечером Накатников был на рабфаке. Знакомые лица студентов, преподавателей, швейцаров и уборщиц казались ему приятно обновленными. Он снова всерьез принялся за учебу. Теперь, после месячного перерыва, приходилось усиленно наверстывать упущенное. Однако Накатников не переставал принимать активное участие и в общественной жизни коммуны. Только после истории с женским оркестром не повторялось больше случая, когда бы Накатников не сумел сочетать общественную активность с учебой. Его возраст и старания воспитателей уравновесить его непостоянный характер начинали сказываться. На общих собраниях, на заседаниях конфликтной комиссии все чаще видели его выступающим в роли примиряющего поссорившихся или же в роли взыскательного, но беспристрастного судьи по отношению к нарушителю коммунских законов. На глазах у болшевцев менялась у Накатникова манера держаться с людьми, изменилась даже походка. Иногда во время горячего спора, когда в нем готов был проснуться прежний грубиян, он вдруг замолкал, хмурился и уходил в сторону.

— Что, Миша, струсил? — радовался спорщик. — Замолчал, почуял свою несправедливость?

— Отстань, — глухо говорил Накатников. — Не хочу я волноваться. Вот успокоюсь, тогда поговорим.

Раньше он мог не заглядывать в учебник целую неделю, а потом, прозанимавшись две-три ночи напролет, наверстывал упущенное. Теперь у него для занятий были отведены определенные часы.

Через год Михаил кончил рабфак. Напрашивался вопрос: что дальше? Учиться на инженера? Но не придется ли тогда расстаться с коммуной? Понадобятся ли ей свой инженеры? А разве можно покинуть коммуну, когда здесь товарищи, воспитатели, с которыми так много пережито, которым так необходимы живые опытные помощники для воспитания вновь приходящих в коммуну людей! «Ладно, попытаюсь в вуз поступить… А как там примут меня? — размышлял Накатников. — В рабфаке хорошо: молодежь рабочая, простая в обращении. Никто ни разу не укорил меня прошлым. Вуз — другое дело. Там, поди, занимаются дети ученых, книжников, крупных специалистов, презирать, пожалуй, будут. Да и хватит ли знаний, чтоб угнаться за ними?»

Раньше он с увлечением слушал заманчивые рассказы Погребинского о тех временах, когда коммуна вырастит своих художников, композиторов, хозяйственников, инженеров, и он, Накатников, будет первым инженером, выдвинутым коммуной. Накатников трепетно ждал этого времени, давал воспитателям клятву, что «не подкачает», выдержит экзамен в вуз, но чем ближе подходил День выполнения обещаний, тем страшнее делалось Накатникову и меньше оставалось прежней дерзкой самоуверенности. Часто он в одиночестве бродил по лесу, чего с ним раньше не случалось.

Неожиданно приехал в Москву Погребинский, переброшенный к тому времени на работу в Уфу; Накатникову предстояло опять увидеться с ним. Что-то говорило ему, что эта встреча с Погребинским будет иметь для него решающее значение. Он не ошибся.

— В лес ходишь? — спросил Погребинский. — Ты что же, Миша, грибы собираешь или свидания там у тебя?

— Мне теперь не до шуток, — угрюмо вымолвил Накатников.

— А разве я смеюсь? — удивился Погребинский. — Что же, Миша, сосватаем тебе хорошую костинскую девушку, поженим. Цветочки на окнах. Занавесочки. Хочешь самовар? И самовар дадим. Чего тебе еще надо? Специальность есть, воровать не пойдешь.

Накатников хотел что-то возразить, но Погребинский прервал его:

— Жизнь проверяет людей. Одному дай занавесочки, он и готов успокоиться, обывателем стать. Другой не боится борьбы,

всю жизнь стремится вперед, растет сам и тянет за собой других — это непримиримый враг всякой успокоенности и мещанства. Вот и тебя проверяет жизнь. Инженером хотел быть. Мало ли в молодости какие мечты бывают! Увидел человек трудности и начинает искать дорожку поглаже, поровнее.

Накатников самолюбиво кусал губы.

— Как же, Миша, подыскивать самовар? — продолжал Погребинский. — Ты не стесняйся, прямо говори. Это не беда, что коммуна верила в тебя, ожидала большего; есть ведь и другие ребята, не оправдавшие наших надежд.

— А что делать в коммуне инженеру? — выдавил из себя Накатников. — Много ли здесь их нужно?

— Всегда найдется в стране хороший завод, — сказал Погребинский, выжидательно глядя ему в лицо.

— Не для того меня коммуна воспитала, чтобы я ушел из нее, — глухо произнес Накатников.

— Не для того мы брали вас в коммуну, чтобы делать из вас кустарей, — ответил Погребинский.

Он встал и прошелся по комнате, затем вернулся к столу и серьезно, даже несколько торжественно заговорил:

— Через два-три года коммуна превратится в огромный производственный комбинат. Ты знаешь это. Ты знаешь, что коньковая, трикотажная — это только начало. Новая обувная, новая лыжная будут в ряду лучших фабрик, производящих спортивный инвентарь. Вы сами, коммунары, принимаете участие в разработке планов строительства. Уж не думаешь ли ты, что мы ограничимся планами? Хватит, с избытком хватит дела и для инженеров, и для изобретателей, и для конструкторов. Сознайся, ты просто немного испугался трудностей учебы, которые перед тобой только еще начинаются.

— Неверно. Я не боюсь. Я о другом… — сбивчиво оправдывался Накатников. — Как там примут меня? Скажут — вор…

Он окончательно запутался. Растерянный и злой, он надевал фуражку, почему-то никак не желавшую лезть на голову. Он скомкал ее и сунул в карман. И точно это энергичное движение послужило разрядкой. Сразу успокоившись, он твердо сказал:

— Кровь из носа пойдет, а добьюсь. Увидите! Вот увидите, какой есть Мишка Накатников!

Никогда еще не проявлял он столько беспокойной настойчивости и упорства, как в решающий для него тридцатый год. С весны, после окончания рабфака, и до осени, готовясь в технический вуз, он спал не больше четырех-пяти часов в сутки. Его перестали видеть на товарищеских вечеринках и прогулках.

Он появлялся в клубе только во время особо важных собраний, торопливо произносил с прежним жаром не особенно вразумительную короткую речь и уходил к себе, не дожидаясь, какое будет вынесено решение. Он осунулся, похудел, скуластое небритое лицо его приняло зеленоватый оттенок. Когда ему трудно давалось какое-нибудь место в учебнике, он ехал в Москву к знакомому преподавателю рабфака за помощью.

Сивобородый старичок-математик говорил:

— Слушайте, Накатников, вы переусердствовали. Начальные тригонометрические функции, конечно, надо знать при поступлении во втуз, но знание сферической тригонометрии не предусмотрено программой приемочных испытаний.

— Могут спросить, — твердил Накатников.

— Чего вам беспокоиться? Вы как окончивший рабфак получите при испытаниях некоторое снисхождение.

На щеках Михаила проступали багровые пятна. — Снисхождение на бедность! — кричал он с непонятным ожесточением. — Не надо! Никаких поблажек! Я покажу им!

В коммуне Сергей Петрович осторожно замечал ему:

— Отдохнул бы, Миша, до экзаменов еще месяц.

— Значит, надо торопиться, — отзывался он.

В огромный подъезд серого здания втуза Накатников вступил с лихорадочно блестящими глазами.

Дожидаясь своей очереди на экзамен, он ходил по коридорам, намеренно громко стуча каблуками, вызывающе поглядывая по сторонам на этих чистеньких, как он полагал, «маменькиных сынков и дочек», пришедших экзаменоваться. Он был готов вступить в жестокую словесную перепалку со всеми, кто посмел бы затронуть его. На него не обращали внимания. По коридорам переливались говорливые потоки молодежи в кепках, пиджаках, белых панамках, в скромных кофточках и юбках; часто мелькали зеленые юнгштурмовки. Многие явились, видимо, прямо с производства. То и дело слышались фразы:

— Сдам политэкономию и в бригаду.

— Что у вас, опять прорыв?

— Подтянулись…

Накатников заметил стоящую несколько особняком группу парней и девушек. Здесь ребята были при галстуках. Носки туфель у одной из девушек поблескивали лаком. Она прижималась к плечу подруги и повторяла:

— Вдруг провалюсь. Что тогда?

— Ага, страшно! — язвительно сказал, проходя мимо, Накатников. За себя он, переволновавшись раньше, был странно

спокоен.

— А ваш папаша разве акции золотых россыпей имеет? — услышал он у себя за спиной.

Он резко повернулся и строго спросил:

— Причем здесь акции и россыпи?

Паренек в пенсне, с длинными, зачесанными назад волосами не совсем дружелюбно объяснил:

— Да вот относительно «страшно». Конечно, все побаиваются. У меня родитель сорок лет на фабрике инженерит и мне приказал. С какими глазами я приду домой, если провалюсь? Раньше не беспокоились на экзаменах только сынки богатеев, которым диплом нужен для солидности…

— Бросьте, ребята, время терять, давайте-ка лучше еще пройдемся по физике, — вмешался русый солидный юноша в новом отутюженном коричневом костюме и в накрахмаленном воротничке.

— По воротничку видно, как вам учеба нужна, — съязвил Накатников.

Щеголь спокойно ответил:

— Заработайте у токарного станка триста рублей в месяц, получите в премию костюм за ударность, тогда нацепляйте и воротничок, никому не заказано.

Приоткрылась дверь кабинета, за которой шли испытания по математике, и чей-то голос торжественно возвестил:

— Накатников Михаил, пожалуйте!

Берясь за ручку двери, Накатников услышал, как человек, вызвавший его, что-то сказал профессору и засмеялся. Смех был мирный, домашний и не вязался с торжественностью, прозвучавшей в голосе этого человека при вызове. Когда Михаил вошел, улыбка не рассеялась еще и на лице старого профессора с пышным черным бантом под мягким и широким воротничком рубашки. Насупленные седые брови, свисающие ниже подбородка усы и высокий лоб делали профессора похожим на Мелихова.

Старик долго разглядывал лежащие перед ним документы Накатникова, успел за это время дважды слазить неторопливо в карман за носовым платком и высморкаться.

— Бакалов Савелий, пожалуйте, — раздался в приоткрытую дверь уже знакомый Накатникову голос.

Вошел парень в коричневом костюме. Не отрывая глаз от бумаг, профессор сказал помощнику:

— Можете еще одного. Я буду сразу троих спрашивать. Публика тут наша, рабфаковская, проверенная.

Третьей оказалась девушка в лаковых туфлях. Обстановка делалась все проще и обыденней. Накатникову стало обидно.

Несколько месяцев он не досыпал, отказывался от развлечений, готовясь к свирепому бою, от исхода которого зависело будущее, и вдруг его, Накатникова, не хотят даже выделить и намерены спрашивать вместе с двумя другими. «Очевидно, документы неясно говорят, кем я был и кем стал. Этакие люди не встречаются на каждой трамвайной остановке». Накатников воображал профессора желчным и враждебным человеком, думающим: «Ах ты, ворюга! В инженеры захотел? Вот я тебя срежу сейчас». И профессор должен был задавать самые каверзные вопросы, требовать вывода наитруднейших формул. Накатников ответил бы, конечно, не запинаясь. Конец сражения представлялся так: профессор устало вздохнет и, признав себя побежденным, угрюмо и неохотно скажет: «Я поставлю вам удовлетворительно». Сколько бы тогда рассказывал Накатников приятелям об этой трудной победе.

— Что же вы не садитесь? — прервал его размышления громкий голос профессора.

Накатников вздрогнул. Он совсем не ожидал, что седоусый старик обладает столь звучным и ясным голосом.

— Мое место — у доски стоять, — скороговоркой ответил Накатников.

— А я возьму да и не пошлю вас к доске, — весело сказал профессор. — Вот прошу подчиниться — сесть к столу и взять карандаш с бумагой. Вы из Болшевской коммуны?

— Да, из нее, — с гордостью подтвердил Накатников, собираясь постоять за коммуну, за честь своего родного дома.

— Что же, много вас там… таких богатырей?

— Несколько сотен. В Звенигороде еще одну открыли коммуну для беспризорных. Я туда сам ездил, организовывал.

— Вы?

— Я.

— И они слушались вас, эти оторви-головушки?

— Ничего, только кирпичом один ударил, — отрывисто говорил Накатников.

Он уже злился на свою болтливость.

Старик задумчиво гладил усы. «Вылитый Мелихов», подумал Накатников.

— И вы действительно там все работаете, учитесь? И клуб у вас есть и кружки? — продолжал допытываться профессор.

Накатников, глядя в сторону, скупо и неохотно сообщил о конфликтной комиссии, самоуправлении, новых домах, сборнике стихов, выпущенном недавно коммунскими поэтами.

Старик прикрыл лицо рукой. Накатников удивленно поглядел на него. Вытирая с детской беспомощностью влажные глаза и

силясь улыбнуться, профессор извинялся перед встревоженной девушкой:

— Вы уж того… Смолоду глаза на мокром уродились, а теперь — годы… Подумайте: где это видано — оборванцы, воришки… Их мужики на базаре смертным боем били за кусок соленого сала, утащенный с воза. Честное слово! Сам видел. А теперь этот медведь полосатый, — указал профессор на Михаила, — извольте видеть, ко мне в аудиторию прется!

Он покачал головой:

— Большевики… сердитые люди.

Затем старик вынул из кармана носовой платок, встряхнул им и осведомился уже деловито:

— Скажите, а можно к вам приехать, поглядеть?

— Отчего же? Иностранцев пускаем, а вас тем более.

— Ну, спасибо, — профессор шумно вздохнул и бодро приказал:

— Состройте-ка мне, молодой человек, биномчик Ньютона…

Накатников покинул кабинет с противоречивым и сложным настроением. Его известное всей коммуне самолюбие страдало из-за того, что испытание по самому трудному предмету — за остальные он не беспокоился — прошло так легко. Но внимание растроганного профессора все-таки льстило ему. Он чувствовал, как мелкое, наполовину удовлетворенное тщеславие поглощается большой и светлой радостью за всю коммуну, которая вызвала такое неподдельное изумление старого ученого человека. Михаил опустился на первую же скамейку в коридоре и только тут почувствовал, как он устал. Он уронил голову на подоконник и задремал. Вскоре кто-то начал трясти его за плечо. Очнувшись, он увидел русую девушку в лакированных туфлях.

Она взяла руку Михаила, пожимала ее, смеялась белозубым ртом:

— Вот спасибо, выручил!

— Кого, чем? — вяло недоумевал Накатников.

— Да проснитесь же! На первой лекции успеете подремать, — шутила девушка. — Старичок-то наш расчувствовался и ставит «удочки», как миленький! А ведь он, говорят, строгий… Заходите в гости. Я на Сретенке живу, дом 14, третий этаж, пять звонков. Спросите Ситникова — это мой дядя, я у него остановилась. Обязательно приходите, а то у меня никого знакомых в Москве: я из Воронежа…

Она побежала, вызвав голубым платьем своим легкое дуновение, пахнувшее сиреневым одеколоном.

Первую зиму Накатников учился во втузе без всяких затруднений. Во время подготовки, он ушел по сравнению со

многими студентами далеко вперед. Весной его послали на практику в одно из крупных технических учреждений полупроизводственного-полунаучного характера. Несмотря на то что он был практикантом, т. е. не постоянным работником этого учреждения, его выбрали секретарем ячейки. Здесь произошли события, после которых Накатников почувствовал себя человеком взрослым и окончательно сложившимся.

Директор учреждения, мужчина внушительной наружности, был беспартийным. В манерах его и в поведении проявлялось столько простодушия, что Накатникову вначале казалось кощунством подозревать его в каких-либо служебных погрешностях. Но материал для подозрений возник очень скоро.

В учреждении оказалось множество злоупотреблений. Директор и близкие к нему люди получали, например, жалованье за преподавание на несуществующих курсах. Курсы эти только еще предполагалось организовать, но уже образовался некий штат, аккуратно получавший ежемесячную мзду. Бывали случаи, что сотрудники командировались для выполнения неопределенных заданий в Сочи или в Ялту, откуда приезжали жизнерадостными и пополневшими. Проектная работа, особенно высоко оплачиваемая, оказалась монополией отдельных лиц. Накатников начал, как он выражался про себя, готовить материал: собирать факты для разоблачения.

О готовящемся нападении, повидимому, узнали. Однажды технический директор, зазвав Накатникова к себе, предложил ему очень заманчивую командировку. Предоставлялась возможность поехать на два-три месяца на крупное производство, жить в хороших условиях и заработать порядочную сумму. Все это походило на взятку, и Накатников отказался. Коротконогий толстяк, исполнявший должность технического директора, только пренебрежительно пожал плечами. Он считал молодого практиканта просто глуповатым.

Накатников пошел в Рабоче-крестьянскую инспекцию. Там его внимательно выслушали, обещали дать делу быстрый ход.

Спустя неделю Накатников не вытерпел и пошел снова в Рабоче-крестьянскую инспекцию.

— А не склока это у вас? — осторожно спросили его. — Все, что вы нам рассказали, ваш директор объясняет иначе.

Накатников мял в руках свою заношенную кепку. Он не собирался отступать.

Началась пора медленной полускрытой войны. Накатников собирал вокруг себя людей — свидетелей злоупотреблений, но этих людей директорской волей отсылали в командировки и переводили в другие учреждения. Накатников пытался добиться

назначения ревизии, директор успешно тому противодействовал.

Наконец Накатникову сообщили в РКИ, что назначена специальная тройка, которая подробно разберет все дело.

Возвращаясь из РКИ, Накатников долго стоял на Каменном мосту. Под мостом бежала холодная серая река. День был сумрачный, как думы парня. А вдруг он тут действительно в чем-то ошибся? Его могут привлечь к партийной ответственности, даже исключить из партии как склочника. Ему вспомнился самый яркий, самый значительный в его жизни день — тот день, когда его приняли в партию. Это было совсем недавно. Он сидел на собрании строгий, сосредоточенный, внимательный.

За годы самоотверженной честной работы в коммуне бывший вор Накатников доказал, что прошлое умерло для него. Больше того, в комсомоле, в общественных органах коммуны, всюду, где работал Накатников, он сумел показать, что от прежнего мелкого, маленького, эгоистичного Накатникова не осталось ничего.

Для теперешнего нового Накатникова ничто в мире не было дороже и выше интересов коммуны, интересов коллектива. Так по крайней мере отзывались о нем товарищи, рекомендовавшие его в партию. «Примут ли? — думал Накатников. — Поверят ли, что человек, когда-то взламывавший замки, вырезавший в трамваях лезвием бритвы бумажники, человек, который был паразитом, мог стать большевиком, готов отдать свою жизнь, каждую каплю своей крови за счастье трудящихся? Поверят ли в его стойкость, закаленность, выдержку?»

На том же собрании стоял вопрос о коммунаре, члене партии Соломахине. Соломахин — старый болшевец, был вместе с Накатниковым в комсомольской ячейке, был одним из первых воспитанников, принятых в партию. Недавно он напился пьяным. И вот он стоял перед ячейкой бледный, подавленный, но взгляд его серых глаз был тверд.

— Мы строго взыскиваем за пьянку с рядового коммунара, — говорил взволнованно секретарь ячейки. — Беспартийного активиста, который обязан быть примером для других, мы за пьянку исключаем из актива, иногда даже из коммуны. Соломахин — коммунар, Соломахин — активист… Мало этого, Соломахин — член партии! Он был передовиком из передовиков! Как же он мог позабыть об этом? Как он не оправдал доверия, которое проявила партия, включив его в свои ряды?..

И так же говорили все другие. Они говорили, что человек, не способный быть большевиком в малом, не имеет права на доверие и в большом; они говорили, что Соломахин своим поступком сыграл наруку врагам партии, наруку тем, кто не верит в возможность перевоспитания, переделки бывшего преступника, в

возможность превращения его в полноценного человека — гражданина и борца, тем, кто, затаясь, со злобой и ненавистью радуется всякому затруднению.

«Да, Соломахин не коммунист, не большевик, — думал Накатников. — Ведь не мог же он не понимать, какая ответственность лежит на нем? Значит — жалкий обманщик, слабовольный слизняк. Как не замечал этого Накатников прежде?»

Потом получил слово сам Соломахин.

— Я совершил ошибку, которой нет оправдания, — сказал Соломахин. — Вчера я был передовик, сегодня из-за своей слабости я, может быть, хуже всех… Я понимаю, чего я заслужил.

Много необыкновенного пережил и перечувствовал Накатников в этот особенный вечер и, когда шел с собрания, знал: в мыслях и словах, в поступках, во всем и всегда будет большевиком. Пока течет в жилах кровь, пока не угас разум, пока живет на свете парень Накатников — он будет большевиком. Знания, силы, жизнь — все отдаст Накатников партии. А вот теперь… Неужели действительно может наступить такой день, когда он явится в коммуну с позором, когда он не посмеет перешагнуть порога ячейки?

Накатников смотрел на мутную воду, думал: «Да нет, какая же может быть ошибка? Разве кто-нибудь смеет безнаказанно расхищать средства страны?»

А если так, то Накатников будет бороться до конца, чего бы ни стоила эта борьба.

Ревизия нашла злоупотребления.

Директор и ряд сотрудников были сняты.

С практики Накатников вернулся во втуз, чувствуя себя возмужавшим.

Семья

I

В парке скучно. На голых ветвях деревьев сердито каркают жирные вороны. Небо не перестает хмуриться. Идет мелкий, как пыль, надоедливый осенний дождь. Маша Шигарева в заплатанном платье, в опорках бесцельно бродила по аллеям парка. Прошло то время, когда ездила она с Огневой из коммуны воровать. Тогда их разоблачили на общем собрании, судили, решили исключить. Лишь спустя несколько месяцев удалось Богословскому добиться возвращения Шигаревой и Огневой в

коммуну. Время, проведенное Огневой в домзаке, не прошло для нее даром. В коммуне она взялась за учебу, вышла замуж. Только с работой плохо ладилось у нее. И Шигарева и Огнева работали на трикотажной. Шигарева умела работать, но работа ей попрежнему была противна. Правда, теперь она уже не бегала по коммуне с хлыстом и в трусиках. Ничего не осталось от былого ухарства.

«Что делать? Что мне теперь делать?» думает она, расхаживая по парку.

Она обносилась. Ее долг коммуне вырос до пятисот рублей. Болшевцы посматривают на нее свысока, даже новички посмеиваются над ней.

«Неужто я хуже их всех?» спрашивает себя Шигарева.

Она вспоминает прошлое, сравнивает. Нет, она не хуже их. Так почему же они держатся с ней так, точно снисходят до нее? Даже Огнева — и та в последнее время стала как будто сторониться Маши.

Она вытащила из-за пазухи письмо брата и в сотый раз прочитала его. Брат освободился, звал воровать и предостерегал от «лягавых» в коммуне: «Загонят они тебя харчами и работой в гроб. Приезжай! Пока годы молодые — гуляй, весели душу!» Эти строчки Маша знала наизусть.

Неужели так и сделать, как пишет брат? «Веселить душу!» А где теперь его «душа»? В домзаке, в концлагере? И так ли уж ему теперь весело? Вот уже два месяца прошло, как получила она это письмо. Нет, она не хочет ни в домзак, ни в лагерь…

Так что же тогда, взяться за работу? Она вспомнила, как страдала Огнева в трикотажной. «Дура, вот уж дура, и еще заносится». Нет уж, если работать, так чтобы всем нос утереть, чтобы все ходили кругом и удивлялись. А почему бы действительно не выкинуть Маше такой номер? Трикотажное дело она знает. Ведь стоит только приналечь, и она могла бы оказаться впереди многих. Чем они тогда будут хвалиться?

Утром Маша первая пришла на фабрику.

Она подошла к Гнаму, поклонилась и вежливо сказала:

— Переведите меня на гетры.

Гнам подвел Машу к машине:

— А вы разве умеете?

— Умею, — сказала Маша и тут же наладила нитку и включила мотор.

— Хорошо, — сказал Гнам. — Работайте.

Он отошел и издали наблюдал за ней. Весь день Маша простояла у машины. Быстро бегали ее пальцы, и под гомон цеха она мысленно твердила: «Погодите, я вам покажу!»

Гнам только удивлялся. Такого рвения у Шигаревой он еще не видал. По ночам у Маши болели руки, ныла спина. Тяжело с непривычки работать по-ударному. Маша плакала, но когда гудел первый гудок, вскакивала и бежала на фабрику. Только в конце месяца, перед получкой, раньше всех убрала она машину и ушла в контору.

— Сколько я заработала?

Подсчитали, вышло двести пятьдесят.

— Все останется у вас! Я коммуне должна пятьсот. На руки мне — ни копейки.

У Огневой не ладилось с напульсниками. Обращаться к мастеру Никифорову ей не хотелось. Этот человек показывал неохотно, раздражал ее. Она ждала Гнама, но тот задержался в швейном цехе, что-то делал там с зингеровской машиной. Время шло, Огнева волновалась: «Попросить Машу? Она, конечно, покажет. Но будет смеяться». После возвращения в коммуну в их отношениях не было прежней близости. Все же Огнева решилась.

— Не выходят у меня напульсники, — тихо пожаловалась она.

— Смотри.

И Маша быстро сделала три напульсника.

— Поняла?

— Поняла, — довольно ответила Огнева.

«Хорошая девка — Маша», подумала она.

— Ну, смотри, подтягивайся, а то я хочу расценки снизить у нас.

— Что ты… Совсем зашьемся! — испугалась Огнева.

Маша не ответила. Мысль о расценках до этого не приходила ей в голову. Сказала она не серьезно, только для того, чтобы напугать Огневу. Но теперь эта идея ей понравилась. В самом деле, разве она не может снизить расценок? Она-то всегда двести с лишним заработает.

Вот отместка «всем» за обиду!

Неторопливо рванула она рубильник, жалобно на высоких нотах завыл мотор, четко цокнули иглы и замерли.

Маша вбежала в кабинет директора и сказала:

— Я хочу с вами поговорить!.. Вы должны мне помочь.

Директор выслушал Шигареву.

На другой день возле табельной доски висело объявление: «Лучшая работница трикотажной фабрики Мария Шигарева снизила расценки на двадцать пять процентов. Обязуется повысить на столько же процентов производительность труда. Обязуется бороться за минимум брака. Вызывает последовать-ее примеру работниц и рабочих всех цехов нашей фабрики».

Трикотажники зашумели:

— Что она делает? И так браку много!..

— Рано снижать!

— Собрание нужно, там подробно потолкуем…

И опять Машу будто не замечали. И лишь украдкой поглядывая, шептались и качали головами.

Но теперь Маша была довольна: «Что, утерла вам нос?»

Она работала как никогда — легко и весело. Ей казалось, будто машина, мотор, челнок, нитки и она слились в одно. Мастера смотрели на нее с уважением, здоровались за руку и разговаривали на «вы». Гнам — доволен.

Вечером было собрание.

— Мы, конечно, не против снижения расценок, — говорили ребята. — Дело хорошее вообще, а в коммуне и подавно, потому что нам же выгода от этого. Но — рановато, не всем за Машей угнаться.

Решили повести серьезную борьбу с браком и выбрать специальную тройку.

«Конечно, меня выберут», думала Маша.

А когда попросил слово Гнам, она знала определенно: о ней. Гнам встал, заложил руку за борт пиджака и, окидывая взором ряды притихших болшевцев, не спеша, с достоинством начал:

— Я хочу сказать о Маше. Была плохая, а стала лучшая? Ее нужно в эту комиссию.

Маша нетерпеливо ждет, когда председатель скажет: «Кто за?» Тогда поднимутся вверх сотни рук и кто-нибудь подтвердит общее решение спокойной похвалой: «Конечно ее, кого же больше? Девка стоящая!..»

Но почему же так тихо? Машу охватывает тревога, она вопросительно оглядывает лица товарищей.

Кто-то хихикнул. Кто-то громко высморкался. Председатель хитро прищурил глаза:

— Рановато Машу. Она ведь больно капризна. А комиссия нам требуется не для капризов!..

Смех заставил Машу покраснеть. Она растерянно смотрела по сторонам. Вновь подымалась обида. Как же так, опять «они» перехитрили ее? Опять «их» верх?

— Что же я должна еще делать? — спросила Маша себя, но так громко, что ее услышал сидевший рядом с председателем директор.

— Ты, Маша, хорошая работница! — сказал он. — Мы тебя за это ценим. Но плохая коммунарка. Сознайся, не любишь коммуну, не любишь коммунаров? Ты с ними держишь себя вызывающе, гордо. И на фабрику ты пришла со своей какой-то

целью, а не коммунской. А вот теперь, когда тебе слегка спесь сбили, я не стану ручаться, что ты завтра выйдешь на работу. Скажи, правильно я говорю или нет?

Маша не отвечала. Конечно, она им больше не работница!

Она вспомнила, что сегодня должен быть субботник. Не только на работу, а и на субботник она не пойдет! Пусть видят!.. Кончено все! А жалко все же, столько старалась. С долгом почти рассчиталась, теперь бы одеться! И машина у нее — гордость фабрики — необыкновенной конструкции.

Машину «они», несомненно, испортят. Вот если бы можно было из коммуны уйти, а на фабрике остаться! Вот если бы так!

Размышляя, Маша не слышала, что решало собрание. Когда начали расходиться, она вдруг вспомнила о субботнике.

— А про субботник забыли? — сказала она директору.

Тот улыбнулся:

— Как забыли? Идем. Ты что, разве не слушала, о чем был разговор?

Субботник был по уборке нового корпуса трикотажной. Во дворе скатывали в штабели бревна. Маша вместе с бригадой трикотажников под команду «Раз-два-а, взяли!» дружно подхватывала колом бревно, подставляла плечи, вскидывала бревно на третий ярус, и оно с глухим рокотом катилось по прокладкам к ногам укладчиков.

Со второго яруса выкатилось толстое восьмиметровое бревно. Затрещали прокладки. Ребята испуганно отскочили… Маша растерялась, бревно с грохотом свалилось ей на ногу. Маша вскрикнула и упала, ударившись головой об острые кирпичи. Она видела, как подпрыгнуло заходящее солнце. Потом стало темно.

Десятки рук подняли бревно. Машу окружили товарищи. Кто-то пощупал пульс и снял шапку. Заплакали девчонки, зашмыгали носами ребята. Вспомнили: своенравная, гордая была Маша, а прямой, честный, искренний человек. А как умела работать!..

В сущности ее любили, любили давно.

— Эх, обидели мы ее, — сказал секретарь комсомольской ячейки Николай Михалев. — Не выбрали в эту комиссию. Обидели.

Никто ему не ответил. Пришел фельдшер. Машу положили осторожно на носилки и унесли. Фельдшер сказал: «Жива».

II

Брак Малыша с Огневой был в коммуне первым браком коммунара и коммунарки.

Первую супружескую пару за неимением лучшей жилплощади поселили в маленькой комнатушке около кооператива, где прежде помещалась кладовая спецодежды. Но когда на скатерть, покрывавшую стол, сделанный из двух широких фанерных ящиков, упало солнце, комната показалась Огневой и Малышу большой и нарядной.

Они оба еще стыдились своего одиночества и своей нежности. Вечером за окном пела песни и шумела холостая молодежь так же, как шумели и пели песни они сами еще вчера, но теперь эта недавняя жизнь казалась им смешной и далекой. Скрип половицы, чай из маленького — на двоих — чайника, ситцевая. занавеска на окне и много других мелочей отделили их от товарищей сеткой интимных, маленьких тайн.

Малыш увлекся скрипкой, начал усердно учить первые гаммы и даже пытался передать мелодии, игранные на кларнете. Скрипка капризничала в неопытных руках Малыша, и Нюрка откровенно выражала недовольство его игрой. Она прикладывала руку к своей щеке, шутливо морщилась, словно от нестерпимого приступа зубной боли.

— Выгонят нас из коммуны за такую игру, Вася!

Скрипку повесили на стене около полки с книгами, но, уступив в этом Малышу, Нюрка долго ворчала. Семейный уют она начала строить со строгой симметрией, пытаясь ею скрасить скудность обстановки, и когда замечала на лице мужа усмешку, огорчалась и тайно вздыхала.

Малыш сердился, упрекал ее в некультурности.

— Тебе читать нужно больше, Нюрка! — говорил Малыш.

И он стал ей читать книги вслух, но Нюрка от чтения быстро утомлялась, позевывала, прикрыв ладонью рот, и даже засыпала. Забота о семейном уюте была для нее понятнее, интереснее и ближе. Она неутомимо чистила комнату, чинила, штопала, шила. Малыш удивлялся ее энергии и терпению.

— Мы будем столоваться дома, — после недели их совместной жизни сказала она. — Нам нужно копить деньги — вещи приобретать.

— Хорошо, — покорно согласился Малыш.

Последнее время он почти совсем не узнавал ее. Это и пугало и радовало. Он боялся, что прорвавшееся с такой силой стремление к семейной жизни вдруг надломится и тогда наступит катастрофа. Он стал внимательно приглядываться и следить за ней, а вечерами в свободные часы, подсмеиваясь над домоседством, вытаскивал ее в клуб.

— Под старость успеешь стены коптить! — говорил он.

Нюрка покидала комнату неохотно, и даже ее прежняя

страсть к танцам ослабела. Она первая уводила с них мужа домой.

Через месяц, когда Нюрка, возвратившись с ночной работы, принялась за стряпню у примуса, Малыш поглядел на ее побледневшее лицо и воспаленные глаза и в первый раз, не выдержав, резко прикрикнул:

— Довольно! На мебель у дяди Сережи, если надо, займем денег. Из-за чего ты мучишь себя?

Нюрка вздрогнула, удивленно посмотрела на него и притихла. «Ведь ты не знаешь, что за прошлое лодырничество я задолжала коммуне около трехсот рублей!» хотела сказать она. За этот долг теперь они расплачивались вместе, и он лежал большой тяжестью на совести Нюрки. Стряпню она все же бросила, хотя и не сразу, а только убедившись, что пользы, пожалуй, действительно нет никакой. Снова они с Малышом пошли в столовую коммуны.

Семья! Еще в детстве, совсем маленькой, когда выходила она на улицу из своего подвала, держась за грязный, обтрепанный подол матери, чтобы вместе с ней кляньчить у прохожих копейки, она с завистью заглядывала в окна, где сияла чистотой просторная, непонятная жизнь. Люди, живущие там, казались добрыми и счастливыми. Вечерами, лежа в углу соломенного тюфяка и слушая ругань вечно пьяного отца, она иногда плакала от зависти и тоски. В те минуты она ненавидела и подвал, и мать, и отца. А Валька! Гукающая Валька с розовым бантом на волосах! Нюрке только во сне пришлось видеть ее в плетеной кроватке у раскрытого настежь окна.

Теперь, часто просыпаясь по ночам от внезапного непонятного беспокойства за непрочность своей семейной жизни, она долго прислушивалась к ровному сонному дыханию Малыша… Она всматривалась в его лицо, отыскивая признаки недовольства ею, сожаления о потерянной свободе холостяка, и вспоминала теперь тот далекий вечер, когда она стояла перед собранием болшевцев.

— Мертвую, но оставить ее в коммуне. Все равно без коммуны ей пропадать! — крикнул на этом собрании Малыш.

Эти слова прочно вошли в память Нюрки, и, может быть, только они удержали ее от свиданий с первым мужем и ухода из коммуны. Она знала, что отец умершей Вальки был взят из Соловков в Люберцы. Он мог приезжать и сюда. Однажды в поздние октябрьские сумерки ей показалось, что сквозь мокрые стволы сосен она видит его возбужденное бледное лицо. Ей стало страшно за себя и за Малыша. Она провела несколько тревожных бессонных ночей и, не выдержав напряжения, пошла к дяде

Сереже:

— Отпустите меня в Люберецкую коммуну!

Дядя Сережа решительно отказал.

Теперь это отошло, стало забываться. На подоконнике ее комнаты цветы в горшках уже пустили свежие ростки, ночную тишину комнаты колеблет сонное дыхание мужа.

Иногда к ним заходил дядя Сережа и, осматривая веселыми глазами нюркино хозяйство, спрашивал:

— Ну как? Довольна своим шалашом?

— Терпеть можно, — скромно отвечала Нюрка.

— Потерпи, потерпи. Скоро что-нибудь получше устроим!

И он рассказывал о будущем коммуны, о расширении производства, о строительстве просторных и светлых жилых домов.

В присутствии Сергея Петровича Нюрка всегда чувствовала большую уверенность. Ей нравилась его ласковая настойчивость, уменье просто подойти к человеку, отчего самое безвыходное, запутанное становилось понятным.

После шести месяцев жизни в коммуне Нюрка вместе с Малышом, заняв у дяди Сережи сто рублей, в первый раз поехала в Москву. Они решили купить кровать. В день отъезда Нюрка с утра волновалась, а, подъезжая к Москве, не отходила от окна вагона. Она со страхом смотрела на серый горизонт, прикрытый дымными сизыми испарениями.

На Сухаревке они купили полутораспальную кровать с пружинным матрацем. На кровати сияли никелированные шары, а матрац отбрасывал руку, пробующую крепость пружин. Нюрка никогда не думала, что будет обладать таким великолепием. Ей захотелось сейчас же поставить кровать в своей комнате, и, когда Малыш предложил ей сходить на дневной сеанс в кино, она решительно запротестовала:

— Едем! А то, чего доброго, багаж раньше нас в Болшево придет.

Кровать со взбитыми пышно подушками поставили у окна. Нарядная, она заняла добрую треть комнаты. Скрипка рядом с ней потускнела и как будто совсем вдавилась в стену, признав свое ничтожество. Нюрка радовалась, глядя на кровать, а скрипка в руках Малыша определенно звучала глуше: кровать уменьшила и так небольшой комнатный резонанс.

Товарищи посмеивались над покупкой Малыша:

— С законным браком!

— Слыхали, что ты корову купил?

Но все же маленькая комната супружеской пары была для многих символом прочности новой жизни.

III

От неуменья или оттого, что ручная фанговая машина была уже порядком поношена, Нюрке приходилось часто обращаться к мастеру Никифорову. Мастер, услыхав о порче машины, с досадой морщился:

— Эх вы, «работнички»!

Нюрка знала, что это презрительное название относится к ней и к Варе Козыревой. Кое-кто из вольнонаемных, заметив недовольство Никифорова, язвительно улыбался.

Мастер, покуривая, в глубоком раздумье долго стоял у испорченной машины и сокрушенно покачивал головой:

— Ну-ка, принеси мне отвертку.

Нюрка, кусая от обиды губы, шла за отверткой, но когда приносила ее, Никифоров говорил: — Теперь принеси масленку. Быстро!

— Может, за полбутылкой еще пошлешь? Ты мне мозги не темни. Покажи, что делаешь.

— Уходи, девка. Я постороннего глаза в работе не терплю.

Может быть, поэтому вначале работа на трикотажной казалась Нюрке нудной, неинтересной, и редко бывала у нее такая неделя, чтобы рабочих дней было больше четырех-пяти. А когда приходил черед заступать в ночную смену, Нюрка шла к дяде Сереже:

— Пиши увольнительную записку по болезни.

— Филонишь, Нюрка. Пора бы всерьез за работу приняться.

— Не филоню — больная. Пиши!

Шел второй месяц ее семейной жизни, ее увлечения уборкой, шитьем, стряпней на примусе. Нос того дня, когда Малыш прикрикнул на нее, желание заработать больше, чем он, не покидало ее. Ей хотелось бросить трикотажную фабрику, перейти в коньковый цех или опять на обувную, но каждый раз секретарь цеховой комсомольской ячейки Михалев уговаривал ее:

— Скажи мне, глупая голова, для чего у нас трикотажная? Для того чтобы вольнонаемные на ней работали? — Коля Михалев близко наклонялся к Нюрке и страстно бил себя кулаком в грудь. — Ведь я же ж мотал пряжу? Мотал! Сейчас же топай к станку, а то на меня псих найдет.

Нюрка смеялась, глядя на его страшно вращающиеся зрачки, и опять шла к своей фанговой машине вязать детские шарфы. Но несмотря на настойчивое желание заработать больше, выработка ее все же была смехотворно мала.

— Оно и видать, кто к чему с малолетства приучен, — нередко «пошучивали» вольнонаемные из числа тех, кто

побаивался производственных успехов воспитанников.

А дома у окна, тесно заставленного цветами, стояла пышная, сияющая никелированными шариками кровать; скрипка, в руках Малыша звучала все уверенней, и от этого хотелось Нюрке чувствовать себя самостоятельней и крепче. Но мысли о долге, выросшем в связи с покупкой кровати до четырехсот рублей, и незадачливая работа наводили тоску. В один из таких приступов тоски она едва удержалась от соблазна напиться пьяной, но она знала, что вся коммуна смотрит на их жизнь — жизнь первой семейной пары. От этих взглядов не уберегут ни стены, ни занавески на окне. Нужно делать эту жизнь чище, честней — такой, чтобы болшевцы завидовали им и гордились ими. Каждая новая вещь, вымытые полы, протертые стекла окон радовали Нюрку теперь больше, чем воровские удачи прежней жизни. Но странно: чем больше и лучше устраивала она свой быт, тем больше чувствовала свое одиночество и тем чаще замечала недовольство в глазах Малыша.

— Мещанимся мы с тобой, Нюрка, — сказал он однажды.

В комнате стояли сумерки ранней ясной весны. Нюрка легла на кровать и стала думать о том, что наступает второй год ее жизни в коммуне, о том, что сказал Малыш. За это время она многим переболела, добилась благополучия. Теперь у нее есть вот эта комната, семья, спокойствие за завтрашний день. А все-таки, может быть, прав Малыш? Что если в один из дней Сергей Петрович скажет ей при всех:

— Что же, Нюрка, и замуж вышла, и комнату коммуна тебе дала, а толку от тебя… — Он укоризненно покачает головой, добавит: — Коммуна-то ведь не богадельня. Работать надо, платить долги.

Нюрка прикрыла ладонью глаза, чувство тоски и одиночества стало острее.

Малыш пришел поздно. Нюрка уже спала. Не зажигая огня, он разбудил ее:

— Радуйся, свадебный подарок получили.

— Какой подарок? — протирая глаза, равнодушно спросила Нюрка.

— Дядя Сережа с тебя долг снял.

Нюрка спрыгнула с кровати:

— Как снял?

Малыш засмеялся:

— Дай мне перекусить, радоваться будешь после.

Малыш чиркнул спичкой, чтобы зажечь лампу, и увидал лицо Нюрки. В нем была не радость, а горе… «Что с ней?» испугался Малыш.

— Снял, значит? — сказала Нюрка. — Милостыню подал?

Нюрка широко взмахнула вязаным платком и накинула его на голову.

— Я ему покажу милостыню! — крикнула она.

На окне от сквозняка рванулась занавеска. Но Нюрка не успела перешагнуть порог. Малыш схватил ее за плечи и толкнул обратно в комнату:

— Не горячись, завтра мы это дело рассудим.

Утром Огнева встала раньше обычного. Она тщательно вымылась, убрала комнату, и, когда Малыш, проснувшись, посмотрел на нее, она была свежей, чистой, с какой-то новой строгостью в глазах.

— Вставай, лежебока, гудок проспишь!

— Далеко собралась? — недоверчиво спросил он.

— Далеко, — улыбнулась Нюра и вдруг крепко обняла его за шею. — Все будет хорошо, Васенька, только от подарка вчерашнего откажись.

Потом в упор посмотрела в его темные, смущенные ее внезапной нежностью глаза и повторила настойчиво:

— Обязательно откажись!

Она ушла раньше его, оставив его в раздумье.

У входа на фабрику Нюрка подождала Михалева.

— Ну, секретарь, отпустишь с трикотажки?

— Отстань, смола!

— Тогда, секретарь, вот тебе коммунарское слово: если не устроишь работать на моторке, все равно сбегу.

— Рехнулась девка! Ты на простой машине руку набей.

— На ручной я в кровь руку сбила. Сказала — и раздумывать тебе пять минут.

— Три тысячи игл и мотор! Отстань, Нюрка!

— Хоть шесть тысяч. Расшибусь, а сделаю. — И подмигнула — У меня ведь золотые руки, секретарь.

— Хорошо, — согласился Михалев. — Если разрешит директор… Похлопочу.

Три тысячи игл плетут сложный узор. У каждой иглы свой норов, каждая игла хитрит и путает. Шуршит приводной ремень, стучит станок, мелькает пряжа, и от этого туман в голове Нюрки, путаются мысли.

«Нарвалась, — думает она. — Засмеют — беги из коммуны».

Она смотрит на ловкие руки соседних работниц, и ей кажется, что стоят они у станков легко, без напряжения. Станки покорны, послушны им, а если чуть начинают капризничать — минута непонятных движений проворных пальцев, и опять

готовая пряжа ровным узором ползет из-под стрекочущих игл. А у Нюрки станок третий день простаивает добрую половину рабочих часов. Брак длинными прорехами полосует выработку. Утром Гнам, проходя мимо Огневой, зло пожевал толстый мундштук папиросы и что-то пробурчал по-немецки. К вечеру третьего дня Нюрке захотелось бросить работу, истоптать ногами свою готовую пряжу. Лицо ее побледнело, до тошноты — быстро заколотилось сердце. «Оно и видать, кто к чему с малолетства приучен», вспомнила она. Комната, Малыш, коммуна — весь ее мир вдруг покачнулся, потерял краски. Разве не глупа она была, когда ринулась за кроватью, за полосатым пружинным матрацем к этим чортовым станкам и каторжной работе!

Прорехи из-под игл уродливо ползут по полотну.

Нюрка разом выключила мотор.

— Изводишься, Девка? — не то зло, не то участливо сказал кто-то.

Нюрка оглянулась. Около нее стояла вольнонаемная Ганя Митина. Нюрка вытерла со лба выступивший пот и тяжело вздохнула.

— Ладно, садись на мою шею, я баба покладистая.

И Ганя стала толково объяснять Нюрке, как заправлять в иглу оборванную нитку, как во-время предупреждать возможность брака.

— Ты у меня спрашивай, а не у мастера, — посоветовала она. — Мастер сегодня Гнаму на тебя плел, а Гнам, известно, чуть не Богословскому. Дескать, производственный план с меня требуете. Ну и пошло… Михалев заступался: «Дайте, говорит, девке освоиться».

Когда станок был заправлен и полотно пряжи пошло ровно, Нюрка неловко пожала локоть Митиной:

— Спасибо, Ганя.

На другой день работа пошла уверенней. Станок стал покоряться ее рукам, но Малыш все реже и реже видел Нюрку. Она начала пропадать на фабрике по две смены, еле урывая время на отдых.

Особо ненавидевшая отчего-то Нюрку вольнонаемная Мария Григорьева косила на нее злые глаза.

— Шипи, шипи, жаба, — усмехалась Нюрка. — Я из тебя душу вышибу.

Теперь, проходя мимо нее, Гнам все одобрительнее покачивал головой. Эта скупая похвала радовала ее. Она стала свободнее ходить по цеху, иногда даже подпевала хриплым голосом шуму моторов.

К концу месяца она действительно «вышибла душу»

Григорьевой. Вышло это неожиданно для нее самой. В день получки, когда подсчитали месячную выработку, оказалось, что вместо нормы 230 пуловеров она сделала 340.

— Жульничество! — закричала Мария Григорьева. — Я двадцать лет за станком стою, а больше двухсот не делала.

Нюрка знала, что у вольнонаемных — это были почти сплошь бывшие кустари — существовал сговор: боясь снижения расценок, они старались больше установленной нормы не вырабатывать.

— Сжульничай на следующий месяц и ты, — сказала Нюрка. — А я еще больше сжульничаю.

Заработок она оставила коммуне в счет погашения долга.

На другой день после знаменательной получки Огневой в цеху поругались Ганя Митина и Мария Григорьева. Началось это с пустяков.

К началу работы смены, когда некоторые моторы уже были пущены, вошла Мария Григорьева. После вчерашней обиды вошла она неестественно бойко. Она прошла мимо Нюрки, не взглянув на нее, подобрав тонкие малокровные губы. Нюркин мотор уже полчаса был на полном ходу. Ганя в это утро тоже пришла раньше обычного. Подойдя к ней, Григорьева нарочито громко сказала:

— Хороша! На чью руку играть стала?

Ганя промолчала. Молчание еще больше распалило Григорьеву:

— У тебя, видно, одна с ней лейка!

— Замолчи, Марья!

— Мне молчать нечего. У меня перед людьми совесть чиста.

Со стороны кто-то поддакнул:

— Сами себе на шею ярмо надеваете. Как работали, так в будем работать.

Ганя не выдержала:

— Я из Лосиноостровской сюда ежедневно езжу, а вы боитесь на минуту раньше притти да норовите машину в грязи другой смене подсунуть.

— Такую, как ты, работницу только здесь и держат.

— Эх, Марья! — горько вздохнула Ганя. — Не один год вместе работали.

— Потому и говорю.

«Бабья ссора долга», подумала Нюрка и была довольна, что причина ссоры — она. И когда в разгоревшихся спорах она слышала голоса, поддерживающие Ганю, довольство переходило в гордость. Она заметила, что ее имя ни разу не было произнесено и только Григорьева в запальчивости раз крикнула Гане:

— Вот твоя подружка, учила ее, теперь она тебя учить будет!

Нюрка усмехнулась. Капризная моторная машина давно

покорилась ей, работала ровно, без перебоев. Теперь к концу дня она не только не чувствовала прежней усталости, но даже во время работы находила минуты для отдыха. Выработка прошлого месяца давалась без усилий.

А Григорьева с каждым днем становилась все злей. Ее колкие, брошенные вскользь замечания раздражали Нюрку, ей все время приходилось быть настороже.

«Чем бы ее допечь, ведьму белобрысую? — думала о Григорьевой Нюрка. — А что если попробовать — одной вместо двух? Не выйдет, девка, осрамишься», думала она, но соблазн был слишком велик.

На другой день, прежде чем итти на фабрику, Огнева забежала к дяде Сереже. Вышла она от него заметно взволнованной. На фабрике встретила Гнама, он улыбнулся, кивнув головой. Нюрка остановилась, хотела было подойти к нему, но, подумав, пошла дальше.

Григорьева была рада минутному опозданию Нюрки.

— Начинается! — сказала она Гане. — Побаловались в хватит.

До обеденного перерыва Нюрка чаще обычного, словно примеривая и прикидывая что-то, посматривала на Григорьеву и на ее машину. На несколько минут повертывалась к своему мотору спиной, проверяя на слух его работу. От Григорьевой не ускользнуло странное поведение Нюрки.

— Весна пришла! — усмехнулась она.

За четверть часа до перерыва Нюрка бросила работу и пошла в швейный цех к Михалеву:

— Вот что, секретарь, с завтрашнего дня я хочу встать одна на двух моторах. Ты проверни этот вопрос сегодня же на производственном совещании.

Михалев пытался было что-то возразить, но Нюрка круто оборвала:

— Не спорь, секретарь! И Психом меня не пугай. — Нюрка засмеялась. — Скажу мужу — он об твою голову скрипку расшибет… Завтра на двух моторах работаю, слышишь? — повторила она настойчиво.

Через месяц производственное совещание постановило: «Опираясь на прекрасные результаты работы Огневой на двух моторах, переключить на такое обслуживание все смены».

Вольнонаемный мастер Никифоров ушел из трикотажной.

IV

Коммуна праздновала открытие новой трикотажной фабрики. Директор сказал длинную речь о том, как нужно работать и обращаться с машинами. Говорили ребята с других фабрик и мастерских, желали трикотажникам успеха и «поменьше браку». Шигареву величали лучшей работницей, ставили в пример другим. Она сидела на сцене, в президиуме, слушала и, когда последний оратор кончил, попросила слова.

— Не надо! — закричали с мест. — Сидя говори!

Все знали, что она еще не вполне окрепла после несчастья.

Но Маша встала. Посмотрела в зал — на лица ребят, забыла красивую, заранее придуманную речь и растерянно молчала. И вдруг поняла: нет таких слов, которыми можно было бы выразить ее любовь к своей коммуне. Когда и как она полюбила ее? Вон в первом ряду сидит Гнам, приветливо улыбается. Вот Михалев, секретарь, что-то шепчет, должно быть, хочет помочь, подсказать ей.

Она подошла к рампе и неожиданно для себя крикнула:

— Ребята, хорошо жить!..

Дальше она не знала, что сказать. Веселые, смеющиеся лица ребят плыли ей навстречу. Ребята повскакали с мест, забрались на сцену, подняли Машу и на руках понесли ее из зала.

Полное выздоровление Маши шло медленно. Но она уже не могла быть без дела. Она стала учиться играть на гуслях. Это было нелегко, но как увлекательно! Скоро она недурно овладела инструментом.

И потом, когда она опять начала работать на трикотажной, она уже не бросила музыки. Музыка сделалась еще одной ее радостью.

Как-то к «струнникам» заглянул Каминский. В классе кто-то наигрывал грустную мелодию. Каминский всегда любил песню, любил музыку. Он открыл дверь. Играла Шигарева.

«Как она изменилась», подумал Каминский.

Когда-то Шигарева, придя впервые в коммуну, обратила внимание на Каминского, пыталась заигрывать с ним. Но тогда ему было только жаль ее. Он подошел ближе. Да, это была уже не прежняя разнузданная, неопрятная девчонка. Строгая девушка в чистой зеленой юнгштурмовке, немного бледная, немного печальная, с упрямыми голубыми глазами умело перебирала струны.

— Ты хорошо играешь, Маша! — искренно похвалил Эмиль.

Она положила руку на струны:

— Эмиль, мой брат опять сидит. Как думаешь, возьмут его в коммуну?

— Ты очень хорошо играешь! — не отвечая на ее вопрос,

повторил Каминский.

— Я спрашиваю, возьмут или нет? — нахмурилась Маша.

Каминский махнул рукой:

— Ну что ты спрашиваешь? Как думаешь, с кем коммуне легче справиться — с братом или сестрой?

Маша засмеялась:

— А я ему вот что написала, читай!

Каминский быстро прочитал письмо.

«Тюрьма загонит тебя в гроб! — писала Маша. — Приезжай, возьму в помощники. Пока годы молодые — работай! А погулять, конечно, погуляем. Ох, как погуляем!»

— А, может, мы сегодня погуляем? — отдавая ей письмо, спросил Каминский.

— Можно! — просто ответила Маша и вдруг покраснела, опустила глаза:

— Только знаешь… прошлое не вспоминать.

— Да я знаю, Маша, — серьезно сказал Каминский. Он протянул ей руку:

— Ну, давай лапу. Вечером в парке буду ждать. Придешь?

— Хорошо, — сказала Маша.

Осенью дядя Сережа переселил Огневу и Малыша в комнату, смежную со своей. Но это не было решением вопроса. Вслед за Нюрой и Малышом готовились к совместной жизни Каминский и Шигарева. А сколько пар будет завтра?

Приходилось серьезно поработать над вопросом о жилье для женатых.

Медвежатник

I

В Болшево Мологин приехал вечером. Было совсем темно, и оттого показалось ему, что коммуна — это просто несколько домишек, сиротливо затерявшихся в лесу.

По дороге Погребинский говорил о коммуне, об ответственности за нее каждого ее члена, о заводах и фабриках, которые уже есть в ней и которые будут. Мологину мерещились огромные многоэтажные здания, площади, залитые электричеством, толпы людей. Теперь, подымаясь вслед за Погребинским по лесенке низенького, похожего на коробочку домика, Мологин усмехнулся.

Они вошли в освещенную комнату. Миловидная женщина в

скромной беленькой блузке несла из кухни горячий чайник. От его крышки шел тонкий прозрачный пар. Старуха нянчила ребенка, она качала его на руках и даже не посмотрела, кто вошел. Ее седые редкие волосы свисали из-под небрежно подвязанного платка. Спокойным уютом почти забытой семейной обстановки пахнуло на Мологина. Поднявшийся навстречу человек в расстегнутой нижней рубашке, в туфлях на босу ногу походил на рабочего, отдыхающего после трудов. Другой — в защитной гимнастерке, с небольшой темной бородкой продолжал сидеть за столом. Он откинулся на спинку стула и широко улыбнулся.

— Мологин, прошу любить да жаловать! — сказал Погребинский.

«Как у них просто», успел подумать Мологин. Ему смутно рисовались встревоженные, по-военному почтительно вытянутые фигуры каких-то бравых людей, руки, вскинутые к козырьку, отрывистые слова, стремительные, как пули. Ничего похожего здесь не было.

Человек в туфлях оказался воспитателем Николаевым; в гимнастерке — заместителем управляющего коммуной Сергеем Петровичем Богословским. О нем Мологин уже слыхал…

Мологин сел на стул между ним и Николаевым. Богословский стал рассказывать о последнем общем собрании и о том, как подвигались дела на коньковом заводе. Жена Николаева разливала чай. Мологин облокотился было на стол, но тотчас же принял руку. Ему хотелось спросить, какую обувь производит коммуна, но потом он подумал, что, может быть, с его стороны это покажется слишком развязным, и не спросил. Он мог вести себя как угодно и потому решительно не знал, как же ему надо вести себя. Он неуверенно протянул ложечку и зачерпнул из блюдца варенья. В прихожей кто-то стукнул дверью, послышались шарканье ног и голоса. Варенье капнуло с ложечки на край клеенки и медленно поползло вниз. «Коммунары», догадался Мологин. Неизбежная встреча с людьми, знавшими Мологина в прошлом, представлялась до этого чем-то самым маловажным и несущественным из того, что столь стремительно совершалось с ним. Теперь ему вдруг показалось, что оттого, как произойдет эта встреча, зависит безгранично много — может быть, все.

Вновь пришедших было пять человек. Двух из них — Новикова и Каминского — Мологин узнал, и оттого, что эти двое были молоды, были из тех, с кем обычно Мологин избегал вступать в дело, его замешательство стало еще сильней.

— И ты к нам, Алеха! Хорошо! Это очень, я скажу, хорошо! — приветствовал его Новиков излишне шумно.

По тому, как протягивал он руку, как извивалась улыбка на его лице с перешибленной переносицей и бегали добродушные обеспокоенные глаза, безошибочно понял Мологин, что Новиков смущен и взволнован и что ему лестно в присутствии других болшевцев показать, как он короток и близок с Мологиным. В прежнее время такой близости не было и не могло быть.

Тогда Мологин встал, подумал и небывало смиренно в пояс поклонился ему. Длинные рыжие волосы Мологина, зачесанные на лысину, упали на лоб.

— Здравствуй, Вася, — кротко сказал он.

Погребинский поглядел на них с ядовитым смешком.

— Подстричься надо, Мологин, — произнес Каминский глуховато, почти по слогам, и нельзя было понять, говорит ли он всерьез или шутит. — Подстригись обязательно. Тебя, кто не знает, за попа примет. У нас в коммуне попов не любят, — прибавил он.

Мологин смолчал.

Ночью он лежал на узкой койке, смотрел в окно, заслоненное темными силуэтами деревьев, прислушивался к сонному дыханию соседей. Улыбка женщины с чайником, ее мягкая, плавная походка, старушка, уложившая ребенка и улегшаяся сама, варенье, предательски соскользнувшее с ложечки, — все мелочи пережитого вечера припоминались теперь. Они были полны особенного значения. Вот и коммуна. Может быть, это сон. Может быть, это только мерещится взбудораженному воображению. Как-то сложится жизнь!

Он думал о коммунарах, о Новикове, о его неловкой развязности, и думать об этом было приятно ему. Он будет упорно работать. Он будет выполнять все, что скажут ему. Может быть, и на самом деле есть еще что-нибудь в жизни и для него…

Несмотря на поздний час актив коммуны собрался на квартире у Богословского. Погребинский говорил активистам о значении прихода Мологина, о тяжелом ударе шалману и разложении его.

Он знал о спорах, которые велись среди болшевцев о Мологине, какие сомнения, а у иных и надежды вызвал его приход. И за пределами коммуны многим казалось, что опыт этот не нужен, потому что люди вроде Мологина неисправимы, а риск слишком велик. От ясности линии, от единодушия активистов зависел исход всего.

— Иные толкуют: поймала коммуна медведя, — говорил Погребинский. — Медведь наломает в ней дров и уйдет в лес. Что ж, блат еще будет бороться, будет существовать… Такая возможность есть.

Погребинский оглядывал ребят. Лица всех были спокойны, движения отчетливы и просты.

— Мы сами из него дров наломаем! — крикнул Дима Смирнов.

— Такая возможность есть, — повторил Погребинский. — Есть такая опасность, что Мологин будет шататься. Ему нелегко перестроиться, ему не шестнадцать лет, как Диме Смирнову… А в коммуне немало найдется таких, что поплетутся за ним. Что, не правда? Нету таких? Глупо было бы придираться к Мологину по мелочам, — продолжал он. — Наоборот. Но как только заметили — начал «вести политику», подбирать «сочувственников», — тут прямо в лоб, беспощадно! Две обедни зараз, мол, никому не позволим служить! Сумеете показать себя коммунарами — важнейшее дело сделаем! Не сумеете — значит, были жуликами и остались жуликами, и такая вам цена.

Мологин не знал, что в тот час, может быть, больше, чем в какой-либо другой, решался вопрос о том, как сложится его жизнь. Он не догадывался о возбуждении, вызванном его приходом, не слыхал споров, которые велись о нем. Он лежал на узкой койке, думал, бессонно глядя в окно.

II

Алексей Мологин — молодой вор, работающий по «городовой», т. е. по магазинам, — отсиживал последние месяцы своего срока.

В 1906–1907 годах камеры наполнились необыкновенными заключенными: рабочими, студентами, какими-то неопределенными людьми, которые умели обращаться с револьвером, а походили на скромных учителей. Одно время их стало так много, что думалось — господству уголовных в тюрьме пришел конец. Необычайные эти преступники рассказывали, что рабочие бастуют, а крестьяне жгут помещичьи имения, что на улицах столицы были баррикады, шли бои, что царизм сгнил, расшатан и скоро падет.

Мологин, назначенный тогда уборщиком в коридоре политических, прислушивался к этим разговорам с чувством безотчетной радости и смутной тревоги. Но слишком неодинаковы были и сами политические и их противоречивые слова.

Как-то с ним заговорил высокий, бодрый и благообразный старик в очках. Мологин узнал потом, что это Муромцев, председатель Государственной думы. Он что-то натворил

неподходящее, написал какое-то воззвание или не распустил вовремя думу и вот за эти свои дела попал в тюрьму. Старик объяснил Мологину, что Россия — отсталая страна, что в ней не развита собственность, царит средневековье, и те, кто борется с этим и попадает, как он, в тюрьмы, — хорошие люди и таких людей нужно любить и уважать.

Старик говорил наставительно и чем-то походил на попа, знакомого Мологину по церкви Рукавишникова приюта. Мологину стало смешно и захотелось созорничать. Однако он сдержался.

— Хороши-то хороши, да, видно, не больно, — миролюбиво заметил он. — Честь вам с нами, пожалуй что, одна и та же.

Старикашка рассердился, покраснел, надул щеки, небольшая квадратная его бородка обиженно затряслась. Он важно заговорил о том, что преступниками люди родятся, преступность передается по наследству от родителей, а в заключение добавил, что, может быть, это и не совсем так. «Молодой человек» мог бы, если б захотел, еще исправиться и приучиться к честной жизни.

— Значит, все горе от плохих родителей? — дурашливо переспросил Мологин, чувствуя некоторую обиду. — Папаша! — нагловато и фамильярно воскликнул он. — Ты, я вижу, острый? Такой горячий старичок! Ну ничего, поживешь — затупишься.

Он молодцевато пошел по коридору — юный, развязный.

Тюрьма была тем местом, где Мологин чувствовал себя дома. Его не смущала уже грязь осклизлых, плесневелых тюремных стен, не смущали хорошо откормленные клопы, привычны были ругань и побои надзирателей и поседевших в тюрьмах паханов. Да и по мере того, как определялось в блатном мире его положение смелого, удачливого городушника, многие тяготы тюрьмы, превращающие жизнь начинающего сявки в пытку, отступали от Мологина. Постепенно он стал приобретать те преимущества, которые давала тюрьма матерому рецидивисту,

Здесь, в тюрьме, Мологин познавал тонкости своего дела, завязывал нужные связи, здесь же научился думать и читать.

Последнее произошло почти нечаянно. Мологин не окончил и двух классов городского училища. Он ненавидел всяческие книги и науки. Чтение до сих пор казалось ему делом праздным, достойным больных и глупцов. Попавшаяся книжка была без переплета, без многих страниц, ее поля были испещрены уродливыми похабными рисунками. Мологин перелистал ее, потом заинтересовался. Потом, чувствуя, как приступает жалость к простецкому припадочному парню, «бедному рыцарю», который знал, что «и в тюрьме огромная жизнь», прочел книгу, не отрываясь, до конца. Значит, не так уж глупы те, кто проводит

время над книгами! Книги, оказывается, как бы продолжают жизнь, договаривают, показывают ее содержательнее, умней. Мологин стал читать запоем. Он добывал книги и в тюрьме и на воле. Иногда он просто крал их, иногда надзиратели доставляли ему книги за взятки. Утром выносил «парашу» и думал о прочитанном, шел помогать в тюремной лавке и, отпуская соль и квас, шептал про себя:

…не так ли
Мы смолоду влюбляемся и алчем
Утех любви, но только утолим
Сердечный глад мгновенным обладаньем,
Уж охладев — скучаем и томимся…

От беседы с Муромцевым у Мологина осталось к этому обидчивому старику чувство, схожее с симпатией. В.конце концов старик кое-что правильно говорил о жизни. Эсеры тоже понравились Мологину. Понравилась их бесшабашность, экспроприации, речи о земле, но отталкивала их готовность к «мокрым делам» и еще что-то неясное, но тоже неприятное.

Самыми непонятными людьми были называвшие себя социал-демократами. Они были разумнее эсеров. Одни из них назывались большевиками, другие — меньшевиками. Большевики держали себя так, точно не они за что-то наказаны, а, наоборот, те, кто посадил их, сами виноваты в чем-то перед ними. Эсдеки были как будто против эсеровского террора; но это нисколько не мешало большевикам радоваться, когда рабочие выступали на борьбу с правительством. Меньшевики говорили, что революция расчистит дорогу капиталу, и это очень походило на то, чего хотелось Муромцеву. Однако ничто не мешало большевикам утверждать, что революция уничтожит капитализм.

Надзиратели ненавидели эсдеков-большевиков больше всех других. Случалось, надзиратели избивали их. Одному ключами проломили голову. Об этом не должен был знать никто, однако было известно всей тюрьме. Ненависть надзирателей к эсдекам походила на боязнь. Этого Мологин не мог понять.

Он достал у политического книжку «Женщина и социализм» Бебеля и прочел ее. Кое-что понял. Получалось неправдоподобно и удивительно. Он окончательно запутывался. Тревога его возросла.

— Да… Власть рабочим! — подтвердил политический, когда Мологин возвратил ему пронесенную в ведре книжку.

Он был сутул, широкоплеч, не очень молод и говорил ворчливо, словно ему Мологин сразу надоел.

— Частную собственность и классы — к чортовой матери… Ко всем чертям! Понятно? Все будут работать.

Он замолчал, не обращая больше внимания на Мологина. Тот постоял немного, потом поднял ведро. Нужно было уходить.

— Труд станет человеку наслаждением… Слышите? — сказал политический вслед Мологину.

Мологин полуобернулся. Выражение лица его собеседника стало другим. Казалось, он не разговаривает, а размышляет вслух.

— Труд сделается главным наслаждением… Все, что мешает этому, исчезнет. Слышите? Тогда каждый увидит, как была изуродована жизнь.

— Что?.. — изумленно переспросил Мологин.

В словах, в повадке политического, в том, что он, такой большой, добродушный, похожий на медведя, верит в невероятные фантазии и даже сидит за них в тюрьме, будто и в самом деле нивесть какой преступник, — во всем этом было что-то непримиримое со здравым смыслом. Мологин растерялся.

— Как же… И воровать никто не будет? — стараясь сохранить развязность, поинтересовался он.

— А как полагаете? — усмехнулся политический.

«Туфта, — подумал Мологин, ожесточенно фыркнув. — Этого никогда не было и не может быть!..»

Однако беспокойство его сделалось сильней. Он вспомнил, как мировой Алексеевского участка отправил его в Рукавишниковский воспитательный. Мологин попался на краже в квартире. Он хорошо помнит: взял два больших свертка ваты в синей бумаге, пиджак и ботинки. Привели его ночью, снег скрипел под ногами, била дрожь, полицейский толкал в спину. В Рукавишниковском пробыл он два месяца. Он спал на голых досках, без матраца, раза два его избивали смоченными в воде, свернутыми в жгуты полотенцами. Как-то после обеда парень с ножом при нем набросился в вестибюле на директора приюта Ниандера. Ниандер — высокий, хладнокровный финн — успел схватить его за руку, и нож выпал. Дядька Петр Алексеевич, тот самый, который собственноручно «уважил» Мологина жгутом, сшиб парня на пол и принялся месить его ногами в тяжелых, блещущих ваксой сапогах. Пария уволокли замертво. У Мологина дрожали губы и колени, но ему казалось, что он закостенел и никогда не будет способен сделать ни одного движения.

— Это что! — шептал, храбрясь, ему в ухо Нилка из Сокольнического воспитательного. — В прошлом году дядьки насмерть Штыфту укоцали. А это что!

«Все будут работать». В Рукавишниковском все должны были

работать. Каждый день после звонка ребята расходились по мастерским: одни — делать табуретки, другие — переплетать книги, третьи — тачать сапоги. И каждый день после звонка все получали по тарелке смердящих щей и жидкой каши. Покориться, изо дня в день делать табуретки или переплетать книги в сыром подвале какого-нибудь кустаря и за это иметь возможность не умереть с голоду раньше, чем будет сделано столько переплетов и табуреток, сколько в состоянии их вместить человеческая жизнь. И как же ненавидели рукавишниковские ребята свою работу!

Мологин был дерзок с надзирателями, а Петр Алексеевич травил и преследовал его. Он наказывал Мологина тем, что заставлял мыть коридор. Широкий, грязный, он был бесконечен. Мологин переползал с половицы на половицу — вихрастый, рыжий, злой, разбрызгивал грязную воду, шептал ругательства. От этой работы болели спина и ноги. Боль проходила, а ненависть осталась на всю жизнь.

Но и у Рукавишникова сильные и ловкие захватывали лучшие порции, ухитрялись меньше и легче работать, процветало воровство.

«Все будут работать — и господа».

…Мологин решил, что ему нужно во всем разобраться самому.

Непонятные слова политического не изглаживались из памяти. Он стал читать такие книжки, которые прежде не интересовали бы его. Читать их было трудно, куда труднее, чем романы. Упрямо, в течение ряда дней вчитывался он, шепча непривычные слова, вникал в смысл строгих страниц «Этики» Спинозы. Из какого-то профессорского труда, сухого и непривлекательного, как вобла, Мологин узнал, что Муромцев не одинок и что он не просто наврал со зла. Многие ученые утверждали, что преступниками люди становятся по рождению. От ярости у Мологина разлилась желчь.

«Ecce homo»[1] Ницше после этой профессорской стряпни была как стакан крепкого вина человеку, которого долго и настойчиво держали на одной овсянке. Мологин ходил, точно хмельной. Он бредил Заратустрой, он во сне видел нарядные мысли Ницше. Да, нравственность, всякая нравственность — злейшая ложь, искажение естества людей. Мологин всегда подозревал это. Все — ложь! Бог, нравственность, душа, грех, закон — теории ученых профессоров — все ложь и выдумка для того, чтобы обесценить единственно сущий реальный мир, чтобы заглушить эгоистические, здоровые инстинкты. Хитрая выдумка, расслабляющая людей. Наконец-то Мологин понял это, наконец-то все загадки открылись ему.

«Как же долго я жил, ничего не понимая! — думал Мологин. — Как долго оставался в сущности ребенком! Никто, никто в мире не хочет и не может хотеть работать. Рабочие бунтуют и устраивают забастовки, чтобы меньше работать, а получать больше. Они работают потому, что ничего другого не могут или не умеют делать. Этот малоразговорчивый эсдек просто заблуждался. Труд бессмыслен, он нужен кому угодно, только не тому, кто трудится. Никто не хочет работать, все хотят жить, все хотят любить красивых женщин, хорошо есть и форсисто одеваться, ходить в театр и кино. Но не все могут жить, а только сильные, кто не считается ни с чем и ни с кем. В их кабинетах шкафы, набитые ценностями, в их гостиных красивые холеные женщины, увешанные дорогими безделушками, для них в магазинах вина, шелковые материи и меха. А Мологин должен безропотно трудиться. Нет, дудки! Мологин тоже знает цену фартовой девочки и знает вкус вина. Человек живет только для себя и, чем более силен, тем более прав. Человек и люди — это враги. Никому нет дела до других. Вот как!..»

С этой поры Мологин стал считать, что он борется против социальной несправедливости, угнетающей его.

С годами он определился окончательно как крупный, ловкий и умелый вор. Теперь он «брал» только магазины и несгораемые шкафы. Мологин стал «медвежатником», гордостью шалманов и малин. Самые видные, знаменитые воры, паханы считали за честь «работать» с Мологиным. Выпущенные из тюрьмы приходили к нему лично в контору, просили «работы», и он давал ее им.

Агенты сыскной полиции, узнавая Мологина на улице, уважительно оглядывали его ловкую, квадратную спину, не трогали без «дела», не беспокоили по пустякам. Жизнь и смерть вора, изменившего своим, поступившего в полицию, нередко зависели от одного движения рыжих бровей Мологина. В сложных случаях «счетов» между своими, когда умнейшие паханы приходили в тупик, мнение Мологина решало вопрос. В шалмане, в мире неписанного железного устава, слово Мологина имело полную цену. Покорный Мологину мир этот был крепок, уверен и несокрушим.

Мологин любил свою «работу», ему нравился ее холодный азарт. Он не жалел времени на подготовку. Неделями он сам и его помощники держали под наблюдением одновременно несколько магазинов, складов и касс. Постепенно уточнялось, устанавливалось все, что нужно было знать: часы прихода служащих, часы их ухода. Толщина стен и расположение уборных. Характер дворника и слабости швейцара. Возможный вход и возможный выход. Было приятно чувствовать, как мало-помалу

увязываются все эти противоречивые, пестрые сведения в стройную цепь, и наступал момент, когда с поражающей дерзостью, быстротой и силой, как освобожденная пружина, развертывались последние решительные действия, и Мологин «брал» деньги, золото, бриллианты на многие тысячи рублей. Завистливый шопот всех, кто знал о Мологине, сопровождал этот заключительный удар.

— Ну и везет! Подумать — охрана, люди! Удача, бешеная тебе удача! — подобострастно говорил Мологину толстый с отечным лицом барышник Бычок-Зубарь, с которым по укоренившейся привычке устраивал Мологин свои дела.

Мологин сдержанно улыбался, не опровергая этих лестных для него разговоров. Но он-то знал: только расчет — трезвый, все учитывающий расчет.

Не всегда задуманные дела оканчивались так, как нужно. Но зачем об этом рассказывать другим? Один раз «брали» шкаф в какой-то конторе на Бассейной. Контора находилась на втором этаже. Внизу играл рояль, слышались голоса, шарканье вальсирующих ног — там происходил бал. Шкаф попался трудный. Такие шкафы Мологин «работал» обычно автогеном. Но он плохо знал эту контору, всецело положившись на Мишку Бабкина. Мишка вышел из тюрьмы и уговорил Мологина помочь в деле, проверенном и легком. Мологин боялся, что они не успеют открыть этот шкаф холодным инструментом. Он отчаянно работал, навалившись животом и грудью на плечико сверла.

Едкая пыль от противопожарного порошка, засыпанного между двойными стенками шкафа, вздымалась под сверлом, набивалась в ноздри, мешала дышать.

— Шухер, — шепнул Мишка, бросаясь к отворенному окну, и обронил с грохотом клещи.

— Тс-с, — тихо остановил Мологин.

Мишка застыл возле окна. Рояль не играл. Шаги, мужские — широкие и женские — торопливые и мелкие, оборвались возле конторских дверей.

— Все в порядке! Просто послышалось, никого нет, — сказал за дверью добротный мужской баритон.

Женщина ответила что-то, Мологин не разобрал. Было слышно, как они вновь шли по коридору, стук открываемой двери, отдаляющийся шум на лестнице.

— Идем, — трусливо зашептал Мишка. — Шухер! Все равно погорим, — и он торопливо начал собирать инструменты.

— Не трогай, дурак! — спокойно сказал Мологин.

Он не двигался, прислушиваясь к чему-то.

Опять заиграл рояль, опять глухо зашаркали, скользя по

паркету, ботинки и туфли, загрохотали в мазурке офицерские лихие сапоги.

Мологин и Мишка вскрыли шкаф, но он был пуст.

Убедиться в своей находчивости, выдержке, уменье выбираться из неожиданно трудных положений было, быть может, самым ценным для Мологина в том, что он делал. Уже во время войны с Германией как-то утром Мологин вез по глухим окраинным улицам погруженный в сани только что «взятый» на Арбате тяжелый стальной шкаф. Его нужно было забросить в пустую дачу и там открыть. Везли двое — Мологин и еще один парень, оба в офицерской форме. Сани тащила плохонькая лошадь. На повороте шкаф нелепо качнулся и сполз в снег. Из-за угла вышли солдаты. Они шли без офицера, вольно, смеялись и разговаривали между собой. Поравнявшись, они браво козырнули Мологину.

— Какого полка? — надменно спросил Мологин.

— Сто одиннадцатого пехотного, — ответил солдат, вытягиваясь.

— Поднять шкаф. Живо! — властно приказал Мологин.

Солдаты дружно подняли свалившийся шкаф и уложили его в сани, шуршащие соломой.

— Молодцы, — одобрил Мологин, — можете итти.

В тюрьме Мологин проводил годы, на воле — месяцы, иногда дни. Долгое вынужденное лишение всего, нервное напряжение, испытываемое на «работе», требовало разрядки. Мологин кутил.

Это не должно было походить на повседневное нищенское ерничество, тихий и жалкий развратец, которым жили все эти карманники, форточники, домушники — человеческая мелкота. С снисходительным презрением смотрел Мологин на их зеленые, с мертвыми глазами, истощенные пьянством и кокаином лица. Эти людишки — их всегда и всюду много: слабых, завистливых, ничтожных — никогда не смогут, им просто не дано подняться до тех чувств и переживаний, которые носит в себе Мологин. Между ним и этими людьми — непроходимая пропасть. Он нанимал извозчика или даже машину, ехал в Большой, слушал «Псковитянку», «Пиковую даму», смотрел балет. Он сидел где-нибудь во втором или третьем ряду партера, важно, немного скучающе поглядывал на сцену.

Манерами, внешним обликом он напоминал молодого, оставленного при университете, уверенного в себе ученого.

Но странное дело: он не мог жить без людей, которых презирал, его тянуло к ним. В чинных, богатых первоклассных ресторанах, наполненных незнакомыми «фрайерами», было скучно и одиноко. Чувствовать одобрение, зависть, восторг,

удивление шалмана было потребностью. Получалось так, точно все, что ни делал Мологин, он делал для шалмана, для этих людей. Мологин перебирался из вертепа в вертеп, пил, не пьянея, точно воду, коньяк, шипучку, играл в штосе, швырял тысячи шальных несчитанных рублей. Любая женщина шалмана была покорна ему. Моментами казалось Мологину, что и впрямь он достиг самой высокой вершины жизни, что жизнь отдала ему все богатства свои. Нет ничего, чего бы не мог он испытать и не испытал. Он вскакивал бледный, растрепанный, с зеленовато мерцающими трезвыми глазами под выпуклым лбом, расшвыривал пьяную, ошеломленную шпану, сшибал с ног взволнованного «хазовщика», ломал мебель, крушил стекло. Иногда вслед за этим прямо из шалмана попадал в тюрьму. Иногда просыпался тут же, в шалмане, на полу среди осколков, объедков, растерзанный, полубольной, с отвращением, с тоскливой ненавистью к окружающим и себе.

И все чаще и чаще овладевало им чувство опустошенности, равнодушия, словно кто-то пообещал ему хорошее и обманул. Так ли уж отлично все то, что наполняло его жизнь? Тюрьма, кража, шалман, беспокойное, никогда не покидающее ощущение затравленности, погони. Опять тюрьма, опять кражи и как награда, как высокая цель и приз — оголтелый пьяный разврат. Не слишком ли ничтожна, одуряюще однообразна и безрадостна эта цель и награда? Да и награда ли это? А что есть лучшее? Где это лучшее, чего другого можно хотеть? Чепуха, нервы! Нужно взять себя в руки.

Мологин — умный, трезвый, уравновешенный — наблюдал за другим Мологиным — безрассудным, по-ребячьи чувствительным, и умному было смешно. «Это — корь, — думал умный. — Это — корь, которой нужно переболеть». Или в самом деле жениться на розовощекой дуре, обзавестись перинами, подушками, горшками, наплодить ребят? Поступить работать на какого-нибудь Ивана Ивановича или самому открыть мастерскую, униженно кланяться заказчикам, выносить их капризы, жульнические придирки, самодовольные попреки. Умный Мологин брезгливо морщится, отгоняя унизительные эти образы. А глупый — подглядывал, как мальчишка, в освещенное, незанавешенное окно какого-то домика на Якиманке, часами следил за молодой незнакомой женщиной с крутыми разбегающимися бровями, одетой в просторное, не стесняющее тело кимоно. Женщина зажигала спиртовку, грела молоко, поила им маленькую девочку, должно быть, свою дочь, раздевала ее спокойными движениями голых до плеча рук, укладывала спать. Потом садилась на диван, открывала книгу. Вероятно, скоро придет ее муж. Глупый Мологин с досадой кусал

губы.

Нерастраченную нежность отдал Мологин Дусе-Газетчице с Масловки. У Дуси было смазливое, умело подкрашенное лицо с добродушными голубыми глазами, кокетливые кудряшки, жеманные ухватки девицы с Тверской, «работающей под барышню». Мологин читал ей стихотворения Бальмонта и Блока. Сумеречные стихи будили печаль и грусть. Дуся покорно слушала, напряженно сморщив детский лобик. Отуманенными глазами вглядывался Мологин в черты ее лица. Может быть, он нашел свою «незнакомку», свою «золушку», свою «прекрасную даму». Это она мерещилась ему в полуснах. Это ее он ждал, искал всю жизнь.

— Рыженький, — выслушав стихи, томно говорила Дуся низким, сиплым альтом. — Рыженький, красивенький. Поедем куда-нибудь. Выпить хочу.

III

Февральская революция выпустила Мологина из тюрьмы.

Мологин бродил по улицам, нацепив на грудь, как и все, красную ленту, пел песни, даже помог где-то ловить запрятавшихся городовых, и изумление его перед тем, что происходит, все возрастало. Он вдруг почувствовал, что Россия — это народ: солдаты, рабочие, их жены, стоящие в очередях, их дети, бегающие по улицам. Он почувствовал движение огромной силы, о существовании которой не подозревал. И, может быть, этим и только этим следует объяснить, что, когда стал формироваться полк имени 1 марта «для защиты завоеваний революции», Мологин поторопился записаться добровольцем вместе с несколькими своими товарищами.

Но скоро рассудительность и трезвость возвратились к нему. Теперь он стал замечать другое. Он видел, что народу в сущности только и разрешалось, что ходить по улицам. В бесчисленных комитетах, в правительстве, всюду, где власть, где «блага жизни», сидели люди, совсем не похожие на тех, которые толпились на улицах. Адвокаты, промышленники, земгусары — молодые и старые — все они кричали о «завоеваниях революции», о «порядке», о «войне до победного конца». Они были хозяевами. И самое главное, что увидел Мологин и что наполнило его мстительным, злорадным торжеством, — это небывалый размах всяческого жульничества. Крали все. Крали члены продовольственных комитетов и железнодорожные агенты, лысые, солидные чиновники из разных министерств, их пестро разодетые, крашеные содержанки, члены городской управы, лидеры правительственных партий и мелкие армейские снабженцы. Крали вагонами, цистернами, целыми складами, крали муку, кожу, солдатские сукна, медицинские приборы, химические удобрения, ночные эмалированные горшки. «Наследственность от плохих родителей», издевательски вспоминал Мологин. Было бы недурно встретиться где-нибудь с этим Муромцевым — Мологин не знал, что Муромцев умер, — встретиться, продолжить начатый в тюрьме разговор.

Было ясно, что смущение, испытанное Мологиным в первые недели революции, только «игра ума». Походят, покричат, потом утихнут в умелых, опытных руках.

Затея с полком имени 1 марта казалась ребяческой, смешной.

И когда власть перешла к большевикам, Мологин даже не обеспокоился. Это не могло длиться дольше какого-нибудь

десятка дней. Он посещал уцелевшие рестораны и полупустые кабаре. Вытянутые, растерянные лица, шопотливые, встревоженные разговоры людей, которые еще вчера так властно, с таким глубоким убеждением в своих правах командовали и распоряжались всем, доставляли Мологину невыразимое удовольствие.

Он читал советские газеты, воззвания ко всему миру о социализме, о власти трудящихся, о мире, о земле. Конечно, все это не более как фантазия. И тем не менее необыкновенные желания томили Мологина все эти дни. Хотелось особенной, с головой захватывающей деятельности, и, казалось, найдись такая, Мологин совершил бы чудеса. Годами выработанная осторожность, сознание, что все это кончится не сегодня — завтра, и стихийное, неясное самому острое чувство протеста останавливали его от необдуманных шагов. Во всяком случае большевики — удивительные люди: они сделали то, что было совсем недоступно пониманию Мологина.

Последние рестораны, которые знал, к которым привык Мологин, закрывались один за другим. Магазины и банки стояли опустошенные, с разбитыми стеклами, ободранными вывесками. По утрам нередко попадались партии людей с лопатами, ломами, метлами; они шли, уткнув головы в меховые воротники помятых пальто, разнобойно переступали поджарыми ногами в ботинках с галошами и без галош. Среди них узнал Мологин ювелира Залкинда, у которого когда-то «взял» витрину, меховщика Курдюмова и еще некоторых людей, случайно ему известных. Два-три красноармейца сопровождали их. Буржуазию вели работать. Ускользнувшие от конфискаций и реквизиций фабриканты и купцы бросали свои квартиры, наспех зашивали ценности в подкладки потрепанных ватников, пробирались на восток, на юг, на запад. Нечего было и думать о больших делах.

Мологин носил солдатскую истрепанную шинельку без погон. Оборванный хлястик болтался на уцелевшей пуговице. Он не брезговал теперь никаким «делом», которое подвертывалось ему. На Хитровом, в Ермаковке, в Дорогомилове — всюду, где прежде можно было отвести душу, почувствовать себя хоть не надолго вне досягаемости, теперь стало тоскливо и небезопасно. Не раз Мологину с трудом удавалось укрыться от облавы. Попадавшиеся исчезали надолго, иные навсегда. Почти невозможно было встретить кого-либо из прежних корешей. Он очень обрадовался, наткнувшись на Мишку Бабкина. После неудачного дела на Бассейной, где Мишка проявил столько легкомыслия и глупости, Мологин не «работал» с ним. Теперь все это казалось пустяками. Тронутое оспой отощавшее лица Бабкина было полно уныния.

— Чека, — говорил он с бессильной злобой. — С Угрозой бы еще можно сладить…

Потом они зашли к известному артисту. Мологин звонил в парадном, сердился, что долго никто не открывает. Артист был дома. Он ходил по большой холодной комнате, неслышно ступая ногами в шерстяных носках. Шея его была закутана длинным зеленым шарфом. Жена певца, высокая женщина с надутым, точно рассерженным лицом растапливала железную печурку скомканными листками бумаги. Она методически вырывала их из толстой книги в кожаном переплете с золотыми буквами по корешку.

— Из клуба «1 мая» железнодорожного батальона, — весело отрекомендовался Мологин. — Мы просим выступить у нас в эту субботу. У нас будет концерт.

Артист угрюмо слушал, не выказывая ни малейших признаков интереса.

— Ваш труд будет вознагражден, — многозначительно сказал Мологин. — Мука, жиры и сахар.

— «1 мая»… Это где же находится? — вдруг, оживляясь, спросил артист.

Мологин объяснил со всей любезностью, к которой был способен. Затем поднялся и стал прощаться. Времени прошло вполне достаточно, чтобы Мишка очистил вешалку: Мологин успел при входе отомкнуть ему замок в дверях.

— К Бычку? — деловито спросил Бабкин, когда Мологин присоединился к нему.

— Ну, а куда же, — грубо сказал Мологин.

Квартира перекупщика оказалась пустой. Бычка забрала Чека. Они вышли на улицу, завернули в ближайший переулок.

Бабкин положил узел и поглядел на Мологина, ожидая приказаний.

Мологин угрюмо смотрел на узел под ногами Бабкина, утративший вдруг всякую цену, сделавшийся ненужной, глупой обузой, которую не знаешь, как сбыть. Ненависть душила его. Чека. Небывало хитрые, не знающие снисхождения люди сидели там. Таких людей еще не видел свет. Они знали, умели сделать все, чтобы повредить Мологину. Они закрыли рестораны, перехватали товарищей и вот теперь добрались до барышников, добрались до таких корней, без которых немыслимо существовать. Смертельный, ненавистный враг. Мологин пошатывался от ярости.

— Подбери узел! — исступленно закричал он вдруг. — Подбери узел, сволочь! Голову сверну!

Бабкин оторопело, безмолвно склонился над узлом.

«А что если это никогда не кончится?» с ужасом подумал Мологин.

Все эти лозунги, митинги, ячейки, выборы в совет, о чем писали в газетах, о чем разговаривали на улицах, — все это не «хитрые фокусы», а нечто реальное. «Власть рабочих и крестьян». Ведь об этом говорил эсдек в Таганке. Все невообразимое, что видел он за это время, вспомнилось теперь. Расстрелы офицерья, пайки рабочим, захват заводов, уборка снега публикой в штиблетах. Речи Ленина и рабочие на коммунистическом субботнике, бесплатно разгружающие эшелон. Было непостижимо, как мог он до сих пор видеть все это *и* не задуматься, не приготовиться, не сообразить…

Кое-как, где-то в Сокольниках, почти что даром сплавили они в этот вечер шубы доверчивого артиста.

Но снова загорелись огни кафе и ресторанов. Толпы сытых, развязных, крикливо разодетых людей двигались по тротуарам улиц, наполняли театры, казино, бега. Отремонтированные магазины сверкали подлатанными стеклами и обновленной сусалью вывесок. Покрытые нарядными сетками рысаки мчали рессорные беззвучные коляски. Подержанные форды и бьюики с вонью и треском проносились по Тверской. Днем на Ильинке, па Варварке, на Сухаревой толпами толкались «частники», они продавали и покупали, они наживались и прогорали с азартом, хищностью и безрассудством людей, которым нечего терять. На окраинах дымили закопченные заводские трубы.

Усиливались облавы, разгром притонов, длительные изоляции, и перебрасывался шалман, подобно стае птиц, с одного конца города в другой, но Мологину казалось, что самое грудное для него время все же позади.

Мологин вернулся к специальности. «Не то, совсем не то», думал он, потягивая вино в каком-нибудь подвальчике на Тверской или на Арбате. Слишком далеко заглянул он, слишком много передумал. И воры сделались другие. Какие-то мальчишки, деревенщина, не знающая традиций, не имеющая специальности, готовая с равной неуклюжестью и вытащить в трамвае «кожу», и залезть в форточку, и пустить в ход «пушку» или «перо». Вора стало трудно отличить от хулигана. Какой-нибудь Сабан из Марьиной рощи, только и умеющий, что ломать головы обушком, — теперь ходил в «козырях». Прежних, настоящих остались единицы. Твердый, стойкий мир, барский мир Муромцевых, с которым так неожиданно и так неразрывно оказывалась связанной судьба Мологина, ушел невозвратно п навсегда. Вместе с этим миром исчезли и воры-«баре», воры-аристократы. «Завязаться, что ли», неопределенно, с тоскливым

чувством думал Мологин. И ощущение необходимости что-то предпринять, на что-то решиться все неотступнее преследовало его. Он даже сказал об этом в камере, когда сидел в Бутырках. Будь это не Мологин, а кто-нибудь другой, его, наверное, подняли бы насмех.

— Да неужели вы не видите? — Мологин даже потрясал вытянутыми руками, так велика была его горячность. — Неужели вы не понимаете? Украсть можно, пожалуйста. Но не продать. Кому продашь? Продать нельзя.

Сашка Соловей насмешливо фыркнул и что-то сказал сквозь зубы, чего Мологин не расслышал. Бабкин раскачивался на своей койке, обняв колени и положив на них голову. Он равнодушно негромко гнусавил:

Но, наконец, кричу ура,
Пришла желанная пора —
Свобода, свобода…
И стал работы я искать,
Пока совсем не мог таскать
Я ноги, я ноги…

А тот, которого собственно и хотелось убедить в чем-то Мологину, старик Василий Козел — он был стариком, когда Мологин бегал еще мальчиком, он был опытным вором, когда Мологин не умел еще стащить буханку хлеба с мужицкого воза, — ответил ему с осуждением из-под седых прокуренных усов:

— Умный ты человек, Алексей Александрович, но не тебе бы говорить, не мне бы слушать. Некому продать? Барышшшов тебе мало, что ли? Да продавай, сделай милость! Было бы только — что.

Мологин не ответил и, отвернувшись, укрылся одеялом.

Куда пойти, и где дадут
Вору бездомному приют?
В шалмане, в шалмане…
Шпана смеялась надо мной,
И понял я, что нет иной
Дороги, дороги…

В Бутырках же впервые услышал Мологин о коммуне. Рассказывали, что ГПУ отобрало несколько партий молодых ребят, отправило их в какое-то болото под Москвой, и они там работают, а приезжая в Москву, никуда не заходят и держатся по

большей части так, как будто никогда не были ворами.

— Ну, это дудки, — говорили некоторые. — Просто следят за ними агенты. А если бы вольно, показали бы они!

— Все выкомаривают, все придумывают, — говорил Козел со злостью. — Клубы, театры, «политграмоты»… Суды еще придумали. Это в тюрьме-то! Мало, видишь, большевистского, еще и сам себя суди…

Он стал подробно рассказывать, как убеждал его инструктор в Таганской ликвидировать неграмотность, «приставал, как малахольный», а Козел, выведенный из всякого терпения, оборонялся матерной бранью.

— Чорт их побери совсем! — ругался он. — Тюрьму, и ту изуродовали. Никакой жизни не стало. Нигде покоя человеку не дают.

Как это нередко случалось с Мологиным, он не придал сперва значения тому, что услыхал. Разве мало и раньше устраивалось колоний для беспризорников? Однако слухи о Болшевской не прекращались, а все росли. Кто-то сказал, что в коммуне Новиков, Фиолетов и Каминский. Этих Мологин или знал лично или слыхал о них. Это были не беспризорники, не пацаны. Это были солидные воры-артисты.

Мологин не спал ночь, обдумывая эту новость. Он все хотел понять, что же так задевало и тревожило его в том, что Фиолетов и Новиков слягавили? Значит, они не были настоящими ворами, и туда им дорога. Какое дело медвежатнику Мологину до них.

Болшевцы подобрали с улицы малолеток, беспризорных. Мологин понимал, что это хорошо. Оборванных, голодных ребятишек в асфальтовых котлах всегда было неприятно видеть. И те, кого берут в коммуну, — щенки, мальчишки, сявки; настоящий старый вор относится к ним с пренебрежением. Они в воруют, может быть, только потому, что ничего другого не умеют или не могут сыскать себе работы. Именно поэтому, вероятно, нет ничего проще, как обойти их, «купить» за обещание безопасности, за пустяки. Когда там хорошенько убедятся в этом, начнут забирать всех. Много ли стариков-то настоящих! С ними справятся тогда поодиночке, переловив голыми руками, как рыбу в спущенном пруду. Петля, захлестывающая Мологина, казалось, стягивалась все туже.

Он бежал из Бутырок и с двумя помощниками «взял» Кожсиндикат. Огромную сумму новенькими, пахнущими типографией червонцами унес Мологин. Дерзкое дело это обеспокоило общественность и МУУР. Мологин купил билет в Воронеж.

В вагоне третьего класса было душно, шумно, пахло юфтью и

ржаным хлебом. Мужики и бабы с котомками, с крашеными сундучками вели захватывающий их спор о том, как лучше уничтожать на лугах кочки и есть ли какой-нибудь расчет по их местности сеять клевер.

Низкорослый, худощавый, с упрямыми черными бровями парень в синей выгоревшей рубашке, в брюках, заправленных в сапоги, отражал нападки мужиков, неутомимо объяснял. зачем нужен клевер. Он говорил одно и то же по нескольку раз, и то, что его плохо понимают и, может быть, даже не хотят понять, нисколько его не обескураживало. Он благодушно, с настойчивостью и терпением долбил свое.

— Клевер — лучший корм для скота, — с удовольствием выговаривал он. — После клевера и хлеб лучше родится. Это ученые достоверно доказали.

Мужики сдавались постепенно, возражали все слабее, казалось — больше для порядка.

Мологин смотрел на широкий лоб парнишки, по которому скользили тени, на свой маленький фанерный чемоданчик. В нем было больше денег, чем все люди в вагоне видели за всю их жизнь.

«Этакие, как этот широколобый — продолбят, — думал Мологин. — Нет, надо завязываться, надо кончать. Того, что в чемоданчике, может хватить надолго».

В Воронеже благодаря случайному знакомству Мологин устроился заведывать фабричным клубом. Он организовывал концерты и составлял расписания занятий клубных кружков. Он произносил вступительные речи перед спектаклями и играл в шахматы с «активом» в «комнате отдыха», в которой в отличие от других на полу лежал ковер. Бумажка с круглой заводской печатью, удостоверяющая место Мологина среди трудящихся, хранилась в коленкоре записной книжки во внутреннем кармане пиджака. Он «клеил» свою историю новым знакомцам, и получалось так, что жизнь его, жизнь честного советского служащего, перегруженная многочисленными случайными занятиями, окончательно определилась только теперь. Теперь Мологин знает, что клубная работа — истинное его дело. Отныне он будет заниматься только ею. И, говоря так, Мологин по совести не знал, где начинается правда и оканчивается бессовестная ложь.

Он охотно посещал открытые партийные собрания, происходившие обычно в клубе. Сложное чувство влекло его туда. Холодный, внимательный, он сидел где-нибудь в последних рядах, всем одинаково чужой и всему чуждый. Он слушал скупые, не блещущие красками слова оратора, иногда покачивал головой,

как бы соглашаясь с ними, иногда сочувственно улыбался, а мысли — отдельные, свои, глубоко спрятанные от всех, — жили самостоятельной жизнью, сменяли одна другую беспокойной, непрекращающейся чередой: «Когда вор крал до революции, он брал часть уже украденного вот у этих. Вор, крадущий теперь, крадет то, что принадлежит этим людям, потому что оно произведено их собственными руками. Только теперь вор по-настоящему стал преступником. А что если встать и сказать, чтоб услыхали все: „Я — Мологин. Тот Мологин, который недавно обокрал Кожсиндикат“».

Воображение отказывалось подсказать, что будет вслед за этим, но истома страха ползла по телу, и Мологин спешил отогнать дурацкую эту мысль, заставляя себя думать о духовом оркестре, в котором недостает инструментов, о кинокартине, которую завтра нужно «провернуть».

Однажды Мологину сказали в заводоуправлении, что послать в Москву за инструментами для духового оркестра некого, что лучше бы всего Мологину съездить самому. Мологину вдруг страстно захотелось в Москву, захотелось окунуться в ее возбуждающую суету и шум. «А кожсиндикатские дела, пожалуй, успели поостыть», подумал он.

— Так не задерживайся, поскорей, — напутствовал Мологина в окно двинувшегося вагона молодой беловолосый комсомолец Рыбин, товарищ по клубной работе.

— Разве только задержат, — цинично крикнул Мологин и высунулся в окно. — Только не думаю: дураков и в Москве много.

Долго смотрел Рыбин вслед удаляющемуся поезду, раздумывая, что значат эти нелепые обидные слова.

В Москве Мологина арестовали по делу Кожсиндиката. Ему казалось теперь, что если бы его не тронули, он воротился бы в Воронеж.

Из концентрационного лагеря ему удалось бежать. Он нанял дачу в Филях и поселил там свою новую сожительницу Катюшу, еще не так давно распевавшую писклявым голосом трогательные песенки в актерской халтурке «Не рыдай».

Ни одного шага теперь Мологин не делал, не обдумав. Он избегал притонов и людных, шумных мест, водился только с самыми проверенными, испытанными друзьями. Особенно сошелся он в это время с Дмитрием Загржевским. Рослый, стройный, этот парень нравился Мологину своей горячностью и прямотой, сочетающимися с необходимой в его профессии хитростью. Мологин знал все его прошлое. Подростком Загржевский поворовывал. Когда призывали в Красную армию, думал, что с этим кончено. В армии Загржевский участвовал в

боях. После демобилизации не встал на учет биржи, долго не мог найти работу, украл, потом не мог отстать. Теперь Загржевский был молодым многообещающим медвежатником. Он любил поговорить о себе, говорил часто: «Если бы не эти биржи, которые неизвестно для чего нагородили, разве бы он стал тем, что он есть». И Мологин, да и сам Загржевский отлично понимали, что дело, собственно говоря, не в этом. Но хорошо иметь, на кого переложить вину.

На даче в Филях, в тени, под кустом обломанной сирени, они разговаривали — Загржевский запальчиво, приподнято, Мологин — хладнокровно, с ироническим смешком.

— У кого крадем? У рабочего крадем, — кричал Загржевский и далеко в траву отбрасывал опорожненную бутылку. — Я за рабочий класс на фронтах сражался. Я крови не жалел. Красть оставить надо. Завязываться, — кричал он, не слушая, пьяно размахивая руками. — По липе буду жить.

— Много ты наживешь, — усмехался Мологин, тоже поддаваясь хмелю. — Много наживешь ты, красный генерал. Вот за границу бы! Завел бы рыжую француженку. А это — что…

Мологин дразнил и издевался над Загржевским, но он чувствовал, что издевается в сущности над самим собой. Все короче делаются сроки, все ограниченнее пространство, пока еще оставшееся для него. «Может, и вправду уехать за границу. Жить, ни о чем не думая, не рассуждая, без истерик, подобных тем, которые устраивает Загржевский».

И точно игрок, проигрывающий последние чужие деньги, стремясь не думать, стремясь оглушить себя напряжением непрерывной деятельности, непрекращающегося риска, с азартом, похожим на отчаяние, бросался Мологин на новые дела. Большой театр, Главтоп, контора «Известий», ряд учреждений в Ленинграде — свыше 20 взломов и грабежей в несколько месяцев. Он жил в Москве, а работал в Ленинграде, он жил в Ленинграде, а действовал в Москве. Несколько десятков опытнейших воров «работали» вместе с ним. Небывалая удача сопутствовала каждому их шагу. От них не спасали ни стены, ни охрана. И чем больше было удач, тем ненасытнее, яростнее делался Мологин. Если бы он мог, он действовал бы в нескольких местах одновременно. Если бы мог, он вскрыл бы разом все несгораемые шкафы республики.

— Что, Дима? — вызывающе спрашивал он иногда Загржевского. — Не нравятся рабочие-то денежки? А мне так ничего… Побольше бы их.

Ранним серым утром на даче в Филях Мологин был арестован сотрудниками МУУРа.

Он не обманывался на свой счет. Бесчисленное количество судимостей, ряд побегов, оголтелые последние дела. Высшая мера социальной вредности, высшая мера давно предчувствуемого наказания.

В камере были люди, но Мологину казалось, будто он один. Образы прошлого преследовали его. Нет, он не жалеет о том, как прошла жизнь. Не жалеет и никого не винит. Он жил, как ему нравилось и как хотелось. Если кто-либо в чем и виноват, так только сам он. Он видел политику, которую осуществляла власть. Разве не мог он притти и заявить: «Кончено, больше не хочу». Нет, не об этом, совсем не об этом он должен написать. Он мелко, убористо, твердым пером нанизывал буквы на листок бумаги.

«Я не о жизни хлопочу, — писал Мологин. — Однажды я пробовал завязываться. Мне верили. Я мог работать. Ноя все равно обманул всех. Я был заведующим клубом и одновременно воровал».

В Воронеже он взял несколько тысяч рублей из заводской кассы. Деньги предназначались сезонникам, строившим новый корпус. Сезонники горланили, ругались; Мологин даже подумал, что они приостановят стройку. Но они вышли на работу после того, как в клубе был проведен митинг.

Всюду, куда хватала память, возводились корпуса и здания, выкорчевывались леса, добывался уголь, производились машины, ткани, обувь — вещи, в которых нуждается страна. И всюду, куда вторгалась рука Мологина, должно быть, задерживалось выполнение планов, ослабевали темпы, возникали непредвиденные трудности для тех, кто делал это все. А кто делал? Рабочий класс.

Что же это натворил Мологин? На что рассчитывал, на что надеялся? Тяжелый, обессиливающий страх сковывал его.

«Я — гад, вредный уже одним тем, что он существует, — писал Мологин. — Я — гад, и меня нужно расстрелять. Раньше, до революции, я воровал и думал, что это естественно и справедливо. Я читал Ницше. Я хотел быть сильным. Многие из тех, кого я видел, жили, не трудясь, и наслаждались жизнью. Я тоже хотел этого. Я воровал и жил легкой жизнью, я наслаждался жизнью.

Я понимал, — писал Мологин, — что при социализме шалман немыслим. Что там, где все работают, не может быть воров. Но это не мешало мне воровать, потому что я всю жизнь не любил и не хотел работать».

И вновь сомнения охватили Мологина. Да так ли, да правильно ли это? Как неимоверно трудно, оказывается, говорить правду. Может быть, и он не всегда не любил работать…

Помнится, после того как убежал от дядьки, мечтой Алешки стало сделаться матросом. Там, где жил дядька, был крестьянин, который прежде служил во флоте. В Москве Мологин подружился с перевозчиком, одноногим стариком Кулагиным, державшим лодки у Новодевичьего монастыря. Он помогал перевозить с одного на другой берег сердитых подмосковных огородниц, студентов и чиновников с гитарами и барышнями, веселых куражливых мастеровых. Иногда старик таскал Мологина за уши, иногда давал пятиалтынный. Изредка он позволял взять лодку и покататься в ней вдоль гористых зеленых берегов. Мологин упоенно бороздил веслами воду. Он воображал себя на корабле среди бушующего океана. Разумеется, в мечтах он совершал разные подвиги, которые изумляли всех. Зимой Кулагин умер.

Что же — Мологин не мог бы и на самом деле стать хотя бы матросом?

Он работал в клубе, и разве были для него редкостью удавшийся концерт, наладившийся кружок? Стулья, бывало, привезут из ремонта на грузовике, а Мологину приятно, что они такие добротные, новенькие, так свежо и остро пахнут лаком.

«А почему же, Алексей Александрович, вы не остались зав-клубом, если это так? Почему, Алексей Александрович, вы тогда уехали из Воронежа? Ведь вы могли и не поехать…»

Мологин кривил тонкие пересохшие губы, и едкая усмешка исчезала бесследно в рыжих его усах.

И так писал он, разрывал и перечеркивал написанное и начинал вновь, борясь за каждое слово, за полноценную правду в нем. И когда окончил, сказал все, что хотелось сказать, — положил письмо в конверт и с чувством глубокого спокойного доверия адресовал человеку, одно упоминание имени которого недавно наполняло его ненавистью и содроганием.

А со стороны было так. точно «клеит» Мологин следователю фантастические свои «показания», играет, отводит, путает с хладнокровием, выдержкой, спокойствием, которым трудно найти пример. Будто не собственная его, подкатившаяся к краю жизнь поставлена в этой игре.

И когда кто-то в камере расхныкался, стал проклинать день, когда родился, седоусый Василий Козел — он ждал отправки в лагери, — брезгливо остановив его, сказал:

— Учись вот… Бери на память… Это — человек. Корень. Пока не переведутся урки вроде Алехи — ничего им не поделать. Хоть всех перехватай…

Когда Мологин выслушал приговор к десяти годам заключения, он не поверил этому. Очевидно, произошла какая-то ошибка, которая не замедлит выясниться. Через два дня его

перевели из Бутырок на Лубянскую площадь. Зачем?

Он догадался, что ошибка замечена и исправляется. Вечером его вызвал к себе руководитель МУУРа товарищ Буль.

Знакомый Мологину этот человек сидел, слегка наклонив голову, за громоздким письменным столом, уставленным по краю телефонами. Красивые его глаза с длинными ресницами казались теперь жестокими.

— Расстреливайте скорей! — крикнул Мологин нервно. — Зачем тянуть?

Буль чуть заметно качнул плечом.

— Психует, — тоном вопроса сказал он с улыбкой и как бы не Мологину, а кому-то, кто находился здесь еще.

И тогда заметил Мологин, что Буль действительно был не один. В стороне, на широком коричневом диване сидел кто-то в военной форме, вскинув ногу на ногу, кого Мологин никогда не видел. Он был смугл, мрачен и сердит. Он ответил на вопрос Буля вопросом:

— И часто это с ним?

Смуглое его лицо вдруг потеряло мрачность и точно помолодело.

— Садись, Мологин, — предложил незнакомец с какой-то особенной, грубоватой простотой. — Не валяй Ваньку. Нужно с тобой потолковать.

Мологин подвинул стул и сел на край его. Он спешно взвешивал произнесенные слова, выражение лиц, оттенки интонаций. Неужели ошибки нет? «Значит, опять жизнь», подумал он с невыразимым облегчением. Да, очевидно, это было так. «Хотят, чтобы слягавил», подумал он тотчас же снова. Ну, этого-то не случится, с этим Мологин сумеет справиться. Ему хотелось громко смеяться, он с трудом сдерживал себя.

— Ну, расскажи, как жил. Вот Погребинский, Матвей Самойлович, руководитель Болшевской коммуны. Он тобой заинтересовался, — сказал Буль медленно.

— Болшевской? — переспросил Мологин.

Неправдоподобная догадка неожиданно пришла к нему. Он посмотрел на Буля, потом на Погребинского. Их лица не говорили ничего. «Там только для молодых», вспомнил Мологин разочарованно.

— Что ж, могу рассказать. Что вас интересует? — согласился он с холодной вежливостью.

— А, должно быть, и правда, паразит закоренелый, — внезапно резко сказал Погребинский.

— Медвежатник. Сам под кустом сидел, а мальчики на него работали. Небось, не одного выучил.

— Ложь! — крикнул Мологин и вскочил со стула. Он побледнел от оскорбления и бешенства. — Ложь… Родного бы сына удавил. Я молодых не брал. Это на меня наврали вам…

— А если наврали, так сиди, — холодно сказал Погребинский. — Чего ты прыгаешь?

Мологин сел, разгоряченный и взволнованный. Да, конечно, он работал, случалось, с молодыми. Когда, например, «брали» на Никольской склад, помогал один «штымпишка», он понимал в мануфактуре. Но это всегда были ребята, которые давно уже начали. Сам же Мологин на эту дорогу не толкнул никого. Пусть назовут, кого он толкнул! Совершеннейшая чушь, этого не было.

Погребинский кивал время от времени темной коротковолосой головой, изредка вставлял неопределенные словечки, которые могли быть поняты как одобрение. Он посматривал на Буля, и чуть заметная улыбочка людей, привыкших понимать друг друга, скользила на губах у обоих. Мологин поймал ее. усмешка эта была красноречивее слов.

«Так, значит, они разыгрывают Мологина? Чтобы распалить на разговор?» Мологин по-новому осмотрел фигуру Погребинского. Скромный, простоватый, этот болшевский, оказывается, не так-то прост. И удивительное дело! Чувство нерассуждающего, безграничного доверия к этим людям внезапно овладело им. Наверное, первый раз в жизни стал говорить Мологин, отбросив всегдашнюю настороженность, напряженную заботу о том, чтобы не сказать лишнего, не проболтаться, не попасть в расставленный капкан. Он не интересовался даже тем, как выглядит в своем рассказе.

Погребинский развеселился, смеялся и шутил. Потом он стал рассказывать о Болшевской коммуне. Он называл знакомые фамилии: Новикова, Каминского, Накатникова, но Мологин не мог узнать в его словах этих людей. Он говорил о принципах коммуны, о добровольности, о ее хозяйстве, о том, как живут и самоуправляются ребята, многие из которых скоро сделаются членами профсоюза, и с них будет снята судимость. Погребинский говорил с увлечением, горячностью, с мельчайшими подробностями, как крестьянин мог бы рассказывать о своем дворе. Но Мологин с трудом представлял себе все это.

— Надо смотреть вперед, учиться на прошлом и поступать так, чтобы впереди было лучше, — сказал ему Погребинский в пятом часу утра, когда они расставались.

Мологина перевели опять в Бутырки. Страстная жажда что-то делать, испытывать приятную усталость рук и всего тела томила его. В Бутырках он стал работать на обувной по полировке уреза.

Он работал восемь часов, а думалось — мог бы шестнадцать. При виде новеньких, ласково поблескивающих металлом станков его охватывала настоящая радость. Но как ни велико было его увлечение производством, оно не мешало ему работать одновременно в художественном секторе клуба. Может быть, никогда у него не было столько энергии, сколько нашлось ее теперь.

Однако вскоре незаметно для самого Мологина энергия его стала слабеть. Он не мог бы сказать, когда именно это началось. Может быть, в тот вечер, когда вздумалось ему подсчитать, сколько уже отсидел, и особенно ярко, представилось, что отсидел лишь год, а впереди их девять. А Мологин ведь не молод, далеко немолод… Или позднее, в голубой весенний день, когда солнце бросило в камеру горсть колеблющихся своих лучей. Сережка Вяхирев, семнадцатилетний домушник, прощался тогда со всеми. С трудом скрываемая ребяческая радость и надежда светились на его веснущатом лице. Вяхирев уходил в этот день в коммуну.

«Смотреть вперед, — горько думал Мологин, — хорошо смотреть вперед Вяхиреву, у которого действительно все впереди и которому открыта дорога. А что осталось, что может быть впереди у Мологина. Бежать. Все начать сначала. Это было бы любопытно… „Куда пойти, и где дадут вору бездомному приют“».

Он продолжал выполнять свою работу, но теперь это была только привычка. Он похудел, опустился, появилась лысина. Не знающая ножниц огромная красная борода закрывала грудь. Все чувства, все желания угасли в нем. И если бы пришел кто-нибудь и спросил: «Чего хочешь, Мологин? Что сделать для тебя?» — Мологин не знал бы, как ответить. Что ж ему нужно? Ничего он не хочет. Вот разве в русскую баню сходить попариться.

Заведующий мастерской, любивший посмеяться полный человек, знал, что работа полировщика не из легких. Он решил, что Мологин утомился.

— Отдохни, посиди табельщиком, — сказал он ему.

Мологин равнодушно согласился. Он ходил теперь в контору, подсчитывал цифры, выводил графики. Это было лучше потому, что мешало думать. Для чего думать? Не все ли равно.

Мологин сидел в конторе. Чей-то отрывистый грубоватый голос за дверьми привлек его внимание. «Погребинский», с волнением угадал Мологин. Сомнений не могло быть. Этот голос Мологин отличил бы из тысячи других. Погребинский вошел в контору. Заведующий мастерской шел рядом с ним и что-то ему рассказывал. Погребинский увидел Мологина.

— Узнал? — весело сказал он и подошел к столу.

— Да, — не сразу ответил Мологин.

— Постарел, — не одобрил Погребинский и покачал головой.

— Разве не за станком? — вдруг удивился Погребинский. взглянув на заведующего.

— Временно, отдохнуть. Перевел на табели, — торопливо объяснил тот.

— Ну что же, — сказал Погребинский. — Выйди со мной, Мологин, поговорим.

Мологин тяжело, точно ему трудно было поднимать ноги, пошел за ним в комнату следователя. Погребинский вынул «Герцеговину флор» и протянул коробку Мологину.

— Куришь?

— Не курю.

— А пьешь?

— Пью.

— Мог бы не пить?

— Вот же не пью, — грустно сказал Мологин.

Погребинский поймал его прячущиеся зеленоватые глаза своими и пристально заглянул в них.

— Пойдешь в коммуну? — спросил он вдруг точно таким же тоном, каким только что предлагал курить, и словно это всегда и всецело зависело от желания или нежелания самого Мологина.

Мологину показалось, что он задохнется. Бурная радость хлестнула по нервам и тотчас ушла. Он сделал движение к Погребинскому, но остановился.

— Я испепеленный человек, — медленно, почти шопотом произнес он, — в коммуне я был бы обузой. Нужны ли там такие?

— Посмотрим, — сдержанно сказал Погребинский. — В коммуне все в твоей воле. Чем ты захочешь стать, тем и станешь. Будешь работать — сделаешься человеком. Ты знаешь, слышал, наверное, у нас и члены партии есть, а раньше они были ворами.

— Я захочу, — волнуясь, прерывисто сказал Мологин, — но только я…

Улыбка перекосила его лицо. Темный, постылый мир таких же, как он, изуродованных жизнью людей, ненавистный и родной, как собаке ее логово, как больному отравленное болезнью его тело, — мир шалмана, проституток, азарта, крови, издыхающий, но недобитый мир, который мог теперь покинуть Мологин, властно вставал перед ним. Он хватал его, он тянул его назад, он приказывал, диктовал ему. И Мологин не смел ослушаться.

— Только я никогда не буду лягавить. Не заставите! — крикнул он взвинченно.

Погребинский пожал плечами.

— Там будет видно, — сказал он с усмешкой. — Мы никого не заставляем. Поживешь — станешь понимать.

И тогда рыжебородый пахан и медвежатник, гордость шалмана, хранитель его традиций и основ, сделал шаг, одних повергший в растерянность и недоумение, других заставивший предположить здесь особенную, исключительную хитрость и третьих решительно, без колебаний, покончить с прошлым.

И таких было больше всего. Медвежатник Алексей Александрович Мологин пошел в коммуну.

Ошибка

На следующий день после приезда в коммуну Мологину предложили работать на фабрике. Он начал работать на обувной. Необыкновенно неловко чувствовал он себя. Коммуна не казалась теперь никому деревушкой, затерявшейся в дебрях. В ней кипела жизнь. Всюду громоздились камни, доски, кирпичи, горы строительных материалов. Строился механический завод, большое трехэтажное общежитие. В столовой, в клубе, куда бы ни пошел Мологин, ребята говорили о производстве, о выработке, кто и где будет жить и работать, когда кончат постройку. Они ходили на собрания, устраивали субботники. Каминский, Накатников, Новиков пользовались среди них таким уважением, точно отказаться от воровства действительно было заслугой в их глазах. А одновременно — острый взор Мологина видел и это — в глубине, в подполье происходило другое. Случалось, некоторые болшевцы пили, играли в карты. Не один раз Мологин ловил на себе взгляды, в смысле которых ошибиться было нельзя.

Как-то в лесу он наткнулся на компанию болшевских ребят. Они ругались, били о сосны пустые бутылки. С ними были какие-то визгливые бабы. Парень в костюме «бостон», с лицом старухи — Мологин видел его на одном из собраний — кричал, покачиваясь, придерживаясь рукой за сосну:

— Клево, Ласкирик! Твои бочата! Завтра винтим в Москву!

«Погребинский заблуждается и преувеличивает, — внезапно подумал Мологин. — Продувная шпана, которую собрал он здесь, морочит ему голову». Мысль эта была так неожиданна и так проста, что Мологин почувствовал что-то похожее на испуг. Он поспешно отошел от этого места.

Он разговаривал с Богословским, Накатниковым, Каминским, смеялся, шутил, толковал о «принципах» и «законах» коммуны, преувеличенно восхищался ими, а в действительности никогда не был так одинок, как теперь. Эти люди, точно подрядившиеся не оставлять Мологина ни на час, их однообразные разговоры

раздражали, казались навязчивыми. Только Новиков как будто избегал его. Мологин ходил по коммуне, словно не знающий языка. Иногда, впрочем, он почти готов был усомниться в том, что пришло ему в голову там, в лесу. Но возможно ли было сомневаться? Будто какая-то невидимая стена отделяла его от коммуны, заслоняла что-то до крайности важное, мешала понять.

Работа, работа — вот главное! Что ему за дело в конце концов до того, кто заблуждается и в чем истина? И он закружился в работе, как колесо на оси. Он вставал утром, торопливо умывался, ел, спешил на фабрику. Вечером шел в клуб. Он хотел, чтобы не оставалось совсем времени для размышлений, и это ему удавалось.

На фабрике Мологин перевыполнял норму. Кроме того он связался с драмкружком и помогал ему ставить пьесу. Успехи кружка были заметны. Странно, что все это могло иметь значение. Временами ему начинало казаться даже, что чем бы ни была коммуна, он-то уже становится в ней на ноги. Но по-прежнему в речах болшевцев за громко произносимыми по-обычному мало значительными словами его ухо улавливало нечто другое, невысказанное, тайное. Ускользающий смысл того, что не произносилось, будил неопределенную тревогу, заставлял сдерживаться, говорить скупо. Попрежнему замечал Мологин в глазах воспитателей настороженность, походившую на недоверие. Даже милейший, мягкосердечнейший Богословский, первый заговоривший с Мологиным о постоянной руководящей работе в клубе, случалось, посматривал на него косо. Никто как будто не ходил, не наблюдал за Мологиным, а нельзя было сомневаться — воспитателям были известны каждое его слово, каждый шаг.

Постоянная работа в клубе?.. Нет, этого не будет. Что-нибудь случится: не разрешит Погребинский, или сам Сергей Петрович передумает. Разве решатся отдать такое дело Мологину? А он, пожалуй, охотно пошел бы на эту работу, мог бы там кое-что сделать.

И до самого собрания, на котором Мологина выбрали председателем правления клуба, он все не верил, что это действительно произойдет. Домой он шел усталый, но радостный и удовлетворенный. Каминский, Новиков, Смирнов, члены драмкружка — все, кто выступал сегодня, — в один голос хвалили Мологина, одобряли его кандидатуру, выражали уверенность, что дела клуба теперь пойдут в гору. И, должно быть, так уж создан человек: как ни мала цена всем этим похвалам, было приятно вновь и вновь вспоминать, что говорилось и делалось на заседании. Мологин поравнялся с общежитием. Кучка ребят толпилась недалеко от освещенных

дверей. Ребята смеялись и разговаривали. Мологин миновал их.

— Там заворачивал и здесь хочет! — крикнул кто-то в спину звонко и злобно.

Мологин замедлил шаг: «Это ему?» Он не понял, что, собственно, крикнули. Потом кровь вдруг бросилась в лицо. Мологин медленно поднялся по лестнице, стараясь не показать, что он что-нибудь слышал.

В спальне он сразу стал раздеваться. Полураздетые болшевцы бродили между кроватями. Они оживленно разговаривали о заседании, об оркестре, о предстоящей клубной вечеринке, упоминали имя Мологина. Кто из них мог крикнуть ту фразу? Может быть, вон тот, что хлопает сейчас Новикова по плечу, говорит ему что-то с хитрой усмешкой? В сущности это совершенно все равно — кто! Крикнул один, а десять слышали и согласились. Может быть, даже это Каминский крикнул. Он ли, другой ли кто — все они одинаковы! Все они лицемерят, прикидываются ангелами, усердно изображают на собраниях, будто болеют за коммуну, будто они ее хозяева, будто и вправду они дают ей законы. А в действительности только к тому и стремятся, чтобы скрыть свои настоящие мысли, унюхать, чего от них хотят, еще и еще раз «потрафить» начальству. Еще бы! Тут заработок, нет часовых, девчата — позанятней будет, чем в лагерях!

Он стал думать о прошлом, о своей теперешней жизни, запутанной и неопределившейся. Он попытался представить себе, что думают и говорят о нем люди, судьба которых должна была быть и его судьбой. Хотелось вскочить, разбудить Новикова, крикнуть ему, что все это ерунда, какое-то наваждение, дикая неправдоподобная выдумка… Пора кончать! Довольно дурачить себя и всех. Какие там клубы. Махнуть с ним в поселок Болшево, напиться так, чтобы небо закачалось в глазах, и… будь, что будет! Ох, и напился бы теперь Мологин! Он с трудом справился с этим желанием.

Прибывшие с новой партией из Соловков рассказывали, что когда Васька Козел услыхал о Мологине, он не поверил. Он говорил, что это выдумано чекистами для дурачков. Когда же нашлись люди, лично видевшие Мологина в коммуне, когда доказательства сделались неопровержимыми, Козел исступленно выругался, швырнул шапку на снег и с омерзением закричал:

— Продался, рыжая гадина! И всегда такой был. Всегда! Только умел заметать. Погодите, от него еще не один наш товарищ заплачет!

В город Мологин поехал неожиданно. До этого он ездил туда всего один раз — в самые первые дни пребывания в коммуне.

Тогда он только зашел к сестре на Якиманку и, переменив ботинки, побежал в театр: они отправились вместе с Каминским и Накатниковым смотреть «Грозу».

Помнится, тогда Мологин немного задержался у сестры — она все никак не могла увериться, что это ее брат Алексей сидит перед ней невредимый и на свободе. Он запоздал минут на десять против условленного времени и сильно нервничал. Накатников рассказал после, что ребята нервничали тоже.

Отпуск в город Мологину предложил Сергей Петрович. Теперь предстояло ехать куда и к кому угодно Мологин никак не думал, что ему так скоро дадут это право. Ласковые, вкрадчивые глаза Катюши, размашистые жесты Загржевского, кусты и деревья дачи в Филях — все вдруг вспомнилось ему. Он позабыл на мгновенье, что всего этого давным давно уже нету. Радостное нетерпение овладело им, и всю дорогу, и на вокзале, и на людных московских улицах оно не покидало его.

Он шел по Тверской, немного сутулясь, беззвучно ступая, легко дыша. Он чувствовал все свое тело, и оно казалось необыкновенно ловким, сильным, изумительно послушным ему. Он не оглядывался, но знал, кто идет сзади, кто идет по противоположной стороне улицы, почти угадывал, куда и зачем идет. Он ощущал это спиной, плечами, кожей…

Освещенные низким солнцем, тесно сдвинутые дома Тверской выглядели приветливыми и принарядившимися. Извозчик, беспокойно оглядываясь на милиционера, проехал мимо. Как он неловок, как он унижен обгоняющими его машинами! Трамвай у остановки затормозил с визгливым скрежетом. С передней площадки, не спеша, спустился Мишка Бабкин и посмотрел сначала в одну, потом в другую сторону. Он был в пальто «реглан», в шикарной клетчатой кепке, над толстыми лиловыми губами топорщились подстриженные беленькие усики.

«Бабкин», чуть не воскликнул Мологин. Он пошел к нему, спеша, наскакивая на пешеходов. Пусть это только Бабкин, но ведь он оттуда, с того берега. Мологин узнает, где Катя, где Загржевский, услышит хвастливый рассказ о самом Бабкине.

«Нельзя поверить», подумал он вдруг. Старенький бьюик обежал его с сердитым фырканьем. Пустые неузнающие глаза Бабкина скользнули по лицу Мологина. «Нельзя, невозможно поверить», снова подумал Мологин. Он круто повернул и пошел назад. Полузакрытые ворота какого-то дома обдали запахом аммиака и погреба. «Значит, можно существовать, можно еще „работать“, если на воле такая птица».

Было очевидно, что Бабкин не заметил и не узнал его.

Да, тому, что произошло с Мологиным, невозможно поверить. Расскажи кто-либо подобную историю ему самому, он бы расхохотался тому в глаза. У него пересохло во рту и хотелось пить.

Солнце опустилось за дома, они стояли, потемневшие и слитные; гул голосов по-вечернему уплотнившейся толпы был глух и недоброжелателен. «Нарзану найти бы, что ли», подумал Мологин. Он открыл дверь ярко освещенной вегетарианской столовой Моснарпита. За белым, похожим на больничный, деревянным столиком, отвалясь на спинку стула, сидел Бабкин и смотрел прямо на Мологина. Он пил из стакана оранжевое ситро и подмигивал Мологину всей левой стороной лица. Мологин послушно сел с ним рядом.

— Еще две бутылочки, гражданочка! — крикнул Бабкин, хвастливым жестом вытаскивая из внутреннего кармана пиджака новенький кожаный бумажник.

Мологин был спокоен. Отчетливо выговаривая взвешенные слова, умело обходя все, что могло навести Бабкина на размышления, он рассказал ему, что был приговорен к десяти годам, сидел, теперь живет в коммуне.

— Та-ак, — опасаясь быть слишком снисходительным, тянул Бабкин. Тон и спокойствие Мологина сбивали его. — Значит, в коммуне? Клево! Очень хорошо. А Загржевского что-то вот не слышно. Видно, амба.

И оттого, что Бабкин так упомянул о Загржевском, Мологин вдруг почувствовал, что краснеет неотвратимо, бессмысленно, нелепо, точно на самом деле он виноват в том, что Загржевскому, быть может, «амба», а Мологин живет в коммуне, разгуливает по Москве.

Он попытался заговорить прежним тоном, но это не удалось. Спеша, ненужно жестикулируя, он стал рассказывать Бабкину о коммуне, о ее порядках, о том, кто в ней находится и кто может быть принят. Коммуна в его стремительных словах рисовалась пределом человеческих желаний. Бабкин слушал сосредоточенно.

— Стой, подожди, — остановил он Мологина. — Подожди. так, говоришь, берут одних молоденьких?

— Да… — произнес Мологин и растерялся. — То есть бывают исключения…

Бабкин опустил голову, не спуская с лица Мологина покрасневших и наглых глаз. Он медленно дышал и не говорил ни слова.

— Ну и дурак же ты, — сказал Мологин с ненавистью. Бабкин не рассердился:

— Та-ак… Значит, молоденьких! А тебя в исключение. Та-а-

ак. Ишь, как пофартило тебе.

И хотя ничего не сказал он прямо — в блудливой двусмысленности усмешки, в откровенно издевательском, торжествующем взгляде его оловянных глаз прочел Мологин невысказанное: продался.

Бабкин! Трусливый, захудалый воришка — Бабкин — и тот осмеливается так думать о Мологине и так держать себя! Никогда не предполагал Мологин, что все это может быть не безразлично, что будет так тяжело. Если бы можно было теперь же повидать Погребинского! В присутствии этого человека все сомнения точно испаряются, утрачивают вес.

И чем больше размышлял Мологин, тем яснее представлялось ему, как должен он теперь поступать, как жить. Он не позволит себя сбить ни Козлу, ни кому другому. И меньше всего этому расфуфырившемуся дураку — Бабкину, который, должно быть, уже поджидает где-нибудь скорой встречи с соловецкими «корешками». Он будет работать еще настойчивее и упорней. Хотят, чтобы коммунары ходили в кружки? Хорошо. Они будут ходить в кружки. Уж этого Мологин добьется. Он покажет, какой может быть создан клуб. И в то же время, где только столкнется, где только спросят Мологина, он будет отстаивать своего брата из блатного мира. Мало ли может быть таких случаев? И кто тогда посмеет в чем-нибудь упрекнуть Мологина, кто тогда поверит грязным намекам Козла или Бабкина? И думалось — сам Погребинский не мог бы не согласиться с Мологиным.

На собрание, на котором должен был стоять вопрос о Ласкирике и Рогожине, уличенных в пьянстве и краже в Москве, Мологин пришел, как всегда, внешне спокойный, почти равнодушный. Но так же, как перед любым собранием коммуны, и теперь его томила безотчетная робость, тревожное ожидание чего-то, что должно или может произойти. Но он думал, что взволнован только тем, что приехал Погребинский и что сейчас Мологин услышит его резкую насмешливую речь.

Он вошел и сел в заднем ряду. Собрание вел активист Румянцев. Его усталое лицо было преисполнено сознания ответственности. У него за спиной неслышно шагал Погребинский, заложив руки в карманы кожанки. В стороне от президиума, в глубине сцены, сидели два каких-то парня. Оба они одинаково горбились, глядя на пол. Похоже, что им не очень приятно было сидеть там. «Рогожин и Ласкирик», догадался Мологин. Он запомнил эти две фамилии — их часто повторяли в общежитии в последние дни, но носителей этих фамилий не знал. Он присмотрелся. Да ведь это те, кого Мологин застал однажды в

лесу! «Вот это кто», с разочарованием подумал он. Угнетенный, подавленный вид парней, подчеркнутая неряшливость одежды показались ему фальшивыми.

Он стал слушать, о чем говорили со сцены. В зале было тихо, кашляли и сморкались как будто меньше, чем обыкновенно.

«…Ты не очень нажимай на работу, побереги себя. Отдохни. Ведь туда поехал ты лечиться… Еще работы предстоит много, когда снова приедешь в Россию», читал по какой-то бумажонке Накатников, запинаясь, переступая с ноги на ногу.

«О чем таком?» подумал небрежно Мологин.

«Живем также хорошо. Сейчас коммуна наша расширяется. Заканчивается постройкой коньковая фабрика… Построен четырехэтажный дом под общежитие, но еще не отделан, думаем, к весне будет готов.

В настоящее время в коммуну принимаются новые члены. Ребят берем из тюрем и с воли, т. е. ребят, приехавших с Соловков. Работа в коммуне попрежнему идет полным ходом — восемь часов на производстве, ребята занимаются в школе, а потом разные кружки, комиссии, заседания.

…Вот что, Максимович, — читал Накатников; — Мы хоть сами заграничной литературы не получаем и читать ее не умеем, но так слышали, что там слишком много о нас пишут и не верят в то дело, которое у нас строится. Но нам, откровенно говоря, на их мнение в высокой степени наплевать. Мы знаем по тем делегациям, которые к нам приезжают, что рабочие верят, и это, конечно, очень ценно для нас. Ну, до свиданья. Ты нам как-нибудь напиши писульку. Будем ждать. Члены трудкоммуны № 1 ОГПУ».

— Вот наше письмо Алексею Максимовичу Горькому, — сказал Накатников. — Будут еще какие-нибудь добавления?

Болшевцы неистово аплодировали.

Мологин с облегчением откинулся к скамье. Теперь, наконец, о Ласкирике? Но Румянцев стал зачитывать длинный список ответственных дежурных, потом почему-то начали говорить о порядке получения продуктов из кооператива и дневальстве. «Завели канитель», скучно думал Мологин. Он закрыл глаза и перестал слушать.

— Теперь дело Мосеева и Орлова, — сказал рыженький коммунар, член конфликтной, отрывисто, точно отрубил топором. — Конфликтная разобралась и выносит на ваше решение. Мосеев был принят как желающий завязаться жулик. Орлова приемочная комиссия первый раз не приняла как чуждый нам элемент. Но впоследствии Мосеев уверил комиссию, что Орлов жулик, и просил принять его. Тогда комиссия приняла и

Орлова в кандидаты, поверив Мосееву. Теперь же получена справка приговора нарсуда, что Мосеев и Орлов судились за хулиганство. Выходит, оба они… — парень с презрением махнул рукой. — Выходит, оба одной «губернии», обманом пролезли в коммуну, выдавая себя за жуликов, когда они просто хулиганы.

«Обманом пролезли», повторил Мологин, недоуменно пожимая плечами.

— Нечего им туг делать! — крикнул Осминкин — жизнерадостный, веселый физкультурник, о котором Мологин в первый же день узнал, что он футболист, чемпион коммуны.

— Орлов — сын дьякона. Это он сам говорил — это все слышали. Он нам чуждый, — разоблачил кто-то с места, кто именно — Мологину не удалось рассмотреть.

— Товарищи, не надо кричать, надо выходить и говорить, — напомнил Румянцев.

К столу приблизился Гуляев. Его лицо было сердито. Он сказал кратко и веско:

— Мосеева нельзя выгонять, Мосеев — вор. Я его знаю. У него три судимости. Если выгоним — у него еще судимостей прибавится.

И так же уверенно и веско пошел от стола.

«Вот видишь, Алексей, видишь, как Гуляев», отметил сам себе Мологин.

Что-то было смущающее в той откровенности и простоте, с которой Гуляев вступился за урку. Но если это могло быть так, то тем и лучше. Мологин подумал, что у него, вероятно, нехватило бы мужества сказать так прямо.

У стола надрывно кричал худой смуглый парнишка. Мологин не заметил, когда он оказался там. Он подымал плечи, бил себя рукой в грудь, припрыгивал, длинные темные его волосы спутались. Он был в великом горе, и горе его не было поддельно.

— Я чуждый, я? — кричал он высоким срывающимся тенором. — Я от отца давно ушел, братцы! Спросите! Орлова всякий знает. Батька — не дьякон, а дьячок. То дьякон, а то дьячок! Как можно говорить без разумения… Какой я чуждый? Я с малых лет вор. Вот и Мосеев скажет. Я в тюрьме сидел!

Град вопросов, гневных, насмешливых восклицаний прервал его:

— Ты брось темнить!

— В каких тюрьмах сидел?

— Ты назови: Мосеев, а еще кто?..

— Не поп, так дьяк, а все выходит натак!

— А ты в Новинках в двадцать шестом году вместе с Балкановым не сидел? — громко крикнул Румянцев и встал.

Выкрики вдруг прекратились. «В Новинках», удивился Мологин. Секунду Орлов колебался. Отчаяние мелькнуло на его заострившемся лице. Потом он бурно закивал головой.

— Как же, понятно!.. Балканов, — с невыносимо фальшивой радостью воскликнул он. — В двадцать шестом году! Конечно! Балканов!

— Новинки — женская тюрьма, — с усмешкой сказал Румянцев. — Так что…

Взрыв хохота покрыл конец его фразы. Каминский укоризненно качал головой и подымал руку. Погребинский с улыбкой говорил что-то Сергею Петровичу. «Решил вмешаться? Не похоже», подумал Мологин.

Орлов прошел в конец зала и стоял возле дверей спиной к Мологину. Он держался за ручку двери, но не уходил. Мологин не видел его лица, но то, что видел — спину и плечи, — не оставляло сомнений: Орлов плакал.

Что же это такое в конце концов? Сколько раз в жизни у следователей, в участках, в камерах судей видел Мологин, как страстно стремились люди доказать, что они не жулики, не воры, как они плакали оттого, что никто не верил им. А вот тут, в коммуне, пришлось увидеть человека, который заплакал потому, что никто не хотел ему поверить, что он вор. Сумасшедшие вещи творятся на свете! И что за сила, которая может так притягивать сюда хотя бы вот этого Орлова? Что ему здесь так ценно и так дорого? Ведь он может жить, где угодно, может найти для себя работу в любом другом месте…

Коммунары постановили Орлова из коммуны исключить, а Мосеева передать конфликтной за обман. После этого началось дело Рогожина и Ласкирика. И хотя Мологин был взволнован поведением Орлова, точно часть той тяжести, которая так сильно придавила Орлова, перешла на него, тем не менее дело Рогожина и Ласкирика теперь его уже почти не интересовало. Если Мосеева оставили потому, что он «свой», и Погребинский и Богословский оба молчаливо признали, что это правильно, так и полагается, то Рогожин и Ласкирик оба были «своими». А своих «перевоспитывают».

Говорил член конфликтной комиссии — франтоватый парень с вьющимися жесткими волосами и выпавшим или выбитым передним зубом. Он говорил, присвистывая, что пора перестать няньчиться с Рогожиным и Ласкириком, их прощали и предупреждали много раз, и если люди не понимают, что коммуна — не шалман, то, значит, они не хотят быть в коммуне.

— Их придется исключить, — закончил он решительно и пошел со сцены.

«А ты, малый, часом не был с ними в кустах?», насмешливо подумал Мологин. Выступление было явно несерьезным, вероятно, рассчитанным на то, что оратора слышит Погребинский, что как бы ни решилось дело Рогожина и Ласкирика, проявленное усердие не пропадет. И действительно, вслед за кудрявым попросил слово один из воспитателей. Он сказал, что не нужно горячиться, что надо продумать и взвесить все, чтобы быть совсем уверенным в правильности того решения, которое собранием будет принято. Мологин самодовольно усмехнулся. Было приятно, что чрезмерное «старание» франта из конфликтной получило такой быстрый и недвусмысленный отпор. Вряд ли теперь кто-либо позавидует его лаврам. Выступление воспитателя явно задавало тон. Но и Осминкин, и Накатников, и еще несколько ребят — все они, выступавшие один за другим, к удивлению Мологина повторили кудрявого. Они говорили, что горячиться, конечно, не следует, но в отношении Рогожина и Ласкирика все ясно и все давно взвешено: они позорят и разлагают коммуну, и для того, чтобы действительно подготовиться к приему из тюрем новых ребят, этому нужно положить конец.

Болшевцы молчаливо выслушивали каждого. В их сдержанности и отсутствии реплик Мологину чудилось желание выждать, узнать наверняка, что думают воспитатели, чудилось скрытое неодобрение. Он посмотрел на Погребинского. Тот был строг и пасмурен. «Перестарались», язвительно подумал Мологин. «Что же? Сказать?» Он встал и, грузно ступая ногами в юфтовых сапогах, пошел на сцену. Ему показалось на мгновенье, что он не может произнести ни слова. Внезапный взрыв шума и наступившая особенная, затаившаяся тишина, множество возбужденных, сливающихся лиц, движение, с которым Богословский сказал что-то Накатникову… Почему такая тишина, такая невыносимая, предательская тишина?.. А вдруг Мологин ошибся, вдруг это неправильно, что он подумал о коммуне, о себе, все что он думает сейчас сказать?

Каждое слово, которое он произнесет здесь, будет услышано, будет взвешено, будет учтено. Как он не подумал об этом! Он точно приблизился к пропасти *а* увидел дно. И письмо к Горькому, и выступление Гуляева, и слезы Орлова, и несчастный вид Рогожина и Ласкирика, и то, что делали они тогда в кустах, — все вдруг увидел Мологин иначе, новыми глазами.

— Исключить можно, — произнес Мологин, ему послышалось, очень уверенно и очень звучно.

В задних рядах крикнули: «Громче».

— Исключить можно, но будет ли это верно, будет ли

разумно? — говорил он, набирая побольше воздуха.

— Это будет неправильно! Это будет жестоко, — крикнул Мологин.

Было похоже, будто все, кто сидел здесь в зале, одновременно вздохнули, и вздох этот был непонятен. Он пугал.

— Да, будет жестоко, — крикнул снова Мологин дрогнувшим голосом. — Исключить, опять в тюрьму! Здесь все урки… Здесь все воры и жулики… Точно с другими не бывает того же самого? Сегодня ты его исключишь, завтра — он тебя. Тут злоба! И кто тогда в коммуне останется? Конечно, поступать, как Рогожин, в коммуне нельзя. Нужно влиять через культурный подход. Со временем, может быть, и они перевоспитаются. Но не исключать. Никого нельзя исключать! Это не нужно, это неправильно…

Шум, грохот, яростный рев оглушили его. Он сказал что-то еще, но и сам не услыхал своих слов. Он стоял бледный и растерянный. Он, Мологин, каждое слово которого еще вчера вот для этих же самых было бы законом. Он посмотрел для чего-то на раскрасневшегося Румянцева, тщетно призывающего к порядку, и, отойдя, сел на свободный стул. «Какая чудовищная неосторожность! И что он говорил… Чорт знает, что он наговорил. Не нужно было совсем выступать ему». Он поискал глазами Погребинского. Слабая надежда еще теплилась в нем. Лицо Погребинского казалось темным, на переносицу легла морщина, прямая и острая, точно стрела.

Теперь говорил Дима Смирнов, и шум вдруг улегся, и юношеский голос Димы звенел в тишине, как туго натянутая струна.

— Дядя Алеша, борода у тебя рыжая, голова у тебя лысая, — бросил он с насмешкой. — Живи с нами, работай! Помогай нам — ты умный. Но своих порядков у нас не заводи! Ты что думаешь! Мы меньше тебя себе добра хотим? Меньше тебя коммуну любим? Ты думаешь — жулики, так воровать можно? Один украл и всем — пожалуйста? Не будет, не выйдет! Кто плюет на наши порядки, мечтает прикрываться коммуной, тому у нас места нет. Таким, как Рогожин, у нас места нет… Здесь нет воров и жуликов! Здесь коммунары! Плохо, я скажу, ты, дядя Алеша, коммуну узнал.

Мологин сидел, отяжелев, опустив плечи, почти не разбирал слов. Какой стыд! И Погребинский и Сергей Петрович, оба здесь, оба все слышат. Что они могут теперь думать о нем? Увидел кусты, а из-за кустов не разглядел леса… Какой противный голос у этого мальчишки… Хоть бы один, хоть бы кто-нибудь поддержал!.. Что же это за люди? Разве это те жалкие воришки, которых Мологин презирал, считал за ничто? Это совсем другие, совсем особенные люди. Мологин не знал таких. Что могло

переменить их так неузнаваемо?

Из комнаты, где переодевались актеры на клубных вечерах, вышел Каминский. Он постоял в дверях, оглядываясь во все стороны. Потом пошел на цыпочках и, поравнявшись с Мологиным, кивнул ему.

— Алексей Александрович, — шумным напряженным топотом позвал он.

Мологин пошел рядом с ним, выпрямив спину и подняв голову. В комнате были Накатников, Гуляев, Новиков. Сергей Петрович мучил свою бородку. Мологину он показался удрученным и взволнованным. Возле окна стоял Погребинский. Он туго натягивал полы кожанки руками, опущенными в карманы.

— Матвей Самойлыч! Здравствуйте! — с деланной бодростью сказал Мологин.

Погребинский не изменил позы.

— Ты — двоедушный человек, — сквозь зубы произнес он. — Напрасно я поверил тебе.

— Матвей Самойлович! — воскликнул Мологин в отчаянии.

Слова Погребинского разрывали сердце. Думал ли он когда-нибудь услышать подобное? Этого ли хотел? Об этом ли мечтал? Заплакать бы вот так, сгорбившись, вскинув плечи, как плакал Орлов.

— Да, я Матвей Самойлович, — с презрением сказал Погребинский. — Что ты делаешь? Понимаешь, что ты разваливаешь коммуну? Только руки коротки, шею намнут. Они, они намнут! — движением головы он показал на двери. Оттуда доносились голоса.

— Они тебя, «пахана», на клуб посадили. Такое дело тебе доверили. Вот и Новиков и Каминский тебя выдвигали. Как ты думаешь, для чего? Чтобы ты шалман сделал?

«Хотя бы Новикова-то не было», тоскливо подумал Мологин.

— Ты ходишь по коммуне и все думаешь, что у тебя самый высокий рост. Тебе, видишь, негоже с другими себя равнять. Ведь ты — пахан!.. Пусть себе Накатников и Каминский — как знают. А ты не такой, ты — старое помнишь. Что тебе коммуна?.. Только бы Рогожин с Ласкириком худого чего не подумали… Ну-ка скажи, как это назвать? Ты — старый вор, тебя уважили, приняли, поверили, что помогать будешь. А ты о чем думаешь? Кому стал помогать?

— Матвей Самойлович, — перебил Мологин. Голос его был хрипл и невнятен. — Я понимаю… Повеситься надо! — добавил он внезапно, одновременно быстро заглянув в глаза Погребинскому.

— Защитник, видишь ли, радетель! «Никого нельзя исключать». Душа, добряк парень! Во всех шалманах теперь скажут: «Алеха-то наш, во!» Вот кому ты помогать начал. Вот на кого ты стал работать, — продолжал Погребинский. Он точно не слышал Мологина.

— А спросил ли ты, сколько Сергей Петрович греха принял на душу, укрывая от общего собрания вот этих твоих Рогожина с Ласкириком? Поинтересовался ли ты, сколько ночей и Богословский, и Накатников, и Николаев просидели с ними, убеждали да уговаривали? Тебе неинтересно? Понятно. Ну, а о том ты подумал, что не исключить этих теперь, так завтра десятки новых начнут воровать и пить — раз это можно, раз позволяется. А чем все они могут кончить? Ты не знаешь, чем они могут кончить? Ты не думаешь, что в конце концов они могут просто погибнуть? И мы — мы с тобой были бы виноваты в их гибели! Ну, так зато же мы с тобой добрые, мы с тобой не жестокие! Зато же нас Васька Козел похвалит. Пускай себе гибнут, нам-то до них что!

— Матвей Самойлович, — сказал Мологин. Комната кружилась и плыла у него перед глазами. — Матвей Самойлович! — Мологин беспомощно оглянулся. Ни одни глаза не приняли его взгляда. — Лучше мне, наверное, обратно, назад, — глухо сказал он.

Погребинский вдруг качнулся и отскочил от окна.

— Назад! — закричал он, словно в великой радости. — Нет! Не назад! Нет дороги назад! В нашей стране никому нет дороги назад! Ты свои эти штучки брось! Ты будешь итти вперед! Ты будешь итти *только* вперед! — Он выхватил руку из кармана кожанки и помахал пальцем.

— Толстовец ты, а не вор! Вешаться вздумал! — глаза Погребинского блеснули насмешкой. — Хватит, Мологин! Будет, довольно юродствовал! Сегодня же после собрания пойдешь с воспитателями по общежитиям. Слышишь? И будешь объяснять всем, почему нельзя пьянствовать и воровать, почему ты считаешь, что за это нужно исключать из коммуны. И так объяснять, чтобы каждый понял и согласился. А не пойдешь, не захочешь… — Погребинский широко махнул рукой. — Тогда делай, как знаешь. И слышать о тебе больше не захочу.

— Пойдем, Алеха, — участливо сказал Каминский и тронул Мологина за плечо.

— В барак надо будет пойти, — вмешался Сергей Петрович. Тон, движения, выражение его лица были деловиты и будничны. — В барак обязательно надо сходить — там народ новый.

Секрет победы

После того как Мелихов принимал участие в организации Звенигородской коммуны, он недолго прожил в Болшеве. Здоровье все чаще стало изменять старику.

— Пора в отставку, — спокойно говорил он ребятам. — Хватит, поработал. Теперь дело у вас пойдет: народ подрос, сменить меня есть кому.

Вскоре он действительно покинул работу и перешел на пенсию. По старой памяти болшевцы изредка навещали его.

Старик был очень доволен вниманием и поил их чаем с вареньем.

Нового управляющего коммуной, Михаила Михайловича Кузнецова — так представил его на общем собрании Богословский — ребята встретили аплодисментами. Плотный, ладно сложенный, с круглой коротко остриженной головой и большими серыми глазами, он производил впечатление простого жизнерадостного человека, с которым легко будет ладить.

— Погодите! Аплодисментов ваших я еще не заработал, — сказал он, кашлянув. И произнес недлинную речь. В ней досталось и мастерским, недостатки которых он каким-то образом уже знал, и кое-кому из лодырей и филонов. А он пробыл в коммуне всего одни сутки.

На другой день ранним утром Новиков — один из старых членов коммуны, работавший в кооперации, — увидел нового управляющего с засученными рукавами и лопатой в руках. Кузнецов взрыхлял землю под окном того дома, где была его квартира. Лопата блестела, ломти вязкой земли ложились рядами.

— Хочу цветничок разбить. Веселее будет, — сказал Кузнецов, заметив удивление Новикова.

— Ага, да, конечно! — сказал Новиков, хотя удивление его нисколько не стало меньше.

— Нужно покончить в коммуне с запущенностью и грязью, — сказал Кузнецов. — Где грязь и сор, там не может быть ни здоровой жизни, ни хорошей работы.

Новиков ушел недоумевающий и оскорбленный: разве в коммуне на самом деле такая большая грязь!..

Кузнецов родился в бедной крестьянской семье. Малоземелье, бесхлебье. Отец отвез двенадцатилетнего сына в Петербург, через земляка пристроил работать за хлеб в обойно-драпировочной мастерской, чинившей изношенные диваны и кресла. Безработица выгнала Кузнецова с котомкой за плечами в Москву. Он работал с сезонниками. Случай привел за кулисы театрика «Миниатюр», где

неумелой еще рукой Кузнецов подмалевывал пропахшие пылью и крысами декорации.

Отсюда перешел в театр Корша на Большой Дмитровке. Там декорации писались по эскизам настоящего художника, внимательного, сердечного человека. Он заметил одаренность Кузнецова и устроил его в вечерний класс Строгановского училища.

Краски полонили Кузнецова.

Он смотрел на московский закат и распознавал в нем кармин и кадмий, берлинскую лазурь и золотую охру. Ожили, стали понятными, по-дружески заговорили с ним с полотен Третьяковки Репин, Куинджи, Левитан. Кузнецов вырисовывал себе четкие контуры жизни: помощник декоратора, декоратор, художник. Но когда была выполнена первая часть программы и он, Кузнецов, стал декоратором, кисть оказалась обузой в вихре событий. Он сменил ее на винтовку, стал красным бойцом.

На границе белой Финляндии ему выпала на долю честь огласить в своей части телеграмму о ликвидации карельского фронта; часть уехала, а он, Кузнецов, волей партии остался пограничником.

Эскизы карельских пейзажей все чаще и чаще заменялись тезисами докладов. Кузнецов возмужал на партийной и чекистской работе.

В Карелии, в Ленинграде, в Москве Кузнецов работал в органах ОГПУ, и только точные критические замечания о декорациях, когда он изредка бывал в театре, изобличали в нем вчерашнего декоратора. Может быть, отчасти это и сказалось в том, что неряшливый, непривлекательный вид коммуны нашел в нем такого непримиримого врага. Щебень, щепы, мусор вперемежку со снегом широко окружали строящееся четырехэтажное общежитие и завод коньков, придавая всему вид неуютный, неряшливый. Внешне коммуна еще походила на деревню. По-провинциальному тускло смотрели окошки бывшего крафтовского особняка, по-провинциальному выглядели четыре первых низеньких фибролитовых домика.

Болшевцы жили в фибролитовых домах, на частных квартирах в деревне Костино, отчасти в бараках. Давно механизированные, резко увеличившие объем производства и дающие прибыль фабрики и мастерские коммуны еще не все имели соответствующие их потребностям помещения. Особенно плохо было с обувной. Она все еще помещалась в старой конюшне. Было там грязно, душно, стоял тяжелый запах кожи, клея и вара. Низкие перекошенные потолки грозили рухнуть. С бревенчатых стен бахромой свисала пыльная паутина.

Ребята пригляделись к обстановке, не замечали ее. Они любили коммуну, где все было сделано их руками, верили в ее будущее.

На окраине села Костино,
Где жил Ленин — учитель и друг,
Тихой осенью, в дни ненастные,
Создавалась коммуна не вдруг.
По кирпичику и по бревнышку
Прокладали дорожку и путь,
Время первое было трудное,
И боялись к пути мы примкнуть.

Эта сложенная кем-то из ребят на мотив «Кирпичиков» нехитрая песенка не переставала раздаваться в цехах. А болшевец Лежев на каурой мохнатой клячонке, в огромной бочке ежедневно привозил в коммуну воду. И мало кому это бросалось в глаза.

Хуже всего выглядела площадка против управления коммуны. Между непросохшими лужами скупо кустилась трава, валялись обломки кирпича, ржавые консервные банки. На случай дождя были брошены узкие деревянные кладки. Кузнецов организовал субботник. В выходной день на глинистой площадке закипела работа. Девушки сгребали граблями мусор, расчищали место для клумб и газонов. Молчаливый Лежев подвозил ярко-зеленый дерн. Кузнецов в центре площадки с лопатой в руках сооружал вторую клумбу в коммуне. А на ближайшем общем собрании по предложению бюро актива был принят план озеленения коммуны. Она разбивалась на участки, к каждому участку прикреплялись комиссары озеленения. Мало-помалу коммуна входила во вкус этих похожих на праздник веселых работ. Забота озелени, о чистоте врастала в быт, переходила в число традиций коммуны.

С первых же шагов новый управляющий коммуной понял, в чем секрет успехов коммуны, достигнутых таким небольшим коллективом воспитателей. Сила коммуны была в ее самоуправлении и в ее старых кадрах, в ее активе. Коммунары — комсомольцы и члены партии, — конфликтная и аттестационная комиссии, производственные тройки и совещания в мастерских, клубный совет, клубные кружки — все это представляло разветвленную систему расстановки лучших людей коммуны. Вновь прибывший не был предоставлен самому себе. Он попадал в эту систему. Куда бы он ни пошел, чтобы ни делал — всюду находил людей, оказывающих ему поддержку и помощь. «Перевоспитывать воров усилиями бывших воров — вот в чем все дело!» И Кузнецов отбирал из активистов воспитателей в

общежития и цехи, добивался того, чтобы не было такого дела в коммуне, которое казалось бы воспитаннику не касающимся его.

Мологин был втянут в этот круговорот коммунской общественности. По совету Кузнецова он перестал работать на обувной фабрике. Вскоре он убедился, как правилен был этот совет. Клуб должен быть одним из важнейших рычагов перевоспитания. Но справится ли с этим Мологин, хватит ли у него гибкости и уменья! Вечером, ложась спать, он думал о клубе. Маленький тесный домик с низенькими потолками мерещился ему во сне. Чуть занималась заря, он уже просыпался в заботе и тревоге о нем.

— Неужели прежние наши дела были полегче? — говорил он иногда Каминскому. — Ведь вот все думаю, если не справлюсь, как тогда я…

Шутливостью тона он маскировал отсутствие самоуверенности. Спокойствие и рассудительность Каминского неодолимо, влекли к нему. Каминский улыбался одними глазами — он понимал шутку.

— Ну, понятно, как тебе справиться, — соглашался он. — Все о себе будешь раздумывать. Какие тут еще другие дела?

Мологин натянуто смеялся.

Время от времени он ездил в Москву, ходил по учреждениям и складам, присматривал, что может пригодиться коммуне, заводил знакомства и связи, составлял сметы и требования, толковал с представителями и кладовщиками, объяснял всем, какую исключительную важность имеет дело перевоспитания молодых правонарушителей. И часто он добивался того, что в коммуну приходили автомобили, груженные клубным имуществом.

— Значит, вы заведуете там клубом? — спрашивали Мологина учрежденческие бухгалтеры и управделы. — Небось, не легко, жутко приходится с этими бандитами! Того и гляди, ножиком в бок?

Мологин улыбался с иронией:

— Уж не такой это страшный народ, как кажется! Да и не бандиты у нас, а бывшие жулики. Поработали бы с ними столько, сколько я, и вы бы не боялись. Уж вы поверьте мне!

Он добыл кресла, декорации, костюмы для драмкружка, собрал ребят, умеющих рисовать, украсил стены клуба картинами и лозунгами. Почти все, что требовалось для спорта, давали мастерские коммуны. Он работал терпеливо, настойчиво, стараясь все предвидеть, ничего не упустить. Знание людей, уменье пользоваться обстоятельствами — качества, выработанные

в прошлом для совершенно иных дел, — и здесь приносили пользу. И все же на каждом шагу, особенно в дни подготовки к большим клубным вечерам, когда захлестывал поток мелочей, непредвиденных осложнений, он убеждался, что его прозорливости недостаточно. Если бы не актив — члены совета, кружковцы, музыканты с их неистощимой энергией и предприимчивостью — он иногда просто не знал бы, как выходить из затруднения. Он видел помощь со стороны активистов и не мог не ценить ее.

В чем сила и преимущество этих людей? Разве они не такие же, как и Мологин? Не всегда ведь и они были членами профсоюза и комсомольцами! Вот Беспалов не спит ночей, возится с прикрепленным к нему новичком, пьяницей Аладьиным. Не построено ли в коммуне все на таком самоотвержении, готовности забыть о себе, о своих интересах и потребностях?

Каждую новую партию урок, приходившую в коммуну, Мологин изучал сам. Он разговаривал с вновь прибывшими, выявлял их вкусы и склонности, старался привлечь в клуб. Среди них были и женщины. Клуб нуждался в исполнительницах женских ролей, в танцорках и хористках. Мологина заинтересовала одна из женщин, прибывшая с партией из Казахстана.

— Ну, а вы что? Такая скромница. Может быть, умеете на сцене играть, в пьесах? — спросил он ее.

Женщину звали Анна Величко. Она смущенно улыбалась, теребила платок. Она не умела ни петь, ни играть на сцене. Ее простое, детски свежее, наивное лицо и стесненные, точно связанные движения выделяли ее среди развязных, грубых товарок. Она сказала Мологину, что работала «по домовой». Мологин пожалел, что она ничего не умеет.

— Вы все-таки приходите к нам в хоровой кружок, мы попробуем голос. Вы ведь любите пение?

— Люблю, — подтвердила Величко неуверенно. Возможно, что она в первый раз в жизни подумала об этом.

Вечером у Богословского говорили о том, что при возросшем числе воспитанников — теперь их было свыше пятисот человек — надо учиться сочетать индивидуальный подход к каждому с методами массового воспитания людей. Говорили о растущей ответственности актива. Мологин думал о Величко. «Прошла огонь и воду, а совсем неиспорченная», удивлялся он.

— Мало разоблачительных заметок в стенгазетах. Актив должен раскачиваться, — говорил воспитатель Северов, невысокий темноволосый покладистый человек, недавно начавший работать в коммуне. Он прихлебывал горячий чай,

помешивал в стакане ложкой.

«Вот так бы посидеть, попить чайку, поболтать о чем-нибудь с приятелями», неожиданно подумал Мологин.

— Еще несколько «стариков» думаем взять. Ты ведь, Мологин, знавал Бабкина? — сказал Сергей Петрович.

Он смотрел на Мологина с улыбкой. Мологин выдержал взгляд.

— Знавал, случалось, и чай вместе пили! — быстро, развязно произнес он, прикрывая неласковые зеленоватые глаза.

— Просится к нам, — сказал Сергей Петрович.

Мологин промолчал. Он ушел под каким-то предлогом раньше других. Он прошел коммуну, деревню, вышел в поле. Тут в это время, в этот час, вряд ли кто мог наблюдать за ним. Тут он был наедине с собой.

На черном небе сверкала россыпь голубоватых звезд. За лесом шумел поезд, слитный гул его колес становился все глуше и отдаленнее. «То-то! — думал Мологин. — Сообразили, „святители“! Он торжествовал свою победу над кем-то неопределенным, многоликим, чью несправедливость, бессмысленную тупую злобу не переставал чувствовать. Он бы запел, если бы не опасался, что его примут за пьяного. „А в сущности, что произошло особенного? Ну, просится и просится. Мало ли приходит теперь людей в коммуну?“»

Конечно, дело не в Бабкине. Ничего не мог значить сам по себе этот несамостоятельный, безличный человек. Но если даже он расхрабрился, даже он осмелился! Как правильно поступил Мологин, как мудро сделал, когда решился пойти на этот путь.

Бабкина он увидел только на собрании, где стоял вопрос о его приеме. Оробевший, вялый, Бабкин мало походил на того великолепного, распетушившегося наглеца, каким помнил его Мологин с последней встречи.

— Здорово, Миша, — подошел к нему Мологин.

В белесых круглых глазках Бабкина мелькнула растерянность.

— Леха? — узнал он и вздохнул, рябое лицо его расплылось в улыбку.

— Значит, надумал сюда? — сказал Мологин.

Бабкин воровато оглянулся и захихикал.

— А что ж? Конечно! Дураков нету, — зашептал он, вплотную придвигаясь к Мологину. — Раз теперь все бросают… — Он хотел сказать еще, что если бы не знал, что Мологин в коммуне, вероятно, не сделал бы этого. Но не посмел.

Мологин избегал новых встреч с ним, избегал встреч с Величко. Он понимал теперь, что он слишком заметный урка, что от него требуется больше, чем от обыкновенного болшевца. Жить

в коммуне для него могло значить только одно: быть безукоризненным примером для других.

Но почему-то выходило так, что Величко он встречал всюду. А встретив, не мог удержать радостной улыбки, не мог не остановиться и не поговорить с ней. И все в коммуне странным образом повертывалось к нему теперь таким углом, который прежде оставался как бы в тени. Болшевец, гуляющий под выходной день со своей женой и сыном, вопрос о яслях, поднятый на активе, споры женатых болшевцев из-за лучших квартир — все эти мелочи быта теперь казались необыкновенно назойливыми, задевали, даже раздражали Мологина. Зависть? Во всяком случае — слабость, которой нельзя позволить овладеть собой.

А теперь Мологина почти каждый день стал посещать Бабкин. Он приходил в клуб, подвигал себе стул, усаживался. Мологин терпеливо ждал, когда Бабкину надоест и он уйдет. Тот не спешил. На бледном оспенном его лице лежала всегдашняя глуповатая ухмылка. Он пускался в воспоминания, заговаривал о каком-то банщике, у которого жил до последнего ареста, о кипах драгоценной шерстяной материи, спрятанных им у этого банщика и благодаря коварству этого человека так и пропавших для Бабкина. Он глубоко жалел об этой потере… Мологин вздыхал с искренним облегчением, когда Бабкин, наконец, поднимался. И зачем приходит? Несет всякую околесицу, а в комнате ребята, непрерывная людская толчея. Поймет ли, наконец, Бабкин, что не нужны Мологину ни его посещения, ни тем более его нелепые двусмысленные разговоры?

Все время приходилось быть настороже, напрягать всю силу характера, чтобы не допустить оплошностей и ошибок, быть может, и непоправимых.

Большая стройка

В коммуну приехал работник ОГПУ Островский. Он осмотрел коммуну и собрал актив. Коммуна освоила трудное производство главнейших видов спортивного инвентаря. В ней найдены, проверены практикой новые, небывалые еще методы перевоспитания социально-искривленных людей. Дело, начатое партией, руководимое чекистами, росло и развивалось.

Коньки и лыжи, теннисная ракетка и футбольный мяч, парашют и ялик — все более вхожи в быт страны, все более становятся потребностью самых широких масс. Впереди еще небывалый расцвет советского спорта. Мастера металла, угля и хлеба должны быть и мастерами спорта, спорт неотделим от производственной и оборонной мощи страны. Нужно, чтобы

Болшево становилось центром, оборудованным первоклассными фабриками и заводами, снабжающими страну всеми видами высококачественного спортивного инвентаря. К этому вели коммуну ее организаторы — товарищи Ягода, Погребинский, Шанин и Островский.

Островский поделился с болшевцами своими впечатлениями и не счел нужным скрывать замеченные им недостатки. Наоборот, прямо, не избегая резкости, он подчеркнул их. Он говорил о пятилетке, изменяющей лицо страны, о перспективах развития спорта, о материальной его базе, создающейся в Болшеве, говорил о директиве Ягоды о расширении строительных работ.

— Соха и мотыга останутся детским воспоминанием, а строим мы тракторные заводы, — говорил он. — Бывший ширмач постиг хитрости ремесла, обувает себя и своего товарища. Нужно, чтобы все более росла его квалификация, росла зарплата, чтобы общественность видела: да, это крепкие ребята, они делают нужные дела. Вы все это знаете, за это боретесь. А обувная мастерская, например, у вас в тесной грязной конюшне. Как же вы миритесь с такой обувной?

Болшевцы молчали выжидательно, немного смущенно.

— Нужна индустриализация. Время полукустарных мастерских отошло. Это понимает, я думаю, каждый коммунар, — продолжал Островский. — Принцип коммуны — «ничего даром». Никаких субсидий и безвозвратных ссуд. Большие фабричные корпуса вы должны построить сами, на свои средства, на средства коммуны, и сами коммунары, особенно активисты, должны решить, что нужно сделать, куда направить прежде всего коммунскую копейку.

Расширение строительства занимало умы всех.

Работник ОГПУ Шанин, худощавый, коротко подстриженный, с тонким моложавым выразительным лицом, и плечистый громкоголосый Островский теперь постоянно приезжали в коммуну. Уже не было болшевца, который бы не знал их. Гуляев, Мологин, Глазман, Накатников окружали их, делились своими соображениями, получали от них советы и указания.

Ребят волновало больше всего то, что они сами должны были наметить новые объекты строительства, решить вопрос, куда вложит коммуна свои средства.

Нужд обнаружилось много. Болшевцы спорили. Одни требовали прежде всего хорошую, просторную баню, другие — прачечную, третьи поднимали вопрос о хлебопекарне и о воде. Они спорили ожесточенно, беспорядочно, малодоказательно, тратили на это многие часы. Их споры Мологину иногда казались праздными. Не только потому, что даже самые рассудительные

активисты, с мнением которых Мологин привык считаться, обнаруживали в этих спорах удивительно неудержимый полет фантазии. Но неужели нужно поверить, что решение такого важнейшего вопроса действительно предоставлено самим воспитанникам?

Однако Мологину не удавалось остаться в стороне. Больше того, получалось, что именно он оказывается чуть ли не главным спорщиком. У него было больше опыта, трезвости, практического разума. Да и не мог он слушать равнодушно, когда при нем Смирнов предлагал строить кроме обувной и прачечной еще больницу, новую лыжную станцию и такой театр, как в Москве. Осминкин требовал в первую очередь переоборудования стадиона, а кооператор Новиков видел главное в том, чтобы выстроить новый дом для кооператива.

Они готовы были строить все. Если бы принимать всерьез все их предложения, вырос бы целый город.

Может быть, потому, что Мологин все еще чувствовал себя полировщиком уреза, постройка обувной представлялась ему единственно настоящим делом.

Но в конце концов он уступал: почему, действительно, не строить одновременно и фабрику и предприятия, улучшающие быт? Его гибкость всех умиротворяла.

Вскоре после приезда Островского активисты вместе с ним, Шаниным и Кузнецовым были у товарища Ягоды. Они пришли говорить о дальнейшем строительстве. Они рассказали ему о том, как реализуются его давнишние слова: «Работайте хорошо — и у вас вместо мастерских будут первоклассные фабрики, мощные заводы».

Ягода повторил свои слова:

— Да, так. Работайте хорошо, и вы построите все, в чем испытываете потребность.

— А какова себестоимость ботинка, выпускаемого обувной фабрикой? — неожиданно спросил он.

У Гуляева мучительно скривилось лицо. Он силился что-то вспомнить. Никто не ответил.

— Окупаются ли новые станки на трикотажной?

Молчание.

— Может, вы скажете, когда окупятся станки на деревообделочной?

Болшевцы продолжали молчать. Член коллегии улыбнулся.

— Ну что ж, — сказал он, — очевидно, когда подсчитаете, тогда и продолжим этот наш разговор.

— Мы просим разрешить нам начать в этом году постройку обувной фабрики, хлебопекарни, бани и прачечной, — торопливо,

неуверенно произнес Мологин.

— Сколько у вас заработано денег?

— Баланс еще не закончен, по предварительным подсчетам…

— «По предварительным подсчетам», — повторил Ягода. Он помолчал, едва уловимая улыбка опять скользнула по его лицу. — Разве так можно, — сурово сказал он. — Разве так должен знать дело хозяин? Фантазируете, мечтаете, как… дети. Планетарий бы еще запланировали. А сколько имеется средств, никто не может точно сказать.

Он протянул руку и взял со стола мелко исписанный лист бумаги.

— По вчерашний день включительно вы заработали один миллион тысяча сто восемнадцать рублей. Всего, что вы хотите, построить сразу нельзя — нехватит средств. Деньги ваши. Вы вполне хозяева им. Выбирайте: хотите — с завтрашнего дня будем строить новую обувную фабрику, хотите — этот миллион вложим в строительство пекарни, бани и прачечной. Свой хлеб, своя баня, своя стирка… Это неплохо. Неправда ли?

— Обувную, — обеспокоенно вырвалось у Мологина. Ему показалось на секунду, что действительно баню и прачечную могут предпочесть обувной.

— Обувную, — в один голос поддержали его Гуляев и Глазман.

— Иосиф Маркович, коммунары на заработанные ими деньги хотят построить новую обувную фабрику, — обратился Ягода к Островскому. — Нужно это дело оформить и двинуть.

— Хорошо, — сказал Островский.

Потом коммунары пошли в кабинет к Шанину. Шанин вызвал к себе Лурье, Лангмана и каких-то товарищей из финансового отдела. Он обратился к коммунарам.

— Мы получили сейчас суровый, но полезный урок, — сказал он. — Мы никудышные хозяева. Огромная страна имеет четкий пятилетний план, а мы живем, как кроты. Мы не знаем, сколько стоит у нас любой предмет, сколько мы заработаем завтра. Можно ли с этим мириться теперь? Вы хозяева коммуны, вы должны знать все, знать цену каждой скобы, гайки.

Он испытующе оглядел болшевцев. Они избегали его взгляда.

— Мы будем сидеть здесь, у меня в кабинете, столько дней и ночей, сколько потребуется, чтобы создать законченный сводный баланс и продуманный план стройки на ближайшие годы.

Да, это был урок. Предметный, плодотворный, незабываемый урок — какими должны быть хозяева.

Болшевцам было поручено самим выработать технологический процесс обувной фабрики. Никогда еще

коммуна не жила так напряженно.

О том, что предстоит новый набор, в коммуне говорили давно. Говорили, что набор будет большой — об этом сказал болшевцам Островский в один из своих приездов — стало быть, возьмут пятьдесят, а может быть, даже и сто человек. Но цифры, названной Островским на заседании бюро актива, никто не ожидал; четыреста-пятьсот человек! Увеличить коммуну более чем вдвое! С этим трудно было освоиться, к этому нужно было привыкнуть.

Высказались активисты Глазман, Новиков, Гуляев, Каминский. Никто не возражал Островскому, никто ничего не имел против приема больших партий, но никто в сущности и не поддерживал. Опасались, что пятьсот правонарушителей, принятых одновременно, «растворят» в себе уже перевоспитанных коммунаров. Опасались, что волна «новых» ударит по законам коммуны, внесет много огромных трудностей; что начнутся групповые побеги, за новичками могут потянуться и старые болшевцы. Кто-то предложил взять то же число правонарушителей, но не сразу, а небольшими группами по мере некоторой обработки каждой группы в коммуне. Вспомнили о жилье. Свободного жилья не было. Не обрекались ли благодаря этому те, кто будет взят вновь, на существование под открытым небом? Много опасений было высказано на активе, и получилось так, что «новых» взять можно, но ничего хорошего от этого не приходится ждать. Тогда резко выступил Кузнецов:

— Чего вы испугались? Вы — лучшие передовики, актив, — сказал он. — Что же вы не понимаете, что методы нашей работы в коммуне оправдались полностью, что пора их приложить шире, к большим массам? Или вы думаете сделать это каким-то лишь вам известным способом — без трудностей, без опасения, без забот?

В комнате висел сизый плотный табачный дым. Да, инерция была. Привычка к отстоявшимся, несложным темпам и масштабам. Этому нужно было дать бой.

Островский снял шинель.

— Вы любите коммуну, — сказал он. — Вы настолько ее любите, что боитесь брать новых людей. А вдруг они не братья, а дальние родственники? Еще бы вам не знать их воровские повадки. И вы трепещете за коммуну. Но как? Как мелкие собственники, как себялюбцы: дешевая любовь, дешевая тревога! Те, кого мы предлагаем вам взять, такие же, какими вы были вчера. Но вы уже получили кое-что, взяли свое, и вам теперь нет дела до других. Хорошо, это ваше дело. Но растущее производство не может удовлетвориться наличием

воспитанников. Значит, будем брать вольнонаемных. Не хотите брать своих товарищей по несчастью, не хотите помочь им? Ладно, пусть коммуна станет коммуной вольнонаемных, если вы этого хотите.

Первым заговорил Накатников. Он заговорил горячо, даже не попросив слова.

— Прав Островский, прав Кузнецов, — страстно сказал он. — Мы забыли слова товарища Ягоды, те слова, которые нужно было выжечь в наших сердцах: «Вырабатывая из себя сознательного пролетария, помогай сделаться таким же и другому». Сила коммуны — в труде, в коллективе. Хотим расти, хотим, чтобы был город. А перед первой же трудностью оробели, готовы залезть в кусты. Стыдно нам.

Каминский и Глазман молчали. Обидны слова Островского. Но разве они высказывали свои опасения потому, что не хотели помочь другим?

— Конечно, если по условиям производства нужен прием, то тогда надо бы брать наших ребят, — заговорил Новиков. — А насчет жилья, можно бараки…

Кузнецов удовлетворенно кивнул головой.

— Придется честно признать свою ошибку, — неторопливо сказал Каминский. Он всегда говорил медленно. — Накатников, пиши: «Принимаем пятьсот». И от трудностей у нас еще никто не лазил в кусты, — добавил он едко, но уже не для протокола.

На другой день после решения актива о приеме пятисот человек приехал начальник инженерно-строительного отдела ОГПУ товарищ Лурье.

Весь в черном, черноглазый, гладко причесанный, он показался ребятам воплощением организованности и точности. Он привез с собой синюю кальку, на которой искусный рейсфедер чертежника нанес план обувной фабрики, обширной, светлой, со стеклянной крышей.

— По заключению специалистов, — сообщил Лурье, — технологический процесс разработан коммунарами безукоризненно. Он без поправок положен в основу проекта. Особенно примечательны соображения о коридоре. Мы просмотрели несколько планов больших и малых обувных фабрик. Как правило коридоры запланированы по середине. Ребята благодаря знанию практики производства доказали, что коридор надо сделать сбоку. Мы взяли именно этот вариант.

И такой огромной важности факт, который в другое время обсуждался бы всей коммуной не одну неделю, теперь промелькнул как эпизод.

Третий день почти без перерывов в ХОЗО шло заседание,

включавшее производство коммуны в государственный план пятилетки.

Кузнецов приехал в Болшево почерневший, небритый. Он привез с собой еще нового для болшевцев человека — архитектора Чериковера. Чериковер ходил по коммуне с картой-пятиверсткой в руках, морщился, крутил носом. Леса и болота смущали его. Нужно было дать чертеж предстоящей стройки, но генерального плана самой стройки, цифр и расчетов не было. Чериковер впервые сталкивался с такой невероятно трудной задачей.

Он помнил свой разговор накануне с Лурье и Лянгманом. Лангман был старый, опытный архитектор, талантливый, энергичный человек. Для Чериковера его слова имели большой вес. Лангман сказал:

— Территория коммуны с разбросанными постройками — и унаследованными и вновь выстроенными — поражает отсутствием планировки. Что касается характера старых домов, то это типичные помещичьи и мещанские постройки. Это, разумеется, неприемлемо. Нужен план. Нужно разместить объекты строительства— улицы, площади, парки, пруды, — чтобы все получило свое место, соответствующее назначению. Нужно создать замкнутый хозяйственный комплекс, развивающийся по строго плановым путям.

Ну что же… Нужен план — значит, он будет!

Чериковер работал всю ночь. Под утро в квартире Кузнецова на простом листе бумаги была набросана грубая схема плана будущего городка. Территория разбивалась на секторы. Там, где были мелкий хвойник и ржавое болото, резкие линии обозначали границы производственного сектора, площади фабричных корпусов; левее большой участок был отведен под бытовой сектор — клуб, учебные заведения, баню, прачечную, кухню. На поселок у станции Болшево, на серенькие избушки Костина наступали цветные прямоугольники — будущие жилищные комбинаты.

Карандаш Чериковера смело кромсал на карте болшевскую географию. Архитектор покачивал головой, он словно желал сказать: «Мне что, я вычерчу, чертить я умею, но посмотрим, как вы осушите болота и выстроите корпуса».

А еще через два дня, в свежее прохладное утро, на фабриках коммуны произошел внезапный простой.

Люди бросали цехи, выбегали на улицы, закидывали вверх головы и стояли, как зачарованные. Над коммуной, рокоча пропеллером, сверкая серебристой оболочкой, низко, почти бреющим полетом плыл самолет. Он описывал плавные круги, может быть, ища места для посадки, — но где тут снизиться? Лес,

буераки, болото.

Ребята спорили, высказывали свои соображения и догадки под густой, волнующий гул воздушного гостя. Кто-то пустил слух, что это Кузнецов осматривает коммуну сверху.

Производство стало. Обеспокоенный Богословский спешил к столпившимся болшевцам. Нужно было немедленно прекратить этот массовый, похожий на катастрофу прогул. Богословский шел крупным шагом к группе ребят, в центре которой стоял воспитатель Борис Львович Северов. Когда-то Северов готовился в летчики и теперь казался ребятам авторитетным консультантом. Северов убеждал ребят вернуться в цехи.

— Что это такое?.. Дети вы, что ли? Слышите? По местам! — закричал Богословский, хмурясь, но и сам искоса поглядывая на низко летящий самолет.

— Михаил Михайлыч коммуну сверху высматривает, — откликнулся кто-то из ребят.

Это звучало солидно, походило на уважительную причину и как бы объясняло прогул. Но точно спеша опровергнуть это голословное утверждение, из-за поворота показался маленький синий фордик. Из него вышел Кузнецов.

Ребята окружили его.

Кузнецов с первого взгляда понял все.

— Это по распоряжению ХОЗО производят аэрофотосъемку коммуны, — сообщил он.

Потом объяснил ребятам, что объектив аэрофотоаппарата имеет максимальную резкость, обладает большой светосилой и большой кроющей способностью. Пообещав показать в скором времени аэрофотоснимок коммуны, Кузнецов заключил тоном, не допускающим возражений:

— Люди работают, давайте работать и мы…

Порядок восстановился. Директоры и руководители успокоенно утирали пот.

Теперь — что ни день — в коммуну приезжали новые люди. Грузовики подвозили песок, бочки с цементом, дикий известняк, желтый, как парафин, тес, кирпич.

Утро начиналось шумом, говором, песнями. К маю строительный материал для обувной фабрики был изготовлен, чертежи уточнены, и даже вырыт котлован. Можно было начинать стройку.

День закладки обувной фабрики выдался ясный и безоблачный. После завтрака около котлована собралась вся коммуна. Из Москвы приехали товарищи Шанин и Островский.

Заиграл оркестр. На трибуну поднялся Гуляев. Он думал поговорить о прогулах, о плохом выполнении производственного

плана, но, оглядев радостные лица ребят, сказал только:

— Праздник труда, праздник закладки обувной фабрики считаю открытым…

Вслед за ним на трибуну поднялся Островский.

— В этом году, — сказал он, — мы вкладываем в строительство первой коммуны миллион шестьсот рублей, на следующий год планируем вложить четыре миллиона, а еще через год будет вложено десять миллионов.

В руках Островского блеснула на солнце медная дощечка.

Он поднял ее и прочел:

«Спортивно-обувная фабрика первой трудовой коммуны ОГПУ заложена 2 июня 1930 года. Первый кирпич клал старый коммунар товарищ Генералов».

Генералов был скромный, ничем не выдающийся коммунар. Но он был один из старейших. И он первый, даже раньше Гуляева, правда, с ворчанием и руганью, согласился сапожничать. Еще он был известен болшевцам своей любовью к разведению поросят и случаем, который у него вышел с Шаниным. Осматривая коммуну, товарищ Шанин наткнулся на какой-то сарай непонятного назначения и приоткрыл дверь. Большая розовая свинья с десятком поросят, тыкавшихся пятачками в материнский живот, лежала недалеко от дверей. Вот тогда и налетел на Шанина Генералов. Освирепевший, лохматый, он мог навести страх.

— Отойди! Отойди, а то… — кричал он.

— Что с тобой? — удивился Шанин.

— Поросят застудишь! Вот что. Нечего тут смотреть, — сердито ворчал Генералов. Он с силой захлопнул дверь.

Сегодня Генералова нельзя было узнать. Он был в новом костюме, выбрит, причесан, от него пахло одеколоном.

В руках он держал большой красный кирпич. Осторожно, не оглядываясь, он сошел по доске в котлован и медленно положил медную дощечку, а на нее сверху кирпич. Болшевцы закричали «ура». Их голоса слились с звуками духового оркестра.

Праздник закладки кончился. Будни вступали в свои права. Жилье, как быть с жильем?

Четырехэтажное общежитие было достроено. Но удовлетворило оно только самые неотложные нужды. Полтысячи новых воспитанников должны быть где-то размещены. Все увеличивалось количество сезонников. Где жить этим?

Ни один большой вопрос не решался помимо актива. Вопрос с жильем обсуждался с особой страстностью. Это не был какой-нибудь отвлеченный, не имеющий практического значения вопрос, его нужно было решать немедленно. Большая часть

активистов, в их числе Каминский, Накатников, Беспалов, исходила из того, что коммуна утвердилась, стала на ноги. Если строить, то уж строить на совесть, на годы. Не какие-нибудь хибарки, а жилкомбинаты с ванными и газом, с балконами и цветниками вокруг. Размах, тяга к большим масштабам, уверенность в завтрашнем дне звучали в их речах. Только все еще нехватало трезвости, деловитого хозяйского расчета.

Разрешился этот вопрос на собрании актива с участием Шанина. Шанин начал с того, что поддержал активистов.

— Тут двух мнений быть не может: нужны жилищные комбинаты, — говорил он. — Грош нам цена, если мы, разгромив капиталистов и помещиков, начнем строить халупы. Не для того совершена революция…

Сторонники жилкомбинатов победоносно поглядывали на тех, кто проявлял в спорах хоть какие-нибудь колебания. Но они слишком поторопились торжествовать.

Шанин вдруг сделался строгим, он точно спохватился, припомнил что-то.

— Да вот задача, — сказал он, — так мы и должны бы сейчас строить, если бы средства на стройку нам кто-нибудь дал со стороны. Чтобы построить жилкомбинаты, нужны миллионы. А ведь мы живем на свои средства. Чтобы добыть их, мы должны расширить производство. Чтобы расширить производство, нужно брать новых людей. А людям крыша нужна! — и Шанин развел руками.

— Так как же тогда? — обескураженно спросил Каминский. Он так сроднился с мыслью о домах-дворцах.

— Мне надо уехать, — сказал Шанин, посмотрев на часы. — Обсудите. Вопрос нужно сегодня решить. Если семиэтажный дом нужно строить два года, то бараки выстроим в один-два месяца. И каждый барак будет стоить гроши. Спросите у бутырцев, что для них лучше: камера или барак?

И, кивнув головой, Шанин ушел.

— Вот это диалектика! — прервал Накатников молчание активистов.

Тут трудно было что-нибудь возразить.

Затаив до времени мечту о светлых, пронизанных солнцем просторных жилищных комбинатах, коммунары решили построить в кратчайший срок пять легких бараков, могущих вместить пятьсот человек.

Коммуна выглядела теперь, как новостройка. Скелеты стропил, строительный мусор, грузовики, исторгающие клубы едкого синего дыма, вечно озабоченные, куда-то спешащие люди. Очень много стало сезонников. Поэт-болшевец Бобринский

написал о них шутливое стихотворение:

Пришли к нам люди с Оки и Волхова,
Вятские плотники в рубахах гороховых,
Калужские сметливые столяры,
Костромские балагуры-маляры,
Тверские печники, не охочие лежать на печи,
Смоленские грабари, козельские копачи,
Рязанские ухари-стекольщики,
Жиздринские угрюмые бетонщики
И молчаливые натуры —
Вологодские штукатуры.

Субботник

Мологин все больше втягивался в жизнь коммуны. Он помогал составлять сводный баланс коммуны, несколько раз ездил с другими болшевцами в Москву в ХОЗО на совещание по вопросам плана строительства, участвовал в разработке технологического процесса обувной. Он чувствовал, как меняется к нему отношение активистов, видел, что уважение к нему растет. Бабкин теперь заходил реже. Все дальше и дальше отодвигалось прошлое, и все труднее было находить Мологину общий с ним язык.

Свободное время он отдавал чтению. Прочел несколько художественных произведений советских писателей, читал Ленина. Ни с чем несравнимая глубина и ясность видения гиганта человеческой мысли потрясла его. Вот какие книги надо было читать ему. А он читал чорт знает что — даже Нат Пинкертона и Ник Картера! Много потеряно им, трудно наверстывать теперь, когда на счету каждый год жизни.

Он размышлял об этом, когда пришел Бабкин. На этот раз Бабкин был необыкновенно угрюм, вздыхал, жаловался на нездоровье, на какого-то Семина, с которым вместе работал на обувной.

— Я раз прострочу, он десять. Как мне за ним? Нет, видно, уж плохое дело — учиться, когда за четвертый пошло, — недоуменно говорил он, и горе светилось в его глазах.

— Что говорить, — сочувственно отозвался Мологин.

Эта жалоба Бабкина как бы перекликалась с его мыслями.

— Главное — ревматизм!.. Все пальцы раздуло, — пояснил Бабкин и помахал пухлыми, узловатыми в суставах пальцами.

Мологину стало жаль его. Каков бы ни был этот парень, все-таки у Мологина немало пережито вместе с ним.

— В первое время всем трудно. А ты держись. Ревматизм ведь лечить можно.

Бабкин уныло покачал головой:

— Нет, не ужиться, видать, мне здесь.

— А куда же ты денешься? Опять, что ли, по старинке?

— А хоть бы и так. Люди живут…

Мологин засмеялся.

— «Живут»! — передразнил он. — Год в Бутырках, пять в лагерях. Это по-твоему, что ли, «живут»? Сказал тоже! Ну, год, ну, три, даже пять лет при удаче кто-либо продержится. А потом? Да и нельзя, понимаешь ты, нельзя заниматься этим в такой стране, как наша!

Бабкин рассердился. Как это он не понимает? Он все превосходно понимает. Да что же ему делать, когда на фабрике не выработать и на табак, а вольнонаемные скалят зубы.

— Тебе говорить можно… Ты своего не пропустишь!.. Небось, вон сколько монеты гребешь! Все ходы-выходы знаешь. Ты, брат, хитер! А про себя — я так понимаю: мне сесть и то легче — душа на место станет…

Мологин брезгливо пожал плечами. Ну и грязный же человечишка!

— Дело твое… С колокольни оно видней, — раздосадованно сказал он.

Бабкин свертывал папироску, набирая табак из круглой жестянки.

— А что ж… Я вот банщика сыщу, — бубнил он. — Будь у меня сейчас деньги — что ж я, пропал бы, что ли?

Он еще долго болтал всякие пустяки, завидовал лавочникам в кооперативе, работа которых была проста, советовал и Мологину перейти на работу в лавку, потому что клуб должен сушить человека. Потом ушел.

План строительства был выработан и утвержден. Он содержал в себе почти все, что когда-нибудь предлагали болшевцы. Мологин восхищался смелостью замысла, масштабами. Он сам внес в этот план многое. И все же в глубине души он не мог освободиться от невольного чувства недоверия. Конечно, план будет осуществляться в зависимости от средств, но ведь сейчас таких средств нет? А почему они обязательно должны быть? Не слишком ли много во всем этом мечты, не слишком ли мало скупой, беспощадной ко всякой мечтательности реальности?

— Ну, как идут дела?.. — спросил он зашедшего к нему Каминского.

— После работы субботник. Будем разгружать стройматериалы.

— Пойдешь? — спросил Каминский, присаживаясь на край стола.

Мологину показалось, что думает Каминский не о субботнике, а о чем-то о другом. Он затруднился ответом.

«Таскать кирпичи и доски в этакую грязищу! Да он никогда и не делал таких дел».

Субботники происходили в коммуне довольно часто. Они возмещали недостаток рабочей силы, им придавалось воспитательное значение. Мологин не был еще ни на одном из них. Отказаться сейчас было неловко.

— Пойду, понятно, — не очень твердо сказал он.

Они замолчали. Каминский вскользь посмотрел на Мологина и тотчас опустил глаза.

— Знаешь, неприятность у нас. Бабкина второй день нету. Говорят, ушел совсем, — сказал он, глядя на пол.

— Да что ты? — воскликнул Мологин.

Он был искренно удивлен этим. Тому, что говорил Бабкин прошлый раз, он не придал значения — обычная легкомысленная болтовня. А вот выходит, что это было не так.

Он вспомнил, каким видел его в последний раз. Его угнетенное лицо, вздохи и жалобы, круглую жестянку с табаком. В сущности Бабкин был простым и безобидным парнем.

— Значит, ушел… все-таки!

— Да, ушел! — повторил Каминский. Теперь он смотрел прямо в лицо Мологину. — Не помогли, значит, мы ему здесь… Не сумели поддержать… Человек пожилой. Ему нелегко было, правда?

Он цедил слова еще медленнее, чем обычно. Так вот с чем он явился к Мологину! Мологин почувствовал себя глупо задетым его словами.

— Почему же? И другие, бывает, уходят, — возразил он, испытывая потребность что-то объяснить, от чего-то защищаться.

— И всегда наша вина! — перебил Каминский. Он плохо слушал Мологина. — Всегда наша вина! Никто не должен уходить. Суметь подойти к человеку, во-время его повернуть — ведь это же можно. К каждому человеку подход можно найти. Как же не наша вина?

— Быть может, это и верно, — миролюбиво согласился Мологин. Лучше всего было прекратить в самом начале этот бессмысленный спор. — Но Бабкин, я тебе скажу, человек легкомысленный и неумный… От него всегда чего хочешь ожидать можно.

Весь день до самой сирены Мологин не мог изжить неприятный осадок от этого разговора. Точно он был виноват в том, что случилось. Но он же говорил с Бабкиным, объяснял ему… Ведь это было? Что еще он мог бы сделать?

Низкий настойчивый гудок конькового напомнил ему о субботнике. Неужели там нельзя обойтись без него? Все же Мологин вышел на улицу.

Болшевцы со знаменем собирались на площади. Каминский и Накатников строили их в ряды, торопили, подшучивали над запоздавшими. Все как будто забыли, что уже работали восемь часов. Конечно, у Мологина имелись основания никуда не итти. Сегодня в клубе должны выступать артисты московской эстрады. Он нужен в клубе. Да и так ли уж правильно посылать всех, даже

очень квалифицированных людей, делать дело, с которым справится всякий чернорабочий! «Право же, никакого не будет греха не пойти», думал Мологин, но точно какая-то посторонняя сила подталкивала его к рядам.

Серое низкое небо отражалось в мутных лужах. Стая галок с тоскливым отрывистым криком раскачивалась на вершинах берез. Две сотни ног мерно месили грязь. Кто-то затянул:

Все пушки, пушки заряжены…

Десятки здоровых глоток дружно подхватили припев. Итти сразу сделалось легче. И, может быть, оттого, что пели эту откуда-то хорошо знакомую, хотя никогда и не певшуюся Мологиным песню, или оттого, что среди громкого и стройного потока сливающихся в одно голосов различало ухо Мологина крепкие баритоны и тенора клубных солистов, он вдруг размяк, ослабел, ему сделалось грустно.

Колонна болшевцев вышла к путям. Платформы и вагоны, расцепленные для удобства разгрузки, гуськом стояли на рельсах. Без паровоза они казались заброшенными.

Колонна расстроилась. Ребята расселись на старых шпалах около насыпи, другие толпились вокруг них, смеялись, разговаривали. Все как-то неопределенно посматривали на пути. Кому-то нужно было распорядиться, сказать первое елового все ожидали чего-то. Мологин оглянулся. А что нужно делать? Разрозненные, точно приставшие к рельсам вагоны были недвижимы; кое-где между черными полосками шпал желтела промороженная трава. Правее, где станция, пыхтел не видный за поворотом маневренный паровоз. Ничто кругом не объясняло и не подсказывало, что нужно делать.

«Может быть, расходиться?», подумал Мологин, ежась, точно от холода, от острого чувства неловкости.

От станции, спеша, шагал Накатников.

— Разбивайсь! Кирпич к навесу, а доски здесь будем валить! — кричал он и для чего-то махал рукой.

Мологина оттеснили. Его толкали, не замечали. С еще более усилившимся чувством неловкости он стал за чьими-то спинами. Потом сообразил: здесь Новиков, Смирнов, Осминкин.

— Давай, давай, Леха, с нами! — покровительственно крикнул Новиков, заметив Мологина, и сейчас же забыл о нем.

Мологина передернуло. Он уныло поплелся следом за ними.

Закрепленные с боков деревянными стойками узкие сосновые доски высоко и продолговато громоздились на широкой платформе, исписанной мелом по рыжим бортам. Смирнов

забрался по доскам на самый верх. Он бесстрашно приплясывал в своих ладных, по мерке скроенных сапожках, вскидывал согнутые в локтях руки, пел.

— Дядя Алеша, залазь сбрасывать, — перестал он плясать, увидев, что Мологин смотрит на него. — Залазь, тут просто, как по лестнице: доски торчат.

«Да, просто», едко подумал Мологин. Теперь он уже понимал, что сделал глупость. Да и отвык за эти годы от «гимнастических упражнений». Ему ли, в его ли возрасте изображать акробата, потешать мальчишек?

— Лезь, лезь, Мологин, — поторопил Новиков.

Соскальзывая и срываясь, Мологин начал карабкаться по доскам. Чьи-то руки поддерживали спину. Из пальца на правой руке потекла кровь. «Вернуться? Нет, теперь это уже немыслимо». Он влез, тяжело дыша. За ним легко и быстро поднялся Новиков. На этой вышке он чувствовал себя уверенно, как в общежитии.

Он предложил Смирнову сойти вниз, сказав, что доски тонкие и наверху будет довольно двух. Смирнов подчинился не. — охотно, не сразу.

Первые доски с гудением и грохотом скользнули по наклонно брошенным слегам. Их подхватили ребята, находившиеся внизу. Осминкин зычно распоряжался ребятами, показывая, куда и как складывать.

Мологин чувствовал: работает он медленно, копается, задерживает Новикова. Внизу над ним смеются, может быть, даже сердятся. Он почти заискивающе посмотрел на Новикова. Внезапная ярость овладела им… Он ненавидел сейчас себя за неумение работать, за эту робость перед Новиковым, даже перед Смирновым, за то, что не хватило ума избегнуть смешного, глупого положения, в котором оказался. Но представлялось, что виноват во всем этом не он, а кто-то другой — Каминский, Новиков, может быть, Бабкин, даже эти нескладные, вырывающиеся из рук доски. Он выхватывал их из-под своих ног ожесточенно, мстительно, едва соображаясь с движениями Новикова. Доски трещали, гнулись, и это было ему приятно. Рубаха его намокла. Запах смолы щекотал в носу, ее вкус был в глотке. Усталость, точно щипцами, сжимала мышцы рук. Никогда прежде, даже работая сверлом, он не испытывал такой лютой усталости. Он сбрасывал доску и нагибался за другой. Он сбрасывал эту другую доску и нагибался за следующей. Сколько прошло времени? Час, два часа? Должно быть, конца не будет этим проклятым доскам. Ну что же, хоть бесконечно, хоть всю ночь!

— Обожди, передохнем, — сказал Новиков и, обмахнув

рукавом лоб, снял полушубок.

— Что говоришь? — не понял Мологин.

Новиков пригнулся, придерживаясь за оголенную стойку, и крикнул вниз:

— Давай, перекуривай!

— Загнал тебя Леха? — откликнулся снизу веселый голос.

— Запарился, Новиков?

Новиков добродушно улыбнулся, показав белые, квадратные зубы.

Мологин медленно опустился на доски. Он тоже улыбался — широко, счастливо — и не догадывался об этом. Он вдруг увидел, как осела вышка, как много уже сбросили. Черные от смолы ладони его горели, в отяжелевших, словно припухших пальцах ритмично стучала кровь. «Выходит, что он и в самом деле работал не хуже Новикова!» Тот торопливо докуривал папироску.

— Ничего стронули? — хвастливо крикнул ему Мологин. Он почти любил сейчас этого молчаливого скромного парня

с перешибленной переносицей. Да и не только его. И недалекий безлистный лес, и люди, работающие на путях, и поезд — важно, медленно, будто беременная женщина, движущийся от Москвы, — все было ему сейчас мило, все казалось ему хорошим.

Новиков плюнул на окурок и бросил его на пути.

— Порядком!.. Только ты, Алексей Александрович, не так хватай, так хуже — меньше сработаешь. И потом… — Новиков на мгновенье запнулся, словно не решаясь сказать… — когда пускаешь конец, смотри на меня, чтобы нам разом… Все руки отдергал, — добавил он с извиняющейся улыбкой.

Мологин невольно поглядел на его большие уверенные руки. Так, стало быть, все время, пока они работали, он бил по этим красным спокойным рукам! Бил, а Новиков все терпел, сносил, не сказал ни слова. Мологин имел возможность испытать на самом себе, как это больно. Новиков терпел, стесняясь сказать, а Мологин и не побеспокоился о нем ни разу. Он вдруг почувствовал стыд за свой нелепо хвастливый тон, за то, как подумал только что о своей, очевидно, неправильной и плохой работе.

— Ладно, буду смотреть, — сказал он развязно. — Мне, видишь, доски-то сбрасывать в первый раз. А ты бы не молчал, а сказал сразу.

Шум поезда заглушил его слова. Длинный состав мелькал красными пломбированными вагонами, платформами, затянутыми в брезент, из-под которого кое-где выглядывали части машин, тяжелые синеватые колеса. И как только проскользнул последний вагон, Мологин увидел Накатникова. Он шел с каким-

то парнем.

— Где зашиб, ну? Покажи, где же ты зашиб? — допрашивал Накатников своего спутника.

Тот — невысокий, узкоплечий, с большими розовыми ушами, торчащими из-под надвинутой на глаза кепки, — приподымал правую руку, придерживая ее другой, божился и клялся.

— Да ведь нет ничего! Ведь ты же врешь! — разоблачал Накатников. — Зачем ты врешь? Кого обманываешь? А еще — «Я, мол, коммунар, я, мол, жениться хочу!» Какой же ты коммунар? Коммунар не побежит с субботника! Коммунар не забудет, что каждая копейка, что мы здесь заработаем, даст нам возможность взять новых ребят в коммуну. Нет, ты плохой коммунар! Жить ты желаешь, а строить — дядя, что ли, будет?

— Накатников Костю словил… Первый филон. Сколько уж мы с ним бьемся, — общительно пояснил Мологину Новиков.

Филон говорил что-то в свое оправдание, все более снижая тон, без наигранного негодования, все более нетвердо. Потом Мологин видел его исправно работающим обеими руками — он складывал кирпичи.

На обратном пути руки и плечи Мологина ныли, спина болела, ноги дрожали от долгого непривычного напряжения. А ему хотелось двигаться, смеяться, петь, говорить товарищам о работе, о том, как сперва не слушались его доски, затем покорились, и все пошло, как нужно.

Никогда еще не чувствовал Мологин всех этих людей такими близкими. А разве не может быть так же просто и хорошо во всем, все время?

Утром Мологин встал с ясной, свежей головой, с ломотой во всем теле. Ломота не была неприятна. Он закусил наспех и пошел в клуб. Там он вынул лист чистой бумаги и стал писать.

«Дорогой Матвей Самойлович», написал он крупно и четко. Он как бы видел перед собой Погребинского, его улыбку, жесты, слышал интонации его голоса.

«Дорогой Матвей Самойлович. Я был вчера на коммунском субботнике. Ребята из актива руководили, организовали массу. Дело для коммуны как будто обычное. Но бывает так, что десятки и сотни раз видишь одно и то же, каждый день на него натыкаешься, сам делаешь и все-таки не понимаешь его. Точно слепой… И вдруг — прозреешь. И вот вчера — мы работали — прошел поезд, и я вижу, Накатников ведет одного парнишку, тот хотел „задать драпу“. И мне вдруг пришло в голову: ведь это, думаю, вор. Вор Накатников ведет, агитирует вора Костьку! Да в каком чудесном мире возможно это? А завтра, может быть, этот самый Костька вот так же будет обрабатывать кого-нибудь еще. И

я до такой степени почувствовал, что коммуна — это мы, что мы сами и воспитанники, и воспитатели, и строители ее, что чуть не слетел с платформы. А ведь я всегда думал то же самое. Выходит, можно одно и то же, да по-разному думать! Кстати сказать, я сбрасывал вчера вместе с Васей Новиковым доски и ободрал себе большой палец, так что прошу извинить за плохой почерк. Так как же, спрашиваю: „лягавые“ или строители? И так мне стало ясно, что даже самое слово „лягавые“ здесь лишилось всякого прежнего смысла, что диву дался — где были мозги? И тут вспомнилось, как были мы у товарища Ягоды. Я думал: „Воры ведь, разве можно это забыть, ведь вчера еще воровали!“ А он как с товарищами, как с хозяевами. Спрашивает: „На все ваших средств нехватит. Или строить баню и прачечную или новую фабрику. Решайте“. И скажи мы: „баню“ — голову даю на отсечение — он бы ответил: „Хорошо, пусть будет баня“, чтобы мы сами убедились, сами пришли к нему и сказали: „Ошиблись, надо фабрику, баня — потом“.

Да, мы хозяева! Вот что я не умел прежде понять…

Коммуна не рай в том смысле, в каком выдумано это слово попами. В ней труд, и труд иногда нелегкий. И нужно уметь быть суровым, когда это требуется, и нужно уметь жертвовать собой. Но сила коммуны в том, что каждый гвоздь вбит в ней ею самой, ее коллективом, хотя бы его и забивала рука сезонника. Сила в том, что каждым коньком, трикотажной рубахой, выпущенной на наших заводах, коммунар участвует в общем труде страны. Так? Ну и вот… Строить, отдать себя, свою жизнь, пожертвовать собой значит ли быть „лягавым“? Тогда я хочу быть им. Колебаться в этом значит сомневаться в коммуне, сомневаться в правде и силе революции. Я не сомневаюсь. Я докажу это. Я прошу и согласен на любое испытание, чтобы доказать, что мне можно доверять, чтобы получить доверие…»

Подолгу, как нечто совершенно не знакомое ему, рассматривал Мологин план. Архитекторы Лангман и Чериковер хорошо справились с его разработкой. Голубая калька с дворцами и зданиями, садами и парками — не праздная мечта. Вот эту аллею предлагал и он, вот здесь запланировано место для будущего универмага — помнится, о нем у ребят вышел спор. Леса, сжимающие коммуну двойным массивом, отступали, болото исчезало. Прямолинейное шоссе вело от коммуны к Мытищам. Но, оттеснив леса, городок курчавился изумрудными знаками парка, скверов, фруктовых садов. Он утопал в море зелени. Как удивительно, что Мологин на самом деле участвовал в разработке этого плана.

Что же будет? Монтируется обувная, начинается закладка

фабрики-кухни, на очереди спортлыжная, клиника, учкомбинат, жилые дома.

Что же будет? Город? С фабриками, подсобными предприятиями — городок бывших воров. Он видел асфальтированные пролеты будущих улиц, движение на них.

А потом, а еще дальше? Исчезнет преступность. Нет воров, нет обворованных. Значит, обыкновенный социалистический индустриальный городок? И внуки уже не будут понимать дедов. рассказывающих о своем странном прошлом! Мологин мечтал.

И каждый день, идя на работу, возвращаясь с работы, ждал он, что кто-то подойдет к нему, заговорит, передаст конверт, надписанный знакомой рукой. Но письма не было. «Может быть, и не будет, — грустно думал Мологин. — Что значит это письмо среди его больших и важных дел». Но все существо Мологина протестовало против такого предположения.

Он шел с Богословским с заседания бюро актива. Синие тени берез падали на широкую прикатанную дорогу. Схваченный морозом снежок поскрипывал под сапогами.

— С Бабкиным часто встречался, разговаривал с ним? — спросил вдруг Богословский.

И сразу же вспомнил Мологин о мануфактуре, о банщике, о надеждах Бабкина когда-нибудь отыскать его, чтобы свести с ним счеты. «Неужели что-нибудь натворил!» подумал он с мгновенно проснувшейся тревогой.

— О чем же мне с ним разговаривать? Раза два видел… Я ведь и раньше его немного знал, — произнес он равнодушно.

Сергей Петрович укоризненно качнул головой:

— Напрасно. Бабкину нелегко было. Знаешь, как важен друг в тяжелые дни!

Мологин не знал, что отвечать.

— Послушай, ты извини, что я об этом говорю, — сказал опять Богословский, замедляя шаг. — Почему ты не женишься? Право! Женился бы да жил семьей.

Это было уже совсем неожиданно. Хорошо, что хоть ночь и смущение Мологина не так заметно.

— Не хочу учиться, хочу жениться, — протянул он нарочито детским голоском, желая превратить все в шутку.

Богословский не был склонен шутить.

— Нет, правда! Смотри, какая у тебя личная жизнь неустроенная! Это тяжело и трудно, — говорил он, и голос его звучал необыкновенно тепло и дружественно. — Тебе Аня Величко нравится? Хорошая женщина. Кажется, тоже непрочь. Вот бы и в добрый час! А квартиру мы вам дадим.

Мологин вспотел. Он так редко видел Аню, так тщательно

избегал всего, что могло бы дать возможность даже ей самой догадаться о его предположениях. И тем не менее о них догадывались уже все.

— Я думаю, теперь мне нельзя это, — сказал он взволнованно. — Это могло бы мешать работе. Я ведь понимаю, как много от меня требуется. Мне кажется, я не должен теперь думать об этом. Возможно — потом.

Богословский рассмеялся:

— Удивительный ты человек! Все на голову! Почему же другим — Умнову, Гуляеву, Каминскому — всем, никому не мешает, а тебе будет мешать? Как это вообще может мешать?

«А что же тут такого веселого?» уязвленно подумал Мологин. Он был готов пожалеть, что высказался так прямо.

— Вот видишь, как у тебя все выходит, — говорил Сергей Петрович. Он не смеялся больше. Не свойственная ему суровая интонация звучала в его голосе. — Бабкину помочь ты не захотел. Он вот ушел. Ведь ты, как никто другой, мог знать, как ему трудно. Это неправда, что ты его мало знал. А что ты сделал, чтобы не дать ему скатиться назад? Человек он простой, бесхитростный. Трудно ли было повлиять на него по-хорошему? Со мной, с Кузнецовым, с Каминским поговорить, вместе бы подумали… Мы вот все на тебя надеялись. А выходит, что толкуешь ты о коммуне, а думаешь об одном себе! Разодолжил — жениться не хочет! Нет, брат, так ничего построить нельзя.

— Ну, Сергей Петрович, это, пожалуй, и слишком… — возразил Мологин с натянутой улыбкой.

«Вот тебе и Сергей Петрович, вот тебе и пресловутая его деликатность и мягкость!» И почему в конце концов пристают именно к Мологину? Почему он, а не кто-либо другой, должен отвечать за Бабкина, за его тупость?

Он забыл, с чего начался разговор, забыл о Величко, о женитьбе; все это отступило, не имело значения сейчас. Ядовитое сознание его вины подымалось в нем. Конечно, он знал, что Бабкин чуть держится, догадывался, что он уйдет. Почему, действительно, он не сделал ничего, чтобы Бабкин остался? Ведь можно было поговорить о нем, попросить, чтобы его перевели на другую работу…

Но он боялся сплетен, того, что могут подумать о нем самом. Думал лишь о себе, о своем спокойствии! Прав, выходит, Сергей Петрович!

Богословский тащил его к своей квартире:

— Зайдем, посидим, чайку попьем!

Он видел впечатление, произведенное его словами. Но ведь это была нужная операция.

— Пойдем, потолкуем, кстати, у меня и дельце есть. А Бабкин еще к нам попросится, будь уверен. Кто здесь побывал, редко назад не захочет!

Почти всю ночь продолжалась так неожиданно начавшаяся беседа.

Мологин больше молчал, слушал, говорил мало.

— Нет и не может быть противоречий между здоровыми личными интересами и интересами коммуны. Ты сам это отлично знаешь, ты сам на активе толкуешь о том, как важно приучить бывшего вора к упорядоченной оседлой жизни, — твердил Сергей Петрович.

Чтобы не беспокоить жену, он сам разогрел чайник и наливал стаканы.

— Понятно, хороший коммунар, если это нужно, должен уметь поступиться и своим личным. А тут какая нужда? Это у тебя все от индивидуализма, от гордости. Верно говорю, Алексей Александрович! И Погребинский не раз говорил тебе это. «Я-де не такой, я-де особенный!» А чем таким ты особенный? Ну, постарше, поопытней. Так если ты хочешь добра коммуне, вот и отдай ей свой опыт. Помогай людям переходить на коммунские рельсы. Ведь это главное! Ты на обувной кое-что сделал, в клубе работаешь. Хорошо! Но ведь не в клубе только — на каждом шагу у нас надо делать то же. А людей сторониться — значит себя бояться… Это надо понять!

«Да, нелегко переходить на коммунские рельсы», невесело думал Мологин. Еще он думал о Бабкине, о том, что возможно он был в Москве, на Якиманке, у сестры Мологина, и та укажет, где его теперь искать.

Как-то само собой в разговоре стало считаться решенным, что Мологин женится, что кроме клуба он будет работать еще в комиссии, подготовляющей очередные наборы.

— Ну, спасибо за науку, Сергей Петрович. Пора ко двору, — говорил он Богословскому, криво улыбаясь, старательно избегая его глаз.

Богословский остановил его:

— Чуть не забыл! Письмо тебе из Уфы. Целый день таскал.

Мологин нетерпеливо, неловко разорвал конверт. Погребинский извинялся, что не мог ответить сразу — уезжал и только теперь вернулся, спрашивал о делах коммуны, о ребятах, всем посылал привет.

«Ничего, ни слова о том, что я писал, — разочарованно думал Мологин. — Ах, есть вот!» Три строки, обыкновенные, точно такие же, как и все другие. Но как обожгли они сознание: «Ты пишешь, что согласен на любое испытание, чтобы добиться себе

доверия. А ты сумей сделать, чтобы тебе поверили без всяких испытаний, чтобы тебе поверили так».

Мологин сунул письмо в карман пальто, посмотрел на Богословского невидящими глазами, машинально попрощался с ним и пошел к дверям.

За качество

В коммуну приходили новички. Для них нехватало жилья. Они селились в наспех построенных бараках и в соседней деревне. Приезжали жены. На улице встречались незнакомые и осматривали друг друга. Потом не стали даже оглядываться. Разве можно знать всех, когда так много народу! Новички требовали работы. Старые мастерские не вмещали их. Жилые дома стали казаться маленькими, фабрички — тесными. Когда обозначилась новая строительная площадка, где были заложены новое здание фабрики и жилой дом, всем стало казаться, что уже совсем скоро наступит избавление от тесноты и неразберихи. Но площадка обманывала. Проходили сроки, а зданий не было. Сезонные каменщики и плотники работали не торопясь.

Требовалось бросить на строительство лучших, проверенных коммунаров, сколотить из них крепкую группу, которая подтягивала бы сезонников. К этому времени руководство ОГПУ решило объединить небольшую Тульскую коммуну вместе с Болшевской. С туляками в Болшево прибыл рыжеватый, широкоплечий парень Пашка Фиолетов, прозванный за любовь к чтению «Философом». Он то и сыграл немалую роль в строительстве.

Прежняя его воровская жизнь мало чем отличалась от прошлого других болшевцев. Отца Фиолетова выгнал из Костромской губернии голод. По старой привычке он поехал подкормиться в большой город, прихватив с собой четырнадцатилетнего Пашку. Но и в Петрограде жилось не легче. Большинство фабрик было закрыто, рабочие ушли на фронт. Немногие работающие получали в день восьмушку ржаного хлеба. Пашка понял, что отцу его не прокормить, стащил у квартирной хозяйки санки и ушел на вокзал. За корку хлеба или за миллион рублей Фиолетов брался «подвезти вещички».

Приятели, с которыми ему случалось ночевать на базаре, ходили к «Петуху» — толстому мужчине с красными веками. Он покупал у воров краденое и снабжал их спиртом и кокаином.

Фиолетов бросил санки и стал воровать. К отцу он больше не возвращался.

В тюрьме ему довелось прочитать несколько случайных

книжек: Хаггарда, стихи Байрона. В книгах он нашел необыкновенную счастливую жизнь.

На воле Фиолетов не читал, там было не до книг. Но он любил рассказывать о далеких чудесных странах. Говорил нараспев стихи и объяснял, что сочинил их сам. Это был мечтательный вор. Он так и не получил высокой квалификации, часто попадался и кочевал из тюрьмы в тюрьму.

В камере Фиолетов обычно брал на себя обязанность библиотекаря. Он выдавал книги и следил, чтобы их не рвали. В камере же он узнал о существовании Тульской коммуны и попросился в нее один из первых. Там Фиолетов убедился, что настоящая жизнь, о которой он давно мечтал, существует не только в книгах.

«Философ» дружил с комсомольцами Тульской коммуны, пел с ними песни, ходил на собрания, читал книги и газеты и всегда был в курсе последних политических событий.

— Ты парень активный, — сказал секретарь ячейки Селин, — подавай заявление, мы тебя примем.

Фиолетов самолюбиво ответил:

— Не хочу.

— Почему?

— Я все вижу, — говорил Фиолетов. — У вас в ячейке нет демократизма. Комсомольцы только приказывают. Они приходят на собрание с готовыми резолюциями. Разве так должны действовать комсомольцы?

Селин молчал. Фиолетов ушел. Но это не было ссорой. Они встретились наутро по-обычному.

— Паша, — сказал Селин, — на тебя надежда. Сходи в деревню, сделай доклад. Все комсомольцы заняты.

— Хорошо, — смущенно ответил Фиолетов — он никогда не делал докладов, — о чем доклад?

В коммуне предстоял весенний субботник молодежи по насаждению деревьев. В клубе висел лозунг: «Зелень — друг человека».

Селин сел на подоконник и развернул газету:

— Материал к докладу здесь найдешь. Пусть они тоже проведут субботник. Посадят у школы яблони. И у сельсовета тоже. Понял, Паша?

Фиолетов выучил наизусть статью о субботнике и пошел в деревню.

В школу уже набралось много народу. Фиолетов делал доклад с конспектом в руках и не отрывал от него глаз. Кончив, он спросил:

— Кто хочет выступить?

Люди молчали. Внезапно он вспомнил, что ничего им не предлагал, говорил вообще о субботнике. Откуда они могут знать, что он предлагает им посадить у школы яблони? Значит, так ничего и не сумеет он сделать на этом собрании?

В отчаянии окинул он взглядом незнакомые молодые лица в переднем ряду. На него смотрели с ожиданием. И тогда Фиолетов твердо проговорил:

— Товарищи, имеется такая резолюция: «Заслушав доклад о субботнике, мы постановляем посадить у школы яблони, а также у сельсовета…»

Резолюцию не отвергли. Считая руки, поднятые над партами, Фиолетов понял, почему Селин, вместо того чтобы спорить с ним о демократизме в комсомольской ячейке, послал его сделать доклад.

После этой первой речи минуло два года.

Со станции явился Фиолетов в Болшево с двумя связками книг, которым нехватило места на подводе. Рядом с ним шла жена с ребенком. Дорогой он остановился и долго разглядывал стройку.

— Пойдем, Паша, — торопила жена, — успеешь насмотреться.

Но Фиолетову хотелось в первые же часы приезда побывать на строительной площадке.

— Что это за гусь с книжками? — слышалось им вслед.

— Кажется, из новых, из тульчан.

Не оглядываясь на говорящих, Фиолетов шел дальше.

Вечером в клубе он произнес от лица тульчан приветственную речь болшевцам. Она была коротка, спокойна и отличалась строгой продуманностью.

— Парень хладнокровный, не то что наши пылкие ораторы, — заметил кто-то из болшевцев, когда Фиолетов сошел со сцены.

Фиолетов, услышав замечание, повернулся и ответил:

— Волноваться я не люблю.

К нему приблизился воспитатель Северов:

— Ты где хочешь работать?

Фиолетов знал столярное дело. Не задумываясь, он сказал:

— Встану к верстаку на лыжной фабрике.

Северов предложил:

— В последнее время ты ведь был в Тульской коммуне секретарем ячейки, может, и у нас по комсомольской части захочешь?

— Нет, — отказался Фиолетов, — руководить мне у вас рано, надо на производстве себя показать.

Говорил он так рассудительно и веско, будто за много дней вперед твердо определил свое поведение в Болшеве.

Его послали на лыжную. Болванка будущей лыжи попадала ему в руки толстой и грубой, с поднятым, как у лодки, носом. Обтачивая верхнюю галтель, Фиолетов всегда что-нибудь напевал. Соседи прислушивались, но каждая песня была для них новой, с незнакомыми словами.

— Что ты поешь, Павел? — спрашивали его.

— А это — свое, мои стихи, — тихо пояснял он, не бросая работу. — Вот, например, — и он речитативом произносил:

Мне, смешному парню, некрасивому,
Неуклюжему, с большущими глазами,
Полюбилась ты, коммуны жизнь бурливая,
В такт идущая с восстания годами.
Прочь ушли года порока,
Утонув в восходе новых дней.
Полюбил тебя я искренно, глубоко,
Трудкоммуна — фабрика людей!

Стихи хвалили. Фиолетов не смущался, принимал похвалы как должное. Он рассказывал, что очень много стихов написал в Туле, а сочинять их начал еще в тюрьме.

— Стихи работать помогают, — добавлял он.

Местных стихотворцев ребята считали людьми не очень надежными. По наслышке их звали «богемой». Газета «На новом пути» однажды высказала коммунским поэтам такое пожелание:

Эх, братцы,
Лучше б мы имели
Взамен богемы одного рабкора!

С приходом Фиолетова, завоевавшего звание лучшего слесаря, стали говорить:

— Оказывается, поэты и работать умеют.

Однажды Фиолетов созвал активистов Гуляева, Накатникова, Каминского и в обычной своей манере — спокойно и веско — заявил:

— Второй год пятилетки идет…

— Вот новость, — ответили ему.

— А у нас и не пахнет соревнованием, — не смущаясь, закончил Фиолетов.

Активисты переглянулись. А Фиолетов достал из кармана

бумажку:

— Вот я предлагаю договор заключить между лыжной и коньковым.

Договор прочитали, обсудили и решили заключить. Это был первый договор на соревнование в коммуне.

Вышло так, что Фиолетову пришлось выпускать бюллетень соревнования, руководить кружком политграмоты, помогать новичкам в лыжной. В конце концов никого не удивило, что после перевыборов Фиолетов стал секретарем комсомольской ячейки. После собрания к нему подошел Северов:

— Как же это ты, из столяров опять в секретари?

Фиолетов сдержанно улыбнулся:

— Большинство велело.

Вслед за соревнованием между лыжной и коньковым Эмиль Каминский и Гуляев, работавшие на обувной фабрике, объявили себя первыми ударниками.

Потом объявила себя ударной вся бригада Гуляева и Каминского — пятнадцать закройщиков. Бригада перевыполняла план. Гуляев и Каминский ходили гордые.

Слово «ударник» слышалось теперь всюду. Его повторяли на трикотажной, коньковом, лыжной, в школе, на кухне. Когда полировщик Емельянов с лыжной фабрики заявил, что не хочет быть ударником, его единогласно исключили из комсомола. Все партийные одобрили:

— Правильно сделали, что исключили.

Фиолетова приняли в партию. Вскоре его послали на строительную площадку. Работа здесь попрежнему шла ни шатко, ни валко. Бородатые сезонники подсчитывали, сколько они расходуют на харчи, квартиру и много ли принесут выручки домой, в свое хозяйство. Если цифры оказывались значительными, то сезонники выпивали. С похмелья работа шла еще хуже.

Фиолетов, побывав на площадке, поднял вопрос о том, чтобы строительство укрепили лучшими коммунарами, по возможности партийцами. Партийцы нашлись и среди немногих кадровых вольнонаемных рабочих.

— Надо сколотить на площадке ячейку, — настаивал Фиолетов. — Она будет политическим штабом строительства.

Партийное руководство коммуны согласилось на это предложение.

Секретарем новой ячейки был утвержден Фиолетов.

Прежде Фиолетов не раз участвовал в субботниках на площадках: таскал кирпич и копал землю. Был у него там друг, каменщик Пузанков Василий Павлович, здоровенный старик с

густой седеющей бородой. Он любил рассказывать Фиолетову о своей жизни, богатой странствованиями.

Теперь Фиолетову нельзя было ограничиться переноской кирпичей и слушанием рассказов Василия Павловича — коммуна ждала от нового секретаря руководства всей работой, ускорения строительства. А Фиолетову в первые дни на площадке со многим пришлось столкнуться впервые.

Как кладется кирпич? Чем его скрепляют? Сколько нужно кирпича, чтобы построить дом? Что еще для этого нужно? Какие существуют нормы выработки?

В первое утро Фиолетов увидел, как вокруг недостроенного здания возводили леса. Основанием им служили высокие столбы: бревна ставили друг на друга и скрепляли железными крючьями. Фиолетов заметил, что когда мимо столбов проезжает телега с грузом, они тихо покачиваются. Он остановился. «Как же люди будут работать на этих лесах, коли они и сейчас готовы упасть?» Фиолетову хотелось броситься к начальнику площадки и спросить, кто возводит леса. Может быть, и весь дом строится так же преступно? Если это вредительство, надо проследить виновных.

Весь день ходил он мимо столбов и лишь вечером заговорил с десятником Ряховским:

— Погляди, столбы-то эти качаются?

— А как же, — с готовностью ответил десятник, — я давно слежу — качаются.

— Ну и что? — спросил Фиолетов, шагнув вперед.

Десятник внимательно посмотрел на него и, откашлявшись, объяснил, что правильно поставленный столб должен колебаться.

Фиолетов тоже закашлял, отвернулся и пошел прочь.

На дороге он увидел старого знакомого — каменщика Василия Павловича.

— Эх, — сказал Фиолетов, — осрамился я сейчас. — С горькой усмешкой он передал историю о столбах.

— Не помучишься — не научишься, — проговорил каменщик, — а столбы обязаны качаться.

Он рассказал, как в молодости клал фабричные трубы:

— Высокая она, высокая, а я сижу на верхушке, как воробей на шесте. И вот слышу, качается подо мной труба еле-еле, будто в сердце отдает. Ну, думаю, значит, правильно положил. А если она как мертвая, значит, вкось кирпич пошел и ломать надо.

Утром Фиолетов созвал бюро ячейки и предложил поставить отчеты коммунистов о работе на площадке.

Когда собрались слушать отчеты, он велел позвать начальника строительства.

— Да начальник-то беспартийный, — сказали ему.

— Зато специалист, он нам поможет, — ответил Фиолетов.

Каменщик Пузанков показывал ему разные способы кладки кирпича, и он, не стесняясь, спрашивал:

— Что такое замес?

— А это очень просто: две-один- три.

— Как это — один-три?

— Две части извести, одна цементу и три песку.

Шаг за шагом, настойчиво учась, он овладевал техникой строительства.

Дом стоял почти совсем готовый, с крышей, окнами и каменными ступенями. Оставалось только его оштукатурить.

— Не скоро еще? — спросил Фиолетов, забравшись в дом.

Высокий дядя с рыжей мочалой в усах осмотрел его с ног до головы:

— Не скоро. Штукатуров мало.

— Нанять?

Дядя расправил плечи и показался еще больше:

— Найми! Штукатуры на вес золота.

Фиолетов долго смотрел, как люди обивают стены дранкой и рогожей. Он ушел молча.

Вечером устроили субботник. Вместе со всеми Фиолетов обивал стены дранкой и рогожей. Это оказалось не столь хитрым делом. Через несколько суток дом был отделан.

После этого случая сезонники начали относиться к Фиолетову с уважением, да и все коммунисты почувствовали, что авторитет их в глазах рабочих возрастает. У коммунистов спрашивали теперь, почему не выполняются планы, к ним приходили за советами рабочие. После отчетов на бюро ячейки каждый коммунист получил участок и отвечал за его работу. Темпы строительства резко изменились.

Сложное дело — строительство. Сложное и увлекательное. Как-то само собой вопросы строительства оттесняли, отодвигали на второй план все другие, часто не менее важные.

В тот день, когда Островский вызвал к себе коммунара Умнова, директора конькового завода и управляющего коммуной, может быть, только этот последний догадывался о характере предстоящего разговора. Все трое пришли утром в назначенный час. На столе у Островского рядом с бумагами лежали коньки.

— Вот посмотрите эти «снегурочки», изготовленные вашим заводом, — сказал Островский. — Это рядовые коньки, взятые наугад. Товарищ Умнов, я буду говорить об их качестве, а вы проверяйте, верно ли я говорю.

— Ладно, — сказал Умнов. Сердце его упало. «Значит, плохо», подумал он.

— Тавот — дефицитный товар, — говорил Островский. — Смазывать им коньки сверх нормы — преступно. Как смазаны эти коньки, товарищ Умнов?

— Переборщили, — буркнул Умнов.

— А почему переборщили? Если бы просто переборщили, было бы полбеды. Тавот предохраняет от ржавчины, но он же при случае замазывает дефекты. Правду я говорю, товарищ Умнов?

— Правда, — согласился Умнов, покраснев, точно именно он замазывал тавотом дефекты.

— Попробуйте развинтить щечки.

Умнов начал развинчивать. Это оказалось нелегким делом. Если щечки не поддавались отличному кузнецу, каким был Умнов, то развинтить их пионеру было бы совсем не под силу. Кое-как Умнов развинтил щечки.

— Ну, теперь проверьте винтодержательную скобочку.

— Скобочка шатается, слабо приклепана, — сказал Умнов.

— А каблукодержатель?

— Шатается, — сказал Умнов.

Ему было стыдно, невыносимо стыдно за себя, за Кузнецова, за весь коньковый завод. Директор и Кузнецов сидели, не проронив ни слова. Нетронутый чай стыл в стаканах.

— Я попрошу, товарищ Умнов, на всякий случай стереть слой тавота с полозьев, может, и там что-нибудь обнаружится, — предложил Островский.

Умнов быстро стер тавот с первого конька. Полоз блеснул безукоризненной линией. Умнов покосился на Островского.

— Хорошо, — тихо сказал он.

На втором полозе под тавотом обнаружились четыре трещины.

— Ну? — сказал Островский. Никто ему не ответил.

— Можно на этих «снегурочках» кататься?

— Нет, — сказал Умнов.

— Ну, так я передам эти «снегурочки» товарищу Ягоде как подарок от конькового. Идет?

Умнов с отчаянием посмотрел на директора и на Кузнецова. Что же они не спешат на выручку, как они могут молчать?

— Не надо, товарищ Островский, — умоляюще произнес он. — Зачем огорчать! Я от имени всех ребят говорю. Наляжем, правда! Вот увидите! Устраним все…

Умнов стоял красный, с каплями пота на лбу.

— Если вы, товарищ Умнов, против передачи этих несчастных «снегурочек» товарищу Ягоде, хорошо — я не передам, — сказал

товарищ Островский. — Я оставлю их у себя. Я обращаю ваше внимание только на одно — вы позорите не только коммуну, но и «Динамо», куда идет ваша продукция. Вдумайтесь в это получше. И если уж даете обещание, так выполните его.

Суровой самокритике была подвергнута работа каждого. На всех заводах — в производственных комиссиях, на производственных совещаниях, на общезаводских собраниях болшевцев — всюду были поставлены вопросы промфинплана, качества продукции.

— Ни одной плохой пары коньков, ни одной бракованной фуфайки, ни одной негодной пары лыж!

Волна социалистического ударничества и соревнования прокатывалась по цехам.

Так шла эта трудная, полная событиями, обильная огорчениями и радостями зима.

Уголок

Прошло то время, когда Богословский, старейший работник коммуны, знал в лицо и по имени любого воспитанника. Положение изменилось. Каждый день коммуна пополнялась новыми обитателями. Не только Богословский или Кузнецов не могли знать всех воспитанников, но и сами они частенько не опознавали друг друга несмотря на широкие знакомства в старом блатном мире. Услышав о коммуне, в нее приходили уголовники-одиночки с воли. По собственному желанию являлись целые партии из тюрем и лагерей. Одних влекло давнишнее желание кончить с опасным ремеслом и начать трудовую жизнь. Другие — преимущественно молодежь — спешили сюда, не дожидаясь очередного ареста. Третьи — наиболее закоренелые — все же сознавали, что воровскому миру наступает конец, и также тянулись в коммуну. Впервые дни такие больше всего доставляли хлопот воспитателям. Но коммуна уже не боялась трудностей. Руководители накопили достаточно опыта, им помогали активисты. Принципы, применяемые в коммуне, оправдали себя. Каждому вновь приходящему в Болшево хватало дела на производстве, строительстве, в культурных организациях. Воспитатели получили неограниченные возможности подхода к людям с полным учетом их индивидуальности. Еще не так давно появление первых девушек вызывало у многих опасение за судьбу всей коммуны. Теперь былые страхи казались смешными. Приезд опытной воровки Лели Мещерской остался почти незамеченным, да ее и не пришлось уговаривать, как это было с Огневой и Шигаревой.

Только одно лето можно было считать счастливым в детстве Лели. Звали ее тогда по всей деревне Ольгушкой, а ребятишки еще добавляли: лягушка. В то счастливое лето отец не пьянствовал и привез из Москвы много подарков: селедки, чай, сахар, ситец, платок матери, а детям, Ольгушке и маленькому сынишке, по соломенной шляпе.

Осенью отца взяли на войну. Ольгушка подрастала без него. Мать была довольна помощницей. Потом пришло извещение что отец убит — «пал в бою», как сообщало письмо.

Мать, ставшая полноправной хозяйкой над захудалым имуществом, решила отправить Ольгушку из деревни к тетке в Питер — пусть чему-нибудь поучится.

Тетка жила в «самом конце города», как она сама говорила. «Конец» был весь из старых домов, давно предназначенных к сносу. Одинокая старуха перебивалась постирушками, ходила мыть посуду, чинила какие-то ношенные-переношенные штаны и рубахи.

Ольгушка помогала ей, потом стала работать на квасном заводе — мыла бутылки.

После Февральской революции тетка устроила ее через знакомых в типографию. Ольгушка подрастала, но парни не хотели с ней гулять. Она долго не складывалась: с лица была желтовата и телом костиста. По вечерам, сидя на лавочке, она тосковала. Мимо проезжали какие-то люди — мужчины и женщины — веселые, хорошо одетые. Они ехали на Стрелку смотреть заход солнца. И никому не было дела, что у Ольгушки убили отца, что мать не пишет и что тетке пора на покой, а ей, девчонке, хочется хоть раз тоже поехать на Стрелку посмотреть на закат солнца.

Пришли октябрьские события. Вся типография ходила к заставе, дрались, потом на Марсовом хоронили кого-то, а Ольгушка отсиживалась в низеньком домишке. Тетка все приговаривала:

— Не ходи, ты — маленькая, с тебя не взыщут!

С Ольгушки и не взыскали. Она так и осталась работать в типографии, где переменилось начальство, а ребята остались прежние.

Перестали ездить господа на Стрелку, мимо ездили машины с военными, людьми простыми и деловыми.

Ольгушка работала старательно. В типографии начальство стало ее выделять. Ребята вдруг заметили, что у Ольгушки красивые глаза и кудрявые волосы, стали просить вечером: «Спой, Ольгушка». У нее появились новые знакомые. Тетка

предостерегала:

— Гляди, забеременеешь, тогда ищи их!

Ольгушка ходила раза два на комсомольские собрания, но там ей показалось скучно: то ли дело Жора!

Он служил в почтовой конторе, у него — всегда деньги, новый пиджак. И не раз звал Ольгушку поехать на Стрелку развлечься.

Она подумала и однажды решила:

— Поедем в воскресенье.

Они ехали на лихаче. Широкая спина ватного армяка, ременной кушак, шляпа с ворсом и лаковая коляска были совсем такие, как до революции. Жора спросил:

— А как вас мамаша звала?

— Ольгушкой, — сказала девушка.

— Ну, а знакомые?

Ольга припомнила деревенских ребятишек и постыдилась сказать, что ее звали лягушкой. Она покраснела и сказала:

— Никак.

— Тогда я вас буду звать Леля, разрешаете? — спросил Жора и взял ее руку.

Домой они вернулись под утро. Тетка, отперев дверь, только и сказала:

— Добегалась!

Из типографии Ольгушка ушла. Жора пообещал устроить ее на другую работу.

Ольгушка переехала к нему. Тетка махнула рукой:

— Ныне и невенчаных много живет.

Жили хорошо. Она иногда начинала допрашивать Жору, сколько он получает.

— А тебе мало? — отвечал он. — Могу еще дать! — и выкидывал червонцы.

Тетка ходила, как именинница:

— Ольгушке-то счастье! Бог, он — справедливый, сироту не оставляет! Была у них, одарили меня. Теперь у меня чай с сахаром не переводится. Конфеты есть…

Ольга хорошела. Платья ли делали ее лучше, счастье ли меняет человека, только на улице все смотрели на высокую стройную девушку. Лицо строгое, руки тонкие, а когда улыбалась, то даже дворники у чужих дворов здоровались.

Жора иногда пропадал куда-то на всю ночь, потом просил прощения, говорил, что в карты играть любит, и высыпал серед Ольгой кредитки. Ольга верила. Так жили месяца два. Потом Жора не явился и утром, не явился и вечером. Ольга пошла в учреждение, где работал Жора, ей сказали, что давно уволился.

Сестра Жоры сообщила, что он арестован.

— За что? — спросила Ольга.

— Ты, Леля, не волнуйся, он скоро придет. Никуда не ходи, я все сама сделаю. Меня брат просил об этом.

— Разве он знал, что его арестуют?

Сестра стала что-то врать. Ольга повернулась и ушла. Через четыре дня пришел Жора. Он ввалился в комнату грязный, небритый, но веселый и довольный.

— Загрустила, детка? Что же ты не рада, Леля?

До вечера Ольга плакала и все расспрашивала, за что его арестовали и почему ей не надо было искать его.

Жора отговаривался, потом усмехнулся:

— Ну и святая душа! Первый раз такую девчонку вижу. Ты думаешь, деньги с неба падают?

Ольга похолодела:

— Я ведь говорила, что пойду работать. Можешь не спекулировать!

— Чудачка! — опять криво усмехнулся Жора. — Если б спекуляция, так я себе руку бы отрубил.

— Если не спекулируешь, тогда что? Ведь не воруешь же ты? — крикнула она запальчиво.

— А если ворую?

Ольгу поразил грустный жоркин голос. Она металась по комнате и все натыкалась на Жорку, и хотя Жорка не обнимал ее, она от него отскакивала.

— Ты не мучайся, я уйду! — он встал и шагнул к двери, прошел длинный коридор и звякнул цепочкой. Ольга крикнула:

— Жора! Куда ты?

Она уже хорошо знала его товарищей. Понемногу начинала понимать воровской жаргон. Потом ходила по тем квартирам, которые должен был Жора обобрать. Звонила, и если кто-нибудь выходил, она спрашивала первое попавшееся имя. Ольга чаще всего спрашивала своих деревенских, которых помнила. Было легче сказать: «Здесь ли живет Василий Терентьевич?»

Так началась ее воровская жизнь.

По шалманам Ольга не скрывалась. День-два переждет у тетки, старуха всегда встречала племянницу с плачем и не радовалась уже пышным подаркам. Жорка был в ссылке. Леля решила переменить место работы. С «липой» выехала в Москву. Явки были, связи крепкие, и жизнь закружилась. Леля «бегала» уже «по городовой». Сашка Шишка уговаривал начать совместную жизнь — Ольга ждала Жорку. Сашка не приставал — Лелю уважали как женщину серьезную и положительную.

На Сретенке в ресторанчике, где зачастую встречалась она со своими компаньонами, сбытчиками краденого, с извозчиками, которые возили на «дело», Леля узнала о смерти мужа. Говорили, что расстрелян, кто-то сказал, что убит при перестрелке. Леля хрустнула пальцами и сказала:

— Пойдем куда-нибудь!

Они наняли извозчика в Марьину рощу. Шишка и еще один вор, Барин, везли ее к знакомому «Каину» — они знали, что и водка и закуска всегда готовы у доброго человека.

Дверь отворила осторожная хозяйка.

— Свои, — Сашка Шишка подмигнул и протиснулся вперед.

Леля заметила в углу комнатушки портновский стол, утюги, на стене висели большие ножницы, похожие на те, которыми стригли овец. Ольга усмехнулась:

— Это тут?

— Проходите, проходите, рада очень, — лебезила хозяйка, посматривая на Шишку. — Сейчас и сам будет.

Шишка шепнул ей что-то. и хозяйка с готовностью провела Лелю в другую комнату. Эта комната была побольше, светлее, оклеена обоями, на стенах висели картинки из журналов, абажур лампы был украшен бумажными розами.

Но Леле и здесь не нравилось. На столе была постлана грязная, в коричневых пятнах скатерть. В комнате стояли табуретки, новенькие, свеже обструганные, но уже заляпанные, залитые чем-то густым и клейким. У фикуса из семи листьев шесть пожелтели.

— Хоть бы цветок полили! — сказала Леля.

Шишка бросил гитару и выбежал в другую комнату. Он принес ковш воды и начал изо рта прыскать на фикус.

— Брось ломаться, — попросила Леля. — И пусть водки дадут. Жжет!

Шишка опять выскочил из комнаты.

Барин — с ним Леля встречалась всего третий раз — подсел к ней.

— Вы такая интересная вдовушка, зачем скучать? — и взял ее за руку.

— Брось, — отодвинулась в угол Леля. — Чего ты лезешь?

В комнату разом ввалились Шишка, хозяин и два молодых парня. Принесли бутылки, банки консервов. Перед Лелей поставили коробку с конфетами.

Леля налила стакан водки и залпом выпила.

— Селедочки, — пододвинул хозяин тарелку. Леля усмехнулась и налила еще стакан.

Леля пила. Ей казалось, что она не пьянеет. Шишка давно

сидел с ней рядом. Он вытирал слезы с лелиного лица сначала платком, потом руками, потом опять платком. Леля плакала, широко открыв глаза. Плакать под гитару было легко.

Ночью приехали еще какие-то люди. На рассвете Леля попросила Шишку:

— Помоги выйти, мне плохо. — Но Шишка спал.

Лелю мутило. Барин помог ей выйти.

«Господи, какая жизнь!» не то сказала, не то подумала Ольга, шагая через порог.

Аресты в Ленинграде, Москве, Казани, Сызрани, Томске, приводы, изоляции, суды, приговоры, лагери, побеги.

И Леля Счастливая, так называли ее знакомые воры за удачу в кражах, сидела последние дни в МУУРе, дожидаясь отправки в Соловки.

Голос ее огрубел, под настороженными глазами морщины.

У нее даже волосы перестали виться. В камере шумели девушки, молодые воровки, только начавшие «работать». Они с уважением уступали Лельке лучшее место в углу. Она покорно, как ей казалось, готовилась в дальний путь. И в Соловках люди живут.

В МУУР на отбор приехала комиссия из Болшева. Комиссия работала под председательством товарища Буля.

Девчонки в камере волновались.

— Вы что? — строго спросила их Ольга. — Чего вы кричите?

— Леля, Лелечка! Приехали из Болшева, — и девушка схватила Лелю за плечи.

«Рада, дура», подумала Ольга, но не захотела огорчить девушку. Пусть хоть этому порадуется.

Леля легла на койку и отвернулась к стене.

Девчонки кричали, бегали, их вызывали, они возвращались, кричали: «Меня берут!»

Леля страдала, что никуда нельзя уйти от этой оравы, заткнуть уши, закричать, пожаловаться. Почему ее никуда не берут, никто за ней не приходит и ей один путь — в Соловки? А может, и она поехала бы! Лелька Счастливая заплакала. Она плакала тихо, чтобы никто не мог подумать, что им, «сявкам», завидуют.

В камере притихли. Кто-то сказал:

— Она спит.

— Разбудите. Ее зовут на комиссию.

Леля пальцами протирала глаза, она притворялась, что только что проснулась. Она не знала, зачем ее зовут туда, к Булю. Может, сегодня ей дадут приговор? Может, сегодня и ее

«обрадуют»: три года Соловков, а может быть, все пять!

Леля длинным коридором прошла в кабинет Буля.

Перед ней стояли еще какие-то девушки. Леля отстранила их:

— Пропустите, меня вызывали.

За столом сидел Буль, рядом с ним незнакомая черноволосая женщина, потом Нюрка Огнева, неплохая воровка, в «Новинках» сидели вместе, и Маша Чекова, тоже из «Новинок».

— Вот она, — сказал Буль.

Огнева, не здороваясь, с любопытством посмотрела на Ольгу.

«Ишь, сволочь, — озлилась Лелька, — какую святую стала разыгрывать! Чорт с ней, мне ее поклон не нужен»,

Женщина, сидевшая рядом с Булем, что-то тихо зашептала. Буль покачал головой и сейчас же спросил Лелю:

— Хочешь, Счастливая, в коммуну?

Одна из улиц коммуны

«Что он, смеется, что ли?» насторожилась Леля.

— Сколько тебе лет? — спросила деловито Огнева.

«Будто не знает, подлая», еще пуще обозлилась Леля, но все же ответила:

— Двадцать шесть.

— Да что ты? — удивилась Огнева. — Да тебе же меньше. Леля! Ты меня узнала? — И Огнева улыбнулась.

— Узнала. А лет мне все-таки двадцать шесть.

Женщина опять что-то тихо сказала, но Огнева начала оспаривать громко:

— Нина Николаевна, надо обязательно взять. Я же давно ее знаю. Она подходящая, честное слово.

Женщина повернулась опять к Булю.

И Леля вдруг поняла: она боится, что ей откажут. Она не сводила глаз с женщины: «Ну, что тебе стоит? Почему же ты не хочешь?»

Женщина согласилась:

— Хорошо, давайте возьмем. Хотя по возрасту она не совсем подходит.

Женщина говорила, а Лелька бежала уже по коридору и, ворвавшись в камеру, закричала, как девчонка:

— Девушки, милые, меня тоже берут!

Они выехали под вечер на грузовике; ехали по бульварам, свернули от Трубной к Самотечной.

«Мимо Сухаревки», определила машинально Леля, и действительно грузовик свернул к Сухаревке. С грузовика площадь казалась маленькой и грязной. Леля всматривалась в толпу, пытаясь найти знакомое лицо, но автомобиль свернул на

Мещанскую, и Сухаревка гудела где-то позади.

«Зачем я туда еду? — задала себе вопрос Леля. — Чорт ее знает, что это за коммуна».

Переступая через ноги девчат, к Леле пробиралась Огнева.

— Послушай, — наклонилась она к Леле. — Ты знаешь, Леля, что я за тебя поручилась. Тебя в коммуну не хотели принимать. Мне пришлось тебя отстаивать, так ты смотри, если что, так мне скажи… Понимаешь?

«Что она болтает?» нахмурилась Леля, ничего не поняв.

— У нас в коммуне теперь строго стало. Ребята друг за друга ручаются, — продолжала Огнева. — Я за тебя поручилась, понимаешь?

— Ничего не понимаю. Но ты не бойся, тебя я не подведу. Проехали последние домики города. Постепенно начался лес.

Стало темнее. Леля обрадовалась: пусть никто не видит, что она плачет.

Подъехали к дому. Дом деревянный, раскидистый. У дома — ребята. Грузовик дальше не идет. Значит, здесь.

— Привезли?

— Привезли, иль ослепла? — задиристо отвечала Огнева.

Девчонки выпрыгивают из грузовика. Леля стесняется выходить: она такая высокая, взрослая, самая большая. Она соскакивает с другой стороны, где меньше ребят.

— Так и убить можно! — говорит парень, отряхивая рукав белой рубахи. Леля задела его.

— Простите! — Леля стесняется.

Парень помогает ей достать чемодан, и они вместе идут к крыльцу.

Ужин, песни, разговоры, смех, знакомые, наконец, чистая постель — вот первый вечер.

«Беззаботная жизнь», подумала Леля. Но она долго жила на свете и знала, что так не бывает.

Утром проснулась рано. Солнце вставало ясное, но холодное. Леля открыла окно. Девчата просыпались и смотрели на новенькую.

— Можно мне выйти? — спросила Леля.

— Иди, куда хочешь! — ответили ей.

Леля вышла из дома и пошла по дорожке в лес. Лес был пустой. Леля шла и думала. Когда она вернулась, то хотела рассказать, как хорошо в лесу. Ей казалось, что на обратном пути пели птицы, но вспомнила, что осень, птиц нет, и засмеялась. Девчонки бегали к умывальнику, растирали тело мокрыми полотенцами, долго расчесывали волосы. Те, кто работал утром, спешили пить чай. Леле показали умывальник, дали кружку,

хлеб. Она всех благодарила.

Позже в спальню пришла Нина Николаевна. Она поздоровалась с Лелей, осведомилась, все ли у нее есть.

«Сухарь, а не баба», определила Леля.

Она все еще помнила, что Нина Николаевна не хотела ее брать в коммуну.

Три дня гуляла Леля по коммуне, по лесу.

На третий день вечером Нина Николаевна спросила, куда Леля хочет итти работать.

Леля обрадовалась. Работать ей хотелось. И утром следующего дня она пошла на трикотажку.

Теперь дни стали будто еще лучше. Друзья в Москве не знали, где Леля. Она решила пока им не писать, Посмотреть, что выйдет из этой жизни. Она все еще не верила, что выйдет толк. Дали ей работу на одноигольной машине, обещали перевести потом на двухигольную.

Говорили, что скоро будет заседать конфликтная комиссия. Леля решила пойти. Ее и Нина Николаевна позвала:

— Леля, сегодня вечером приходи на конфликтную.

Леля пошла.

Разбирали скучные незначительные конфликты. Кто-то влез в чужую тумбочку, стащил кусок сахару, рылся в вещах.

Воровки рассказывали про воровок, какие они сделали проступки. В президиуме сидели тоже воровки, и они разбирали все дела. Но тут же сидели и Нина Николаевна и Богословский — дядя Сережа. И воровки, не стесняясь никого, будто даже радуясь, что могут при чужих рассказывать о всяких мерзостях, срамили и обличали подруг. Леле все хотелось крикнуть: «Замолчите, проклятые, тут чужие, лягавые! Разве мы не можем сами проучить? Кто вас за язык тянет? Перед кем выслужиться хотите?»

Уйти ли сейчас же, прямо с собрания, или поговорить начистоту со всеми в спальне, высказать, что она о них думает, и тогда бросить коммуну?

И тут встала Бесфамильная, воровка с большим стажем, и вдруг сказала:

— Товарищи, а у меня есть еще один вопрос, но посурьезнее: это относительно пьянок. Я ставлю вопрос о Шурке Кузьминой. Она из Москвы вчера приехала опять выпивши.

Леля вскочила и, с силой расталкивая подруг, выбежала из комнаты. Нина Николаевна посмотрела ей вслед без всякого удивления.

Леле все ясно и просто было в домзаке, ясно и просто представляла себе Соловки, но коммуна вывернула вдруг весь воровской мир наизнанку, и Леле показалось, что дальше итти

некуда. Это то самое поганое место, которое для честного вора хуже смерти.

Леля в спальню пришла поздно, когда все спали.

— Набегалась? — спросила ее Бесфамильная. — Настрадалась, девушка? Это полезно. С каждым человеком должно такое произойти.

— А ты разве человек? Откуда тебе знать, что со мной делается?

— А как же? Ты думаешь, мы не бегали? Ты думаешь, со старой жизнью легко рвать? Нет, милая, еще помучаешься.

Бесфамильная повернулась на постели и затихла.

— Что ты, как ворона, каркаешь? Мне мучиться? Я здесь не останусь!

Леля кричала на всю спальню.

Просыпались девчата.

Шурка Кузьмина спросонья спросила:

— А куда пойдешь?

— И ты, и ты с ними! — обозлилась Лелька. — И тебе не стыдно?

— Чего? — совсем проснулась Шурка. — Что пила? Стыдно! Мне дядю Сережу стыдно. Он уж сколько раз меня просил!

— Просил! — передразнила Лелька. — Скажите пожалуйста, он ее просил! А ты его слушаешь!

В комнату вошла Нина Николаевна. Она еще не ложилась. Кофточка была застегнута, и вязаная шапочка не снята с головы.

— Не шуми, Леля, — остановила она, — спи и другим дай спать. Завтра работать. А если взволнована чем-нибудь, спать не можешь — иди ко мне.

— Я спать буду! — отрезала Леля и, не раздеваясь, кинулась на постель.

Отношения с девчатами портились не по дням, а по часам. Все свободное время Леля проводила где-нибудь вне общежития. Девушки раздражали ее. Особенно она ненавидела тех, которые приехали вместе с ней. Они уже обживались, шептались по углам, называли имена каких-то парней, хихикали, навивали челки, пудрились.

«Вот они, воровки! — думала Леля. — Показали им мужиков и хватит! Мажутся, поют, пляшут».

С Ниной Николаевной Леля не разговаривала вовсе. Она и девчонок презирала больше за то, что они перед воспитательницей как будто заискивали. Леля была уверена, что они наушничают.

«Сплетницы! Предательницы!»

Леля перестала с ними разговаривать. Уйти из коммуны она

еще не решалась. Ее останавливал страх — а вдруг все-таки следят, сразу схватят и в Соловки. Она аккуратно ходила на работу, не пила — впрочем, она и раньше пила не часто. Только с людьми разговаривала грубо и насмешливо.

В Москву Леля написала, сообщила, где она находится, и, когда ее приехали навестить, она отвела душу. Она рассказала о коммуне, о тех, кто в ней живет и что она, Леля, о них думает.

Приезжие из Москвы слушали Лелю относительно спокойно:

— А ты что хотела? Коммуна — не шалман! Разве ты не знала, куда шла?

Леля и с ними поругалась. На прощанье она только и сказала:

— Пришлите мои вещи и деньги, которые еще остались.

Деньги ей прислали по почте. Денег было сто рублей. Повестку Леле вручили в конторе. Она обрадовалась: с деньгами легче пуститься в путь. На почте денег не выдали, сказали, что надо будет повестку заверить в коммуне. Леля побежала обратно. Она попросила Нину Николаевну получить деньги и, не раздумывая, подписала доверенность.

Она уже строила планы: куда поедет, с кем будет «бегать», отдала в починку туфли. Прошло три дня, а денег Нина Николаевна ей не отдавала. Леля спрашивала каждый день. И всегда один ответ: «Не было времени, получу, куда тебе спешить?» «Куда спешить? — подумала Леля. — А что мне тут торчать?»

Потом Нина Николаевна деньги получила и все же выдала Леле только пять рублей.

— Тебе больше не надо, у тебя все готовое. Ты новенькая, мы тебя еще не знаем! Не проверили!

— А вам какое дело? — кричала Леля. — Если коммуне нужны мои деньги, пусть возьмут. Чорт с ними. Я могу больше достать!

— Коммуне твои деньги не нужны, но и тебе сразу столько не нужно.

Лелю взорвало:

— Позвольте мне знать, сколько мне нужно. Может, вы привыкли на пятачки жить, а я нет.

Нина Николаевна пожала плечами, а денег все-таки не дала.

Общежитие собиралось переезжать в новый дом. Девчонки гладили простыни и белые пикейные одеяла. Леля была равнодушна ко всей этой суетне: «Плевать на новый дом! Мне в нем все равно не жить!»

И когда надо было перебираться, Леля свернула кое-как в узел постель, сложила чемодан и вместе с остальными потащилась к новому дому. Ее не радовали ни свежие стены, ни

промытые стекла, ни длинные коридоры, ни теплые уборные: «Тоже, обрадовались, эка невидаль!»

— Ты будешь спать тут, Леля!

Леля машинально бросила узел с постелью и только потом посмотрела на свою кровать. Кровать стояла второй от двери, на самом ходу.

— На тычке? Меня, старую воровку, кладут спать на тычке? Леля, схватив тумбочку, со злобой гулко опустила ее на пол.

— Эх, чтоб ей гроб такой на том свете! — пожелала она от всего сердца Нине Николаевне.

Та молча стояла в дверях. Леля даже не оглянулась. «Чорт с ней, пусть лопает!»

Леля кое-как накрыла постель. Она решила твердо, что сегодня же уйдет из коммуны.

Девчонки побежали в старый дом за какими-то столами. Они даже не позвали Лелю, и это ее обозлило: «Что я, хуже их, что ли?»

В спальне осталась она одна. «Не все ли равно, в каком углу спать», подумала Леля.

В комнату вошла Нина Николаевна.

— Леля, вот тебе из МУУРа прислали, — и она отдала ей бумажку.

Леля развернула листок. Читала и тряслась. Пришел приговор: пять лет Соловков.

— Не ко двору пришлась, Нина Николаевна? — губы у нее задрожали, она села на кровать.

— Леля, ты что? — Нина Николаевна наклонилась над ней. — Ты что волнуешься? Ты же ведь не получала приговора, так вот его и прислали в коммуну. Ты думаешь, тебя высылают? Нет, тебя в коммуне никто не тронет. Ты не волнуйся, хочешь воды?

Леля пила воду и смотрела на черноволосую Нину Николаевну.

Та вдруг улыбнулась, и Леля подумала: «А ведь ей меня жалко».

Она долго еще всхлипывала и незаметно для себя уснула. Нина Николаевна тихонько вышла.

— Пора вставать, принцесса! За хлебом бегать мальчиков нет!

Леля поняла, что это ей говорят. Она плотнее закрыла глаза: «Ну их к чорту и с хлебом».

— Слышишь? Я тебе говорю! — Огнева толкнула Лелю. — Пора за хлебом бежать!

— Не толкай, за хлебом бегают только поросята, а я не пойду.

— Что?

— Не пойду, поняла? Ни за что не пойду.

— Ты что, белены, что ли, объелась? — спросила ее грубовато Бесфамильная. — Что ты с утра психовать начала? Сон, что ли, плохой видела?

— Тебе какое дело до моих снов? Какие хочу, такие и вижу!

— Вставай, вставай, девушка, пора! Из-за тебя и мы голодные на производство пойдем.

И эта мирная, казалось бы, фраза окончательно вывела Лелю из терпенья.

— Вы проклятые! Вы все проклятые! — кричала она, стоя на постели. — Я сказала, что не пойду, и не пойду. Кто смеет меня посылать?

Вошла Нина Николаевна и, не взглянув на Лелю, обратилась ко всем, кто был в комнате:

— Вот какая история. Мы уже много говорили об устройстве красного уголка. Надо, чтобы это было сделано: вы сами подумайте, девушки, ведь ни посидеть, ни почитать, просто спокойного места нет. Может на днях приехать товарищ Погребинский. Ведь стыдно будет? А там мы уберем, украсим, летом живые цветы будем ставить! Я вот все думала, кому поручить это дело? Мое предложение, чтобы сегодня же взялась за украшение Леля: дело ответственное, нам нельзя ударить лицом в грязь перед мужскими корпусами, тут надо вкус иметь и выдумку.

Леля села на постели и закрылась одеялом. Девчата молчали.

— Как же вы все-таки думаете?

— Ее нельзя, — строго заговорила Чекова. — Она, Нина Николаевна, в быту нехорошая.

— Чем? — озлилась Леля. — Чем я в быту нехорошая? Пью? Нарушаю порядок?

— Нарушаешь, — отрубила Чекова. — Сегодня твоя очередь за хлебом итти, а ты все еще лежишь. Нам на производство надо, а из-за тебя без завтрака итти приходится. Это порядок по-твоему?

— Постойте, — остановила Нина Николаевна. — Ты почему не пошла за хлебом, раз твоя очередь?

— Не хотела!

— Это не ответ, Леля. Сегодня ты не пойдешь, завтра — другая… Впрочем, это мы сейчас уладим. Я все-таки думаю, что это дело надо поручить Леле. За хлебом она сходит. Тут только вопрос: сумеем мы сами сделать лучше, чем другие, или нам придется попросить помощи. Как вы думаете? — И Нина Николаевна посмотрела в упор на Лелю.

Леля хотела ответить, но ее перебили:

— А что те знают?

— Сами сумеем!

— Ни за что не надо просить помощи!

Леля подумала: «Чего они-то волнуются, если мне поручают это дело?»

Она ответила:

— Я думаю, Нина Николаевна, что мы сами справимся.

Красный уголок украшали старательно. В два часа ночи Нина Николаевна настойчиво потребовала, чтобы девчата пошли спать. Леля упросила оставить ее еще на десять минуток, чтобы забить последние гвоздики. И когда все вышли, Леля заперла дверь и с порога оглядела комнату: некоторые лозунги висели криво и явно не на месте, полотнища комкались и мялись, их надо было натянуть и задрапировать, чтобы они сужались у портрета Ленина, и портрет надо чуть-чуть наклонить, тогда лицо будет выделяться яснее. И она решила переделать все по-своему.

Утром ее хвалили, восторгались. Из соседних общежитий прибегали мальчишки посмотреть. Они всячески исхитрялись заглянуть в замочную скважину, в завешенные окна. О красном уголке женщин заговорила вся коммуна.

Нина Николаевна принесла Леле отпускную:

— Можешь до вечера ехать в Москву.

Леля заторопилась. Она достала самое нарядное платье, то, в котором она в последний раз ходила на «дело». Она его гладила, и вся спальня наблюдала за ней — был выходной день.

Леля попудрилась, подкрасила губы. Бесфамильная жестоко похвалила:

— Ишь собралась, прямо хоть на «дело»! Городушница!

Леля оглядела себя еще раз. Сбоку мотался какой-то нелепый кусок. Ей он казался особенно шикарным, она помнит, что когда шла по Петровке, то легкий шелк отлетал и опять прилипал к юбке. Короткие рукава обнажали ее тонкие руки.

Леля молча стянула платье, скомкала и бросила в корзинку. Опять надела синюю юбку и белую кофту, в которых ходила на производство, и вышла из спальни.

— Строптивая девушка, — сказала Бесфамильная.

Из Москвы Леля возвращалась с болшевцем Любарским. Впрочем, они и туда поехали вместе. Они шли со станции. У Лели навертывались слезы.

Любарский уговаривал ее:

— Брось ты, Леля, тосковать. О плохом тоскуешь.

— Отстань, у нас поп такой был. Он тоже все гнусавил!

Любарский смутился. Леля остановилась среди дороги.

«Что мне с ней делать! — растерялся Любарский. — Сказать: пойдем, — она ни за что не пойдет. Сказать, что в клубе новая пьеса идет, — она смеяться будет, пошлет к чорту. Просто взять за руку и потянуть, она оттолкнет и тогда уже непременно уедет обратно в Москву». Он не знал, что сказать, и когда отчаяние достигло предела, спросил сердито:

— Неужели для тебя так и нет ничего в коммуне хорошего?

Леля засмеялась и, слегка толкнув его в спину, сказала:

— Идем, найдется!

Лелю назначили заведывать красным уголком. Она ходила счастливая, гордая, но несколько смущенная. Она опять была на конфликтной. Необыкновенные мысли переполняли ее: вот она стала заметной работницей, ей доверяют, ей дают поручения. Она не слушала, о чем говорят выступающие товарищи, но когда Бесфамильная закричала с обычной горячностью, что Манька Русая хочет бежать из коммуны, Леля насторожилась.

Бесфамильная рассказывала о переживаниях Маньки, как о своих собственных. Леля удивилась: «Откуда она это так хорошо все понимает?»

Весь вечер говорили с Манькой, та вначале расплакалась, потом повеселела и пообещала:

— Никуда я не пойду, ладно! Просто настроение такое было.

В спальне Леля похвалила Бесфамильную:

— А здорово ты людей знаешь!

— Наука небольшая, надо только о них думать побольше, все станет ясно. Ты помнишь, в первый раз с конфликтной убежала, а сегодня самой понравилось. Меня последним человеком считала, а сегодня вон — хвалишь!

— Ладно уж, опять начала каркать! — сказала Леля сердито. хотя на душе у нее было легко и весело.

Михайлов

I

Уход в коммуну пахана Мологина заставил многих старых воров, гулявших на воле, крепко задуматься. Иногда какой-нибудь вор в пивной за бутылкой кислого пива унылым шопотом передавал своему приятелю:

— Сегодня опять Мологина встретил.

— Ну, как?

— Да ничего. Говорит — некогда. Всего только парой слов перекинулись. Приезжал за костюмами для спектакля в ихнем клубе.

Болшевцев видели свободно гуляющими по улицам столицы. Они попадались в кино, театрах.

Задумался и Николай Михайлов. Младший брат его Костя давно уже был в коммуне и неоднократно уговаривал старшего бросить грязное ремесло.

Николай крепко держался за свою кустарную швейную мастерскую, которая не столько приносила ему дохода, сколько служила ширмой для прикрытия воровских делишек.

Сегодня Костя опять пришел к брату. Николай послал девочку из мастерской за водкой и поставил на примус эмалированный чайник. Водку и закуску он подал на маленьком черном подносе.

Костя любит отдохнуть от коммунской жизни в такой обстановке.

— Ну, Коля, скоро к нам приедешь? — спрашивает он. Николай сердится. Нет, он не пойдет в эту богадельню.

— Хороша богадельня! — без обиды отвечает Костя. — Посмотри-ка на мои руки, — и он показывает брату огрубевшие за полгода руки.

Николай смотрит и брезгливо морщится:

— Грош цена этим мозолям.

Костю задел за живое этот пренебрежительный тон:

— А ты знаешь, что для нас коньковый завод с заграничным оборудованием построили?

— Представляю себе, каких вы наляпаете уродов.

Николай свысока посматривает на брата. Изредка он на минутку выбежит в мастерскую — распорядиться, подтянуть болтливых швеек.

— Хозяйский глаз много значит во всяком деле, —

многозначительно говорит он Косте.

— Теперь у нас уже со многих сняли судимости, — продолжает свою линию Костя.

— И выдали паспорт? — интересуется брат.

— Профбилеты!

— Ну, и они ушли из коммуны?

— Многие остались.

— Подумаешь, райская обитель!

Николай принимает насмешливый, высокомерный вид. Это совсем не идет к его простому лицу.

«Ну что же, пусть, пусть поерепенится, — думает Костя. — На то он и старший брат».

Костя далеко не примерный коммунар. Вот он у брата водку пьет, а был случай — к теще зашел и «дельце» с ней состряпал. Не так-то уж легко сживаешься с коммунскими порядками. Но он все-таки гордится коммуной.

— Напрасно ты хорохоришься, Коля, мастерская тебя не спасет. Ты теперь хозяйчик, распоряжаешься швейками, — кивнул он на мастерскую. — Но разве ты уверен в завтрашнем дне? Ведь ты лишенец! Подумать только — буржуй и лишенец!

— И жизнь у тебя беспокойная, — продолжает Костя, — живешь ты по липе — это раз, за тобой лет двадцать неотбытых тюремных сроков — это два… И чего ты раздумываешь: Мологин — и тот в коммуне…

— Не уживется, сбежит. Я знаю эту рыжую лису, — сказал Николай.

Но когда Костя собрался уходить, Николай остановил его:

— Я, может быть, к вам приеду на днях. Любопытно взглянуть, как чекисты честных жуликов дурачат.

Костя вернулся из отпуска довольный собой.

— Скоро Коля Михайлов приедет посмотреть коммуну, — говорил он.

И все понимали, что когда старый вор едет что-либо посмотреть, то он это делает не ради пустого любопытства.

После нескольких поездок в коммуну Николай подал заявление в приемочную комиссию, но ему отказали как переросткy.

— Неужели в мои годы люди не поддаются переработке? — не без ехидства спросил он у председателя приемочной комиссии.

Председатель не сразу нашел, что ответить. Наконец он вынужден был намекнуть, что теперь многие склонны смотреть на коммуну, как на тихую бухту…

«Так вот в чем дело — не верят!» подумал Николай.

Да и в самом деле, не отмежуешься от белошвейной

мастерской. Не открестишься от агентов МУУРа, которые вот-вот придут и сделают свое дело. Наступит день, когда ничем не отвертишься от тюрьмы. Но Николай решил не сдаваться.

Он побывал у Богословского, чистосердечно рассказал ему все. Этот человек так умел слушать, что невольно говорилось больше, чем хотелось.

— Ты привык жить душа нараспашку, — сказал Богословский, — а в коммуне-то прославленную душу придется ущемить. Больно ведь будет?

— Возьмите, стерплю.

Богословский обещал кое-что сделать для него.

II

Председатель постучал карандашом по графину и сказал:

— Общее собрание членов трудкоммуны ОГПУ считаю открытым.

Николай сидел в заднем ряду. Ему были видны лишь одни затылки да длинный стол на сцене, покрытый красным сукном. Председатель и секретарь держались серьезно и важно. «Точь-в-точь, как судьи», подумалось Николаю. Кроме судебных процессов ему не доводилось бывать ни на каких других больших собраниях. Он оглядывает ряды крепких стриженых затылков: вряд ли среди этих огольцов найдется хоть один, равный ему. Он представляет себе, как твердой походкой пройдет через весь зал и под гром аплодисментов остановится у красного стола.

В клубе тихо. Председатель, важно открывший собрание, сказал вдруг обыденным голосом:

— Займемся, ребята, Грузинцевым.

И Николай обиделся, что вопрос о его приеме как будто позабыт. Однако он с большим любопытством прислушивался к делу Грузинцева. Грузинцев обвинялся в самовольных отлучках в Москву и в воровстве. Ничего особенного. Но с Николаем повторилось то же, что и с каждым новичком в подобных обстоятельствах. Прежде всего он испытывал презрение к «слягавившим» против Грузинцева. «Вот их-то и нужно судить — за лягавство». А болшевцы выходили к красному столу и повторяли: «Снять с Грузинцева почетное звание коммунара».

— Ребята, что же вы делаете? Вы меня опять в шалман посылаете, — жалобно говорил Грузинцев.

И Николаю хотелось заступиться за него. Что же это, в самом деле, за безобразие!

Он предполагал, что болшевцы хранят законы блатного мира.

Но, видимо, ошибся. И ему захотелось, чтобы вопрос о его приеме сняли или по крайней мере отложили бы на самый конец. Нужно собраться с мыслями, приспособиться к новой обстановке. Председатель опять постучал карандашом по графину, хотя теперь уже никто не шумел.

— Михайлов здесь? — спросил он и поглядел именно в тот угол, где прятался Николай, точно он давно присматривал за ним.

Николай оробел и почувствовал, что, пожалуй, не сумеет держаться так же сухо и самоуверенно, как на обычном суде. Он прошел к столу.

— Повернись лицом к собранию, — заметил ему секретарь.

Председатель читал характеристику:

— Михайлов, двадцать девять лет, пятнадцать судимостей. Имеет высылку, по кличке…

«Точно лошадь продает!» оскорбился Николай.

— Кто знает Михайлова?

Наивный вопрос! Николая знает каждый вор! В зале нашлось много ребят, которым довелось сидеть с ним в тюрьмах.

— Такой человек, как Коля Михайлов, — говорили они, — не подведет! Золотой товарищ!

— Есть ли у него документы? — кричали другие.

Николай положил на стол удостоверение личности.

— Липа? — спросил председатель.

— Настоящего вора с настоящим паспортом не найдете!

Всем понравился этот откровенный ответ. Тогда слово взял старый коммунский активист Ровинский.

— Михайлову приходится выбирать между коммуной и тюрьмой, — сказал он. — Он берет лучшее… Но, может быть, он идет к нам отсидеться от непогоды? — Ровинский посмотрел на Николая, но тот не посмел встретиться с ним взглядом.

— Ты, Михайлов, взрослый человек, и мы тебе говорим прямо: если темнишь — уходи! Уходи сейчас, иначе добра не будет ни тебе, ни коммуне.

«Нужно уйти, — подумал Михайлов. — Мне не ужиться со здешними порядками». Но тут же вспомнил, что уходить некуда.

Ребята теперь один за другим требовали слова. Секретарю пришлось составить списочек ораторов. Большинство соглашалось с Ровинским. Такой человек, как Коля Михайлов, может крепко повредить коммуне. Он соберет вокруг себя всех неустойчивых и как пахан будет пытаться противопоставить себя активу и руководству коммуны. Нужно воздержаться от приема — тем более теперь Михайлов не вор, а мелкий хозяйчик, лишенец… Николай почувствовал страх за свою судьбу. Он так

много надежд возлагал на общее собрание… Видимо, он переоценил свой авторитет в воровском мире. Нужно принимать меры. Сейчас же, смело и быстро. И, овладев собой, он попросил слова:

— Мне трудно говорить. Многие здесь смотрят на меня, как на лживого пройдоху… Но я прошу выслушать меня… Тогда вы поймете, что не только страх перед тюрьмой привел меня сюда… Я вам расскажу случай из своей жизни… — Николай впервые взглянул в глаза собравшимся и увидел, что его слушают. — Несколько лет тому назад я сидел в одиночке, и меня по амнистии освободили как раз в октябрьскую годовщину. Писарь, как водится, выписал мне ксиву — освобожден из такого-то домзака. Сидел за кражу. «Видом на жительство служить не может». И я пошел. Ну, куда можно пойти с ксивой?

— В шалман!

— Да, в шалман. Я шел весело, посвистывал. Дело было утром. После камеры приятно вздохнуть на вольном воздухе. Шел и посвистывал. В шалмане будет веселая встреча! Но до шалмана случилась еще одна встреча. Вот о ней-то я и хочу вам рассказать…

Михайлов не привык говорить длинных речей. У него пересохло в глотке, он выпил воды и от смущения накрыл графин вместо пробки стаканом. Секретарь снял стакан и закрыл графин пробкой.

— На перекрестке — оркестр, — начал опять Михайлов. — Гляжу, из заводских ворот демонстрация выходит. «С праздничком вас, честные пролетарии», ехидно говорю. Прислонился к водосточной трубе, стою, посматриваю… Сколько, мол, шуму и красных тряпок! Жду, когда пройдут. «Многие из этих охотно дали бы мне в зубы», думаю я и злюсь… И вот из колонны выходит человек, смотрит на меня, улыбается. «Коля, это ты?» спрашивает он. Смотрю — знакомое лицо. Да ведь это друг детства! Я с ним выкурил первую папироску! Грамоте по одной азбуке учился! Такой же оголец фабричного двора! Жмем друг другу руки, вспоминаем, смеемся, а на сердце — дрянь. Об сейчас спросит, где я работаю? Стало страшно этого вопроса. Узнаю, что он директор завода. «Это рабочие нашего завода… Солидная колонна?» спрашивает он меня. Узнаю, что и остальные ребятишки с нашего двора большими людьми стали. Один — летчик, другой — редактор, третий — партийный работник. А я — вор! И так мне стало стыдно за свою жизнь. Я взял да и сбежал от друга детства… «Нужно изменить жизнь, нужно изменить жизнь», только одна эта мысль и вертелась с тех пор в голове. Но как это сделать, если в кармане ксива? Думаю — наворую

побольше денег и займусь чем-нибудь, мастерскую, что ли, открою… Человек я упрямый — я добился своего… И вот, видите, расшиб на этом лоб… Теперь я пришел к вам… как к старым товарищам… Я хочу вместо ксивы получить профбилет. Тогда я пойду к другу и объясню, почему я убежал от него. И я скажу: «Возьми меня на завод!»

Николай разволновался, махнул рукой, дескать, и без слов все понятно, и пошел в дальний угол на свое место. Но болшевцы остановили его, пожимали ему руки. Кто-то зааплодировал, и он, смутившись, сел на первый подвернувшийся стул. «Молодец», шепнул ему на ухо Костя. Секретарь, не дожидаясь голосования, записал в протоколе: «Принять».

III

Николая поставили к револьверному станку.

— Будешь точить стойки, — сказал ему Таскин — инструктор конькового завода.

— Попробую, — снисходительно ответил Михайлов.

Инструктор ему все-таки понравился. Лицо у него крупное, на первый взгляд чуть грубоватое, но глаза и улыбка теплые и скромные. Предлагая Николаю работать на револьверном станке, он как бы стеснялся того, что такому большому человеку, как Михайлов, придется делать такие пустяки — стойки для коньков. А работа Николаю и в самом деле не понравилась.

— С тоски сдохнешь! — сказал он Таскину.

— А ты старайся, чтобы поисправнее станок работал, чтобы браку поменьше было. Тогда интереснее будет. Нам всем туго вначале приходилось.

Но у Михайлова от работы руки отваливались. Утомительно стоять у станка и смотреть, как он брызжет мутной водой и выплевывает дурацкие стойки. Николай представлял труд веселым и ярким, а он оказался серењким, скучным. Настроение от этого труда не поднималось, а падало. Чтобы скоротать время, он старался куда-нибудь улизнуть. Он стал чаще, чем обычно, курить, то-и-дело бегал взглянуть на часы или же околачивался в сборочном цехе, наблюдая, как собирают коньки. Эта работа ему нравилась больше. По крайней мере из рук товар выходит. «Снегурки» и «нурмисы», сложенные в сверкающие никелем горки, веселили глаз, напоминали о детстве, о веселых, звонких катках…

Николаю было стыдно перед Таскиным за халатное отношение к работе, но он ничего с собой поделать не мог. А

Таскин молчал, заботливо налаживая ему станок, и, казалось, ждал, когда Михайлов образумится.

«Оказывается, в коммуне не так уж сладко живется», думал Николай и все сильнее тосковал по Москве. Хотя бы на денек вырваться туда, вздохнуть полной грудью! Но в Москву не пускали. «Это же совсем, как в тюрьме!» возмущался он.

— Нечего сказать, напел ты мне! — ругал он брата.

Но он, конечно, понимал, что коммуна не тюрьма. Из тюрьмы сразу бы все разбежались — только открой дверь. А Николая никто за руки не держит, а в Москву он все-таки не едет.

— Уехал бы, — говорил он, — да ребят подводить не хочется!

А Костя теперь форсил перед братом, как «старичок», разными шалостями, которые он позволял себе в коммуне. Иногда он притворялся больным и не выходил на работу или же самовольно уезжал в Москву. Из Москвы он приезжал пьяным, хвастался тещей, у которой две дочери и обе воровки.

Особенно маялся Николай в ночные смены. В прошлом он часто проводил бессонные ночи. Бывали такие времена, когда малейшая оплошность грозила арестом. Но простоять ночь за станком было труднее. Костя приходил к нему на помощь.

— Работа дураков любит, — говорил он, — идем спать!

Они выкрадывали табельный номер и шли в сборочный, который по ночам не работал, и там спали, спрятавшись в ящиках. Однажды под утро Николая разбудили. Перед ним стоял Таскин. Он застенчиво улыбнулся, кашлянул в кулак и сказал:

— Михайлов, за тебя Пушкин работает?

— Не могу, Таскин, спать охота, — отвечал Михайлов и хотел было повернуться на другой бок, но Таскин оказался настойчивым парнем:

— Спать всем охота! А работать кто будет?

— Пушкин, — попробовал отшутиться Николай, но Таскин не был расположен к шуткам.

— Ты свою работу не сделал. Придется за тебя другому делать. «Чья это работа?» спросят меня. «Коли Михайлова, — скажу, — проспал он».

«А ведь и в самом деле неудобно», подумал Коля, и ему вдруг стало совестно перед Таскиным, что вот он, Михайлов, спит украдкой от товарищей в каком-то грязном ящике.

— Мы здесь на заводе не ради баловства. У нас план! Мы должны сдать заказ в срок. А если все спать лягут, что тогда будет? — укорял Таскин.

Прислушиваясь к его тихим словам, Николай подумал, что коммуна держится, пожалуй, не только заботой ребят друг о друге, но и заботой каждого коммунара о хозяйстве коммуны.

Хозяйский глаз много значит во всяком деле. И Николай невольно сравнил Костю с Таскиным. Ему стало стыдно за брата.

В это утро он впервые работал за станком, не скучая. Ему хотелось нагнать упущенное, сделать стоек столько, чтобы все говорили: «Посмотри, как Николай вкалывает!»

Когда резцы стало заедать, он сбегал за Таскиным и внимательно следил, как инструктор точил их и заправлял. А в следующий раз од попытался все это проделать сам. Таскин, наблюдая перемену, сказал заведующему воспитательной части:

— А Коля-то Михайлов начинает вникать!

В одну из следующих ночей к Николаю вновь подошел Костя. Он развязно сказал:

— Работа не волк, в лес не убежит!

— Ну и здоровый же ты лодырь, Костька! — с укоризной ответил Николай.

IV

«Нужно чем-то занять Михайлова в часы отдыха», думал Смелянский, воспитатель корпуса, в котором жил Николай. И он предложил Михайлову оборудовать столовую, которая теперь с трудом вмещала всех воспитанников.

У Николая прибавилась новая забота. Необходимо было раздобыть столы, скамейки. Ему пришлось завербовать себе помощников. Вскоре столы и скамейки раздобыли, но они требовали починки. Новая забота! Михайлов отыскал среди болшевцев хороших столяров, и мебель вышла не хуже новой.

Его радовало это тесное деловое общение с людьми, и Смелянский, наблюдая за ним, решил, что из него выйдет хороший организатор.

Однако тоска по Москве у Николая не пропадала. Хотелось хоть один вечерок пожить «с треском» — тряхнуть стариной. Он придумывал, как бы получить увольнительную.

Не откладывая дела, он пошел к Смелянскому. Тот встретил его, как всегда, приветливо.

— Нам нужно теперь, — говорил он, — вызвать на соревнование четырнадцатое общежитие. Пусть подтянутся! Не мешало бы в красном уголке выпустить стенную газету. Вообще работать на широкую ногу. Работы здесь надолго хватит! Сразу не проворотишь.

— У меня предложение есть, — перебил его Михайлов.

— Да?

— Радио в красном уголке установить.

— На это дело монета нужна.

— Обойдемся! — хитро улыбнувшись, ответил Николай.

— А именно?

— У меня в Москве четырехламповый приемник есть. Я хочу подарить его.

«А Москва-то все-таки из головы у него нейдет. От приемника нет смысла отказываться, но и Михайлова никак нельзя еще отпускать», подумал Смелянский.

— Может быть, приемник жене нужен? — спросил он.

— Никому он не нужен — давно весь паутиной оброс.

«Хитрая бестия», опять подумал Смелянский, а Николай, облокотившись на стол, ждал ответа.

— Ты делаешь ценный подарок нашему корпусу. Ребята будут довольны, — говорил Смелянский.

И Николай ждал, что вот он сейчас спросит: «Ну, а когда тебе удобнее будет съездить за ним?» Но Смелянский неторопливо оторвал листок из блокнота и подал его Николаю:

— Ты напиши, пожалуйста, свой адрес, Теронский поедет, захватит!

Николай никак не ожидал, что дело примет такой дурацкий оборот. Отступать было поздно. Он написал адрес и даже нашел в себе силы сказать Смелянскому:

— Пожалуйста!

Но, захлопнув за собой дверь, он дал волю гневу. «Скотина! Фрайер несчастный!» Коля готов был перегрызть горло этому коварному воспитателю. Как он смеет издеваться над ним! Что Николай — мальчишка? Теперь Смелянский сидит и ухмыляется: «Вот, дескать, как я ловко одурачил этого знаменитого жулика».

И, конечно, он будет повсюду хвастаться и рассказывать про эту смешную попытку купить отпуск. Теперь при встрече все будут говорить: «А ну-ка, расскажи, Коля, как ты приемничек проморгал». Михайлов так расстроился, что незаметно для себя вышел в лес.

Ему в коммуне до сих пор не верят, помыкают им. Долго ли терпеть все это? Так, размышляя, он бродил по сугробам, царапал еловыми ветками лицо. Да, жизнь в коммуне оказалась суровой. У него теперь нет даже денег на билет до Москвы, и вот уже несколько дней он сидит без папирос. Это он, Николай Михайлов, у которого в руках были тысячи! И в довершение всего над ним может издеваться каждый воспитателишка!

«Я откровенно объяснюсь с ребятами. Простите, скажу, но я не могу больше жить здесь. Здесь мне не верят ни на грош, помыкают на каждом шагу. Пусть лучше Соловки, но зато я буду знать, что широко и весело пожил».

С таким решением Николай пришел к Мологину. Он хотел попросить у него денег взаймы, чтобы расплатиться перед отъездом с мелкими долгами в коммуне.

Мологин заботливо вгляделся в него и спросил:

— Ты что невеселый?..

— У тебя не найдется пятерки на несколько дней?

— Да что с тобой, Коля, на тебе лица нет?

— Тяжело мне, Алексей. Я с удовольствием бы поколотил всех этих воспитателей и хваленых активистов.

— Дело плохо. Садись, потолкуем.

— Этот номер с коммуной, видимо, не для меня приготовлен. Мне здесь не верят, смотрят, как на мальчишку. В таком случае — счастливо оставаться!

— Наоборот, — ответил Мологин, — я слыхал, как все здесь хвалят тебя за активную работу. Тобой довольны, Коля!

— Я убедился сегодня, как мной довольны, — горько улыбнулся он и рассказал Мологину историю со Смелянским.

— Молодец!

— Больше мне ничего не остается делать.

— Да не ты молодец! Не ты, Коля, а Смелянский. Честное слово, молодец. Я теперь уверен, что он из тебя человека сделает.

— Брось зубоскалить, Алексей, говори делом!

— Делом, Коля, делом! В Москву тебе еще рано. Сейчас тебя Москва сожжет!

— Думаешь, воровать пойду? Или напьюсь?

— Не зарекайся! Это — ох, как соблазнительно!

— У меня в Москве жена молодая! Все время одна думка: а как бы там чего не вышло…

— Если любит — не изменит, а изменит — жалеть нечего. А Смелянский тебе не враг, а друг. Напрасно ты на него взъелся. Со временем ты сам поймешь, что он прав. Чем ты чванишься? Тем, что двадцать лет воровал? Но здесь ведь не шалман. Вот когда ты начнешь сверх плана свои стойки вырабатывать — тогда тебе почет.

— У меня со станками что-то не ладится, — пожаловался Николай. — Недавно как-то всю ночь просидел: и соберу и разберу, а никак не налажу.

— Таскина попроси.

— Самому хочется. Я даже стихи с горя на эту тему написал. Почитать? «Больной станок» называется.

Мологин выслушал стихи и сказал:

— Поработай еще немножко над ними, может быть, и напечатаем.

— Где?

— В коммуне скоро свой журнал будет. Глядишь, Коля, из тебя заправский поэт вырастет.

— Поздно расти-то, мне уже тридцать!

Беседа с Мологиным затянулась. Как обычно, они вспомянули прошлое, сравнили его с сегодняшним днем и поговорили о том, как бы сложилась их жизнь, если бы не было коммуны.

— Для меня, — сказал Мологин, — она бы, пожалуй, никак не сложилась…

— Похоже, — согласился Николай.

Новички

I

В актив коммуны входили уже не единицы, а десятки людей, помогающих воспитателям работать с новичками. К каждому активисту прикреплялся один или несколько новичков. Шеф отвечал за поведение своего прикрепленного в быту, на производстве, в Москве во время отпуска. Деятельностью активистов руководило особое выборное бюро, оно же регулярно контролировало их.

Всякий вновь прибывший в коммуну так или иначе сталкивался с Накатниковым. Так произошло и с Давидзоном. Коммуна ему не понравилась. Первые дни он ходил по общежитию, критически ухмылялся и даже предметы неодушевленные озирал с явным недоброжелательством. А люди его раздражали.

В первый же вечер он присутствовал на общем собрании и слышал выступление Накатникова. «Штатный оратор» коммуны говорил, как всегда, страстно и, может быть, поэтому произвел на новичка невыгодное впечатление.

— Что за хлюст? — спросил Давидзон у соседей. — Что он здесь разоряется?..

— Активист наш, — ответили ему, — законник коммунский. За порядки в огонь и в воду лезет. А раньше, как и мы, грешные, домушником был…

Давидзон посмотрел на Накатникова, надменно прищурившись. «Ишь ты, нос-то какой, — подумал он. — Ну и нос, семерым чорт нес». Сделав такое открытие, Давидзон ухмыльнулся и, потеряв к оратору интерес, начал глазеть по сторонам.

Коммуну он всерьез не принимал и свое пребывание в ней рассматривал как временный отдых: все-таки лучше, чем в

домзаке сидеть. Не слушая выступления, он равнодушно оглядывал ряды болшевцев. Неожиданно совсем неподалеку приметилось как будто знакомое женское лицо.

«Так и есть!» Это была Нюрка Двойная, полная и рыхлая блондинка с добродушными выпуклыми глазами. До коммуны она была наводчицей и проституткой, и Давидзон хорошо был с ней знаком. Теперь он подмигивал ей как старому приятелю, но женщина, словно нарочно, не замечала знаков и внимательно смотрела на сцену.

После собрания у выхода из клуба Давидзон подошел к Нюрке и приятельски толкнул ее локтем в бок.

— Здорово, Двойная! — радушно сказал он. — Оказывается, мы с тобой на одних харчах пробавляемся. Ну, как живем?

Давидзон ожидал дружеского приветствия и потому изумился, когда женщина, поежившись, быстро от него отстранилась.

— Чего толкаешься? — холодно произнесла она. — Прежние привычки оставлять надо.

Отмахнувшись от Давидзона не свойственным ей брезгливым жестом, она спокойно пошла в сторону.

— Ах, корова холмогорская! — возмутился Давидзон. — Ты что же, своих не признаешь?

Догнав женщину, он бросил ей в лицо похабную кличку. Впрочем, у него не было намерения обидеть Нюрку, и поэтому он еще более удивился последствиям своих слов.

Женщина остановилась и посмотрела на парня растерянным, жалким взглядом. Всхлипнув, она закрыла лицо руками и быстро, насколько позволяла ее полнота, побежала к общежитию.

Накатников видел со ступенек клуба всю эту сцену. Он подошел к Давидзону и сказал укоризненно:

— Зачем ты обидел Нюрку? Женщина в человеческий вид приходит, а ты к ней с похабщиной лезешь!

Давидзон посмотрел искоса. Он не понимал, чего хочет от него этот непрошенный моралист. В поступке своем он искренно не видел ничего предосудительного.

— Убудет, что ли, ее? Что я, не знаю, кем она была?..

— Все знают, кем она была, — возразил Накатников, — но зачем нужно об этом напоминать? Нюрка пожила в коммуне, почувствовала себя другим человеком, а ты обращаешься с ней так, как будто ничего не изменилось. Посуди-ка сам! Вот, положим, ты станешь честным советским гражданином, а тебя попрежнему кто-нибудь назовет вором — приятно тебе будет?..

Накатников сделал паузу, как бы давая Давидзону подумать над своими словами.

— Ты дай мне обещание, — продолжал он, — что этого больше не повторится. В коммуне к своим товарищам надо относиться бережнее.

На этом разговор кончился. Давидзон не успел даже рассердиться, и только, когда ушел Накатников, ему пришло в голову: «Учитель нашелся! Продался и другим того же хочет!»

Прежних своих навыков Давидзон оставлять не намеревался. При первом же отпуске в Москву он начал по-старому воровать.

Чрезмерное обилие денег он иронически объяснял так: «Тетка умерла, наследство оставила».

Товарищи уже намекали Давидзону, что от «тетки» добра ее будет, но он равнодушно махал рукой или отшучивался.

Однажды в общежитие к Давидзону пришел Накатников и холодным тоном приказал:

— Пойдем-ка со мной.

Догадываясь о смысле неожиданного вызова, Давидзон собирался неохотно. Он долго зашнуровывал ботинки, долго причесывал разлезавшиеся во все стороны вихры.

Они вышли из общежития и пошли вдоль опушки леса.

— Я давно хотел с тобой поговорить, — сказал Накатников после длительного молчания, — да все откладывал: думал, что, может, ты сам за ум возьмешься. Мне уже давно сообщили, зачем ты в Москву ездишь, да я все не верил. Вчера я узнал доподлинно, что ты прежнего не оставил. Вот об этом я и хочу с тобой побеседовать.

— Кто тебе наврал? — возразил Давидзон. — Что ты цепляешься понапрасну? Какими я такими делами занимаюсь?

— Брось! — оборвал Накатников. — Будто я не знаю, где вы вчера с Хлыщом были?

Удар оказался верным и неожиданным. Давидзон с ужасом посмотрел на Накатникова. Хлыщ был московский вор, с которым он встречался последнее время.

Вчера вместе с ним он «подработал», и вот сегодня это уже известно.

— Я тебе добра желаю, — продолжал Накатников. — Брось это дело, Давидзон, иначе плохо будет. В коммуне нужно быть или честным коммунаром или лучше уйти…

Давидзон слушал плохо и думал про свое. Он жил в коммуне два с лишним месяца и уже привык к ее сытным хлебам и размеренной жизни. Теперь ему было бы жалко расстаться с ней, и он досадовал на себя, что не сумел спрятать концы в воду. Теперь он не сомневался, что Накатников расскажет все управляющему коммуной. При мысли, что, может быть, завтра он будет отправлен в Соловки, Давидзону стало не по себе. Он не

прочь был уже покаяться, но Накатников неожиданно ушел.

На следующее утро Давидзон проснулся с тяжелым ожиданием неминуемой кары. На работу он не пошел и, сидя на койке, уныло смотрел в окно. Шел час за часом, а за Давидзоном все не приходили. В конце концов он начал уже сердиться.

«Чего тянут? — думал он. — Отсылать, так отсылать! Решали бы, да и дело с концом».

Весь день Давидзон бродил по коммуне с видом человека, которому предстоит тяжелая хирургическая операция. Случайно столкнувшись с Накатниковым, он не вытерпел и хмуро спросил:

— Куда меня отправить решили?

Брови Накатникова полезли высоко на лоб, и лицо приняло недоуменное выражение:

— Разве тебя отправляют?

— А разве нет?

Накатников понял смысл давидзоновских опасений и рассмеялся:

— Ага, струсил, голубчик!

Впрочем, тотчас же он снова стал серьезным и сказал:

— Балда ты, дорогой мой! Порядков коммунских не знаешь еще. Ты что же думаешь, разговаривал я с тобой, чтобы застращать тебя? Вот что: наш разговор останется пока между нами, потому что я верю в тебя. Ты станешь настоящим коммунаром. Понял? Ведь и я таким, как ты, был, и я не сразу человеком вырос… Иди, но помни уговор.

Давидзон порывисто протянул Накатникову руку.

— Миша, — сказал он чуть осипшим голосом. — И будь я гадом, если тебя теперь подведу…

II

Но чаще всего Накатников, как это было, например, в деле с Широковым, выступал в роли неумолимого и справедливого судьи.

Поступая в коммуну, Широков дал твердое обещание не брать в рот ни капли водки. Зарока он не выдержал и стал пить. Алкоголь превращал его из благодушного весельчака в разнузданного буяна. Зная за собой такой грех, он старался уходить пьянствовать из коммуны в село. Один из скандалов окончился тем, что сельские власти отправили его в коммуну под конвоем.

Поздно ночью Широков и его вооруженный спутник брели по лесу. Хмель постепенно выветривался из головы Широкова, и он уже начинал соображать, чем грозит ему подневольное возвращение.

Мрачный бородач шел сзади, держа в руках охотничью берданку. К своему поднадзорному он особенного доверия не проявлял. Когда Широков приостанавливался или слишком замедлял шаг, конвоир тыкал его дулом в спину и густым басом говорил:

— Шевелись! Не ночевать тут с тобой, в лесу-то.

Время близилось к рассвету. Предутренний ветерок чуть шевелил застывшую листву.

— Давай посидим! — взмолился Широков, желая выиграть время и придумать какой-нибудь выход. — У стал я, ноги ломит!

Они уселись на траву. Широков смотрел на нелюдимого спутника и мысленно сулил ему всяческие напасти. Хмель прошел совершенно. Явись Широков в коммуну без конвоя, могло бы все пройти незаметно и безнаказанно. Теперь же осложнения были неизбежны.

— Благодать! — нерешительно умилился Широков. — Хорошо в лесу летом!

Он искательно улыбнулся. Бородач безучастно смотрел в сторону и не промолвил ни слова.

— Ты, дядя, семейный? — продолжал заискивать Широков.

Провожатый издал неопределенный звук.

«Вот идол, — с досадой подумал Широков. — Из этого колом слова не вышибешь!»

Он решил подействовать на него испугом.

— А знаешь ли ты, борода, куда меня ведешь? — спросил он, переходя на грозный тон. — Эх ты, кулема! В коммуне-то у нас

полторы тысячи таких головорезов, как я. Нас в тюрьмах не держат из-за нашей отчаянности. Вот придем мы с тобой туда — только тебе и жить. Свистну — и растащат тебя по руке и ноге.

Широков смолк. На лбу конвоира зашевелились складки, запрыгали густые брови. Он беспокойно оглянулся по сторонам. Широков решительно поднялся на ноги:

— Пойдем, нечего тут рассиживаться! Чем скорее до коммуны дойдем, тем скорее взбучку получишь!

Широков повернулся к конвоиру спиной и быстро зашагал дальше. Он рассчитывал, что мужик испугается и отпустит его. Но за спиной Широкова послышался мрачный бас.

— Стой! — кричал конвоир. — Стой, говорю, а то стрелять буду!

— Ишь ты, — удовлетворенно вздохнул Широков, — заговорил, мохнатый чорт! Ну что ж ты встал? Пойдем!

Конвоир, держа берданку наперевес, мрачно приказал:

— Ложись! Вставать будешь — заряд получишь! Дождемся утра — тогда и дальше пойдем!

Бородач повел берданкой столь выразительно и недвусмысленно, что Широков счел за лучшее не прекословить. Улегшись на траву, он жалобно попросил:

— Да отпусти ты меня, оглобля! Чего тебе со мной путаться? Теперь я трезвый — сам дойду.

— Не приказано! — отрезал мужик. — Отпусти тебя, а потом отвечай! Лежи!

Сколько Широков ни пытался с ним разговаривать, он упрямо и сосредоточенно молчал.

Под утро Широков был сдан на руки одному из возвращавшихся из города воспитателей, а через три дня он уже стоял перед судом коммуны.

Такого шумного и веселого собрания не видели уже давно. В клубном помещении то и дело раздавался смех. У стола президиума стоял Широков и рассказывал подробности события.

Заботясь о живописности повествования, он корчил выразительные гримасы и потешно жестикулировал. Выставив вперед ногу, он шевелил носком новенького ботинка. Он походил не на обвиняемого, а на юмориста, рассказывающего забавный анекдот. Он уснащал историю веселыми подробностями, передразнивал своего конвоира.

Воспитанники последних наборов, люди с пылким воображением и склонностью ко всему острому, слушали Широкова с нескрываемым удовольствием. В наиболее интересные моменты они шумно выражали одобрение умелому рассказчику. Походило на то, что Широкову вынесут порицание, и

дело с концом. В таком духе и поступили предложения в президиум.

Тогда на сцену вышел Накатников. Некоторое время он смотрел в зал, молча усмехаясь.

— Чему радуетесь? — спросил он наконец. — Человек опозорил всю коммуну, а вы ему чуть не аплодируете? Что скажут теперь крестьяне, которым Широков представил нас бандитами и головорезами? Есть такие шутки, что хуже всякого преступления. Разве мы на самом деле неисправимые воры, какими нас называл Широков?

По мере того как говорил Накатников, замолкали смешки, стихал шум, мрачнели лица. Многие, по видимому, только сейчас начинали понимать смысл широковского балагурства.

Осуждающий голос Накатникова звучал отчетливо и твердо. Вслед за ним выступило еще несколько старых болшевцев, требуя для Широкова сурового наказания.

Широков стоял с понурым видом.

Маневр не удался ему, балагурство не помогло. Собрание вынесло решение о передаче дела Широкова в МУУР.

III

На Накатникова, Каминского, Мологина постоянно действовал тот пример выдержки, настойчивости, организационной предприимчивости, который из года в год подавали коммунарам воспитатели Богословский, Штеерман, Кузнецов.

Как много извлек, например, Накатников для себя из случая с Забалуевым.

Пришел Забалуев в коммуну по своей доброй воле и стал просить, чтобы его приняли. Нашлись свидетели его воровского прошлого, и Забалуев был принят. Здоровенный, кряжистый детина с огромными руками и развалистой походкой, с крупными веснушками на грубом, точно вырубленном из камня, лице — он производил впечатление умственно недоразвитого человека. Он был тих, задумчив, исполнителен, но доверчивость его и рассеянность не имели границ.

Однажды его послали в Костинский сельсовет узнать, не найдется ли желающих возить в коммуну строительный материал. По дороге ему встретился крестьянин из села, расположенного от коммуны километров за десять. Разговор между ними начался с того, что встречный попросил закурить. Забалуев щедро отсыпал попутчику махорки, узнал, откуда он, и

сам принялся рассказывать о коммуне, о своем прошлом. Собеседник не оставался в долгу и поведал хозяйственные свои нужды. Разговор тек спокойно и непрерывно; опомнился Забалуев лишь у околицы незнакомого села, когда отмахал с крестьянином все десять километров.

— Что же это я заговорился как, — спохватился Забалуев и спокойным шагом направился обратно.

Нередко приятели пользовались его недостатками ради личных выгод и развлечений. Они заставляли его вне очереди выполнять дежурства по хозяйству, гоняли по коммуне с мелкими поручениями. Некий шутник отвел его в лес, поставил на дороге и приказал:

— Пойдет здесь, Ефим, женщина с узлом, ты ее забери и доставь в управление — так приказано.

Ефим ждал до вечера. Прошло за это время несколько женщин, но е пустыми руками. В сумерках уже показалась прохожая, но все-таки не с узлом, а с чемоданом. Исполнительный парень повел ее на всякий случай в коммуну. Хорошо, что встретился один из воспитателей, он извинился перед женщиной и велел отпустить ее. А виновника грубой шутки Забалуев так и не назвал, приняв взыскание на себя.

Вдруг этот послушный, тихий парень жестоко напился, разбил в спальне окно. Усилиями нескольких человек силача едва удалось водворить в один из классов: там он продолжал буянить, поносил невозможными словами руководителей коммуны, грозился сжечь дом. Конфликтная комиссия решила поставить Забалуева перед судом общего собрания. Предполагался суровый приговор.

Накануне общего собрания Забалуева позвал к себе Богословский и стал разговаривать с ним в присутствии нескольких активистов, среди которых был и Накатников.

— Ты же непьющий, — сказал Богословский.

— Нет.

— Ас чего напился?

— Так, — односложно ответил Ефим.

— Тебе коммуна зло причинила?

— Врать не буду на коммуну.

— А зачем сжечь ее собирался?

— Ожег бы, только спичек не было.

Ответы Забалуева при внешней анекдотичности их носили характер невеселый. Богословский продолжал расспрашивать:

— За что воспитателей бранил?

— Не помню.

— Чем я тебе не понравился?

— Так…

На первый взгляд — перед болшевцами сидел закоренелый преступник, прикидывающийся простачком. Казалось, он просто издевался над спрашивающим. Чем скорее избавится от него коммуна, тем лучше. В таком, примерно, духе и собирался уже высказаться Накатников…

Богословский вызвал всех, кто жил с Забалуевым, и долго их расспрашивал… Выяснилась неприглядная картина, как мало-помалу шутки над простодушным, неумеющим постоять за себя парнем незаметно для самих шутников перешли в форменную травлю. Различными проделками Забалуеву мешали спать ночью, ему портили за обедом пищу. Из человека сделали забаву, игрушку.

На собрании было решено наиболее ярых «затейников» подвергнуть взысканию. Забалуева послать к Накатникову на механический завод и обязать Накатникова научить Забалуева хорошо работать.

Забалуев доставил Накатникову немало хлопот. Он туго воспринимал то, чему его учили. И когда Накатников, вышедший из терпения, готов был ругаться, кричать, он вспоминал внимательность Богословского, его упорное стремление вникнуть и оценить все обстоятельства и детали — и брал себя в руки. Через год Забалуев считался хорошим рабочим.

Новые партии, прибывающие из домзаков или из Соловков, на вокзале встречал оркестр. Шествие в коммуну превращалось в торжество. Вновь прибывшие распределялись по общежитиям и мастерским. С одной из новых партий в коммуну пришел Валерий Зыбин.

Сын врача, довольно развитой, Зыбин относился ко всему с усмешкой и никого в коммуне не уважал. В прошлом Зыбин торговал «на фармазона» бриллиантами, а восемь лет заключения получил за продажу Нефтесиндикату его же керосина.

Работать он не хотел, а когда увидел, что в коммуне нельзя не работать, пожелал стать ночным сторожем,

— Ты же культурный человек! — удивился Каминский, работавший в бюро актива.

— Это мое дело, — ответил Зыбин уклончиво. И добавил посмеиваясь: — Работа удобная — сидеть по ночам, думать.

Как-то вечером Каминский вошел в спальню. Подушки на кроватях были аккуратно взбиты. Ночная смена ушла на работу. Двое ребят спали, уютно завернувшись с головой в одеяла.

Валерий валялся на постели, закинув ноги на спинку железной кровати, и курил.

— Добро пожаловать, — иронически кивнул он Каминскому и принужденно улыбнулся.

— Где Иванов? — спросил Каминский, называя первую вспомнившуюся фамилию.

— На работе.

— А ты почему здесь валяешься?

— Думаю! — развязно ответил Валерий.

— Полезное занятие, — усмехнулся Каминский. — Ну, а о чем же ты думаешь?

— Да вот, с чем будут котлеты завтра — с картошкой или с макаронами?

— Интересная мысль.

— Интересная, — мрачно согласился Валерий и с напускным равнодушием выпустил кольцо табачного дыма.

— Отчего сидишь дома?

— Захотелось поговорить с тобой, — насмешливо сказал Валерий, — знал: не выйду на работу, пожалуешь ко мне б гости.

— Значит, нянька требуется, — отметил Каминский.

— Нянька? — Валерий неожиданно вскочил с кровати. — Все вы няньки! Ходите тут, мешаете жить! Не смыслите ни черта! Строители! Построили десять домов в лесу! Подумаешь, Нью-Йорк! А, может, мне скучно!

«Кричит, — подумал Каминский довольно, — парень не так уж плох».

Валерий швырнул окурок в угол:

— Ходят по пятам! Опекают!.. Не упади! Не ушибись! Не пей!.. Бай-бай!.. Окурок бросил — небось, скажешь «подними».

— А конечно, надо поднять… Не хлев, — спокойно сказал Каминский.

Крик разбудил одного из спавших ребят. Он высунул голову из-под одеяла и сонным голосом заворчал:

— Звонарь! Дай спать!..

— Даже поорать человеку не дадут! — сказал Валерий с горечью и лег ничком на кровать.

Каминский ушел.

Несколько дней подряд он думал о Зыбине. Как зажечь этого опустошенного парня?

Конечно, можно было вызвать его на конфликтную комиссию и хорошенько взгреть, но Зыбина это могло толкнуть на уход из коммуны. Тут требовалось что-то другое. И это другое пришло неожиданно со стороны.

В коммуну приехал Анри Барбюс — старинный друг коммуны, посетивший ее еще в 1927 году.

Каминский сопровождал Анри Барбюса по сияющим корпусам

новых фабрик, выстроенных вместо виденных раньше французским писателем кустарных мастерских.

Замечательно водить зарубежного товарища по коммуне! Барбюс, восторженный и моложавый, разговаривал с коммунарами, рассказывал о жизни французских рабочих. Привычные и, казалось, незначительные вещи, оттененные сравнением с жизнью буржуазной страны, вдруг освещались новым светом, становились важными и большими. Каминский оглядывал коммуну глазами Барбюса, и гордость за нее переполняла его сердце.

Когда они выходили из здания поликлиники, Каминский заметил Валерия Зыбина. Он молчаливо и одиноко шел следом за ними. Напряженная складка на лбу и блеск глаз выдавали его волнение.

И, как это часто бывало с Каминским, идея родилась внезапно, даже сам он не сразу оценил всех ее достоинств.

Он подозвал Зыбина и деловито сказал ему:

— Будь другом, покажи Барбюсу учкомбинат. Меня Сергей Петрович ждет.

Минут двадцать спустя Каминский пришел в учебный комбинат. Еще на лестнице он услышал громкий голос Валерия.

— Картина эта, — возбужденно говорил Зыбин, — написана нашим коммунаром Масловым. Бывший вор, Маслов теперь — освобожденный художник коммуны. Работы его уже пользуются известностью в Москве.

«Молодцом», подумал Каминский. И, взглянув на разочарованное его приходом лицо Валерия, сказал добродушно:

— Вали, рассказывай!..

Он пошел вместе с Барбюсом и Зыбиным. Они побывали в художественной мастерской, в лаборатории, осмотрели расписанный фресками спортивный зал.

Зыбин говорил о коммуне умно и интересно.

«Хорош будет парень, — думал Каминский, прислушиваясь к словам Зыбина, — сотворим ил него такого культработничка, только держись!..»

Вечером, сидя у Сергея Петровича, Каминский читал отзыв Барбюса о коммуне, написанный им перед отъездом в книге впечатлений.

«Какая громадная разница, — писал Барбюс, — между здешним преподаванием и теми методами, которые применяются всюду за границей по отношению к юным правонарушителям, совершившим ошибки!

Это та разница, которая существует между старым,

капиталистическим строем, губившим людей, принося их в жертву немногим привилегированным властителям, — тем старым строем, которому были присущи беспрерывная война человека с человеком, эксплоатация и гнет, и социалистическим строем, которому свойственно уважение к человеческой личности и стремление к совершенствованию.

Как я говорил только что некоторым из вас, — любите же, охраняйте и защищайте тот строй, который воплощается в Советском союзе, тот строй, который спас вас и сделал из вас людей, тот строй, который, будьте в этом уверены, спасет в будущем все человечество земного шара, сделав людей тем, чем они должны быть.

Я приветствую тружеников и тружениц коммуны.

Я приветствую их заведующего и руководителя.

Я приветствую ГПУ, которое создало это крупное учреждение в целях перевоспитания и которое управляет им, приветствую от имени французских революционных рабочих и коммунистов.

Анри Барбюс»

IV

Письмо Каминскому передал воспитатель Николаев. Оно было в мятом конверте, и адрес был написан химическим карандашом.

«Эмиль Петрович! — писал кто-то незнакомым раскосым почерком. — Обращаюсь к вам от имени нескольких заключенных Таганского исправдома.

Наша биография в жизни очень маленькая, ибо она вся проведена в тюрьме. Не имея на воле родителей, которые частью умерли, частью отказались от нас, мы невольно пугаемся нашего приближающегося срока.

Что делать? Куда итти? Как уголовники-воры мы оторваны от рабочих масс и брошены на плоскую дорогу уголовного мира и преступности.

Теперь очень жаль бесполезно прожитых годов, нас тянет нормальная трудовая жизнь, опротивел и блат и мат, хотим просто жить, квалифицироваться, смело смотреть в глаза людям, не бояться, что каждую минуту может меня кто-то продать.

В нас нет сильной воли. Эта воля расслаблена нашим прошлым, в котором златые горы денег, реки, полные вина, и нездоровая половая жизнь. И эту нашу волю нам возможно воспитать лишь в коммуне.

Коммуна, потому что она существует, давит здесь на нашу

психологию. Это я знаю, главное, потому, что подмечал у многих моих товарищей. Я не был в коммуне и не видел ее, я только слышал о ней от двух потерпевших крушение коммунаров — А. Струнникова и Л. Зайцева. И имею теперь представление о ней, как будто я прожил там долгое время. Я знаю имена ваших руководителей, выдающихся коммунаров. Ваши порядки, дисциплину. Знаю, какие корпуса и заводы выстроены, какие будут строиться. Коммуна на бывших в ней оставила прекрасный след. Вот сейчас пробежал мимо меня, как ветер, со своим баском Саша Струнников. Бывало, раньше он всегда против, все ему нипочем. Его старый лозунг — „Были б только девки да вино“. Между прочим, коммуна совершенно изменила этого бесшабашного Сашу. Тот Саша, который ездил в столицу, напивался до бессознания и почти открыто воровал, вопреки порядкам коммуны не хотел ни работать, ни учиться, — заговорил другое.

Этот Саша — тюремная головка, „большой урка“, — когда говорят против коммуны, — чуть не в драку лезет и сознает, что не так жил в коммуне и потому ее потерял.

В Таганке среди воров появилось новое течение.

Вы ведь изучили, Эмиль Петрович, воровскую жизнь на себе. Вы знаете психологию вора. Вы знаете, чем вор может похвастаться. Сколько краж он сделал, как обманул лягавых, как он прокутил, пропил краденое. И еще похвастаться, как он развратничает. Вот основное, для чего жил и живет вор. И раньше этим хвалились. И я когда-то с удовольствием рассказывал о своих приключениях.

Но уже это стало не в моде. Рассказчика, как холодной водой, обольют из угла едким словом. И вот такой же урка начинает раздевать этот шик.

Но почему раньше никто не смеялся, не язвил эти наши сказки, которые рассказывали нам?

Эмиль Петрович, это ваши двое коммунаров принесли в Таганку новые мысли.

Вот Леша Заяц уже который раз рассказывает, как он жил в коммуне, как его вы и Сергей Петрович упреждали, говорили: „Не езди в столицу“. А он, дурак, не послушал, и вот…

А Володька Карташев, который никогда не бывший в коммуне, закоренелый рецидивист, первый игрок, который день и ночь, склонившись, тасовал карты, — вот он уже целый месяц, как носит сапоги и брюки, которые дал слово не проигрывать.

Саша С. и Леша З. организовали год назад культурную камеру из восемнадцати человек, потом бригаду, которые были рее исключительно рецидивисты.

И все эти люди, раньше не имевшие доверия, теперь работают, выполняют промфинплан на 112 процентов, попали на красную доску, я получил от начальства благодарность.

Исходя из всего этого, камера просит, как только окончится срок, принять нас в коммуну, всю бригаду, где мы надеемся оправдать доверие и стать достойными жить и работать в нашей Советской стране.

Очень трудно писать под шум в коридоре и пение „Ты не стой на льду“, а то написал бы больше.

Жду ответа.

Моя настоящая фамилия Егунов. И еще Петров, Собакин, Крынкин, Зорин, Залесский, и больше не помню. Есть еще фамилий штук пять кроме этого.

Г. Р. Егунов».

Два собрания

I

И опять имя Мологина стало одним из самых популярных в домзаках и шалманах. Но это была не прежняя популярность. В блатном мире произошел сдвиг, первым намеком на который для Мологина был еще приход Бабкина. Исчезли нэпманы, покончено с безработицей. Не здесь ли коренились причины перемен?

Из Бутырок, из лагерей, с «воли» получались в коммуну письма на имя Мологина.

«Прости за беспокойство, но я принужден обратиться к тебе с просьбой, — писал, не признавая точек, Сашка Колосков, вор-городушник, с которым Мологину случалось водить компанию. — Дело моей жизни, в прошлом ты ведь на себе испытал все прелести и знаешь и меня и мое счастье в жизни, обращаюсь к тебе, если есть у тебя хоть искра сознания, то прошу, сделай все возможное, чтобы спасти меня, я получил три года и в настоящее время сижу в Бутырском изоляторе, работаю на обувной, вспомни старину и протяни руку помощи. Тебе даю слово, что я оправдаю себя как на производстве, так и в быту, к тому же у меня дочь подрастает, скитаюсь по тюрьмам, и что обиднее всего, что я в настоящее время сижу без дела, но до свидания, не буду затруднять, но если можно, то еще раз прошу не оставить. С почтением Соловей, жду и надеюсь.

Рабочий 8-й кам. Колосков».

А было время — Соловей посмеивался над Болшевом в Бутырках, не допуская и мысли, что когда-нибудь захочет

«завязать».

Были письма и другого рода:

«Если ты надеешься, что сносишь свою шкуру, то горько ошибаешься, ты ответишь еще за все свои преступления. Неизвестный».

Но таких писем было мало, они не волновали теперь Мологина, и не в них было главное.

Многие воры приходили в коммуну лично. Они отыскивали управляющего коммуной, комиссию по наборам, Мологина.

Мологин старался помочь всем. И для десятков вновь пришедших в коммуну людей, знавших о прошлом Мологина только по наслышке, он был не «медвежатник», не «пахан», а «дядя Алеша» — руководитель клуба, внимательный и умный человек, немало сделавший для их начинающейся новой жизни.

Как-то по-другому стал подходить теперь Мологин к своей работе в клубе. Задачи приемочной комиссии и клуба сливались в его сознании в одно. Взять в коммуну парня — ведь это и значило же «завязать», закрепить его. На заседании тройки Мологин невольно прикидывал в уме не только сведения о возрасте, происхождении, о судимости, но и то, с какой стороны мог бы «зацепить» клуб того или иного кандидата.

И работа клуба, перебравшегося в новое здание, все более радовала Мологина. Драмкружок, балет, синеблузники, учебные группы при духовом и струнном оркестрах, библиотека, пополненная новыми книгами, литературный, шахматный, фото- и радиокружки — все многочисленные отпочкования клуба, на которые ушло столько забот, втягивали сотни людей, приобретали для болшевцев все возрастающую привлекательность. На фабриках, в цехах, в общежитиях создавались красные уголки, выходили стенновки, выступали агитбригады, велись читки и собеседования. Клуб приобрел гибкость, проникал во все поры жизни.

Мологин жил теперь вместе с Анной в новой квартире. Маленькая и тесная, она казалась ему большой и уютной. По вечерам после собраний, после кружков к нему приходили ребята, они усаживались на стульях, на подоконниках, разговаривали о делах. Разумеется, разогревался чайник. Аня сердилась, если кто-нибудь рассыпал пепел на скатерть или, забывшись, кидал окурок не в зеленую стеклянную пепельницу, а на пол. По правде сказать, Мологин слегка подражал Богословскому в этих вечерних чаепитиях. Но если даже и так — наслажденье выпить вместе с друзьями по стакану крепкого горячего чая в чистой опрятной комнате от этого не становилось меньшим.

Болшевцы соревновались с коммуной в Люберцах. Был заключен договор на досрочное выполнение полугодового плана. Монтаж обувной, в котором участвовал Мологин, и положение Дел на производстве были главной темой всех бесед. Мологин не скрывал тревоги за исход соревнования. С приемом большого количества новых увеличились отсев, число прогулов и случаев пьянок. Выполнение договора было нелегким делом.

— Не осрамиться бы! Как там, в четырнадцатом корпусе, Подтягивается народ? — спрашивал он.

Но то, что происходило в четырнадцатом корпусе, было не утешительно. Уже не один парень из этого корпуса «солировал на сцене». Пьянки и мелкие кражи свили там прочное гнездо.

— Раньше хоть прятались, пили тайком, а теперь вовсе обнаглели — пьют в открытую, по пять человек! На производстве у них сплошной брак, — мрачно говорил Каминский.

— Так как же будет?

— Одни не выполняют, другие перекроют, — оптимистически рассудил Гуляев. Все, что не касалось монтажа обувной, представлялось ему несложным делом.

Мологин молчал. Нехорошее чувство поднималось в нем. Актив прилагал столько усилий для выполнения плана. Все было предусмотрено и учтено, чтобы обеспечить победу. Он сам организовал несколько агитбригад, помог кружку поставить новое обозрение. А кто-то тупой и злобный упрямо стремился свести нанет все их труды. И вовсе это не так просто, как представлялось Гуляеву. Новички не только в четырнадцатом корпусе — болезнь может пойти вширь. Не выполнить план! Хорошо тогда будет выглядеть коммуна! И, конечно, тогда отменят выпуск. Он не ждал ничего лично для себя от предстоящего выпуска. Но одна мысль о возможности его срыва перевертывала все внутри.

— По-моему конфликтная здесь спит, — резко сказал он.

— По одному таскаем, а в общежитии шалман. И надо посмотреть, что за народ там подобрался.

Члены конфликтной обиделись:

— Разве может что-нибудь сделать одна конфликтная? Тут нужно, чтобы вся коммунская общественность… А если находятся такие, которые любят критиковать…

Получился крупный разговор. Злые, раздраженные коммунары пошли от Мологина к Кузнецову. Было уже два часа ночи. «Болтливые сороки, — сердито думал Мологин. — Общежитие загуляло, а им как будто и дела нет». Он был сильно раздосадован, иначе не подумал бы так несправедливо.

Кузнецов встретил активистов в одном белье. Он ничему не удивился. Четырнадцатое общежитие беспокоило и воспитателей.

Экстренное общее собрание состоялось на следующий день. Оно открылось речью Кузнецова. Кузнецов заговорил о том времени, когда коммуна представляла собой несколько домишек, когда в ней не было света, столовых, клуба, и все-таки те люди, которые пришли в нее тогда, не бежали, не пьянствовали, помнили свято правило: «В коммуне живут воры-рецидивисты, но никто чужого не берет». Это были настоящие люди, и теперь они — передовики, строители.

Слушая его, забыл Мологин, что он застал коммуну уже другой. Он видел освещенные керосиновыми лампами хибарки. мастерские, распиханные по сараям и чердакам, точно сам когда-то был в них. Сколько потребовалось усилий и воли, чтобы сделать коммуну такой, какой она стала теперь. Ему казалось, что он жил в коммуне с первых ее дней.

Потом Кузнецов заговорил о случаях воровства и пьянках, о филонстве и рвачестве некоторых новичков, о людях, чужаками пришедших в коммуну и чужаками живущих в ней. Он говорил о грязи в общежитиях, приводил случаи бесхозяйственности, безобразного отношения к имуществу коммуны, и каждый случай, который приводил он, отдавался болью в сердце Мологина.

— Четырнадцатый корпус — наш позор! Коммуна не может *л* не станет терпеть дальше такое положение, — закончил Кузнецов.

Восемь человек из четырнадцатого общежития один за другим вышли на сцену. Они признавались в своих ошибках, безропотно принимали наказание — задержку в выплате зарплаты. надбавку в сроках кандидатства. Новичок Быстров рассказал о своей вине так:

— Не помню, какого числа я пришел с работы и лег спать. Тогда пришел Панский и начал со мной разговаривать, потом предложил «взять» тут одного фрайера. Раз фрайера — я согласился. Когда «взяли», то он мне сказал: «Поди спрячь». Тут увидел меня Смирнов и свел в контрольную будку. А что до одеял, в этом я не при чем. Я Панскому заявил: коммунское не трону! Ну, он их загнал на водку.

На конфликтной Быстров не называл фамилии. На общем собрании его чистосердечный рассказ никого не удивил. Это бывало. Поразило другое. Панский! Он выделялся среди новичков своей активностью. Когда в спальне пропали одеяла, Панский первый заявил об этом. Подозрение в краже пало на кандидата Савостьянова. Правда, активность Панского была какой-то уж слишком навязчивой, воспитателям она не внушала доверия. Но чтобы Панский мог взять одеяла, пойти обирать «фрайера» — этого никто не думал.

А не бросал ли рассказ Быстрова новый неожиданный свет на происходящее в четырнадцатом корпусе? Не в том ли причина неискоренимости творящихся там безобразий, что попадаются бесхитростные и простоватые, а тот, кто действует их руками, скрыт от глаз?

— Где Панский? — громко спросил Мологин.

И сотни голосов взревели вслед за ним:

— Панского!

— Где Панский?

— На сцену!..

Панский — парень лет двадцати, с мелкими кошачьими чертами лица и постоянной улыбкой — неторопливо шел между рядов.

— Своими бы руками его уничтожил! — кричал ему вдогонку Савостьянов, вскочив на стул и потрясая кулаками. — Я спал с ним рядом. Спрашиваю: «Кто бы это мог? А?..» А он притворным голосом, голосом невинности: «Не знаю». А ведь я оставался там один! Могли подумать на меня. У меня сердце окостенело даже!

Панский поднялся на сцену. Казалось, он не был ни встревожен, ни огорчен. Он заговорил с улыбкой, приятным мягким голосом:

— Сейчас здесь показательный суд над всем четырнадцатым корпусом. Меня в этом случае избрали жертвой. Быстров врет, чтобы оправдаться, а меня угробить. Вот и все.

— Панский — гад! — крикнул Быстров. — Я не хочу оправдываться. Но и тебе мной не оправдаться! Лысенко, тебе дали три месяца невыхода. Что же молчишь? Панского прикрываешь? Говори!

— Лысенко — не ты, он врать не будет, — с внезапной торопливостью перебил Панский.

— Нет, это правильно! Ты за вином послал, — крикнул Лысенко.

Мологину было ясно все. Конечно, Панский — вожачок, тонко и ловко обделывающий свои дела. Он был душой всех безобразий в общежитии, а Лысенко и Быстровых посылал «на сцену». Мологину хотелось крикнуть, выругаться. Но когда он заговорил, голос его звучал тихо:

— Нам только что напомнили здесь, как начиналась и строилась наша коммуна. Было болото, глушь. И такой же глухой и беспросветной была наша позорная воровская жизнь. И вот пришли люди умные и сильные. Они выпустили нас из тюрем, вложили нам в руки инструменты и сказали: «Стройте, мы верим вам». И так открылась для нас дверь в человеческую жизнь, — голос Мологина задрожал. Сотни теплых, сочувствующих глаз

устремились на него.

— Коммуна — наш родной дом, — продолжал он. — Как нам не любить, не беречь его? Как можем мы терпеть, чтобы кто-нибудь разрушал наш дом? И вот приходят Панские… Им ничего не дорого, ничего не жаль. Они ненавидят нашу новую жизнь, ненавидят нас за то, что мы боремся и хотим ее. Они разводят пьянство, рвачество, всякий разврат. Подлые, скользкие, они знают, чего хотят, но не желают рисковать своей шкурой. Они посылают на край гибели других и радуются, если кто-нибудь их стараниями полетит в пропасть.

Не Панский — жертва, а Быстров, несчастный Быстров — жертва Панского. Конфликтная разберется в этом деле. Но почему Панским удается? Я думаю, от невежества, от политической неграмотности наших ребят, от неуменья дать отпор. Смотрите, у нас хороший клуб, много кружков. Если потребуется, мы утроим число их. Неужели интереснее пьянствовать и дрожать потом на этой сцене, чем учиться и работать в клубе? И вот мое. и Каминского предложение: если в прошлый выпуск выдвигался лозунг — ни одного выпускника неграмотного, то к этому надо принять такой: ни одного выпускника политически неграмотного. Потому что только сознательный человек может стоять твердо на ногах.

Мологину долго аплодировали. Он сел в президиуме.

— Хорошо сказал, правильно, — одобрил Накатников, толкнув его локтем.

Подошел Богословский и похвалил тоже. А у Мологина было ощущение неудовлетворенности: так тускло и бледно прозвучало все. Но думать об этом сейчас не было времени.

— Панский заявил, что он — жертва, — сказал Кузнецов. — Кому нужна такая мерзкая жертва? Вам, мне, товарищи?.. Этот номер, что он — жертва, не пройдет. Передаем на конфликтную, товарищи?

Собрание выразило согласие сдержанным гулом голосов.

— Весь четырнадцатый корпус прошу встать! — сказал Кузнецов, повышая голос.

В зале задвигались стулья, шум возрос. Обитатели четырнадцатого корпуса, недоумевая, оглядываясь друг на друга, поднимались в разных концах зала. Их было немного среди плотных рядов сидящих. На них смотрели с любопытством и насмешкой.

— Конфликтная предлагает всему четырнадцатому корпусу дать один месяц невыхода, — сказал Кузнецов.

Из зала откликнулись:

— Больше!

— Два месяца.

— Предлагаю всем месяц, а «активистам» — три!

— Дать только «активистам», а остальных — на первый раз простить! — выкрикнул кто-то из четырнадцатого корпуса, прячась за спинами.

Ему ответили смехом. Предложение конфликтной было утверждено.

Ребята из четырнадцатого переминались смущенно и растерянно. От них отделился Петров. Он не участвовал в пьянках, никогда не имел прогулов. Бледный, сосредоточенный, с большим красным рубцом на лбу, он вышел на сцену.

— Товарищи, — хрипло сказал он. — Невозможно, чтобы наш корпус считался позорищем всей коммуны. Невозможно! Мы изживем ненормальности, заслужим прощение, мы смоем это черное пятно…

И по тому, как говорил он, было очевидно, что уж он-то, Петров, не успокоится до тех пор, пока все не забудут об этом горьком дне.

Мологин ушел с собрания, успокоенный сознанием, что сделано много и то, что сделано, не может не принести своих плодов.

II

Зимой в коммуне собиралась родительская конференция. О ней много говорили, к ней готовились. Коммуна в первый раз собирала такую конференцию.

В связи с прибытием новой большой группы правонарушителей возросло количество проступков, нередки были случаи, когда парень, уйдя в отпуск к родственникам, встречая старых друзей, воровал с ними; случалось, не возвращался совсем.

Нужно было, чтобы родственники — отцы и матери, дядья и тетки — хорошенько узнали, что такое коммуна, посмотрели бы ее сами, стали бы ее друзьями и помощниками. Вряд ли родственник мог как следует судить о коммуне по рассказу парня, который, придя домой, спешил повидать старых блатных приятелей.

Было морозно. Ветер нес снег — колючий, мелкий, точно песок. В клубе собралось человек шестьдесят гостей, в большинстве — женщины.

Задребезжал колокольчик. На сцену вышел Кузнецов. Он заговорил об отцах и детях — о детях, сменивших финку и

отмычки на молоток и плоскогубцы, и об отцах, впервые организованно пришедших сюда проведать детей и потребовать отчета у воспитателей.

Говорил он о коммуне ладно и просто, не умаляя трудностей, показывая неудержимый рост ее.

Он всматривался в лица родителей. Его внимание привлекла пожилая женщина с молодыми карими глазами. Она ловила каждое произнесенное слово.

Ее сын, болшевец Гасин, был в тот вечер дежурным и не мог повидаться с матерью.

Мологин председательствовал.

Когда Кузнецов кончил, он предложил родителям высказаться. Кареглазая женщина, не торопясь, развязала пеструю шаль.

— Я — мать Гасина, воспитанника здешней коммуны, — заговорила она свободно, без смущения. — Я — работница, живу в Москве. Муж у меня расстрелян по постановлению полевого суда за то, что выступал против царской войны. Какое я могла дать воспитание сыну? Пока я на фабрике — он на улице. На улице он испортился, стал поворовывать. Конечно, я, товарищи, виновата: как ни занята я, а должна была присматривать за ним.

А сын мой — разве он виноват, что отца у него убили, что рос он, как крапива, как беспризорник? Одна подушка моя знает, какими слезами я заливалась, когда сына за кражу повели в милицию. «Все пропало, — думала я тогда, — нет мне больше спокойной жизни на земле».

У меня и сейчас бегут слезы, но на это не обращайте внимания.

У вас тоже есть дети, вы понимаете, как тяжело, когда единственное дитя по материнскому недосмотру сворачивает на плохую дорожку…

Нелегко, товарищи, было терпеть это мне, честной работнице. И вот, когда я уже махнула рукой и в душе похоронила своего сына, попал он в вашу коммуну. Я думала, что так, вроде как баловство или опыты разные.

Но вот когда я приехала сюда в первый раз и увидела моего парнишку за станком, я прислонилась к стене, будто ноги из-под меня ушли, а сама дрожмя-дрожала. Вот какая была мне радость! Что я еще могу сказать? Сын мой был вор. Теперь он рабочий. Спасибо мое материнское советской власти ивам, дорогие товарищи!

Под горячие шумные аплодисменты Мологин подал разволновавшейся Гасиной воды.

Потом выступал отец болшевца-новичка рабочий Ковалец,

заявивший, что «если в огромном размахе работ коммуны нехватает средств и рабочей силы, ребята обязаны помочь своей родной коммуне субботниками».

Старая рябоватая работница с Трехгорки говорила о своих житейских невзгодах:

— Муж у меня горький пьяница. Весь дом на моих плечах. Как свихнулся сынок — не усмотрела. Как узнала, что сын— карманник, вонзился шип в сердце. С шипом в сердце ходила на фабрику, работала по хозяйству дома. А вот теперь вынули у меня шип из сердца. У меня сердце поет песни! Говорят, есть омоложение. Вот я и омолодилась с тех пор, как узнала, что сын мой в Болшевской коммуне стал честным человеком. Он здесь только шесть месяцев. А его не узнать. Он был карманником, стал ударником. Он был моим позором, а сейчас я гордиться буду им.

Один за другим выходили на трибуну родители и родственники болшевцев. И все говорили о своей радости за ребят, благодарили коммуну, обещали помогать.

«Собирать чаще, держать постоянную связь с этими людьми, повысить их чувство ответственности за детей, за родных — может получиться немалый результат», думал Кузнецов.

Соревнование

I

Николай Михайлов настолько овладел своим станком, что мог теперь работать самостоятельно.

— Твоя башка дорого стоит, — похвалил его Таскин. — Теперь тебя нужно в какую-нибудь бригаду включить.

Но включить Николая в бригаду было не так-то просто. Болшевцы — старые производственники — посматривали на новичков свысока.

— С новичком на черепаху сядешь, — говорили они.

И Михайлов не избежал общей участи.

— Вор он, конечно, первоклассный, — сказали Таскину, — но за станком завалится.

Таскин думал, что Николая обидит такое отношение ребят. Но Николай пришел к простому выводу:

— Организуем бригаду из новичков!

Когда бригада была организована, она изумила весь завод своей смелостью.

— Вызываем «старичков» на соревнование! — заявил Михайлов.

Даже Константин, за последнее время чуждавшийся брата > пришел попенять ему:

— Напрасно ты эту кашу заварил, Николай. Не позорь фамилию.

Таскин подбадривал Михайлова:

— Не робей! Не беда, если они вас обставят, зато, на вас глядя, весь завод подтянется.

«Старички» вызов приняли. Они ухмылялись, подтрунивали над Николаем и делали вид, что Михайлов своим вызовом их здорово потешил.

Таскин желал победы своему ученику. Он пораньше пришел в цех, внимательно проверил станки молодой бригады, сам наточил для них запасные резцы и подобрал первосортную заготовку. В начале соревнования «старички» еще подтрунивали:

— Вы бы каши побольше поели, натощак замаетесь.

— После смены видно будет, кто мало каши ел, — отвечал Николай. — Главное, ребята, не суетитесь, — говорил он бригаде. — Не ладится — беги за мной. Не курить, по окнам не глазеть!

Первые часы работалось легко и весело. Николай даже посвистывал. Машина безотказно кусала заготовку, точила ее и выбрасывала в желобок. Груда стоек росла. Но во вторую половину смены он понял, что станок выносливее его. Хотелось присесть, передохнуть… Рубашка стала мокрой. Он снял ее и работал голый до пояса. «Покурить бы», тоскливо думалось ему, но, оглядываясь, он видел, как его соперники уже теперь не скоморошничали, а работали, стараясь подальше уйти вперед. Это подстегивало. Николай умоляюще покрикивал ребятам:

— Голубчики, поднажмите! Ребятки, не сдавать!

Им овладел азарт, как во время картежной игры. Теперь масло текло не только по станку, но и по груди, по рукам, и ему казалось, что станок и он — одно целое. Николая захватил ритм работы. Заправляя в станок заготовку, он весело сам себя подбодрял:

— Николаша, не подкачай!

И вдруг завыла сирена. Выключили моторы. Станок омертвел. Николай вытер рубахой лицо и, зажмурившись от удовольствия, сел на ящик. В глазах тотчас же вновь заработал станок, и в желобок со звоном посыпались стойки. В эту минуту он забыл про соревнование — так приятно было отдохнуть.

— Жив? — весело спросил Таскин.

— Еле-еле!

— 500 и 475, в вашу пользу, — сообщил он, как истый арбитр.

Радость охватила Михайлова. Он, смеясь, пожимал руки своим помощникам. Слава бригады новичков раскатилась по всему заводу, и даже те, кто подсмеивался над храбростью Михайлова, теперь заговорили:

— Ну, знаете, у него золотые руки!

Побежденные «старички» тоже пришли поздравить нового ударника.

— Ну и работали вы — как черти, — сказали они с почтением.

— Честное слово, я здесь не при чем, — отвечал он всем. — Ребятки поднажали.

II

С каждым днем все легче и свободнее чувствовал себя Михайлов в коммуне. Успехи в работе увлекали и радовали его. Он уже совсем обжился на новом месте, для полного спокойствия нехватало лишь Маруси. Жена была значительно моложе его, он боялся ее потерять. И однажды Маруся неожиданно приехала в Болшево вся в слезах.

— Что случилось? — испугался Николай. Он никак не мог добиться от нее толкового слова.

— Лучше умереть, чем такая жизнь, — говорила она, всхлипывая, — я не могу, у меня измотались все силы.

— Тебе скучно одной?

— Хуже, Коля. Мать узнала, что ты жулик. От попреков некуда спрятаться. «За вора вышла — так ступай, с ворами и живи». Коля, погляди, как я вся извелась, — и она ласково добавила: — И все ведь это из-за тебя, глупышка!

— Но чем я тебе могу помочь, Маруся?

— Поедем со мной в Москву. Мы вместе успокоим мать. Ты ей все объяснишь. Ведь на один денек тебя отпустят?

— Отпустят, — уверенно ответил Коля и со стесненным сердцем пошел к Смелянскому.

После случая с приемником он часто с ним виделся, но, конечно, о Москве не заикался.

— А я к тебе с просьбой, Павлыч. — За последнее время Николай так сработался со Смелянским, что иначе, как Павлычем, его не называл.

Николай хотел уже было рассказать ему историю с женой, но подумал, что это не причина для неотложной поездки в Москву. Смелянский может отложить поездку до выходного. Тогда он собрался с силами и сказал:

— Жена приехала… Говорит, что комнату отбирают… Вещи выбросили, нужно бы съездить. Как ты думаешь?

Смелянский молчал. Михайлов, стараясь предотвратить отказ, все более и более яркими красками расписывал выдуманную им историю:

— Вещи на улице. Они мокнут, их растащат!

А Смелянский думал о том, что все это, конечно, очень серьезного может быть поправлено и другим путем. Во всяком случае судьба Михайлова дороже вещей… С другой стороны, если Николай все время пробудет с женой, то ничего опасного в этой поездке нет.

— А когда тебе на работу? — спросил он.

— Вечером.

— Прогуляешь смену?

— Ничего не поделаешь, Павлыч!

— Ну хорошо, поезжай. — И Смелянский выписал ему увольнительную.

Николай почувствовал благодарность к этому человеку.

В последнее время Николая занимала судьба Кости. В коммуну приезжала костина теща — Каинша — и звала его жить к себе.

— Ты здесь за сто рублей в месяц молодость губишь, приезжай ко мне жить — будешь как сыр в масле кататься.

Костя соблазнился. Николай его много и настойчиво уговаривал, стыдил, ставил себя в пример, но тот, похоже, решил в ближайшие дни переехать к теще. Теперь Николаю захотелось рассказать эту историю Смелянскому.

«Слягавлю», подумал он, и ему на минуту стало жутко. Но он все же рассказал.

— Мы займемся Костей, — ответил Смелянский. — Может быть, придется его на общем собрании проработать. Ты поможешь нам?

— Ну, конечно.

«Хорошо сделал, что отпустил его», подумал Смелянский, а, прощаясь, сказал:

— Все-таки жаль, что ты прогуляешь смену. Если бы не такое дело, ни за что бы не отпустил.

Маруся шла на станцию гордая, счастливая, под руку с мужем. Она говорила, что хорошо бы вечером сходить в кино, потом вместе, по-семейному, поужинать, и мать, увидев их любовь, может быть, смягчится. Николай слушал ее и думал, что нехорошо все-таки из-за женских слез прогуливать смену.

— Года два проживешь здесь, — продолжала мечтать Маруся, — а там поступишь в Москве на завод.

— Да, Ты потерпи немножко, — отвечал он, — я знаю, тебе несладко живется. Но зато после будет хорошо.

Когда они пришли на станцию и Маруся хотела купить билеты, он вдруг остановил ее и сухо сказал:

— Я не поеду.

Он уже был зол на себя и на жену.

— У тебя же увольнительная на руках? — изумилась Маруся.

— Все равно не поеду. Подождешь до выходного. Я из-за твоих слез в дурацкое положение себя поставил.

Маруся, не простившись, вошла в вагон. Михайлов поспешил на завод. Поздно вечером по цехам проходил Смелянский. Увидев Михайлова, он удивился:

— Почему же ты не уехал?

— Прости, Павлыч! Совесть замучила! Из-за бабьих слез я тебя обманул…

Смелянский ему ничего не ответил, но шел дальше по цехам с довольной улыбкой.

III

Перед выходным днем Смелянский сказал Михайлову:

— Твой приемник сломался, завтра тебе придется съездить в Москву — отдать в починку.

Николай побывал в Москве. Но эта поездка не принесла ему радости.

Отправляясь туда, он неожиданно в поезде встретил брата. Константин смутился. Вечером на общем собрании должно было разбираться его дело, и Николай спросил:

— К собранию ты вернешься?

— Вернусь, — угрюмо ответил Костя.

В Москве с женой тоже неприятности. Ее мать оказалась сварливой и упрямой женщиной. Она не верила в переделку воров и разговор об этом считала сказкой. Весь день она только и делала, что кричала Марусе:

— Нет тебе материнского благословения!

В такой обстановке Марусе долго не прожить, нужно было что-то придумывать. В довершение всех несчастий Николай, опаздывая, второпях сел не на тот поезд. И это было тем более неприятно, что он обещал Смелянскому обязательно выступить на общем собрании по делу Константина.

В коммуну Михайлов вернулся поздно. В клубе было темно. Он прошел в спальню, но и там ребят не оказалось. Только в красном уголке было людно. Кое-кто читал, кое-кто играл в

шашки, но большинство сидело, сбившись в кучку, о чем-то задушевно разговаривая. Увидев Николая, ребята не удержались, чтобы не подшутить над ним:

— Заигрался? — спросили его.

— Погорчил? Ну-ка, дыхни…

— Заиграться — заигрался, но не погорчил, — ответил он и объяснил причину опоздания.

Ему не поверили:

— Выдумываешь все, просто погулял в Москве!

— А ты знаешь новость? — вдруг спросил Таскин.

— Нет.

— Твой братишка распростился с коммуной.

— Письмо Сергею Петровичу оставил, чтобы назад не — ждали.

— Мы здесь сидим и поминки справляем!

— Царство ему небесное, — попробовал позубоскалить кто-то.

Николаю стало горько. Он считал себя виноватым. «Нужно было быть поближе к Косте», думал он. Таскин понял его настроение.

— Винить всех нужно, — сказал он. — Мы все видели и знали, какой Костя коммунар, но молчали, вот и угробили человека.

Ребята ругали Костю за легкомыслие, гадали, долго ли продержится Костя на свободе? И все сходились на одном выводе: Соловков ему не миновать.

Ложась спать, Николай думал о том же: «Только здесь мне можно спокойно и бодро жить». Неожиданно — уже в полусне — он нашел выход и для Маруси. Ее нужно перетащить в коммуну. Да, это самое правильное. Он уже не хотел спать. Всю ночь размышлял, рисуя себе, как они устроятся здесь с Марусей вместе. Маруся будет работать на трикотажной, а пока закончат строить корпус для семейных, поживет в Костине…

«Натуральная жизнь»

I

Вечер. Низкие лучи солнца багряно освещали окна четырехэтажного дома, лохматые тени надвигались на землю. Вороны раскачивались на верхушках лип и берез. Богословский внимательно смотрел на убегавшую из-под ног дорогу. Прохладный ветерок поднимал пыль. Навстречу двигалась кучка

ребят. «На прием, — подумал Сергей Петрович. — Группами пошли сами. А давно ли каждого приходилось уговаривать!»

А по широкой вымощенной дороге уверенно приближалась стайка ребят. Одному из идущих была уже знакома эта дорога, но сердце его было неспокойно.

— Шалавый, может, твоя коммуна похожа на тебя? Может, ты на пушку берешь? — спрашивал его низенький парнишка с красным носом, похожим на луковицу. Это был Кнопка — карманный воришка, приятель побывавшего уже в коммуне Сашки Шалавого.

— А зачем мне брать на пушку? — отвечал Шалавый. — Говорю — руки не свяжут и ноги не закуют.

— Нет, ты скажи нам по совести, жил ты в коммуне или трепишься? — интересовался другой парень, взломщик квартир Ванька Чубастый.

— Жил-то я жил, да как волк, одним глазом в лес смотрел. Не пускали меня в Москву из-за вина, а я самовольно уехал и на Грачевке остался…

— Да-а… Что ж — теперь концы в воду? — допытывался Ванька.

— Зачем так… Я насчет натуральной жизни хочу. Все обстоятельства обрисую Сергею Петровичу.

— А это кто же такой Петрович? — заинтересовался Кнопка.

— Человек такой — воспитатель. Фартовый дядя!.. Понимает тебя насквозь. Его вся Москва знает… У него при надобности для нашего брата глаза на затылке…

— Значит — лягавый! — пробормотал губастый Кнопка.

— Похоже…

— Что ж, живет там брашка-то, не ворует? — спросил Чубастый.

— Если Леха Мологин крест поставил… Он ведь какой, и то…

— Это рыжий? — удивлялся Чубастый. — Да что ты! Ведь я с ним сидел! Да он с малых лет…

— С малых, с малых! — подтвердил Кнопка. — Жизни-то нет?.. Куда попрешь?..

— Это верно. А ведь крупный вор, — согласился с доводами Кнопки Чубастый.

— А уж прочие и вовсе махру покуривают, привыкли!.. — гордился Шалавый, точно это было его личной заслугой.

— Ну, а ты? — припер его Кнопка.

— Что ж я?.. Ты уясни… Я сомневался. Думаю, жизнь для жулья что-то больно широкую раскинули… Заводов не пожалели, сами собой управляй. Думаю, что-нибудь тут не так. Вот после таких мыслей я и попал обратно в пропасть, — философствовал

Шалавый.

— Что-то ты чудное лепишь… Прямо и веры нет, — процедил Чубастый.

— Зря… Тут ведь надо понять… Я сам только в тюрьме как следует разобрался.

Чубастый сплюнул и не ответил. Кнопка подмигнул ему: «Посмотрим».

Три спутника свернули на тропинку и пошли молча. Ветер утих. Ели протягивали ветки, как бы показывали дорогу. Трава под ногами была мягкая, как ковер… Ребята шли один за другим, изредка перекидываясь словечками. После шумного города здесь так покойно и тихо… Хотелось мечтать — и они мечтали, каждый по-своему, о какой-то перемене, о новой необыкновенной жизни.

В деревне, скрытой за парком, заиграла гармонь, поднялись звонко вечерние песни… И, точно соревнуясь с ними, хлынула торжественная музыка из огромного рупора комму некого радиоузла.

Пришельцы остановились в двух шагах от Богословского. Кнопка высморкался, повернул голову к спутникам и, убедившись, что они не возражают против его инициативы, вышел вперед, но заговорить оказалось труднее. Главное — с чего начать?

— Ты из каких будешь? Из наших? — набравшись храбрости, спросил он.

— Из ваших на все сто, — с улыбкой сказал Богословский.

— Ты — Сергей Петрович?

— А вы откуда меня знаете? Кнопка смутился.

— Мы… оттеда… слыхали… Шалавый рассказывал, — выпалил он.

— Сам-то Шалавый где?

— Не знаю…

Сергей Петрович заметил смущенье ребят. Он стал пристально рассматривать каждого. Шалавый спрятал глаза под козырьком кепки, съежился, стараясь укрыться за спиной Кнопки. Богословский узнал его.

— Так… Вернулся!.. — тихо сказал он.

Сашка через силу выдавил:

— Пришел…

— Надолго? — поинтересовался Сергей Петрович.

— Навсегда, веришь?

— Что ж не верить, я-то, вот, видишь, верю, а вот как коллектив — не скажу.

— Знаю, Сергей Петрович, знаю, что коллектив — сила…

Доказать надо, чем хошь, докажу!..

Чубастый и Кнопка впервые слушали такой разговор.

— Вернемся, — шепнул Чубастый.

Но Кнопка слушал Сергея Петровича.

— Вернемся! — еще раз прошептал ему на ухо Чубастый.

Кнопка повернулся к нему и так же тихо ответил:

— Валяй. Я не пойду!

Сергей Петрович подошел к Кнопке:

— Ну, что замолчал? Говори, как тебя зовут?

— Кнопка! Из Таганки кличка пошла. Как к собаке, пристала…

— А человеческое имя есть у тебя?

— Зови любым, у меня их, как блох. Вот Сигизмунд — имя хорошее. Сидел я с одним поляком: деловой парняга, грабитель. Его Сигизмундом звали.

— Ну, а родное твое имя? Как мать звала?

— Чорт паршивый — вот как она звала.

— А ты кто? — обратился Сергей Петрович к Чубастому.

— Я? Обыкновенный человек, не имеющий паспорта. Пришел сюда потому, что в жизни коренная ломка произошла. Ни законов, ни честности у нашей брашки не стало. Да и родных — хоть шаром покати…

— А на судах только и слышишь: «Отец у тебя рабочий, а ты — паразит!..» — дополнил, хихикая, Кнопка.

Богословский развернул переданный ему Кнопкой клочок бумажки и прочитал вслух: «Видом на жительство служить не может».

— Ну что ж, пойдем, Сигизмунд? — сказал он, поворачиваясь к коммуне.

— Пойдем…

Сквозь густые заросли парка пробивались электрические огни общежитий. Узкие полоски света скользили по лицам ребят. Было легко дышать, легко итти по лесной недавно проложенной дороге.

В комнате заседаний приемочной комиссии на столе среди вороха разных «дел» лежал вырванный из тетрадки клочок бумаги. На нем было неразборчиво нацарапано:

«У приемочную комиссию
От Александра Шалавого
Заявление

Прошу разобраться в моей просьбе, как я еще раз в коммуне и раньше жил в ней, как золотая серединка.

Потом ушел как малосознательный, а завалился как паразит. К тому же прошу сделать из меня человека для натуральной жизни. Сам я обязуюсь на прошлое не оборачиваться и в приеме же прошу не отказать».

Из цехов доносились стальные голоса машин, солнце играло на стенах, зайчиками прыгало по потолку. В коридоре толпились ребята. Кнопка с замиранием сердца заглядывал в механический цех. Ему было и радостно и тревожно: он впервые видел завод.

Шалавый и Чубастый тоже были здесь. Они пошли втроем меж длинных рядов блестящих, покрытых лаком револьверных и токарных станков. И за каждым станком мерещились им знакомые лица, узнающие их глаза.

Грохот трансмиссий и вагонеток, лязг барабанов, удары парового молота, клекот машин, человеческие голоса — все сливалось в одну чудесную, никогда не слышанную Кнопкой песню.

У большого пресса Кнопка остановился. Он узнал одного из недавних своих товарищей. Тот узнал его тоже. Из-за грохота прессов и жужжания моторов голосов не было слышно. Они улыбнулись друг другу, пожали руки. Товарищ что-то прокричал Кнопке, но тот не понял. Потом они оба стали рассматривать громадную машину. Этот пресс был раза в три больше Кнопки.

Вот если бы Кнопке когда-нибудь научиться управлять им!

II

Кроме Шалавого и двух его спутников в коммуну пришло еще несколько девушек и парней. У каждого из них было здесь много знакомых. Почти все они знали Гуляева, Накатникова, Новикова, Огневу. «Старики» советовали «новичкам» осмотреться, не торопиться в выборе квалификации.

Кнопка уже не удивлялся вслух, а переживал все, что видел, молча, внутри.

Вечером, после окончания работы на фабриках, он пришел на приемочную. Первым обсуждался вопрос о Шалавом. Председатель комиссии зачитал его заявление… Саша стоял и теребил в руках серую, слишком большую для его головы кепку. Ему нечего было сказать сверх того, что он написал в заявлении. Но вопросы сыпались со всех сторон. Он хотел сразу ответить на все, недоговаривал, глотал концы последних слов:

— Кто я!.. Ясно — паразит. Одно ваше товарищеское… И вообще. Честное слово! Поверьте еще раз! Докажу!.. Вот увидите!

— Докажешь? — перебил его член приемочной комиссии, токарь седьмого разряда Дима Смирнов. — А если за твоей спиной есть которые еще ни разу в коммуне не были? Только мечтают. А ты вот опять только место займешь?

— Да я! Эх! Не сам я! Нутро, нутро!

— У нас у всех нутро ремонтировать надо, — сказал председатель комиссии, мастер цеха Георгий Бутырин. — Только одни сразу честно идут на это, а другие рассчитывают как-нибудь без ремонта — на скорость оборота госпирт — коммуна! И так прогниют, что и ремонтировать невозможно! Ты, брат, тоже, ох, какой гнилой!

— А ты разве не был такой же? — обиженно ответил Шалавый председателю, бывшему своему корешку.

— Кто у тебя был тогда прикрепленный? — спросил Бутырин после раздумья.

— Не было никого… Слаб был и в жизнь натуральную плюнул.

— Ты плюнул, а нам — коллективу — отвечать досталось. Ты думаешь что? Там о каждом человеке помнят, каждым интересуются. Краснеть за тебя пришлось, — горячо говорила девушка, только на днях выдвинутая женским собранием в члены приемочной комиссии.

— Ну, смотри, Саша! Я твой характер знаю… Из-за твоего характера сколько мы с тобой горя еще в прежнее время имели. Смотри же, опять здесь не наделай чего, — сказал Бутырин. — Можешь итти, — добавил он.

— Ну, а как же — слово товарищеское?

— Иди, иди, на собрании услышишь.

Следующей проходила комиссию девушка.

Как обычно, первые вопросы задавал председатель:

— Настоящая фамилия?

— Бубенчикова… Серафима.

— Сколько лет?

— Восемнадцать.

— Чем до прихода занималась?

Серафима скользнула лукавым взглядом по лицам членов приемочной комиссии и, слегка покачиваясь из стороны в сторону и улыбаясь, сказала:

— Воровала.

— Кто тебя выучил?

— Подружка с Усачевки и Петька Гриб. Он у вас в коммуне. Уже несколько месяцев. Они все здесь за дверями.

— Родные у тебя есть?

— Мать.

— Где она?

— Должно быть, живет где-нибудь.

— Где?

— Не знаю. Она меня восьми лет из поселка в городской детдом отдала. Там мне было плохо, я ушла, в кочегарке на станции у деда два года жила. А потом в хлебные края с ним уехала и там… с деревенскими ребятами в горелки играла. А когда возвращались оттуда, дед мой дорогой помер… Ну, потом на вокзале околачивалась, в женских уборных, уборщица была знакомая — Наташа. Я у ней сумки с деньгами прятала. А по вечерам к ней в комнату гости ходили, там я с Петькой схлестнулась. Он меня на Усачевку свел, там тоже такие были. Ну и все…

— А кто тебе про коммуну рассказывал?

— Никто… Петька. Он меня с Усачевки привез и заявление это писал.

— Что же он тебе все-таки о коммуне рассказывал? — интересовалась выдвиженка.

— Что? Я, говорит, Сима, кроме тебя никого не любил. Всех посторонних людей боялся и ненавидел. А теперь ко всем доверие чувствую. Даже деньги, говорит, свои имею. И прячу их от греха. Потому они честно заработаны. Я теперь, говорит, каждой честной копейке цену знаю…

— Правильно он сказал? — спросил третий, молчаливый; член комиссии, парень с голубыми глазами.

— Правильно. По себе сознаю. Как украдешь, никакой цены деньгам не чувствуешь.

— Дорогие, значит, для Петьки деньги стали, это хорошо, — сказал Бутырин. — Скажи нам, Сима, что ты можешь делать?

— Я? Петь могу.

— А еще?

— Еще… еще… шить…

— Когда же ты шить научилась? — поинтересовалась выдвиженка.

— Шить я научилась, когда с дедушкой в хлебные края ездила. А в коммуне Петька обещал на работу устроить.

— А куда бы ты хотела пойти?

— К Петьке. Я с ним хочу.

— С ним нельзя… Он кочегаром в большой котельной. Там тебе тяжело будет.

— Нет, я хочу к нему…

— А если мы пошлем тебя на трикотажную к машине?

Сима опустила голову и задумалась. Ее золотые волосы завитушками свисали на лоб, щеки горели. Она попрежнему

покачивалась из стороны в сторону. Из приоткрытой двери высунулось чумазое лицо Петьки. Сима увидала его.

— Ну, как же, пойдешь к машине? — спросил еще раз Бутырин.

— Ладно, пойду! — И Сима почти бегом рванулась к дверям.

Кнопку тесно окружили товарищи. Советы, пожелания и поучения не помещались в его голове. Он не помнил, как очутился перед столом, за которым сидели ребята — в большинстве знакомые ему по домзакам и «воле». Он поражался их перемене. Так ли разговаривали они когда-то в пивных, в шалманах, в камере? Он не знал, что рассказывать, как держать себя. Выручил Сергей Петрович. Он вошел в комнату и прямо направился к Кнопке.

— Сюда ты пришел, мы знаем — зачем, — сказал он. — Мы верим тебе и хотим только вот что сказать: отныне ты не Кнопка… И не Сигизмунд! Вот твое личное дело. — Сергей Петрович протянул ему документы. — И будешь ты теперь называться Николаем Петровичем Новостроевым. Это мы тебя по-настоящему назвали и хотим, чтобы также по-настоящему ты и жил. А что у тебя есть сказать, выкладывай сейчас.

У вновь нареченного Николая на лбу выступил пот. Все происходящее было чудом. Он поднял голову и несколько секунд смотрел на членов комиссии, на Сергея Петровича.

— Спасибо, — едва прошептал он. — Спасибо! Умру, а докажу!

III

Прием новичков утверждался общим собранием. Председатель приемочной комиссии зачитал список и предложил каждую кандидатуру обсудить в отдельности. Две с лишним тысячи людей сидело в зале. На кандидатуре Шалавого задержались долго, горячо обсуждали его поступки, остальные прошли легко. В заключение от новичков высказался Николай Петрович Новостроев.

— Ребята, я вот что… Не зря вот эти бумажки пишут… — И он дрожащими от волнения руками развернул домзаковскую справку. — Тут вот говорится: «Видом на жительство служить не может…» И верно, не может… и не должно! Я пришел, чтобы получить право на настоящий документ, вот как у Лехи Гуляева, по которому можно жить и по которому куда хочешь ступай — не задержат. Вы вот тут Сашку ругали, а я его хочу благодарить: он меня привел сюда… Вы сами знаете, как мне сейчас. Как будто

десять лет в бане не был и вымылся… Мне здесь фамилию дали. Потому что я до сих пор человеческого имени не носил… Ну, я больше не могу говорить, потому что уж очень все ясно. Я вот только эту бумажку сейчас порву.

И в ответ бурно зашумел зал…

Гость

Коммуна выполняла полугодовой план. Ничто не могло помешать этому. Давно с торжеством освободилось оздоровленное четырнадцатое общежитие от позорной славы. Деятельно готовились к празднику. Мологин мало спал, забывал обедать, почти не уходил из клуба. Разве могли иметь значение «мелочи жизни» теперь, когда от клуба зависело столь многое? И это была его прощальная работа: он уходил в цех новой обувной.

Он еще спал, когда в комнату постучались. Мологин накинул пиджак и открыл дверь. Высокий человек в куцем демисезонном пальто с блестящими глазами на сухом втянутом лице перешагнул порог и бегло осмотрелся:

— Не узнаешь, что ли?

Этот дребезжащий голос, эти жесты, улыбка.

— Димка! Загржевский! Ты?..

Мологин рванулся к нему навстречу.

— Я самый, — подтвердил пришелец, приятно улыбаясь, и одновременно быстро, пытливо осматривая все в комнате.

Анна причесывалась, недовольно, подозрительно поглядывая на гостя.

— Жена, что ли? — спросил Загржевский таким тоном, каким спрашивают не о живом присутствующем человеке, а о фотографии.

— Да, знакомься, — сдержанно сказал Мологин.

Загржевский неловко, не сняв шапку, пожал руку Анны и сел возле стола, протянув ноги в чиненных башмаках.

Вот кого не ожидал к себе Мологин! Он разглядывал Загржевского, его до смешного куцое, точно на ребенка сшитое пальто, худые длинные руки.

— С Урала притопал, — рассказывал, поминутно оглядываясь, Загржевский. — Слышу — Алеха в коммуне. Э-э, думаю, двину туда! Тут, думаю, все как-нибудь…

— Ты иди, Анна, не волнуйся, — сказал Мологин, успокаивая ее взглядом.

В последнее время она сделалась очень нервной. Вероятно, в этом была повинна ее беременность.

— Пей чай, — предложил Мологин гостю. Он почти не слушал Загржевского.

Какую бездну давно похороненных воспоминаний расшевелил своим появлением этот человек! Тревоги бессонных воровских ночей, похмелье горячечного разгула, судороги страха — там, на даче в Филях, в проклятой лисьей норе, в которой

пытался Мологин отсиживаться от неизбежного… Это вошло вместе с Загржевским, как его тень. Зачем явился он к Мологину!

Анна ушла. Загржевский придвинул ближе стул. Он округлил глаза и заговорил таинственным полушопотом:

— Не знаю, что делать. Завязался бы, да как? Заметут в момент, сам знаешь! Ушел, а оно выходит все то же. Цыганка видел в Москве. Помнишь? Говорит: «Может быть, поживем». Прямо не знаю.

«Ушел из лагеря, должен был чем-нибудь существовать, наверное, есть свежие дела», соображал Мологин. Ах, как знакома ему эта безвыходность, это кольцо, имя которому безнадежность. А парень-то не плохой! Уж и тогда, и в те годы, помнится, он тосковал об иной жизни.

— Присоветуй, Алеха, ты более опытный, — шептал Загржевский. — Итти мне сейчас с Цыганком в дело?

Мологин на секунду заглянул в его глаза. В них была загнанность, не задумывающееся доверие. Мологину вдруг сделалось смешно. Поистине трудно было вообразить большую наивность. Человек не догадывался даже о том, что Мологин теперь же должен и не может не рассказать всем об его приходе.

— Смеешься, — глухо произнес Загржевский.

— Ты — чудак! — Мологин слегка хлопнул Загржевского по костлявому плечу. — Ты бы еще мне самому предложил пойти с тобой на дело. Ведь я же в коммуне, понимаешь? Я завязался окончательно. Неужели так трудно тебе это понять?

— Ну что ж, «завязался». Это я знаю. А почему не посоветовать? Язык не отвалится, — мрачно бурчал Загржевский.

Нет, он не понимал таких тонкостей.

Мологин думал: Загржевский — энергичный, толковый парень. Он всегда восхищал Мологина предприимчивостью, ловкостью, уменьем организовать «дела». Каким полезным работником мог бы стать такой человек в коммуне! Конечно, с ним бы пришлось немало повозиться. Кто знает, насколько твердо его желание «завязаться», как устояло бы оно против привычек. Но ведь коммуна для того и существует, чтобы менять человеческие привычки. И если мог сам Мологин… А как бы замечательно было посадить когда-нибудь Загржевского в бюро, в актив!

Загржевский оглядывал неласковое, помолодевшее лицо Мологина, волосы, аккуратно зачесанные на лысину, узко подстриженную бороду.

— Ничего живешь, фрайером! Картин даже навешал…

Мологин перебил его.

— Вот что, просись в коммуну, — внезапно строго сказал он.

Загржевский покраснел. Смущенная улыбка скользнула по его щекам. Может быть, это и было его затаенным намерением? Может быть, только для этого он и пришел?

— Понимаешь, сюда ведь молодых берут. А я уж старый, — сказал он мужественно.

— Я старше, — перебил Мологин.

— Выйдет ли?

— У меня же вот вышло. Выйдет, если от души пойдешь.

Загржевский медленно, торжественно поднялся со стула. Он показался Мологину огромным.

— Будь я лягавый, последний гад! Ноги, руки отрежу. Только возьмите! Жизнь мне откроется.

Загржевский не договорил, махнул рукой.

— Да ты пей чай, — сказал Мологин.

Загржевский вздохнул и сел.

— Ну, смотри, Дмитрий. Сделаю все, что в силах. Но не потому, что мы — кореши. В коммуне корешей нет! А потому, что знаю, верю: идешь в коммуну — старому крест, — говорил Мологин, деля по-братски с Загржевским приготовленные Анной бутерброды.

Загржевский кивал головой, его рот был полон, он не мог ответить иначе.

Проводив Загржевского, Мологин пошел в клуб. До выпуска оставался день. Клуб был готов к празднику. Но всегда накануне подобных дней у всех возрастала нервность, начинало казаться, что подготовились недостаточно, все торопились использовать оставшиеся часы. Драмкружок в последний раз репетировал пьесу, синеблузники твердили куплеты, сочиненные поэтом-коммунаром, художники спешно дописывали плакаты, монтировали фотографии лучших ударников производства, кандидатов на выпуск. Все требовали у Мологина указаний.

Мологин стал помогать художникам. Он пересматривал еще не монтированные фотографии, откладывал ненужные, думал о выпуске, о переходе в цех. Он был при обсуждении списков на выпуск и премирование. Активисты выдвигали и Мологина. Они говорили о клубе, о работе комиссии. Но ведь он был «десятилетник». Нет еще и трех лет, как пришел в коммуну.

Понятно, его кандидатура на выпуск была снята. Вероятно, будет снята и на премирование. Конечно, он кое-что сделал, но ведь и все делают. Как-то пойдет работа на обувной? Его посылали в цех, чтобы он хорошенько освоился с производством, с практикой; уже был предрешен вопрос о назначении его в дальнейшем директором всей фабрики. Большая, нелегкая работа!

Мологин указал художникам, как нужно разместить отобранные фотографии, заглянул к киномеханику, к буфетчику, проверил еще раз, все ли в порядке. Все было в порядке. Потом вымыл руки и пошел в правление. Предстоящий разговор слегка волновал его. Вопрос о Загржевском не был обыкновенным, подобным тем, какие десятками решались на приемочной тройке. Переросток, медвежатник и «десятилетник», как и Мологин, вдобавок беглец, обремененный кучей дел. Его нелегко взять, да можно и не захотеть брать. Но ведь это было бы крупной ошибкой, — Мологин должен доказать это.

Богословский разговаривал с Каминским и Фиолетовым.

— Завтра не отобьешся: газетчики, кинооператоры! — с шутливым ужасом говорил он. — Вы уж смотрите, друзья, чтобы не толкались, не было суетни.

В белых летних брюках, в открытых рубашках собеседники были образцом чистоты и аккуратности.

— Погодите, дело есть, — напористо сказал Мологин, кладя свою шапку рядом с белой кепкой Сергея Петровича на горячий от солнца железный шкаф, в котором хранились денежные документы коммуны.

— Что еще такое? — заинтересовался Богословский.

Он ожидал каких-нибудь новых осложнений в подготовке к празднику. Последние два-три дня он только подготовкой к празднику и занимался.

Мологин рассказал об утреннем посетителе.

— Загржевский? Дмитрий? Знаю, — важно заметил Фиолетов.

— Мечтает парень завязаться. Надо бы взять в коммуну, — решительно сказал Мологин.

Несколько секунд длилось молчание.

— Это дело серьезное, — задумчиво произнес Каминский. Мологин согласился:

— Конечно, с ним легко не будет. Может, и не разогнется. А парень — фартовый, боевой парень. Такого разогнуть — за дюжину потянет! Лестное дело.

— Ты как его знаешь? — спросил Фиолетов.

Мологин усмехнулся:

— А ты как его знаешь?

Фиолетов засмеялся. Известно всем, откуда знает Мологин Загржевского. Но разве он потому хлопочет о нем? Мологин ждал, что скажет Сергей Петрович. Тот молча тер переносицу. Дело действительно большое и ответственное. Но если Мологин хочет взяться сам… Вряд ли Загржевский оказался бы труднее Мологина, а коммуна же справилась! Воздержаться,

поосторожничать — Мологин принял бы это как недоверие.

«Нужно делать», подумал Сергей Петрович.

— Так разогнем, говоришь? — сказал он.

Мологин тряхнул головой:

— Надо попробовать.

— Будешь ручаться?

— Поручусь.

— Ну и заметано, — сказал Сергей Петрович. — Поставим на актив. Верно, Каминский? Будем просить коллегию. Думаю, согласятся. Ну, а как там у тебя клуб?

— В грязь не ударим!

— Смотрите.

Мологин надел шапку и, не прощаясь, ушел в клуб. Он взял на себя сейчас большую ответственность. Он понимал это, но был уверен в успехе.

Праздник

I

Открытие обувной фабрики приурочили к 23 июня — дню досрочного выполнения коммуной полугодовой производственной программы. Ночью прошел густой теплый дождь. Утром из-за темного гребня леса ударило солнце. Слегка колыхались красные полотнища на фасадах корпусов, земля была влажная и свежая. Над коммуной взлетел высокий звук флейты и поднялся до безоблачной синевы. Хлопнула дверь, и по мягкой хрустящей дорожке пробежало несколько человек в белых теннисных туфлях.

Так начался день 23 июня, праздник, устроенный коммунарами. Подготовкой к нему были страдные зимние дни субботников, борьбы за монтаж фабрики, за высокое качество продукции, за воду. Каждый болшевец надевал свое лучшее платье. Разве не было труда каждого в досрочном выполнении плана? Разве не блестит уже стеклом крыша новой обувной, ожидая часа открытия? И право же, можно надеть шелковый галстук веселой расцветки в такой радостный, необыкновенный день.

К десяти часам площадь возле управления коммуны была уже переполнена. Кроме болшевцев сюда пришли колхозники и единоличники из соседних деревень. Праздник стал праздником не только одной коммуны. У трибуны, сооруженной против нового корпуса обувной, оглушительно прочищали свои ярко

сияющие пасти басы, контрабасы и тромбоны, заливисто перебирала клавиатуру медная завистливая мелкота. Торопливо прибивали полотнища с непросохшими буквами лозунгов. Дежурные по встрече гостей с алыми повязками на рукавах нетерпеливо поглядывали на дорогу. Толстогубый парнишка в тщательно разглаженных брюках, заправленных в голенища хромовых сапог, захлебываясь, говорил:

— Сталин, Ворошилов, Горький, Менжинский, Ягода!.. Все приедут, сам слышал.

Из леса донесся звук автомобильной сирены.

— Едут!

Площадь сразу притихла.

Кто-то сказал: «Горький». И это имя стало повторяться по всей площади. Засуетились дежурные, сдерживая толпу.

— Легонько, легонько, не напирайте, ребята, от этого Горький раньше не приедет!

Из-за поворота вылетел мощный автомобиль. Кто-то из знатоков сразу определил: бьюик. Толпа подалась, уступая дорогу первому гостю.

Но бьюик был наполнен незнакомыми пассажирами в затейливых костюмах. Они оказались кинооператорами. Они вытаскивали свои аппараты, похожие чем-то на фантастических марсиян.

Вслед за киноработниками приехали иностранные журналисты — любопытные, юркие. Как только остановился автомобиль, защелкали их «Лейки» и «Кодаки».

Гости прибывали. Поворот дороги выносил автомобили один за другим, и хотя у трибуны, где должен быть митинг, давно гремел оркестр, на площади около управления толпа не редела. Наконец из контрольной будки выбежал человек.

Он известил:

— Спокойно, Горький приедет только к трем часам.

Открыл митинг председатель профбюро обувной фабрики Павел Панцырный. Один за другим выходили знатные люди коммуны, ее ударники-энтузиасты.

— Какие же это воры? Это рабочие! Обыкновенные советские рабочие, — говорил с нескрываемым разочарованием корреспондент французской газеты Сергею Петровичу Богословскому.

В коммуне привыкли к иностранцам, к их недоверию и удивлению, к их странным, иногда дружелюбно наивным, иногда циничным и злобным вопросам. Их много перебывало тут — делегаций рабочих, экскурсий «Интуриста». И в одиночку и группами разных национальностей, разных классов.

Члены рабочих делегаций, представители революционной интеллигенции старались вникнуть в подробности жизни коммуны, восхищались ею, радовались успеху социального опыта, небывалого в истории. Между такими гостями и коммунарами устанавливались добрые взаимоотношения, близость, дружелюбная связь.

— Как вы думаете, возможно существование такой организации, как ваша, в условиях западноевропейских стран? — задавали иностранцы почти неизбежный вопрос.

И терпеливо разъясняли гостям коммунары и воспитатели основы коммуны, ее внутреннюю организацию, возможную только при диктатуре пролетариата, только при руководстве коммунистической партии, только в советской социалистической стране.

Книга записей впечатлений отражала на своих страницах многообразие классовых устремлений, разницу в культурном и политическом уровне посещавших коммуну иностранных гостей.

«Я пела вместе с девушками… Нет песен там, где есть гнет и принуждение», записала женщина-немка, проведя в коммуне день. А вначале она вот так же, как и этот французский корреспондент, не верила, что находится среди правонарушителей, и убедилась в этом, только заметив на руках и груди некоторых болшевцев обильную татуировку.

Команда иностранных футболистов, проиграв болшевцам несколько встреч, долго допытывалась потом, как часто выпускают играющих в футбол коммунаров из камер для тренировки. Стоило большого труда убедить этих людей, что никаких камер ни для кого в коммуне нет.

Какой-то немец-турист, владелец ювелирного магазина, настойчиво требовал показать ему комнату, где порют воспитанников, и недоумевающе морщился, когда ответом ему были возмущение и смех коммунаров.

Поэтому Сергея Петровича не удивили слова французского корреспондента.

Если он друг, он поймет, что высшая, лучшая похвала была высказана им: да, все в этом — бывшие воры становятся честными советскими рабочими. Если он враг, то тем ярче и убедительнее будут факты, тем сильнее будет злоба тупого, ограниченного мещанина, едва прикрытая лоском любезных слов.

Рядом с трибуной стоял Генералов. Год назад он положил первый кирпич этой большой великолепной фабрики. Теперь в его руках блестели ножницы.

— Сейчас ветеран обувной, член коммуны, лучший ударник товарищ Генералов перережет ленту у входа в новую обувную, и

начнется осмотр фабрики, — крикнул председатель.

Генералов шагнул вперед. Поперек главного входа на фабрику алела тонкая лента. Блеснули ножницы. Концы ленты упали к ногам Генералова.

Фабрика предстала глазам — сверкающая, просторная, с высокими стеклянными потолками, с мощными вентиляторами, с изящными станками новейшей конструкции. Она молчала, великолепная эта фабрика, готовая в любую секунду зарокотать, зашуметь, затрепетать каждым отполированным металлическим суставом.

И когда по сигнальному звонку включили моторы, гул, как шторм, ворвался в просторные солнечные цехи. Застучали штампы, вырезая каблуки и подошвы, защелкали затяжные машины, завизжали «Анкелопы». У каждой машины на белом квадрате картона были написаны фамилии прикрепленных рабочих, норма выработки и род операций.

Милый Алеха Гуляев! Твои первые огромные, тяжелые сапоги — твоя гордость и гордость всей коммуны — показались бы теперь нелепейшим анекдотом. Скоро тебе предстоит руководить этой удивительной фабрикой.

В липовом парке около клуба молодежь вполголоса напевала песни. Волейбольный мяч звенел от ударов крепких рук и шумел в ветвях деревьев, весело тилинькала шестиструнная балалайка в руках краснощекой смуглой дивчины. Если не удалось всем втиснуться в клуб, так грустить от этого или хмуриться? Не из того теста сбита молодежь коммуны, чтобы киснуть от такой неудачи.

В зрительном зале летнего клуба над бюстом Дзержинского склонились знамена. Оркестр играет марш. Кажется, что этот марш написан специально для сегодняшнего дня и играть его можно только сегодня, только здесь.

Дирижер поднял руки и потряс ими над головой. Наступила тишина, и стал вдруг слышен говор, восклицания за окнами зала. И тогда раздался в зале чей-то вопрос:

— Почему нет Горького?

Дирижер оглянулся, точно спрашивали его.

— Когда будет Горький? — подхватили в другом конце зала.

Дирижер скрылся за пультом.

— Пускай съездят за Горьким!

К затянутому кумачом столу подошел торопливо Кузнецов. Гул от передних рядов медленно отступил вглубь зала.

— Немного терпения, товарищи! Горький приедет обязательно и не позже трех часов… Торжественное заседание считаю открытым. В почетный президиум предлагается избрать

товарищей Сталина, Молотова, Горького…

— В этом году производственная программа по всей коммуне увеличена против прошлого года на 130 процентов, — говорил Кузнецов. — За первое полугодие она выполнена досрочно. На 15 июня три предприятия выполнили свою полугодовую программу с превышением, а на 23 июня они покрыли недовыполнение четвертого предприятия. Все эти достижения становятся более яркими, если вспомнить, что число членов коммуны за год возросло с 750 до 1 600 человек. Строительство в этом году в несколько раз больше, чем в прошлом году, и ведется оно интенсивнее. 2 июня прошлого года мы только закладывали обувную фабрику, а сегодня мы имеем широкий разворот строительства — заканчиваем кирпичную кладку фабрики-кухни, бани, новой деревообделочной и еще одного четырехэтажного дома.

Кузнецов говорил о субботниках, на которые выходила вся коммуна, о моральном росте коммунаров, о городке, вырастающем в лесу.

Вслед за Кузнецовым рапортовали директоры фабрик. Одни говорили скупо и сухо, другие — волнуясь. Иностранцы щелкали «Лейками», шелестели добротной бумагой вместительных блокнотов. И вдруг из парка сквозь стены клуба донесся шум. Он шел порывами, нарастая, словно налетевший внезапно ветер. испытывающий крепость высоких вековых лип. Говоривший со сцены директор спортмеханического завода прислушался и замолчал. Стуча скамейками и стульями, болшевцы поднялись со своих мест.

Горький вошел. Высокий, с приподнятыми легкой сутулостью плечами, в светлом по-домашнему широком пиджаке. Усы его топорщились, улыбка под ними была смущенной. Он точно говорил: «К чему этот шум, ребята?»

Оркестранты, повернув трубы к публике, играли туш, едва слышный в буре аплодисментов. Человек в просторном пиджаке медленно пробирался сквозь тесные возбужденные ряды и, махнув рукой, скромно присел на скамью. Со сцены крикнули:

— Алексей Максимович, вас выбрали в почетный президиум. Займите место!

Кто лучше этого человека мог понять радость коммунаров, их великую гордость бывших воров, сумевших стать честными пролетариями? Скромность — вещь безусловно прекрасная. Но сегодня ведь совсем особый день.

Человек в просторном пиджаке сел за длинный затянутый кумачом стол, задымил папиросой.

Сотни людей жадно смотрели на сцену. Вот, высоко подняв го

лову, щурится лохматый красноголовый Борис Глазман, знаменитый тем, что он привел с собой в Ростовскую трудкоммуну целый отряд — триста восемнадцать воров. Его ладони лежат на коленях, ворот рубахи расстегнут. Он не спускает глаз с Горького. Высоколобый Мологин поглаживает свою аккуратно подстриженную узкую рыжую бороду, и холодные глаза его оттаяли и стали прозрачнее и теплее. Гуляев, когда-то оставшийся в коммуне из-за давно теперь забытой страсти к голубям, склонив слегка набок голову, неслышно шевелит губами. О чем думает он?

Долгие неумолкающие аплодисменты вновь сотрясают зал. Приехали товарищи Менжинский, Ягода, Погребинский. Они проходят в президиум. Богословский берет в руки маленькую красную книжечку. По рядам проходит гул. Горький дотрагивается до своих усов. В его плечах больше подвижности. Сергей Петрович протягивает книжечку подошедшему коммунару. Менжинский, Горький, Ягода, слегка привстав, аплодируют.

Гремит оркестр. Смотрите, как помолодели плечи Алексея Максимовича! Он смеется и хлопает в ладоши каждому подходящему за книжкой коммунару.

Семидесяти восьми коммунарам выдаются профбилеты. С семнадцати человек сегодня снимается судимость.

«Когда придет такой же день для меня?» думает Мологин, сидя в президиуме.

Аплодисменты смолкли. Встает председательствующий.

— За энергичную работу в коммуне стойким организаторам ее от коллегии ОГПУ выдаются почетные грамоты и серебряные часы, — отчетливо говорит он.

Потом называет фамилии.

В открытые двери клуба слышны голоса ребят в парке, резкие крики иволги. «Как шумят, надо пойти сказать», озабоченно думает Мологин.

— Руководителю клуба, стойкому организатору трудкоммуны Алексею Александровичу Мологину — часы с надписью, — произносит председатель.

Кровь приливает к лицу Мологина. Оно красно и кажется яростным. «Возможно ли?» думает он смятенно. И одновременно знает, уверен: именно так, он не ослышался.

Председатель протягивает руку, в ней грамота. Потный, улыбающийся встает Мологин. Руки его дрожат. Он должен сказать, крикнуть что-то во всю грудь, на весь мир. Но он только зачем-то кланяется, садится, держит в потных непослушных пальцах упругий свертывающийся картон.

Глаза всего зала устремились на Горького. Наступил его черед. Каждый ждал, что скажет Алексей Максимович.

Горький поднялся. Оркестранты положили на колени свои теплые от дыхания трубы. Горький долго смотрел в переполненный людьми зал, потом заговорил:

— Я завидую вам, вы молоды… Я уверен, вы построите еще и не такую коммуну…

Глаза Горького лучатся. Волнение мешает говорить. Зал, стоя, бурно аплодирует. Горький беспомощно смотрит вокруг. Ему несут давно приготовленный подарок — фуфайку работы коммуны.

Он берет фуфайку в руки, видно, как они дрогнули.

— Одели, — глухо, невнятно говорит он. Его большой цвета спелой пшеницы ус топорщится вверх, лицо меняется, глаза застилает влага.

— Одевают… А давно ли, наоборот, раздевали… — отрывисто говорит он и машет рукой.

Зал хохочет, кричит, аплодирует ему, своему Горькому.

Мологин, сутулясь, читает резолюцию: «Общее собрание ходатайствует перед правительством о награждении орденом Ленина товарищей Ягоду, Шанина, Погребинского…»

Дочитать ему не удается. Бешеный взрыв восторженных рукоплесканий топит, заглушает его слова.

II

Июньская ночь дышала теплым ветром, мерцала зеленой пылью звезд. Гости обошли фабрики, побывали на стадионе, обедали, смотрели спектакль, слушали концерт. Потом начали разъезжаться. Вот и прошел этот подарок жизни, единственный неповторимый день.

Мологин вышел в парк. В клубе танцовали, играла музыка. Хотелось говорить с кем-то близким, понимающим, кто разделил бы радость. В управлении, в кабинете Богословского горел огонь. «Никогда-то у него нет отдыха», подумал Мологин. Он пошел к управлению. Двери были открыты. Должно быть, и уборщицу Сергей Петрович отпустил на танцы. Мологин поднялся по лестнице и постучал в комнату Богословского. Никто не ответил. Мологин приоткрыл дверь и вошел. Забытая недокуренная папироса стыла на пепельнице. Казалось, человек только что был здесь, вышел на минуту, сейчас вернется. Мологин привычно положил шапку на несгораемый шкаф и сел. Щуплый комаришка, протяжно и тонко зазвенев, пролетел к окну. Мологин вынул

грамоту.

«Серебряные часы с надписью: „стойкому организатору трудкоммуны — от ОГПУ“».

Мологин прикрыл глаза. Потом посмотрел опять:

«Стойкому организатору… от ОГПУ».

Ах, чорт побери совсем! От кого? От ОГПУ. Кому? «Стойкому организатору». А кто этот «стойкий организатор»? Не Мологин ли? Не тот ли самый Мологин, у которого еще сохранилась где-то другая «грамота» той же коллегии — копия приговора на десять лет?

Да, ему, вору, тюремному сидельцу, хищному, шалому волку, рыскавшему по городам. Да, это он, Мологин — стойкий организатор коммуны, руководитель клуба, начальник цеха фабрики, в будущем директор ее. И все-таки не тот, все-таки другой.

Недавно в Москве Мологина остановил работник МУУРа. Это был старый опытный агент, в прошлом не раз задерживавший Мологина. Он подошел откуда-то сбоку, крепко взял за руку:

— Обожди, рыжий. Не торопись. Опять ты объявился? Я думал, тебя уже нету… Ну, пойдем!

Как живуч и цепок звериный, годами выращенный страх! Мологин рванулся. Мгновенно измерил пространство между собой и недалеким переулком… Увидел трамвай, могущий помешать преследованию, ворота во двор, где, кажется, когда-то существовал второй выход. И спокойно, с улыбкой высвободил руку. Он вынул свое удостоверение и увольнительный документ и передал их агенту.

— Рад бы, Иван Андреевич, потолковать с тобой, друзья-то старые, — непринужденно сказал он. — Да вот спешу теперь. Это ведь не то, что прежде! Может быть, заедешь к нам?

Иван Андреевич смущенно разглядывает бумаги. Нелегко было освоиться с тем, что он читал в них.

— Не слыхал, — сказал он, наконец, возвращая документы. — Нет, не слыхал!.. Ну, когда так — то рад! Прошу прощенья, что остановил.

Они расстались, как добрые друзья.

Да, Иван Андреевич! Совсем, совсем не то, что прежде. Прежде — всю жизнь, с самого детства — Рукавишников, Таганка, Бутырки, Коровники, окрики надзирателей. «Все увидят, как была изуродована жизнь», сказали когда-то Мологину в тюрьме. Он не понял тогда, он испугался. Но теперь он научился видеть. Жизнь была изуродована, она была страшна. Просто невероятно, что люди так долго ее терпели.

Мог ли вор прежде надеяться на что-нибудь? Мог ли он

когда-нибудь выбиться к иной дороге? В тот день и час, когда человека выбрасывали на улицу, в тот самый день и час он навсегда вычеркивался из жизни.

А вот сегодня десяткам этих людей открылась дорога в жизнь. А вот вчера пришел в коммуну медвежатник Загржевский. А Бабкин прислал Сергею Петровичу письмо — просится назад, кается в ошибке. Десятки, сотни молодых людей, вчерашних воров, сегодня стали квалифицированными рабочими, музыкантами, вузовцами, художниками, поэтами.

Когда Мологин ехал первый раз в Таганку за новым набором, он очень нервничал. Он понимал: комиссия везет в камеры счастье. Но он попадал до этого, в камеру лишь для того, чтобы отбыть свой срок. Он вспомнил блатной закон, ненависть к «изменникам». Помнил, как говорили о коммуне в камерах в былые времена. Конечно, с тех пор утекло немало воды. А все-таки, кто мог сказать наверное, как их встретят и отнесутся к ним. Он был поражен тем, что увидел. Большинство заключенных, с которыми разговаривала комиссия, уже подали заявления. Другие соглашались с первых слов. Они разговаривали о законах и требованиях коммуны, разбирали их с таким знанием, какое впору иметь коммунару-«старику». Они сравнивали их с порядками в Таганской, расспрашивали о коммунском техникуме, хвастались своим клубом и газетой. В опрятной, «вольной» одежде, с независимыми спокойными движениями, как они мало походили на несчастных, затюканных сявок, с которыми сиживал Мологин в дни молодости. Некоторые узнали Мологина, напомнили ему, где и когда встречались с ним. Словно ничто не могло быть для них естественнее той новой роли, в какой увидели его теперь. И с силой почти физического ощущения почувствовал тогда Мологин: мир стал иным.

Он шел в коммуну, потому что не видел для себя другого выхода. Но он подозревал, что это — новый Рукавишников дом. А в домзаке, который покидал он, судили товарищеским судом жигана Ваську за паханские замашки, выпускали газеты, переквалифицировали домушников на обувщиков и слесарей, но он тогда не понимал этого. Не понимал, что эта будничная и малозаметная, как будто незначительная работа готовит день, когда на месте тюрем будут разбиты парки, построены дворцы. Он думал, коммуна — это Рукавишников. А оказалось — жизнь, радость творчества, расцвет всех сил. Он хлопотал о доверии. А оно было с самого начала. И разве не доверие — щедрое и широкое — эта грамота, эти часы?.. Доверие рабочего класса! Мало и плохо работал до сих пор Мологин. Надо больше, лучше! Все силы, способности, все оставшиеся годы жизни отдать тому,

чтобы оправдать это доверие. Еще немало потребуется напряжений и усилий. Еще нужно добить преступность. И какая же честь и счастье быть рядовым в такой борьбе.

— Да, хорошо, все хорошо, — громко сказал Мологин.

Он свернул грамоту, бережно опустил ее в карман, прошел по комнате.

«Где же запропал Сергей Петрович? Или он и не заходил сюда?»

Мологин потянулся за шапкой. Его взгляд упал на несгораемый шкаф. Приземистый, массивный, он стоял, как маленькая крепость. А сколько таких и еще более трудных шкафов вспорол за свою жизнь Мологин! Он коснулся шкафа рукой, почувствовал холод металла и с усмешкой сказал:

— Не бойся, не трону!

Случай движения

Леху Гуляева уважали в коммуне, ему завидовали. И никто не знал, что по вечерам, зажигая лампу и усаживаясь к столу за книгу, он становится самым несчастным человеком в мире. Задернута занавеска, чтобы свет не падал в лицо спящей Тане. Полка прогнулась под тяжестью различных руководств и справочников по обувному делу.

За низеньким столиком начинались ночные мучения Лехи. В тех книгах, которые он понимал, не было нового, а страницы, где начиналось новое, были ему непонятны. Запутанные ряды цифр и знаков, различные таблицы и формулы заполняли сплошь всю книгу, от корки до корки; казалось, что если бы удалось все это понять — цель была бы, наконец, достигнута и наступило бы желанное успокоение.

«Производительность станка легко вычислить по формуле…» читал Леха и запинался, яростно крякнув. Он пропускал формулу, но все дальнейшее было без нее непонятным; он снова возвращался к ней и часто сидел всю ночь, бессильный открыть ее смысл.

Сомнения грызли его. Может быть, он уже знает многие формулы, только пришел к ним с другой стороны — от опыта, от действительного, конкретного, а не воображаемого, как в книге… Он наверняка знает многие формулы, но не может даже сказать — какие. Подобно тому как в очень знакомой книге, но переведенной на чужой язык, он не смог бы найти нужной страницы, хотя знал бы наверняка, что страница эта в книге есть.

Когда-то он догадался увеличить диаметр ведущего шкива, обив его кожей, и достиг этим убыстрения хода машины. В одной

из книг нашел он формулу, излагающую этот закон; в формуле буквы были пояснены надписями. Напрягая всю мощь своего гибкого, но невежественного мозга, Леха понял суть этого закона и на следующий же день проверил его практически. Все совпало — значит, число оборотов любой машины можно угадывать наперед? Значит, есть такой закон и для карданного вала. И для шестеренок? Он, Леха, знает только то, что испробовал; всякий новый кусок знания дается ему опытом и памятью; всех машин он не успеет опробовать, хотя прожил бы двести лет; каждый новый станок будет сопротивляться так же упорно, как в свое время «Допель».

А в этих книгах, закрытых для Лехи, есть общие законы, и если их узнать — любая машина будет сразу понятной. Но как узнать, что таит в себе такая, например, строчка:

$$H_2 = \frac{\frac{m}{n}\sqrt{D_1 - d_1}}{2}$$

Сергей Петрович, которому Леха пожаловался на бесплодность своих усилий, посоветовал не торопиться и начать с азов, с арифметики.

— А потом алгебра… Тут, брат, нужно упорство. С налета не возьмешь.

— А после алгебры что? — спросил Леха.

— Высшая математика, физика, химия.

— А после?

— Найдется и после. Если захочешь — так на всю жизнь хватит.

Леха вознегодовал. Должна же быть где-нибудь точка покоя? Такая точка, когда исчезнут все тревоги и все неутоленные желания.

— Нет, — твердо ответил Сергей Петрович. — Для настоящего человека — для тебя и для меня в том числе — такой точки нет. Цель своей жизни, милый друг, надо все время менять и переносить вперед. И двигаться самому — вперед и только вперед.

Как всегда, беседа их затянулась до ночи. Потом Леха продолжал беседу с самим собой. И все, что казалось ему раньше таким неустроенным в бесплодном стремлении к покою, сразу прояснилось в движении вперед.

Он купил в магазине кипу учебников и завалил ими весь подоконник.

Вечером он прочел в первых главах «Рабочей книги» по физике:

«Состояние покоя есть частный случай движения…»

Перелистывая учебник дальше, он наткнулся на портрет Джемса Уатта. Он внимательно прочел скромную биографию гения: «Неудачи не смущали Уатта, он настойчиво стремился к своей цели…»

Для Лехи Гуляева книжное слово не было развлечением — скорее работой. Он прочитывал страницы тяжело и медленно и плотно укладывал их в свою голову. Он прочел в учебнике все биографии. Размышлений о судьбе Уатта, техника Попова и гениального инженера Дизеля хватило ему надолго.

«Владельцы заводов паровых машин, обогатившиеся на изобретении Уатта, объединились против Дизеля, так как его изобретение наносило ущерб их денежным интересам. Удрученный нищетой и неудачами, Дизель бросился в море, а через несколько лет его двигатель завоевал весь мир и был признан лучшим из всех существующих двигателей».

Так заканчивалась трагическая история великого инженера, сказочно обогатившего мир.

Примеры чужой замечательной жизни многому научили Гуляева. Он подумал о том, что без Дизеля на земле не было бы ни тракторов, ни автомобилей, ни тепловозов, ни самолетов. Он подумал о том, что у нас инженеру Дизелю построили бы какие угодно лаборатории, каждый пионер почтительно здоровался бы с ним на улицах. Леха понял, что заключительные строчки его биографии правильнее было бы прочесть так: «Удрученного нищетой и неудачами Дизеля бросили в море». О себе Леха мог сказать обратное: его вытащили, когда он уже совсем пошел ко дну, вытащили безграмотного воришку, развращенного водкой и кокаином, растили, лечили, воспитывали, еще не зная, будет из него толк или нет.

Во всем огромном мире не нашлось ни одной дружеской руки, на которую мог бы опереться гениальный инженер Дизель. Безграмотного воришку Леху Гуляева всю жизнь поддерживали, всегда помогали.

Это была, конечно, наивная и не очень правильная параллель, но она разбудила в Лехе потребность осмотреться и не спеша, как следует подумать о старой и новой жизни и о себе. Благодаря биографиям Уатта и Дизеля он перешел из затянувшейся юности в серьезную молодость, полную тревожных и плодотворных размышлений, поисков. Новая жизнь была известна Лехе по опыту, о старой могли рассказать ему книги. В библиотеке он прямо так испросил — книгу о старой жизни. «Только чтобы писали в ней правду», добавил он. Библиотекарь подумал и выдал ему Горького «Детство» и «В людях».

Он прочел первые главы и онемел от какого-то странного чувства растерянности. Читать рассказы приходилось ему и раньше, но он никогда не думал, что слова могут иметь цвет и запах. Хлынули воспоминания и затопили его, и вот через много лет он снова ложится под розги, жмурясь и стискивая челюсти, ждет первого удара, во рту — сладкая, противная слюна, и нельзя плюнуть, а кожа на спине колюче стягивается. Потом встал перед Лехой бойкий и веселый Цыганок, рыночный вор; встречался где-то с ним Леха и не один раз, только не мог вспомнить — где… Цыганок воровал для хозяев, и они похваливали его; если бы Цыганок украл для себя, хозяева посадили бы его в тюрьму. И вдруг бумага стала красной, душно запахло кровью: Цыганок умер, раздавленный непосильной тяжестью креста. Похоронили его незаметно, непамятно…

Бумага исчезла — остался голос. Спокойно и мудро один человек поучал другого примером своей тяжелой и страшной жизни. Вместе с ним плавал Леха на пароходах, ловил птиц и встречал на опушке леса осенний рассвет, вместе с ним изо дня в день пробивал уездную звериную толщу. И было удивительно, как не погиб человек, пройдя через все это один, без помощи; Леха ни за что не поверил бы в победу этого человека, если бы не видел его собственными глазами. Высокий и худой, с приподнятыми острыми плечами, он ходил по коммуне, ежеминутно покашливая и раздувая седые усы, вспыхивая неожиданной милой, молодой улыбкой, беседовал гулким нижегородским баском, упирая на «о», с коммунарами. Потом, передавая друг другу его слова, все говорили таким же баском с упором на «о». Он, познавший до самого дна старую, страшную жизнь, рассказывал теперь о ней Лехе Гуляеву, чтобы Леха мог сравнить и понять, что живет в молодое, счастливое время, когда люди осознали, наконец, свою главную обязанность на земле — жить, помогая друг другу.

Книгу за книгой Леха брал в библиотеке сочинения Горького. Читал он не все — только те рассказы, где было «я». К остальным относился подозрительно — как может писатель знать, что думает и чувствует какой-то Орлов? А уж о себе-то он знает все, и в этих страницах выдумки нет.

Иногда в библиотеке не оказывалось ни одной книги Горького. «Все на руках», пояснял библиотекарь. Леха сердился: «Не могли отложить? Они все, небось, так читают, от скуки, а у меня дело». И он был прав — читая, он действительно занимался большим и важным делом. Если учебники давали ему точные знания, необходимые в обувной профессии, то эти книги помогали ему найти и твердо определить свое место в жизни…

В газетах появлялись иногда статьи Горького. Леха читал их

требовательно и с жадностью: статьи были для него завершением всего, что прочел он у Горького раньше, он искал в них окончательных и твердых выводов. Не все в статьях было понятно ему, и смысл некоторых мест приходилось доставать, как сокровище со дна моря. Щурясь от мозгового усилия, он снова и снова читал непонятное место, и случалось, что слова от частого повторения теряли смысл и становились совсем непонятными.

Леха шел за помощью к Сергею Петровичу. Тот пояснял, иногда добавляя:

— До конца ты здесь все равно не поймешь. Прочти сначала ну вот эту, что ли, книжицу.

Книжицы часто оказывались утомительными и скучными, но Леха добросовестно одолевал их, и, действительно, многие вещи прояснялись.

Так, постепенно от книги к другой книге, от разговора к разговору, Леха определил свое место в жизни как принадлежность к рабочему классу, единственному классу, утверждающему свое господство с целью освобождения всех людей от эксплоатации и гнета. Леха научился уважать себя. До сих пор в нем не было этого чувства глубокого и осознанного самоуважения; оно заменялось мелким самолюбием и тщеславием, да иначе и быть не могло, потому что для Лехи понятие коллектива не выходило за пределы коммуны. Чувство самоуважения появилось в нем, как производное от сознания величественности и правоты дела, за которое борется вся рабочая армия и он, ее рядовой, в том числе.

С нерадивыми новичками он теперь разговаривал строго и нетерпеливо:

— Ты сегодня десять заготовок запорол.

Новичок ухмылялся. Леха стискивал зубы, сдерживаясь:

— Смешно, дурацкая твоя голова! Десять заготовок — это деньги или нет, как по-твоему? Через тебя коммуна убыток принимает, понял или нет?!

— Понял, — равнодушно отвечал новичок и уходил, не проявляя никаких признаков раскаяния.

А Леха, оставшись один, долго сидел в тяжелом и злобном раздумье. Вот как ему объяснишь — такому! Он ничего не желает слушать, ему только бы набить свое брюхо!

Однажды такой разговор с новичком происходил в присутствии Накатникова, который был уже членом партии. Как всегда, новичок ухмылялся и скучающе рассматривал потолок. Леха его допрашивал:

— Есть ли какая-нибудь польза от тебя? Никакой. Один только вред. Значит, где тебе место? В лагере, на Соловках. Тебя

здесь кормят, поят… бесстыжая твоя морда, а ты машину сломал.

Речь шла о любимом Лехой «Допеле», Леха поэтому особенно волновался.

— Можно итти? — осведомился новичок.

Леха с отчаянием посмотрел на Накатникова: что, дескать, с таким поделаешь?

— Иди, гадючьи твои глаза. Все равно я вопрос поставлю о тебе.

Новичок нагло свистнул и направился к дверям. Шел он нарочито расхлябанной походкой, вызывающе заложив руки за спину.

— Сволочь какая, — сказал вслед ему Леха.

Новичок засвистел еще громче. Его остановил Накатников:

— Подожди. Сядь на минутку.

Новичок вернулся и сел. Накатников угостил его папиросой.

— Что это палец у тебя кривой?

— Пером полоснули.

— В шалмане подрались, небось?

— А то где же.

Слово за слово — и завязался новый разговор, очень далекий от фабрики и поломанного станка. Леха слушал недоумевая. Накатников подробно расспрашивал новичка о прошлой жизни; тот отвечал охотно и, похваляясь, врал, приписывая себе чуть ли не мокрые дела.

— Меня этим не удивишь, — усмехнулся Накатников. — Сам таким же был…

— А теперь? — спросил новичок с ехидцей.

— А теперь я коммунист.

Накатников показал партийный билет. Новичок долго вертел его в руках, всматриваясь в печати и подписи. Деловито осведомился:

— Не липа?

— Какая же липа! Чудак. Меня здесь все знают, как облупленного.

Возвращая билет, новичок хмыкнул:

— Чудно… Из воров — в коммунисты.

— Он тоже из воров, — указал Накатников на Леху. — Теперь цехом заворачивает.

Разговор незаметно коснулся производства, а потом — поломанного станка.

— Станок починим, — сказал Накатников. — А тебе, пожалуй, работать здесь не придется. Раз ты классовый враг, помощник буржуазии и нарочно станки ломаешь, — что ж с тобой разговаривать.

Новичок вдруг страшно обиделся. Уши его покраснели, он расстегнул ворот рубахи. Заглохшим голосом он сказал:

— За такие слова ответить можешь. А станок я сломал нечаянно.

— Нечаянно? А ты не врешь?

Новичок, почуяв возможность оправдаться, сразу оживился. Клятвы, одна страшнее другой, сыпались с его языка. И выяснилось, что он действительно сломал станок нечаянно, двинул рычаг не в ту сторону, спутав объяснения Гуляева. Он оправдывался, обещая быть внимательным, никогда больше не ошибаться, и Леха видел, что раскаяние его неподдельно.

Новичка простили. Он ушел сияющий. Горячо и крепко он пожал руку Накатникова. С Лехой простился холодно.

Когда за ним закрылись двери, Леха сказал Накатникову:

— Ты молодец… Здорово ты с ним поговорил. И вот всегда у тебя есть подход… А я как-то не могу…

Накатников молчал.

— А между прочим, — добавил Леха, — мы с тобой одинаковые. Неспособный я, что ли, уговаривать?

— Нет, — сказал Накатников. — Мы с тобой не совсем одинаковые.

— Как не одинаковые?.. Не разом выпускали? Оба, брат, стали другими — впору хоть имя и фамилию менять…

— Ни к чему, — решительно сказал Накатников. — Ни к чему менять имя и фамилию. Не в этом дело.

— А в чем же?

— Это, брат, больно просто, — говорил Накатников. — Сменил фамилию и чист, словно в бане вымылся… Смотрите, мол, какой я есть сознательный. Нет, брат, дело не в фамилии. Как ни назовись, а если плох, так и будешь плох. А неодинаковые мы с тобой потому, что в словах моих силы больше.

— Как это?.. — не понял Гуляев.

— А так… Подходишь ты к новичкам только как хозяйственник и больше ничего. Вишь, новость сказал ты ему: «Через тебя коммуна убыток принимает». Ему это и без тебя известно. Это ему можешь не повторять. Ты объясни ему, что он не только станок ломает, а и жизнь свою калечит. Политический убыток ему от поломки подсчитай. Немного я ему сказал: «Буржуазии помогаешь» — а гляди, как он взъерошился. Говорит: «За такие слова ответить можешь». Вора ты, Леха, не хуже моего знаешь. Он первые дни в коммуне нас с тобой не очень жалует: и работать мы его заставляем и дисциплине учим. А попробуй скажи ему: «Что ты, словно буржуй, бездельничаешь» — обидится ведь, и не в шутку. Одним словом, Леха, политики в твоей

агитации нехватает.

— Учусь вот, — сумрачно ответил Леха, — да, видно, плохо учусь.

— У книг ты только учишься. Этого мало. А меня кроме книг партия учит. Конечно, партийный билет носить нелегко. Обязанностей он налагает много, но зато партийцу легче вести за собой других, легче строить новую жизнь. А ты вот все в одиночку.

Накатников ушел. Леха долго раздумывал над его словами. Прав Миша Накатников: с какой стороны ни подойди к его словам, выходит — прав он.

Гуляев подал заявление о приеме его в партию. Его приняли кандидатом в члены партии.

На этом собственно и кончается первая часть биографии бродяги и вора Гуляева, дальше следует уже биография советского хозяйственника, товарища Гуляева Алексея Петровича, директора крупной обувной фабрики, выпускающей четыре с половиной тысячи пар обуви в день. Он принял эту фабрику от первого ее директора коммунара Мологина, переведенного на должность помощника управляющего коммуной по хозяйственной части. Когда Лехе впервые сказали, что его прочат на место директора, он оробел и хотел отказываться. Но здесь и обнаружил партийный билет всю свою силу. Что подумает о нем ячейка? Струсил? «Какой же ты тогда член партии», скажут о нем. Нет, Гуляев не должен и не будет отказываться, он должен справиться с работой, как бы трудна она ни была. Стараясь подавить невольное волнение, пришел Леха в директорский кабинет. Блестел никель телефонного аппарата, голубело сквозь чистые стекла небо, солнечные квадраты и полосы лежали на полу и на столе. Мологин поднял голову, медно блеснула его бородка.

— А я уж тут кое-что приготовил, денежные и материальные документы. Сегодня же и начнем сдачу-приемку.

Ровным голосом перечислял он запасы товара, имеющегося на складах, передавал Лехе какие-то фактуры, векселя, валютированные чеки и другие бумаги с такими же мудреными и страшными названиями.

— Эти бумаги — те же деньги, — поучал Мологин, — и ты их в столе не держи, а запирай в несгораемый шкаф… на всякий случай.

Через стены доносился глухой рокот фабрики, в кабинете пахло машинным маслом и кожей. Входили знакомые Лехе мастера, советовались по разным делам, тайком поглядывали на Леху — нового директора — и едва заметно улыбались, чувствуя, наверное, его смущение.

Леха не выдержал и признался Мологину:

— Провалюсь я, Алексей Александрович! Незнакомое мне это дело.

— Молчи! — закричал Мологин. — Ты что, в пустыне будешь работать? А я здесь зачем? А Сергей Петрович? А весь наш актив? Я вот целым промышленным комбинатом иду управлять, у меня десятимиллионный оборот в руках будет, а я вузов финансовых не кончал… Тоже надумал — «провалюсь».

Он с размаху захлопнул дверцу шкафа, выпятил рыжую бородку, погладил зализанную лысину, подумал, прищурил холодные глаза:

— Держи ключи и помни, Леха: мы с тобой провалиться никак не можем. Пол под нами крепкий — коллектив. Расписывайся, Леха, в приемо-сдаточной ведомости.

Леха расписался. Мологин повел его на склад проверять наличность готовой продукции.

Зрелость

I

Коньковый завод, обувная, трикотажная фабрики коммуны были не просто предприятиями, производящими коньки, обувь или трикотаж. Если бы дело шло только о том, чтобы иметь лишнюю фабрику, ее, вероятно, можно было строить и не в Болшеве: фабрики Болшева переплавляли вчерашних правонарушителей в общественников, в рабочих, в мастеров. Это были фабрики людей.

И чем замечательнее был успех коммуны в переплавке людей, тем острее становился вопрос о дальнейшем, о расширении перспектив. Все более назревала необходимость смелого массового выдвижения.

Кроме воспитанников в коммуне работало около двух тысяч человек, нанятых со стороны. Они были нужны, поскольку в коммуне недоставало своей рабочей силы, не было своих технических кадров. Взаимоотношения между ними и воспитанниками были сложны. Вольнонаемные должны были передавать воспитанникам свой опыт. Вольнонаемному нужно было иметь много такта и сознательности, работая в такой необыкновенной обстановке. Но не все из них оказывались на должной высоте. Кое-кто из наиболее отсталых относился к производственным успехам болшевцев ревниво, побаивался этих успехов, неохотно делился своими знаниями.

На этой почве возникали ссоры и конфликты. Было время, когда ребята часто жаловались воспитателям:

— Вольный хуже меня работает. Почему меня не допускают к его работе? Стало быть, коммунара никогда не сравняют с вольными?

Однако слишком торопливое выдвижение могло быть вредным. Среди воспитателей и даже ребят были люди, склонные обобщать отдельные случаи неудачных выдвижений. Так или иначе вопрос этот должен был встать, и он встал на одном из собраний актива. Поставил его товарищ Островский.

— В коммуне две тысячи вольнонаемных, — сказал он. — Но коммуна не для них, а для коммунаров. Люди подросли, кое-чему научились. Давайте обсудим, как быть дальше. Полторы тысячи вольнонаемных мы могли бы перевести на другие предприятия совершенно безболезненно в кратчайший срок. Пятьсот особенно незаменимых работников временно остались бы у нас.

Раздались опасливые голоса:

— Не пострадало бы производство, промфинплан.

Тогда попросил слова Каминский.

— Тут нечего колебаться, — говорил он. — Люди идут в коммуну, хотят получить квалификацию, а им вместо этого нередко приходится быть сторожами, ворочать болванки, рыть ямы, чистить свинарники. Мечта новичков — попасть на коньковый, где есть возможность стать квалифицированным металлистом. Бояться выдвижения значит тормозить их рост.

После Каминского выступили директоры производства. Они доказали с цифрами в руках, что выполнение программы вполне может быть обеспечено, что опасаться тут нечего, если, понятно, каждый болшевец будет сознавать свою возросшую ответственность. Конечно, производство ни в коем случае не должно страдать. Но оно не должно также заслонять главного. А главное в коммуне — это ведь люди.

Весь следующий день после собрания ушел на составление графика предстоящих перемещений. Покидающим производство вольнонаемным коммуна обеспечивала соответствующую их квалификации новую работу. Дело выдвижения воспитанников на квалифицированную работу получило огромный, невиданный размах.

II

Коммуна расширялась. Строились и разрастались заводы. У Накатникова пропала нужда практиковаться на стороне: дела

хватало и в коммуне. Ему поручили должность старшего механика механического завода.

— Наломает теперь Мишка дров. Крик будет, выговора посыплются!..

Ребята выражали явное недовольство этим назначением.

Только старые друзья из первых наборов — Гуляев, Беспалов, Умнов — не теряли веры в «Мишку-ветра», «Мишку-бурю», как звали они его.

— Он себя покажет. Захочет — сумеет владеть собой!

Накатников вскоре оправдал надежду друзей. В шлифовочном цехе механического завода закапризничали пылесосы. Обычно светлый и чистый цех тонул в пыльных сумерках. От наждачных кругов поднимался сухой беловатый туман.

Накатников вызвал к себе техника и отдал распоряжение:

— Чтоб завтра пылесосы были в исправности!

Техник пришел в цех и меланхолически обозрел пылесосы. Толстые трубы тянулись вдоль цеха подобно кишкам какого-то гигантского животного. В них не было заметно никаких крупных дефектов. Вентиляторы работали исправно. «Чорт их знает, где тут поломка!» И техник, махнув рукой, решил предоставить дело естественному течению.

Через день его распекал Накатников:

— Ты что ж это, шутки шутишь? Баловством занимаешься?

Техник оправдывался:

— Конструкция у пылесосов плохая, Михаил Фаддеевич. Тут ничего не поделаешь, они с первого дня были такие.

— Шляпа ты, вот что! — с презрением бросил Накатников. — Пойдем в цех.

Через минуту они были уже в цехе.

Техник показывал Накатникову пылесосы и разводил руками. В самом деле: с первого взгляда все было как будто на месте.

— Видите, Михаил Фаддеевич! Все в порядке. А почему они не работают, чорт их знает!

— В трубы нужно лезть, — решительно сказал Накатников. — А так ты чего увидишь?

— Ну, это уж дудки, — отрезал техник. — Там задохнешься.

Михаил принялся снимать куртку.

Он открыл один из вентиляторов и полез в его пасть.

С помощью фонаря Накатников осматривал внутренность пылесосов, пролезая все глубже и глубже. В трубах нельзя было встать даже на четвереньки. Приходилось ползти ужом. На стенках жирной бахромой висела пыль. Она лезла в рот, в нос, в уши. Временами становилось трудно дышать, и тогда Накатников

лежал, не делая ни одного движения. Только добравшись до выходной части, он открыл причину неисправности. Выходная труба была общей для пылесосов двух соседних цехов. Воздушные струи сталкивались и уничтожали энергию друг друга; достаточно было отделить здесь перегородкой соседние пылесосы, чтобы они стали работать исправно.

Накатников вылез из трубы, он был неузнаваем. Под слоем пыли почти не видны были рот и глаза, одежда казалась черной. Старший механик, однако, проявлял все признаки довольства. Он улыбался, насвистывал. Надев куртку, мирно распорядился:

— Разобрать выходную трубу и поставить там перегородку.

На другой день в цехе было светло и чисто. Пылесосы работали превосходно.

Этот смелый поступок нового механика вызвал перелом в отношении к нему со стороны работающих в механическом воспитанников и вольнонаемных.

Начинали уже поговаривать, что Накатников, хорошо знает производство, заслуживает более ответственного назначения чем должность старшего механика. На производственном совещании кто-то обронил, что хорошо бы иметь директором механического завода своего парня, коммунара. Все согласились и поглядели в сторону Накатникова.

Выдвижение состоялось на третьем году учебы Михаила во втузе. На посту директора он также не осрамил себя, проявив знание дела и распорядительность.

Большое хозяйство

I

Стройка производственного сектора коммуны в основном была закончена еще в 1931 году возведением новой спортивной фабрики.

В 1932 году коммуна приступила к строительству новых культурных учреждений учебного комбината и занялась улучшением быта: строились поликлиника, биостанция, большие жилые корпуса, достраивались бани, шла борьба за сварку на коньковом заводе, где мастера цеплялись за кустарщину, доказывая преимущества паяльной лампы, борьба против уравниловки в быту и в производстве, борьба за высокую производительность труда… Да мало ли что еще пережила коммуна с тех пор, как старый коммунар Генералов положил первый кирпич новой обувной фабрики!

Теперь все это было прошлым. Теперь коммуна имела завершенную производственную базу, стала богаче, могла приступить широко и смело к культурно-бытовому и жилищному строительству. Тяжелые времена бараков, тесноты, грязи на улицах отступили назад.

Учебный комбинат должен был разместить школу ФЗУ, школу взрослых, техникум, планово-экономические курсы, трехкурсовой комвуз. Больше всего вызывал споры вопрос о спортивном зале. Многие ребята высказывались против того, чтобы он был в учкомбинате. «Зал будет мешать учебе, ему место при клубе, а не здесь», говорили они. Но подавляющее большинство проголосовало за спортивный зал при комбинате. Аргументация была продуманна и серьезна:

— Коммуна производит спортинвентарь, спорт имеет прямое касательство к ее производству. Тренировка ума и мускулов должна быть тесно увязана, чтобы коммуна воспитывала гармонично развитого человека, члена нового общества.

Накатников и Каминский заговорили в этой связи даже о проблеме устранения разрыва между умственным и физическим трудом.

Не менее глубокие и осмысленные споры вызвал и вопрос об отделке и оборудовании учкомбината. Кто-то подал мысль о росписи стен. Нарисовать путь людей науки. Показать, как шагает по зимней дороге Михаила Ломоносов.

Тотчас же нашлись другие предложения:

— Нужно изобразить главнейшие этапы революции.

— Пусть в фресках оживет история нашей коммуны!

Восторжествовало в конце концов предложение воспроизвести в образах все исторические эпохи от каменного века до социализма. А так как основа всей истории человечества — труд, то, стало быть, и следует изобразить, как изменялся труд на протяжении тысячелетий.

Эскизы фресок коммуна поручила сделать своим художникам — Маслову, Гольцу, Секуляру.

В вопросе о поликлинике споры шли о частностях. Коммунары единодушно высказались за предельную простоту конструкций, спокойные линии, обилие света и воздуха и максимум зелени вокруг.

Решили также ускорить постройку фабрики-кухни. Необходимо было покончить, наконец, с важнейшими вопросами о воде. Недостаток воды всегда был больным местом коммуны. Коммуну питал водой пруд. В столовой висела стеклянная трубка, соединенная с водонапорным баком. Если бак был полон — из трубки лилось. Когда пошли полным ходом все производства,

наступил настоящий водяной голод. Если вода подавалась в столовую, значит, производство ее недополучало. Из спортлыжной, из обувной, с конькового то-и-дело прибегали в столовую коммуны посмотреть на трубку. Особенно страдало производство лыж, где все время требовался пар. Простой цехов по два-три часа из-за отсутствия воды был не редкостью.

Дольше терпеть безводье было нельзя. Кузнецов съездил в Москву и вернулся с двумя мастерами бурения.

На площадке возле спортлыжной запылали багровые костры, выросла вышка, подобная тем, какие бывают на нефтепромыслах. Началось бурение артезианской скважины. Под кострами, под раскаленными красными углями, оттаивала земля. Сверло со скрежетом буравило земные недра, добиралось до глубоких подземных вод.

День, когда забила из скважины чистая, холодная, как роса, вода, стал одним из праздничных дней коммуны. Не было в ней человека, который бы не пришел посмотреть скважину. Уходили одни, приходили другие. Всем надоели бесконечный водяной голод, простои производства и вечное ожидание, что вода вот-вот перестанет итти.

Поставили трубы двух дюймов в диаметре. Опыт первых же дней показал, что трубы малы. Нужны были по крайней мере четырехдюймовые. Да и сама артезианская скважина была только первым шагом. Нужно строить компрессорную и водонапорную башню на двести тысяч ведер — на меньшем не мирились болшевцы. Нужно строить запасное подземное водохранилище. Нужно оборудовать водопровод. Культурно-бытовое строительство, как и производственное, снова потребовало многих средств, материалов и напряжения всех сил.

В крутые морозы, в пургу, иногда ночью приходили на станцию составы с бревнами, тесом, кирпичом, бутовым камнем. Каждая минута простоя оплачивалась — вагоны задерживать было нельзя.

И тогда выла сирена, из домов, из бараков поодиночке, по паре, по пятерке выходили коммунары, развязывали и спускали уши малахаев, надевали рукавицы, валенки и молча шли по направлению к станции.

Особенно напряженной была ночь, когда меняли старые двухдюймовые трубы водопровода на четырехдюймовые. Чтобы не останавливать производство из-за неподачи воды, замену труб решено было произвести в порядке аврала в одну ночь. Она выдалась темной, беспросветной, мохнатые ели сгущали мрак. В коммуне никто не спал. Разожгли костры и поддерживали их всю ночь.

Как пройдет замена? Будет вода или нет? Спокойным казался только Мологин. С потухшей папиросой в зубах он методически и упорно долбил заступом землю. Разогнулся на минуту, окинул взглядом сотни работающих в канавах людей, освещенных кострами, и заметил соседу своему Глазману:

— Вальпургиева ночь!

Тот промолчал, не услышав или не поняв книжного сравнения, сделанного Мологиным.

Небо побледнело, на грязноватом фоне его выступили контуры леса. По новым четырехдюймовым трубам потекла вода.

Мологин вздохнул:

— Пошла! Это здорово. А я, оказывается, все время чаю хотел. Да где его ночью возьмешь? Пойдем-ка, Глазман, ко мне, чайку попьем.

II

Расширил работу и клуб. Доклады, лекции, постановки были вынесены в общежития, на производство.

Еще когда Мологин уходил из клуба заведывать обувной, он выбрал своим преемником по клубу Николая Михайлова.

— Это будет хороший клубник! — говорил он всем.

Мологин знал пристрастие Михайлова к искусствам. Михайлов в последние годы воровской жизни даже воровал главным образом в театрах. Николай охотно согласился на предложение Мологина сменить его на работе в клубе. Управляющий коммуной не возражал против его кандидатуры.

Мологин не ошибся. Клуб под руководством Михайлова продолжал работать не хуже, чем при нем.

Однажды утром Михайлова разбудил телефонный звонок.

— Приехали иностранцы, необходимо вечером в зимнем клубе организовать концерт. Возможно, будет Погребинский.

Николай торопливо сунул босые ноги в тапочки, накинул пиджак.

— Ну, я хлопотать побежал, — сказал он Марусе.

Он все время думал о возможной встрече с Погребинским. Несколько лет тому назад, когда Михайлов просился в коммуну, Погребинский сказал ему: «Ты привык жить душа на распашку, а в коммуне-то воровскую душу придется ущемить. Больно будет! Сбежишь».

«А я вот и не сбежал!» самодовольно думал Николай.

«Ты теперь здесь — Главискусство», скажет ему Погребинский. Он ведь любит пошутить.

Концерт открылся увертюрой из оперы «Кармен» в исполнении духового оркестра в составе девяноста человек. Кружковцы уже успели после работы помыться и принарядиться. Сегодня они играли перед небольшой аудиторией. Зрительный зал выглядел невзрачно. Стены покрыты пятнами свежей замазки, от сцены пахнет стружками, клеем и краской. Ремонт. Только по карнизу второго яруса успели протянуть красное полотнище о портретом Ильича. В первых рядах среди иностранцев сидел актив коммуны. Слегка сутулый, с острыми плечами, Накатников, добродушный, плотный Глазман, Гуляев, чинный Мологин. Здесь же были и Сергей Петрович, и Николаев, и Северов. И среди них в кубанке, в черной суконной рубашке, подпоясанной кавказским ремешком, — Погребинский. Ребятам хотелось сегодня играть особенно хорошо. Их настроение было понятно и дирижеру — высокому бритому старику Розенблюму. И когда все девяносто человек так слились в одно целое, что даже их дыхание стало казаться общим, он взмахнул палочкой, и музыка мгновенно, точно веселое пламя, вспыхнула на сцене.

Михайлов доволен дружным началом. Молодцы!

От музыки в клубе стало как бы просторнее и светлее. Но ему кажется, что звук слишком жосток! Он тревожно взглянул на Погребинского. Тот смотрел в оркестр. Ему вспоминались те далекие дни, когда первая партия ребят впервые вошла к нему в кабинет на Лубянке. Те умели лишь воровать, пить, нюхать и смачно петь блатные песенки: «Ой, мама. Что, дочка? Я жулика люблю».

Те были развязны, чванились своим цинизмом и презрением ко всем «не своим». А теперь огромный дисциплинированный коллектив людей, вырванных коммуной из трясины блата, исполнял произведение композитора Бизе.

«Этим людям есть чем похвастать», думал Погребинский.

Аплодисменты были дружными и теплыми. А когда на сцену вышел Николай Михайлов и, улыбаясь, сказал: «Сейчас оркестр исполнит вальс из балета „Раймонда“ — музыка Глазунова, дирижирует коммунар Карелин», то все снова зааплодировали молодому мастеру. Даже сами музыканты, отложив инструменты, присоединились к общим приветствиям. Карелин не стал раскланиваться, как это делают артисты. Он, спрыгнув с эстрады, подошел к Погребинскому и крепко пожал ему руку. Потом вернулся к оркестру и подал знак начинать.

— Балалаечник-то наш — маэстро стал, — шепнул Погребинский Сергею Петровичу. Затем кивнул в сторону Михайлова и спросил:

— Хорошо клубное хозяйство ведет?

— Заботливый, — и, желая подчеркнуть значительность работы Михайлова, Сергей Петрович добавил: — У него клубный бюджет — миллион рублей.

После духового оркестра выступал Сережа Кузнецов, сыгравший на балалайке вторую рапсодию Листа. Затем выступали хор, эстрадники, и в заключение физкультурники показали свою точную и изящную работу. Программа имела успех, и Николай только сожалел, что нельзя в один вечер показать все художественные силы коммуны.

После концерта его позвал к себе Погребинский:

— На тебя теперь посмотреть приятно. Не скучаешь?

— Живу — душа радуется.

— Но душа-то уж не воровская? — спросил Погребинский и, обращаясь ко всем, кто был рядом, сказал: — Я не верил, что Михайлов останется жить в коммуне.

— Мы все не верили.

— На его брата я больше надеялся, — и Погребинский, смеясь, добавил: — Ну, знаешь, Николай, ты здорово одурачил нас.

Михайлову хотелось рассказать о своей работе, о своих планах, но Погребинскому надо было уезжать.

— Все знаю! Работай, не скупись! — сказал он и, распрощавшись, сел в машину.

Домой Михайлов шел довольный клубом, кружковцами, собой. Никогда и никуда из коммуны он не уйдет. И только дома Маруся чуть-чуть омрачила его ясное настроение.

— Неужели ты в таком виде и на концерте с иностранцами был? — спросила она.

— В каком «таком»?

— В тапочках на босу ногу и…

— А ведь в самом деле, неудобно, — сознался Николай, оглядывая свой костюм.

III

В лесу вырос город. Как будто попрежнему темнеет суровый хвойный лес. Но над вечно зелеными угрюмыми елями высится труба котельной. На месте былых пустырей и болот — здания производственных комбинатов: деревообделочного, механического, трикотажного, обувного. Сверкает зеркальными. окнами поликлиника. Ее кабинеты, операционные залы изобилуют светом и воздухом. Просмоленная пеньковая дорожка

ведет к водолечебнице. Там легкая камышевая мебель; вырезные листья пальм склоняются над хрупкими диванчиками.

А изумительное здание учебного комбината! Библиотека, химическая лаборатория с водой и газом у каждого рабочего места, богатый приборами физический кабинет, чертежные залы, механическая мастерская, просторная киноаудитория. Не всякая даже из московских школ могла бы соперничать с болшевской. Огромный спортивный ее зал, в котором можно заниматься почти всеми видами спорта — от бега до турника, от трапеции до тенниса, — высоко под потолком украшен фресками: эллинские фигуры спортсменов, готовых к труду и борьбе. Фрески художников-коммунаров, бывших правонарушителей — Шепелюка, Гольца, Секулера, Копейкина. Вот мимо окна управления коммуны прошла полуторатонка. В ней отходы, утильсырье. Машина из гаража коммуны. Кто так уверенно ведет ее? Коммунар Лежев. А когда-то он — коммунский водовоз — чмокал губами, махал кнутом, погонял жалкую замученную клячонку.

Мягким басом гудит сирена конькового. Скоро вспыхнут электрические огни, в красных уголках зашелестят газеты, заговорит радио.

По одной из аллей-улиц коммуны идет старуха. Она одета в простенькое ситцевое платье и повязана черной косыночкой. Старуху удивляет этот город с растущими на улицах столетними елями, с асфальтовыми тротуарами, желтыми дорожками в скверах. Здесь пахнет не гарью и пылью, а смолистым лесом, душистыми лугами.

«Хороший город Болшев, — думает она. — Раньше здесь, видно, одни господа жили».

Ей встретилась девочка.

— Дочка, где здесь коммуна помещается?

— Здесь все коммуна, — беззаботно ответила та и, прыгая через веревочку, побежала дальше.

Тогда старушка остановила взрослого прохожего.

— Ты в коммуне, бабушка, — ответил тот ей.

«Господи, какой народ бестолковый», подумала она. Ей нужна коммуна, в которой содержатся жулики. А здесь кругом — светлые, богатые дома.

— А тебе, бабушка, кого нужно-то?

— Михайлова Николая.

— У нас два Михайлова и оба Николая. Тебе какого — клубника или трикотажника?

— Каторжника, каторжника, — обрадовалась старушка: она

была чуть глуховата.

— Каторжников у нас нет, старая. Я тебя спрашиваю: клубника или трикотажника?

— У моего-то брат Константин есть, тоже карманник, — пояснила старушка.

— Ну, значит, клубника! — радостно заключил парень. — Ты мать ему?

— Мать, сынок.

— Посиди здесь. Я тебе его сейчас пришлю.

Через несколько минут в клубе коммуны раздался телефонный звонок, и Николай узнал, что к нему приехала мать.

В его жизни мать не занимала большого места. Он вспоминал о ней и чувствовал ее любовь и заботы только тогда, когда садился в тюрьму. Она приходила к нему на свидание и приносила то махорки, то несколько сухих селедок, и брала в стирку его белье. В его памяти жило лицо, с глубокой скорбью и нежностью заглядывавшее за тюремную решотку. Их свидания обычно проходили в молчании. Лишь изредка мать, как бы очнувшись от каких-то сокровенных дум, неожиданна скажет:

— Видно, ты у меня никогда не образумишься, Коля.

Теперь Коля шел в белом костюме. Его лицо и шея покрыты загаром. Увидев сына, мать оробела:

— Коля, это ты?

— Я, мать.

Это свидание с сыном в сквере, обильном цветами, под огромным синим небом сделало ее счастливой. И она сняла с головы черную косыночку и закрыла ею глаза. На свиданиях в тюрьме она никогда не плакала.

Мать, поплакав, вдруг просияла вся, точно умылась.

— Ты теперь не воруешь? — спросила она.

— Нет.

— И тебя никто не стережет?

— Как видишь.

— Ну, а что же ты не уходишь отсюда?

— А разве здесь плохо?

Мать еще раз оглянулась и шопотом спросила:

— Здесь одни воры живут?

— Бывшие воры, их жены и дети.

— И много их здесь… воров-то?

— Да около трех тысяч…

Мать никогда не предполагала, что на белом свете так много жуликов. Ей всегда казалось, что только она одна несчастная мать. И она опять сняла свою косыночку и поплакала… Потом спросила:

— Коля, а почему тебя клубником зовут?

Она делалась все словоохотливее, и Николай, чувствуя ее радость, хотел сразу искупить все огорчения, которые он доставил ей.

— Я заведующий клубом, мама.

Он знал, что всех заведующих, чем бы они ни заведывали, мать уважала, считая их должность самой высокой. Но сейчас ей было непонятно, как вора можно допустить на такую должность. Она хотела спросить об этом сына, но подумала, что он, пожалуй, обидится за этот вопрос. А у нее к нему большая просьба. В коммуну ее послал Костя, бежавший из Соловков. Теперь он скрывался в Москве и хотел опять попасть в коммуну. «Поезжай, попроси Колю, — сказал он матери, — он похлопочет за меня». Мать жалела Костю так же, как в свое время и Колю. Но теперь, увидев, откуда он ушел, она рассердилась. «Стыдно и хлопотать за такого дурака», подумала она, с гордостью поглядывая на сына.

Николай рассказывал, как он вначале работал на заводе, потом учился на курсах.

— У меня здесь и жена живет, — говорил он, — пойдем, я тебя познакомлю с ней.

И он повел мать на трикотажную фабрику, по дороге показывая ей коммуну.

— Это наша поликлиника, — говорил он, — а вот фабрика-кухня, зайдем-ка, мать, я тебя покормлю.

И мать ходила за ним, умиленная, гордая.

— У вас и церковь есть? — спросила она, показывая на радиоузел.

Коля объяснил ей, что здесь когда-то была деревня Костино, но коммуна, разрастаясь, оттеснила ее, а церковь осталась в наследство. И он повел мать на колокольню, где жарко тлели усилительные лампы, дрожали стрелки манометров.

И когда они вышли на волю, то мать долго стояла и слушала, как кричал громкоговоритель.

Они заглянули по пути в ясли для детей болшевцев.

— Эти не будут знать беспризорности, — сказал Николай.

Маруся заведывала складом на трикотажной фабрике. Здесь на полках лежали голубые, синие и золотисто-зеленые джемпера и свитеры с рисунками в клеточку, в полосочку и с разводами. Шелк лоснился, краски горели, как полевые цветы. И мать, увидев такое богатство, только всплеснула руками. Но больше всего ее удивляло, что воры, делая такие красивые вещи, не крали их. Потом Николай отвел мать на квартиру во вновь отстроенном корпусе для семейных:

— Ты приляг, отдохни, а я сбегаю в клуб.

В комнате стоял диван. Кровать была покрыта голубым тканьевым одеялом. Гардероб высокий, с зеркальной дверкой. В углу на маленьком столике в груде книг и журналов стоял телефон.

— Живет, как заведующий! — сказала мать, а когда вдруг зазвонил телефон, то она испугалась и несколько минут простояла, не шевелясь, точно боясь, что кто-то заметит ее и рассердится, что она не взяла трубку.

«Пустая голова, — подумала она опять сердито про Костю, — от какой жизни ушел».

Вечером за чаем мать как бы невзначай сказала:

— Костя-то у нас очень мается!

Николай, зная, что брат сбежал из Соловков, сказал:

— Пусть горюшка хватит. Умнее будет.

— Определи его в коммуну, — попросила мать.

— У нас не проходной двор.

— Правда, правда, — согласилась мать. — От какой жизни, дурак, ушел. А ты все-таки похлопочи за него… Хочется хоть перед смертью порадоваться на вашу жизнь.

Николай пожалел мать.

— Передай Косте, — сказал он, — если он бросит воровку-жену и тещу Каиншу — тогда похлопочу!

Мать осталась ночевать. Перед сном Маруся показывала, какие они нажили вещи, рассказывала, как они хорошо живут.

— Мы вдвоем-то полтысячи зарабатываем, — говорила она матери, и та впервые за долгие годы уснула счастливой.

Проснувшись ночью, она увидела, что сын еще не спит. Он сидел, читал и писал.

«Коля, пожалей себя, от книжек — говорят люди — с ума сходят», хотела привычно сказать старуха, потом задумалась, посмотрела на телефон, на согнутую спокойную спину сына, вздохнула и не сказала ничего.

Десятилетие

Болшевская трудкоммуна праздновала 12 июня 1935 года свое десятилетие. Это не первый праздник в Болшеве, когда сияют чистотой комнаты, цехи, улицы, когда плещутся алые стяги и яркие кумачевые полотнища, когда особенно подтянуты и веселы коммунары.

И все же этот праздник отличался от всех, какие были в коммуне прежде.

Этот день был знаменателен не только для небольшой

сравнительно кучки коммунаров-выпускников и даже не только для руководителей и организаторов Болшевской коммуны. Девять лет — большой срок, вполне достаточный для того, чтобы на опыте твердо убедиться, что трудовое перевоспитание бывших правонарушителей — вполне проверенный и дающий отличные результаты социалистический способ перевоспитания людей, искалеченных буржуазным обществом. Праздник 12 июня был еще одним торжеством идеи Маркса-Ленина-Сталина, приложенной к делу трудового воспитания.

Утром 12 июня каждый болшевец, разворачивая свою газету — она в этот день вышла на 20 страницах, — читал приветствия всесоюзного старосты М. И. Калинина, руководителя Коминтерна Г. Димитрова, Н. К. Крупской, М. Горького, С. М. Буденного. Коммуну приветствовали в этот день ВЦСПС, МК комсомола, Центральный совет Осоавиахима, «Известия».

Коммуна имеет друзей во всем мире. Ее книга для записи впечатлений заполнена восторженными отзывами представителей рабочих и интеллигенции почти всех стран.

Старый друг коммуны Анри Барбюс поздравил ее в этот день письмом.

Гости начали прибывать в коммуну с утра.

Ученые, писатели, артисты, художники, журналисты, рабочие-ударники, приглашенные на небывалое торжество, удивляются на каждом шагу. В сопровождении дежурных с красными повязками на рукавах они гуляют по широким улицам коммуны.

Они внимательно осматривают прекрасно оборудованные цехи, заходят в комнаты семейных коммунаров, заглядывают в общежития, в учебный комбинат.

Хорошо встречала гостей коммуна. Празднично украшен городок. Интересно организована выставка.

Выставка — лучшее вступление к отчету за десять лет. А торжество несомненно носило отчетный характер.

Многоэтажные здания, выставка картин в учебном комбинате, наконец, сами коммунары — внимательные и бодрые — были главами отчета этой «фабрики людей», как метко назвал коммуну товарищ Погребинский.

А гости все прибывают и прибывают. Приехал самый любимый гость коммуны — товарищ Ягода. Он обещал приехать в коммуну в половине третьего, и ровно в 2 часа 30 минут нарком входил в здание управления коммуны — пример точности для болшевцев.

В клубе начинается торжественное собрание.

В президиуме — товарищи Ягода, Погребинский,

Богословский, Островский, старые большевики товарищи Ярославский и Сольц и рядом с ними юбиляры — воспитанники коммуны — и делегаты из других коммун.

Председательствует старейший коммунар, инженер-механик Михаил Накатников.

Открывая собрание, он вспоминает о том, как привезли в бывшее имение Крафта из Бутырского изолятора восемнадцать воров, рассказывает о первых табуретках, сделанных в коммуне, — они весили двадцать фунтов и обошлись чуть ли не дороже буфетов. Он приводит цифры, говорит о том, что за десять лет существования коммуны 972 воспитанника получили право гражданства и приняты в члены профсоюза, со 187 человек президиум ВЦИК снял судимости. 29 человек оказались достойными носить высокое звание члена ВКП(б), 19 человек приняты в сочувствующие, 139 — в комсомол. 10 человек несут службу в рядах РККА. 3 бывших коммунара получили высшее образование и стали инженерами, дипломы инженеров скоро получат еще несколько человек.

Цифры эти доказывают, говорит он, что Болшевская трудкоммуна к своему десятилетию пришла с большими достижениями.

Накатников, вытирая лоб, занимает свое председательское место.

— Слово принадлежит товарищу Островскому, — объявляет он.

Встает Островский и, переждав аплодисменты, говорит:

«Десять лет назад товарищ Ягода положил начало невиданной в мире организации — трудовой коммуне из беспризорников и правонарушителей.

Десять лет назад, когда была организована коммуна, она была встречена недоверием общественности и враждой уголовного мира. Сейчас коммуны получили мировое признание.

Особенно большое значение первой Болшевской коммуны заключается в том, что она явилась опытным полем для всего дела трудового перевоспитания. На базе ее опыта вырос целый ряд других коммун. Она многим помогла и такому делу массовой перековки, каким явился Беломорстрой.

Всем этим мы обязаны партии Ленина — Сталина и тому, кто проводил линию партии в деле трудового перевоспитания, — нашему руководителю большевику-сталинцу, лучшему чекисту — Генриху Григорьевичу Ягоде».

В зале поднялась буря аплодисментов.

«Сколько часов из своих до отказа загруженных дней отдал он коммуне. С какой любовью и внимательностью следил он за

развитием коммуны, руководил ею. Каждый новый этап в жизни коммуны, каждое крупное мероприятие в ней связано с именем товарища Ягоды, осуществлялось по его заданиям.

Принципы, положенные в основу работы коммун, дали замечательные результаты. Они создали из бывших правонарушителей десятки и сотни новых людей — коммунистов, комсомольцев, директоров и инженеров, мастеров и квалифицированных рабочих. Они обеспечили те успехи, с которыми пришла Болшевская коммуна к своему празднику.

Дальнейшие задачи, стоящие перед болшевскими коммунарами, совершенно четки и определенны. Их дал товарищ Ягода при последних встречах с коммунарами. О них говорится и в приказе наркома о борьбе с детской беспризорностью.

Старые болшевские коммунары должны стать кадрами в той ударной борьбе с беспризорностью, которая развертывается сейчас по решению партии и правительства. Болшевская коммуна должна быть образцом для всех остальных коммун и трудколоний и по воспитательной работе и по производству.

Формы и методы воспитательной, общественной и бытовой работы необходимо обновлять и улучшать.

На производстве нужно бороться за высокое качество спортпродукции и развивать ударничество и высшую его форму — отличничество.

Самая же главная задача болшевцев — выполнение лозунга товарища Ягоды, который всегда останется новым и актуальным: „Перевоспитавшись сам, помоги перевоспитаться другому“».

В напряженной тишине болшевцы слушают приказ НКВД о десятилетии Болшевской коммуны.

Снимается судимость еще с 29 воспитанников. 89 болшевцев выпускаются из коммуны. Товарищи Погребинский и Богословский награждаются орденами Красной звезды. 57 коммунаров награждаются часами и 223 человека — грамотами от Наркомвнудела и денежными подарками.

ЦИК СССР награждает почетной грамотой 14 работников коммуны; в их числе Мологин, Накатников, Гуляев, Николай Михайлов, Каминский, Фиолетов, Румянцев, Беспалов.

Буря восторга поднялась в зале.

Выступает Емельян Ярославский.

В своей речи он вспоминает замечательного человека, железного чекиста Феликса Дзержинского. Ему в первую очередь обязаны десятки тысяч людей своим вторым рождением.

«ВЧК-ОГПУ-НКВД, — говорит товарищ Ярославский, — разящий меч революции. Товарищ Сталин указал Дзержинскому на необходимость начать работу по перевоспитанию людей.

Феликс Эдмундович — этот пламенный рыцарь пролетарской борьбы, беспощадный и суровый к врагу, — с радостью взялся за работу. Он всегда был полон любви к человеку. Лучший соратник железного Феликса — товарищ Ягода — осуществил практически это задание-

Вы стали тем, кем вы являетесь сейчас, — подчеркивает товарищ Ярославский, — только благодаря нашему великому Сталину, только благодаря нашей партии, воспитавшей таких верных сынов, каким был товарищ Дзержинский, каким является товарищ Ягода».

И Ярославский предлагает присвоить Болшевской трудкоммуне имя товарища Ягоды.

Коммунары встали. Зал гудел от криков и хлопанья крепких ладоней.

Дальше выступают товарищ Сольц, писатель Киршон, делегаты от других коммун бывших правонарушителей, выступают представители районных организаций… Все они говорят об успехах коммуны, поздравляют ее и преподносят ей подарки.

Впереди — парад 900 болшевских физкультурников, вечер самодеятельности большого коллектива артистов коммуны, танцы, фейерверк.

Такого радостного и значительного праздника не было еще в Болшевской трудкоммуне НКВД, в коммуне имени товарища Ягоды. Об этом говорит в конце торжественного собрания Матвей Самойлович Погребинский.

И заканчивает он свою речь так:

«В десятилетие Болшевской коммуны еще и еще раз необходимо подчеркнуть величайшую силу партии Ленина — Сталина, создавшую страну, победоносно строящую социализм, переделывающую отбросы общества в настоящих людей.

Помните, ребята, что „фабрику людей“ мог создать товарищ Ягода потому, что он сын великой нашей родины, что он большевик, что он верен своей партии, он — достойный ученик Сталина, проводивший указания партии Ленина — Сталина. Именно это обеспечило победу.

Подводя итоги десяти лет, надо помнить, что в вашей среде есть еще много нехорошего, мещанского, уркаганского, непролетарского.

Лучшей порукой дальнейшего роста будет беспощадное разоблачение всего нездорового, гнилого, беспощадная борьба со всеми, кто мешает вашему делу, и тогда ваша жизнь будет светлой, радостной жизнью — жизнью свободных граждан великой нашей родины.

Помните, что нет большей радости, чем радость роста социализма в нашей стране. Помните, что нет большей радости, чем право трудиться в нашей великой стране, ибо у нас „труд — дело чести, дело славы, дело доблести и геройства“».

Иллюстрации

«Из домзака в коммуну». Картина художника-болшевца И. И. Дронкина

«Усадьба Крафта». Осенью 1924 года сюда привезли первых правонарушителей

М. С. Погребинский — один из организаторов Болшевской трудкоммуны НКВД

С. П. Богословский — один из организаторов Болшевской трудкоммуны НКВД

Там, где теперь высятся здания коммуны, в 1924 году была только деревня Костино

Любовь к голубям удержала многих воспитанников от ухода из коммуны

Конфликтная комиссия за работой

М. Горький у дверей первого в мире кооператива, где и продавцы и покупатели — недавние воры

«Первая лошадь». Картина художника-болшевца М. Секулера

В соревновании с лучшими командами страны футболисты коммуны взяли не один приз

Болшевцы, вырабатывающие лучший спортинвентарь, лучшие спортсмены

Выступление агитбригады. Злободневные песенки

агитбригад распевает вся коммуна

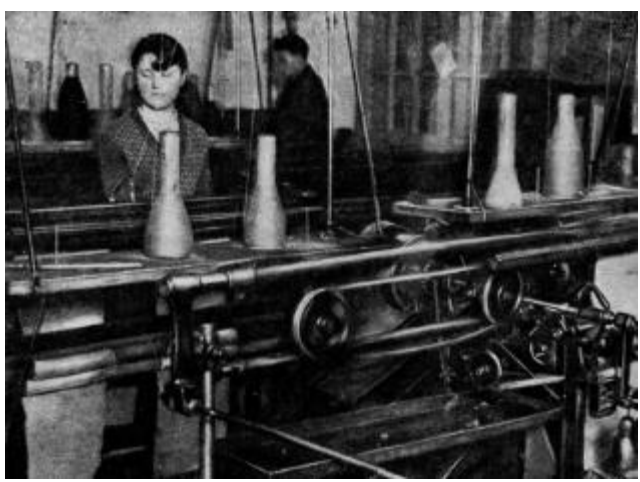
«Парад актива». Шарж болшевца Державина

«Писатель А. Толстой в коммуне». Шарж Державина

Многие правонарушители начали свою перековку с участия в струнном оркестре

В заводском красном уголке после работы

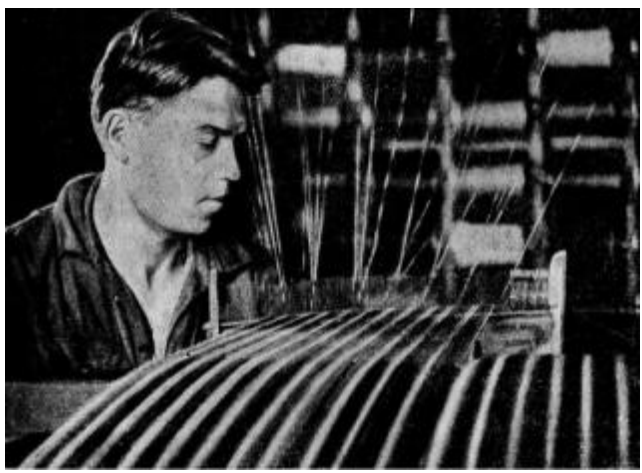
Новая профессия — изготовление теннисных ракеток



На трикотажной фабрике

В коммуне развиты все виды спорта. Теннисные корты в парке коммуны

Новая профессия. Закройщик обувной фабрики



Трикотажная фабрика. У сновального станка

Коммунарка. Картина художника-болшевца И. Дронкина

Теперь она не вернется в шалман. На трикотажной, у мольежной машины

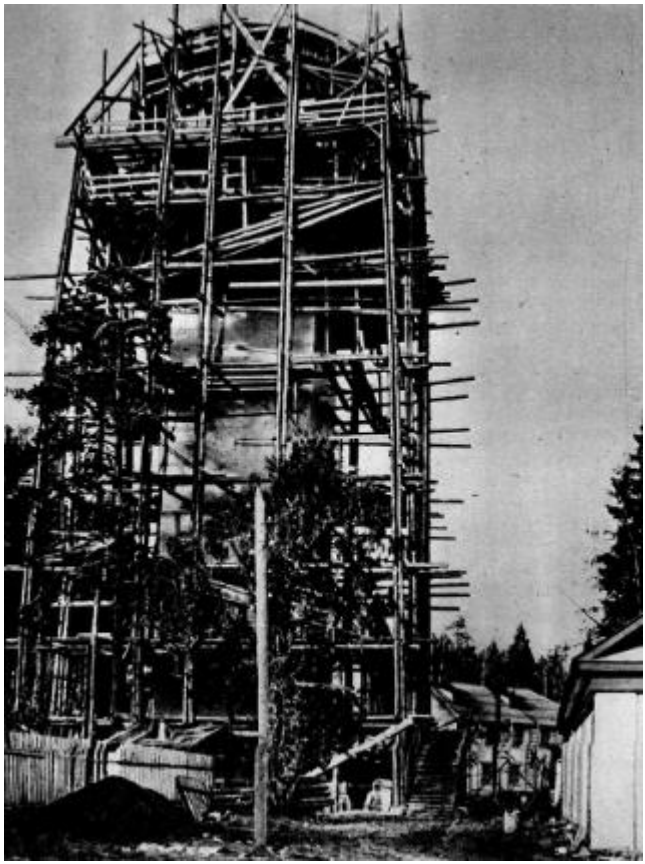
Самые маленькие болшевцы

В коммуне они узнали радость семьи и материнства

«Перед судом товарищей». Картина художника-болшевца А. Шепелюка

Одна из фресок в аудитории учебного комбината. Выполнена художниками-болшевцами

Уголок выставки. Картины болшевских художников



Водонапорная окончена, остается убрать леса

Коммуну строили коммунары. На субботнике разгружают стройматериалы

Многие лыжники Советской страны ходят на лыжах, изготовленных воспитанниками Болшевской коммуны

Рост количества коммунаров — кандидатов и членов ВКП(б)

Рост количества коммунаров — членов ВЛКСМ

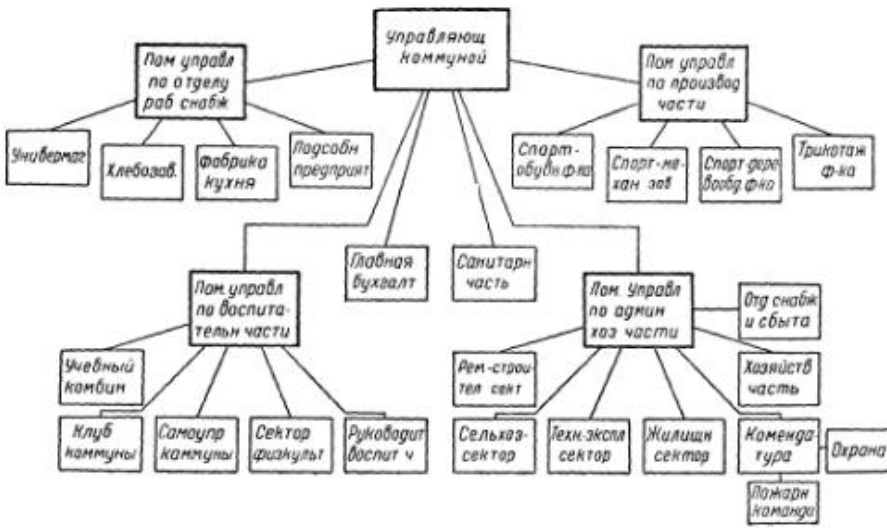
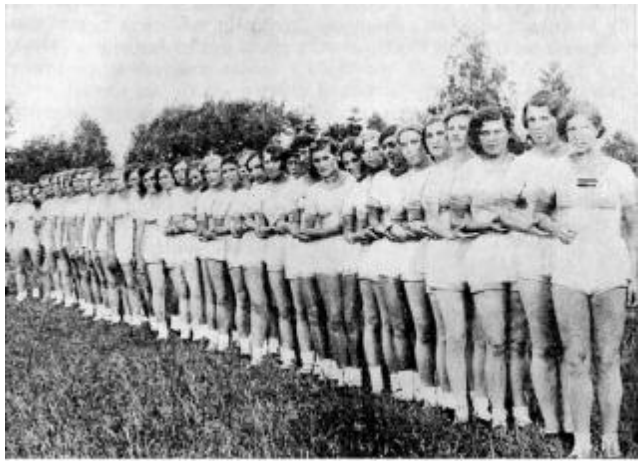


Схема управления болшевской трудкоммуной



Болшевские физкультурницы

В женском общежитии

Вечернее кафе в коммуне

Парикмахерская

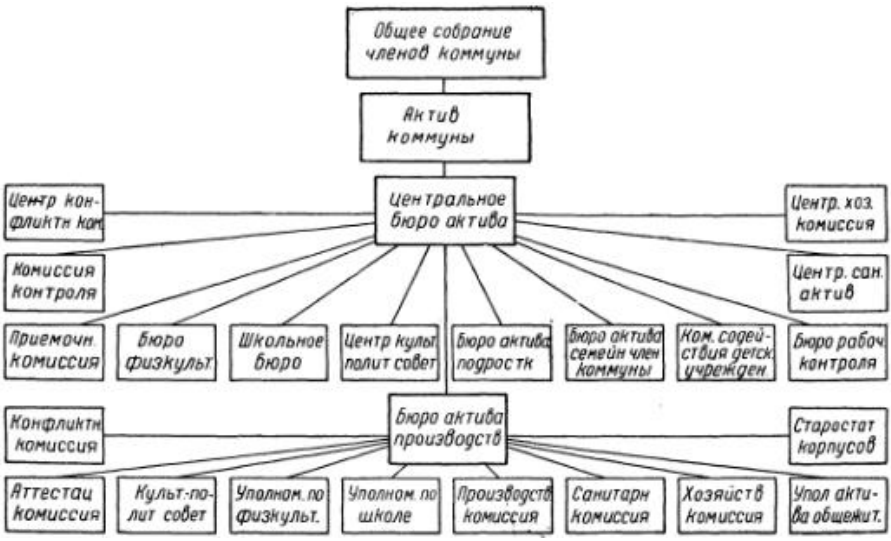
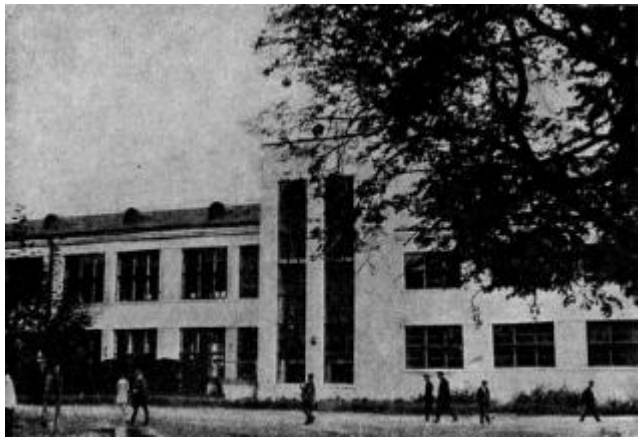


Схема самоуправления воспитанников болшевской трудкоммуны

Новая профессия. Болшевцы-термитчики на заводе, изготовляющем коньки

На месте болот и ветхих лачуг болшевцы построили просторные светлые дома



Фабрика-кухня

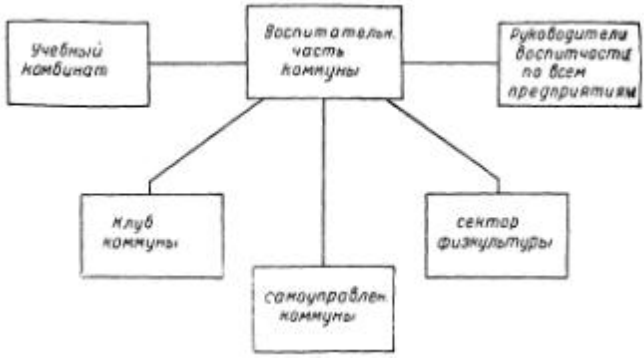
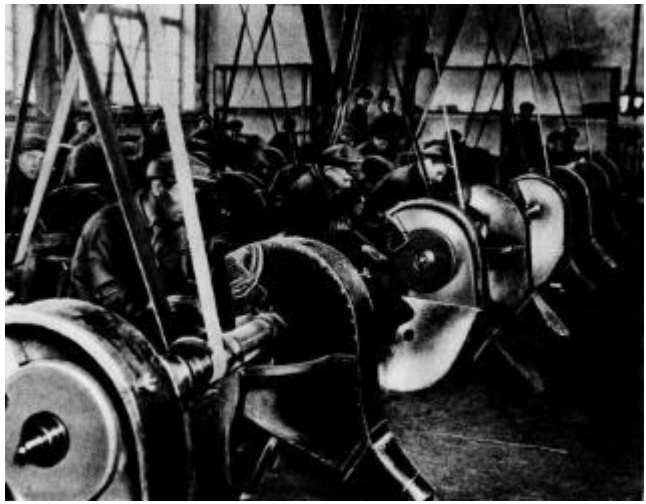
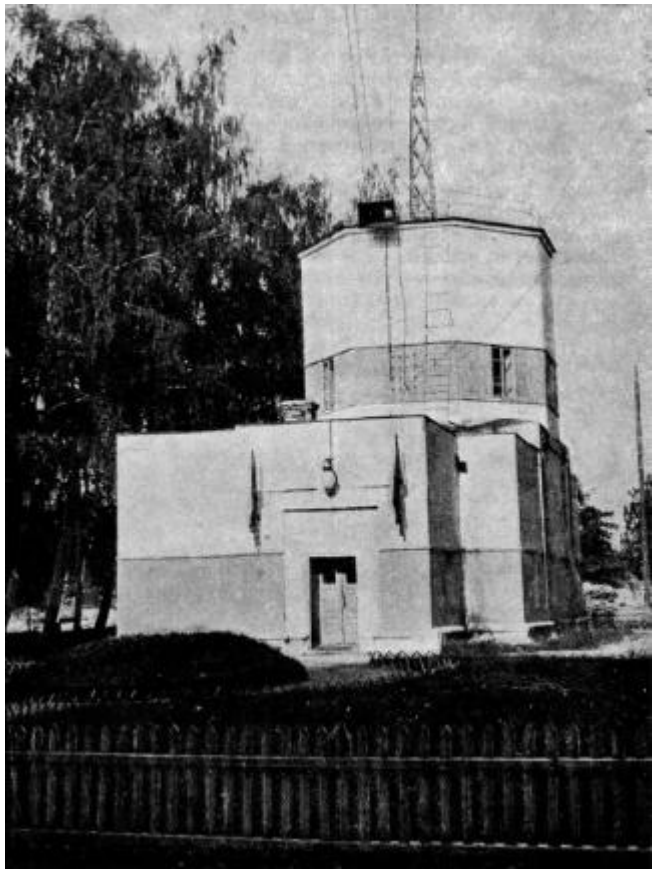


Схема воспитательной части болшевской трудкоммуны



Новая профессия. Механический цех, шлифуют коньки

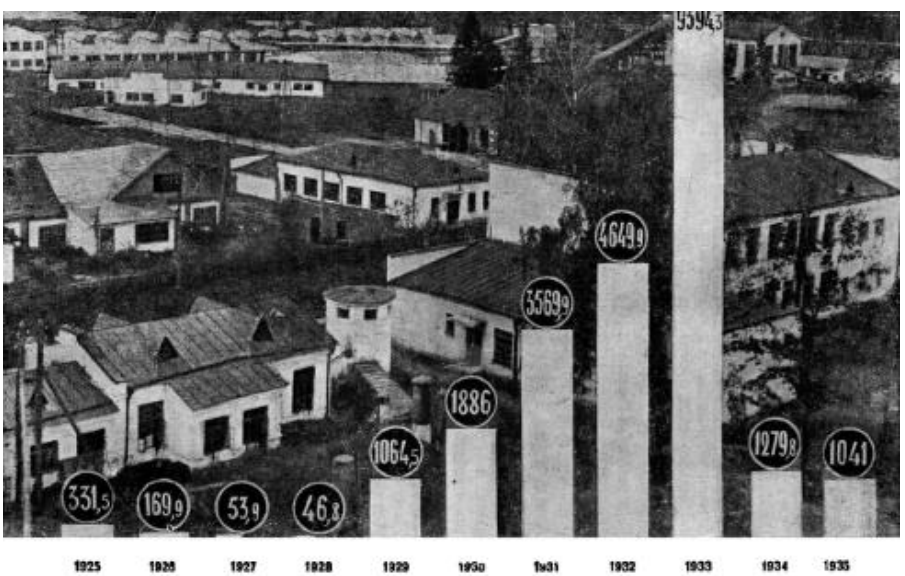


Церковь д. Болшино переделана в радиоузел коммуны

Открытие новой обувной фабрики было крупной победой болшевцев. В день открытия состоялся многолюдный митинг

Рост числа семейных членов коммуны

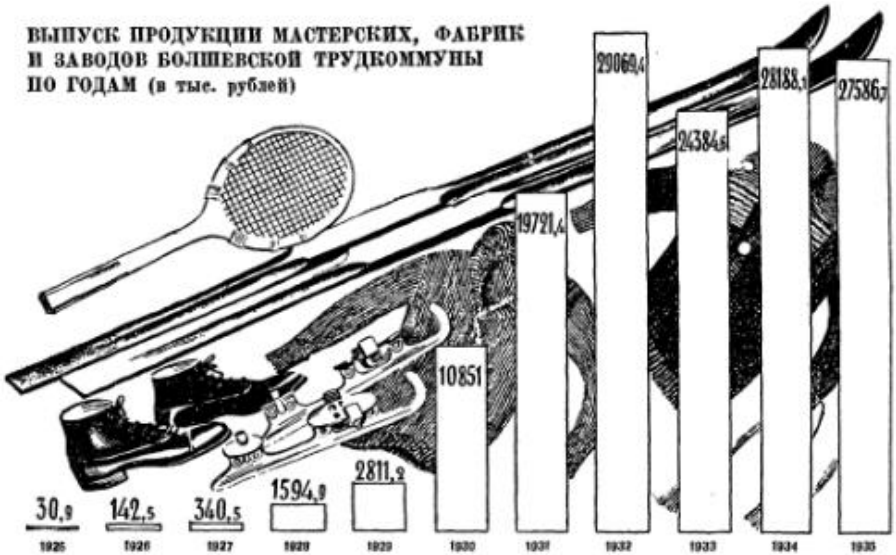
Любимый гость. Максим Горький у болшевцев



Рост капиталовложений в хозяйство болшевской

трудкоммуны по годам (в тыс. рублей)

Учебный комбинат



Выпуск продукции мастерских, фабрик и заводов болшевской трудкоммуны по годам (в тыс. рублей)

Поликлиника восстанавливает здоровье, расшатанное в прошлом преступной жизнью

Эти не будут знать беспризорности

Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ. М. Горький

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПОРУЧЕНИЕ. К. Горбунов
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР. К. Горбунов
«ДЕФЕКТИВНЫЕ». К. Горбунов
У КОТЛА. К. Горбунов
ПУТИ И ПОМОЩНИКИ. А. Берзинь, К. Горбунов
ДОБРАЯ ВОЛЯ. С. Колдунов, Н. Клязминский
НОВОСЕЛЬЕ. В. Панов, Ф. Фирсенков
ВИДАЛИ МЫ ПРИЮТЫ. С. Колдунов
ОТПРАВКА. А. Берзинь
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. А. Осокин, Л. Соловьев
«БОЛЬШИЕ» И «МАЛЕНЬКИЕ». А. Берзинь, В. Панов, Л. Соловьев
ГОЛУБИ И ФИНКИ. Л. Соловьев, С. Тадэ
МАСТЕРСКИЕ. К. Горбунов, Я. Тищенко
КЛЮЧИ ТЕТИ СИМЫ. К. Алтайский, С. Колдунов
ОТПУСК. А. Берзинь
ВЕЧЕРИНКА. Н. Клязминский
АКТИВ. К. Алтайский
ЧЕТЫРЕ ПОДКОВЫ. С. Колдунов, В. Панов
БЛАТНОЙ ЗАКОН. С. Колдунов, В. Панов, Я. Тищенко
БРОДЯЖИЙ БОГ — БАЛДОХА. К. Алтайский. А. Осокин, В. Ясенев
ЗАКАЗ. К. Алтайский, С. Тадэ, В. Ясенев
«БРЕЛОК». А. Романовский, Л. Соловьев
СВАТ. К. Горбунов, Л. Соловьев, Ф. Фирсенков
ШТАНЫ КОММУНАРА ГАГИ. А. Берзинь, С. Тадэ, А. Романовский
ЧУДЕСНЫЙ МУСОР. С. Колдунов, Я. Тищенко
«ПОЛИТИКИ». К. Горбунов, В. Уваров
КОММУНА ИЛИ ШАЛМАН? К. Горбунов, В. Уваров
ПОДАРОК. В. Виткович
ДЕЛЕГАТКА. А. Осокин, В. Ясенев
ДЕВУШКИ. А. Осовин, В. Ясенев
ДРУЗЬЯ И ТРУДНОСТИ. А. Осокин, Ф. Фирсенкор, В. Ясенев
ПЕРВЫЙ МАСТЕР. А. Берзинь, С. Морозов
КОММУНА ВЕРНУЛА НАС К ЖИЗНИ. Н. Клязминский, Л. Соловьев

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
«БЛУДНЫЕ СЫНЫ». Л. Соловьев
РОСТ. С. Колдунов
СЕМЬЯ. В. Ясенев, А. Осокин
МЕДВЕЖАТНИК. М. Лузгин
ОШИБКА. М. Лузгин
СЕКРЕТ ПОБЕДЫ. К. Алтайский, В. Ясенев, М. Лузгин
БОЛЬШАЯ СТРОЙКА. К. Алтайский, В. Ясенев, М. Лузгин
СУББОТНИК. М. Лузгин
ЗА КАЧЕСТВО! Е. Анучина, К. Алтайский, В. Ясенев
УГОЛОК. А. Берзинь
МИХАЙЛОВ. Н. Клязминский
НОВИЧКИ. С. Колдунов, В. Виткович
ДВА СОБРАНИЯ. М. Лузгин, К. Алтайский, В. Ясенев
СОРЕВНОВАНИЕ. Н. Клязминский, А. Осокин
«НАТУРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ». А. Бобринский
ГОСТЬ. М. Лузгин
ПРАЗДНИК. М. Лузган, К. Алтайский, В. Ясенев
СЛУЧАЙ ДВИЖЕНИЯ. Л. Соловьев
ЗРЕЛОСТЬ. С. Колдунов, К. Горбунов
БОЛЬШОЕ ХОЗЯЙСТВО. Н. Клязминский, В. Ясенев, К. Алтайский
ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Выходные данные

Редакторы П. ШУШКАНОВ, В. ДМИТРОВ
Переплет и супер-обложка А. БОКОНЕЕИН
Внутреннее оформление и техническая редакция А. УСЫНИН
Ответственный по выпуску С. ЛАЗАРЕВ
Корректура под руководством Л. ЕВЛЕНОВОЙ

Книга сдана в набор 29/XI 1935
Подписана к печати 9/IV 1936
В книге 84 1/2 печ. листов, 12 накидок, 17 вклеек, авторских листов 84 1/2
В одном печ. листе 10 480 знаков
Бумага 62 x 94 сн.
Тираж 50 000
Заказ № 34

Уполномоченный Главлита № Б-21Л2
Книга отпечатана в 1-й Образцовой типографии Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»
Москва, Валовая, 28

Цена книги 8 р. 60 к. Переплет 1 р. 50 к.

notes

Примечания

1

«Это человек».